*Каждый пишет, как он слышит,*
*Каждый слышит, как он дышит...*

*Булат Окуджава*

# ОБРАЗЫ ЖИЗНИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

# LIFE IMAGES
LITERARY ALMANAC

Ответственный редактор: **Алла Ходос**

Безответственный редактор: **Марина Золотаревская**

Технический редактор: **Любовь Шапиро**

Фотография на обложке: **Юрий Золотаревский**
**Вид на центр Сан-Франциско со стороны моста «Золотые Ворота»**

Заставки: **Алла Ходос**

**Взгляды редакции не всегда совпадают со взглядами авторов.**

Редакция не несёт ответственности за неточности и непроверенные факты в опубликованных материалах.

При перепечатке ссылка на альманах «Образы жизни» обязательна.

Альманах издаётся на средства авторов, проживающих в Америке и Израиле.

**Редакция благодарит за сотрудничество**
**международный интернет-журнал «Интерлит» и российский журнал «День и ночь».**

**ISBN: 978-0-9832503-3-3**
**ISSN: 2167-0765**

**Сан-Франциско**

# ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2012

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**


**Елена Макарова**
Послезавтра в Сан-Франциско 4

**Екатерина Короткова**
Жизнь-копейка 20
Кафе - мороженое 41
Испорченный телефон-автомат 47
Кого найду, того убью! 50

**Инна Лиснянская**
И всё о тебе
*Стихи* 66

**Инна Мельницкая**
Прости меня, Италия! 67
Сумерки 78

**Рита Александрович**
Мне кажется, что это не со мной
*Стихи* 83

**Елена Катишонок**
Красные башмачки 87
Урок музыки 90
Язва 92

**Мария Перцова**
Времени тёмные блики
*Стихи* 96

**Марина Саввиных**
Ускользнувшая точка отсчёта
*Стихи* 98

**Ян Бруштейн**
Пространство многоточий
*Стихи* 100

**Владимир Алейников**
Рождение гармонии
*Стихи* 102

**Анна Кононова**
Дорога на парад Победы 104
Мадам Муркиц-джуниор 111

**Лев Бертин**
Цикличность
*Стихи* 113

**Николай Сундеев**
Стихотворения 116

**Татьяна Апраксина**
Смотрю на Фудзияму
*Стихи и рисунки* 120

**Игорь Ильин**
Истории с юга Африки
**Денис Чернов**
*Иллюстрации* 125

**Елена Аксельрод**
Новые острова
*Стихи* 141

**Сергей Сапожников**
Стихотворения 143

**Александр Немировский**
Третий храм постоянства
*Стихи* 145

**Римма Катаева**
Стихотворения 148

**Валерий Дашевский**
Составитель примечаний 150

**Мартин Мелодьев**
Американские посвящения
*Стихи* 154

**М. Трамм**
Записки бизнесмена 157

**Александр Зевелёв**
Бард
*Стихи* 159

**Рада Полищук**
Зига и Зигфрид 162
Моймойша 166

# ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2012


**Алла Ходос**
Летучий Сан-Франциско 172
Липа 175
Обряд посвящения 176
Байка про бабку 178

**Вячеслав Тюрин**
Гражданский дневник
*Стихи* 181

**Инна Мельницкая**
Стихотворения 183

**ПЕРЕВОДЫ**

**Римма Катаева**
Переводы из украинской поэзии 184

**Том Лерер**
Пойдёмте травить голубей!
***Перевод с английского Аллы Ходос при содействии и противодействии Марины Золотаревской*** 185

**Сол Арис**
«Игроки нуль-А»
***Перевод с английского Лины Марковой*** 186

**ПРО СТРАНСТВИЯ И ПРОСТРАНСТВА**

**Александр Трегуб**
По следам цивилизации инков: перуанские приключения 190

**ЧЕМОДАН ЭМИГРАНТА**

**Инна Трегуб**
Прогулка 196

**Лика Галкина**
Генералы, трусцой! 203

**ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ**

**Лина Маркова**
Моя подруга — поэт Марлена Рахлина 209

**Инна Мельницкая**
Марлене Рахлиной 218

**Галина Курляндчик**
Московские каникулы 219

**ЧИК-ЧИРИК**

**Мартин Мелодьев**
Разборка 227

**Алексей Реуцкий**
Рассказы о животных 228

**Марина Золотаревская**
Лисюся 236

**КОЛЮЧИЙ ОЖик**

**Тихон Енькин**
Скоморомное 238

**ФОТОГАЛЕРЕЯ**

**Юрий Золотаревский**
Образы мира 240

**ИСКУССТВО**

**Борис Бернштейн**
Другие смотрящие 242
Дмитрий Янушкевич, художник 252

**Дмитрий Янушкевич**
Живопись и графика 256

**Борис Розенфельд**
***Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить*** 258

**Алла Виксне**
Живопись 262

**Михаил Голубовский**
«А Поворотись-ка, сын!» или об изучении повести «Тарас Бульба» в средней школе 264

**Сведения об авторах** **279**

Елена Макарова

# ПОСЛЕЗАВТРА В САН-ФРАНЦИСКО

(Тетрадь для технических записей начала перестройки)

Наверное, это подходящее название для того, что я хочу написать. Или не хочу. Никогда не развлекалась таким образом. Мне предложил это Р. в качестве одного из наиболее эффективных способов. Способов чего? Он не объяснил, но я догадалась. Сведение счетов — задача техники. Тетрадь для технических записей презентовал мне К. в прошлый сансгивинг. Тогда я только познакомилась с Р. Он сказал, что вся моя философия заключена в слове послезавтра, что когда я жила в Союзе, у меня не было чувства будущего, а здесь мое чувство будущего выражается в формуле n + 1, но я в этом не смыслю. Я переспросила Р., что сия математика значит, а он сказал — послезавтра.

К. говорил, что первая книга у всех писателей выходит правдивой, а потом они начинают вырабатывать неповторимый стиль и завираются. Потому сейчас входят в моду дневники — люди истосковались по подлинности. Но я не собираюсь из себя ничего вымучивать. Это — не для печати, здесь за книги много не платят.

Р. сказал, что каждый писатель — это два человека, живущий и сам над собой надзирающий. Ему не позавидуешь — неужели даже в постели он не может отключиться и все фиксирует? Р. сказал — как когда, зависит от партнерши. По-моему, со мной он не фиксируется, впрочем, кто его знает.

Выходит, все, что я пишу, так или иначе связано с Р. Мне же, когда я решилась на технические записи, хотелось прежде всего избавиться от Р. Он упырь, он присосался ко мне, чтобы вывести героиней своего романа про эмиграцию. Прекрасно себе воображаю, как я там у него буду выглядеть. Капризная эмигрантка со скандальчиками, упрямая и безвольная, но, между прочим, именно из-за него я снова стала курить ваньку с манькой. Упырь и кровосос: когда его нет рядом, я ощущаю его взгляд, он отовсюду следит за мной, под его неусыпным бдящим оком треглаза я переливаюсь разными цветами, как морской скат, и он фиксирует мельчайшие переливы. Нужно было так резко менять свою жизнь, чтобы попасть в зависимость, поди знай, какая зависимость тягостней — от системы или от одного человека. И еще этот чертов кот!

12.2.5. Что за цифры начирикала? Накурилась до галлюцинации. Я — собор, поверженный наземь. Кафедральный собор с Манхэттена, моя голова — шпиль, руки — колонны, чрево — вход, ноги — опоры. Я услышала свой голос: «Кажется, я умерла». Другой голос, наверняка Р., отозвался: «Послезавтра». Как Р. оказался со мной в ателье у Д.? Он меня выследил. Потом все стало тяжелеть и расплываться, не все, а белый собор, поверженный наземь. Может, я совершила ошибку, вернувшись в Нью-Йорк? В кибуце было хоть и скучно, но зато тепло. Нет, после России невыносимы никакие коммуны. Я спросила Р., бывают ли такие люди, у которых нигде нет своего места, нет вообще чувства дома, и он ответил, бывают, раз существую я, именно такой человек. Раз существует такой человек, значит, существует и такое явление, поскольку в каждой частности заключено общее. Меня тошнит от мужской философии.

Ставлю цифры от фонаря, чтобы все запутать окончательно, связать в клубок и вышвырнуть его с четырнадцатого этажа. В Израиле я перекрасилась. Австралийка из нашей комнаты сказала, что зря — седина придавала мне пикантности. Зачем мне пикантность? Приехала одна моя старая знакомая, советская. Её приезд меня добил.

Сорвалась. Наверное, из-за фильма про евреев.

9. 11.1. Лень писать. К тому же я дала себе слово не читать чужих дневников. Не удержалась. Прочла дневник шестнадцатилетней проститутки Перлы из Терезина, по-английски. Когда прочла, обнаружила, что это книга писателя Люстига, все это он сочинил. Ник здесь в безопасности. Он не сможет упрекнуть меня хотя бы в этом, но в остальном... Ник сейчас в том возрасте, в каком были мальчишки, когда их вывезли из Терезина в Освенцим. И Перла в ночь перед депортацией пробралась к ним в барак, чтобы они запомнили женщину, её вкус и её тело. Р. считает, что женщины наслаждаются своей властью над мужчинами, при этом разыгрывают из себя жертв.

10.10.1. Я пожаловалась Р. — устаю. Трудно после целого дня эфира писать. Р. усмехнулся. Только такие невежды, как я, могут думать, что если их научили в школе кое-как излагать чужие мысли,

значит, они уже мастера слова. Долго вещал о том, какой это труд — грамм золота из тонны руды. Еще тот золотоискатель. Чтобы с ним спать, да так, чтобы он отключился и прекратил фиксироваться, — тоже надо быть в форме. Собиралась стелиться, но вспомнила один эпизод. Последний день в Минске. Все собрано, нет сил двинуться. Звонит телефон. Какой-то незнакомый голос спрашивает, не выручу ли я его, нужно написать траурную надпись на ленте, а контора на кладбище закрыта. Спрашиваю как профессионал, какую надпись, на каком языке, какого цвета лента. Голос объясняет. Но я никогда никаких траурных надписей не писала. Почему вы обращаетесь ко мне? А нам, говорит, посоветовали, сказали, что Фаня все умеет.

В принципе, я не собиралась упоминать свое имя. Я не существую. Но раз есть имя — значит, и я есть? Как сказал Р. — в каждой частности заключено общее.

К чему эта история? Просто я представила, как это выглядело бы здесь. Если бы кто-то к кому-то обратился среди ночи с подобной просьбой. Ответ один — человек не желает раскошеливаться на траурную надпись. Поскольку не бывает такого, чтобы контора на кладбище была закрыта. Здесь все работает и все по назначению. Там мы друг друга учили, лечили, утешали, кормили, спать укладывали, — здесь это не проханже. На всё свои службы, это очень удобно, не надо морочить голову людям, нет нужды друг с другом советоваться. Но у нас осталась эта привычка. Хорошая она или плохая? — на это может ответить только Р., но я его об этом не спрашивала. Пошел он куда подальше.

10.5.2. Так и не спала. Вышла ночью за травкой. Повстречала в баре ирландца. Молчаливый и добрый с виду. Он проводил меня до дому. Ник проснулся, поворчал, что ему надоели мои ночные эндвенчесы. Ирландец понял только последнее слово. Успокоил Ника, что он, ирландец, еще никому не причинил зла, кроме самого себя.

1.1.1. Возила советскую на Брайтон-бич. Сфотографировались у океана. Хотела сделать наш двойной портрет, но, как назло, некому было щелкнуть. Она в отпаде. Готова рыдать над этой законсервированной бабелевской Одессой. Купила полпаунда селедки и маленькую икру. Интересно смотреть на все ее глазами. Сыграли шутку в меховом ателье. Снялись в дорогих шубах. Я — в голубой норке до полу, она — в ондатровом полушубке. Сказали продавщице, что предъявим мужьям фотографии, чтобы они сами решили, какая из шуб лучше. Выберут и купят. Взмокли, как мыши, пока все перемеряли. Зашли к матери. Это чудовище живет, чтобы меня терзать. Она купила себе очередное манто. Померили на советскую — тютелька в тютельку. Но мать вцепилась зубами — не перепродаст. Она с беднотой не торгует. Все забыла. Как экономила каждую копейку, которую там не на что было тратить. Разве что на ковры. Но у нее всегда была куриная память. Р. определил мою мать как типичную представительницу черты оседлости, попавшую в рай беспересадочным путем. Когда Р. заводится, он говорит, что я такая же блядь, как мамаша, потом похлеще, а потом хоть святых выноси. В такие минуты он напоминает мне Натана из «Софис чойз». Не хотела бы я кончать свою жизнь с Р., хватив напоследок цианистого калия. Конечно, Освенцим это не совдеп, но и у наших отбирали детей, и наши, возвращаясь после многолетней отсидки, их не находили. Мы с советской долго трепались на эту тему при Р. Р. утверждал, что евреям нечего делать в России, что Америке евреи на пользу, России во вред. Что обострение национальных проблем в нынешней России кончится очередным еврейским погромом. Когда он узнал, что у советской трое детей, схватился за голову. Сказал ей, что у нее потеря волевого импульса. Потеря волевого импульса, по мнению Р., — болезнь интеллигенции в тоталитарных странах. Для евреев такая болезнь может оказаться смертельной. Р. говорил безапелляционно, и советская приуныла. Я сказала Р. в ее защиту, что все не могут уехать, кто-то должен учить, лечить, неужели одни идиоты. Р. ответил, что там, где народ 70 лет занимается самоуничтожением, никакие врачи и учителя не помогут. Тем более евреи. Перестройка напоминает ему труп, который вздрагивает от конвульсий. Я не знаю, зачем он так напустился на советскую, если сам недавно говорил мне, что будь он сейчас в России, неизвестно, уехал бы или нет.

Я дала советской почитать рассказы Р. Она так и уснула с книгой, раскрытой на первой странице. Жаль ее. Купила для нее киви, она и не прикоснулась, бананы тоже не ест: как-то им из Чехословакии привезли банановый шампунь, и ее дочь плакала — зачем бананы переводят на шампунь, лучше бы так дали. У ее детей авитаминоз, короста на голове. Трудно все это себе представить, бедность так же быстро забывается, как боль при родах. Р. считает, что она никогда не очнется, система уже размозжила ей хребет. Я спросила Р., а что с нашими хребтами, все порядке? Р. ответил, что он ответствен только за себя. Но если бы у него были дети, он бы, вне всяких сомнений, уехал. Интересно, почему у него не было детей. Жаль, что я не объяснила советской раньше, что это за человек. Вернее, что за нечеловек. В книгах ему жаль и муравья, а в жизни он беспощаден. Ко всем без исключения. Он сделал ставку на свой талант, — а здесь к таланту нужен еще и успех. В России успешный писатель вызывает справедливые подозрения. Здесь — признание. Р. вывез свой талант, как невесту на смотрины, но она оказалась то ли заумной для жениха, то ли он заломил слишком высокую цену. И провалился. Или всему виной его несносный характер?

Звонила Р. в Бостон, спросила, не видел ли он там советскую. Он сказал, достаточно того, что он видел ее здесь. Сказал, что они знают, кого к нам сюда засылать. Я его покрыла, он обозвал меня лесбиянкой и круглой кретинкой. После приятной беседы с Р. пошла за зельем. Встретила ирландца. Вернулись домой вместе. Ирландец ведет себя странно. Может, он голубой?

Уложила ирландца в гостиной, забрала с собой Кузю. Кот обезумел, рвался к ирландцу. Заперла кота в ванной. Поднял крик. Вспомнила одну историю, хотела рассказать ее ирландцу, но он бы ничего не понял, она такая тоскливая, как привокзальная площадь Минска на рассвете. Кот просто рехнулся. В конце концов я вышвырнула его к ирландцу. Хорошо, что у Ника крепкий сон. Иначе с моими ночными бдениями он бы вырос неврастеником. Ирландец или не спал, хотя свет был погашен, или его разбудил Кузьма, но я услышала, как он увещевает кота по-английски. Эти твари не понимают, в какой стране им повезло родиться, со специальной жратвой и таблетками, убивающими потенцию. Котов здесь не кастрируют, а кошкам не делают полостных операций, чтоб не беременели. Советская рассказывала, как у них погибал щенок, как он мучился, и ничего нельзя было сделать. Вот от этого надо бежать. Бежать оттуда только из-за одного этого. Неужели Р. прав насчет атрофии воли и зря я его пилила? Но дальше с ирландцем была смехотура. Он явился ко мне в трусах, держа Кузьму за шкирку. Он не голубой. К тому же у него еще нашлась травка.

3.103.1. К. приходил к Нику. Решал с ним задачи. Ник называет его отцом. У К. все в порядке. Меня он уже не любит. У него большая клиентура. Говорил, что в последнее время стал засыпать вместе с пациентами. Меня его гипноз никогда не брал. Но наши все его хвалят: помогает очень, особенно в период адаптации. У меня этот период или прошел или не начинался.

Ирландца привлекаю, видимо, не я, а вид с балкона. Придет — и сразу на балкон. За чаем смотрит на меня с собачьей преданностью — у него узкое лицо и близко поставленные глаза. Человек в профиль.

3.101.2. В дневнике Перлы из Терезина есть такое место, где она перебирает последние слова уходящих на транспорт. Подруга спросила Перлу, как она выглядит, мать велела сыну следить за тем, чтобы там у него не промокали ноги. Почему меня тянет читать все эти кошмары про детей и газовые камеры? Неужели, чтобы удостовериться — существование имеет смысл? Я что-то плела об этом ирландцу, но он заснул. Я вышла на балкон в ночной рубахе, захотелось понять ирландца, что же он там высматривает? Вершины небоскребов в рассветных облаках? Фантасмагорическая декорация, сквозь нее проступает минская привокзальная площадь, монументальные сталинские коробки, серо-коричневые, ненавистные. Как в театре — два задника, тот, что ближе, небоскребы Нью-Джерси, тот, что дальше, — минская привокзальная площадь. Я будто бы смотрю на это, одновременно находясь внутри, между двумя задниками. Нет, ирландец видит что-то свое. Может, сквозь небоскребы проступает его Дублин? Мой друг, шестидесятилетний герой Семидневной войны, запрезирал меня, бегущую из Израиля. Как объяснить ему, что я никем себя не числю: ни еврейкой, ни русской, ни советской, ни даже Фаней Л.?

5.10.5. По телевизору идет фильм по Воку. Сегодня кадры расстрела в Бабьем Яру перебили рекламой пылесосов. Американцы не могут долго этого выдерживать. Им нужно знать, вот это было тогда, а сейчас — бесшумные пылесосы. Американцы не зацикливаются. После пылесосов продолжается расстрел. Очень натуралистично. Затем демонстрируют прибор для проверки содержания калорий в сыре. Наши считают это признаком душевной тупости. А по-моему — здоровья. Недавно мы с советской были в Метрополитен. Там есть такая американская картинка — рыжая лиса бежит по белому снегу, над ней два коршуна. Вот-вот выклюют ей печень. Зато на заднем плане — роскошный водопад, деревья, вода блестит. «Здоровые люди, — заключила советская, — не переносят трагизма, драму еще как-то могут допустить, но с хэппи-эндом». «И чтобы был фан», — добавила я. Я сказала советской, что не только американцам нужен счастливый конец. Просто в России быть счастливым неприлично. Помню, как я рыдала тайком, какой переживала катарсис, когда доярка, после каскада неудач, в финале повышает надои и выходит замуж за председателя колхоза. Над чем я плакала? Я же видела, что все это липа. Над тем, что человек бился и добился. Что вообще возможно чего-то добиться.

Отобрала для советской обувь и одежду. Все новое, с бирками. Р. покупает дом в пригороде Бостона. Он сказал, что там я могу осуществить свои мечты по маковым плантациям. Р. хочет меня добить. Ночью кричал на меня, чтобы я ответила ему всего на один вопрос: прав Чаадаев или не прав, что история России бессмысленна? Я призналась, что не читала Чаадаева, он меня ущипнул. Не сильно, но злобно. Все русские сумасшедшие, особенно евреи. Зачем Натан мучил Софи, хватило с нее Освенцима. Натан похож на русского еврея, истерик, в хорошем расположении духа — само очарование, в дрянном — садист. С кого его списал Стайрон, наверное с Р. Кузьма защитил меня, оцарапал Р. щеку. Р. его вышвырнул к Нику. Ник, совершенно сонный, явился к нам с Кузьмой. Это напомнило мне ночь с ирландцем. Я расхохоталась. Р. стал допытываться, чего я смеюсь. Я не могла остановиться. Тогда Р. зажег настольную лампу, напялил очки и вперился

в меня. Так художник примеривается к натуре, ищет ракурс, а Р. — место в романе, куда поместит меня, голую и хохочущую. Чего он не узнает — причины моего смеха. Что-нибудь придумает. Но лучше не придумаешь. Сюжет: кот — главное лицо, ирландец, я и Р. — второстепенные актеры третьестепенного фарса.

2.5.100. Новое веяние — ресторан «Гласность». На потолке русскими буквами написано: «Съел — и уходи». Наша беспардонность. Но американцы не поймут, а для русских это родное, привычное. Для них это фан. Продают майки за 20 долларов с портретом Ленина и за 15 — с надписью «Перестройка». Ленин на пять долларов дороже перестройки. Выпила кофе, дешевый, за 50 центов, попробовала клюквенного варенья. За полчаса никто не пришел. Только один сумасшедший, на вид типичный русский псих, но говорящий по-английски. Маскируется. Спросила хозяина, как идут дела. Он сказал: «Только открыли, пока не густо». Ассортимент приличный. Рядом — ресторан «Руслан», дорогой. «Гласность» перешибет у «Руслана» клиентов. Помню, в Цюрихе чех-эмигрант пытался объяснить мне разницу между европейской ментальностью, с одной стороны, и американо-советской — с другой. Американцы и Советы, по его мнению, хотят научить Европу уму-разуму. Европа для них — это такая чокнутая старушка, которая что-то бормочет про себя, но Америка и Советы не желают напрягать слух. А европейская культура на самом деле это что-то внутреннее, сокровенное, к чему надо подходить не спеша и с почтением. Мне часто мужчины рассказывают интеллектуальные байки. Наверное, из-за моей обманчивой внешности, на вид я точно не дура. И умею слушать молча. В конце концов чех признался, что это было такое неудачное, спекулятивное оправдание европейской ментальности. «А что, как вы думаете, Европа действительно погибла в 14 году? — спросил он у меня. — И это всего-навсего мертвая зона?» Было больно слушать его, лишившегося родины из-за нас, советских, из-за наших танков, которые вечно лезут куда их не просят. Это я понимаю, но почему Европа погибла в 14 году? Мы пили с ним пиво, он рассказывал, что был редактором какого-то журнала при Дубчеке. Теперь печатается в эмигрантской прессе. Все — в прошлом, настоящего нет. Наверное, им тяжелей в эмиграции, чем русским. Прага так близка и так недоступна. Почему-то такие встречи, не имеющие никакого развития, случайные, долго помнятся. Совпадение настроений, глобальный шмерц, и вот два человека сойдутся, говорят на черт знает каких языках и понимают друг друга. Флюид ностальгии? Ты тщательно прячешь его, загоняешь во тьму, но он вырывается на свет, находит зажженную яркую лампочку под оранжевым абажуром, и другой человек смотрит на другого обезумевшего мотылька, и видит тебя, и вы встречаетесь на короткий миг. Пока мотылек не улетает на поиски нового источника света. Нет, ностальгия — это не мотылек. Просто тоска. И вовсе не по родине. По неосуществившемуся.

6.200. Ирландца в кафе не было. Прошлась по центру. Снова вернулась в кафе. Нет. Вернулся на родину?

18.18.18. Мое любимое число. Звонила советская из аэропорта в Джерси. Летит в Итаку, в Корнел, где преподавал Набоков. Я млею. От одного ее голоса. Неужели Р. прав, я влюблена. Когда она повесила трубку, я подумала: с чем бы мне было жаль расставаться? Наверное, с чувством влюбленности. Вернее, с предощущением возможности любви. Но это, конечно, не относится к советской.

6.2.100. Набираю статью Р. о русской интеллигенции. Сколько уже понаписано об этом! У Р. пунктик: интеллигенция всегда мешала государству. Ее истребляли и не истребили. Неряшливые, с землистыми лицами и мешками под глазами от ночных бдений, из века в век проворачивающие одни и те же идеи, интеллигенты не перевелись в этой богом забытой стране. Русская интеллигенция бескорыстна. В любые времена, в маленьких прокуренных кухнях, она кучкуется группами, по пять-десять человек.

У Р. явная ностальгия по прокуренным кухням. При первом чтении я предложила придумать что-то вместо кухонь, ну все об этом пишут, даже советолог Кевин Клосс. Р. не согласился — ему наплевать, кто что пишет. Все дети рисуют солнце и не боятся повторов.

Р. расспрашивал советскую, собираются ли теперь, в перестройку, интеллигенты на кухнях, о чем они говорят, верят ли в гласность.

Советская ему на это ответила, что у них пропала зубная паста и все моющие и чистящие средства. Так что все интеллигенты теперь собираются на грязных кухнях, едят из грязной посуды, и зубы у них желтые не от никотина, а от отсутствия зубной пасты. На это Р. ответил, если ты добровольно выбрал свинское состояние — хрюкай, но советская сказала, что его предложение неконструктивно. Р. ответил, что конструктивные предложения в совдепии никогда не находили отклика. Они там не работают. Зачем он так напустился на нее, если совсем недавно говорил мне, что если б он сейчас жил в России, неизвестно, уехал бы он оттуда или нет.

8.5.1. День рождения Ника. Полночи поливала индейку водой. Грейт! Пришли ребята из школы, с девушками. Мы такими мечтали быть, но не были. Мы переплачивали за импортные шмотки, чтобы выглядеть как иностранки, но выглядели жалкими подобиями. Внешне свободные, внутренне зажатые. Меня приводят в восторг их походка враскачку, их маленькие грудки

под свободными свитерами, природная грация — такими нельзя стать. Т. прислал поздравительную телеграмму. По-русски, латинскими буквами. Пишет, что приедет посмотреть на взрослого сына. Ник похож на Т. Но он его не помнит. И своим отцом считает К. Иногда мне хочется, чтобы меня втоптали сапогами в грязную лужу.

6.6.6. Ирландец или шутит или молчит. Курит он для кайфа. Я — чтобы забыться. Но это же своеобразный кайф. Когда все расплывается и исчезает. Советская сказала, что я сильная, что найду выход. Но она судит по себе. Она там выживет, а я — здесь — сгину.

После работы прошлась по Централ-Парку. Американцы планируют жить 200 лет. Не курят, бегают и гоняют на велосипеде. Иногда они раздражают. Как раздражают трезвые пьяных.

7.6.5. Ирландец сказал, что мое существование — открытие. Он открывает себя через меня, как яблоко через граненый стакан. Не художник ли он часом? Я спросила, видел ли он картины Петрова-Водкина. Фамилия его рассмешила. Узнал слова «водка» и «Петр». Не слышал имен Ахматовой, Мандельштама, только Пушкина и Евтушенко. Сказал, что у русских слишком много писателей. Зато у ирландцев — один Джойс, и что самая лучшая штука Джойса — «Поминки по Финнигану».

Написана на разных языках, перевести ее невозможно. Литература для себя, для кайфа — это честно. Сегодня он был на редкость разговорчив.

Р. такое суждение не убедило. Он сказал, что Элиот, Джойс и все, как он выразился, герметисты — нарциссы по сути, а главная функция литературы — проповедничество. Обрушился на буржуазную культуру. Иногда Р. рассуждает совершенно как партийный босс. Хотя ненавидит партийцев. Наверное, лучше быть просто другим. Ирландец ничего из себя не строит.

8.7.6. Купила советской юбку точно под цвет ее глаз, с воланами на бедрах и узкую от колен. Может, она прекратит таскать джинсы? Какой бы она стала конфеткой, если бы дала себя подстричь, одеть и накрасить. А что если ирландец — писатель и собирает на меня материал, как Р.? На что я им сдалась?

8.10.12. Разбудила бомжа в метро, устроился прямо под телефоном-автоматом. Пока я говорила с Ником, он недовольно бурчал. Предложила ему перебраться отсюда в более спокойное место. Он молча встал, нацепил одеяло на нечесаные патлы, такое огромное животное, Тарзан, — и удалился. А мешок с барахлом не взял. Чего там только нет — тряпки, бутылки, все с помойки. Интересно, вернется он за своим скарбом? Представляю, сколько бы народу валялось у нас в метро и на улицах, если бы их не гоняли менты. Помню, мы с четырехлетним Николкой летели 29 августа из Минвод. Двое суток спали на раскаленном асфальте на картоне из-под тары. Все газоны были заняты. У Ника начался понос, рвота. Я оставляла его одного, металась по кассам, пробивалась к начальнику. Если б это животное потребовало билет за меня, я бы дала не задумываясь. Все бесполезно, ждите, ждите, может, будет дополнительный рейс. Спасибо, нашелся какой-то фотокорреспондент из Москвы, он отдал нам свою бронь. О том, как я доберусь из Москвы в Минск, не подумала. Три дня с больным Ником проторчали у людей. Но это все равно не сравнить с Минводами. Воды нет, простой воды, какая там минеральная, еда — пережаренные пончики с повидлом. После этих пончиков Ник еще месяц болел. Нет, как вспомнишь все это…

Советская сказала, что в Череповце два месяца не было ни капли молока. О таких вещах, как мясо, они и думать забыли. Бедная советская, с каким восторгом она наблюдает, как я загружаю посуду в мойку, как ей нравится сидеть в прачечной, пить сок и наблюдать за шарабаном. Все без очереди, все спокойно. Иногда кажется, что она нагнетает, рассказывая о миллионе детей в домах ребенка, о том, как видела в доме ребенка, в центре Москвы, шестимесячного опревшего малыша, с кровавыми язвами в паху, он кричал от боли, а нянька сказала советской, что она за 70 рублей в месяц не будет говно убирать. Еще рассказывала об исходе дебилов, как недавно решили, кто решил — неизвестно, дебилов с родителями отделить от дебилов-сирот, и как она была в доме на Кирпичной, куда свозили дебилов-сирот, и как они мычали и отказывались от еды и питья. Но если ничего нельзя сделать, как же можно на это смотреть, зачем она туда ходит? Ответ сразил наповал: «Для сбора материала для диссертации на тему: *Проблема выживания в условиях ограниченных ресурсов*. Чехов поехал на Сахалин не лечить, а переписывать население. Один человек не может одновременно решать две задачи. Разумеется, когда видишь таких детей, первый импульс что-то сделать для них, но потом видишь еще и еще таких детей и понимаешь, браться за кого-то конкретно, все равно что забивать микроскопом гвозди. Так что моя задача на этом этапе — поставить проблему».

Пока советская это говорила, я вспоминала ее в Минске. Обычно она помалкивала. Тихая беременная жена при буйном муже, усатом-бородатом-волосатом еврее, создателе огромного эпоса в стихах о путешествии Ионы в чреве кита. Он читал его главами в доме у К. Все изнемогали от тоски.

Советская сказала, что теперь есть шанс издать роман. Удивительно, сколько лет прошло, а роман не утратил своей актуальности! Будто Библия ее утратила! Они давно живут в Москве, муж ее с

недавнего времени легально преподает иврит, а она работает в каком-то социологическом институте, занимается малыми вымирающими народностями — чукчами, гагаузами, я не слышала о таких. «А евреи по какой статье проходят?» — спросила я ее. «По семидесятой», — сказала она весело.

10.10.10. Маниакальный психоз. Пробовала разыскивать ее через знакомых в Вашингтоне. Там она так и не объявлялась. Купила ей купальник. Не знаю как понравится. Но она же нормальная баба, не ханжа. Ирландец нацепил купальник себе на голову, сказал: «Секшл лав». У них одно на уме.

Советская, что ни говори, ведет себя корректно. Все уговаривают ее уезжать, объясняют ей преимущества свободы, будто она и без нас не видит! Родить троих детей в таком кошмаре, заниматься кошмаром в кошмаре — какая нужна воля! Р. говорит, что это не воля, а целеустремленность, целеустремленность — признак ограниченности. Тогда он тоже ограниченный. Зато я — свободная. Мне с детства нравились романы, они мне заменяли все. Из школы помню — гомозиготы, гетерозиготы, кое-какие выдержки из кое-чего и мнения того-то о том-то. Из библиотечного института только уборную, где польки из Западной Украины торговали косметикой и лифчиками, и сексуального маньяка по капээсне, который на зачете лапал всех подряд. Слушает, а сам под столом под юбками шарит. Такие вещи запоминаются! Эх, звенеть бы в каком-нибудь ресторане «Черное море» или «Очи карие». Русские романсы исполняет жидовочка Фаня Л.!

1.1.0. Дозвонилась до М. Советская у них. Пьют, гуляют, вспоминают. Никто не изменился. Это они шутят. Не стала звать ее к телефону, чтобы не навязываться. Вечером набирала книгу Марченко. Поразительный язык. Таких описаний Сибири не сыщешь у Распутина. А как рыбу ловили! Никогда там эту книгу не напечатают. Рабочий, который дотумкал все про систему. Такие рабочие им не нужны. Я похвалила Р. «Живи как все», и зря. Он сразу: «Конечно, это факт литературы, но нет синтеза. Это воплощение без перевоплощения». Я рассердилась: «Но это же правда, кожей ощущаешь атмосферу преследования, видишь человека в кафкианском пространстве, как он рвет рукопись, выпрыгивает из окна, как его берут в метро, — наш вермонтский мыслитель тоже скептически отозвался о первой книге Марченко. Это у вас ревность». Ирландец сказал, что философы и шахматисты приведут мир к катастрофе. Я спросила, почему шахматисты. Он не ответил. Может, он шахматист? Интересно, что все размышляют о том, что приведет мир к катастрофе, в то время когда она уже произошла. Присутствия ирландца в доме не замечаешь. Впрочем, как и его отсутствия.

12.12.1 Может быть, эта странная нумерация содержит какой-то скрытый смысл? Надо обратиться к кабалисту. Если уж в броуновском движении есть структура, то в моей нумерации она есть и подавно. А что если бы мне открылся ее смысл? Вспомнила: иду в школу, первого сентября в десятый класс. Обычный путь — мимо бетонной ограды детского сада. И вдруг понимаю — точно такая же бетонная стена отделяет меня от чего-то, что я не могу постичь. Но от чего? Неизвестно, потому что это что-то за бетонной стеной. Ощущение сходное с тем, когда ты хочешь вдохнуть полной грудью и не можешь. Воздух доходит до гортани — и обратно. Нет, и это не похоже. Не знаю, как выразить. Бетонная стена — и все. И ты не понимаешь, ты действуешь как в ослеплении, словно тебе в глаза направили прожектор, тебя все видят, ты — никого. И ничего. Вещи не существуют отдельно от тебя, но ты же понимаешь, что они существуют. И в каждой свой смысл. Я никому этого не могу объяснить.

12.1.12. Почему я пишу «советская»? У нее есть имя, обычное, типа Лена-Таня-Оля-Галя. Может, я все-таки в глубине души рассчитываю опубликовать дневник? Тогда советскую опознают. Дать ей вымышленное имя? Но я поклялась не называть никого, кроме себя и Ника. Всех обозначить вымышленными инициалами. Назвать ее Э.? Пусть будет Э. Во всяком случае на эту букву нет ни одного ругательства. Присутствие Э. успокаивает. Все хорошее хочется прибрать к рукам. Так и с Э. Но она прилетит в Нью-Йорк на несколько дней, и у нее тысяча планов. Она боится чего-то не успеть, наверное установка на «сегодня» — так как неизвестно, будет ли завтра, — делает человека активным. Моя же философия — послезавтра, которую мне припаял Р., — располагает к оправданию внутренней неподвижности. Все переносится на послезавтра. Советская назначает на один день пять апойнтментов. Носится на такси, хотя я ей объясняла, что все нормальные люди в Нью-Йорке назначают на один день максимум два апойнтмента. Когда я говорю ей это, она сердится: у американцев есть хоть какая-то уверенность в будущем, поэтому они планируют жизнь на несколько лет вперед, у нее этого нет, она должна выложиться по максимуму.

Увидела у меня на столе дневник Перлы, влепилась в него сразу. Рассказы Р. читать не стала. Меня это огорчило. Говорит, в дневнике Перлы узнала некоторых персонажей, например, под художником — Фритту. Смотрели с ней сериал по Воку, узнала Терезин. Нашла, что Вок ошибся в некоторых деталях. Например, у главной героини отнимают в Терезине пятилетнего ребенка, такого не было. Пятилетние дети там жили при матерях, а когда матери работали, за детьми следили воспитательницы. Откуда она знает? Изучала систему здравоохранения в лагерях, но и попутно кое-что прочла. Зачем? Для того же исследования про ограниченные ресурсы. Я сказала Э., что сошла бы с

ума от таких исследований. Она согласилась: с одной стороны, это тяжело, с другой — обнадеживает. Ей важно проследить момент, когда у человека, дошедшего до полного нуля, открывается второе дыхание. Шмерц! Я сказала ей, что ее исследования — это попытка доказать самой себе, что там можно жить. На втором дыхании. На это она ответила — ей больше нравится общаться с американцами, они не лезут в душу. Нет, я только под травкой ощущаю прилив сил и абсолютную уверенность в том, что живу накануне грандиозного открытия, еще пару затяжек, рухнет бетонная стена и тогда . . . Что тогда?

9.8.1. Видела во сне Ф. Как я приезжаю к нему в Цюрих, в какую-то гостиницу в мелких цветочках. И застаю его с Евой, нацисткой, белокурой гадиной, которая говорила, что еврейскому вопросу придают слишком большое значение, что сколько их ни истребляй, они все равно вылезают и прибирают денежки к рукам. Я ее избила. В пивной. Меня посадили, нет, это не сон, меня привезли в участок, и я должна была или заплатить кучу денег за оскорбление ее гнусной личности, — нос я ей расквасила неплохо, — или отсидеть за хулиганство. Ф. нанял адвоката, проклиная меня последними словами. Нет, это не сон. Во сне он будто бы спит с этой курвой, я кричу на него, он выходит в коридор и собирает там цветы с обоев. Дарит мне это пестрое обойное крошево. Оно просыпается сквозь мои пальцы на ковер, гостиничный пол — луг с мелкими полевыми цветочками. Что будет Ф. за разодранные стены? Потом мы возвращаемся в номер, никакой Евы там нет. Он как будто бы Натан, я как будто бы Софи. Он спрашивает меня, как я выжила. Я объясняю, что мне ничего не оставалось, как вернуться в совдеп. В Цюрихской тюрьме можно было бы неплохо пожить, но адвокат быстро закрыл дело,— получил свои денежки, чего Ф. мне не смог простить. Кажется, он так и остался с этой, нет слов, кем. Во всяком случае, в Штаты не вернулся. Как я была в него влюблена! Если б не эта скотина, никогда бы не узнать, какой подонок Ф. Интересно, она знает, что он еврей! Все вру. После того как я вернулась из тюрьмы, я еще три месяца жила с Ф. Унижалась, приставала к нему, липла, как репей. Причина? Красивая жизнь в Европе без Ника, без матери? Наслаждение от того, что тебя топчут и растаптывают? Наконец-то тебя растаптывают! Вдруг за бетонной стеной живет миролюбивое чудовище — оправдание, которого я так жажду?

0.0.1. Пока я здесь занимаюсь плетением кружев, Р. пишет мой монументальный портрет. Затем и бросил меня, — большое видится на расстоянии. Между прочим, я сейчас заметила, что по отношению к Р. — сплошь скепсис. Работа на вытеснение, объяснил мне К. У Р. прилив любви к прототипу. Сказал, что одно мое желание — и весь роман полетит в тартарары. Я спросила: мое или прототипа? Хотя неизвестно, где я, а где мой прототип.

Э. рассказывала, что ее близкая подруга, талантливая писательница, сочинила повесть про режиссершу. Ту, что поставила в театре другую повесть писательницы, из книги. Я спросила ее фамилию, но Э. сказала, что она мало кому известна. Дело в данном случае в самом сюжете. Режиссерша разыскала писательницу, чтобы пригласить ее на премьеру спектакля. После премьеры писательница написала повесть о режиссерше. Потом, когда они сдружились, она ей дала прочесть эту вещь. В повести писательница свела режиссершу со старым генетиком, отбывшим лагеря, умным, добрым и совершенно одиноким. У режиссерши не было квартиры, она поселилась у генетика, к его большому удовольствию. Параллельно у нее начался роман с молодым врачом, который собирался уезжать. В то же время ее театр закрыли по идеологическим причинам, жить ей стало не на что и нечем, врач предложил ей уехать с ним. Но как оставить генетика? Он уже совсем стар, не может за собой ухаживать. К тому же с ее стороны это не просто благотворительность. Это духовная близость двух людей разных поколений, одиноких и ненужных никому. Она решает остаться. На режиссершу роман произвел оглушительное впечатление. Она сказала писательнице, что в нем вся правда о ней и нашей жизни, что писательница проникла в такие закоулки души режиссерши, о которых она и знать не знала. Но финал ее огорчил. Она решила не поддаваться на литературную провокацию и уехать. Хотела в Америку, попала в Израиль. Звонит теперь писательнице из Иерусалима и плачет. Если бы и вправду на свете существовал этот генетик, она бы с ним осталась. Но генетик-то существует! Просто писательница свела в повести двух известных ей людей, не знакомых друг с другом.

Как же тогда быть с романом Р.? Неизвестно, какой финал он мне предуготовит. И как поступать — в соответствии с ним или вопреки ему? Интересно, что я делаю на его страницах? Шляюсь по ночному городу в поисках травки и ирландца? Или он с бунинской страстью описывает мой атласный халат и блеск глаз? По-моему, ему должно мешать все то, что он обо мне знает. Разумеется, он не преминет описать сигарету, описывающую круги между большим и указательным пальцем, яркая деталь. Нервический смешок? Нет, банально. Может, он поместит меня в тот корабль, что плыл из Германии в Сент-Луис с евреями на борту и вернулся домой ни с чем, — евреев не взяли. Не схотели их здесь тогда. И скоро снова не схочут. Перестройка. Чтобы переделать меня в немецкую еврейку, Р. придется сильно попыхтеть.

2.0.0. Мать вознамерилась съездить в Россию. Что вдруг? Хочет посетить родные могилы. А тетю Этю? Свою любимую сестру, которой она не

выслала отсюда ни одной посылки? Решив отъехать к родным могилам, она стала сентиментальной. Рассказывала Нику, как мы хорошо там жили, в тесноте да не в обиде, все вместе, а теперь ее все забыли. Уж ей-то жаловаться! Отдельная квартира, окна на океан. Послушать ее — так непонятно, зачем было уезжать. Соседи добрые, город чистый, продуктов хватало. Все это она говорит, чтобы досадить мне, ждет, когда я взорвусь. Но я беру пример с Ника. Он слушает ее, поедая жаркое, обгладывая тщательно куриные кости — как он напоминает своего отца! Невозмутимостью, умением пропускать мимо ушей все, что его не интересует. Говорят, у Т. набожная жена с вечной мигренью. Может, все к лучшему. Пришлось заводить драндулет и везти мать на Брайтон. Остаться у нас — ни за что. Зачем ей эта теснота и сигаретный дым! На обратном пути завернула в Сохо. Долго крутилась, негде было запарковаться. В праздники ужасный трафик. В ателье у Д. полно советских. Авангардисты. Сейчас они в моде. Их охотно берут. Д. представил меня как прославленного диктора. Кто-то из советских божился, что слышал мой голос. Теперь не глушат даже самую безобразную радиостанцию, на которую Р. меня сосватал.

Рассказывали: Вейзберг умер, Сидур умер. Ругали совдеп. За что его любить, таких художников загнал в могилу. Я-то не знаю ни Вейзберга, ни Сидура, ни Элиота, ни Джойса, ни герметистов, ни концептуалистов. Авангардисты — концептуалисты или нет? Я — плебейка. Но иногда, спьяну, наберусь смелости и спрошу: а кто такой Сидур? К примеру. Но только спьяну и только, когда в себе уверена.

Д. разглагольствовал про язвы совдепа. Любит пошуметь, но он настоящий работяга. Д. говорит: американцы щедро раздают лавры, не боятся перехвалить, а наши — об очевидном гении не скажут доброго слова. Потому что мы — дети совдепа — говорим только от лица миллионов, несем партийную ответственность за свои слова; мы представляем собой или весь континент или, при невероятной скромности, всю страну. Советские кивали. Они похожи на мужиков, которые, согласно петровскому указу, явились бриться. Д. — Петр I, высоченный и бритый под нуль, произносит перед ними речь о пользе безбородости, — и они согласно кивают. Когда я уходила, Д. извинился, что не уделил мне должного внимания. Я спросила, какое это такое, должное внимание. Он захихикал. Мужчины такой народ, пусть они сто лет тому назад случайно переспали с какой-то бабой, они уже считают ее своей, мол, только снова захочу... Наплевать. Все-таки это единственное место в Нью-Йорке, куда можно завинтиться без звонка и в любой кондиции. Д. меня не раз выручал, так что я на него не в обиде. Могу и впредь припираться сюда, когда вздумается.

2.1.85. После Марченко трудно набирать А. Все правильно, но скучно. Бросила. По пути к матери зарулила в кафе. Ирландец на месте. Наверное, у него никого нет. Или ему здесь нравится? Помню, когда мы прилетели в Вену, меня поразила одна старушка. Она пришла в ночное кафе со своим бисквитом. Ела его аккуратно, ложечкой, ни с кем не разговаривала. Поела и ушла. Я спросила у приятеля К., поляка-эмигранта, зачем она пришла сюда, ночью. Он не понял вопроса. Захотела и пришла. Но зачем? Захотела и пришла, повторил он. Теперь мне это вроде бы понятно. Пока я относила матери деньги, ирландец спал в машине. Он был не совсем трезв. И чем-то опечален. Или мне показалось? Часто свое состояние переносишь на другого, но скорее всего он действительно был огорчен.

Прошлись с ним вдоль океана. Обычно здесь ветрено, но этот вечер был тишайшим. Сонный океан. В России уже снега, а здесь все цветное. Прожекторы высвечивают яркие пятна — желтый клен, серебряный клен, красный куст, не знаю, что это, — и темно-синее небо с океаном. Ирландец молчал, а я вспоминала, как прошлой осенью летела в Вашингтон через Филадельфию на малюсеньком самолете. Земля была близко, извилистая, с прожилками лесов, с волнистыми краями полей, ничего квадратно-гнездового, — и вдруг дух захватило от благодарности этой земле, ее свободному существованию. Ирландцу такого не расскажешь. Он не любит патетики. Впрочем, кто знает, какой он и что он любит? Я спросила его про Ирландию. Оказывается, он там не был. Его родители приехали в Штаты задолго до того, как он появился на свет. А как же Джойс, «Поминки по Финнегану»? Может, он выдумал, что он ирландец?

1.0.18. Звонила Э. из Вашингтона. Сказала, что разыскала Люстига, автора Перлы. В восторге. Точно такой же, как на фотографии, с шарфом, заправленным в ворот белой рубахи. Люстиг водил ее в ресторан, рассказывал про воровство в Терезине, он пацаном ловко крал и его за это все уважали. Сказал, что воровал и в Освенциме. Она еще минут пять пересказывала Люстига, — я не вслушивалась. Думала, понимает ли она, какой подарок мне ее звонок. Я-то решила, что ничего для нее не значу, так, место, где можно спать, хотя без особого комфорта. Э. уверена — мне непременно надо познакомиться с Люстигом. Этот человек способен поддержать мой дух. Может, познакомиться? Неужели она думает, что встреча может что-то изменить? Кажется, меня бы не спас и сам папа римский. Впрочем, для чего спасать? Что уж такого со мной происходит?

20.5.70. Р. в эйфории. Роман движется к развязке. Я спросила, не слишком ли он спешит. Р. сказал, что спешит не он, а текст. Он буквально рвется вон. Наводил справки о нашей минской квартире.

Будто я ее ему не описывала! Все повторила: обычный сталинский дом, с большими лестницами, квартиры с высокими потолками. Три семьи, в каждой комнате по одной. Очень типично и малоинтересно. Предложила ему более романтический вариант. Квартиру нашей с Т. приятельницы в Риге. Примечательная деталь — такая узкая улица, что можно дотянуться рукой до противоположной стены. В доме напротив потрясающий персонаж — Изида. Она лежит на кровати, у открытого окна, голая по пояс, между грудями — пепельница, иногда клиенты приносили ей кофе в постель, чашку она ставила рядом с пепельницей. Монументально, но Р. не воспламенился. Его интересовал интерьер нашей квартиры. Описала: ковры кругом, — страсть матери, — портрет отца на стене в военной форме, три кровати и стол посредине, круглый, под плюшевой скатертью. Ваза с искусственными розами в центре. Это его устроило. Пусть пишет это. А может, теперь я у него буду не только жонглировать сигаретой, но лежать под портретом отца с пепельницей меж грудьми? Технические записи идут мне на пользу. Начинаю тихо ненавидеть Р.

1.0.94. Из-за нумерации не понимаю, что когда было. Срочно нужен кабалист. Тот день, когда я описывала Р. нашу квартиру и Изиду, закончился весьма плачевно. Для Р. Он примчался из Бостона, видно, выехал сразу после разговора со мной, видно, учуял что-то неладное, то есть именно то, чем я завершила предыдущую запись. У него ключи от квартиры. Мы же с ирландцем гульнули. Были в тайваньском ресторане. Ели грибной соус и маленькие шашлычки, невероятно вкусные. Выпили, само собой. Так что были навеселе, если такое применимо к ирландцу. Он всегда примерно в одной кондиции. Я, может быть, кокетничала больше обычного, хохотала, как говорит Р., зазывно. Р. встретил нас не очень, скажем, приветливо. Ирландец сел за стол, как обычно, в ожидании чая. Р. завелся с полуоборота, кричал, что я загубила не только его, но и его вещь, я пыталась утешить его: «Напротив, ты углубишь характер»; на мою издевку Р. прорычал как раненый тигр, сказал, что готов убить меня на месте, я спросила, что ему мешает, он сказал, этот твой, так его растак, и чуть не кинулся на ирландца, хотел выхватить у него из рук детектив, который тот уже две недели исправно читает, — но ирландец встал и ушел на кухню, лучше бы он ушел совсем. Но он вернулся со стаканом воды для Р. Тот выплеснул воду ирландцу в лицо, ирландец снял пиджак, встряхнул его и повесил на стул. Р. скинул пиджак на пол. Ирландец поднял пиджак и ушел в комнату, где, как считает Р., имеет право находиться только он. Я стала удерживать Р., хорошо, что Ника не было дома. Но я боялась, что он вот-вот вернется и застанет эту сцену. Ирландец тем временем высушил пиджак утюгом, я это поняла только после, когда увидела расставленную гладильную доску, попрощался со мной и пошел к лифту. Я выбежала вслед за ним. Но он не требовал ни объяснений, ни извинений. «Не люблю Достоевского, слишком похоже на жизнь», — сказал он, входя в лифт.

Когда я вернулась, Р. лежал на нашей постели, уткнувшись в подушку лицом. Я приподняла его за плечи. Он плакал. Он плакал, как маленький мальчик, повторяя: «Я так и знал, я так и знал». Я легла с ним, но он отодвинулся на другой край. Тогда я ушла в гостиную. В голову лезло черт те что. Я не могла разобраться в своих чувствах. Скорее всего, мне все было противно. Но более всего я была отвратительна сама себе. Потому что мне было страшно потерять Р. Ирландец ирландцем, но с Р. меня многое связывает. Терять страшно, даже когда умом понимаешь, что это к лучшему.

18.17.16. Р. уехал до того, как я проснулась. Посмотрела на себя в зеркало. Неужели вон та, это я? Седая, с мятым лицом, разводами туши под глазами? Какая-то старая грымза с картин Тулуз-Лотрека.

Куда бы спрятаться, зарыться с головой? Напустила полную ванну воды. Под водой тело разгладилось, уже не такое противное, как в зеркале. О чем думает старая б. ..? Разумеется, о первой любви. Мне было двадцать, ему — семнадцать. Я уже встречалась с Т., отцом Ника, но там ничего не было, кроме обычных отношений между людьми противоположного пола. Собственно, они и завершились потом, через полтора года, рождением Ника. Мальчик кончал десятый класс, писал стихи, поразительные, как тогда казалось в провинции, нет, вру, провинция тут ни при чем, стихи были талантливые, жаль, не осталось в памяти ни строчки, но я и классиков не помню, так что это не показатель. Сейчас мне кажется, что он был похож на юного Блока — курчавый, большелобый... Впрочем, не помню. С Блоком — неправда. Аберрация зрения. Просто хорошенький мальчик. Поэт. Мальчик знал про существование Т., он писал мне стихи в тетради, тетрадь не пропустили таможенники, во всяком случае, я их хранила. Разумеется, была весна. Тогда казалось невероятным чудом — любовь весной, какое совпадение, ай-ай-ай, но сюжет избит, исполосован ремнями литературы. Если бы можно было переделать прошлое, я бы поселила наш роман в лютую зиму. Но и зимние романы обрисованы классиками. Никуда не денешься. Значит, был прекрасный весенний день, когда впереди целое лето, трава зеленая, мелкие цветочки, голубенькие, беленькие, желтенькие, самые первые, не знаю, как они называются, очень нежные. Я ощущала кожей или подкожей, как его влечет ко мне и как он борется с собой. Зачем, подумала я. И соблазнила его. Все произошло, как говорится, стремительно, мальчик был счастлив, а я свернулась калачиком, уткнулась

головой в траву. Хотелось превратиться в улитку и чтобы кто-то наступил на панцирь и раздавил его. Мальчик меня утешал, обещал завтра жениться. Когда я развернулась, то увидела холмистый ельник, с которого мы сбегали на эту поляну, я что-то такое почувствовала, то ли страх, то ли испуг, и снова свернулась в улитку. Помню, деловито прошмыгнул муравей, огромный, как слон, за ним еще один. Мальчик курил и гладил меня по панцирю. Я все слышала — жужжание проснувшейся мошки, шорох пробивающихся сквозь землю стеблей. Мы проскитались с ним все лето по каким-то лесам, деревням, а потом его мать сделала все, чтобы отправить его в армию. Когда он вернулся, это было страшно. Это было страшно, потому что вернулся не он. И никто никогда не разубедит меня в том, что армия — это конец. И я сказала Т.: «Мальчиков нужно увозить». Нику тогда не было и года. Выходит, я здесь благодаря поэту. Благодаря той минуте, когда я увидела его после армии. Я стала искать людей, которые собираются отъезжать. Встретилась с К. Вот уж его я точно взяла гипнозом. Мы поженились и вместе подали. Для чего, разумеется, пришлось разводиться с Т. Т. вел себя благородно, но попробуй мне возрази! Т. пришлось отказаться от Ника. Он сделал это молча. Здесь я поняла, что это за бред. Если бы мы решили с Ником эмигрировать в Канаду, Т. не нужно было бы отказываться от сына, а К. — его усыновлять. Я говорю Э. — у тебя два сына, им предстоит армия. Нет, говорить об этом — все равно что вращаться на карусели, у которой отказал стоп-кран.

18.18.18. Прилетела Э. Полна впечатлений: города внезапно вырастают на дороге, едешь — вдруг перед тобой огромный город, секунда — и его нет, а потом ты непонятно каким образом оказываешься внутри него, про выставку каких-то пенсионеров с чистым незамутненным взглядом, но не как у детей, а как у стариков, процеженным и отфильтрованным временем, про карусель, которую какой-то дедуля мастерил с семидесяти восьми до восьмидесяти шести лет, про механическое пианино в Кембридже, как пожилые люди следят за текстом старого мюзикла на вертящемся шарабане и поют, пожилые люди ее потрясают, подвижные, мобильные, будто, освободившись от работы, они снова начинают жить и даже лучше, чем раньше; про выставку Арт-Нуво из Мюнхена, чуть не прошла мимо, когда была в филадельфийском музее. А ей важна эта выставка, поскольку ее сейчас занимает мировоззрение художников Германии на сломе веков. «Представляешь, — говорила она, — входишь в музей, а там все, что ты выучила наизусть по альбомам и открыткам, — Клее, Архипенко, Шагал ...»

Где уж мне представить! В Филадельфию мы ездили с Ф., запомнила вид из окна: белый небоскреб, выросший после дождя сам по себе, рядом стена с какими-то каракулями, одна стена, но не бетонная, а тонкая, загораживающая часть стройки. Сколько всего я прошляпила!

Э. сидела за столом, подперев голову обеими руками, в ее серых глазах что-то словно промелькнуло, пробежало и исчезло. В глазах, разумеется, ничего бегать не может, но я видела, что там кто-то бегал. Именно в тот момент, когда я думала, что прошляпила что-то такое важное. И Э. сказала: трудно возвращаться из Парижа в гетто. Она ждала моего вопроса — при чем Париж и какое гетто. Я думала: «Сейчас она объяснит, и я пойму, что промелькнуло в ее глазах». Не во взгляде, в нем только говорится, что что-то мелькает, а в глазах. Э. спросила, знаю ли я, что после детей, которых депортировали из Терезина в Освенцим, осталось много рукописных журналов. Откуда мне это знать? Возможно, им пользовался Люстиг, когда писал про Перлу, или они ему были не нужны. «Так вот, — сказала Э., — я ездила в архив Терезина и все это видела». Глаза у Э. стали какими-то дикими, как у Кузьмы, мне почудилось, что она видит не меня, а тех детей. Тогда я спросила ее, при чем все же Париж и гетто. Она ответила: «В Терезине жила девочка под псевдонимом «Мерси», она потом погибла в Освенциме. О том, что она была, свидетельствует ее текст под названием *Мое будущее.* В нем она описывает, как после войны поедет в Париж, учиться. Видно, девочка была из очень культурной семьи. Итак, она уже в Париже, уже поступила в университет, мечтает наверстать упущенное и быстро двинуться дальше. Ее пленяет Лувр. Она часами стоит пред полотнами больших мастеров, — так она пишет, — и перечисляет: Леонардо да Винчи, Ван-Гог, Сера. Потрясенная, выходит из Лувра, мечтает скрыться от парижского многолюдья, чтобы в одиночестве пережить всю эту красоту. Она забывает есть, но не забывает писать домой подробные письма... А потом она отрывается от страницы и видит — Бауэрплац, — место, где их часами пересчитывали на апеле. Вот, собственно, и все, — сказала Э., — большое Мерси. Когда это пересказываешь, жутко, но не так, как когда это звенит в ушах, когда это сопровождает тебя по Филадельфии и Бостону, когда с этим не можешь заснуть в университетской гостинице, когда с этим ничего нельзя поделать».

Я возразила: «У Мерси не было выбора, и у ее родителей не было выбора». Э. замотала головой. Она больше не может. Зацикленность добивает окончательно. Рождение ведет к смерти, смерть к рождению, из этого лабиринта нет выхода. А он наверняка есть, только мы его не знаем. Я спросила ее, видела ли она «Кукушкино гнездо». Да, у них шел этот фильм, она его видела. «Но, — сказала Э., — она не похожа на

тех сумасшедших, которые могут выйти из дурдома, но не хотят. Ведь есть два выхода — или выйти, или попробовать изменить что-то внутри». «Но ты помнишь, чем кончился бунт в сумасшедшем доме?» Я опять сделала Э. больно.

18.17.16. Э. заснула. Я села за работу. Не удается набирать механически. А. раздражает. Что было бы, если бы не убили Столыпина, что было бы, если бы не убили царя? Но убили Столыпина и убили царя! Бросила А., хотя близится срок сдачи. Э. бередит душу. Скорей бы она совершила перелет из Парижа в Терезин. Дурацкая шутка.

Решила проветриться. У Ника прекрасный сон, этим он тоже пошел в Т. А я научилась исчезать бесшумно. Босиком к двери, сапоги под мышкой.

Выхожу на охоту. Запаслась на пару дней. Заглянула в кафе. Ирландца нет. Спросила у бармена, куда подевался ирландец. Тот показал мне свои роскошные белые зубы. Ответил на испанском английском, что не знает, но рассчитывает скоро его увидеть. Десять лет тому назад здесь не было испанцев, теперь они открыли бистро, лавочки и цветочный магазин.

Когда я вернулась, то застала Э. стоящей на балконе в моей дубленке. Она проснулась, не обнаружила меня дома и испугалась. Чего испугалась? Что со мной может случиться? Откуда она знает, ей стало страшно. Я предложила ей водки с апельсиновым соком. Заварила чай с фиалкой. Сомневаюсь, что фиалка успокаивает, хотя вид цветущих фиалок... В чае они расправляют свои лепестки, но цвета нет. Он утрачен, и уже одно это не может утешить.

Под воздействием водки с фиалкой Э. пустилась в рассказы о посещении школ, больниц, дурдомов Америки. Инвалиды в колясках, разъезжающие по теологическому факультету, вернули ее в советские дома инвалидов и престарелых, и она завелась на полный оборот.

Дурочка, я же не покончу самоубийством оттого, что в России бардак! Да ни один русский эмигрант не застрелится, если узнает, что на его родине детей подвергают принудительному психиатрическому лечению. Я — не связной Варшавского гетто, не Карский и никому не буду передавать эту информацию. Или она меня воспитывает? Ты, мол, сбежала для лучшей жизни, а я, мол, страдалица, кричу на весь мир о наших язвах, и никто не внемлет. В дерьме не стоит копаться, из него надо вылезать, сказала бы я ей, если бы знала, как это сделать. Оно же не снаружи, оно — в нас.

0.0.0. Я на нуле. Э. примеряла юбку. Сидит как влитая. Уговорила ее на парикмахера. Тем более, что после Севера у Э. лезут волосы клоками. Стрижка укрепляет корни.

0.17.100. Парикмахерская отменяется. Вместо парикмахерской она отправилась в Нью-Йоркский университет. На какую-то лекцию. Купила ей бальзам для волос и шампунь. Не знаю, о чем она думает! Туда же нужно все, даже стиральный порошок.

Звонил Р. Роман застопорился. Я сказала, — ноу проблем, — я всегда к его услугам. Не отреагировал.

26.26.27. Уговорила Э. на еврейский ресторан в Гринвич-Вилидж. Там крутят фильмы Чарли Чаплина и дают мел рисовать на столах. Заказали специально для Э. «Оборвыша». Весь фильм смотрела не на экран, а на нее. Значит, и ее можно отвлечь от мраков, от неотступных мыслей, что делать с детьми, нанайцами и как помочь армянам. После обеда сыграли с ней в слова, пять-на-пять, на столе. Не представляла, что Э. такая азартная. Она проиграла и тотчас потребовала реванш. Я спросила Э., думает ли она о своих гагаузах, нанайцах и якутах в постели. Вопрос не ко времени — Э. не находила шестибуквенного слова. Разглядела ее глаза. Серые, с зелеными вкраплениями, но не пятнышками, а мелкими многоугольниками (слово большое, фигурки малюсенькие) или призмами, сквозь них, наверное, совершенно причудливо все преломляется. С такими глазами нужно жить на свободе.

Показывала Э. нью-йоркскую достопримечательность — кафе, где собираются гомосексуалисты. С улицы видно, как они стоят за стойками, обнявшись. На Э. кафе не произвело никакого впечатления. Я спросила Э., как она относится к сексу, или у них там на это нет времени. Не знаю, почему я спрашивала именно у нее, именно об этом, именно этим вечером. Чтобы низвести Э. до моего примитивного уровня? Э. сказала, что она так устает в последние годы, — это лет десять, — что воспринимает это скорее как обязанность, редко иначе. Ну а кроме мужа? Э. пожала плечами. Она сказала, что здесь и там — разные установки. Здесь — на здоровую жизнь, где и разумный секс прибавляет здоровья. У нас по-другому. «Как по-другому?» — спросила я. Она ответила, что специально этим вопросом не занималась. У нее был роман до замужества, очень такой русский — долготерпение, недельные дежурства у телефона. Это ее вымотало. И больше не хочется. Да, здесь, в Корнельском университете, она познакомилась с симпатичным парнем. Он работал в Индии и на Аляске, в школе. У него тоже как и у Э., отморожены большие пальцы ног. Живет на берегу Фингер Лейи. Холост. Дом, машина и собака Айси с Аляски. Подходящая пара! Наверняка он в нее влюбился. Э. ответила, что очень даже возможно. Но из этого ничего не проистекает. Я сказала, что любовь неразумна, и, что если влюбишься, то не думаешь, что из этого проистекает. Она возразила: муж остался с детьми не для того, чтобы она крутила романы на стороне. Я сказала, что

не нахожу прямой связи между этими двумя фактами. Оказывается, ее страшит раздвоенность. Я сказала, что не вижу здесь никакой раздвоенности. Мужчина, с которым спишь, делает тебя другой, ну, не с которым только спишь — для Э. это могло прозвучать грубо, — с которым сосуществуешь, пусть временно. Это же такой соблазн: узнать другого и увидеть себя иной. Я несла чушь, Э. молчала. Наверное, думала обо мне то, что я и есть на самом деле и чего я заслуживаю.

2.6.85. Нужно что-то сделать с собой. Я — пустота, о которую ничто не споткнется. Где-то я вычитала такие слова. Пустота не может поставить подножку. Но тело, в котором пустота обретается, может соединяться с другими. В такие мгновения возникает иллюзия наполнения тела плотью души. Сама не понимаю, что пишу. Р. молчит. С тоски набрала две трети идиотского текста А. Может, он зацикленный и вгоняет меня в транс? Я уезжала в 27 лет. Через неделю стукнет сорок. Наверное, все и там постарели, обрюзгли, облысели. Хотя Э. не очень изменилась. Но я ее помню только беременной. Что нас, девушек, не красит. Э. встретила здесь многих друзей, с которыми распрощалась на веки вечные 10—15 лет тому назад. Говорит, что это, как встречи с призраками. Я для нее призрак из Минска. Призрак в квадрате, поскольку она уезжала из Минска до того, как я — в Нью-Йорк.

98.76.59. Э. собирает вещи. Сидит на чемодане, приминает тряпки и книги. Рассказывает: ездила к своей бывшей очень близкой подруге в Эмхарет. Та, когда уезжала, клялась ей — главным ее делом будет помощь тем, кто остался. Но не написала ни одного письма. Э. спросила ее о причинах молчания. Подруга объяснила: ей было стыдно писать. Такие нормальные проблемы, все разрешимые. С Россией нужно рвать сразу, окончательно и бесповоротно. Иначе умрешь от мысли о тех, кто там остался. Э. сочла такое объяснение убедительным. У нее точно такое же чувство — невозможно видеть все это изобилие, невозможно спокойно жить здесь, зная, как там. Куда же она едет?!

1.8.4. Прибыл К. Чтобы повидаться с Э. Тоже старые приятели. К. — психотерапевт, а Э. интересует наука о человеке. Меня нисколько. Я зевала, в который раз слушая теорию К., остроумную и никчемную, как все, что придумывают мужчины. Суть ее в том, что нужно наслаждаться. Не ново, прямо скажем. Но почему? А вот почему: при современных способах регулирования деторождения на свет появляется лишь тот, кого запланировали. Единицы — вне плана. Мы же — продукты неосторожной любви, везунчики, мы родились благодаря запрету на аборты и полному отсутствию гигиены брака. Мы должны торжествовать — провели собственных родителей. Ни в коем случае не строить из себя жертв. Жертва — это красиво, но в нашем случае — аморально. У жертвы нет выбора. Те, кто упорно продолжает считать себя жертвой режима, плохого мужа, вредного начальника, позорят нашу гвардию случайнорожденных. Им, видите ли, стыдно признаться, что хорошо жить — хорошо, а плохо — плохо. Им нравятся смешанные чувства, поскольку они считают своей родиной смешанные леса.

К. растолстел, обрюзг. Его жена, американская Пульхерия Ивановна, приносит своему еврейскому Обломову булки в постель и подкладывает подушки под спину, чтобы кровь не застаивалась во время приема пациентов. Что ж, К. наконец-то реализовал свою мечту. Иногда задремывает в офисе под монотонные исповеди пациентов. Его бесит слово «проблема», проблемы на каждом шагу, их плохо берет гипноз.

И это не Америка сделала, не надо! Это — характер. Обломов в Америке на самом деле мало отличается от Обломова на родине. Разве что манерами Штольца, этаким напускным деловизмом. Я бы посадила К. на яблочную диету.

2.8.91. Они ударились в воспоминания. Как напились и Э. убежала через дорогу на кладбище. К. нашел ее сидящей на мраморной плите. Привел домой, где всегда было полно народу, и уложил спать со своим старшим братом, других мест не было. Сказал брату: не трогай Э., она и так страдает. Они были знакомы с Э. еще до меня. К. подарил всем детям Э. по электронным часам, а ей самой косметичку. Тут он попал пальцем в небо. «Хорошее было время, — вздохнул К, — но все-таки мы вовремя смылись». Еще К. вспомнил, как мы отослали в Союз фотографии с нашего балкона, с небоскребами. Народ опупел. «Но мы с Фаней и не думали никого потрясать, — «мы с Фаней», — как это прозвучало! — послали для удостоверения географических широт — вот здесь мы живем. А так вот представить, а? После наших хрущоб и сталинских ящиков, а высотки, с их изысканной симметрией! Ты видела здесь хоть один небоскреб, который символизировал бы авторитарный стиль руководства?» — спросил он Э. Э. поинтересовалась, где сейчас обитает К. Он сказал, что вредная Фаня вернула его в хрущобу, правда в центре, на Манхэттене, рядом с офисом, но привыкнуть обратно, как говорят, требует социального мужества. Э. была в восторге от К. Сказала, что он единственный, кто, ну нисколько, не изменился. Возможно. Только почему эта мысль так нас тешит? Все пустотело.

36.50.2. Э. уехала. Я не смогла проводить ее из-за работы. Да, из-за работы! Мы распрощались спокойно. Не осталось сил ни на какие эмоции.

38.52.4. Я прибавила к каждой цифре по двойке, чтобы мне самой было понятно, что от той записи прошло два дня. Или два месяца? Или два года? В этом пусть разберется будущий биограф, назначаю

в биографы кабалиста. Теперь я постараюсь описать все, что произошло в последний день. После ухода К. меня развезло. Невозможно без конца погружаться в прошлое, тем более что я не вижу в нем никакого будущего. К. ушел в полночь. После трогательных расцелуев мы спустились к соседу, которого я попросила забрать книги Э. со склада. Чемодан русских книг. Философы-идеалисты, сионисты, даже «История телесных наказаний в России». Выпили с соседом кофе. Он набросился на Э. с расспросами. Э. — обстоятельная, но не умеет отбрехиваться. Мне надоели рассказы Э. о совдепе. Хлестаковщина. Небось Э. никогда не встречала такого внимания к своей персоне. Не податься ли в Россию? Пусть они там меня порасспрашивают о жизни эмигрантов в Америке. Это было бы поинтересней «Декамерона». Не то, что постная эта политика, без мяса и стирального порошка. Второй раз говорю об Э. с раздражением. Сначала обозвала Хлестаковым, теперь цепляюсь к тому, что она раскидала свои вещи. Э. тяжело встречаться с призраками, мне тяжело с ними расставаться.

Я ушла. Решила лечь, чтобы встать пораньше, купить кое-что для Москвы, аккуратно перепаковать ее вещи, она их просто побросала. Я оставила дверь открытой и спустилась в гараж. Села за руль. Время остановилось. Как на часах в Треблинке. Все — камуфляж: эти небоскребы, вывески, даже небо из картона. Хотя, что я придралась к небу? Мне просто хотелось точно знать, что все, абсолютно все, наша выдумка, что нас нет — ни соседа, ни меня, ни Э. Такая же выдумка, как Древняя Греция или Шумерское царство. Однако я направилась к метро, чтобы позвонить Р. из автомата. Инколлект. Если он захочет со мной говорить, то операторша нас соединит. Если нет — то нет. Никому из нас в таком случае это не будет стоить ни цента. Когда все рвется и трещит по швам, денежные отношения приобретают таинственную значимость. Все это я продумывала, пока операторша набирала номер Р. в Бостоне. И продумывала зря, телефон не отвечал. Никто никому ничего не должен. У телефона валялся все тот же бродяга. Вернулся на свое насиженное место. Мне захотелось потрогать его, живой он или это кукла из трухи? Я присела на корточки и приподняла край одеяла. Нет, этого не может быть, — подумала я. Такого просто не бывает. Под одеялом лежал мертвец, тот самый Тарзан, который несколько дней назад по моему совету уперся отсюда, лежал здесь, но он был мертв. Я позвала полицейского. Он заглянул туда, куда я, и сказал, да, мэм, это прискорбно, но вы правы. Идите, я займусь этим сам. Спасибо вам, мэм. Толстый добродушный негр-полицейский, на него вполне можно было кинуть бродягу. Я вышла из метро, дул ветер, Джорнал-сквер — открытое место, ветры волчком вьются вокруг небоскребов. Я нашла место, где потише, и закурила. Я пыталась гнать от себя это ощущение мистификации, отсутствия. Мертвый бродяга все же был не из трухи, а из плоти и крови, которая застыла в нем, но она же недавно еще струилась в его сосудах, иначе бы он не смог сдвинуться с места, а он пошел, укрытый с головой одеялом, в сторону платформы, значит, он был. И его тело тоже свидетельствует о том, что он был. Но что свидетельствует о том, что было Шумерское царство? Нет, мне срочно нужна была травка, иначе бы я пропала. Как назло, этого типа на углу не было. Я бросилась в кафе, если ирландец вернулся, у него наверняка можно будет разжиться. Ирландец вернулся! Я кинулась ему на шею. Я сказала, что в метро нашла мертвого бродягу, что мне нужна травка и срочно. Ирландец усадил меня за стол, снял с меня дубленку, в кафе, наверное, было жарко, иначе зачем он снял с меня дубленку, заказал воды со льдом. Я выловила самый большой кусок льда и положила его в рот, чтобы молчать. Это было самым верным делом — молчать. Ирландец сказал, что мертвым уже не поможешь. Но неизвестно, хорошо быть мертвым или нет. Но что и живой живому не всегда может быть полезен. Наверное, если бы у меня всегда был полон рот льда, я бы гораздо больше узнала про ирландца.

Когда лед растаял, ирландец дал мне курево. Я сказала ему, что живой живому все-таки полезен. Но не всегда, — повторил ирландец. Не знаю, сколько времени мы провели с ним в кафе. Вернее, сколько прошло с того момента, как я вышла из дому. Я объяснила ирландцу, что у меня дома советская, которая утром уезжает, и нужно ей помочь. Помочь уехать? — не понял ирландец. Я спросила его, где он был эти дни, Он сказал, — не здесь. Ничего от него не добьешься. Мы курили, пили кофе, приходили три испанские девушки в сопровождении какого-то жирняги, они тоже курили, но другое, судя по запаху. Я спросила ирландца, почему он избрал испанское кафе. Он ответил, что не нашел ирландского.

Мы вышли на улицу, еще не светало, значит, было часов пять или шесть. Что подумает Э., когда увидит меня с мужчиной, под утро? Мне было все равно, я не хотела, чтобы он уходил.

Дома был переполох. Э. разбудила Ника. Ник сделал мне выговор. Э. была зареванная, она теперь уже точно была уверена, что что-то со мной случилось. Ведь я ушла, второй раз уже, не предупредив, исчезла на всю ночь. Я сказала ей, что действительно что-то случилось, наврала ей, что мы возились с мертвым бродягой, что если бы не этот джентльмен, с которым я познакомилась при удручающих, прямо скажем, обстоятельствах ... Я врала при Нике, Ник посмотрел на меня с нескрываемым отвращением и ушел спать. Я кривлялась, хихикала, Э. смотрела на меня остановившимися глазами. Я сказала Э. — наверное, она теперь жалеет, что остановилась здесь.

Кто я такая? Зачем она меня выбрала? Не нашлось местечка получше? В центре города, в образцово-показательной семье, спаянной, без раздвоенности, где ложатся спать в 10 вечера. В конце концов я сказала Э., что курю такие специальные сигаретки, и если она желает попробовать... Я сказала ей, что всякое живое существо имеет право на всякие фокусы и плохо ему может быть и в раю. Вот всем там хорошо, а ему, видите ли, там плохо! Призраки не того цвета, бесформенные, а хочется формы, этого знака воплощенной собранности.

Э. сказала, что она ничего не понимает, ведь она не упрекала меня, просто волновалась. Вот и все. Вот и все. Ирландец дочитывал последние страницы детектива. Р. тогда умудрился облить и книгу, обложка съежилась. «Русские много страсти вкладывают в слова, — заметил ирландец, — слова им заменяют все. Знают ли они о существовании пауз?»

Э. спросила, откуда он сам-то родом. Он сказал — из Голландии. Э. спросила, бывал ли он в музее Ван-Гога. Она мечтает там побывать. Ирландец, — непонятно теперь, кто он на самом деле, но все-таки скорее ирландец,—сказал, что бывал, но Ван-Гога там не видел. Э. спросила меня по-русски, не сумасшедший ли он часом. Я ей ответила, что нужно быть осторожней и выбирать слова, может он русский и прикидывается? Поскольку ирландец на этот мой пассаж не отреагировал, можно было смело заключить, что он не русский. «Как, не видели Ван-Гога?» — удивилась Э. Ирландец объяснил, что видел Ван-Гога однажды, в детстве, в плохонькой книжке с репродукциями, вот тогда он его один раз и видел. «Вы и людей так воспринимаете?» — спросила Э. «Как?» — спросил ирландец. Неужели я такая бесцветная тварь, что со мной довольно спать и помалкивать! «По первому впечатлению». — Э. с трудом подбирала английские слова. «Это не впечатление, а открытие, — возразил ирландец. — Есть разница». «Как удержать в себе ощущение открытия?» — спросила Э. Видно, ее, как и Р., уже интересовал не сам человек, а предмет беседы. Р. людей не видит вообще, он создает их на бумаге, как бы сослепу, и сам удивляется, что они у него выходят с лицами, характерами, почти живые. Почти. Я намеренно соединила Э. с Р., чтобы с ними обоими расплеваться разом. Но кто же этот ирландец, ирландец или голландец? «Не знаю», — ответил ирландец. Но не мне, а Э., на ее совершенно по-дурацки поставленный вопрос. Если б можно было удержать в себе хоть какое-то ощущение!

9.8.18. Не хватает духу на длинные записи. Звонила Э. перед отлетом из Вашингтона. Она забыла у меня кучу вещей: записную книжку, джинсы, шампунь, бальзам для волос. Попросила передать с кем-нибудь все, кроме джинсов. Их велела торжественно выкинуть. Справить по ним тризну. В голосе Э. было какое-то истерическое веселье. Я передала ей, что звонил ее друг с обмороженными пальцами. Она сказала: «Мерси». Она нарочно упомянула Мерси, чтобы я поняла, что она сейчас испытывает. Я поняла.

4.6.9. Рождество. Это не наш праздник. Ник ушел к друзьям. Я объяснила ему, что у православных, если он таковым себя считает... «Я себя никем не считаю, — перебил меня Ник и прибавил:—Донт вори! Хэппи Кристмас!» Пытаюсь представить Шереметьево, зиму, настоящую, не как здесь, — выходит плохо. Э., ко всему прочему, забыла тексты своих лекций. Я честно пыталась прочесть первую страницу. Какие-то цифры, диаграммы. Этого я боялась со школьной скамьи. В конце концов, надоело разбираться в процентах чукчей, нанайцев и гагаузов. Так, наверное, проходит любовь, она проходит, и все, что с ней связано, становится пустотой, о которую не споткнуться.

Разделалась с А. Отнесла готовый набор к соседу. Он поинтересовался, что слышно о советской. Забыть ее не может. А я — могу. Я научилась не привязываться к людям. Кузьма — дело другое. Честный зверь. Сказала, между прочим, что А. — бездарь. Я бы его не стала печатать. Сосед согласился. «Парень хороший, жалко обижать». Русский альтруизм. Попросила денег вперед. После отъезда советской все прокурила. Вела такую жизнь, о которой противно рассказывать даже самой себе.

20.1.20. Р. закончил роман. Так быстро? Но уже весна. Неужели? В Америке широкая общественность не отмечает Международный день 8 Марта, только социалистки. В России я бы не проспала весну, на 8 Марта на работе преподнесли бы четыре тюльпана и пять нарциссов в комплекте. Или одни тюльпаны. Или одни нарциссы, по низшему разряду. Р. важно мое мнение. Не как персонажа, как человека с чутьем. С природным вкусом, — прибавил он, доплатил. Почему я все время чувствую себя обиженной? Если я обижена, то только тем, что не могу пробиться сквозь стену.

20.7.89. Пыталась перевести ирландцу слова Флоренского, которые только что набрала для сборника «Русские мыслители. XX век». «Художник изображает не вещь, а жизнь вещи по своему впечатлению от нее». Как ни крутила, вышло неуклюже и неточно. Ирландец промолчал. Он не любит определений. Его не интересуют русские мыслители. А что его интересует? «Пустота», — сказал ирландец. «Тогда ты нашел прекрасный объект». Ирландец согласился. Я спросила, кем он работает. Он сказал, на жизнь хватает. Я боялась, что приехал Р. и не пригласила ирландца. Когда я уходила из кафе, чувствовала спиной его взгляд. Очень спокойный.

7.8.5. Р. ждал меня дома. Как, впрочем, я и думала. С бутылкой коньяка и толстой папкой. Какой

он, Р.? Высокий, светлый, аккуратно одетый, совершенно не еврейский на вид. Не скажешь, что он из Одессы. Скорее, инженер по холодильным установкам из города Горького, приодевшийся по случаю заграницы. Тем более дико смотреть на него, когда он заводится. Словно из недр этого человека в наглаженном костюме выползает тысяча маленьких чертей, они кусаются и щипаются, но не задевают за живое. Так, слоняются по поверхности и создают месс. Р. рассказывал, что в детстве у него было много игрушек, а квартирка тесная. Когда он подрос, мать подарила все его игрушки соседскому мальчику. С тех пор Р. обиделся на мать, на мальчика, который, не имея никаких на то оснований, стал обладателем богатства. Р. говорит о себе: я фрустрированный с детства. А что если ничего ничем не объяснять? Не пытаться организовать рванье в красивый орнамент? Кажется, именно это удается ирландцу.

Мы выпили за роман. «Каким бы он ни оказался, ты получил удовольствие от самого процесса», — так я сказала ему. Реакция была стабильной: «Ты не веришь в мой талант». А если это он прав? Но это, конечно, неправда. Так только кажется сейчас, после отъезда советской. Р. жаловался: совершенно опустошен, текст-пылесос высосал из него все внутренности. Мне следовало ему сочувствовать. Сочувствие выразилось в известной форме. Так Перла жалела старого художника. Когда Р. заснул, я ушла с романом в гостиную. Не терпелось узнать, какова жизнь вещи по впечатлению художника, то бишь Р.

1.8.800. Письмо от советской. Сплошное «все в порядке». Дом, дети, муж, работа. Впечатления об Америке сообщит отдельно, когда устоятся. Самым странным показался ей ирландец. Похоже, не человек, а какое-то другое явление природы, которому не подберешь названия. Р. — с амбициями. Ник добрый, К. — прелесть, Кузьма — хулиган. Ну и, конечно, она очень-очень благодарна мне за все, все, все.

Может, пустой конверт, подписанный ее рукой, порадовал бы не меньше.

7.8.6. Можно ли считать роман Р. «Послезавтра в Сан-Франциско» несуществующим? Ирландец презентовал картину — серый кот на фоне зеленых колючих кактусов. Кот смахивает на Кузьму. Спросила ирландца, чье это, он ответил: «Твое». Может быть, он — художник?

29.68.68. Просила Р. переделать конец, придумать что-нибудь другое. Ведь он убивает этим не меня, а роман. Р. закричал: «Что это за советский литкружок при доме пенсионеров! Кто бы посмел советовать графу Толстому не бросать Анну Каренину под поезд, не отправлять князя Андрея воевать, никому не приходило на ум вырывать пистолет из рук Вертера!» И все в таком духе. И тут я взвилась: «Ты мечтаешь, чтоб я сдохла, я разрушаю твой имидж!» Р. ответил, что теперь-то он видит, как он прав, тысячу раз прав. Когда он шел к финалу, то человек в нем, человек, который предостаточно знает Фаню Л., этот человек хотел сохранить Эстер, но художник воспротивился человеку, художник видел именно эту развязку и никакой другой. Но это же сентиментальная пошлость — топить в прекрасный день, в прекрасном океане неверную любовницу вместе с ее придурковатым немцем-эмигрантом. Р. зашипел, полез зачем-то в карман пальто, уж не плохо ли ему, может, он ищет валидол, — подумала я. Но просчиталась, он со всего маху запустил в меня ключом от моей квартиры. Попал по губе. Наверное, шрам так и останется, небольшой, но заметный, ничем его не замажешь.

9.10.100. Наверняка роман принесет Р. тот самый успех, которого он жаждет. В принципе, чем-то же нужно было завершить монументальное полотно об эмиграции, все классические романы завершаются естественной или насильственной смертью героев. Видно, как текст раскалывается на две части. Раскол случился в тот вечер, когда Р. увидел нас с ирландцем. Он рыдал, повторяя: «Я так и знал, я так и знал!»

После этого он принял решение — упечь Эстер в Израиль и пусть она там обнаружит свое истинное лицо. С этого места Эстер, которую он не судил, напротив, всячески выгораживал в первой части, — из жертвы превращается в фурию. Бросает ребенка, пьет, совращает набожного еврея, еще и обкрадывает его. Все пороки, какие есть в женщине, — и тут я согласна с Р., что в женщине их куда больше, — обнаруживают себя. В первой — Эстер в них как бы и невиновата: жуткая жизнь, мертвая квартира, злобная мать ... С Израиля все катится в пропасть. Мудрый старик — герой Шестидневной войны — пытается образумить Эстер, эту заблудшую дочь еврейского народа, — тщетны его усилия. Конечно, Р. подарил мне Изидину пепельницу меж грудьми и кофе в постель. Кофе с пепельницей, обнаженная грудь... Герой Шестидневной войны оплакивает живую Эстер, рвет на себе волосы и посыпает их пеплом. Видя такое дело, Эстер уезжает из Израиля в Америку, где тотчас вступает в порочную связь с поляком, представителем антагонистической ментальности, при этом крутит роман с каким-то сыном немца-эмигранта из Казахстана. Сын-ублюдок, он осуждает своего отца, который вывез его в Америку, а не в Германию. К тому же он оказывается антисемитом. Тут бы Эстер порвать с ним! Но нет. Она бредит поляком и спит с немцем. Поляк, профессор полонистики, моет посуду в Русском ресторане, по контракту, чтобы заработать валюту на семью. Он — патриот, верующий, прекрасный семьянин. Эстер расставляет силки, но не уловить ей душу католика. Он не оставит ни семьи, ни родины. Живой укор! Пример! Но Эстер неисправима. Такая тварь.

Правильно Р. ее топит. В России, между прочим, я бы и не умерла красиво, один дурак позвонил бы другому дураку среди ночи — срочно нужна надпись на красной ленте черной тушью, — а здесь я тону в океане, не в луже с бензином, и не одна, а с немцем, избавляю еврейский народ от себя и от него разом. Да так долго тону-то, целых шесть страниц. Тону под пером Р.

2.1.9. Никаких планов на отпуск. Р. сообщил, что собирается в Россию. Ему прислал приглашение К. С. — известный писатель, бывший друг Р. по Одессе. Хорошо бы они улетели с матерью на одном самолете. Р. дал прочесть роман советскому издателю, который был в Бостоне, тому понравилось, попробует предложить в «Новый мир». «В таком виде?» — спросила я. Р. признался: конец того тоже не устраивает. Он предложил остановиться там, где Эстер размышляет о пустоте. «Не соглашайся, — сказала я. — К тому же в России твой роман прозвучит как призыв: «Евреи! Оставайтесь на своих местах. Видите, вам не помогает даже эмиграция!» Р. взвился — как я смею обвинять его в конъюнктуре! «Но ты же по советской указке снимешь финал», — сказала ему я. «Моим главным желанием было вывести тебя на чистую воду», — сказал Р. «Чтобы в ней и утопить», — добавила я. Нет, я этого не сказала. Я это сейчас подумала.

2.6.10. Как пробить в стене хоть крошечное отверстие? Глянуть бы, какие возможности могут еще открыться, возможности, которых не только что предположить, предугадать нельзя. Каждый понимает то, что хочет понять. Каждый достраивает образ по-своему, завершает его произвольно. А что в действительности? Или она такая же ирреальная, как небытие, только повернутая к нам, пока мы дышим? Или нужно замолчать и в тишине услышать смысл, таящийся в молчании? Ирландец сообщил, что заработал кучу денег. Предлагает слетать в Калифорнию. Только этого не хватало!

10.1.100. Жара. Сплю при открытом балконе. Дышать совершенно нечем. Ник уехал в Кливленд, к приятелю. Мы с Кузьмой ворчим и потеем. Может, слетать в Вашингтон, познакомиться с Люстигом? С тоски перечитывала дневник Перлы. В Терезине я была бы только проституткой.

67.5.9. Ирландец проявил настойчивость. Принес два билета на самолет, туда и обратно. Всего неделя. Если я откажусь, он улетит один. Сейчас сезон, отказаться можно в последнюю минуту. Штраф минимальный. Я спросила, почему в Калифорнию, а не в Гонолулу. Там тоже хороший пляж. Ирландец ответил, что в Сан-Франциско есть где жить, а в Гонолулу трудно с гостиницей. Улетаем послезавтра.

1.17.1. Не знала, брать с собой тетрадь для технических записей? Больно уж громоздкое сооружение. Но в последнюю минуту пихнула в сумку. Ирландец, даже если захочет, не прочтет. Хорошо, что он меня уговорил. С ним странно себя чувствуешь. Вроде он есть — и его нет. Может, Э. права. Это какое-то другое явление? И познание неизвестного доселе явления и есть открытие неизвестной возможности?

Я прервалась, чтобы прочесть письмо от Р. Как он меня здесь разыскал? Через Ника? А Ника через кого? Я вышла на террасу и нашла конверт. Думала — хозяину, нет — мне. Р. впал в маразм: выслал мне якобы вырезку из якобы какой-то газеты следующего содержания: «О влиянии литературы на жизнь. Р., автор известных романов, таких-то и таких-то, в своей статье приводит несколько любопытных фактов. В частности, недавно Р. подготовил к публикации новый роман «Послезавтра в Сан-Франциско» о проститутке из Советского Союза, которая после серии неудачных попыток начать новую жизнь тонет с любовником в океане на берегу Сан-Франциско. Недавно Р. получил трагическое сообщение: прототип Эстер — Фаня Л. утонула при вышеуказанных писателем Р. обстоятельствах. Незадолго до своей трагической кончины она ознакомилась с рукописью романа Р. Вот еще одно свидетельство непосредственного влияния сюжета текста на сюжет жизни». Идиотизм. Но мне стало как-то не по себе. Я побежала на пляж за ирландцем, на нашем месте его не было, тогда я стала всех подряд спрашивать, не видел ли кто такого-то мужчину, высокого, худого, с бородой, но здесь такие на каждом шагу, а примечательных черт у него нет, разве что близко посаженные глаза, одет в белые джинсы, рваные, без майки. Все советовали обратиться в полицию. Как я раньше не сообразила. Привыкла у нас спрашивать у людей и избегать ментов. Полицейские не поняли, что случилось, ну, отлучился, человек, вернется. Вот я и жду.

0.0.0 Его нет. Теперь уже и полиция задействована, и водолазы. Пока не нашли. Но ведь у Р. в романе ясно написано, что я утонула с немцем-эмигрантом. Неужели он не ирландец, а немец-эмигрант из Казахстана?! Звонила Р. Проклятие, его нет в Бостоне. Уже четвертый день. Вдруг это все козни Р.? Но я-то жива! А может, и я утонула?

18.18.18. Ирландец вернулся! Вся литература — враки! Правда, он сказал, что он не ирландец, а шотландец, но мне все равно, главное — жив. Я спросила его, где он был. Ответил — не здесь. Я сказала, что его искали водолазы и полиция. Он сказал, что когда человек не здесь, его не могут найти ни водолазы, ни полиция. Оттуда, где он был, он принес или привез огромного осетра, сказал, что будем его есть послезавтра на прощание. Почему на прощание? — спросила я. Он уезжает на родину. Я спросила, где же все-таки его родина. Он ответил, что еще не знает. Сначала нужно туда добраться.

6.1.1989

Екатерина Короткова

# ЖИЗНЬ-КОПЕЙКА

В XVII веке, в царствование Алексея Михайловича жили в Москве три девушки. Однажды знаменитая гадалка предсказала им судьбу.

Одной – блестящее замужество – «высоко взлетишь, выше некуда».

Другой – жизнь полную приключений, «всю в крутых поворотах».

Третьей – тихую семейную колею, без особых радостей и событий.

Одна из девушек вышла замуж за царя.

Вторая бежала из дому от злой мачехи, ее приютила гадалка, а потом она вышла замуж за казачьего атамана.

Третья стала женой купца средней руки, своего давнишнего воздыхателя.

Из этих девушек – историческое лицо: Наталия Кирилловна Нарышкина, мать Петра I.

Прошло тридцать лет, и наступил страшный день стрелецкой казни.

## НЕЖДАННАЯ ГОСТЬЯ

Он вернулся под вечер, усталый, опустошенный, зашел в маленькую мастерскую, сел на деревянный стул с подлокотниками, откинулся на спинку, с наслаждением вытянул длинные ноги. Так и гудят. Пожалуй, нынче он почти и не присел. В мастерской было полутемно. Тикали вразнобой часы.

Есть не хотелось и свечу зажигать не хотелось. Знакомое двойное чувство переполняло его, и надо было переждать в тишине, темноте, покое.

Утром, когда быстро шагал к застенку, возвращался с дежурства дуралей Боровский. Щенок, пригретый им, из старых, родовитых. Поклонился уважительно, перепуганные большие глаза глядели напряженно.

– Все в трудах, государь. Велики твои заботы.

Царь неласково на него покосился. Болван! Впрочем знал, что дураком молодой князь не был. Просто делает вид, будто и впрямь полагает, что государь, преодолевая себя, собирается исполнить тягостный долг – собственной персоной присутствовать на розыске; самолично, ни слова не пропуская, выслушать признания бунтовщиков.

А у царя глаза косили и дрожали руки от нетерпения – поскорей вцепиться, рвать, давить, терзать и видеть боль и страх в ненавистных глазах супостата. Попрыгунчик этот ведет себя верно. Надо притворяться. И так уж по Москве ползет слушок. И вовсе незачем узнать об этом иноземцам.

Царь сидел, закрыв глаза, а перед ним мелькали залитые потом искаженные лица; ему казалось, он чует и здесь, в мастерской, запах паленого мяса, слышит хруст костей, вопли и скрип зубовный тех, кто не хочет кричать. Но он многих заставил.

Временами мелькал Ромодановский: рукава засучены, на черном балахоне – подсыхающие пятна крови, он кричит что-то царю, подручным, человеку на дыбе – сотник Лодыженский – не сразу признал.

Двойное чувство, которое испытывал царь в конце таких дней – или ночей – было, пожалуй, не вовсе двойным – с перевесом. Его переполняло ощущение освобожденности, легкости и пустоты. То, что гнало его утром к застенку, терзало нестерпимо. Расплескав все это, извергнув из себя, он отдыхал, приятная усталость сменяла лихорадку, приятно ныли мускулы, как после работы на верфи.

И одна лишь разница была. Потрудившись на верфи или в кузнице, он чувствовал одну только усталость и радость от того, что можно отдохнуть. После застенка к отдыху примешивалась непонятная гнусь. Он не мог сказать, что ему было противно, что он осуждает и стыдится себя. Не осуждал и не стыдился. Он царь, в его руках судьба России, и он выполняет свой долг. Но было гнусно. Он к этому привык. Это было похоже на плату за столь необходимое ему освобождение от мучительных, нестерпимых желаний.

Дверь вдруг отворилась, и в комнату вошла высокая женщина в черной одежде. Она быстро подошла к нему и опустилась на колени. Сбросила платок, прикрывавший лицо. Он давно ее не видел, но сразу узнал. Она заговорила первой.

– Я никогда тебя ни о чем не просила, – сказала она. – Петя, выполни мою единственную просьбу. Отпусти Михайлу Каширина. Он честный человек и всегда преданно служил России. Отпусти его, и ты никогда о нем не услышишь.

– Встань, Настя, – сказал он. – Негоже тебе стоять на коленях.

– Все мы делаем сейчас то, что негоже, – ответила она. – Обещай, что отпустишь.

Дался им этот стрелецкий полковник. Вчера Аксинья за него просила, покойной матушки любимица. Она и ссылалась на мать. Дескать, государыня Наталья Кирилловна беспременно вступилась бы за Каширина: знала его с юности, старые друзья. Артамон Сергеевич любил и отличал его. Он верно служил его батюшке Алексею Михайловичу. Все они верные. Все взяли сторону его сестрицы. Вот и Настя – лучшая ее подруга, правая рука. Откуда, спрашивается, в Москве взялась? Ведь умчалась на край света с муженьком своим и всем их ополчением, когда он разгромил Софьино змеиное гнездо. Переписывались, небось, связь поддерживали – царь за границу, они все тут как тут. Отчего она в Москве? Все следы их затерялись в каких-то далеких краях. Выгнать бы ее, а еще лучше засадить в тюрьму, тогда ее муженек, этот старый разбойник, тотчас явится ее выручать, тут бы его наконец и прихлопнуть и расквитаться за все старые грехи, начиная с разбоя и Стенькина мятежа.

Но беда в том, что сделать этого он не может – у Насти над ним непонятная власть.

Аксинью он и слушать не стал, сказал прямо: «Каширин твой – бунтовщик и преступник, значит, будет казнен». И добавил с каверзной ухмылкой: «Одну сделаю тебе уступку, нянюшка – велю Каширина так пытать, чтобы к плахе на своих двоих притащился». Старуха вздохнула и, понурившись, вышла. Не так уж маменька-то привержена была к старым друзьям. Вот Аксинья, та и вправду с ним дружила. Кстати, тоже ведь примчалась издали, она давно уже в Москве не живёт. Так и нагрянули, и та, и другая, старого приятеля выручать. Чудно, да недосуг в это вникать. Дел по горло – престол царский зашатался, пожалуй, посильней, чем девять лет назад.

– Да встань же, будет уж, – сказал он мягко. – Не могу я с тобой говорить, когда ты стоишь на коленях.

– Нет, Петенька, – ответила она. – Пока не выпрошу, не встану.

– Невозможного просишь,– сказал он. – Твой Каширин ничем не лучше других.

Царь не любил и не умел вглядываться в душевные побуждения. Он лишь знал, что при Насте ему всегда хорошо. Еще малолетком переставал вопить и по земле кататься, стоило ей в горницу войти. Да и никто, наверное, не сможет объяснить, отчего у одного человека бывает над другим непонятная власть. Разве что ясновидящий.

В ясновидящих царь не верит. Хотя знает одну, эту самую Аксинью, что тут плакалась вчера. Когда-то очень давно она нагадала матушке, что быть ей царицей. С тех пор матушка и полюбила ее и приблизила к себе. В прежние времена Аксинья во дворец наведывалась часто и матушка всегда бывала рада ей.

Петр помнил, что Аксинья тетешкала его, подбрасывала на коленях, и он звал ее нянькой. Но когда малость подрос, его смущал ее внимательный и жалостливый взгляд.

Он даже как-то маменьке сказал об этом.

– Как же ей не жалеть тебя, Петруша, – возразила мать. Ты царь, а лихие люди тебя всего лишили. Все наши друзья сочувствуют тебе.

Сочувствуют… Эти взрослые вечно над ним плачут. А чего его жалеть? Он сам знает, что он царь, и делает что хочет, а хочется ему бегать, носиться, играть, и он играл самозабвенно в жестокие детские игры.

## УГОЩЕНЬЕ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

На следующее утро была назначена казнь стрельцов, первыми прошедшими застенок. Их рассовали по подмосковным монастырям и селам. Было их такое множество, что пытке подверглись не все. И сидели вперемешку – изувеченные и избегнувшие. Часть изувеченных прямо на полу темниц отдали Богу душу. Покойники лежали среди живых и никто не озаботился увезти их хоть на свалку.

Караульные с ног сбились, волоча на себе калек, растаскивая их по временным каталажкам, вкруг коих толпился народ – любопытные, сочувствующие, но более всего стрелецкие жены с детишками. В этой шумной, плачущей и гневной толпе выделялись две женщины – одна средних лет, белокурая, с миловидным и добрым лицом. Другая уже в летах, седая, с яркими черными глазами. Караульные не орали на них и свободно позволяли подходить к решеткам.

– Люди добрые, – спрашивала белокурая, протягивая сквозь решетку кружку. – Не попадался вам полковник Михаил Каширин?

Старая женщина вдруг внимательно на нее посмотрела.

– Вон там направо, подле того угла, – сказал пожилой караульный. – Я личность его помню еще по старым временам.

Он не стал говорить, что был стрельцом и служил в сотне Каширина. Чего доброго, еще и сам

угодишь в каталажку. Но женщина эта ему понравилась, да и бывшего своего сотника он вспоминал добром.

Беленькая женщина пошла к угловой решетке, и седая двинулась за ней. Младшая ее не замечала, шла, опустив голову, печальная, убитая.

– Миша Каширин, можешь ты сюда подойти? – ломким взволнованным голосом выкрикнула она.

За решеткой довольно скоро появилось бледное лицо Михаила. Он взглянул на женщину и ахнул.

– Бог ты мой! Дуняша! Ты пришла… Ты простила меня?

– Мне тебя прощать? – ужаснулась она. – Что ты говоришь такое? Мишенька, родненький, милый ты мой! Да я… Да я всю жизнь… Как услышала, так сразу прибежала. Говорят, не всех пытали. – Она жалобно взглянула на него. – У тебя… не обошлось ли? Я гляжу, ты за решетку-то не держишься. Как они, не мучили тебя?

– Держаться мне мудрено, – усмехнулся он. – На дыбе руки выломали. А ноги ничего, стоять могу.

Она совала ему пирог и кружку с квасом, плакала и все твердила:

– Ешь, милый мой, ешь, голубчик. Я держать буду, а ты кусай.

– Боже, Боже мой, да как я мог! Вот кто пришел ко мне… Дуняша, Дуня. А та… да что там. Ты одна? Муж дома остался? Ты счастлива с ним?

Она всхлипнула.

– Шестой год вдовею.

– Правда? Боже мой! А я и не знал! Да что я знал? Узнал лишь перед смертью.

– Кваску попей. А тебя не помилуют?

– Где там.

– Не надобно тебе квасу, соколик! Выпей лучше моей воды, – внезапно заговорила седая женщина. Голос ее был не по летам приятным и звучным. – Водичка родниковая, из святого источника. Гляди и полегчает. Что ж маяться-то всю ночь?

Михаил вздрогнул, он только сейчас ее заметил. Но не успел он рта раскрыть, как она сделала ему знак.

Дуняша резко повернулась к ней и тихо ахнула. Старуха ответила ей недоуменным взглядом.

– Небось, обозналась, твое степенство.

Михаил молчал задумчиво, потом нахмурился.

– Да нужно ли мне эту воду пить? – спросил он.

– А почему бы не испить? – возразила она. – Сил прибавится и достойно встретишь казнь.

– Ну что ж, пожалуй, – сказал он. – Спасибо тебе. За все спасибо, – и тихо добавил: – храни тебя Бог… родная, – это слово он совсем уж тихо проговорил.

– Матушка, дай и мне твоей воды! – крикнул, бросившись к решетке, молоденький десятник Голиков. – Я измучился, каленым железом пытали. Тоже хочется достойно помереть.

И другие бросились к решетке.

– Всем дам, соколики, кому хватит, не больно много ее у меня. Знать бы, что в Москве такое творится, я бы бочку от того источника прикатила.

К окну уже бежали караульные.

– Не велено, не велено к приговоренным подходить. Что ты тут затеяла, старая ведьма? Какой такой водой лечишь их? Вон пошла, не то сведем в застенок.

Невысокий сухощавый сержант уже замахивался на нее прикладом.

Она сверкнула на него глазами, словно черной молнией прожгла.

– Дай человеку последний глоток допить, не то сегодня же первым куском подавишься и сдохнешь. – Сержант в испуге отшатнулся, а женщина спокойно повернулась к Михаилу. – Пей, голубчик, надобно все допить. Ну, вот и молодец. Сейчас, соколик, тебе дам, – и стала наливать вторую кружку Голикову.

Но тут сержант, опомнившись, бросился к ней, выхватил из корзинки кувшин и швырнул на землю. Во все стороны полетели осколки.

– Святую воду выплеснул! Вот нехристи! – вскрикнула какая-то старушка.

Но седая женщина уже успела передать кружку Голикову:

– Пей, голубчик, все до дна. С товарищами не делись, – от глотка не будет толку. – Потом повернулась к солдатам: – Как так можно? Крещеные ведь люди. Уберите пугачи, сама уйду. Дай поесть этим несчастным, – неожиданно сказала она Дуне, сунула ей корзинку и, не оглядываясь, пошла прочь.

У решетки остались Михаил и Дуня. Сержант хотел и Дуню прогнать, но пожилой солдат остановил его: «Дай людям поговорить. Ты же видишь, какая она».

– Миша… Это ведь… – тихо заговорила Дуня.

– Я здесь никого не знаю, кроме тебя, – быстро ответил Михаил. И добавил совсем другим голосом. – Ах, Дуня, Дуня, как я тебя упустил.

«Повторись все вновь, опять бы упустил», – подумала она, но говорить ничего не стала. Не укорять его она сюда пришла.

## ИГРА

В мастерской потемнело. Настя поднялась с колен.

– Ну, будет на тебя молиться. На тебя молиться – прямая дорога, сам знаешь куда.

– Ты меня тоже за антихриста почитаешь?

– Много чести. – Помолчала, покачала го-

ловой. – Не думала я, что ты такой мелкий. Мою просьбу не уважил, чтобы подданные тебя не осудили. Или бояться меньше станут?

Он вспыхнул.

– А чем ты лучше последнего из моих подданных? Сподвижница этой гадины, моей сестрицы, что, никаким злодейством не брезгуя, почти вползла на престол. Жена разбойника и сама разбойница. Бродяжка, невесть где живущая. Вот кликну стражу, и повесят тебя. Плахи не достойна.

– Почему? Я хорошего рода, – спокойно ответила Настя.

Петр почувствовал вдруг страшную усталость и почти миролюбиво сказал:

– На легкую смерть не надейся. Допросить тебя с пристрастием придется. Бунт этот не обошелся без вас с муженьком. Вы как бы не главные зачинщики. И что тебя все к мятежам тянет, дворянская дочь?

Настя не ответила, и снова стало слышно, как тикают вразнобой часы.

– Я не лукавила с тобой – всегда держала сторону Софьи, – прервала она, наконец, молчанье. – А уж ты-то тут наговорил. Запугивать меня зачем-то вздумал. Да еще бродяжкой обозвал, – добавила она и засмеялась.

– А тебя, что нельзя запугать?

– Сам видишь. Выходит, нельзя. Я тебя встретила впервой, тебе два года было. Ты ровесник сыну моему. Гляжу, мается мальчонка, бесится, так его и корчит. Подошла, а ты и утих. И сейчас вот тоже успокоился быстро. – Она замялась в нерешимости и вдруг сказала: – В тебе зверь какой-то сидит и грызет тебя. Совладать ты с ним не в силах.

Он сморщился. Откуда она знает? Да, грызет. И именно зверь. Многим ли, кто видел его в гневе, приходит в голову, что в нем сидит зверь?

Он вскинул голову.

– И что же, этот зверь тебе покорен?

– Не приведи Господь мне с ним дело иметь! – с ужасом воскликнула она. – Я думаю, он никому не покорен. Боюсь, ты покоряешься ему.

– Ну, и почему же я при тебе спокоен? – спросил он с любопытством.

– Аксинья сказывала, да больно мудрено. Ты, мол, любишь жить по своей воле, ходить не по торной дорожке. И я такая, всю жизнь так живу. Только я в Бога верую, меня вера оберегает. А к тебе, неведомо почему, чуть не с рождения темные силы лепятся. Вечно ты в какой-то лихорадке. Вон как перекосило-то! – испуганно воскликнула она. – Я за тебя молюсь. Может, молитва помогает.

– И чего же ты просишь для меня у Бога?

– Не многого. Чтоб поспокойней стал и подобрей. – Она просительно на него взглянула. – Ты слыхал, наверно, после пытки люди в тюрьмах, не дождавшись казни, умирают. Пощадил бы ты хоть тех, кто еще сможет жить. Нешто эти увечные бунтовать станут?

– А у тебя губа не дура, – хмыкнул он. – Пришла просить за одного, теперь всех ей подай.

Она, наконец, рассердилась.

– Это тебе всех подай, – сказала сухо. – Ты как людоед, право. Знаешь ты такое слово – милосердие? Слыхал?

– Милосердие царя не украшает.

– Ой ли?

– Верно говорю. Царю приличествует твердость.

– И зверство?

– Отцепись ты с этим зверством. Что я, первый царь, который подавляет бунт? При покойном батюшке сколько этих мятежей бывало. Все от милосердия да от доброты он из них не вылезал. А я завтра залью Москву кровью, так неповадно будет бунтовать.

– Что ты судишь отца да еще за достойные свойства? Он был справедливый, добрый царь. И столицу свою кровью не заливал. Петя, Богом тебя прошу, отмени это побоище, и ты будешь царствовать спокойно. Господь за милосердие вознаградит тебя.

Он смотрел на нее, широко раскрыв глаза, странным взглядом, будто с надеждой. Потом судорога исказила его лицо.

– Сказки! – крикнул он. – Про доброго царя – все сказки! Я никого не помилую. – И злорадно спросил: – Будешь ты молиться за меня?

– Буду, – упрямо сказала она. – Ты и до сих пор никого не миловал.

Он повернул к ней голову, встретил ее неуступчивый взгляд и вдруг захохотал пронзительным, злым смехом:

– Обо всем побеседовали, – проговорил он сквозь смех. – Особливо о душе да о милосердии. Одно осталось. Дежурного денщика позвать и отправить тебя к палачу. Ты там с ним тоже про милосердие потолкуешь. Ну, а завтра, будь любезна, петлю на шею.

Шутит он, думала Настя, или и впрямь казнить решил? Говорит он вроде в шутку, но ведь он такой, он это любит – поиграть, как кот с мышом, а потом и схрупает. И наплевать ему, что при мне у него проходит его дурная лихорадка. Ему сейчас на все наплевать. Однако не лезть же, зажмурив глаза, в петлю. Шевелись, мышка, думай, мозгами шевели.

Настя улыбнулась и подошла к столу.

– Напиши мне пропуск, – сказала она. – Потом можешь вызывать караульного. Только пропуск пусть на столе лежит. – Она тряхнула головой. – Играть так играть. Сперва пропуск. А уж после этого – валяй: и к палачу, и в петлю.

Он посмотрел на нее с любопытством.

– Хорошо придумала, разбойница.

Обмакнул перо и на клочке бумаги черкнул: «Пропускать везде. Петръ».

Поглядывая то на Настю, то на клочок бумаги, он весело спросил:

– Что дальше будем делать?

– Гривенничек подкинь, – сказала она.

Он смеялся дурашливым непрерывным смехом.

– Ищи деньги, – приказала Настя.

– А копейка годится? – спрашивал он, давясь от смеха. – Жизнь – копейка! А? Хорошо!

Он шарил по карманам. Там что-то звякало. Так и не вытащив копейку, он вывалил прямо на стол груду гвоздиков, монет, железок.

– Выбирай, – сказала она.

Он шарил по столу дрожащими пальцами, исходя задышливым смехом.

Настя взяла пропуск со стола.

– Придется мне самой сходить за караульным.

– Ишь хитрая. Не выйдет, – хохотал он. – Пропуск-то отдай. Схватила пропуск, а мы сговорились, чтоб жребий.

И вдруг он перестал смеяться.

– Будет, наигрались, – выдохнул он сипло. – Я сам позову кого надо. Кончилась игра.

Настя глядела на него, не мигая. Был он страшен, уродливо страшен. Нос вытянулся, словно клюв, глаза перекосило. Руки, сильные, рабочие руки дрожат в нетерпеливой лихорадке. А как он хохотал еще минуту назад!

Насте казалось, она очень долго стоит. Потом она повернулась и пошла к дверям.

– Ты что? Да тебя на куски разорвут, – услышала она сиплый голос.

Он вскочил, пошатнулся и снова сел.

– Дежурный! Задержать ее! – прошептал он.

«Господи, сейчас начнется приступ и никого нет рядом, – подумал он с ужасом. – Как бы голову не расшибить».

– Что государь? – спросил Настю дежурный денщик.

– Отдыхает, – ответила она кратко и прошла мимо, не показывая пропуска.

Пропуск она показала, выходя из ворот, и сказала караульному:

– Государю худо. Быстро лекаря ему.

## ТЕМНИЦА

Ночью в темнице послышалось ворчанье: «Ты чего навалился? Подвинься! Ишь разлегся, право, как бревно». Те, кто не спали и перешептывались в углу, замолкли и прислушались. И вдруг тот же голос вскрикнул: «Батюшки! Скончался!» «Кто помер? Кто?» Вся камора проснулась.

– Да полковник этот, Каширин. Вчера гостьи к нему приходили да угощали наперебой. Вот и напился целебной воды.

– Точно ли он помер, Васильич? – спросил сотник Ярошецкий. – Может, просто крепко уснул.

– Нет уж, я покойника от спящего отличить сумею, – отозвался тот, кто поднял тревогу. – Сердце не бьется, совсем не слыхать. И не дышит. Холодеть уж начал, вот как!

Наступило тягостное молчанье. И вдруг сотник сказал:

– А он ведь не хотел пить эту воду. Может, не зря. Кто его поил-то? Беленькая эта?

– Нет, старуха.

– Это седая, с черными глазищами? – раздался голос из того же угла. – Ну, такая чем угодно напоит.

Опять все смолкли.

– Ты на что же намекаешь, Денис, – строго спросил сотник. – По-твоему выходит, она ему отраву дала?

– А на что ты намекал, говоря, что Каширин не зря отказывался пить воду? – тут же возразил ему из темноты Денис Татаринцев, тоже, кстати, сотник.

– Нет, – решительно вмешался чей-то новый голос. – Не такой человек Михайла Каширин, чтобы на грех самоубийства пойти и не разделить с товарищами общую судьбу.

«Верно», «не таков он», «верно», – сразу отозвалось несколько голосов. И один лишь печально заметил: «Себя не знаем, за других как ручаться? Может быть, терпенье кончилось у него».

– Не похоже, – возразил сотник Ярошецкий. – Михаил Никитич был духом тверд. И не так уж его пытали. У нас тут пострашней увечные есть.

– Да, не столь уж он был замучен, – поддержал его Денис. – С бабами своими любезничал долго. Особливо с той, что помоложе. Коли жизнь опостылела, тут уж не до баб. Небось, поверил он своей знакомке. Что она ему пообещала: мол, силы прибудут и достойно встретит смерть?

– Стойте! – вдруг испуганно вскрикнул кто-то. – Стойте, братцы. Мне вроде помнится, не один Каширин воду пил. Еще кто-то пожелал достойно кончину встретить. И старуха успела сунуть ему кружку, прежде чем эта скотина сержант расколотил ее кувшинчик с зельем.

– Сержанта, может, следует за это похвалить, – проговорил вдруг сотник Ярошецкий. – Давайте вспомним, кто еще пил воду? И тогда уж точно будем знать, что Каширин умер не случайно. Ведь что ни говори, а после пытки немолодой человек мог помереть и без всякой отравы. Ну, вспоминайте же, кто?

– Пашка Голиков, чего тут вспоминать, – откликнулся молодой голос. – Он от ожогов очень страдал. Его этот лохматый бес калеными щипцами замучил. Палач из палачей, самый главный.

– Ну там не разберешь, кто у них самый главный бес, – сказал Денис Татаринцев.

– Это что еще за речи? – вдруг заговорил незаметно подошедший к решетке сержант. – Розыск вели первые люди в царстве. Я тебя давно приметил, языкастый. Видно, мало тебя пытали. Узнаешь завтра настоящую пытку.

– Не бреши, холоп, – отозвался Денис. – Завтра нас целой толпой на тот свет погонят. И если станут уж кого пытать – так не за то, что палача назвал бесом.

– Будет тебе, сотник, со стражником рядиться, – строго остановил Дениса Ярошецкий. – Тут дело важное, нечего лясы точить. Кто рядом с Голиковым спать ложился?

– Голиков? Это молоденький такой, худощавый? – отозвался поднявший тревогу Васильич. – Да он тут же, у стенки лежит. Эй, сосед, кто там рядом с тобой, пощупай.

– Со мной рядом? – крепко напирая на «о», отозвался сосед. – А мне и невдомек, как его звать. Сейчас погляжу, кто тут рядом.

Наступила тишина, даже сержант молчал, и только слышался шорох.

– Вроде Голиков и впрямь, – сообщил сосед.

– Спит он? Дышит?

– Да вроде не дышит.

– Господи! И откуда такие олухи берутся! Пропусти, дубина, мы проверим.

– Ну, чего ругаетесь-то? Вечно вы, московские, гонор свой показать норовите. Проверяйте, мне что? Мертвый он и есть мертвый.

– Не рассуждай. Подвинься, – сказал начальственный голос. – Да, умер, братцы.

– Это Голиков? Верно? – спросил сотник Ярошецкий.

– Верней некуда. Он.

– Вот тебе и водичка из святого источника, – протяжно сказал кто-то.

– Ну, Белоус, – зловеще произнес сержант. – Будет тебе завтра расправа. Если бы не ты, не подошла бы эта ведьма к решетке и никого бы тут не поила. Ты им дорогу сюда показал. Вашего полку прибыло, – добавил он злорадно. – Еще одна головушка на плаху ляжет. В стрельцах служил – вам как раз подходящий.

Никто не ответил ему.

## РАССВЕТ

Остаток ночи промелькнул быстро. И наступил рассвет, ярко-розовый, как просочившиеся первыми капли крови.

По мостовой загремели колеса. Захлопали двери. В темницу вошли солдаты.

– Всем встать к этой стенке, – распорядился сержант. – А ты чего лежишь? Живой, вроде. Вот шевельну тебя штыком. А-а… Ребята, этих к той стенке, их на телеги надобно отнесть, ходить не могут. Мертвяков? Да вон туда, в угол. Сколько их? Шестеро? Не так уж много. Ну, выносите недвигомых, братцы. А вы стойте пока, отдыхайте, – обратился он к стоявшим у стены офицерам.

Солдаты понесли тех, кто не мог идти, и в дверях столкнулись с шустрыми мужиками, торопливо ринувшимися в темницу. Первым ворвался поворотистый, бедовый толстячок.

– Словно хищники на падаль, – сказал сотник Ярошецкий стоящему рядом Денису. Денис был молод, в сотники произведен недавно, и его многие звали просто по имени.

Толстяк заприметил лежащего на спине Каширина – Михаил стал человеком известным еще при Алексее Михайловиче, и его многие знали в лицо.

Толстяк взял Михаила под мышки и поволок к дверям. Но добычу перехватил какой-то лохматый, заросший бородой по самые глаза. Из-за обилия волос только и были видны его светлые, на редкость наглые глаза.

Лохматый тут же отбил Михаила и не поволок – понес – тело к дверям. В дверях его дожидался какой-то выползень с мутными глазами, и они понесли тело вдвоем.

– Как упыри, – с омерзением проговорил Денис.

Лохматый вдруг обернулся и внимательно посмотрел на него.

– Чего это он на тебя уставился? – спросил Ярошецкий. – Встречал, что ли, когда?

– А пес его знает, – пробормотал Денис. И добавил, пожав плечами:

– Где я мог такого встречать?

Лохматый вскорости вернулся, а выползень, как видно, остался на телеге. Толстяк тащил умершего еще с вечера пятидесятника с перебитым хребтом. Он испуганно оглянулся на лохматого, но тот и бровью не повел, а быстро направился в угол, где какой-то угрюмый верзила, склонившись над Голиковым, поворачивал его, чтоб половчее ухватить.

Лохматый тотчас дал ему в зубы, да так крепко, что тот свалился на пол. Победитель подхватил труп Голикова на руки. Проходя мимо Дениса и Ярошецкого,

он остановился, переложил покойника поудобней, взглянул на сотников и сказал непонятное: «Знал бы я…» Потом понес свою скорбную ношу к дверям.

Сотники промолчали. И лишь когда их соединили цепью, сунули в руки зажженные свечи и повезли к лобному месту, Ярошецкий спросил:

– Что, и сейчас скажешь, не встречал?

– Да кто его разберет… Лица-то не видно, – нехотя отозвался Денис.

Не хочет говорить, – подумал Ярошецкий, – казнь близка. А ведь ясное дело, этот буян ворвался в их темницу лишь для того, чтобы увезти тела Каширина и Голикова, двух человек, пивших ту воду. Зачем? Да он, видать, такой ловкач, что может и не положить их в общую яму, а схоронить в каком-нибудь спокойном, тихом месте под раскидистым дубом или березкой, гляди, еще и панихиду отслужат. Небось, родня заплатит. Хорошо бы так уйти на вечный покой. А у них впереди плаха, а не то на кремлевских зубцах повиснут.

У Дениса не было таких благочестивых мыслей. Разворошила его эта встреча. Лицо старухи накануне показалось ему знакомым. Ночью же, когда началась суматоха, он сразу вспомнил: Аксинья, лекарка и гадалка, ее судили за волшебство, когда он, Денис, еще пешком под стол ходил, и освободили по ходатайству государя Алексея Михайловича и царицы Натальи.

Все это рассказывал ему приблизивший к себе способного парнишку Федор Леонтьевич Шакловитый. С Кашириным у Аксиньи старинная дружба. И Денис сразу подумал: ну, эта не только может отравить, сказывают, есть такое колдовское зелье, наподобие воды живой и мертвой, – отравить может, может и оживить.

Буян с наглыми глазами и мерзкая утренняя суета так возмутили его, что он не сдержался. Но когда их взгляды встретились, глаза вовсе не были наглыми. Во второй же раз, когда мужик этот огорченно сказал: «Знал бы я…» и посмотрел на него с жалостью, Дениса словно кипятком ошпарило.

Это был казачий атаман, служивший Софье, а после разгрома девять лет назад и казни Шакловитого оказавшийся одним из немногих, кому удалось спастись. Они несколько раз встречались с Денисом, готовя нынешний мятеж.

Ох, судьба, судьба, не так легла копейка. Атаман, конечно, не мог спасти всех стрельцов, с которыми имел дело. Он спасал Каширина – старинные связи. Но если бы он знал, что они сидят в одной темнице, Денис не шел бы сейчас к плахе, где ждали его страшные муки и страшная смерть. Он ведь молод еще, только тридцать сровнялось. Грешные мысли одолели его, надо душу к другому готовить. Но взбаламучена его душа несбывшейся надеждой, и трудно будет утихомирить ее.

## УТРО КАЗНИ

Утром царь был свеж и полон сил. Могучее здоровье и искусство придворного лекаря сделали свое дело. Вчерашнего приступа как не бывало.

Наступил день праздника. Реки крови прольются и смоют с лица земли самых главных его супостатов, еще 16 лет назад явивших ему свое буйство, ненависть и жестокость. Он не будет больше видеть страшных снов наяву. Забудет ужас свой и унижение.

Царь был весел, он готовился своими руками добить поверженного врага. С ним были его сподвижники, разделявшие его радость, как и он, готовые к славному действу.

И начался пир.

## НА ТЕЛЕГЕ

Паша Голиков открыл глаза и увидел высокое синее небо и плывущие в нем легкие облака.

– Я умер? – спросил он.

– Куда спешить? – откликнулся веселый женский голос. – Нешто на телеге ездят на тот свет?

В самом деле он, кажется, лежит на телеге. Сзади дышит лошадь, слышен скрип колес и какие-то люди негромко смеются. Он попробовал сесть, но две сильные руки мягко надавили ему на плечи. Над ним склонилось женское лицо с яркими черными глазами. Женщина была немолода, но – странное дело – красива. Лицо знакомое. Когда он ее видел?

– Ну что, соколик, руки-то болят поменьше?

И тут он ощутил, что к нему возвращается страшная боль от ожогов на груди и животе. Руки почему-то и впрямь не болели.

– Здесь больно, – сказал он. – Руки не болят.

Женщина весело объяснила ему:

– Ты как начал дышать, я тебе смазала лицо и руки. А дальше не успела. Потерпи, милок, сейчас будет еще больней, а потом отпустит.

Он наконец узнал ее.

– Матушка! Это ты меня водой поила? Чтобы казнь… Когда будет казнь? – спросил он с ужасом.

Женщина открыла ему грудь, взяла баночку с мазью.

– Казнь милый мой, в Москве, ее не отменяли, – вздохнула она. – А тележки наши отъехали оттудова уже далеко.

Боль ожгла нестерпимо, чуть ли не хуже, чем от щипцов палача. Но он сдержался, стиснул зубы и задышал со свистом.

– Терпи, соколик. Может, она и вправду не слабже, нежели от щипцов. Только там тебя калечили, а я лечу.

Как она догадалась, что он подумал про щипцы?

– Вот она молодость, – сказал мужской голос – кто-то, как видно, подъехал верхом. – Очнулся, лечится. Эк его ведет от твоей мази. Может, дали бы раньше поесть?

– Что ты, – отозвалась женщина. – Такие ожоги. Их запускать нельзя. Потом поест. – И подняв голову, тревожно спросила: – Миша как? Не начал дышать?

– Пока нет, – ответил всадник. – Как ты думаешь, очнется он?

– Должон очнуться, – не совсем уверенно сказала женщина. – Вот закончу грудь и будет тебе передышка. Это какой же сукин сын постарался так пожечь тебя?

Где уж там передышка, думал Паша, сердце выскочить готово, а она все мажет.

Но вот наконец кончилось мученье.

– Покамест будет, – сказала лекарка. – Пойду к Михайле. Передохни, сынок. – И заглянув ему в лицо, улыбнулась. – Ты молодец, терпелив. Небось, клянешь меня последними словами?

Боль и в самом деле стала проходить. И руки не болели. Чудеса! Что ж это за люди такие? Вытащили его из темницы, везут куда-то, лечат. Надо бы вспомнить, что было вчера.

– Дышит, дышит Михаил! Ну, слава Богу. Обоих спасли, – загомонили женские и мужские голоса.

Спасли обоих! С кем вместе его спасали? Как все вспомнить? Две женщины подошли с корзинками. Там пироги были и вода. Сержант разбил кувшин! Осколки полетели. Он ясно вспомнил это. Воду расплескали, а корзинки с пирогами остались. Он не ел тогда. Боль страшная, не до еды. И сейчас болит. Но есть вдруг захотелось.

– Эй, дядя! – окликнул он возницу. – Не найдется ли чего перекусить?

Тот обернулся. Ох, и неказист!

– Перекусить как не найти, – ответил мужичонко. – Да ведь тебя, племянничек, не долечили. Аксинья! – крикнул он. – Оголодал твой хворый. Как его кормить-то?

– Да какой же он хворый, коли есть просит, – откликнулась лекарка. – Он уж, почитай, здоровый. Я тут Мише руки вправляю, а его Настя покормит. Приподнять его маленечко за плечи, он и поест.

Настя – это та вторая, беленькая, подумал Паша. Кто же этот Миша, которого спасли вместе со мной?

Но кормить его подошла совсем другая женщина. Высокая, в мужской одежде. А беленькая тоже тут? Он вдруг вспомнил, как она вскричала: «Миша Каширин, можешь ты сюда подойти?» С этого-то все и началось. Так вот с каким Мишей его вместе спасали. Что ж беленькой-то этой не видно, небось, возле полковника сидит.

## ЛОБНОЕ МЕСТО

Но Дуняша была далеко, где никого не лечили, а только мучили и отправляли на тот свет. Царские сподвижники разыгрались. Сделав зверское лицо, взмахнет шутник топором и как будто по нечаянности опустит его на хребет. И раз, и два и больше «ошибались».

Робкая и жалостливая Дуняша чуть не падала, но уйти не могла. Как уйти, не попрощавшись с Мишей? Не проводив его в последний путь? Ноги подкашивались, а она все бродила, бродила. Осеняла крестным знаменьем умирающих. Слезы заливали ей глаза. И никто из встречных горожан не мог ответить: казнили ли полковника Каширина и, ежели казнили, то когда, и куда отвезли хоронить.

Но вот в конце концов государь вспомнил о Каширине. Всех офицеров в высоких чинах постигло уже заслуженное наказание. Самых главных повесили перед окнами ненавистной сестрицы. А что до прочих, тела бросали прямо тут же на земле, отрубленные головы цепляли на зубья городской стены. Впрочем, как ни возбужден был царь кровавым пиром, сквозь возбуждение пробилась тревожная мысль: где же наконец Каширин? Больно много женщин за него просили. А он всем отказал. Последней приходила Настя и довела его до припадка. Если б не припадок, болтаться бы и ей пред окнами ее подруги Софьи Алексевны. Этакая дерзость – заговорщица приходит хлопотать о заговорщике.

Он подозвал Лефорта и спросил:

– Каширина когда казнили?

– Я не видел, герр Питер, чтобы кто-нибудь его казнил.

– А самого его ты видел?

– Совершенно так же, как и вы, не имел этого удовольствия, – улыбаясь, ответил Франц.

– Да его вроде не казнили, – вмешался Меншиков.

– Так чего ж ты тут торчишь? – закричал царь. – Быстро марш и разузнать, в чем дело.

Дело разъяснилось через пять минут. Каширин помер ночью и на рассвете вместе с другими мертвецами его свезли в общую яму на пустырь.

– Своей смертью подох, сукин сын, – проворчал Петр. – На пустырь, так на пустырь, не спасли его бабы.

## БЕСЕДЫ В ПУТИ

На привале Паша был уже совсем здоровый. Михаил Каширин ложку ко рту с трудом тянул, а Пашка вскакивал, бросался помогать, подсаживался то к одному, то к другому. Возчик Гаврила пошел по воду, увязался за ним.

Ему все было любопытно. Ведь и впрямь, как в сказке. Вчера корчился от боли на полу, а тут, на тебе, такая благодать – вокруг все зелено, журчит река и осенней листвою пахнет. А главное – воля. Не сидишь в темнице и не ждешь, что вот ворвутся, схватят и погонят, как скотину на убой.

Он уже знал своих спасителей. Человек, подъезжавший на лошади и похваливший его за молодость и живучесть – атаман, Иван Кириллович. Он все это дело задумал и исполнил вместе с Гаврилой, утром увез их из темницы, вроде бы хоронить. Высокая женщина, что кормила его, когда он лежал на телеге, – атаманова жена Настя. Возчик, правивший второй телегой, был неразговорчив, но внимателен и учтив. Аксинья – и слов нет – добрая волшебница. Право же, попал он в сказку.

Один Каширин угрюм, словно жизни не рад. Отчего он такой? Печалится, наверное, о товарищах. Паше тоже грустно думать о них, но ведь жизнь подарена! Может, Каширин считает, что грех спастись, когда все погибли, он ведь совестливый, благородной души человек. А может, грустит о знакомке своей Дуне, что так плакала вчера у решетки.

За Гаврилой по воду он увязался не случайно. Утром спал на телеге, освободившись от боли, и вдруг услышал странный разговор:

– Что же ты такой лазутчик несравненный, – говорила, очевидно, Настя. – К Софье так пробраться и не смог?

– Невозможно было, – отвечал Гаврила. – Там не то что мышь не пролезет, муха не пролетит.

– И записку не передал?

– Говорю тебе, все глухо. Уж поверь. В другой раз попробую, когда поутихнет. Зато Марфу повидать сумел.

– Ну и что она?

– Да плачет, вся в слезах.

– Как не плакать, – сказала Настя. – Натворил Петруша дел.

Они помолчали, потом Гаврила зачмокал и погнал побыстрей.

Как необычно все, как любопытно. А имена-то – Софья, Марфа, Петр. Это о каком же семействе они говорили?

И сейчас, направляясь к реке, Паша словно невзначай спросил:

– Скажи, Гаврила, о какой Марфе ты рассказывал, что все плачет безутешно? Кто она и почему так плачет?

– Как же ей не плакать? – Гаврила, кажется, никакому вопросу не удивлялся. – Боится. Она казачка, из наших, а муж у нее стрелец.

– И что ж, его схватили?

– Нет, он не в Москве. А к ней засаду поставили в доме. Вот и плачет. – Он зевнул, потом добавил: – Я думал, ты спал.

– Да, спал, – ответил Паша. – Сквозь сон услышал и проснулся. Вчера вечером каширинская знакомая, эта Дуня, видно, добрая душа, так уж плакала над ним. Ты ее знаешь, Дуню?

– Нет, – ответил Гаврила и зачерпнул второе ведро, – откуда мне ее знать. Ты воду пока не таскай, Аксинья сказывала, мол, ослаб после пытки и надо тебя поберечь.

Бог ты мой, еще вчера вечером никто и не думал его беречь. И, полный радости жизни и освобождения от боли, он побежал вверх по косогору, бросился на траву и лежал, раскинув руки, и ни о чем не думал.

Но совсем не думать он не мог. Кто они, эти люди? Какой Софье носили записки? С какой Марфой встречались, и кто этот Петр? Старые друзья полковника Каширина нагрянули в Москву, чтобы спасти от казни. Заодно спасли и его. Нет, люди они не простые, как провернули все дело.

Потом опять сидели у костра и пили вкусный ягодный отвар, сготовленный Аксиньей. Паша, улыбаясь, оглядывал своих новых друзей. Нравились ему эти люди. Все какую-то станицу поминают, где их ополчение живет с женами и детишками. Уехать бы туда… Куда? Он так до сих пор и не знает, где она, эта станица. На Волге, в Крыму, в Литве?

Он никак не мог на месте усидеть. Настя пошла собирать на опушке грибы, он увязался за нею. Оба они развеселились, каждому слову смеялись. Паша расспрашивал про станицу, ловко придумывал вопросы, стараясь допытаться, в каких же она краях.

Настя веселилась и городила всякий вздор: что, мол, там чудища живут вроде Змея Горыныча, и дыни растут, и клюква есть. Потом вдруг озабоченно сказала:

– Паша, ты устал. Посиди в холодке, отдохни.

Спутники его расположились на траве и о чем-то толковали. А он побрел к большому дубу на пригорке, сел, прислонился к стволу. С чего он устает, не делает ведь ровно ничего.

* * *

– Наверняка пока не знаем, – сказал Иван, – одначе очень может быть, что птичка подсадная. Ты там что хохотала-то с ним? Об чем таком веселом

толковали? – повернулся он к Насте.

– Больше насчет станицы спрашивал меня, – неохотно ответила Настя. – Где она, в каких находится краях?

– Так прямо и спрашивал?

– Исподволь. Какую одежду носят зимой. И есть ли река или море.

– Да! – с досадой произнес Иван. – Молодой, говоришь, любопытный, – обратился он к Аксинье. – Что же прямо не спросить? Море ему, вишь, понадобилось, да носят ли зимой тулупы.

– Он хороший паренек, – вступилась Аксинья. – И мы понравились ему, это я чувствую. Что он в жизни видел? Голодуху да бедность. Может статься, и соблазнили. С ним бы по душам поговорить, откровенно.

– Поговори, поговори, – буркнул Иван. – Что же он раньше не признался нам, спасителям своим, хорошим людям?

– Запутался, не решился. Да ведь и страшно.

– Запутался, – сердито проговорил Иван. – Ну, мы выложим ему, что все знаем. Тут он сразу же решится и попросится к нам, вопросов больше предлагать не станет, доедет до станицы, а потом сбежит к своим хозяевам, что малость не угробили его. И нагрянет к нам Петруша.

– Да, мог Паша помереть, – сказала Аксинья. – Очень много ожогов.

– Что привязались к парнишке, – впервые заговорил молчаливый возчик, с которым ехал Каширин. – Да он сам не свой от радости, что спасся. Вот и болтает, как дурной, и спрашивает, языком молотит.

– Больно много спрашивает, – вмешался Гаврила. – И расспросы его мне не нравятся.

– Костя верно говорит, – возразил Иван, – с радости да сдуру что угодно наболтать можно. Ксюш, сходи-ка ты к нему. Ты вот чувствуешь: он к нам расположен. И мне вроде кажется так. Но ведь одно другому не помеха. Может, сумеешь побольше узнать.

– Ох, грехи! Собачья работа, – Аксинья встала, кряхтя. – Видать, и впрямь придется. Но противно это мне, слов нет.

– Стыдно, братцы, – проговорил Каширин. – Замученный, запутавшийся мальчишка впервые в жизни встретил порядочных людей. Неужели же мы станем лезть к нему в душу, используя свое уменье? Если даже он и вправду подсадной, он успокоится и сам нам все расскажет.

– Не расскажет, боится, – сказал Иван. – Нас боится. Или те запугали.

Запугали или соблазнили, думала Аксинья, поднимаясь по пригорку.

Пашу разморило, но он не спал.

– Все в сон клонит, соколик?

– Сам не пойму, – он виновато улыбнулся. – Я же ничего не делаю.

– А пытка? Пытка хуже, чем болезнь. Человек от болезни слабеет, а уж от таких-то мук… Ну, давай, снимай рубашку, стану дальше тебя лечить.

– Опять больно будет? – спросил он с испугом.

– Нет, теперь уж сильно не заболит. Еще разок-другой придется. Пятна побледнее станут, а то прямо страх.

Ее руки гладили его спину, плечи, он успокаивался, засыпал. Пожалуй, самая пора заглянуть к нему в душу – как там Миша сказал? Все та же сумятица, – он расположен к ним, это ясно, но и что-то другое манит его – шум, праздник, музыка, парадный мундир, – посулили бедняге успех… страх, обида… У Аксиньи от жалости похолодело сердце.

– Пообещали, что пытать будут для виду? – спросила она.

– Обманули, сволочи, – прошептал он сквозь сон.

## ВЕСТИ ИЗ ТЮРЬМЫ

Петр так расходился, что никакой усталости не чувствовал. Пятерым сразу головы снес. Глаза его сверкали страшным весельем, лицо сводила судорога, может быть, он улыбался. Он ходил, глядел и жадно впитывал в себя долгожданную радость.

Вдруг он увидел, что к нему пробивается какой-то офицер, за коим следуют сержант и солдаты.

– В чем дело? Кто такие? – крикнул он, недовольный, что его отвлекают.

– Я начальник тюрьмы, – испуганно заторопился офицер, глядя в гневные глаза государя. – А вот это сержант, он все расскажет, он вчера стоял на часах и видел, как с Кашириным и Голиковым дело было.

– Какой еще Голиков? Не слыхал. Каширин умер?

– В том-то и дело, государь… приняв во внимание… и опять же…

– Не тяни! – яростно крикнул царь. – Отвечай быстро: умер?

Испуганный тюремщик выпалил:

– Есть сомненье, государь.

– Что?!

У царя стали такие страшные глаза, что тюремный начальник чуть не лишился чувств.

– Князь кесарь где? Хорошо. Вот к нему и отведите. Слышишь ты? Доложишь все князю Ромодановскому.

Час от часу не легче. Ромодановского боялись больше, чем царя.

## ПОГОНЯ

Паше снился страшный сон. Будто он лежит в могиле, и кругом мертвяки и только он один живой. Он хочет выбраться на волю, но у него нет сил. Он все старается, рвется и ничего не может. Надо закричать, позвать на помощь, но не шевелятся губы.

Проснувшись, он не сразу осознал, что это лишь приснилось. На дороге его спутники переговаривались, запрягая лошадей. Он подбежал к ним, они замолчали.

Что все же случилось? Он же ничего не сделал, не сказал. А может, они как-то догадались? Они ведь ушлые, страсть! Такое творят. Он щенок перед ними.

Паша вспомнил, каким он чувствовал себя маленьким и жалким, когда Ромодановский уставил на него свои свинцовые глаза и просипел: «Из-под земли достану, понял?»

И тут вдруг прямо шибануло: зачем я про Марфу спросил? А ведь я хотел еще ловчее завернуть. Прямо в лоб: «Марфа и Софья – сестры?» Слава Богу, не спросил. Куда уж мне с ними ловчить?

– Сейчас догнать уже могут, – сказал атаман.

Настя вынула из короба мужской парик, напялила на себя, и лицо ее стало чужим и странным.

Иван зачем-то сел на место Кости, неразговорчивого возницы. А Костя сел на атаманова коня.

– Пособить не надо? – робко спросил Паша.

– Да что там пособлять? Садись, сейчас поедем.

Ответила Настя. А остальные на него и не глядят. Он подошел к Аксинье, она вздохнула, отвернулась.

Он, сгорбившись, сидел на телеге и тоскливые хмурые мысли набегали, как осенняя волна. Кто он? Простой мужик, крестьянский парень. Ничего не умеет, не знает. Говорят, смекалка есть. Деревенская смекалка. А эти… Разве он им чета? Умерших оживляют. Из-под земли достанут. Те вон тоже обещали не сильно пытать. А как спалили? Страшный этот Ромодановский. В застенке все один другого страшнее. Царя мельком увидел – не приведи Господь!

Эти добрые. Но вот они догадались. Теперь тоже пытать будут? Или просто убьют?

Зацокали копыта. Кто-то их догонял.

– Обозные, стой!

Разъезд, человек двадцать.

– Кто такие? Пропуск имеется?

Константин, он тоже был в парике, достал пропуск, не тот, что показывали раньше. Паша понял: разъезд из Москвы. Да ведь это за ними погоня!

Офицер оглядывал их цепким взглядом и посматривал в свою бумагу.

– Женщина одна, – пробурчал он. – А ну, голову открой.

Аксинья сбросила платок. Батюшки светы! Накрасилась, насурьмилась, как гулящая. Кудри черные, глазами играет.

– Хм, – сказал офицер. – Зачем с собой такую взяли?

– Попросилась. Боится одна.

– Ни черта она не боится, – буркнул офицер. И снова их внимательно оглядел.

Нас ищут, верное дело, подумал Пашка. В бумаге приметы, небось. Только в приметах писано, что должно быть две женщины и двое изувеченных. А они с Михаилом на вид уже здоровы. И бабы переоделись.

– А ты, малый, тоже к чудотворной? Чем болен? – внезапно повернулся к Паше офицер.

– Я – ничем. У меня бабушка болеет.

– Бабушкам положено болеть. Зря такие, как ты, дорогу загромождают.

Офицер кивнул Косте. Они отъехали в сторону. Наверное, отпустит. Хабар возьмет.

Офицер еще раз проглядел бумагу и смотрел им вслед. Вот беда, во всем его разъезде никто не знает Каширина. На первый взгляд, к описанию подходят. Пятеро крепких, справных мужиков. Старая колдунья, небось, поехала другой дорогой. Вторая перекраситься могла. Но должно быть двое увечных. И атаману, сказано, под шестьдесят, глаза светлые. А у ихнего вожака глаза карие и никак ему не больше, чем сорок. Нет, не так уж тут все подходит. Заплатили, впрочем, хорошо.

Моргнул бы я офицеру, думал Паша, их бы всех схватили. И Аксинью? И Настю? Они мне жизнь спасли. А теперь убьют. Если б я дал знать офицеру, награду получил бы и зачислили бы в Семеновский полк.

Может, в Семеновский. А может, в застенок. Эти тоже запросто мне устроят застенок в лесу. Или в станицу свою увезут. Тоже радость небольшая. Да что голову ломать? Сказал так, как сказалось, и нечего про это думать.

## РОМОДАНОВСКИЙ

Князь кесарь в истории, рассказанной сержантом, разобрался быстро.

Оказалось, он даже сам участвовал в ней. Заранее подозревая, что старинные друзья и подруги Каширина постараются его спасти, он подсадил к нему в темницу теплую, прямо из рук своих пташку и велел ей не спускать с Каширина глаз.

Свои люди были у Ромодановского везде, и среди стрельцов тоже. Один весьма нуждавшийся в деньгах полуполковник рекомендовал ему зело подходящего на его взгляд парнишку.

– Вьюноша темный, прямо из курной избы, эдукации никакой, – говорил он. – Но живой, неглупый, толковый. И смелости отчаянной. При всей серости и отсутствии связей произведен уже в десятники.

– В бунте замешан? – спросил князь Федор Юрьевич.

– К стрелецким делам равнодушен, мне кажется; скорей хотел бы в Семеновский полк и карьеру сделать. Но по живости нрава успел кое в чем поучаствовать, так что можно притянуть.

– Стрельцов всех будут судить, пытать и предавать казни, – флегматически произнес князь кесарь. – В том числе и тех, кто ни малейшей живости не обнаружил.

У полуполковника отвисла челюсть.

– А-а… Как всех?

Князь кесарь взглянул на него и в очах его промелькнула какая-то бесовщинка. Правда, потом он все же посоветовал написать прошение об отпуске, в связи с нездоровьем родителей. Человек этот мог еще пригодиться.

Вьюноша, столь горячо аттестованный, предстал пред очи князя Ромодановского. Это и был Пашка Голиков. Остальное, нам уже известное, князь кесарь пересказал царю.

Наглый атаман, увозя на своей тележке хладные тела спасенных, на прощанье пронзительно свистнул. Это было нечто вроде подписи. Атаман славился своим разбойным, леденящим душу свистом. Он и ополчение свое выучил так свистать на устрашение неприятелю. Говорят, и впрямь устрашал.

– А почему ты думаешь, что их спасли? – нетерпеливо спросил Петр.

– Аксинья Соколова участвовала, – кратко ответил князь кесарь. И добавил: – Есть такое зелье, вызывает временную смерть. Она, небось, о нем тоже знает.

Далее он сообщил, что разослал по следам беглецов дюжину конных разъездов, велел скакать как можно шибче, не щадя коней, предупредил, что разбойники могут менять внешность.

– Я полагаю, какой-нибудь из разъездов с ними уже поравнялся.

– Велики ли у тебя разъезды? – спросил Петр. – Не получится у этой шайки над нами перевеса?

– Навряд ли. Мне уж доносили. Три телеги видели по дороге на Тулу. А чтобы их большой отряд где-нибудь дожидался, когда вся Русь разъездами кишит, не такой он дурак, атаман этот.

– А какой дурак придумал, – вдруг разъярился царь, – везти покойников на пустырь? Я, кажется, ясно приказал: засыпать всю Москву мертвыми телами.

– Лейб-медик твой присоветовал, – ответствовал князь кесарь. – Холеры страшится гораздо. Говорит, казненные для назидания пусть хоть год лежат. А эти своей смертью померли и начали уже разлагаться. От них только вонь, а назидательности никакой. Городской голова согласился.

– Назидательность ему понадобилась, – буркнул царь. – Вот я ему башку снесу для назидания. Слушай, – вдруг произнес он просительно. – А может, они в яме так и лежат? Сходить проверить и не мучиться, ожидая, когда их разъезды твои настигнут.

– Что ж, сходи проверь, – согласился князь кесарь. – Соратников прихвати. Там чуть не сотня трупов.

А Петр уж загорелся. Скорей, скорей. Раскопать эту яму, вытаскивать, смотреть в ненавистные лица и узнать, наконец-то узнать, может быть, он вовсе и не спасся, столь любимый друзьями Каширин.

## БЕГЛЕЦЫ

После того, как Паша не выдал своих спутников, он сделал первый шаг к примирению с самим собой. Он успокоился, сам с ними заговаривал, ему отвечали, и дело вроде бы пошло на лад. Он поступил по-честному. Они спасли его, и он их спас. В самом деле, моргни он офицеру, и их было бы двадцать с лишком против троих, – Михаил пока что не владел руками. Но Паша человек порядочный. Эти люди спасли ему жизнь, он не мог их предать.

Спутники смотрели на довольного Пашу и посмеивались, кто добродушно, кто не так уж.

– И чего ты к нему привязался? – говорила Аксинья Ивану. – Парень честно поступил и доволен. Что тут худого?

– А худо то, – отвечал Иван, – что он, не сделав подлости, благодетелем себя нашим считает. То ли глуп, то ли душа с червоточиной.

– Ну, ты уж скажешь, – возразила Аксинья. – Зелен он еще свою душу понимать.

– Иной до старости проходит зеленым, – сухо сказал Иван.

– Бывает, – неохотно согласилась Аксинья. – Ну до старости ему далеко. Погоди, я думаю, войдет в разум.

– Самое время годить – погони на каждом шагу, – сердито ответил Иван.

Солнце клонилось к западу, когда быстро ехавшие беглецы решили дать лошадям передышку. Они свернули в березовую рощицу на высоком берегу реки. Развели костер. День выдался очень жаркий. Есть Паше не хотелось, а тянуло его посидеть у реки. Он стал спускаться с косогора и оглянулся на оставшихся.

– Я малость посижу у воды.

– Иди, иди, – махнул рукой Иван. – Мы еще не скоро.

Он сидел, глядя на бегущую воду. Хорошо тут, спокойно, не думаешь ни о чем. Встал, умылся, походил немного и снова сел, слушая милое журчание речки. Уходить не хотелось. Пора, – сказал он себе строго и двинулся вверх.

Костер залили водой и трава слегка примята. Пустая роща встретила его.

Как же так, они все только что тут были, – и Аксинья, и Иван, и Настя. И Каширин расхаживал, осторожно шевеля недавно вправленными руками, и два возчика – красивый и неказистый. Только что были и вдруг никого.

– Укатили, – растерянно проговорил он.

Ну что ж, зато он свободен и от этих, и от тех. Раз укатили, значит, не убьют. И не уволокут в свою станицу. Ни о чем теперь не надо думать, ничего не надо выбирать. От московских прятаться прийдется. Если он попадется им в руки, прикончат раба Божьего и глазом не моргнут. Подальше от Москвы куда-нибудь забраться, а дело он себе всегда найдет. Пойдет в солдаты, сбежит на Дон к казакам, к мужику богатому пристроится в зятья. А может, в монастырь – вот где покой. А то – в разбойники. Он усмехнулся. Выбор большой. Побредет потихоньку проселками и что-нибудь придумает.

В траве белел какой-то узелок. Он подошел, нагнулся. Лепешки, солонина, чистая рубаха и баночка с остатками мази, какой Аксинья лечила его. У него сдавило горло и теплые слезы, как горошины, покатились из глаз.

Ну, шагай, свободный человек. Москва в той стороне осталась, он пойдет в другую.

## СПОРЫ НА СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЕ

– Ты что, Миша, затосковал, словно тебя силком оттащили от плахи? – неожиданно спросил Иван.

Разговор этот назревал уже не первый час, но не при Пашке же его вести. Сейчас он загорелся, как костер, то вспыхивая, то погасая.

Михаил слабо улыбнулся.

– Нет, почему же, я все понял и знал, что делаю. Насильно меня никто не тянул.

– Что ты вяжешься к нему? – рассердилась Настя. – Слов благодарности никак не дождешься? Ты хоть помнишь, что сейчас в Москве?

– Забыл! – выпалил Иван и сделал оловянные глаза.

– Брось, Ваня, не серчай, – мягко сказал Михаил. – Я же знаю, вы жизнью ради меня рисковали, а Настенька просила его за меня и чудом не погибла. Знаю, чувствую, но ведь слов не подберешь благодарить за такое. Вы уж поверьте мне, что я не чурбан бесчувственный.

– Что не чурбан, поверим, – сказал Иван. – Не распинайся. И что в Москве сегодня деется, об том у нас у всех сердце болит. И мое – не каменное.

– Понимаю, все понимаю. А ты знаешь, тот рыжий парнишка, подручный Шакловитого… Он ведь со мной в одной темнице был.

– Знаю, – буркнул Иван. – Он давно уж не парнишка. Видел я его в темнице. – Он нахмурился, вздохнул. – Все понятно, все так, а теперь скажи мне, что же еще не так?

– Что еще? – переспросил Михаил. – Ну, это ясно. Меня везут Бог весть куда. В Россию путь мне заказан, и я оставляю здесь самых близких.

– Ну самых – не самых, надо еще разобраться. К Федоту Чеботареву ты и впрямь наезжал часто, а касаемо других… К слову сказать, а что, мы тебе совсем не близкие?

Михаил взглянуть на него мрачно и ничего не ответил.

– Снова здорово, – вздохнула Настя. – Миша, насчет твоих близких у меня задумка есть. Может очень даже складно получиться. Я тебе потом расскажу. Только вы с Иваном раньше доспорьте.

– Нам вроде не о чем уже спорить. Что ты там задумала, скажи.

– Есть о чем спорить, – возразил Иван. – Ты, Михайло, знать, не зря служил в Посольском приказе. Наговорили мы порядком, а о главном ни слова.

– Я всем вам очень благодарен, – сдавленным голосом сказал Михаил. – А насчет моей дальнейшей судьбы готов повиноваться любому вашему решению.

– Ты что, сдурел? – спросил Иван. – Говоришь таким голосом, словно дохлым мышом подавился. Да еще такую чушь несешь. Мы тебя в полон не брали.

– Я буду жить в твоей станице, верно? – спросил Михаил. Серые глаза его смотрели жестко, недобро. – Кем я буду там? С колотушкой по ночам ходить? Или казачат учить «аз» «буки»? Ты пойми, – вдруг выкрикнул он. – Я казачьей воинской службы не знаю. Я всю жизнь стрелец. Но даже иноземная мне понятней, чем ваша.

– Так и думал, – хрипло сказал Иван. – Так и думал. Хорошо же ты обо мне полагаешь – с колотушкой. – Он поднял голову, глаза его светились гневом. – Ты мой гость дорогой, понял, дурень? Отдохнешь, поправишься и езжай, куда душа пожелает. Вот Аксинья погостит у нас, а после на Дон подастся. Тоже ведь оставила близкого на Руси.

– Мне на Дону делать нечего, – мрачно сказал Михаил.

– Кто тебя туда гонит? Отдохнешь, оклемаешься, – езжай в любую страну.

– Не больно я там нужен, – проворчал Михаил. – Нигде меня никто не знает.

– Как нигде? – удивилась Настя. – У тебя в Польше сколько друзей. Живы они – Есень, Маринич?

– Ну какой же Маринич мне друг? И как он может быть жив? Давно помер, старый пропойца. А Есень… Есень – это да. И другие найдутся знакомые. Как же я про Польшу-то забыл? – Михаил заметно повеселел. – Возможно ли отправить туда из твоей станицы письмо? – повернулся он к Ивану.

– Послать-то можно, да больно долго ждать. Из Малороссии пошлем, с дороги. – Иван тоже повеселел и сразу перестал сердиться. Настя просто счастлива была, что кончились эти глупые споры.

– А ты что это затеяла, супруга? – с любопытством спросил Иван. – Не дождавшись, когда кордон переедем, в Польшу эпистолу посылать? С кем ты ее отсюдова отправишь?

Перед Настей стояла большая шкатулка, на плоской ее крышке располагались дорожная чернильница, перо и лист бумаги.

– Никого я не собираюсь в Польшу посылать, – удивленно и слегка обиженно сказала Настя. – Это совсем другая эпистола. Вы малость помолчите – послание невелико, да отправить его надо поскорее.

Она и в самом деле справилась быстро. Потом прочла им вслух и гордо огляделась.

– Хорошо придумано?

– Нет слов, – сказал Иван. – И в кого ты такая умная? Не иначе как в мужа. Федот Чеботарев в пяти верстах отсюда. Я его сейчас и отвезу.

– Не спеши ты так. Больно скорый, – остановила его Аксинья. – Дай с мыслями собраться. Малость погоди.

– Что, зря я это? Не нравится тебе? – обеспокоено повернулась к ней Настя.

– Да нет, придумала ты складно. Попробовать стоит. – Аксинья улыбнулась. – Ты и в пятнадцать лет толковая девка была. Я к тому, что незачем так уж сразу бежать. Земля, что ли, горит под ногами?

– Да пожалуй, что горит, – сказал Иван.

А Михаил добавил:

– У нас горит. А уж как она горит у этого несчастного Пашки. В любой миг схватить могут. Утром жизнь подарили, а вечером отберут. Хороши спасители.

– Да кто его схватит, кому он сдался? – буркнул Гаврила.

– Разъезд построже попадется. Или разбойничков встретит, – стоял на своем Михаил.

– Миша, будет тебе, – жалобно попросила Настя. – Мы ведь все обговорили. Ты лучше письмо подпиши. Там сказано, что ты поставишь подпись.

Михаил, смущенно улыбаясь, неловко обмакнул перо и старательно вывел под стремительными Настиными строчками большую косолапую букву «М».

Стало тихо. Все старались не смотреть на Аксинью. Что она надумает, долго ль будет размышлять?

Но она не размышляла, просто ждала. Мысли ее были совсем о другом.

Они съехались в Москву и спасли кое-кого – порядком было удачных побегов. И вдруг, как обухом по голове: Михаила казнят в первый день.

Они послали самых лучших на это неподъемное дело: Иван, Костя – его есаул, лучший разведчик Гаврила. Ну, и они с Настей, это уж само собой. Больше всех рисковал Иван, если бы его схватили, его ждала мучительная казнь.

Иван придумал все и жизни своей не жалел, спасая чужую. Со стороны казалось, он старинного друга спасает. Тот же Пашка уж, конечно, так решил. А они ведь не друзья, они – старинные враги, соперники. У них общие друзья, общее дело и тридцать лет – немалый срок. Но как вспыхнула, как жарко разгорелась давняя, забытая как будто бы, вражда и ревность. Заварила тогда Настя кашу. А уж хороша была!

Мишка охотился за атаманом, хотел свести в застенок. Иван его наверно бы убил, слава Богу, разъехались вскоре.

Тридцать лет, конечно, немалый срок. Но тлеет огонь под пеплом.

– На что он разбойникам? – сказал вдруг Иван. – Рубаха драная, портки – на помойку бросить. Скорей в шайку могут заманить. Парень крепкий и не трус. В разбойники гож.

– Не смею спорить со знающим человеком, - сказал Михаил.

Они взглянули друг на друга и рассмеялись.

Тут засмеялись наконец-то все. И молчаливый Костя, и Гаврила – скрипучим заржавелым смехом. Настя так и покатилась, сроду смешливой была.

Кто знает, может и погасло наконец так долго тлевшее пламя.

Вдруг Аксинья встала. Она уже не витала в дальних временах. Глаза ожили и заблестели.

– Пора, – сказала она и повернулась к Ивану. – Один не езди, возьми Настю. Дела такие – женщина нужна. Поезжайте сперва к Чепуровым. Да побыстрее оборачивайтесь там. Мы здесь, на мельнице, будет ждать. Небось, и заночуем.

## СУД СКОРЫЙ И ОТЧАСТИ СПРАВЕДЛИВЫЙ

В яме не обнаружилось ни Каширина, ни Голикова. Царь был в великом гневе и сказал, что надоели ему их дурацкие рожи и он хочет побыть один. Ему подали его обшарпанный кабриолет, он сидел, откинув голову, закрыв глаза.

Но и в закрытых глазах мелькали топоры, отрубленные головы. Как раз рожи больше всего и мелькали. Со всех сторон окружали его глаза – ненавидящие, испуганные, пустые, обращенные к стоящим тут же, рядом женам и детям, обращенные в себя.

Все время почему-то вспоминалось, как подвели к нему связанных цепью двух офицеров. Один, пожилой, смотрел на него с непонятной жалостливой грустью. Второй – еще молодой, высокий, рыжий с дерзкими зелеными глазами. Сотник Денис Татаринцев. Петр запомнил его еще в застенке. «Чему ты смеешься?», – спросил его тогда царь. «Не вижу смысла экзекуции, – ответил тот с усмешкой. – Ты ломишься в открытую дверь. Мой отец еще при твоем отце долгополый кафтан укорачивал и бороду подстригал. Его за это журили, но на плаху никто не тащил. При государе Федоре Алексеевиче дело дальше пошло. Сам государь надел кунтуш и придворным велел так ходить. Москвичам иным понравилось, и себе такие же пошили. Полы обрезают постепенно, а ты хочешь враз. И из-за этого уничтожишь все стрелецкое войско». «Вас и надо уничтожить всех до одного», – ответил Петр. Дерзкие зеленые глаза смотрели с насмешкой: «Нетерпелив. Обезлюдит Россия при таком торопливом царе. Ты ж на нас не успокоишься».

Царь велел пытать его особо жестоко, но Татаринцев ни разу не вскрикнул.

Увидев его дерзкие глаза у плахи, Петр задрожал от гнева. Он подозвал Шеина.

– Вот этого печальника развеселишь, – он указал на пожилого. – А рыжего… Рыжий – мой!

– Будет исполнено, герр Питер, – отозвался тот.

– Ну, – обратился Петр к наглому супостату, – умничать ты сейчас не будешь, благим матом будешь орать.

– Не утерпишь, – ответил сотник. Дерзкие зеленые глаза взглянули Петру в очи с возмутительной, непереносимой насмешкой.

Царь взмахнул топором и одним ударом снес ему голову с плеч.

* * *

Когда царь вернулся с пустыря, на лобном месте добивали последних.

В стороне стояли, дожидаясь его, несколько солдат, свидетели по Каширинскому побегу. Неторопливо подошел князь кесарь. И свита подошла.

– Дело, государь, тебе уже известно, – сказал князь Федор Юрьевич. – Распорядился же я так. Казнить двоих. Остальным караульным всыпать по двадцать плетей.

– Это за что же? – закричали сразу несколько голосов. – Мы не с той стороны караулили, вовсе ничего не видали. Шутка – двадцать плетей? Все в гошпиталь сляжем, а кто и помрет ни за что, ни про что.

– И впрямь, государь, – негромко сказал Шереметьев, – надо бы разобраться, кто свидетелем был.

– Ох, Борис, – укоризненно покачал головой царь. – Мягкосердечен ты, слишком мягок, гляди, как бы не дождался беды.

– С ними теперь не разберешься, – отмахнулся князь кесарь. – Все будут твердить, что ничего не видали и друг на друга кивать. Времени на это тратить не стоит. Каждому по десять, – сказал он палачу.

– Светлая голова, – одобрил царь. И спросил оживленно: – А кого казним?

– Казним сержанта, – объявил князь Федор Юрьевич, – за то, что не поднял сразу тревогу и этим допустил побег.

Сержант бросился Ромодановскому в ноги.

– Пощади, светлейший! Накажи, как хочешь, только жизни не лишай. Я служил тебе, как верный пес, а теперь еще пуще стараться буду.

– Плохо служил, – сказал Ромодановский и сделал знак палачу.

Сержант встал на ноги, слезы у него мигом просохли, и он зло и едко сказал:

– Не цените вы верность. Всех верных слуг разгоните, а всяческая шваль вам будет из корысти служить и из корысти же вас продаст.

Князь кесарь, словно и не слышал, продолжал:

– Казнить также солдата Белоуса, показавшего двум бабам, где сидит Каширин.

Белоус поник головой. Он и ждал казни и не ждал. Услышав, что казнить будут двоих, он подумал: Не меня ли? Но за что? Не он один показывал стрелецким женам, где сидят их мужья.

– За что казните? – спросил он.

– За нарушение караульной службы, – сказал князь кесарь.

А царь, совсем развеселившийся, добавил:

– За неуместную доброту.

– А где же эти две бабы? – оживленно спросил Патрик Гордон.

– Одна уже далече, – проговорил Ромо-

дановский. – А вторую домой унесли. Она бродила тут весь день и плакала, а узнав, что Каширин, возможно, спасся, сомлела от радости и лишилась чувств.

– Так не наказать ли ее за сочувствие к врагам государя? – спросил неугомонный Патрик.

– Ты, любезнейший, меня моему делу не учи, – холодно сказал князь кесарь, так холодно, что Гордона пробрал мороз. – Никакого у нее нет сочувствия ни к врагам, ни к друзьям, и Каширина она 30 лет не видала. Просто курица, глупая баба. – И подумал плотоядно: «Вот Аксинью я бы на костре спалил».

Таких баб, как Дуня, у князя Федора Юрьевича полон дом и обходится он с ними сурово до жестокости. Однако к деятельности Преображенского приказа касательства они не имеют. А Гордону незачем не в свое дело лезть.

Солдат Белоус, слышавший этот разговор в ожидании казни, был доволен, что Дуню не тронут и что – непонятно как – но, может быть, остался жив его бывший сотник. Правда, какая уж тут радость, когда плаха ждет. Славная эта Авдотья, думал он, 30 лет верность хранила. И сейчас еще миловидна, а в молодости, наверно, хороша была. Отчего Каширин на ней не женился? Он ведь холостой.

А умирать без вины неохота. Какая его вина? Царь сказал, его за доброту казнят. Ну, если его судьба помереть безвинно, то слава Богу, что не попусту, а за доброту. Лучшей смерти не пожелаешь. Блеснул топор, и душа солдата Белоуса полетела прямо в рай.

* * *

После встречи с подозрительным обозом поручик Зозулин то забывал об этом случае, то вновь впадал в сомнение. Отъехав в сторону, он вытащил «приметы» и прочел, что разбойники могут менять внешность, причем зело изощренно.

Старая баба очень уж накрашена, бьет в глаза. К чему это изощренным людям? В памятке сказано, что женщин с ними двое – одной 45, другой под семьдесят, совсем старуха. Нет, ее, пожалуй, с ними не было. Но зачем накрасилась вторая? У сидевшего в телеге парня пятна на лице. Правда, пятна эти очень слабы, ведь вчера Голикова прижигали каленым железом. Вроде не они, но подозрение есть. И хабар отвалили щедрый.

Надо упредить другие разъезды, пусть как следует обыщут – пошарят в телегах, сорвут парики. Правда, сам он этого не сделал.

Столкнувшись на перекрестке с московским разъездом, посланным с такой же целью, как они, поручик промолчал, ибо явственно видел, что ему светит пытка, а, может быть, петля. Ну, а если беглецов поймают, в чем он сильно сомневался, уж они-то беспременно расскажут, как наградили его.

* * *

Неподалеку от их разъезда, по другой дороге шел Пашка Голиков, удаляясь от Москвы. Так два обычных, небезгрешных человека, поначалу допускавшие, что могли бы выдать беглецов, от мыслей этих отказались, страшась жестокого и скорого на расправу начальства.

## ПО ТЕМНОЙ ДОРОГЕ

Закат пылал столь пышной красотой, что глаз не оторвать, и, стоя на пригорке, Паша загляделся на золотой, багровый, алый разлив. Там что-то все время переливалось, менялось. Яркий алый поток, становясь все шире, сгущался, темнел. Кровь! Такие же потоки крови льются сегодня в Москве.

Как мог он весь этот страшный день, когда гибнут сотни его товарищей, думать о разных разностях, прикидывать, как ему быть, расспрашивать, вызнавать что-то у спутников?

Понурив голову, он стал спускаться с холма. Небо темнело. Паша никогда не задумывался, хороший ли он человек. Если бы его спросили, он бы сказал: хороший. Он отважен. Не скуп. Зла никому не желает. Главное же, ему нравятся хорошие люди, и они тоже хорошо относятся к нему. Зная это, он невольно зачислял себя в один разряд с ними.

Но всей своей жадной до жизни натурой чувствовал: в стрельцах служить – гиблое дело. И тут вдруг счастье привалило – предложили перевести его в хороший полк.

Правда, велели следить за Кашириным, которого могли похитить враги государя. Паша должен был врагам этим помешать. Он, конечно, понимал, что похитить – значит освободить и что он, Пашка Голиков, будет мешать тем людям, которые хотят Каширина от казни спасти. Но тут так уж получилось – свои против своих, а он давно собирался перебежать на ту сторону.

В темнице, где он очутился, было много офицеров в высоких чинах, говорили они между собою смело, и многие считали, что стрельцам хана. Он дивился их откровенности, но они нравились ему. И Каширин, за которым он следил, тоже понравился. Особенно же сотник Денис Татаринцев. Тот прямо говорил, что не будет больше на Руси стрелецкого войска, добавляя при этом много нехороших слов о государе и его сподвижниках.

Паша очень удивлялся, почему такой бравый и молодой еще офицер не попросился в какой-нибудь полк государя. Он даже по росту мог бы в

Преображенском служить. В то же время он прекрасно знал, что тем путем, на который вступил он, Пашка, Денис бы не за какие блага не пошел. Паша объяснял это себе просто: я – мужик, он – дворянин. Но сейчас ему вдруг пришло в голову, что дворяне подличают нередко и мужики за веру в огонь идут. Видно, не в сословии, а в человеке дело. Видно, этот восхищавший его Денис – совсем другой человек, чем Паша.

В своей единственной беседе с Ромодановским Пашка ни слова не сказал о том, что говорят о государе и о князе кесаре Денис и его друзья. Правда, Ромодановский его об этом не спрашивал. Он был умен и, зная, что в темнице много привлекательных людей, не хотел спугнуть парнишку раньше времени. Поглубже втянется, тогда и будет разговор.

Спустились сумерки. Паша шел по все больше темневшей дороге, и сердце ныло от какого-то непонятного страха.

Думать он не особо любил, и все эти мысли, такие новые и неожиданные, пугали его и в то же время не отпускали.

Как хорошо было утром – высокое небо и легкие облака, и такие славные люди, так радовались, что спасли чужого, нечаянно подвернувшегося парнишку. Аксинья вылечила его и даже сейчас, когда его все бросили, оставила ему еду и лекарство. Но есть не хочется, смутно на душе.

«Да что же сделал я плохого?» – крикнула его смятенная душа. И в самом деле, он вроде как на службе, и Ромодановский велел ему побольше разузнать об этих людях, которых он до этого в глаза не видел.

Теперь он их знает. Хорошие люди. Примчались из каких-то далеких краев спасать товарища, которого много лет не видали. А он, Пашка, должен был им помешать. Что сказал бы Денис, если б узнал о нем правду?

Он поймет сейчас, вот-вот ухватит. Ему нравились всегда хорошие люди, а он пошел служить к плохим против хороших. И даже если бы он что-то важное узнал и сбежал от них в Москву, и его бы наградили и взяли в семеновцы, было ли бы ему хорошо среди плохих людей?

Нет, не то! Совсем не тут разгадка. И среди семеновцев есть много славных ребят, Паша знаком с ними, и стрельцы не раз бывали жестоки, как звери. Нынешние его спутники – казаки. Непохоже, что им приходилось жечь кого-то каленым железом, но поубивали уж конечно многих.

Душа ныла нестерпимо. Он остановился в темноте, испуганный, замученный. Что ему делать?

А Дениса, наверное, уже казнили. Никогда не взглянет он на Пашку веселыми зелеными глазами. Не спросит, усмехаясь: «Что, десятник? Хреновые наши дела?»

Вчера беленькая женщина разыскивала Каширина и плакала. Паша узнал сегодня, что она всю жизнь его любила, а Каширин любил какую-то другую, которая за него не пошла. Но у нее лицо светилось, когда она с ним говорила и кормила его пирогом.

Эти люди знают друг друга 30 лет и не теряют из виду. А он их за один день потерял. Встретит он когда-нибудь Аксинью? Вот он, вот он, ее узелок, и баночку положила, эту баночку он на память сохранит. Он гладил ее, трогал, не выпускал из рук. Это все, что от нынешнего дня осталось.

Как он бросился пить эту воду! Это чутье ему подсказало: Каширин выпил, значит, ему надо пить. А если бы воду выпил не Паша, а Денис? И был бы жив, и ехал бы с казаками под темным небом? Как хорошо! Но тогда бы мертвый Паша лежал где-то там в Москве на мостовой. Мог бы он пожертвовать для Дениса жизнью? Нет, он не хочет умирать! Так неужели же вся жизнь такая – я или он?

– Маменька, милая, – сказал он жалобно, – что же ты меня такого на свет родила? – И мать он уже больше года не видел.

Что он сказал сейчас про себя?. Такого. Разве он не такой, как все? Да уж наверно. Пошел в соглядатаи. Не он первый, конечно. Но те живут спокойно, а он измучился. Стал противен себе. Всю эту неделю он живет, как подлец. Подслушивает, выспрашивает, изолгался. Он любит хороших и честных людей? И хочет, чтоб они его любили? За что? Они жизнью рисковали, спасая Каширина, а он старался им помешать.

Раздумывал сегодня – идти в разбойники или в монахи? Какой же он человек? Дрянь человек. Просто хочет устроиться получше и на всех ему наплевать.

Как мерзко быть себе противным. О себе одном думал и остался один темной ночью на пустой дороге.

Нерожденная душа металась в страшных муках. Он почувствовал такую боль, что сердце остановилось. Бросился лицом на землю и горько зарыдал.

На дороге послышался конский топот, но ему было уже все равно. Пусть его схватят, убьют… За сегодняшний день он потерял столько людей, которых полюбил, хотя и знал совсем недолго.

Лошадь остановилась возле него. Всадник спрыгнул. Еще кто-то скакал следом.

– Пашенька, милый, чего же ты плачешь, – сказал женский голос, которого он не узнал. – Я говорила тебе, я говорила… – с укором сказала она.

– Ну, я-то что? – отозвался мужской. – Мы вроде вовремя приехали. Пробрало тебя, парень? Ну, не боись, теперь все будет хорошо. Эк ты дрожишь-то.

– Простите меня, простите, – говорил Паша.

– Я все вам расскажу.

– Да мы и так уж знаем почти все. Сбил тебя с толку кто-то.

– Нет, я сам сказал одному нашему офицеру, что хотел бы служить в Семеновском полку.

– Отчего бы не хотеть? – резонно заметил Иван. – Полк хороший. Да вишь как дело повернулось. Приходится выбирать. Ты садись на Настиного. А Настенька ко мне.

– Мы всю дорогу спорили, – тараторила Настя. – А Иван все: погодим да погодим. Нужно время, чтобы в себе разобраться. И подумать только: Аксинья тоже за него. А потом вдруг говорит: Пора! Езжайте. И велела Ивану взять меня с собой.

– Ты к нам в станицу? – спрашивала Настя. – Мы ведь разъедемся потом. Но сперва в станицу. Отдохнуть надо.

– Все в станицу, и я с вами, – отозвался счастливый Пашка. – Иван Кириллыч, насовсем к себе меня возьмешь?

– Не торопись, – сказал Иван. – Времени много. Мы сперва думали, коли лазутчик, определить тебя к Гавриле. Но какой с тебя лазутчик, ты сразу показал.

– Повезло тебе, парень, – добавил он, помолчав. – Знал бы я, что Денис Татаринцев сидит в вашей темнице, вторая кружка досталась бы ему. Ну чего ты снова хлюпаешь, как малое дитя? Обиделся?

– Нет, – ответил Паша. – Просто я только что думал, мог бы я ради Дениса жизнью пожертвовать. Очень я его полюбил.

– В этих случаях думать не приходится – само выходит, – со знанием дела сказал Иван. – А тут судьба распорядилась. Да сержант, гадюка, кувшин разбил. А то хватило бы и на троих.

## ПИСЬМО

Дуня лежала под пуховой периной на белоснежных льняных простынях и высоко взбитых подушках. Прислужница Марковна, весьма похожая на старого и крепкого кота, принесла ей липовый отвар и малиновое варенье.

– Эк ты себя измаяла, – говорила она. – От слез распухла – глаз не видно. Ну, а теперь-то успокойся. Он вишь, сказывают, жив.

– Да как бы узнать-то наверняка, – всхлипнула Дуня. – Он такой замученный, ослаб.

– Ну, Аксинья вылечит, она лекарка знаменитая, – уверенно сказала Марковна, отродясь Аксиньи не видавшая. – Господи, да кто ж там в такой час стучит? Неужто по твою душу?

Она долго пререкалась в сенях, потом стала отпирать. Дуня замерла. Сердце бешено билось.

– Вставать не надобно. Накинь-ка только телогрею, – сказала Марковна, входя. – Там к тебе какой-то мужичок, письмо принес. И девочка с ним.

– Какая еще девочка? – удивилась Дуня.

– Ну, наверное, дочка его.

Вошел маленький, опрятно одетый мужичок, учтиво поздоровался с Дуней и протянул бумажный свиток, сказав: «От Настасьи Львовны». За спиной его стояла девочка лет десяти.

«Милая Дуняша, пишу наспех, едем быстро. Миша очнулся, – Дуня ахнула тихонько, но продолжала читать. – Аксинья вправила ему руки, но движутся пока слабо, в чем убедишься, прочтя его подпись в конце письма.

Податель сего Федот Чеботарев – верный нам человек. У него в доме жила девочка Наташа, дальняя родственница Миши, который будет зело благодарен, если ты возьмешь ее к себе сейчас, когда ему невозможно жить в России. Девочка хорошая: и по хозяйству поможет, и обучена кое-чему.

Все наши тебе кланяются, особливо Михаил. Будем писать тебе при всяком удобном случае.

Обнимаю и целую, милая ты, добрая моя».

На оставшейся половинке листа стояла большая, криво написанная буква «М».

Слезы вновь набежали на глаза Дуни, она вытерла их кружевным платочком.

– Подойди сюда, Наташа, – сказала она. – Что же ты умеешь делать, помимо хозяйства?

– Читать, писать. Псалтырь знаю. Рисовать умею. Сложение и вычитание. Умножать и делить. И еще про разные страны.

– Ты много знаешь, – озабоченно проговорила Дуня и подумала: «дьячка придется нанимать». – Кто же тебя всей этой премудрости научил?

– Дяденька Михаил Никитич, – ответила девочка смущенно.

Дуня смотрела на ее хорошенькое грустное личико.

– А вышивать не умеешь?

Девочка покачала головой.

– Ну, я тебя выучу. Пойди, Наташенька ко мне поближе. – Она погладила ее по русой головке. Потом прижала к себе и поцеловала.

– Хочешь жить у меня?

– Спасибо. Хочу.

Вот что ей Господь послал. Как во многих семьях, где муж любит жену, а жена только заботливо к нему относится, дети были к Дуне холодноваты. Жили они отдельно и не очень часто навещали ее.

– А дяденьку Михаила Никитича повидать хочешь?

– Его нельзя повидать. Он уехал, – серьезно сказала Наташа.

– Ну, может, мы с тобой как-нибудь соберемся

и сами поедем к нему.

Девочка вдруг обняла ее за шею. Дуня обмерла. На нее доверчиво и ласково глядели серые Мишины глаза.

## СОФЬЯ

Темно, холодно, страшно, словно сунули в каменную могилу и сверху придавили каменной плитой. Шевельнуться нет сил. А зачем шевелиться? Ей ведь все запрещено. За порог ступить нельзя. По монастырскому двору пройти – там трава еще зеленая, синее небо над головою, светит осеннее солнышко и даже слегка пригревает – вчера можно было выйти, теперь – нет. Не нагрянут в гости сестрицы с занимательной и приятной беседой: «Ох, чудит, неслыханно чудит братец!» И угостить их уже нечем – на убогий пост посадили, разносолов из Кремля не принесут. Два раза в год видеть сестер… под строгим приглядом. И не заглянет под видом странницы, Настенька, милая сподвижница и подруга. Любопытные недобрые глазки неотступно следят за всем.

Добрую ее кормилицу Вяземскую забрали в застенок. Четырех постельниц – славные такие были – тоже в пытошную свели. Было при ней двенадцать женщин – Вяземская, девять постельниц, две казначеи, теперь никого. А зачем ей казначеи? Ничего своего не осталось. Даже имени. Была царевна Софья, заключенная в монастырь, нет больше царевны Софьи, есть монахиня Сусанна.

Вот уж чего совсем нельзя – в окна глядеть. В прежних кельях, выглянув в окно, видела она Девичье поле. Нынче повешенных увидит, ближе всех – трое самых преданных и близких. Висят, качаются, в руках бумаги в виде челобитных. Придумал какой-то забавник.

Великое избиение идет по Руси. Мучительные пытки, казни. Она еще не знает, что будет длиться это чуть не до весны и под окнами ее повесят в разные дни 195 человек. Окна – казнь для строптивой сестры. А прочее – не казнь? Не убили, будто бы живая, но ведь лишена всего, что имеет живой человек.

Как бушевала она девять лет назад, когда ее сюда засадили! Жизнь кипела и бурлила в ней. Ей казалось, она задохнется, хотелось выть не своим голосом, колотиться головой о стену. И колотилась, что греха таить, при Вяземской и при постельницах, тех, кого сейчас на пытке истязают. Но молчала, решила твердо: жалоб ее за стеной не услышат. Плакала бесшумно, давясь рыданиями, страшен был этот беззвучный плач и темное от горя, залитое слезами лицо. Но сверкающие мокрые глаза чудом делали его красивым.

Укатали ее монастырские годы. Сидит недвижно.

Глупа она была, что горевала тогда? Не ценила малые радости жизни? Нет, не так. Не про нее эта жизнь с пожалованными Петрушей разносолами.

Она управляла царством. Сперва брату помогала. Федя все хворал, она сидела у его постели, при ней к молодому царю приходили бояре, обсуждали важные дела. Она слушала, училась.

Семь лет правила Русью сама. Выходила без страха к мятежным стрелецким толпам, где так легко проливалась кровь, и умела их уговорить, успокоить.

В чем она ошиблась, что делала не так? Шла путем, что подсказывал разум, а была она великого ума царевна, находчива, изобретательна, отважна. И ясно видела: нет у нее иной поддержки, кроме стрельцов. Их начальники всегда держали ее сторону. Сперва Хованский. Потом Федя Шакловитый.

Федю, Федю-то как жалко, верный мой, бесстрашный. И она – простить себе не может – не уберегла его. Васю любила без памяти, сердце нежностью замирало, хотелось оградить его, защитить. Узницей будучи, сумела переслать ему деньги. Федя сам бросался ее защищать. Бесшабашная головушка, ничего не боялся, казалось, еще чуть-чуть, и он добудет для нее престол. Сложил голову на плахе и осталась на всю жизнь боль. Не отстояла она его – себя спасала.

Горько, грустно, неужели жизнь всегда так жестока и она в этой жестокости участница?

Невесть откуда выплыло слово «потери». Что за потери? Когда они начались?

Была умница-разумница, счастливая девочка. Все ее хвалят, и только радость одна впереди.

Тоненькая иголочка проколола сердце. Давнее воспоминание – ее растерянность, недоумение, печаль, когда батюшка привел во дворец вместо недавно умершей маменьки молодую девушку, на пять лет старше Сони. Все говорили, что он хочет сильного наследника. Как наследника, у него ведь столько детей! Детей много, но мальчики все плохого здоровья. Ну и что же? Если кто-нибудь из ее братьев, заняв престол, будет хворать, она поможет, она ведь умная девочка и учится хорошо и здоровья крепкого. Византийская царевна Пульхерия помогала править брату много лет.

Всякий раз, когда она ловила обращенный на мачеху влюбленный взгляд отца, ей становилось больно. Она не знала еще тогда, что это называется ревность. Как легко забыл матушку, такую добрую, умную, кроткую, а порой казалось, он отдалился от детей.

Соня пробовала подружиться с Натальей Кирилловной, но ничего не вышло. С ней было

холодно и скучно, невзирая на удивительную ее красоту. Почему-то Сонечке хотелось, чтобы мачеха родила дочку. А родился этот Петя, и батюшка от радости чуть с ума не сошел. Соня решила, что ей беспременно надо полюбить младшего братца, но он был какой-то противный. Топал ножками, здоровенный, как бычок, мычал, бурчал, потом внезапно начинал орать и по полу кататься. А уж у кормилиц-то задержался чуть не до трех лет. Наталья Кирилловна не подпускала ее к Пете, да, по правде говоря, и Сонечкино сердце к ним не лежало.

Полюбить младшего братца она не сумела. Но ей было его жаль.

Мальчик больной, упрямый, странный. Сперва смотрел на нее букой, потом горящими от гнева глазами. Откуда мысль такая – больной мальчик? Разве он слабенький, жалкий? Сотни людей замучил пытками. Сам любит своими руками пытать. Потом приходит из застенка, упившись, и сидит в темноте.

Совсем маленьким мальчонкой в Коломенском топтал лягушек и радостно смеялся, что они лопаются с треском. Софья не выдержала, сказала, что и лягушка Божья тварь. Он посмотрел на нее гневно, потом засмеялся и раздавил большую раздутую лягушку.

Какой же он несчастный и больной? Да он из горла вырвет, если загорелось. И возражения не терпит.

Это вот и есть болезнь. Сильные, разумные люди слушают доводы друг друга. Их возможно убедить. Его нельзя. Может, и слушается кого из своих озорников иноземцев, но у них в сапогах копытца и хвостики из-под камзолов торчат.

Его зовут антихристом в народе. Нет, он не антихрист. Мудрая, наблюдательная царевна видит его сызмалу и наверно лучше понимает, чем эта курица Наталья. Он не антихрист, но темные силы так и кружат вокруг него.

Скверный, больной мальчик, гонимый темными силами. Рвется в бой, препон не ведает. Стрелецкое войско, опору державы, сильное, обученное войско, одним махом под корень срубил.

Господи, да ведь в царском деле каждый шаг обдумывать надо. Видишь, не получается, иди в обход. Этот прет, как медведь. Все вперед, да поскорее. Он не глуп, но у него желание впереди разума бежит.

Вот и бросается во все стороны сразу. Вынь да положь ему и войско по иноземному образцу, и корабли в холодном море, и чтоб все переоделись и обстриглись в одночасье, и Европу военной славой удивить.

Он добьется, будет ему слава. Станет это матушке России такой ценой, как Смута сто лет назад. Выжмет досуха и в могилу целые толпы уложит.

А ведь ему не жаль.

Все гневается: буен народ, своеволен. А сам каков? Жмет да жмет железной рукою. Глядишь, и переделает. Немцов из нас не выйдет. Но и удали уже той не будет – запуганный станет народ, согбенный. Ловчить, небось, начнут и лгать, покалеченные души.

Извести нас не раз хотели. Но он первый на русскую суть замахнулся, первым взялся перекраивать народ. Кого плахой, кого налогом, а кого и наградой. Все это делали и до него. Только не было на свете человека со столь могучей силой желаний.

Он первый… Она первая. Первая женщина на престоле. И она умеет. Знает. Как же могли они не стать врагами? С самого начала – или он, или она. И нечего себя корить. Он всегда этого добивался – упрятать в монастырь «зазорное лицо». И упрятал в каменный мешок.

Нынче вечером слыхала – сестрички чернички говорили меж собой: когда вели стрельцов на казнь, шайка разбойников похитила двух осужденных: полковника и с ним какого-то молодого стрельца. Софья сразу поняла, что за полковник. Свежим ветром пахнуло. Значит были они тут, и Настя и Иван. И в темницу пробрались, и спасли друга.

К ней даже записку передать не сумели. Крепко братец затянул мешок.

А началось все с того, что батюшка привел в Кремль молодую жену.

И счастливой девочке Соне выпали в жизни большие потери. Утратила царство, свободу, любовь. И последнюю надежду – стрелецкую буйную силу.

Стоит ли огорчаться, что не будут больше присылать из Кремля сдобных саек и рыбку? И не сможет она угощать сестер?

Малые радости. Нет, совсем это не пустое. Без малых радостей кончается жизнь. Вот пришло бы к ней письмецо с воли и посветлело бы все вокруг.

А ведь чуть было его не одолела – перебежчики сгубили все.

И тут ее охватил страшный гнев. Не на Петра, который ей представлялся неким стихийным бедствием, вроде чумы. Затрясло ее при мысли о стрельцах перебежчиках, о боярах, что один за другим перетекали из Москвы в Преображенское. Обыкновенные, неглупые люди. Что ж они не видели, какую беду несет их дурацкое, косное убеждение, что на престоле должен сидеть царь крутого нрава и мужеска пола?

Видят, знают, ей передавали, даже среди его соратников говорят: хорошо, мол, правила царевна Софья, лучше мужчин, все дела в державе ведала.

И отчего ей выпала судьба быть первой? Да теперь после нее любая дура легко займет престол. Только ей не пришлось. А ведь создал ее Господь

великой русской царицей. Она упала лицом на лежанку, и тело ее сотрясалось от плача, горького плача о несбывшейся судьбе.

## ПЕТР

Петр сидел на деревянном стуле в мастерской, счастливый, довольный, усталый. Он даже не чувствовал сегодня той обычной гнуси, что сопровождала его расправы. Сегодня его день – он уничтожил врага. И сестру запрятал так, что выйдет только на погост, и стрельцов больше на Руси не будет.

Вчера он заговорился и упустил нежданную гостью. Но сегодня он такое дело совершил. «Разом надо, только разом!» – думал он, ликуя.

«Разом! Разом!» – тикали часы.

Неожиданно темную мастерскую заполнила бесшумная толпа. Луна ярко осветила комнату, и Петр увидел знакомые лица. Сегодня утром они были живы, сейчас их нет среди живых.

Но они пришли к нему и не стоят на месте, перемещаются, подходят вплотную и отходят, уступая место другим. Скользят, как тени – ни шороха, ни звука. Кровью и потом от них не разит. И все же это люди, а не тени. Он ясно видит их точно такими, какими видел за мгновение до смерти.

Молодой стрелец с веревкой на шее смотрит не на царя, чьею волею его лишают жизни, а куда-то мимо. Петр проследил тогда его взгляд – он смотрел на молодую женщину с младенцем на руках, наверное жена его с дитятей. Высокая, пригожая, она молча глядела на мужа, и слезы струились по ее лицу.

Вон какой-то кряжистый, обветренный и загорелый, старательно поправляет крестик на белой шее.

Старый сотник Ярошецкий – почему он смотрел на государя с жалостью? Он и сейчас, приблизившись на миг, взглянул на него с той же оскорбительной, сочувственной печалью.

И так же дерзки и насмешливы были зеленые глаза связанного с ним одной цепью Дениса.

Петр и не знал, как много он запомнил лиц. Простые мужики и московские знатные люди.

Мало кто глядел на него с надеждой – вдруг помилует.

Даже сержант, верный пес Ромодановского, нагло отчитал их за то, что не ценят верность.

А нелепый добряк Белоус и вовсе удивил – чего ради, когда топор уже над ним поднят, появилась на его круглой роже неуместная, блаженная улыбка?

Странный, непонятный, чуждый народ вел себя строптиво, помирал дерзко.

Они наверно хорошо воюют, мелькнула неожиданная мысль. И тут же поправил себя: воевали. Сколько лет оно было – стрелецкое войско? Да пожалуй двести, даже больше, только их раньше по другому называли.

Они уйдут, они уже ушли, в последний раз к нему явились показаться. Не пожалеет ли, что сгубил таких молодцов? Не уймется ли, не пощадит ли тех, кто еще в темнице?

Нет, не пожалеет, не уймется, не пощадит. Они враги, они чужие, он заменит их другими, послушными, обученными на европейский образец, и его друзья больше не будут дивиться, что у столь разумного царя, как Питер, такая своевольная, непокорная рать.

Почти как казаки. Казаков все боятся, вот уж воистину отчаянная орда и воюют без всяких правил. Он вдруг вспомнил, что казачий атаман увел у него нынче двух приговоренных.

А потом, совсем уж непонятно как, ему припомнилось, что атаман этот впервые посадил его на коня. Маменька охала и волновалась, а трехлетний Петруша не испугался, он яростно вцепился в гриву неоседланного казацкого коня, а атаман шел рядом, спокойный, надежный.

С этим народом, с казаками и стрельцами можно не бояться ничего. Но беда в том, что их самих приходится бояться. Он испытал это уже не раз.

Десятилетним мальчиком стоял он на Красном крыльце перед буйной толпой. Стрельцы сбросили на копья Матвеева и Долгорукого. А потом ворвались во дворец.

Семь лет спустя в Преображенском он ночью выскочил из спальни, бросился в рощу и сидел в кустах, дрожа, насмерть перепуганный, босой, раздетый.

Софья их не боялась, стрелецкая царица. Они были для нее свои и хотели, чтоб она правила ими. Для нее свои, а для него чужие. И она чужая, смертный враг. Но вот он победил их наконец. И Софью и ее бунтарское войско.

Они глядели на него так же насмешливо и дерзко. Чему радуешься? Свой народ одолел?

Да, он рад, что одолел их, а не они его. А народу на Руси много, можно еще черпать и черпать и вершить великие дела.

Только бы эти ушли наконец. Смотрят без боязни, ходят с гордо поднятыми головами. Что ты сделал? Выбрал из народа самых сильных, смелых, достойных и убил их? Какой же ты царь?

Он великий царь. Тем и велик, что без жалости казнил самых лучших. Оставшиеся назвали его Великим. Так и называют до сих пор.

Екатерина Короткова

# КАФЕ - МОРОЖЕНОЕ

Он остановил меня на Дубнинской, недалеко от светофора. Рванул дверцу, прямо влез ко мне: «Шеф, на Бауманскую?»

Я их издали заметил – мои пассажиры. Мужик высокий на краешке тротуара стоит, и бабуля, тоже высоконькая, рядом толчется. Лиц не видно, – восемь утра, ноябрь да ещё дождик мелкий капает. Холодный, противный такой. Но уж когда он свою ряшку мне прямо под глаза подсунул, тут – хочешь, не хочешь – я его разглядел. Красавец. От толстых стекол на очках глазища выпученные, как у чуда морского. Цвет лица какой-то нездоровый – землистый, как писали в старину. Зубки тоже ничего себе, в тех же старинных романах сказали бы: щербатый. Интересное кино: всякий раз, как вспомнишь хорошее, точное слово – ёмкое, так сказать – оно окажется из старого романа. «Ёмкое» – это тоже из старых романов? Нет, его, по-моему, спасибо им большое, пишут и сейчас.

Настроение у меня было – хуже некуда. В пять поднялся, вышел в полшестого, да еще с благоверной цапнулись под финал. Она осталась дрыхать под розовым пуховым одеялом – ей подружка привезла из Гедеэра – а я под дождиком в метро пошлепал. Да не под дождиком – в шестом часу такой дождина лил. Я вообще мужчина желчный, как писали в старину, а после обмена мнениями и от чёртовых этих осадков запросто могу и с пассажиром завестись.

– Что вы меня шефом называете? – спрашиваю, когда они с бабулей разместились. – Вы же интеллигент.

Огрызается мой красавец.

– Откуда это известно?

– Ну, если это оскорбляет вас, – говорю, – пусть будет полуинтеллигент. А шеф – слово для обслуги.

Он как взовьется там на заднем сиденье. Зашипел – пар пошел. Бабулечка его еле уговорила. Поглаживает, чего-то лопочет ему: «Игрушка, Игрушка». И каких только кличек не придумают мамы для своих страхолюдных детей. Он утих, отшипелся. Я тоже молчу. Уел его, и самого совесть заела. Нет в Москве таких таксистов, кроме, разве, новичков, чтоб не знали, куда возят пожилые сыновья и дочки таких старушек с утра пораньше, все по одним и тем же адресам: на Бауманскую, на Каширку, в Боткинский проезд.

Едем тихо. «Молодежную» гостиницу проехали. Он молчит, и я молчу, А бабуля, такое плетет – разрыв сердца. «Игрушка, Игрушка, какой ты красивый, какие у тебя хорошенькие зубки». Он аж крякнул, как она ему про зубки. Я ни звука, чувствую спиной его взгляд, Интересно все же, почему он игрушка? На какую, спрашивается, он игрушку похож? Или в детстве был похож? Клички эти материнские тянутся с детства. По своей маме знаю. Охота, конечно, спросить. Но только это будет явный перебор.

Шутка. Я веду себя корректно с пассажирами. Что я про «шефа» высказался – нетипичный случай. Нет, вообще со мной бывает иногда. Выговор имею. Жаловались пассажиры. Но высказаться я могу какому-нибудь мужику или хабалке. А вот чтоб при такой бабуле... Сильно подзавела меня законная моя.

Вчера с вечера началось. Мы тут сбились с ног со стеллажами, слабые женщины, а наш папочка читает Льва Толстого, статью «Как стать хорошим». Слабые женщины, отмечаю я, вполне мирно, но вслух, это моя сорокалетняя супруга, дочь-студентка и десятиклассник сын. Выше меня на пяток сантиметров. Но даже если б он и малорослый был, все равно он не женщина. А если даже женщина – в чем сильно сомневаюсь – то не слабая. В нашем семействе слабых женщин нет. А мне в пять вставать и к семи пилить на работу через весь город на Руставели в тринадцатый парк, И читаю я, кстати, не статью Льва Толстого, а роман Гоголя «Мертвые души».

Что началось! И не я один работаю. И чтоб похабство не смел при детях говорить. И нечего мне Гоголя читать, от мамочки своей усвоил умную привычку всё перечитывать по сто раз. И вообще, если я такой уж книжник, то не мешало бы знать, что «Мертвые души» не роман, а поэма. Достали с этой поэмой. Голову наотрез, она эту поэму с восьмого класса в руки не брала. Я только буркнул: «Каждому свое, вы стеллажники, я книжник.» «Хорошо устроился! Он, видите ли, книжник!» И поехало, и пошло.

Мадам солировала, дочь подвякивала. Санька, правда, молчал, но по роже видно – на их стороне. Интересно, почему так получается – пока ребенок маленький, он хороший, читает книжки, ходит со мной в зоопарк, просит собаку. Как вырастет – всему конец. Ещё недавно Людка была мой враг, а Санька – мой болельщик. Теперь переметнулся к ним. А были такие далекие времена, когда мы с Людочкой за ручку к зоопарку подходили, и она спрашивала: «Папа, а питекантроп тут живет?»

Помню, дома это рассказал, мама очень смеялась, а благоверная моя поджала губки и сотворила обиженное выражение лица.

– Вы почему на Рижскую не свернули? – спрашивает Игрушка.

Отвечаю вежливо:

– Вы не сказали, что хотите через Рижскую. А по времени это выйдет все равно.

Он как зашипит:

– Хорошенькое все равно! Москвы не знаете!

Выговор чертов подгадил, сняли у меня

табличку "водитель отличного обслуживания". Пока висела, не лезли, что не знаю Москвы.

Опять бабуля выручила.

– Как ты все помнишь замечательно, все эти улицы, повороты! Я бы пропала без тебя. Честное слово! Я без тебя бы и квартала не проехала. Игрушка... Игрушка...

От благоверной своей тысячу раз слышал такую истину: «Мать нужна детям, пока у нее есть силы, и она может помогать». Вранье. Вся ее меркантильная натура тут сказалась. Ну, подумать только, что этому Игрушке важней: чтобы без него даже квартала нельзя было проехать, чтобы он был самый умный, самый надежный, да еще хорошенький притом. Или чтоб ему, скажем, натерли полы в квартире. Если они у него не лакированные.

Нет, серьезно, неумная женщина у меня жена. Ну, что такое силы? Силы есть и у меня. А вот мамы, у которой силы с каждым днем куда-то уходили, больше нет. Загляну бывало к ней после работы – она в маленькой комнатке, где сейчас Людка, жила – лежит за ширмой, – старенькая такая ширма, журавль и лисица – читает книжку. Меня увидит, просияет вся: «Тишкин прибыл. Как у тебя день сегодня? Ну, иди поешь, пальто не забудь снять». Я к ней прямо в пальто, переживаю ведь – болеет мама. По онкоцентрам возить ее не пришлось, болезнь у нее была какая-то тихая. И название не страшное, когда услышал в первый раз, показалось совсем безобидным: анемия, как анемия. И все дела.

Уходили силы потихоньку, все слабела, и не помогало ей ничто, Под конец совсем измучилась, это же страшное дело – с каждым днем силы терять.

Стоп. Затор от самого Мультфильма, за остановку от Садовой. Редко такое бывает с утра. Не попасть нашей бабулечке самой первой к онкологу.

Проползли два метра, стоим, ждем. Затор серьезный. Я ведь из-за чего особенно расстроился вчера? Отгавкались, молчим, разбрелись по углам. Места хватает – на четверых трехкомнатная квартира и кухня. Вот на кухне-то сидя, и вспомнил я такой случай. Пошли мы как-то с Санькой в зоопарк, он уже школьник был, в классе втором или третьем. И увидели мы там двух обезьянок. Сидят бок-о-бок, совсем рядышком сидят. Грустные прегрустные, и даже мальцу понятно, что они друг дружку любят, что они самые близкие. А между ними сетка. Какой-то дурак рассадил их по разным клеткам. Долго мы на них смотрели, а потом Санька уткнулся мне лицом в живот и как разревется.

Вот я и думаю вчера на кухне: нет у нас перегородок, а какие же все далекие тут. Потом вспомнил, как Санёк тогда заплакал, подошел к нему – он постель себе стелил – и говорю: «Помнишь, сын, двух обезьянок, которые сидели рядом в разных клетках?» Он поднял голову и говорит: «Ты не купил мне круглые батарейки? Говорят, бывают в городе».

Обыкновенный вопрос парень задал, я наверно, в самом деле псих.

– Я на вас жалобу напишу, – говорит Игрушка. – Мы из-за вас опоздаем к врачу.

Удивительный мужик. Прямо талант – цеплять меня в неподходящую минуту.

– Вы бы маму свою пожалели, – говорю. – В больницу едете, она нервничает, а вы добавляете.

–Нет, это уже невозможно, – вскрикивает Игрушка. – Всему есть предел.

Дальше он действует так: на бабулины возгласы «Игрушечка, я тебя умоляю» не обращает внимания, достает из кармана бумажник, потом открывает дверцу, выпрыгивает на асфальт и начинает ковыряться в бумажнике – хочет со мной расплатиться. Тут машины вдруг задвигались и проезжают на этот раз порядочный кус – метров чуть ли не десять. Игрушка всю эту дистанцию бежит рядом с моей машиной и придерживает дверцу, а охломоны сзади и вокруг на радостях гудят.

Стали, наконец. Я во время кросса за бабулю сильно волновался. Она ведь сразу же к дверце подобралась, к Игрушечке поближе, ну, думаю, выпадет, будут дела. Да и вообще, идиотом себя порядочным чувствовал, ничего себе – таксист с прицепом.

Остановка – продолжаем выяснять отношения. То есть я ничего не выясняю, я молчу, бабуля охает и уговаривает Игрушку, а он излагает свои мотивы. Ничего подобного он в жизни не видал. Города я совершенно не знаю и везу пассажиров, куда глаза глядят. Кроме того, я сразу на него взъелся, обозвал полуинтеллигентом, нахально лезу в их семейные дела. Заканчивал он этот спич на бегу – мы опять чуток проехали, В общем, вот вам два рубля и извольте отдать сдачу.

Я вполне резонно отвечаю:

– Двенадцать копеек сдачи я уж как-нибудь от себя оторву, но вы место не самое удобное выбрали – как вашей маме шнырять между машинами, тем более они нет-нет да двигаются, а я стою в третьем ряду.

– Опять лезете!

– Лезу! – говорю. – А ты давай лезь в машину и сиди, пока я вас не довез до стоянки.

– Игорь, – кричит бабуля, а он опять бежит, придерживая дверцу. – Ты ужасный человек! Ты меня убиваешь! Убийца!

Остановились, он, запыхавшись, говорит:

– Сяду, если он извинится.

– Ты убийца, – повторяет старушка. – Ты несчастье всей моей жизни.

– Прошу меня извинить, – говорю.

– Все равно, я напишу вашему начальству, –

буркает он и вползает, наконец, в такси.

Чего уж там писать – в заторе несколько таксистов, один из нашего парка, начальство будет в курсе раньше, чем он сядет строчить свою жалобу.

Так вот он почему игрушка – Игорем зовут. Моя мама бы сказала: простота нравов. Она так говорила, если что-то сложное вдруг объяснялось просто. Вообще, веселая была, любили мы с ней посмеяться, она смешное очень замечала. За неделю до смерти вычитывала мне из чьих-то воспоминаний, как чего-то Чехов шутил.

Такая старенькая, такая больная, а ведь каждый вечер, как штык, если у меня не вечерняя смена, пересказывала, что за день прочла, а смешное вслух, прямо из книги.

Благоверная все это терпела молча, помирает человек, приходится молчать, но на роже у нее большими буквами было написано: «О, Господи!»

Снится мне по временам такой вот сон. Будто мама молодая, а я маленький. Мы с ней едем в легковой машине, наверно, такси – шофера никакого я в этом сне не помню – шоссе с высокого холма спускается, а по бокам пальмы. Начинается этот сон всегда на вершине холма, мы едем вниз, легко, будто летим. Въезжаем в город, там тоже пальмы по бокам шоссе растут, город южный, чистый, весь новенький. Не в смысле новостроек, а просто новый он и какой-то особенный. Едем мы, и я знаю во сне: это мама хочет покатать меня и вообще порадовать. А самая главная радость в конце – мы пойдем в какое-то чудесное кафе-мороженое.

И такая досада: этот сон каждый раз в машине и кончается – ни разу до кафе не добрались.

Пробовал я вспоминать – мама в детстве и правда такая была, красивая, всегда на подъем легкая, не то что моя мымра. И на юг мы с ней ездили. Помню, в цирк она меня один раз в Ялте повела. Подошла к кассе и говорит, веселым таким, звонким голосом: «Будьте добры, дайте нам два билета первого ряда». Я такого выражения никогда больше не слыхал: «билеты первого ряда». Но я к чему это рассказываю – поездки этой не могу припомнить. Наверное, ее и не было. Разведенная ведь мама, без мужа растила меня, где тут деньги, на такси раскатывать. Правда, характер – с другой стороны. Если уж билеты, то «первого ряда». А потом на хлебе и селедке сидим. «Прекрасное воспитание», говорит моя супруга. И добавляет: «Результат налицо».

А Игрушка с мамашей давно помирились, и опять она его не убийцей зовет и даже не Игорем, а игрушечкой. О чем они там, интересно, воркуют?

– Некоторым людям, – произносит он, чуть повысив голос, – извиниться – все равно, что плюнуть.

Высажу. Теперь уж точно высажу. Пусть опоздают к врачу. Постоим сейчас на выезде с Колхозной площади и я первое же свободное такси остановлю. «Как тебе не стыдно,– шепчет бабуля, – он же слышал». Слышал, будьте спокойны, сейчас вас повезет другой шофер. Желтый свет – я приготовился, как рвану на зеленый, и тут какой-то бородатый с мешком... все стоял на тротуаре, примеривался и ринулся на мой зеленый, прямо мне под колеса. Я тормознул, а внутри все так и прыгнуло.

– Эй, дядя, – говорю я ему. – Ты ведь не по колхозному полю идешь. Это Колхозная площадь.

Порядок! Мчится со всех ног гаишник. Ну, дает сегодня водитель отличного обслуживания!

– Прошу вас выйти. Ты куда? Машину к тротуару подведи.

Подвожу машину к тротуару.

– Теперь пройдемте.

– Товарищ офицер, – вдруг говорит бабуля дребезжащим интеллигентным голосом. – Мы опаздываем на рентген. Этот шофер, – «шофер» она произносит с французским акцентом, – везет нас из Бескудникова и ведет машину виртуозно. В злополучном инциденте он совершенно не виноват.

Как бабулечка разбирается в уличном движении, я уже за дорогу усвоил. Но гаишник этого не знает. И поскольку сам он в уличном движении сечет и, конечно, зараза, видел, что в злополучном инциденте я не виноват, ему приходится отпустить нас с миром, сурово сказав на прощанье:

– Ладно, поезжай. В дальнейшем будьте осторожны.

– Какая странная манера, – говорит бабуля. – Он обращается к вам то на вы, то на ты.

– К этому мы привычные, – отвечаю. – Большое вам спасибо, что выручили. Вон высаживаются пассажиры из такси, сейчас я вас туда подвезу, хоть конец пути проедете спокойно.

Я делаю тому таксисту знак и останавливаюсь перед ним. Игрушка с бабулей начинают шуршать и шептаться, и в первый раз за всю дорогу я ни слова не могу разобрать. Тот таксист подходит и спрашивает меня:

– Пересаживаются, что ли, пассажиры?

Я киваю, но бабуля вдруг кричит:

– Нет, нет, скажите вашему коллеге, что мы едем дальше в этом же автомобиле!

Я показываю тому таксисту рукой, подожди, дескать, и говорю:

– Если вы считаете, я вас плохо вез, можете не платить по счетчику.

Бабуля что-то произносит по-французски и обзывает Игрушку Жоржем Данденом. Что этот Жорж обозначает, мне известно: за что боролись, мол, на то и напоролись. Тут Игрушка скрипучим голосом говорит:

– Мы с мамой оба просим, никуда нас не

пересаживайте.

Коллега из четвертого парка снова наклоняется к окну и говорит: "Мудило, ты чего мне голову морочил?"

Рейс продолжается. Уже высотку видно. Я спрашиваю:

– Что это у вас такой характер переменчивый? То прямо на ходу выпрыгиваете, то все наоборот?

А он вдруг говорит:

– Вы понимаете, мы к вам привыкли.

Привыкли, значит. Такие дела.

– Нет, вы поймите, – объясняет он. – Мы с мамой вдруг представили, что нас везет кто-то чужой, равнодушный. Большинство ведь думают лишь о себе, людей не видят. Бывает, слова за всю дорогу не скажет.

Интересно, кто это возмушался, что я лезу в их семейные дела?

– Мы ведь очень нервничаем, такой день... да и у вас, кажется, тоже...

– Почему вы решили?

– Да по-моему, – смущенно отвечает он, – если бы вы с каждым пассажиром разговаривали, как со мной… – Тут он жалостно улыбнулся, – вас бы уже уволили.

Улыбка у него хорошая, хоть и кривые зубки.

– Это точно, – отвечаю. – С каждым пассажиром я не скандалю. Впрочем, выговор уже есть.

Дождик капал, капал, да как польет по новой. Совсем темно стало. На Басманную свернули, в окнах лампы горят.

Хороший, вроде, мужик, а ведь какие номера откалывал! Больную маму в онкоцентр везет! Да и бабуля хворая выступала не слабо. «Ты убийца!» «Ты несчастье моей жизни!» Мы с мамой сроду так не ссорились. При маме я не лаялся и со своими. Почти. При маме было тихо. Один тихий случай не забуду своей благоверной по гроб. Пришел с работы, открываю дверь, а она мимо меня из маминой комнаты с горшком проплывает. И такая рожа гнусная. Я сразу к маме, она за ширмой своей прячется с журавлем. Заглянул за ширму – плачет: «Что она тебе сказала? Что?» «Ох, Тишкин, ничего она мне не сказала. Это такой кошмар беспомощной быть».

Притихли что-то Игрушка с бабулей. То ли темнота на них действует, то ли больница близко. Ничего, пусть не горюют, мы еще поездим – чует мое шоферское сердце: не сняли у поворота кирпич.

А вообще-то говоря, жуткое дело. Вылезут из теплого такси, где со мной так по-братски ругались, прошмыгнут к подъезду под дождем, а там рентген и белые халаты, а потом, не дай бог, приемный покой и никто тебя не назовет по имени: «Больная… больная…»

Маме в этом смысле повезло: лежит дома, «угасает потихоньку». Так сказала мне молоденькая врачиха из скорой. Это она успокаивала меня – значит, больно не будет маме. Больно маме не было, ей было тяжело. Под конец особенно.

Это еще спасение – ее характер. Отвлекалась она очень легко – на разговор, на книжку, Ну, а когда Сашка врубит ей ее любимую «Темно-вишневую шаль», она от счастья просияет вся и от счастья тут же и заплачет.

Магнитофон у них считался общий. А стоил ого-го. Откуда в нашем доме такие безрассудные траты, объясняю. У мамы пенсия была максимальная, сто двадцать. Пятьдесят из них отдавала она в нашу общую кассу, остальные тратила на себя. Тут не больно разбежишься – и одеться, и книги, и в театр она ходила и ездила на юг. К старой подружке в гости сходить – тоже не с пустыми руками, а засидится – назад такси. Словом, ей этих семидесяти никак не хватало, так что я добавлял втихаря.

Ну, а когда ее скрутила эта анемия, справедливая супруга моя – это я без смеху она, зараза, правда, уважает справедливость – сказала: «Вы сейчас почти ничего не едите, я с вас буду брать двадцать рублей». Ну и тут уже, конечно, ни театра, ни юга – сотня каждый месяц оставалась на руках.

Помню, я сказал тогда маме: «Держись – даст Людка шороху твоим финансовым излишкам. Пустит все на барахло». «Глупости,– говорит мама, – какое барахло? Девочка прелестно одета». И поскольку маму хлебом не корми, дай заняться психологией, тут же начинает мне втолковывать, что на Люду не надо сердиться, а надо ее понять. Людочка, говорит она, – вылитый я, такая же эмоциональная и человек крайностей. Только мы с ней любим разные вещи. «При чем тут разные? – ору я. – Вещи она любит! Просто вещи! Себя любимую и барахло!»

«Нет, нет, – возражает моя мама, – ты, Тишкин, не упрощай, Людочка – точь - в- точь как ты – очень любит свою мать и принимает всю ее систему ценностей». (Знаю я эту систему, за этой системой всегда километровый хвост стоит. Дефицит она называется, эта система).

Всё моя мама понимала – и про систему, и кто кого любит, и кто на кого похож. Одного только просечь не могла. Когда Людка, с головы до каблуков в фирме, влетала к ней на три минуты в комнатушку, скажем, блюдце кашки принести и спросить у бабушки скороговоркой, как здоровье, и такою же скороговоркой сообщить, что ее лучшая подружка только что приобрела нечто «обалденное», психологическая моя мама не понимала, что Людочка, вся такая эмоциональная и так прелестно одетая, ждет не дождется, когда же бабушка ей скажет: «Внученька, вот тебе две сотни и сию же минуту беги и купи такое же обалденное, как у твоей подружки». Денег маме жалко не было, ей просто в голову не приходило, что без этого обалденного

Людка страдает, что без него ей просто невозможно жить.

Так оно и копилось. Потом – взрыв.

Санька, крот, весь в ихнюю породу, но без Людкиных эмоций, ухаживал за бабкой будь здоров, я даже завидовал: так ловко у него получалось – уложить, перестелить. Но это я еще могу понять – он у нас вообще такой кротяра – добросовестный и без заскоков. Только тут как раз прорезался заскок.

Выполнит свои обязанности медбрата, а из комнаты не уходит. Сидит у бабушки, долго сидит. Я уж к ним не лезу, подойду к дверям: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу», – то он, то она. «Ну о чем он с тобой беседует?– спрашиваю. – На какую тему? Что почем?» Не угадал. Они, оказывается, разговаривают о разном. «О чем, о разном? Ну, например?» А например, куда ему поступать, где есть шансы и какие рабочие перспективы. Он тогда учился в восьмом классе. О работе, словом, говорят. «О карьере», – уточняю я. «Колька, ну тебя. Работа, карьера. Он ведь будет хорошо работать. Ты знаешь его». «По призванию?» – спрашиваю не без ехидства. Дальше пауза. У меня тоже не было призвания баранку крутить. Но на филфак я не тянул, а перспектив не взвешивал.

Кирпич. Как чувствовал, не сняли кирпич. Не быть сегодня бабуле ни первой, ни третьей, быть нашей бабуле замыкающей. Нервный день у них. Ещё бы не нервный. То ли в больницу бабулечку класть, то ли будет она, как прежде, спрашивать Игрушку после работы, как день прошел и про себя рассказывать, с кем поругалась, да что прочла. Наверняка, она в свободное от чтения время конфликтует с подружками.

Кстати, о конфликтах. Как это вышло, что в нашем благородном семействе скандал? А очень просто. В один прекрасный день из маминой комнатушки послышался знакомый мне с детства тенор: «Здесь в далеком краю я, как гость нежеланный…» У супружницы отвисла челюсть, а у Людки сделалось такое лицо, что мне стало страшно. Честно говорю – даже холод по спине пробежал. «Это что?» – растерянно спросила супруга. «Да Санька бабушку, наверно, развлекает, – отвечаю. – У кого-нибудь из приятелей запись добыл». Тут Людка, как писали в старинных романах, «произносит низким грудным голосом»: «Нет, это совсем другое. Ни у какого приятеля он это не достал». Мы стоим все трое, ждем. Супружница, я вижу, тоже напугалась. Напугаешься, когда у дочки такое лицо.

Прослушали мы, стоя неподвижно в коридоре, весь кассетный репертуар эмигрантского певца Петра Лещенко, бодро выкрикнувшего напоследок: «Марфуша всё хлопочет, Марфуша замуж хочет и будет верная жена!»

А после этого уж моя верная жена просунула башку в комнату к маме и сказала: «Саша, выйди сюда на минутку». Сашка, видно, к бою был готов – зубы сжаты, челюсть выпирает.

– Это «Сони», – сказала Людка тем же грудным голосом. – Это стоит тысячу двести. Больше пенсионных на двести рублей. Ты ему одолжила? – спрашивает она мать.

– Нет, Людочка, – кротко говорит супруга.

– Ты? – спрашивает Людка, не глядя на меня. Но она знает, что подкожных у меня немного и легко поверила, что это не я.

– Ладно, что там выяснять про двести, когда они ухнули тысячу двести, – сказала Людка тем же голосом, повернулась и ушла.

Странная вещь – она не разговаривала с Сашкой меньше недели, а потом у них все по-старому потекло. А вот к бабушке в комнату не заходила все три месяца, так живую больше не увидела её. Мама почувствовала: что-то неладно и попросила меня складывать в конверт все дальнейшие ее прибытки. «Отдашь Людочке, когда накопится побольше. Видно, девочка обиделась. Ты ей скажи, что теперь я собираю для нее. Пусть купит, что ей нравится. Я ведь не понимаю в этих обалденных».

К сожалению, мама вскоре другое поняла. Я Людке сразу её просьбу передал, она выслушала, не сказала мне ни слова, повернулась и ушла... Но и мама больше про неё не спрашивала. Только про деньги: «Сегодня пенсия была. Ты не забыл Люде в конверт положить?»

Санька добросовестно оправдывал версию, что магнитофон у них с бабушкой общий. Из-под земли выкапывал записи времен маминой молодости, каждый день крутил, а сам в это время сидел в старенькой ее качалке, с такой мордой, будто сторожит тюрьму. Это он, наверно, старался понять, за что можно любить старинную эстраду.

Случай этот не остался незамеченным среди знакомых и соседей. Спускаюсь как-то утром за газетами, а благоверная в этот момент чапала в фарватере в свой техникум со здоровенной хозяйственной сумкой. Там внизу две кумушки из нашего подъезда стояли – меня не видели – и как только за супругой захлопнулась дверь, одна и говорит: «Вот женщине не повезло. Труженица. Самостоятельная, Весь дом на себе тащит и за свекровью больной ухаживает. А свекровь такая эгоистка – всю жизнь для себя одной жила, все для собственного удовольствия – сбережений ни копейки, внучке сроду не купила пары сапог». «Куда же она деньги-то девала?» – удивляется вторая. «А на развлечения всякие – на магнитофон, на книжки. И сын у нее такой». Та прямо подскочила: «Выпивает?» «Лучше б выпивал. Такой же эгоист. Ничего про жизнь понимать не желает. Импортных вещей не носит – принципиально в очереди не стоит. И в доме даже гвоздика не вбил».

Наглая ложь. Я делаю в квартире все, что надо. Только в идиотствах их не участвую. Ведь не жизнь у них – пожизненный ремонт. Кстати, я и импорт покупаю, если очередь небольшая.

Когда мама умерла, я отнёс Людке конверт с деньгами. Полных трех месяцев с того дня не прошло, и в конверте лежало только двести рублей. Людка с ненавистью сказала:

– Я не возьму это. Мне не нужно.

Но уж тут, наверно, у меня стало такое лицо, как у нее три месяца назад. Во всяком случае, я чувствовал, как у меня трясутся руки от желания ее убить.

– Так твоя бабушка просила. Можешь выкинуть их в мусоропровод. Меня это не касается. Но конверт возьми.

Я еле выговорил все это. Голос срывался. Так и не знаю, что она сделала с деньгами. Конверт сразу тогда взяла.

На похоронах никто не плакал. Я хотел заплакать, но не получилось – в горле каменный комок стоял, А почему не плакали другие, я не знаю.

На другой день, после похорон пришли Людкины поклонники, два здоровенных лба. И выволокли из маминой комнаты старенькую мамину мебель. Поволокли ее к лифту, но тут их перехватил Санька и потащил в свою проходную – качалку, этажерку, еще там кой-чего. На Людкины вопли спокойно ответил, что это очень удобная мебель и вообще ретро.

– А это тоже ретро, дырявое? – завопила Людка и тряхнула старенькую ширму с лисой и журавлем. – Врешь ты все! Просто оставил на память! Идиотина, сентиментальный дурак!

Санька повернул к ней голову и сказал, как отрезал: –Я совсем не сентиментальный. А ширму оставил на память.

Я тогда подумал: может, мы с ним ближе теперь станем? Ни хрена. После маминой смерти я у них, как в тылу у врага. Прихожу после смены – а смена двенадцать часов – сам себе еду разогреваю. Чайник на плиту не поставит никто. А о том, чтоб слово мне по-человечески сказать, я уж давно не мечтаю. Только лаемся чуть не каждый день.

Я иногда думаю, может, я сам виноват? Ведь друг к другу они добрые. Жена придет из техникума, Людка стаскивает с нее сапоги. Черт их знает, может, я и правда у этой дружной семьи, как бельмо на глазу? Достал я их своими шуточками и костюмами отечественного производства,

На днях теща разлюбезная моя, с которой до того дипломатические отношения, что за все двадцать два года обменивались только словами вежливости, вдруг разинула варежку да как завопит: «Николай, так жить нельзя, как вы живете! Николай, нужно жить, как все!»

Они и живут, как все. А я не могу. Может, я уже в такую сволочь превратился, каких сам же сроду не терпел. Есть такие, бухтят всю дорогу: «В наше время… в наше время...»

Вообще-то говоря, наше время – когда мама была молодая, а я маленький – не такое уж хорошее было. А их время какое? Видно, получше нашего. Только что они все про тряпки свои чертовы? Другой темы, что ли, нет? В детский парк зайдешь на уток поглядеть, только и слышишь: «Кто тебе купил этот костюмчик?» Неужели все в это втянулись? И Игрушка, интеллигент, Жорж Данден, примеряет перед бабулей по вечерам новые шмотки? Вон на нем какая кожаная роба. Так и чувствуется – капстрана.

Нет, серьезно, есть же где-то люди, с которыми по-человечески можно поговорить? Пассажирки любят со мной потрепаться. Я ведь в маму – красивый. Притом с идеальной фигурой. Это я с полной ответственностью говорю. Как иначе, спрашивается, смог бы я носить отечественные костюмы, если их, все как один, шьют на мужчин с идеальной фигурой.

Я иногда думаю: вот закручу роман с какой-нибудь пассажиркой, брошу свою мымру, начну новую жизнь. Эту теперешнюю и жизнью-то не назовешь. Бежать от них и не оглядываться. Но если серьезно, куда бежать? В общежитие, от нормальной семьи – жена, дети, трехкомнатная квартира? Вот так вдруг, ни с того, ни с сего?

В самом деле роман завести? Теоретически я это очень себе представляю. А практически все мои разговоры с пассажирками кончаются тем, что я с них не беру чаевые.

Бабулечка зашебуршилась: «Кажется, больница?» Голосочек жалобный такой. Да, теперь уж точно больница. Вон он – подъезд, где рентгены делают. Подкачу их к самой двери, чтоб не намокли, рассчитаюсь и поеду. Один. В пустом такси, с зеленым огоньком – кто захочет, тот и остановит – по темной улице, под проливным дождем.

Интересно все-таки, чего он мне снится, этот сон про южный город и кафе-мороженое? Совершенно точно я в том городе не бывал. Но хорошо мне в этом сне, так хорошо… Может, он для равновесия мне снится?

Екатерина Короткова

# ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ

Женщина быстро шла по улице и вдруг остановилась. Не старая ещё женщина с почти седой головой. Волосы надо было бы покрасить, но не хватало времени. Времени не хватало и на то, чтобы их уложить. В парикмахерской сидят по четыре часа, естественно, что это отпадает. Правда, можно и самой накрутить волосы на бигуди. Это займёт гораздо меньше времени. Дома у неё есть бигуди. Но дома совершенно не бывает времени. Третий день мокнет бельё, но и сегодня она не будет стирать. Сегодня она навещала родителей мужа. Старикам до смерти хотелось поговорить, но она не успевала. Быстро сунула в холодильник пельмени, масло и молоко. Быстро протерла пол, смахнула пыль. Наскоро постирала самую необходимую мелочь. «Даже чаю не попьешь?» – печально спросила свекровь. «Мама, восьмой час, когда я дома буду?» Старики покорно согласились. Им очень хотелось поговорить, но сами понимали: их хорошая, заботливая невестка так и вертится, как белка в колесе. И за пельменями, которые она сунула в холодильник, стоят в очереди – уж такая теперь жизнь.

Женщина, внезапно остановившаяся посреди улицы, выглядела со стороны, по меньшей мере, странно. Она была совсем ещё не старая, в очень чистеньком отутюженном летнем костюмчике, в страшных разваленных босоножках, со всклокоченной седой головой. Месяца три назад она специально отвела день на это дело – сходила в парикмахерскую и сделала химию. Волосы можно было бы в парикмахерской заодно и покрасить, но процедуры эти – химию и краску – совмещать нельзя, могут отвалиться волосы. Она выбрала химию, более трудоёмкий процесс, а покраситься решила как-нибудь другим разом, смутно подозревая, что этого раза не будет, – сколько она себя помнит, она всегда ходит с непокрашенной головой. А волосы не отвалились – круто завитые, как распрямлённая спираль, они торчали дыбом и почему-то несимметрично. Вероятно, пришла пора их постричь. В воскресенье она выберет время, сядет перед зеркалом и что-нибудь срежет.

«Ты с ума сошла, – говорили ей подруги. – Кто в таком виде ходит? От тебя муж уйдет». Женщина твёрдо знала: не уйдет. До сих пор не уходил, а теперь уж и подавно. «Уйдет, уйдет, – дразнили подружки. – Молодой, интересный, его любая возьмёт».

Любая его возьмёт, но он не возьмет любую. Что он, дурак, что ли? С красивого лица воду не пить, и умными разговорами не насытишься. Это с виду он красивый и молодой, а на самом деле они однолетки. Только она седеет, а он почему-то нет. От всех забот освобождён, поэтому, должно быть, не седеет. У него одна только обязанность: на работу ходить. И единственное дело дома: проверять уроки у сына. Но и это дело он выполняет спустя рукава.

Женщина поэтому и остановилась вдруг на улице, что подумала: конечно же, он не заставил сына позвонить Ие Ивановне, чтобы проверила по телефону сочинение. Надо ему напомнить, где здесь, интересно, автомат? Женщина огляделась. На каждой улице есть телефон-автомат, но здесь его не было. Впрочем, это и не улица. Чудное место. На улицу не похоже и на двор. Длинная белая стена. Асфальтированные дорожки, деревья. Бродят женщины-бездельницы, прогуливают собак. Парк? Нет, какой же это парк, слишком мало деревьев. За стеной три дома-башни. Из средней она только что вышла. Там живут родители мужа.

Где же всё-таки автомат? Женщина двинулась по асфальтированной дорожке, пересекая не двор и не парк. День сейчас такой большой! Она давно уже ушла с работы, а всё ещё солнце. Жарко, душно, как днем. Жаркий ветер шуршит листьями деревьев, гонит по асфальту пыль. Гонит по небу сероватые облака, в просветах которых мелькает позднее июньское солнце. Кто бы мог с утра подумать, что надо брать зонт? Ох, вымокнет она! Ну, ничего, костюмчик выстирает с вечера, а завтра перед работой погладит.

Вот он наконец, автомат! Пристроившаяся под большим деревом серая застекленная кабинка. Из-за большущего этого дерева со свисающими вниз ветками она не сразу его разглядела. Надо же такое невезение – автомат оказался испорченным. Женщина била по нему кулаком, телефон-автомат шуршал, подавая ложную надежду, что вот-вот начнет работать. Женщина резко дёргала за рычаг, вновь и вновь набирала номер – эффекта никакого. Держа трубку у уха, прислушиваясь к шорохам и шумам, она решила, наконец, пойти и поискать другой – ясно ведь, от этого не дождешься толку. Внезапно шумы смолкли и мужской голос сказал:

– Так я поехал?

– Приезжай, – ответил женский голос.

Женщина, стоявшая в автомате, сама не понимая почему, не положила сразу же трубку, а машинально стала слушать. Он спросил:

– Чего ты сегодня такая?

– В каком смысле? – спросила Она.

Он замялся:

– Как тебе сказать... какая-то не такая.

– Хорошо объясняешь, – сказала Она, и оба засмеялись.

– Захватить чего-нибудь? – спросил Он.

– Да нет, всё есть.

Всё у них есть, подумала женщина. В торговле работают, что ли? Она сама не понимала, чего ради слушает этот чужой разговор.

– Так я поехал? – снова повторил Он.

– Поехал, – подтвердила Она. – Да, знаешь, привези вина. Похоже, ничего почти не осталось.

– Салон, – сказал Он.

– Не говори.

– Что взять? – спросил Он.

– На твое усмотрение. Лень вставать, там что-то ещё есть.

– С вином на дорогу сорок минут.

Торгаши, подумала женщина в автомате. Или начальство.

– А Валентина снова к следователю вызывали, – задумчиво сказал женский голос.

– И опять всё то же самое?

– Всё то же.

– Знаешь, я уже привык.

– Ты привык... Уже и Валентин привык.

Мафия, бухнуло в голове у женщины, стоящей в автомате. Ей стало страшновато.

– Кто там в трубку дышит? – внезапно спросил Он. – Присоединился кто?

– Женщина, – ответила Она. – Давно уже сопит.

Женщине, стоящей в будке автомата, стало не на шутку страшно. Ей захотелось сразу бросить трубку на рычаг, но почему-то казалось, что эта пара, не боящаяся следователя и с лёгкостью добывающая вино, тут же её разыщет. Она отодвинула трубку подальше от уха и слов мужчины не расслышала, потом опять приблизила её, и женский голос произнёс:

– Да нет, просто нечаянно подключилась и слушает. Кино!

– Радиоспектакль, – сказал мужчина. – Будь здорова, моя радость. – И совсем другим тоном добавил: – О ревуар, мадам. До новых встреч в эфире.

– Ну ты ходок, ни одну не пропустишь, – совсем развеселилась его подруга. – Давай, милый мой, кончать, пока ты её к нам не пригласил.

Тут они оба начали смеяться, потом Она сказала: «Отбой», и в трубке торопливо запищали короткие гудки отбоя. Следующий телефон-автомат – вполне исправный, она сразу дозвонилась до дома – оказался далеко, уже на улице, а не на странном этом пустыре с асфальтированными дорожками и породистыми собаками. Когда она в него вбежала, небо, ещё недавно светловато-переменчивое, было всё сплошь затянуто необъятной чёрной тучей.

Растолковывая мужу, что сочинение необходимо проверить, а непроверенные сочинения сдают одни лишь дураки, тем более, с Ией Ивановной ещё вчера договорились, она увидела на стекле кабинки первые капли дождя. А когда выскочила из кабинки, сильно хлопнув дверью, капли сыпались уже довольно шустро, превращая пыльный серый тротуар в тёмный, блестящий и мокрый.

Женщина припустила к троллейбусу и домчалась до остановки мигом, но троллейбус, как проклятый, страшно долго не шёл и она мокла под дождём, и было ей противно и тоскливо. А дождь тем временем расходился всё сильней и сильней, и она стояла мокрая, как вылезшая из пруда собака. Ей казалось даже, от неё пахнет псиной.

Собственно, тоска на неё накатила ещё раньше, до дождя. Затосковала она из-за наглых, один бог знает как и почему свалившихся на неё мафиози.

Истрепанные, многократно чиненые босоножки разбухли от воды и громко чвакали на каждом шагу; в метро, а позже дома, в парадном на ступеньках, она оставляла за собой не влажные пятна, как все другие люди, а небольшие лужицы. Чвак – лужица, чвак, чвак.

Муж сделал страшные глаза и сразу же принёс ей тряпку. Она переобулась в прихожей, переоделась в комнате, отнесла мокрые шмотки в ванную, повсюду вытирая за собой воду.

– Сила, – сказал супруг.

Дома было столько дел, что, казалось бы, о пустяках пора и позабыть. Но что она не делала – прокручивала на мясорубке мясо, изучала школьные тетрадки сына, мыла посуду, ругаясь с мужем, смотревшим по телевизору футбол, противнейшее, тоскливое чувство ныло в ней, словно зубная боль.

Ах, паразиты, думала она, ну, паразиты. В очередях не стоят. И всё у них есть.

Страх, который охватил её в кабине – вот сейчас найдут, поймают, схватят – этот жуткий бессмысленный страх постепенно прошел. Но как же ей было обидно!

Ты уродуешься, мечешься, как угорелая, а та, бесстыжая, сидит себе – или лежит! – и лень ей даже задницу приподнять, взглянуть, сколько осталось бутылок.

Удивительное дело. Женщина, никогда не думавшая о постороннем, очень ясно представляла, буквально видела перед собой «ту», ухоженную, всю в «фирме», самоуверенную, с педикюром.

Но вот в двенадцатом часу, наконец, она оказалась перед полным белья корытом. Одна в пустой и тихой ванной, где слышно было, как капает вода.

Здесь, в тишине, за привычной работой, которую она делала так хорошо, она как бы отдохнула душой, и ноющая боль обиды стала постепенно затихать. Но вдруг вернулась, удесятерённая, и железной хваткой вцепилась ей в горло. Женщина подумала, что эта сука с педикюром, случись с ней что-нибудь такое, давно бы уже всё рассказала хахалю. И хахаль, чёртов мафиози-кооператор или рэкетир, давно бы её успокоил.

А вот ей даже в голову не пришло поделиться с мужем. Чего ради с ним делиться? Все, что он

скажет, известно и так. Скажет, что ей делать нечего, только подслушивать чужие разговоры. Что одни лишь идиотки так долго могут думать о ерунде.

И добавит, что одним лишь идиоткам чудится на каждом шагу мафия. Мало ли почему приятеля той пары вызывали к следователю. Дорожно-транспортное происшествие... Недостача, если он материально ответственное лицо. А вино без очереди по знакомству очень многие достают.

Самое главное, что всё это верно. Но верно и другое: той бабе есть с кем поделиться, а у неё такого человека нет, хотя она выбирала себе именно подходящего мужа. Встречалась-то она совсем с другим, встречалась долго, ждала его из армии, но всё время чувствовала: неподходящий. Из армии дождалась, а из командировки – нет. Зато про мужа сразу поняла – вот кто мне нужен. Самостоятельный, серьёзный, настоящий.

Тот чудик даже не боролся за неё. Вернулся из командировки и не зашёл ни разу – в первый же день ему, наверное, накапали. А ведь она переживала, хотела поговорить. Как-то встретились они случайно, уже после свадьбы, он – псих ненормальный – не сказал ничего, не спросил. Только посмотрел шальными, дымными глазами и вдруг запел, как дурачок: «Все говорят, что я ветреной была, все говорят, что я многих люблю...» И всё! Она ещё подумала: «Правильно я его бросила, его и надо было бросить. Разве это муж? Какой из него муж?» И так довольна была, что выбрала хорошего, подходящего, серьёзного. Семейную жизнь строить – не песенки петь.

Она стояла над корытом, умученная, загнанная, седая. «Нет справедливости на свете, – думала она, и тёрла, не жалея кулаков, ковбойку мужа. – Нет справедливости. Нет».

Прошло несколько дней, и история эта забылась. Да и какая это история – так, ерунда. Жизнь вошла в привычную колею, и все обиды и мысли, смутившие в тот вечер женщину, ушли без следа.

В один прекрасный вечер, а вернее, день, ибо светило яркое июньское солнце, женщина, по-прежнему некрашеная и нестриженая и обременённая тяжелой сумкой, вернулась с работы домой и поднялась на свой пятый этаж, поскольку ей, как всегда, было некогда ждать лифта.

Она достала на ходу из сумки ключ и вдруг остановилась, удивлённая. Из дверной ручки их квартиры торчало нечто непонятное. Женщина вгляделась и удивилась ещё больше. Это был букет цветов. Что за новости? Почему с ней вечно что-то случается? Поставив на пол сумку, она включила в холле свет и увидела: букет прекрасен. Лёгкие, воздушные, нежно-розовые цветы, ни на какие из известных ей не похожие.

Почему-то, обнаружив, что цветы хороши, женщина сразу повеселела и успокоилась. Кто их мог принести? Скорее всего, их подарил ухажёр какой-нибудь соседке, а та, чтобы не выяснять отношения с мужем, сунула их в первую попавшуюся дверь.

Скорее всего, так. А может быть, совсем не так. Женщина бережно вытащила цветы из дверной ручки. И запах у них тоже незнакомый, нежный. Вечно со мной что-нибудь случается, опять подумала она, на этот раз совсем уж без досады, а с удовольствием и даже с радостным приятным возбуждением.

Она открыла дверь, вошла в квартиру. Муж на кухне смотрел телевизор. Цветы он увидел только тогда, когда они уже стояли на столе в специально для этого случая промытой хрустальной вазе. Всякое барахло, валявшееся на столе, женщина сразу же убрала и сняла пропыленную скатерть.

На свежей чистой скатерти, в хрустальной вазе, которую ни разу в жизни не вынимали из серванта, пышный бледно-розовый букет был так великолепен, что просто сердце замирало.

Муж спросил:

– От профкома?

– Нет, – ответила она.

Ей почему-то очень не хотелось говорить ему правду.

– Ну, подружка подарила.

– Опять не угадал.

Она весело прищурилась, ей на минуту показалось, с этим розовым воздушным букетом начинается какая-то новая жизнь. Муж внимательно на неё посмотрел.

– Какая-то ты не такая сегодня.

– В каком смысле? – задорно спросила она.

– Как тебе сказать... А ну, дыхни.

От неожиданности и обиды женщина чуть не выпалила: «Сбесился, что ли? Заткнись, урод». Но вдруг подумала: «Неужели ревнует?»

– И цветы эти какие-то, – проворчал он.

– Какие?

– Уцененные... за двадцать копеек.

«Ревнует. Точно, – с удовольствием подумала она. – А цветы, скорей всего, и правда недорогие, только попробуй их достань». Она чопорно произнесла:

– Не в деньгах счастье. Дорого внимание. – Затем сказала: – Чао, – и, послав ему воздушный поцелуй, ушла на кухню. Вот теперь уж он точно решит, что она напилась. Ну и пусть.

Женщина разбирала сумку, раскладывала по местам продукты и вдруг потихоньку запела: «Все говорят, что я ветреной была, все говорят, что я многих люблю». Непонятно, почему ей пришло в голову такое петь. Уж чего-чего, а ветреной она никогда не бывала.

Екатерина Короткова

# КОГО НАЙДУ, ТОГО УБЬЮ!

– Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, – крикнула девочка Верка, и Володя хлопнулся на землю.

Над головой у него закачались лопухи. Бежал он быстро и стукнулся сильно. Но он привык – в пионерлагере играли только так. Бежать во все лопатки и сразу вниз. Ушибся – чепуха. Люди в лужи с разбегу бросаются, поскольку каждая секунда на счету.

– Кто за мной стоит, тот в огне горит, – кричала девочка Верка, как полагается, всякие ужасы. Потом закончила: – Кого найду, того убью!

К тому времени перестали качаться лопухи. У них в лагере было рассчитано всё до секунды. Основательно играли, без дураков. Применяться к местности, ползти по-пластунски – хоть десять километров, если требуется обходной маневр. Однажды три часа кон длился, не могли последнего найти. Уполз куда-то к соседней деревне.

Володя поднял голову и стал изучать местность. Неподалеку – небольшой бугорок, бабушка такие называла: кочка. Верка моталась возле самого столба, боялась, как бы кто себя не выручил. Володя по-пластунски пополз к бугорку.

У них в лагере ещё до войны так натренировались ползать, что когда ловили шпиона, все три отряда почти от станции до самой рощи ползли, окружив его многоярусной рассыпной цепью, и шпион не заметил. Посредине рощи цепь, вернее, несколько цепей, сомкнулись, и шпиона взяли. Куда ему деваться, если весь лагерь вместе с пионервожатыми стеной стоит?

Володя, применившись к бугорку, огляделся как следует и заметил кусты, по которым можно было добраться до палочки-ручалочки совсем с неожиданной стороны. Крюк порядочный, но дело того стоило.

Верка решилась, двинулась куда-то, и Володя пробрался к кустам.

Кусты были малорослые, но довольно густые. Чем дальше уползал он в глубь кустарника, тем быстрее полз. Тут уж не страшно было шуршать, раздвигать резко ветки.

В пионерлагере он играл в пряталки не хуже других, хотя был второй по младшести. Моложе его только Костя, поварихин сын. Этому вообще пять лет.

У них в третьем отряде пионеров ещё не было, но конечно, все школьники. Кто кончил первый, кто второй, а кто так даже третий класс. Володя же попал туда по блату.

Пришла в один прекрасный день Любаша, мамина подруга, и сказала:

– Зизи, кристалл души моей! Хочешь, пацана в лагерь пристроим?

Мама нахмурилась, она не любила, чтобы её дразнили кристаллом. Она сказала, что Володя ещё маленький, что в лагерь только школьников берут.

– Возьмут и нашего, – ответила Любаша. – Знаешь, кто начальник лагеря? Мой выдвиженец! Выдвигался, выдвигался, а теперь задвинули.

– То есть как? – сказала мама. – Вы же разошлись?

– Ну и что? Со всеми бывшими мужьями я сохраняю дружеские отношения.

Это было верно. Это знали все. И Володя знал. С выдвиженцем дружеские отношения, наверное, возникли уже после развода – Володя раньше о них не слыхал. Слышал же наоборот, как Любаша жаловалась маме:

–Представляешь? Уровень культурный поднимает. Начитался великосветских книг и оттуда выудил, что когда супруги в ссоре, полагается переходить на вы. На днях поцапались, и вдруг гляжу: становится в великосветскую позу и говорит: вы собака. Зина, это же с ума сойти!

– Палочка-ручалочка, выручи меня! – закричал кто-то вдали диким голосом.

Володя выглянул из кустов. Кажется, это какой-то соседский. К столбу с отчаянным лицом неслась девочка Верка. Он подумал, что затеял слишком уж далекий обходной маневр. Но пока там переловят всех соседских и троюродных…

В Днепропетровск их эшелон прибыл вчера. Долго шли, сперва в сумерках, потом в темноте по длинной улице, всё в горку, в горку. Мама часто ставила на землю чемоданы, чем дальше, тем чаще. Володя тоже устал – он тащил довольно увесистый узел, и когда мама со вздохом бухала чемоданы на тротуар, Володя клал свой узел рядом, на траву. На этой улице в Днепропетровске тротуаром была просто дорожка, по бокам которой росла трава.

Родня приняла их хорошо: охали, кормили картошкой. Изголодавшийся Володя отяжелел от еды, а когда проснулся утром, мама уже ушла: в воинскую часть, искать папу.

Сейчас утром, когда спать не хотелось, и в комнате было светло, Володя обнаружил, что у него множество троюродных сестер и братьев. Тетя Домна – бабушка звала её Домаха – дала Володе пшенной каши с молоком, а после этого троюродные пошли показывать Володе щель.

Щель была в саду, большая, замечательная щель, Володя спустился туда вместе с троюродными и увидел, что в щели горит свеча, а вокруг свечи сидят и что-то делают с ней какие-то ребята, мальчики и девочки.

Оказалось, что это соседские. Щель была общая, её выкопали объединенными усилиями обе семьи.

Кусты поредели. Приморившийся Володя забеспокоился, что не туда уполз – он давно уже не слышал криков у столба. Но вот он выбрался на открытое место и даже рот раскрыл – столб прямо перед ним. Володя вихрем бросился к нему, заколотил рукой по теплому от солнца дереву и завопил, ликуя:

– Палочка-ручалочка, выручи меня!

Молчанье. Ни души. Он потоптался, прошел несколько шагов вперед. В дальнем конце сада какое-то мелькание, вроде кто-то бегает среди деревьев. Он прислушался. Знакомые голоса.

Володя двинулся в ту сторону. Увы, троюродные и соседские не стали его дожидаться, смылись в сад и снова во что-то играют.

Убедившись в этом окончательно, он постоял, подумал и решил к ним не ходить. Неприятно. У них в лагере так не играли. Человек ползет, старается, а им и дела нет.

На лагере и пряталках свет клином не сошелся. За свою восьмилетнюю жизнь Володя наигрался в разные игры в большом, гулком киевском дворе, где не было отчетливой границы между игрой и дракой. Но и там существовали правила. Когда ему разбили камнем голову и вылили на него столько йоду, что даже вспомнить жутко, он твердо знал: пульнули по всем правилам, без подлости.

А когда большой мальчик Андрей избил его ногами, Володя забыл про боль, но вспоминает до сих пор с удовольствием, как он удивился, этот Андрей, когда Володя встал на цыпочки и, ужасаясь своей дерзости, сделал то, что следовало – дал ему по морде. Символически, как сказали бы взрослые.

– И чего он лыбится, козявка, – пожаловался Андрей своему лучшему другу Рюрику, по прозвищу Тролейбус. – Я ему так надавал, и ногами, и всё, а он лыбится.

– С битой мордой ходишь, Андрюха, – ответил Тролейбус. – Вот он и лыбится.

Володя побрёл к калитке. Большая чёрная собака, лежавшая на траве, увидев его, подняла голову. Он обрадовался. Как-никак компания.

– Вы не пойдете со мной погулять? – спросил он чёрную собаку.

Чёрной собаке гулять не хотелось. Но ей жаль было этого, который долго полз на животе и сопел в кустах, в то время, как все остальные давно удрали в сад и скачут там на задних лапах. Она вздохнула и направилась к калитке.

Они пошли вчерашней улицей по земляному тротуару, только под горку, а не в горку, как вчера.

Эта улица ведет к вокзалу. Может быть, он встретит там родителей. Может быть, папа уже оформил аттестат. Володин папа не оформил его вовремя, потому что очень спешил на фронт. Он пошел на фронт из самых-самых первых.

Война началась в воскресенье, в родительский день. За этот день Володя, как никто, напсиховался. Сначала утром в положенный для родителей час в лагерь не приехал ни один родитель. Потом пополз этот невероятный слух: война. Володя слуху, конечно, не верил, но стало тошно. Без того переживаешь, а тут ещё слух.

Днём стали приезжать родители, но только не к нему. И родители эти, чужие, подтверждали слух насчет войны. Чем дальше, тем Володе становилось беспокойней. Но он держался, ждал своих и, единственный во всем лагере, не верил в войну. А свои явились вечером, последними. Папа с самого утра ушел в военкомат, чтобы побыстрей попасть на фронт.

После этого родительского дня Володя прожил в лагере ещё две недели. Часть ребят родители увезли, но не всех. Играли в пряталки, как до войны, и говорили, что сейчас особенно важно применяться к местности и ползать по-пластунски. Однажды поймали шпиона.

Несколько раз ночью бывали бомбежки. В комнату входила вожатая Нина, будила тех, кто ещё не проснулся, и вела свой поредевший отряд прятаться в щель. Щелей было штук пять, но плохонькие, не чета днепропетровской. Ёжась от холода, ребята молча проходили через двор и при взрывах оглядывались на небо. Освещенное дальней вспышкой, оно светлело, как перед рассветом. Было красиво, необычно и немного страшно.

Но вот и Володю забрали из лагеря в город. В Киеве на него хлынул целый ливень новых слов. Бомбоубежище, взрывная волна, осколки, светомаскировка, эвакуация, эшелон, аттестат. Слова новые, но оказалось, все они имеют отношение к Володе.

Вечером на улице нос расшибешь, темнотища - светомаскировка. На окнах наклеены бумажные кресты. Володя сперва подумал, что это бабушка так просит Бога о защите. Но кресты белели и на чужих окнах. Не может ведь быть, чтобы в каждой квартире жила такая верующая бабушка, как у Володи. Потом он узнал: кресты эти для того, чтобы не лопались от взрывной волны стекла.

В бомбоубежище Володя не ходит. Суетливые взрослые сломя голову мчатся в подвал. А он стоит себе на улице, как ни в чем не бывало. Откровенно говоря, он немного презирает этих взрослых. Широко разинув рот, смотрит, как из пуза самолета высыпаются черные бомбочки. За три недели он перевидал столько бомбежек, что трижды видел выбросившихся из подбитого бомбардиров щика маленьких немецких парашютистиков.

Бабушка молится перед лампадкой и иконой о воине Викторе. Мама, как придет с работы, первый вопрос: «От воина Виктора опять нет писем?» «Грех смеяться, Зиночка, скушение», – обижается бабушка.

Но вот он пришел, треугольный конверт, полевая почта номер такой-то – теперь писали полевую почту, а не города – и все узнали, что папа в Днепропетровске.

Тетя Ната совсем расхворалась. Каждый вечер всё один и тот же разговор. Володя, перечитывая в сотый раз «Буратино», только и слышит эти, уж точно имеющие к нему отношение слова: «эшелон», «эвакуация». Идет эвакуация, с вокзала каждый день отправляются эшелоны, а мама всё откладывает, она ждет, когда поправится тетя Ната.

Забежал как-то Володя в Ботанику – Ботанический сад, а там военный ансамбль исполняет новые песни и одну очень смешную: «Гитлер ду-ду-ду-ду-ду-ду-думает в Берлине о Советской Украине», надувая щеки, пели бойцы.

Прибежал домой – нет тети Наты, увезли в больницу. Совсем плохо стало с сердцем. Чтобы сердце не болело, надо быть спокойной. А какое же спокойствие, когда война? Гитлер не только думает об Украине, он по ней идёт.

Теперь бабушка твердо сказала: пусть мама едет в эвакуацию вдвоем с Володей. Она, бабушка, больную дочь не бросит, останется здесь. А маме с Володей давно пора ехать.

Бабушка молилась подолгу перед зеленой лампадкой о всех воинах-защитниках и Викторе воине отдельно, о болящей Наталье и о Зинаиде с очадом. Володя знает: очад – это он.

И мама уже не спорила, но всё никак не могла собраться с духом, пойти на вокзал и устроиться в эшелон. А бабушка её торопила. Гитлер очень уж быстро продвигался по Советской Украине. Честно говоря, ещё совсем недавно никто этого не ожидал.

А потом пришла Любаша и сказала, что эшелон, которым поедут Володя с мамой, отправляется завтра в восемь утра, так что надо поворачиваться. Она помогла им собрать вещи и проводила на вокзал. Бабушке ходить туда запретила: «Вас там затолкают, не выберетесь. Не представляете, что там творится. Вавилонское столпотворение».

– Прощай, Зизи, кристалл души моей! – сказала она маме перед отправкой эшелона.

Мама ни капельки не обиделась на кристалл, обняла Любашу и заплакала:

– Любочка, любимая моя подружка! Самая лучшая, самая добрая! Маму не оставляй.

– Что ты, что ты, я к предчихе зайду прямо с вокзала. Каждый день к ней буду заходить. Только дней-то этих кот наплакал.

Любаша уезжала через неделю и увозила с собой целую орду – свою собственную маму, которую тоже называла предчихой, всех своих детей и самую последнюю свекровь.

Эшелон, в который они сели с мамой, шел на Северный Кавказ, в безопасные края, далеко на востоке. Но маме очень уж хотелось повидаться с папой. Она сваливала на аттестат, хотя все говорили, что аттестат можно оформить заочно. Как-то ранним утром в странном сером городе Конграде они пересели в новый эшелон, сплошь состоявший из открытых платформ. Этот двигался к Днепропетровску.

Стоял август. Вечерами над эшелоном раскидывалось звездное небо. Володя лежал на спине, слушал стук колес и смотрел в это теплое, большое, темносинее, всё в ярких звездах небо. Временами падала звезда, медленно проводя по небу светящуюся черту. Девочка Аллочка, с которой Володя дружил на платформе, объяснила ему, что, когда падает звезда, надо задумывать желание, и если успеешь задумать, пока она падает, желание исполнится. Аллочка сказала, что в августе звезды падают особенно часто. Она пользовалась этим на всю катушку.

Черная собака внезапно села. Оказалось, они добрели почти до самого вокзала. Крику на вокзальной площади все равно, что на базаре, куда бабушка иногда брала его. Наверное, там папа хлопочет насчет эшелона, и мама рядом с ним.

– Вы не хотите идти на площадь? – спросил Володя черную собаку.

Собака не хотела, но из деликатности сидела и ждала. Володя понял всё, сказал собаке «До свиданья» и пошел уже один, туда, откуда нёсся возбужденный гул.

– Здорово, брат! Куда это собрался? – вдруг услыхал он женский голос, немного знакомый.

Он и не заметил, объясняясь с черной собакой, что в нескольких шагах от них стоит тётенька из их эшелона. Весь эшелон Володя, конечно, не знал, и даже всю свою платформу, но эту тётеньку запомнил.

В день отправки из Конграда они жарились на открытой платформе, как караси на сковородке. Когда стемнело, начали дремать, пристроившись на собственных вещах. И тут она явилась, эта тётка, и приволокла огромный кус фанеры. «А ну, граждане, очистим платформу! В темпе, в темпе, по-стахановски! Потом сами же спасибо будете говорить!» Граждане отругивались довольно сварливо, тетенька упорствовала и в довольно быстрый срок с помощью сердитых граждан затолкала свою фанеру на очищенную часть платформы. «А ну, граждане, все дружненько взялись, тащим вверх, все дружно, по-стахановски!»

Зачем понадобилась эта фанера, Володя выяснил дней через пять. Пошел дождь, фанеру подняли над платформой, граждане молча вползли под неё и сидели, как под крышей. Спасибо тётеньке никто не сказал.

– Я на вокзал собрался. Надо поискать

родителей.

– Поискать, конечно, можно, только вряд ли ты кого найдешь. Содом и Гоморра. – Даже эта с фанерой говорила взрослые непонятные слова. – Пошли на пару, что ли, поищем.

– Спасибо, если это вам не трудно.

– Пожалуйста. Допустим даже трудно, но трудности, брат, надо преодолевать.

Антонина Алексевна – так звали фанерную тётку – зачем-то ухватила Володю за руку и, не отпуская, как маленького, потащила за собой.

Антонина Алексевна, конечно, тоже не помнила всех обитателей платформы. Но она всегда глядела больше не на взрослых, а на детей. Двое приятелей, ближайшие её соседи, всё время лезли ей в глаза и даже навели на печальные мысли. «Мужик всегда мужик, – удрученно размышляла она, – что ему десять лет, что сорок. Хлебом его не корми, дай забиться под каблук такой штуке. И чем лучше парень, тем сподручней из него веревки вить».

Малолетняя «штука» неутомимо и изобретательно вила веревки из малолетнего кавалера. По вечерам, когда падали звезды, они задумывали, судя по всему, какие-то желания.

Антонина Алексевна, словно не было у неё других забот, пыталась догадаться: что задумывают? Чтоб кончилась война? Для взрослых – главное сейчас желание. А с этих станется задумать и про вечную любовь: свадьба в шестнадцать лет, а потом, как в сказке – всю жизнь счастливо и умереть в один день.

На вокзальной площади было полно народу. И в самом деле Содом-Могомора. Народ метался около вокзала, обменивался слухами, причитал, галдел: «Вы слышали, сказали, отправления не будет». «То есть, как? Только что воинский эшелон ушел!» «Воинский – другое дело». «Я фактически вам говорю: никого больше отсюда не отправят». «Где этот мальчик, куда он ушел? Это бич божий, а не ребенок!» «Немцы к городу подходят. В восьми километрах».

А в самом центре площади возвышалась гора, какой Володя отродясь не видел. Гора из чемоданов, из свернутых одеял, узлов, ведер, чайников, портфелей, словом, всякой всячины, которую только может захватить с собой человек, отправившийся в эвакуацию.

Кое-где на склонах этой горы сидели, отдыхая, горные жители. Кто-то закусывал. Старенький дедушка спал.

Володя с Антониной Алексевной, промотавшись в гуще Могоморы чуть не час, тоже решили отдохнуть и «в темпе, по-стахановски» заняли освободившееся на вокзальных ступеньках местечко,

Антонина Алексевна, вообще, хоть и старая и довольно нескладная с виду, ориентировалась и применялась к обстановке, как образцовый боец.

Голоса у них над головами произносили те же фразы, которых Володя наслушался, курсируя в толпе. «Вы слыхали? Говорят, станцию перенесли на тот берег». «Немцы в восьми километрах стоят».

Здесь на ступеньках, хоть и в галдеже, можно было всё-таки поговорить. Расхрабрившись, Володя спросил, не обижается ли Антонина Алексевна на тех людей, которые с ней поругались, а потом прятались под её фанерой от дождя и не сказали ей спасибо.

Она не обижалась. «На кой ляд мне их спасибо? Шубу с него шить? Не смекнули, поорали спросонок. И кому это приятно каяться: извините, мол, великодушно, пустите, Бога ради, под ваш шикарный тент».

Она расстроилась, когда Володя сдуру брякнул, что девочка Аллочка, с которой он дружил на платформе, вечерами, если падала звезда, чаще всего задумывала одно и то же желание: чтобы Антонина Алексевна отстала от поезда.

– Это какая же Аллочка? – хмуро спросила она. – В позолоченных бусах, за которой ты ходил, разинув рот? Такая маленькая женщина?

Володя удручённо молчал. Он уже понял, что обидел Антонину Алексевну.

– Ну, а ты, галантный кавалер? Тоже мне желал от поезда отстать?

– Нет, – уныло ответил Володя. – Я другое задумывал. Чтобы немцы не взяли Киев.

– Остался, что ли, кто у вас?

– Бабушка и тетя Ната. Тетя Ната в больнице. У неё сердце плохое.

Антонина Алексевна вздохнула. .

– Такие дела. А я-то думаю, какого ляда вы всё лето в Киеве проканителились? Невесёлые, брат, у вас дела. А в Днепропетровск за каким дьяволом вас угораздило, к немцам поближе? Для остроты ощущений?

Володя объяснил про аттестат. «Интеллигенция», – сказала Антонина Алексевна, одновременно одобрительно и с укоризной.

– Антонина Алексевна, – осторожно начал Володя. – Я тоже вот хотел у вас спросить. Вы не обидитесь?

– А дьявол меня знает. Ты, брат, с сюрпризами мужичок. Валяй, спрашивай.

– Я хотел спросить, за каким лядом, – чтобы задобрить Антонину Алексевну, Володя старательно употреблял её любимые слова, – за каким лядом вас-то сюда угораздило?

– Изысканно выражаешься, брат. Старикам одним помочь хотела. Муж с женой, работали мы когда-то вместе, замечательные старики. Без меня эвакуировались. Самые близкие мне на свете люди. Даже ключ оставили для меня. Я ведь одинокая. Старая дева.

Володя обратил внимание, что Антонина Алексевна смешивает несоединяемые слова: «маленькая женщина», «старая дева». Но почему-то слова эти соединялись не бессмысленно, а складно. К Аллочке подходило название «маленькая женщина». «Старая дева», конечно, очень странно, но похоже на Антонину Алексевну.

– В двух шагах отсюда моя штаб-квартира, – сказала Антонина Алексевна. – Может, сходим, хоть чайку попьем.

Толпа беженцев, галдевших на вокзальной площади, вдруг хлынула в центр, к чемоданной горе. В воздухе возник какой-то новый звук, какой именно – Володя не успел понять – Антонина Алексевна, схватив его за руку, с такой быстротой потащила к горе, что чуть не оторвала ему руку. Они с разбегу плюхнулись на чьи-то вещи, как при игре в пряталки после слов «иду искать!"

Звук нарастал. Володя, может, даже слышал его раньше, но не такой громкий. «Бомбить», «бомбежка», шелестели рядом голоса. Чего придумали? Володя понимал, что бомбить вокзальную площадь никто не будет. Здесь же только женщины с детьми да старики. Неужели прилетят самолеты, чтобы сбросить бомбы на гору, сложенную из чемоданов, ведер, узлов?

Артобстрел. Ну ясно, артобстрел. Совсем другое дело. Почему по женщинам, детям и старикам можно стрелять из артиллерийских орудий, тоже не совсем понятно, но на войне многое непонятно, и всё-таки какой-то смысл в ней должен быть. Страшней бомбежки ничего не бывает. Значит, не может быть, чтоб их бомбили. Но что-то всё же происходит. Артобстрел.

Антонина Алексевна закрыла его чьей-то большой подушкой. «Это ведь не бомбежка? – спросил Володя. – Артобстрел?» «Обстрел, обстрел», – ответила она.

Вой, грохот, треск. Казалось, раскололись небо и воздух до самой его головы. Какой он страшный, этот грохот. Уши лопаются, тело болит. «Я не могу больше, – думал Володя, – я не могу больше, я умру».

Антонина Алексевна изо всех сил прижимала к нему подушку. Он понимал: разве подушка спасет? Но в этом грохоте, что обрушился вдруг на площадь и терзает, и мучает всех, только они и были из человеческой жизни, из нормальной, доброй, прежней жизни – чья-то подушка и прижимавшая её к Володе рука.

А потом Антонина Алексевна тащила Володю по площади сквозь толпу, и ничего страшнее он не видел в своей жизни. Все мечутся, у всех странные, потрясенные лица, испуганные, стеклянные глаза.

На земле лежит старик, и какая-то бабушка к нему наклонилась и уговаривает, как маленького: «Васенька, родненький! Васенька, ну что же ты, что?» А он не двигается и не отвечает. Чей-то крик кошмарный, сумасшедший: «Мама, мама, мамочка!» И в других местах кричат такими же жуткими сумасшедшими голосами. «Надя! Надя! Надя!..» и так без конца. Женщина с невидящими глазами несет на руках неподвижное тело девочки. А вон там совсем уж страшное. Он быстро отвернулся. Может быть, почудилось то, что лежало на земле.

А потом он увидел такое, что уже не надо было спрашивать: «Бомбежка?» «Обстрел?» Большой четырехэтажный дом без стены. Груда кирпичей под домом и облако пыли над ними, чьи-то комнаты, мебель, струйки пыли от оставшихся стен.

– Это бомба, это бомба! – с ужасом твердил Володя.

– Ну, бомба, ну чего ты, жив остался, так иди! – кричала Антонина Алексевна и тащила его в сторону той улицы, где они встретились два часа назад.

– Это бомба, это бомба, – повторял Володя.

Они выбрались, наконец, из толпы, и улица показалась ему необычно пустой и мирной. На ней почти не было людей. Только вдали две фигуры. Антонина Алексевна упорно тащила его вперед. Потом те двое побежали им навстречу.

– Твой, что ли папаша, лейтенант-очкарик? – спросила Антонина Алексевна.

– Мамочка! – крикнул Володя и бросился и прижался к ней.

Они не пошли к тете Домахе по длинной улице в горку. Они сидели в комнате стариков, которые эвакуировались, не дождавшись Антонину Алексевну. В той самой её штаб-квартире, что была в двух шагах от вокзала.

Временами до Володи долетали обрывки их разговоров. На улице он вообще ничего не соображал. Только время от времени мерно тикало в голове, как большие синие ходики, что висели у них в Киеве на стенке: «Это бомба. Это бомба».

Голоса взрослых были еле слышны, будто голову ему обмотали ватой. Он понял, что они с мамой останутся тут ночевать, а папа придет завтра утром, и тогда они уедут в каком-то новом эшелоне. Но он не понял, что только из-за него взрослые решили до утра остаться тут, у самого вокзала.

– Передышка ненадолго, – сказала Антонина Алексевна. – Хорошо наслышана уже про их гнусную привычку бомбить перед взятием город, станцию прежде всего.

Володин папа, во всём любивший точность, начал было объяснять, что это стратегический прием, потом взглянул на «выключенного» Володю и сказал: «Вы правы, гнусно, как всё в этой войне, где бросают на беженцев бомбы». Не удержались – заговорили о том, что неплохо бы уйти к тете Домахе от «распроклятой станции, с которой все равно уже

и поезда не ходят». Но уйти нельзя. «Куда тащить в такую даль парнишку, пусть посидит в квартире, может, отойдет».

Он понемножку отходил. Ему нравилась стариковская штаб-квартира. Тут уютно, как до войны. Ворсистые пестрые кресла, такой же диванчик. Много книг и много ламп. Лампы красивые, все разные и все чудные. Наверное, старинные.

А взрослые всё посматривали на Володю. Забился в уголок дивана, не двигается, не говорит, только поглаживает проплешинку, где вылез ворс. У Володиных родителей сегодня жуткий день. Еще утром пришли к Домахе, а Володи нет. Они и двор обшарили, и сад. «И моих нема. Десь побиглы играть», – успокоила их Домаха. Тогда они отправились оформлять аттестат, заглянув ещё раз перед этим во двор. Но Володя как сквозь землю провалился.

– Я в щели сидел, – сказал Володя.

Все так и охнули. Мама просияла, и Володе на минутку показалось, что она заплачет. Но она зловредным голосом спросила:

– Всё утро под землей? Один? Как крот?

– Зина, не срывай волнение на ребёнке. Слава богу, он хоть начал говорить.

Мама вспыльчивая, но отходчивая. А у папы сдержанный характер. Володе жаль родителей, но ему пока что трудно выдавливать из себя слова.

– Не один. С троюродными и соседскими.

– Мы его ищем по всему двору. Как идиоты бегаем по улице. Зачем это понадобилось забиваться в щель, когда ещё не началась бомбежка?

– Мы гадали. Там ведро с водой. Капали со свечки в кружку, что кому выйдет.

– И что тебе выпало? – спросил любопытный папа. Володя не знал, что папа нарочно заставляет его говорить.

– Не разберешь... Такие круглые.., – Володе вспомнилось, как, наклонившись над кружкой, в большой, тёмной, как пещера, щели, все смотрят, затаив дыхание, что же там плавает на воде, вспомнилось так отчетливо, что он немного оживился. – Круглые, только длинные, – сказал он. – Вроде зайцев без ушей.

– Этих зайцев без ушей напрыгало тебе, брат, предостаточно с неба, – сказала Антонина Алексевна и поставила перед Володей большую чашку с чаем. – Гаданье в руку. Или это только сон бывает в руку?

– Что же ты там со своею чёрной магией даже есть не захотел? – уже мягче спросила мама.

– Мы там ели. Сало с хлебом.

Общий вздох.

– Концентрат мой, не поймёшь, что с ним делать, – пробубнила Антонина Алексевна. – Единственное: топором рубить. Правда, сухари еще имеются.

Чай подействовал на Володю целительно, хотя по вкусу вовсе не похож был на чай. И по цвету – он был светло-серый. Впервые за все время Володя тоже задал вопрос – куда пропали родители?

– Куда пропали? Эшелон искали подходящий, – с готовностью объяснила вместо них Антонина Алексевна. С тех пор, как у Володи прорезался голос, все взрослые повеселели. – Куда им пропадать? Всё очень даже просто.

Но тут выяснилось, что всё совсем не так уж просто. Что до вокзала мама с папой не дошли и поэтому не имели возможности заниматься поисками эшелона.

Володин папа носит очки. Волосы у него белокурого цвета. Кроме того, по дороге из штаба, где был оформлен, наконец, аттестат, папа раза два остановился показать маме постройки девятнадцатого века. Всех этих причин оказалось больше чем достаточно, чтобы Володиного папу приняли за шпиона и потащили в комендатуру.

– Окружила вдруг со всех сторон толпа, – с недоумением рассказывал папа. – Я и не заметил, откуда набежали. А они кричат: давно за ним наблюдаем.

– Следовали за тобой рассыпной цепью, – со знанием дела объяснил Володя. – Мы когда в лагере шпиона ловили, он нас тоже не заметил. Окружили, и хана.

– То есть как это хана? Самосуд? – Папа вечно таким вот макаром учит Володю правильно говорить. – Вы должны были доставить его в комендатуру.

– Не было там комендатуры. Мы доставили его в сельсовет.

– Настоящего шпиона? – изумился папа. – Он не сопротивлялся?

– Куда ему? Он один, а нас целый лагерь.

Папа то вскакивал, то садился. Пора уходить, но после сегодняшней истории ему хотелось выяснить, как поступают с настоящими шпионами.

И Володя рассказал, как их благодарили в сельсовете, как председатель пожал старшему вожатому руку, а ребятам вежливо объяснил, что пойманный ими шпион – местный житель и «искони веков ходит домой не по шоссейке, а через рощу, для ради прогулки».

– Ради прогулки, – машинально поправил папа. И озабоченно спросил: – Вы хоть не тыкали его кулаками под рёбра? – При этом он провел руками по бокам.

Потом папа взглянул на часы, охнул и сказал, что завтра чем свет их поднимет и переправит на тот берег Днепра.

– Ты не стесняйся, – сказала ему на прощанье мама, – зайди в санчасть, пусть тебе йодную решеточку сделают на рёбрах. У тебя же, наверно, все бока в синяках. Просто фурии какие-то, а не бабы.

– Какую решеточку? – с ужасом сказал папа. – Люди раненые в бой идут.

А Володя испугался: не наставили ли фурии и маме синяков на рёбрах. Папа, стоя уже на пороге, его успокоил. У мамы ярко выраженный украинский тип. Её приняли за легковерную жертву коварного шпиона, который использовал её, как щит.

– Легковерную... – пробормотала мама, когда за папой захлопнулась дверь. Её черные ярко выраженные украинские глаза гневно сверкнули. Маме вспомнился въедливый старикан, назидательно ей говоривший: «Легкомысленно ведете себя, гражданочка. Потеря бдительности у таких, как вы, играет на руку врагу».

Мама с Антониной Алексевной ушли драконить концентрат на кухню. Предложила это Антонина Алексевна: «Надо что-то делать с окаянным. Не раздраконим – оголодаем».

Володя перелез в другой угол диванчика и размышлял, какие разные бывают комнаты, и как по-разному в них люди живут. Эта стариковская – богатая комната. Пестрый ворс с проплешинами. Необыкновенные лампы: одна, например, керосиновая, но под абажуром. Книги не на полках, а в книжных шкафах.

У них в Киеве тоже много книг. Но шкафов нет, есть этажерка. Кое-что на платяном шкафу. Основная же библиотека – в ванне. Ванна наполнена книгами до краев. Поверх ванны, прикрывая книги, лежит широкий деревянный щит. На щите матрас, подушка, одеяло. Здесь спит соседка Нюра, по прозвищу «китаянка», большая, рыжая, толстая, с выпуклыми светлыми глазами. Встает она поздно и утром, лежа на своем щите, любит поболтать с соседями, которые приходят умываться.

Володя, как все люди, умывается по утрам, но, кроме этого он и днем туда забегает. Приподнимает щит, запускает в ванну руку и вытаскивает, что Бог пошлёт. Прошлой зимой выудил из ванны книгу писателя Поль де Кока. Прочел с удовольствием – он любит читать, но усвоил маловато – понял лишь, что в книге действуют какие-то графини.

Любимые его книги – Андерсен и «Буратино». Он все чаще поглядывает на стариковские шкафы. Наверное, в таких шкафах самые интересные книги на свете. Хорошо бы почитать, пока не начали бомбить.

А у Любаши, маминой подруги, всё не так, как здесь, и не так, как у них. У Любаши прежде всего патефон. Полно гостей и патефон. Рядом с патефоном на столе – нарезанные французские булочки и очень вкусная колбаса на бумажке. Кто хочет, делает себе бутерброд. А в углу прикрытая марлей коляска. Там спит маленькая девочка, Любашина дочка. Она привыкла к патефону, крепко спит и никогда не плачет.

Другие Любашины дети рассованы кто куда. Один в яслях, ещё кто-то у предчихи. У Любаши много детей и все от разных мужей. Эту формулу Володя слышит так часто, что воспринимает её, как закон природы.

В тихом уголке, рядом с коляской, Володя терпеливо ждёт, когда кончатся все эти танго и фокстроты. Неутомимые взрослые отплясывают до тех пор, пока уже ноги не держат. Тогда они садятся и начинают петь. И замученный фокстротами Володя пристаёт, чтобы спели его любимую «Там вдали за рекой загорелись огни». Он просит, он умоляет, он ноет и добивается, наконец, своего. Когда он слышит, как звонкие молодые голоса хором выводят: «Ты мой конь вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих...», – он счастлив, это самые счастливые минуты в его жизни.

«А пластинки ты не любишь? Ни одной?» – как-то спросили его у Любаши. «Одну», – ответил он. Все засмеялись, решили, что он шутит.

Но Володя в самом деле любит одну пластинку. Она называется «Дождь идёт». Мужской голос поёт не по-русски. На каком языке он поёт, Володя узнал у мамы – на французском. Когда он слушает эту пластинку, он представляет себе большую комнату, темноватую, полупустую. По комнате ходит грустный француз и поёт, красиво и негромко. А на улице идет дождь, и по стеклам окна тихо сбегают кривые струйки.

– Таким образом, можно считать, я вроде как выдвиженка, – сказала Антонина Алексевна, открывая дверь ногой и внося в комнату кастрюльку со сваренным концентратом. Её слова относились к маме, которая шла позади, но поразили главным образом Володю. Единственный выдвиженец, которого он встречал, – их начальник лагеря, бывший муж Любаши.

– Ты чего уставился, как на призрак? Концентрат вполне съедобный, сейчас поешь и будешь спать.

– Выдвиженка? – переспросил Володя. – Это значит, если вы с кем ссоритесь, то говорите: вы собака?

– Не вали, брат, с больной головы на здоровую. Кто из нас двоих с собаками на вы? На моих глазах беседа протекала.

Каким далеким казался тот жаркий дневной час, когда Володя попрощался с черной собакой, проводившей его до вокзала. Мама страшными глазами посмотрела на Володю и сказала:

– Вы, должно быть, очень любите детей?

– Дети занятный народец, – сказала Антонина Алексевна и на мамин вопрос: «Чем такой уж занятный?» повела совершенно удивительные речи, из которых никак нельзя было понять, любит ли она детей. Тут уж не только Володя развесил уши, тут даже мама, беззвучно разливая по тарелкам

концентрат – обыкновенный суп, только чудного вида, как очень жидкое пюре – искоса поглядывала на Антонину Алексевну.

Дети, оказывается, зеркало жизни. Всё замечают и отражают. «Мы живем с ними бок о бок и ни черта не видим, а они у нас всё подмечают». Володя удивился. Он считал, наоборот, это взрослые всё замечают. «Откуда у тебя сзади пятно на майке? Снова лазил в подвал?» Очень даже замечают. Правда, может быть, не отражают?

– Те же дразнилки. Слышу как-то, дружелюбно этак, толстячка приглашают: «Жиртрест, давай с тобой играть». Учреждений с сокращенными названиями развелось сверх меры, и пожалуйста, как толстый пацан – так жиртрест.

Что все толстые – жиртресты, Володя давно знает, но ему не приходило в голову, что жиртресты могут что-то отражать.

– Вы учительница? – спросила мама.

– Работала одно время с детьми, – сказала Антонина Алексевна. Володя видел: ей не хочется об этом говорить. И мама заметила это. Но Антонина Алексевна рассказала про себя сама:

– Мать умерла, я ещё девочкой была. Соседки, помню, все меня пугали: «Женится папаша на молоденькой, народит она ему детей, а тебя засадят нянькой»... Дуры бабы, невдомек, что мне того и надо. Сколько себя помню, всё с детишками вожусь. Меня и дразнили-то по-уличному – Нянька.

Мама стала расспрашивать, кто был у Антонины Алексевны отец и женился ли он еще раз?

Оказалось, он второй раз не женился. А работал почтальоном.

– Песню знаете, её все знают. Лемешев поет, русская народная. «Когда я на почте служил ямщиком...» – пропела Антонина Алексевна неожиданно тонким голосом и совсем без слуха. – Так ямщик-то не в одиночку ездил, почтальона возил. Отец наш и был таким почтальоном.

Антонина Алексевна, как они узнали, жила очень далеко – в Оренбурге. Её отец и ямщик ездили по степям в страшные, «трескучие» морозы, каких в Киеве не бывает никогда. Антонина Алексевна боялась, что их занесет снегом во время метели, как Петрушу Гринева с Савельичем. Отец же её не боялся ничего.

Он не боялся, зато его боялись. Один из сыновей сказал ему однажды: «Вы не отец, вы урядник. Заходите в комнату – все замолкают».

Но Антонина Алексевна утверждала, что, невзирая на «бешеный нрав», отец её был добрым и хорошим человеком, и огорчалась, что он умер совсем ещё не старым, в гражданскую войну от сыпняка.

– Яицкий казак, одно слово, – закончила она рассказывать об отце. – Как сказали бы сейчас, «типичный представитель».

И Володя вообразил себе, как в уютную комнату, где трещат дрова в горячей печке и горит большая керосиновая лампа на столе, внезапно входит, весь в снегу, человек, бородатый, в мохнатой папахе, в руке нагайка, на плече почтальонская сумка. И все сразу замолкают и с испугом смотрят на него.

А дальше Антонина Алексевна рассказала совсем уж интересные вещи: она воевала с белыми. «Братья на фронт – и я туда же подалась. Красноармеец из меня вышел вполне пристойный».

Володя смотрел на неё во все глаза. Он почему-то обрадовался, что Антонина Алексевна была геройским красноармейцем. Наверное, геройским, раз уж сама говорит «пристойный».

– Ну, а после войны? –спросила мама.

– После войны, как говорится, все дороги были открыты. Особенно передо мной. Домой вернулась – дом пустой, братья убиты, папа умер.

Она задумалась. Володя и мама молчали. Мама собрала тарелки из-под концентрата и поставила их стопкой.

– Все дороги передо мной открыты, а я одна на белом свете. Как перст. Все говорят: «Ищи себе работу по душе». Я и нашла. Две этаких войны! Куда не глянешь – беспризорники. Голодные, в помойках роются, как кошки одичалые. Пошла спасать детей войны.

– На борьбу с беспризорностью? – спросила Володина мама. – Я бы ни за что не смогла. Получилось это у вас?

–Получилось, – коротко сказала Антонина Алексевна, и лицо её стало печальным и хмурым. Она вдруг быстро сказала Володе:

– А ну-ка, сходу ещё дразнилочку, брат.

И Володя выпалил сходу:

– Борис, председатель дохлых крыс. Можно такую?

– Можно! – обрадовалась Антонина Алексевна. – Это же уму непостижимо, сколько председателей развелось. Трое вахтеров соберутся, когда кому дежурить, тут же выбирают председателя. У всех они есть, как же дохлым крысам-то без председателя? – Она внятно, с выражением произнесла: – Председатель дохлых крыс! Прекрасно.

Похоже было, что мама восторгов Антонины Алексевны не разделяет. Она сдержанно сказала, что Володе давно пора спать. Тем более, что ночью, по всей вероятности, им придется спускаться в убежище. Но Володя категорически отказался спать. Он совсем, ни капельки не хочет спать, он очень просит разрешить ему немножко почитать.

– Может, в бомбоубежище заранее спустимся? – спросила мама, явно убежденная, что никто туда сейчас не пойдет.

– Что же тебе почитать? – бормотала Антонина Алексевна, оглядывая полки. – Вкусы твои не мешает выяснить...

Вкусы она выяснила в темпе. Сказки. Только сказки. Самые любимые из всех – Андерсен и «Буратино». И еще «Конек-Горбунок». А совсем уж самые любимые – «Гадкий утёнок» и «Ёлка».

– Такой, значит, набор, – задумчиво произнесла она. – Такой, значит, мальчик. Ну что ж, дай тебе Бог, как говорили в дореволюционные времена. Эта пойдет, как по-вашему? – спросила она, быстро сняв с полки какую-то книгу и показывая ее маме.

Мама сказала «Ой!» и на лице у нее выразилось восхищение. «У нас дома её почему-то нет, я в библиотеке собиралась взять».

Володя с сомнением рассматривал скучного вида книжку в зелёненьком картонном переплете. Он сел к столу, и Антонина Алексевна зажгла единственную не чудную лампу – как у всех, под оранжевым абажуром.

Мама сходила на кухню сполоснуть тарелки, потом женщины устроились на диванчике и тихо разговаривали. А Володи давно уже не было здесь. Он прочел первые строчки на желтоватой страничке, и не стало этой комнаты и улицы за окном, где в любой момент могла начаться бомбежка.

Он открыл эту страничку, словно дверь открыл. И дверь захлопнулась за ним, и случилось чудо, он оказался вдруг не здесь, а там. Где там? В сказке? Нет, это не сказка. Володя знает: сказки бывают в городе, во дворце, даже в лесу, но не в джунглях. И те, кто там живут, в этих джунглях, не животные и не звери, а жители джунглей. Назвать кого-нибудь из них животным неправильно, просто смешно. Затаив дыхание и широко раскрыв глаза, Володя впитывал каждую строчку.

Его укладывали на постель, подсунули под голову подушку. «Вмиг сварился. Неудивительно. Такой денёк», – услыхал он и совсем уж провалился в сон.

Спал он крепко. Он слышал, всю ночь слышал оглушительные разрывы бомб, но он слышал их сквозь сон. Иногда, тоже сквозь сон, он слышал голоса: «Может, отнесём в убежище? Весь дом спустился, только мы на верхнем этаже». «А кто её угадает, где она тебя настигнет? Может, как раз на лестнице». Он слышал всё: бомбёжку, голоса, но ни разу не проснулся.

Папа пришел вовсе не чем свет – все уже попили чаю с сухарями, по вкусу тоже непохожими на сухари, когда он затрезвонил в дверь. Он сиял, он столько сделал за утро, что им и не снилось.

Вещи уже у моста. Откомандирован боец, который переправит их через мост. Вот ходатайство в эвакопункт за подписью начальника штаба с просьбой оказать содействие семье командира. Боец ждёт их у моста, а Володю там же, у моста, ждет сюрприз.

Но сюрпризы начались ещё в городе. Володя на пару с Антониной Алексевной тащил её плетёную корзинку: он – за одну ручку, она – за другую.

Антонина Алексевна жилила – тянула свою ручку вверх, так что Володя не ощущал никакой тяжести, вроде бы он ничего не нёс. Чтобы получилось поровну, по справедливости, он тоже тянул ручку вверх, и Антонина Алексевна, наконец, сказала:

– Знаешь что, кончай-ка ты, братец, самоотверженно мне мешать. Дождешься, отберу корзину. Чего её мыкать?

Володя не успел ничего возразить, как она воскликнула:

– Гляди-ка, гляди, твоя подружка-гуманистка плывет. Та, что мой маршрут направляла по звездам. И не плывет даже, а прямо несёт себя. Воистину, маленькая женщина.

Антонина Алексевна вновь употребила невозможное выражение – «нести себя», и опять-таки не лишенное смысла. В том, как двигалась им навстречу девочка Аллочка, с которой Володя дружил на платформе, была какая-то особенность, к которой очень подходили слова «нести себя».

На Аллочке было незнакомое Володе белое платьице и знакомые позолоченные бусики. Девочка Аллочка несла не только себя, но и дамскую сумочку, совсем, как у взрослой, только маленького размера – в одной руке, и авоську с буханкой черного хлеба – в другой.

Она увидела Володю еще издали, и Антонину Алексевну, вдвоем с которой они «мыкали» корзину, очкастого Володиного папу с чемоданами и маму с узлом. Она с весёлым изумлением глядела на них, нагруженных и торопливых – и её тоненькие бровки поднялись высоко-высоко.

– Кого я вижу! – сказала она нараспев.

– Здорово, – буркнул Володя. – Ты чего гуляешь, будто времени вагон?

Все воспользовались передышкой и поставили на землю вещи.

– Вагон и маленькая тележка, – уточнила Аллочка. – А куда мне спешить?

Володя просто задохнулся. Ничего себе вопросик!

– Куда спешить? На мост спешить. Отсюда же нельзя уехать.

– Ни отсюда, ни оттуда, – жизнерадостно сказала Аллочка. – Ты сходи на этот мост и погляди, что там делается.

– Удивительно оптимистичная особа, – обескураженно проговорила Антонина Алексевна. И повернулась к Володиному папе. – Что там делается, Виктор Николаевич? Обстреливают мост?

– И обстреливают, и бомбят, – взахлеб тара-

торила Аллочка. – И народу – ужас. Ты к нему даже пройти не сможешь, к своему мосту.

– Так вы что, здесь остаетесь, у немцев? – ужаснулся Володя.

Аллочка пожала плечами.

– Дошло до центра, наконец. Что мы, сумасшедшие, на этот мост переться?

До Володиного «центра» доходило с трудом.

– Ну, а как же, если немцы?

– Мы одни, что ли, остаемся? Полный город людей.

– Пойдёмте, – сказал папа, поднимая с земли чемоданы. – Сколько вам лет, барышня, двенадцать, не больше?

Аллочка чуть не фыркнула ему прямо в лицо. Это ж надо такое придумать. Барышня! Её смешила вся эта компания чудаков, вся, кроме Володиной мамы. «Интересная дама», определила её еще в Конграде при посадке Аллочкина мама и пыталась поближе познакомиться с ней – «наши дети так мило сдружились» – но из попытки почему-то ничего не вышло.

Сейчас Аллочка вдруг увидела, как смотрит на неё «интересная дама», не пожелавшая дружить с её мамой, и смешливость её как рукой сняло.

– Девять, – коротко ответила она. – До свиданья.

Они молча прошли квартал. Ничего не поймешь. Хоть убей, не доходит до центра. В городе на самом деле осталось полно людей. И троюродные, и соседские, и добрая тетя Домаха, и желтоволосая Верка, несколько похожая на козу.

– Ей девять, а мне сорок девять, – сказала Антонина Алексевна. – Только эта девочка взрослей меня. Какая-то она... усложнённая.

– И устервлённая, – добавила мама.

У моста и в самом деле топталась такая толпа, что к нему, казалось, и за сутки не пробраться. Володин папа поставил чемодан на чемодан и взгромоздился на них.

– Витька! – возмутилась было мама и умолкла.

Папа внимательно оглядывал толпу. Потом сказал: «Вот он!» и слез с чемоданов. «От меня не отставать», – непривычно строгим голосом распорядился он. И стал двигаться сквозь толпу, повторяя этим новым строгим голосом: «Разрешите», «Позвольте пройти». По очень узенькой и непрямой дорожке они довольно быстро пробились сквозь всю эту массу людей почти к самому мосту.

А там уж был сюрприз из сюрпризов. Телега с настоящей лошадью. И правил этой лошадью боец, которому папа вручил ходатайство из штаба и сказал: «Я на вас очень надеюсь, Лагутин». «Будьте спокойны, товарищ лейтенант», – слегка окая, ответил боец Лагутин. Он был худенький, с голубыми глазами. Даже Володя, никогда не понимавший, как это взрослые делятся на пожилых и молодых, понял, что боец Лагутин молодой.

Примерно через час они были уже на мосту. В самом-самом его начале. Ухали и свистели снаряды, но не долетали до моста. Степан Сергеевич – так звали молодого бойца, потолковав с Володей о разных разностях, рассказывал ему сказку. Мама тоже рассказывала Антонине Алексевне – только не сказку, а быль – как её исключили из комсомола. Володя слышал эту историю несколько раз.

Лошадь Ромашка перебирала ногами и, казалось, она совсем не продвигается вперед. Немного впереди виднелась черная «эмка» и, казалось, она неподвижно стоит в толпе. Слышалось сплошное шарканье подошв. Мост был плотно забит людьми, так плотно, что хотя они всё время шаркали ногами, казалось, что никто не продвигается вперед – ни идущие пешком люди, ни телега, ни черная «эмка».

Рядом с телегой шли две женщины: худенькая старушка, каких обычно называют «божий одуванчик», и одуванчикова дочь, толстая, с толстой косой, видно, тоже старая, хотя и не седая.

Старушка оперлась рукой на край телеги и посмотрела на Володину маму. Мама покивала головой, мол, опирайтесь на здоровье. «Ой, этот Антон, ой, этот Антон, – бормотала старуха и смотрела с жалостью на дочь, – погубил он бедную девочку».

– Так за что ж вас на ячейку вызывали, за то, что записочки про кавалеров писали? – спросила Антонина Алексевна.

Справа от телеги шло двое мужчин: один – седой и смуглый, с черными глазами – прихрамывал, опираясь на палку, второй был смешной – маленький, лысый, в очках с толстыми стеклами.

Поющими еврейскими голосами мужчины разговаривали про кино. «Ты «Веселые ребята» видел? Вот Крючков жизни дает!»

Степан Сергеевич закончил сказку и таинственным голосом произнес: «А теперь я тебе знаешь про кого расскажу?» Володя глянул на него виновато и сказал: «Извините, пожалуйста, можно немножко потом?»

Люди, шаркавшие по мосту ногами, как по команде, задрали головы и смотрели на небо. «Наши. Наши. Ястребки», – шелестело в толпе.

– Прикрывают нас, как вы считаете, товарищ Лагутин? – окликнула ездового Антонина Алексевна. Володя уже выяснил, что в своей временной сегодняшней должности Степан Сергеевич называется ездовой.

– Похоже, так, – отозвался Лагутин. – Надо же народ оборонить.

И стало жарко от страха. Снаряды выли и плюхались в воду по обе стороны моста, то недолёт, то перелёт. Но, наверно, всё-таки не из-за них вдруг появились над мостом истребители. Не из-за них бредущие понуро люди задирают головы и смотрят в небо. Будет ещё что-то, от чего их собираются оборонить.

А всё же, если смотреть на перила, видно – есть движение. Вон та доска с жирным черным пятном была впереди, а теперь она сзади.

Высокая худая женщина, хмуро глядевшая на небо, вдруг опустила голову и вскрикнула. Она метнулась туда-сюда в плотной толпе, и её хмурые глаза стали испуганными и тоже заметались. А потом она вытащила из-под чьих-то ног стриженного под машинку, совсем мелкого мальчишку. «Дима, лихо ты мое! До чего же настырный ребенок!»

– Дайте этого настырного сюда! – строгим голосом сказала мама. – Он тут тихо будет сидеть.

Мелкаш и правда присмирел, перебираясь на телегу. «Спасибо вам, – сказала его мама. – Вы не представляете, какой это настырный ребенок. Сладу нет!»

Старушка-одуванчик вздыхала, опираясь на бортик: «Ой, этот Антон, ой, этот Антон!» Бедная девочка, её толстая дочка, теперь тоже держалась рукой за телегу и тёрла клетчатым носовым платочком глаза.

И вот тут-то он раздался, знакомый вчерашний гул.

Володя поднял голову и увидел, как засуетились в небе «ястребки», как, постепенно делаясь все больше, приближаются немецкие бомбардировщики. Их было три.

Володя, не отрываясь, смотрел на тот, что впереди. Вот он, большой и жуткий, словно не замечая истребителей, оказался прямо у него над головой. Володя, как когда-то в Киеве, увидел: из пуза самолета вывалилась черная бомбочка, и тут же уткнулся лицом в колени.

Бомба с воем ринулась вниз и плюхнулась в воду. Потом снова вой, и снова, и ещё. Бомбы, как какие-то железные киты, сигали в Днепр с тяжелым оглушительным всплеском, поднимая фонтаны воды. Воют бомбы, плещется вода, трещат, захлебываясь, пулеметы. А на мосту и крик, и плач. «Вот дают ястребки!» – услышал он сквозь шум голос Степана Сергеевича.

Володя не поднимал головы, он ждал: вот какая-то из них попадет в мост, и конец им всем, и Володе, и маме, и всем, кто рядом с телегой, и всем, кто далеко.

А потом шум передвинулся в сторону, Володя не сразу сообразил.

– Отогнали, слава богу, отогнали, – гомонили вокруг голоса,

Володя поднял голову. На телеге лежала старушка-одуванчик, мама шла рядом с телегой, держась рукой за бортик. Антонина Алексевна что-то доставала из своей корзины. Толстая дочка махала над старушкиным лицом своим клетчатым носовым платком.

Степан Сергеевич заметил Володин испуганный взгляд и пояснил:

– Сомлела. Бабушка твоя ей сейчас побрызгает в лицо, и будет порядок.

– Бабушкой стала на старости лет, – проворчала Антонина Алексевна.

Она плеснула в лицо старушке воды, и та сразу открыла глаза. Даже хотела сесть, но мама ей сказала: «Не поднимайтесь. Вам сейчас нельзя». И громко спросила:

– Товарищ Лагутин, выдержит Ромашка, если кто-нибудь ещё положит вещи на телегу?

Лагутин оглянулся и сказал, что много класть не следует, но места два-три потянет.

Любители кино положили на телегу один рюкзак – второй они решили нести поочередно. «Женщинам это нужнее. Они целое приданое с собой несут», – объяснил тот, что с палкой, и спросил приятеля: – ««Богатую невесту» видел? Вот Крючков жизни дает!»

– Поклоннички у Николая Крючкова, – не выдержала Антонина Алексевна. – Всюду он у них жизни дает, где отродясь не играл.

Толстая старухина дочка поставила на телегу плетёную прямоугольную корзину, похожую на сундучок. А мать настырного ребенка – хозяйственную сумку: больше в этой семье не было вещей.

Володя оглянулся. Ему казалось, прошло ужас сколько времени, но они совсем недалеко продвинулись вперед.

– Мы ещё не скоро до середины доедем? – спросил он Лагутина.

– Как скоро, так сейчас, – невразумительно ответил тот.

Володя заметил, что старухина дочка глядит на небо, и тоже поднял голову. Ястребки возвращались назад. А потом опять заявятся бомбардировщики, а до середины ещё, наверно, далеко. «Как скоро, так сейчас». Знает он эти взрослые отговорочки.

Он оглянулся. Сколько-то они проехали, но когда же будет хоть середина моста?

– Паразит! – сказала мать настырного ребенка. Все удивленно повернулись к ней. – Паразит! – повторила она. – Тут на несчастную тележку и людей, и вещей чужих навалили, а этот хоть бы раз у своей «эмки» дверь открыл. Паразит!

– Откуда вам известно, что паразит, а не

паразитка? – спросила Антонина Алексевна, просто чтобы что-то сказать, и оглянулась, в точности, как Володя.

– Ничего мне не известно, – хмуро сказала женщина и покосилась на небо. – Мне одно известно: паразиты так себя ведут.

– Не хочешь сказку, я тебе из жизни расскажу, – оживленно обратился Степан Сергеевич к Володе. – Я, когда малец был, как ты, мне отец гостинец от лисички привозил.

– Какой гостинец? – вежливо спросил Володя и оглянулся. Лучше б он не про гостинец, лучше б он сказал, скоро ли до середины моста доедут.

– Замечательный гостинец. Как приедет из лесу зимой, тут нам, ребятам, из карману – лисичкин гостинец. Хлеб мороженый.

– У вас что, хлеба не было? – спросил Володя, с тоской вглядываясь в небо.

– Комсомолка, стало быть, не может интересоваться кавалерами? – допытывалась Антонина Алексевна, повернувшись к маме, которая шла за телегой.

– Я кавалерами не интересовалась, – звонким голосом сказала мама. – Кстати, наш секретарь ячейки нас за это и не осуждал. Он сказал, каждая девушка мечтает выйти замуж, тут ничего плохого нет. – Она вдруг рассердилась. – Не мечтала я вовсе! Очень нужно было мечтать!

– Чтоб я так жил – не нужно! – подхватил черноглазый с палкой. – Это кавалерам нужно мечтать. А за что же вас всё-таки исключили?

Володя вытянул голову – где середина моста? И охота вспоминать про это исключение. Мама сказала, повернувшись к Антонине Алексевне:

– За то, что кто-то написал в одной записочке «а ля». Наш секретарь сказал, что это буржуазный пережиток.

– Вот где бдительность! – вздохнула Антонина Алексевна. – Идеолог! Вот уж кто жизни дает.

Интересно, почему Степан Сергеевич перестал его донимать рассказом про лисичкин гостинец? Может, обиделся, что Володя плохо слушал и всё время вертел головой? Но чего же обижаться – полный мост людей, и все думают про бомбёжку, и смотрят на небо, и все ждут, когда же закончится мост.

– Паразит! К нему же в эту «эмку» черт-те сколько можно вещей напихать! И люди бы не мучились, – сказала мать настырного ребенка.

Сама она настырная. Прицепилась к этой «эмке». Может быть, там раненые едут.

По правую сторону от телеги бубнили поющие голоса:

– Если ты хочешь знать, это был первый цветной фильм. Не звуковой, а цветной.

– Но ведь там говорили?

– Говорили, потому что он был звуковой. Но не первый звуковой. А цветной-таки – первый.

Антонина Алексевна сказала:

– Эрудиция завидная, но смущают некоторые неувязочки с Крючковым.

Каждый про своё, и никто про бомбежку. Но ведь смотрели только что на небо, весь мост головами вертел.

Володя посмотрел вокруг. Никто не вертит головами. Кто молчит, большинство разговаривает. Шаркают подошвы. Неужели никто не думает о бомбежке? Ясное дело: думают только о ней. Просто взрослые затеяли какую-то свою игру.

Ездовой, боец Лагутин, извелся, глядя на Володю. Мается мальчонка. Лейтенант говорил, что его сына вчера чуть не убило бомбой, а потом он ночевал в привокзальном районе, где всю ночь бомбежка и обстрел.

Вон как крутится, что твое веретено – и на людей, и на небо, и назад оглядывается, и всё спрашивает, скоро ли середина моста. Середина-то уж скоро, только что за радость, доехать бы до конца. Не про мост с ним надо говорить, его бы надо отвлечь, успокоить, а он плешь завел какую-то про мороженый хлеб.

В деревне он любил рассказывать ребятам сказки. Складно получалось. Рассказывать он умел: обстоятельно, честь по чести. Как слушали! А тут не вышло. Оплошал Лагутин.

Володя снова оглянулся и почувствовал, что ему противно. Никто не оглядывается, только он один. Все разговаривают, он молчит. Словно назло кому-то. И Степану Сергеевичу нехорошо ответил. «У вас что, хлеба не было?» Грубо ответил. Как жлоб.

Правда, они все взрослые, а он еще мальчик. Ну, а кто виноват? Настырный Дима ещё меньше, а ни к кому не пристает. Наверно, потому, что ничего не понимает. Хорошо быть маленьким. А может, наоборот, испугался? Что он там так тихо сидит за корзиной?

Володя повернулся, приподнялся, держась за корзину, и увидел: стриженый Дима со всей свойственной ему настырностью вытаскивает из корзины палочку.

– Эй, кончай это! – суровым голосом сказал Володя. – За это знаешь, как влетит? Твоя мама дерётся?

– Дерется, только не больно, – сказал Дима, отдергивая руки от корзины.

Похоже, он не мамы своей испугался, а неожиданно возникшего Володю.

– Лезь сюда, – сказал Володя. – Давай, я тебя через корзину перетащу. Тут мирово. Степан Сергеевич про лисичку расскажет. Степан Сергеевич, можно его сюда?

Дима, маленький, стриженый, пристроился между ними и смотрел счастливыми глазами на Ромашку. Володя от умиления совсем размяк. Как

хорошо, подумал он. Но тут же спохватился. Ничего себе хорошо. Вот-вот бомбить начнут.

Ромашка сильно махнула хвостом, и в тот же миг настырный Дима очень ловко ухватил её за кончик хвоста. Ухватил и сразу отпустил. Но Володя уже завёлся.

– Что ты за человек, не понимаю, – сказал он. – Хочешь, снова за корзину отправлю?

– А я буду палочки выдергивать, – строптиво ответил Дима и посмотрел на него вреднющими зелёными глазами.

– Ну и дурак. Сломаешь корзину, оттуда вещи высыплются. Не имеешь права. Корзина не твоя.

– И не твоя. Ты чего командуешь? И корзина не твоя, и телега не твоя. Тоже мне ещё хозяин! Крыса маринованная! У тебя папа лейтенант, а у меня был майор. Только его на границе убили.

Боец Лагутин Степан Сергеевич, 23-го года рождения, растерявшись, смотрел на ребят. На притихшего, красного, виноватого Володю, усиленно старающегося занять как можно меньше места. И на стриженого, ощеренного Диму. Малый был, как вылитый, сейчас похож на мать – оба дерганые, на всех кидаются.

– Вам в письме про это написали? – спросил Володя. – Полевая почта?

– Нет, мы сами видели, – ответил Дима. – Прямое попадание бомбой. Утром, когда война началась.

– На заставе, что ли, жили? – спросил Лагутин. Дима кивнул и сказал: «Ага».

– Отец – майор, выходит, начальником заставы был? Дима снова кивнул и, заикаясь, быстро проговорил:

– Он из дома сразу выбежал, а мы с мамой у окна стояли. И ничего от него не осталось, совсем ничего. – Дима сморщился, зажмурился и продолжал, уже не заикаясь: – Мама в сумочку чего-то напихала, меня на руки взяла и как побежит. – И добавил: – Мы уже два месяца эвакуируемся. Никак от немца не можем уйти.

– Нас вчера возле вокзала тоже здорово бомбили, – сказал Володя. – А я такую книжку интересную читал. Про джунгли.

– Про чего? – спросил Дима.

– Про джунгли. Это лес такой огромный, там нет людей, одни жители. Ну, волки, медведь, пантера. А разговаривают, как люди.

– Они хорошие? – спросил Дима.

– Всякие. Хороших больше. Только я её дочитать не успел. Сперва уснул, потом стали бомбить, а после сюда побежали. Я тебе начало могу рассказать.

– Как это уснул, когда такая книга? – удивился Дима. – Я целую ночь могу не спать.

– Всегда?

– Нет, во время войны. Что же ты расскажешь-то одно начало? А конец мы как узнаем?

– Я тоже не знаю конец. Потом как-нибудь прочтем.

– Ну, давай, – пожал плечами Дима и спросил Степана Сергеевича: – Товарищ боец, может, вы её читали?

– Не приходилось. Мы, видать, все трое её потом когда-нибудь прочтем. А сейчас хоть начало узнаем.

Шаркали подошвы. Перебирала ногами Ромашка. Неподвижная «эмка» чернела впереди.

Плюхались, падая в воду, снаряды. То перелёт, то недолёт.

– Вот он, белый домик – середина моста, – услышали все радостный женский голос. – Мы местные, мы всё тут знаем: как увидишь белый домик под зеленой крышей, значит, ровно середина.

Говорила это толстая женщина с толстой косой, которую Володя прозвал «бедная девочка». У них в семье все придумывали прозвища, даже бабушка, смущаясь: «Ох, скушение!»

– Ну, давай про свои джунгли, – сказал Дима, но Володя молчал. Он почувствовал, как где-то глубоко внутри шевельнулось беспокойство.

– Наконец! До середины дошли, наконец! – громко говорила женщина. – Солнце вон оно уже где... Ого! Ладно, главное, дошли до середины.

– Нно! Куда? – прикрикнул вдруг Лагутин – Ромашка, высоко поднимая ноги и встревожено вскидывая головой, норовила прибиться к самым перилам и теснила двух любителей кино. Они примолкли. И все вокруг примолкли и чего-то выжидали. А женщина говорила, громко, радостно, возбужденно.

– Когда ж вторую половину-то пройдем? До вечера хоть доберемся? Скорей бы вечер!

Володя видел: на них оглядываются идущие впереди. Он заметил: разговоры вокруг телеги затихли. И беспокойство, так противно шевельнувшееся внутри, снова шевельнулось, дольше и сильнее.

– Это сколько ж нам ещё идти? Это когда же дойдем? – Что-то неприятное слышалось в голосе женщины, неприятное, нетерпеливое, с подвывом, и Володя почувствовал, как то противное, что уже дважды шевельнулось в нём, рвётся наружу, и при мысли, что оно прорвётся, у него стали потными руки, и сделалось жарко, душно.

– Перестаньте! Хватит причитать! Что вы панику разводите? – злым голосом прикрикнула Володина мама.

А Димина добавила резко и сердито:

– Как не стыдно так себя распускать? Тут же дети!

– Дети! Я про то и говорю! Вдруг бомбежка, а

тут вам и дети, и старики, мама вон – на телеге лежит, а мосту все конца нет, проклятому! – Женщина мотала головой, коса расплелась, по плечам болтались светлые волосы. Она подняла к шее руки, словно что-то душило её, и разорвала до низу блузку. – Нет конца проклятому! Проклятому! Проклятому! – закричала она пронзительно, таким странным, страшным голосом, что Володю ожёг дикий, неслыханный ужас, и ему тоже захотелось закричать не своим голосом, вскочить, бежать. Куда бежать? Он сидел, по-прежнему не двигаясь, и сердце, словно бешеное, колотилось в горле, во всем теле.

Все теперь глядели на неё, и Ромашка норовила оглянуться, кося безумным испуганным глазом.

Очкастый уронил на землю рюкзак, его хромой приятель об него споткнулся, упал и не мог встать. Очкастый хотел ему помочь, но сзади напирали, и он тоже упал.

Лагутин, ощущая, как всё трясется в нём мелкой дрожью, чего никак нельзя было допускать, поскольку он тут среди гражданских один военный, взглянул на мальчиков – на позеленевшего Диму, у которого как-то чудно скривились губы, на Володю – у Володи были такие глаза, что Лагутин торопливо отвернулся. Что-то делать надо, подумал Лагутин, обязательно что-то надо сделать. Но что с ней сделаешь? Рот заткнуть? Арестовать? Ничего он с ней не может сделать.

Сзади жмут, двум упавшим не встать, наткнувшись на них, споткнулся кто-то третий, скоро там будет куча мала. Хорошо ещё, толпа не двигается быстро.

Впереди вдруг кто-то бросился бежать, и там сразу началась заваруха, и кого-то тоже сбили с ног. «Ужас! Ужас! Ненавижу! Проклятый!» – надрывалась женщина. Степан Сергеевич – его тоже колотила дрожь, она сейчас уже всех колотила – строгим голосом, громко и раздельно сказал:

– Гражданка! Я вам как боец Красной Армии приказываю: замолчите! Армия вас защищает: мост под охраной истребителей и зениток. Перестаньте сеять панику.

Сказать-то он все правильно сказал, но что же с ним творится – с такой силой накатила вдруг шальная мысль: сбросить к черту сапоги и в Днепр! Километр проплыть – ерунда, а убьют, так сразу.

Никуда он, конечно, не прыгнул.

– О-ой! – вопила женщина. – О-ой, ужас! Истребители, говорит, охраняют, а фриц-то прилетал! И снова прилетит! Ужас! Мост этот проклятый!

– Милая! – окликнул вдруг её ясный, бодрый, что-то доброе суливший голос. Володя его даже не узнал. – Наклонитесь-ка к вашей маме. В темпе! Быстро! – Эти последние слова Антонина Алексевна произнесла так властно, что женщина, замолкшая уже при первом слове, машинально и послушно наклонилась к лежавшей на телеге старушке.

И Володя, поразившись, как же это, когда все вокруг с ума сошли, можно говорить таким хорошим голосом, оглянулся на телегу, где сидела Антонина Алексевна и лежала седенькая голубоглазая старушка-одуванчик, к которой наклонилась её дочка. Ему плохо было видно из-за вещей. Женщина нагнулась к матери, лица старушки он не видел, а только представлял себе, а Антонина Алексевна протянула руку, словно хотела погладить старушкину дочку по растрепавшимся светлым густым волосам. «Ну, будет, будет», – говорила Антонина Алексевна, а женщина совсем уж тихим, каким-то вялым голосом отвечала ей: «Сейчас перестану. Я замолчу сейчас. Сейчас. Сейчас».

Лагутин тоже оглянулся. Он был намного выше Володи и больше разглядел.

– Гражданской войны участница – бабушка твоя? – спросил он Володю.

– Что?

– Я спрашиваю, бабушка твоя в гражданской, что ли, воевала? Именное оружие у неё?

– Да, – сказал Володя, ничего не понимая.

А женщина, уже распрямившись, шла рядом с телегой, и лицо ее было сонным, и губы еле-еле что-то шептали. И те, что шли впереди, старались на неё не оглядываться. Лагутин соскочил с телеги, сунув вожжи Володе, и побежал туда, где упали их спутники, всю дорогу толковавшие о кино. Место это, возле самых перил, оцепили, взявшись за руки, несколько женщин и высокий рябой старик. Видно было – это он организовал оцепление. Раскинув длиннющие, как грабли, руки, он страшным, грубым голосом кричал, точь-в-точь возчик на ломовых лошадей: «Стороной обходи, стороной! Стороной, говорю тебе, мать твою! Геть отсюда: сказано вам – стороной!»

Лагутин кинулся поднимать упавших. Помогать пришлось только своим, тем, кто шёл у телеги. Остальные вставали сами. У очкастого разбились очки и порезали лицо осколками. Он беспомощно махал руками, повторяя: «Минус четырнадцать, я же абсолютно ничего не вижу». А хромой лежал и не вставал. Его помяли здорово, одежда взмокла от крови. Когда Лагутин повел его к телеге, он сделал один шаг, вскрикнул и потерял сознание. Женщины молча сняли с телеги вещи и положили его на телегу. Он тяжело дышал. Близорукого с изрезанным лицом подвела к телеге девушка и сказала: «За краешек держитесь, так и дойдете. Только руку не отпускайте. А кровь скоро перестанет идти, у вас порезы неглубокие. Возьмите косынку». Она протянула ему выгоревшую крепдешиновую косыночку, и он прикладывал её все

время к лицу одной рукой, а другой держался за телегу. Он шёл рядом с приятелем, промакивая кровь с лица, а Антонина Алексевна шла с другой стороны, там, где лежала седенькая хрупкая старушка, из-за дочери которой начался переполох.

– Ну, вы довольны? – спросила старушка Антонину Алексевну. – Приятно вам, что вы так напугали своим револьвером бедную женщину? Вы получили удовольствие?

Голос её был слаб. Но сейчас, когда сняли похожую на сундучок плетеную корзину, все, кто ехал на телеге, оказались вместе, и у Володи уже не было такого чувства, что они с Лагутиным и Димой сидят по одну сторону стены, а остальные – за стеной.

Антонина Алексевна тоже отвечала тихо. Тихо, хрипло, с появившимся невесть откуда оренбургским выговором.

– Ох, мать, не растравляй, – сказала она на ты, хотя говорила «вы» даже восемнадцатилетнему Лагутину. – Не думала я, что придётся им, проклятым, ещё кого-нибудь пугать.

Но старушка не слушала.

– Это же так просто, – язвительно говорила она тихим комариным голоском. – Это же так просто напугать несчастную женщину, у которой нет никого, кроме старухи матери, полуживой старухи. Несчастную женщину, которая каким-то чудом вышла замуж в тридцать восемь лет, и не успели мы нарадоваться этому счастью, как она уже осталась без мужа, потому что весной он поехал в Киев на какие-то курсы и нашёл себе другую. Разве её трудно напугать, вы себе представляете, какие у неё нервы. Ведь её жизнь была совсем не то, что у вашей красивой дочери казачки, у которой есть и муж, и сын, и мама с револьвером, и телега, и совсем нет нервов.

– Да замолчи ты, мать, без тебя тошно. Ясное дело, жизнь у твоей дочки не мёд. Да ведь нервы-то у всех, можешь ты понять, у всех тут нервы, на чертовом этом мосту. У красноармейца, у мальчишек, у «казачки»... За что ты невзлюбила так её?

– Вас любить, наверно, надо, обожать, тех, кто револьверы к голове приставляют? И у вас, конечно, тоже нервы есть? Ваши, конечно, самые главные нервы?

– У меня, считай, их нет. От нервов моих одни шмотья остались.

– Шмотья шмотьями, а повадка такая, будто у вас не нервы, а дрит [1]. Раньше были казаки, теперь такие, как вы. – Старушка вдруг внимательно на неё посмотрела. – Кстати, откуда у кацапки казачка дочь?

«Какая я тебе, к черту, кацапка? – подумала Антонина Алексевна, – мы казаки с допетровских времен», – и сама подивилась, откуда выскочила вдруг эта неинтеллигентная мысль. В отличие от голубоглазой старушки, сохранившей память о погромах, ее мало беспокоил национальный вопрос.

– Что вы говорите, женщина, старая женщина? – с отчаяньем спросил близорукий, идущий по ту сторону телеги. – И где вы это говорите, и когда? Когда за нами по пятам идут фашисты, которые всех разделили по нациям и загоняют в гетто таких, как вы и я? Вам именно сейчас надо выяснить, кто кацап, а кто не кацап? Вот он лежит и истекает кровью, мой друг детства Гриша, и я не знаю, довезут ли его до конца моста. А если бы не эта кацапка, как вы говорите, вы представляете, что бы тут было? Растоптали только Гришу, а могли бы растоптать всех. И вашу дочку, между прочим, тоже. Я уважаю чувство матери, но сейчас оно сделало вас неразумной. Кацапка, казачка – на таком мосту это не разговор.

– Да уж, – проворчала Антонина Алексевна, – разговорчики не в духе Коминтерна. За что, спрашивается, боролись?

Но близорукий не поддержал её. Он сказал неожиданно сухо:

– Я не знаю, за что вы хотели бороться, я только вижу: вы умеете так приказать, что даже обезумевшая женщина подставляет голову под ваш револьвер и делает то, что вы велите.

– Это я умею. Да наука не в радость – я, видать, не той породы. И из револьвера этого не стреляла пятнадцать лет.

Близорукий сказал задумчиво:

– Может, вы и не той породы. Кто вас знает, какой вы породы? Я, например, вообще не представляю себе, как это взять револьвер и приставить его к голове несчастной женщины, да к тому же на глазах у её матери. Правда, в результате вы спасли всё это множество людей, а я не смог спасти и одного. – Он нагнулся к раненому и прислушался. – Плохо дышит. Ах, какой это чудесный, деликатный человек. – Он заплакал, и слёзы размочили слегка подсохшие порезы, и он снова стал промокать кровь крепдешиновой косыночкой в бурых мокрых пятнах. Он прикладывал к щекам косыночку и, плача, говорил:

– Это же такая редкая деликатность. Он всё сводил на шутку. Даже сейчас выдумал, будто женщины везут с собой приданое, и тащил этот рюкзак, а ему нельзя нести тяжелое, у него костный туберкулез, и сразу же невыносимо болит нога. Он же потому упал, что его боль измучила, а теперь так дышит... мне всё время кажется, что вот-вот он перестанет дышать.

Голубоглазая старушка поглядела на раненого и с беспокойством повернула голову туда, где сидели ездовой и мальчишки. Она сказала:

– Если, не дай бог, это случится, нельзя,

[1] Проволока (укр.)

чтобы дети узнали. Они такие нервные, всё время ссорятся – этот, с границы, и ваш внук. Папу на его глазах не убивали, но я вижу: нервный ребёнок. Даже если бабушка и мама рядом, от войны они не могут уберечь. Он был спокойный до войны? – спросила она Антонину Алексевну.

Та ответила не сразу.

– Не знаю. Думаю, не очень. Он ведь не внук мне, мы второй день знакомы, – пояснила она, помолчав. – Вот приткнулась к чужой семье и присохла. А, может, вечером в разных эшелонах поедем и кончен бал. – И добавила, понизив голос, совсем тихо: – Жуткое дело одиночество, мать. Может, я здесь больше всех могу понять, откуда у твоей дочки нервы.

Спереди доносились голоса – двое мальчишеских и юношеский, окающий:

– Как тебе рассказывать? Что ты за человек? Ты только про курочку-рябу понимаешь.

– Сам ты про курочку. Больше тебя понимаю. Крыса заморская. Как дам, так выскочит мадам.

Антонина Алексевна сказала:

– А ещё говорят: «Дам в нос и выскочит красный матрос». Отголоски гражданской войны. Спасибо за память.

Она встретила тревожный взгляд старушки. Как видно, какая-то мысль не давала ей покоя. Приподнявшись, наконец, на телеге, она спросила Антонину Алексевну, пытливо вглядываясь ей в глаза:

– Скажите, если бы она не замолчала, вы стали бы в неё стрелять?

– Только этого не хватало. С ума я, что ли, сошла, в такой обстановке палить из нагана?

– Ты, Митрий, не путай, – окая, внушал Лагутин. – Багира не волчиха. Она эта, как её, пантера.

– Хорошо служивый разговаривает с детьми, – одобрительно сказала Антонина Алексевна. – Есть подход. Ему бы догадаться не «мужское дело», так называемое, выбрать после войны, а пойти в учителя... Если живым вернется.

Старушка-божий одуванчик умиротворенно бормотала себе под нос. Ответ на мучивший её вопрос не только её успокоил, но неожиданно придал мыслям оптимистический крен: «Девочка так переменилась – помолодела, похорошела, её нельзя было узнать. Я всё плакала после того письма, но, если подумать, эти три месяца – тоже великое счастье».

Люди утомились, прошаркав полтора километра. Вошли в притихший, неразговорчивый, усталый ритм. Даже когда снова налетели «мессеры», в их части моста было намного спокойней, чем во время первой бомбежки. Волновались те, кто недавно вступил на мост. А здесь устали не только от ходьбы, устали и от беспокойства.

Лагутин, поглядывая, чтобы не свалились с телеги мальчишки – оба клевали носами – думал, что, когда вернётся с войны (а когда это будет, никому не известно, похоже, к осени не управимся, как располагали сперва), попела, по всему видать, светлая его мечта – педучилище. Война большой разор принесла и трудно будет матери с отцом учить его два года. Они и сейчас не молоденькие – он самый младший в семье. Правда, он слыхал, что в ФЗУ учат какому-то труду. Что уж там за труд? Может он и без педучилища сумеет этому труду кого-то научить.

Антонина Алексевна, стараясь не смотреть на Володину маму, думала, захочет ли ехать с ней вместе эта в общем-то добрая, но очень уж своенравная дамочка. «Небось скажет: на кой ляд она мне сдалась, старая базла, да ещё с наганом».

Володя видел сон. Тёмный подъезд в их киевском дворе. Ребята раскатнули железные ворота, и он летит на них, на тяжелых, лязгающих, железных воротах, как на паровозе летит. И вдруг, откуда ни возьмись, большой мальчик Андрей, хулиган и обидчик. «Слазь, козявка! – кричит. – Ещё раз тут увижу – убью!» Очень громко кричит, так громко, будто не он один, а много людей кричат.

Володя вздрогнул и открыл глаза. Вокруг все громко говорили. Ромашка стояла на месте. И все стояли. Ногами никто не шаркал.

– Перед концом всегда затор. Обычная вещь, – успокоил его Лагутин. – Минут через двадцать будем на твердой земле.

Ух ты, они подошли к концу моста. Вон он, берег, прямо перед глазами, домики, деревья. А солнце уже коснулось земли, значит, прорываться в эшелон им в темноте придётся. Что в эшелон придётся прорываться, Володя твердо знал. Это будет уже третий эшелон. Как-никак у него опыт.

Тот же опыт ему говорил, что в эшелон рано или поздно они прорвутся. Он устал за этот бесконечный день и мечтал, чтобы прорыв остался позади, и они все очутились наконец в вагоне. Мама поставит чемоданы, Антонина Алексевна пристроит к ним свою корзинку. Он растянется на полу и уснёт под тревожные голоса: «Почему стоим?» «Когда же отправление?» А проснётся под стук колес. «Едем», – подумает сквозь сон, перевернётся на другой бок и снова уснёт.

Инна Лиснянская

# И ВСЁ О ТЕБЕ

***

Надо же так суметь постареть –
Древо в пыли, в зелени медь.
Этот подсвечник сто лет без свечи.
Тихо. Не трогай, постой, помолчи.
Выдох трагичен, сказочен вдох –
При столкновении двух эпох.

***

Не спи, а то в итоге
Закат проспишь,
Он далее дороги
И выше крыш.
Он даже выше дыма
Из труб печных,
Румяней херувима
В местах ночных.

***

Стеклышки, обкатанные морем,
Перышки, оплаканные горем,
Вы куда направились, куда?
А летим  к просторам мы былинным,
А еще летим к бокам гусиным, –
В наши позапрошлые года.

***

Сегодня тебя поминаю
С компьютером наедине,
И все за тебя принимаю,
Чего не увижу в окне.–
И парус под ветром наклонным,
И жаждущий ночи маяк,
И пальму над самым балконом,
И сна восклицательный знак.

***

И всё для тебя,
И всё о тебе,
И в целом судьба,
И прорехи в судьбе.

Стихи написаны 31марта 2012, в годовщину смерти Семёна Липкина.

Инна Мельницкая

# ПРОСТИ МЕНЯ, ИТАЛИЯ!

(Диптих)

*Памяти Владлены Костенко,*
*и всем Альпини, уже ушедшим и*
*ещё живым,*
*а также Луиджи Марио Вигано,*
*Серджио Галло и Пино Скачча*
*посвящается*

## СЕРЕБРЯНАЯ РОЗА

С чего это всё началось? С Владлены. Вы не знали Владлены? Жаль, ах как жаль! Вот нет её – и мы все осиротели. А я, наверное, горше всех..

Не знаю, сколько ей было лет, когда мы с ней познакомились. Категория возраста к ней просто неприменима.

У неё было ясное лицо девочки-подростка, прелестное пионерское лицо, летучие пионерские волосы («Жора сам меня стрижет!»), звонкий, светлый голос, и роста она была пионерского – и вообще вся какая-то первомайская. Мне она напоминала жаворонка: такая же маленькая, такая же трепетная и тоже вся – как подарок тебе!

Вот попробуйте – представьте себе жаворонка, хоть на минутку! Как он журчит в весеннем небе – маленький, отважный, праздничный – и весь струится, трепещет короткими, словно детскими, крылышками. Он, может быть голоден, может быть, ему холодно там, в небе; может даже, он вот-вот, окоченев, упадёт камушком на землю – мне случалось в дни весенних заморозков подбирать их, замёрзших. Одних удавалось отогреть, других доводилось хоронить в саду – но пока жаворонок жив, он дарит тебе радость...

Вот такой была Владлена. Теперь вы знаете, какой она была.

Мне кажется, она меня тоже любила. То есть меня, может быть, и нет – она любила мои рассказы.

Нет, вы не думайте – она их строго любила. У неё было удивительное чувство слова, звука, интонации, и если она, просматривая текст, походя поставит на полях беглую «галочку», – можешь быть уверена: в этой строчке обязательно сидит какая-то блоха, и ты её непременно найдёшь.

Надо сказать, мы не всегда сходились в оценке. Это естественно: ведь рассказы твои и стихи – это же твои дети, и, как дети, они рождаются разными и – увы! – совсем не обязательно все умники и писаные красавцы. Но и тот, который не очень удался – он же не виноват, что таким уродился! Бывает, Оно запросилось на выход, написалось – ну, вот такое вышло! Есть такое слово украинское – «недолуге». Очень точное слово, я такого русского не знаю. Ты и раздражаешься порой, и стыдишься его немного – неловко тебе! – но ведь всё равно оно твое, родное, хоть и неудалое – вот и жалеешь его.

Бывало, спрашивают тебя, что ты написала за последнее время – покажи! И ты его украдкой в сторонку – «недолуге» же! А Владлена – цап! «А это что?» Ты мямлишь: да так, мол… « Нет-нет, давайте сюда – оно мне как раз ложится в передачу!»

Ты отдаёшь с неохотой и сомнением. Владлена делает передачу – да, я ведь и забыла сказать, что была она главным редактором отдела художественного вещания областного радио. Ну вот, делает она передачу – и так как-то подает твоего бедного детёныша, что тебе буквально обрывают телефон взволнованные слушатели, и ты вдруг понимаешь, что нечаянно сказала в нём что-то драгоценное, чего и сама не заметила – а она сразу ухватила.

Зато бывало и так: приношу я Владлене очередное детище и с тайным чувством удовлетворения кладу перед ней на стол, как курочка-несушка, только что положившая тёплое, смуглое яичко, – а она быстро пробегает текст глазами и со скучным лицом, скучным голосом говорит: « Ну да, ну да, – это как-нибудь в другой раз…» Значит, в бойко написавшемся рассказике чего-то – может быть, одной единственной нотки, слова одного, мелочи какой-то – не хватает, но без нее он не живёт. И я забираю его с досадой, и потом, с досадой перечитывая в пятый или двадцать пятый раз, вдруг отчётливо вижу, чего Владлена от меня хочет.

Помните, как у Сурикова, когда он писал «Переход Суворова через Альпы» – там у него один немолодой солдат срывается в пропасть? Так вот, не хотел он падать – и всё тут! Сто раз художник его переписывал – не падает окаянный, хоть убей!

Сидит на краю обрыва, как курица на нашесте. И тут Сурикову пришло в голову: вывернул ему локти – несуразно, неестественно – и полетел голубчик в пропасть как миленький!

Вот так – найдёшь эту мелочь, эту драгоценную нотку – и заиграет всё. А если бы не Владлена…

Так вот, полюбилась Владлене моя новелла об итальянцах – об армии Alpini, альпийских стрелков, которая в полном составе заявила, что выходит из войны, и, бросив фронт по Среднему Дону, пошла домой. Немцы жестоко наказали вчерашних союзников. Расстрелять целую армию, согласитесь, было как-то неудобно – союзники всё-таки! У них отобрали всё продовольствие, все транспортные средства – тупорылые «фиаты» и кротких ушастых мулов, отобрали оружие, и по всей оккупированной территории объявили: итальянцев на ночлег не пускать, еды им не давать – за нарушение приказа расстрел. В выборе меры наказания оккупационные власти, как известно, не затруднялись: либо повешение, либо расстрел – tertium non datur! Зимы стояли лютые – морозы до сорока градусов, вот и брели по Украине упрямые, отчаянные южане в хлипких шинелишках на рыбьем меху, обмотанные бог весть какими тряпками – и люди, ходившие на менку, рассказывали, что повсюду вдоль дорог, как мухи в молоке, темнеют на снегу трупы в зеленых итальянских шинелях. Но наши горемычные бабы, рискуя жизнью, всё-таки порой пускали бедняг ночевать и делились с ними последним куском, потому что это были уже не враги, а просто чьи-то дети, чьи-то сыновья, голодные, обмороженные, погибающие ни за что в чужом краю.

Как-то так получилось, что вроде бы до меня никто еще об этом не писал – я, оказалось, первая – и осторожное начальство сказало Владлене, что для такой передачи надо запрашивать разрешения МИДа. А кто, скажите, станет беспокоить МИД ради получасовой передачи?

Ну, поогорчались мы – и решили жить дальше. А что оставалось делать?

Прошло некоторое время, прошли некоторые передачи – и вдруг звонок! Владлена! «Немедленно несите! Сказали, можно. Сейчас можно – а вдруг опять будет нельзя?»

Я и завтракать не стала – так, глотнула чайку и побежала.

Прибежала, принесла, начитала (я всегда себя сама читаю, не люблю, чтобы другие) – полдела сделано! Теперь, говорит Владлена, надо такое предисловие сочинить, чтобы никто из наших не придрался: почему вдруг сейчас о войне? И почему об итальянцах? Тут, сами знаете, «не так паны, як паненята». У них главный принцип: лучше перебдеть, чем недобдеть – а то как бы чего не вышло! Короче, надо подумать о мотивации.

Ну что ж, будем думать!

Пошла домой. Иду и старательно думаю. Ничего в голову не приходит. Ну почему сейчас? Да потому что раньше не давали!

И тут идёт мне навстречу ветеран один знакомый – шустренький такой, ему за восемьдесят, а он как огурчик, и щечки розовые.

– Что это, – спрашивает, – Инночка, у вас вид такой озабоченный?

– Не озабоченный, – говорю, – а озадаченный. В обоих смыслах.

И объясняю ему, какая передо мной задача поставлена.

– Ну, тогда, – говорит, – считайте, что меня вам сам Бог послал.

И рассказал мне, что не так давно в город наш приезжало трое итальянцев – их в сорок третьем году спасла какая-то женщина – точь в точь как в моей новелле: полуживых пустила в хату переночевать, отогрела, накормила, и вот теперь – через сорок с лишним лет! – они приехали сюда, чтобы отыскать ее, поблагодарить, подарки привезли – а им не разрешили её разыскивать, потому что жила она в посёлке Лиман, а это вроде бы то ли за пределами дозволенной иностранцам зоны, то ли объект там какой-то стратегический. Словом, как всегда, – как бы чего не вышло!

Интурист отфутболил их в общество культурных связей с заграницей. Кончилось тем, что они оставили свои подарки в этом обществе с просьбой передать по назначению – и уехали ни с чем. Короче, надо мне идти на улицу Скрипника, в Дом Учителя, где помещается это общество, и там, на тарелочке с голубой каёмочкой, ждёт меня мотивация для нашей передачи.

Я, конечно, галопом на Скрипника, а там, оказывается, их аж два: общество культурных связей с заграницей и общество борьбы за мир и дружбу народов, или еще что-то в этом роде – прямо близнецы-братья. И оба помещаются в одном зале, только в разных углах: один стол побольше и посолидней, другой – поменьше и поскромней. И там, и там начальствуют дамы. Мне повезло: той, что посолиднее, не было – на месте оказалась та, что поскромней. Она мне всё подробно рассказала. Оказывается, итальянцев было действительно трое, двое постарше, один помладше – в войну ему было

восемнадцать. Так вот, тот, что помладше, уже пять писем прислал после отъезда: всё спрашивает, не нашли ли ту женщину. Никто её, конечно, не искал, а подарками распорядились сами – то есть та дама, что посолиднее. Подарков было два: большая шаль, изумительной красоты, и синяя бархатная шкатулка с серебряной розой. Шаль начальница куда-то пристроила, а серебряная роза осталась в обществе, как символ дружбы наших народов.

Одним словом, к тому времени, когда, наконец, явилась главная дама, я уже была во всеоружии, ибо недаром говорят: информирован – значит, вооружен.

Дама оказалась величественной пергидролевой блондинкой с пышной причёской а ля Бабетта, – правда, вышедшей из моды, но вполне соответствующей её комплекции и статусу, – и со столь же пышным именем Жанна. Я представилась ей как корреспондент областного радио и сказала, что нам стало известно всё сказанное выше, и я хотела бы узнать, что предпринято Обществом, чтобы найти упомянутую женщину и вручить ей упомянутые подарки. Дама набухла малиновым румянцем и строго-бдительно спросила, откуда у меня такие сведения, на что я, авторитетно задрав подбородок, ответила, что, согласно журналистской этике, не обязана оглашать источник информации.

Дама заёрзала на стуле, как кошка в засаде, но сдержалась и сказала, что, поскольку адресата найти не удалось, шаль вручили другой русской матери, у которой сын погиб на войне. Я поинтересовалась фамилией и местом проживания этой русской матери, и по градусу накала заподозрила, что, по всей вероятности, шаль осела в гардеробе самой начальницы – тем более, что фамилию осчастливленной она назвала после некоторого колебания.

А роза?

Розу мне показали: она была прелестна и трогательна, но больше самой розы меня потрясло приложенное к ней письмо. Оно было написано по-русски – или, вернее, писавший его думал, что пишет по-русски – и по всему периметру листа, по самому краю его, были нарисованы крохотные цветочки. От этого, честное слово, перехватывало горло! Вот оно, это письмо, – я переписала его очень старательно, со всеми его особенностями, и можете быть уверены – сохраню навсегда:

Письмо Луиджи Вигано из Милана
Русской Маме

«Спасибо тебе русская мама!
Мы не забыли твою доброту!
Ты в нас увидела своих сыновей,
истощенных от голода, изнеможденных,
страдающих, нуждающихся в помощи».
Прими эту розу
в знак благодарности
от итальянского солдата.
1943 – 1985»

ПОСВЯЩАЕТСЯ РУССКОЙ МАМЕ, КОТОРАЯ В ДАЛЁКОЙ ДЕРЕВНЕ ЛИМАН ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ОТСТУПЛЕНИЯ, СТАЛА ДЛЯ НАС, ХОТЬ И НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, МАМОЙ

Были чужеземцами, врагами против нашей воли, и, все же, сколько доброты в твоих глазах, мама!!!

Твой сын, плоть твоего тела, солдат, как и мы, защищая страну от вражеского нашествия, пропал без вести. Уже много месяцев не было от него никаких известий. Может быть погиб от вражеской пули, и все же ты по отношению к нам, несмотря на то, что мы считались вражескими захватчиками, твое сердце смогло преодолеть все барьеры, человеческое негодование, и увидела в нас несчастных сыновей другой матери, страдающей, как и Ты, по своему пропавшему сыну, чувствующей ту же самую боль.

Твои слезы слились с нашими, Ты обняла нас, как может обнимать только Мать своего собственного сына!

Накормила и приютила на ночь в той же комнате, рядом с твоими детьми, потому что в нас ты не видела чужеземных врагов, а видела сыновей, истощенных от голода, изнеможденных, страдающих, нуждающихся в помощи.

Ты, маленькая Мать неизвестной далекой деревни Лиман, которую мы трое никогда не забудем, помогла нам со всей сердечной добротой и, надеюсь, судьба вознаградила тебя, дала тебе счастье вновь обнять Твоего живого и здорового сына, о котором Ты пролила, в то далёкое время, не мало слез.

Не спросили твоего имени, Ты для нас была и останешься МАМОЙ.

Где бы Ты ни была, будь благословенна!!!

Пока я, вежливо испросив разрешения, переписывала это, дама, не скрывая раздражения, перекладывала какие-то бумаги, звонила куда-то по телефону, всячески демонстрируя занятость по меньшей мере государственной важности. Но дело надо было доводить до конца, поэтому я, поставив последний восклицательный знак и подавив волнение, снова приняла официальный вид и тон,

и заявила, что хотела бы также ознакомиться с письмами, которые приходят из Милана.

– С письмами! – высокомерно фыркнула дама. – Так они по-итальянски !

– Ничего, – небрежно обронила я, – это не проблема.

Уязвлённая дама прикусила губу: такого нахальства она не ожидала. Честно говоря, я от себя – тоже, но что поделаешь: назвался груздем – полезай в кузов! Смелость, как говорится, города берёт!

Писем было пять – по числу прошедших месяцев. Опираясь на сохранившиеся в памяти крохи французского факультатива и скудную университетскую латынь, я всё-таки кое-как их одолела. Писал их всё тот же Луиджи Вигано – и ни на одно, по-видимому, не получил ответа.

– А что вы хотите, – рванулась в контратаку дама, – в Харьковской области пять посёлков под названием Лиман, К тому же мы не знаем ни имени, ни фамилии этой женщины. Как прикажете ее искать?

– Ну, положим, вернее всего, это Лиман Змиевского района, – так они шли, – бодро возразила я, – но это не так уж важно. Можно обратиться в районные газеты, объявить в нашей передаче по областному радио, рассказать эту историю…

– Только попробуйте, – взвилась дама, – только попробуйте – и это будет ваша последняя передача! Может, эта женщина не погибающих пожалела, а сознательно оказывала содействие врагу!

Ох, определенно шаль у нее пригрелась – иначе откуда такая страстная бдительность? Ну, ладно – я сдержанно попрощалась и ушла, оставив даму в растрёпанных чувствах. Теперь, в конце концов, можно было и позавтракать.

Предисловие к новелле (вступление к передаче) я написала в тот же день, но решила не дразнить гусей – написала вполне обтекаемо. Сами подумайте: разве я могла подставить под удар моего жаворонка? Уж больно агрессивно эта дама была настроена – «не чіпай лиха», как говорится! Но для себя я составила чёткий план действий: я найду её, эту женщину! Если нет её в живых, детей её найду! И всё очень просто: этот Вигано (кстати, у него оказалось аж три имени – живут же люди!) – так вот, этот Луиджи Виктор Марио Вигано написал, что у хозяйки было четверо детей – двое сыновей и две дочери. Старший сын где-то на фронте – от него не было вестей с начала войны, а старшая дочь Дуся, двадцатилетняя красавица, перед войной была учительницей младших классов сельской школы. Мой план был прост, как дважды два: имя Евдокия не такое уж частое; надо обратиться в архивы рай- или облоно и искать учительницу младших классов по имени Евдокия, которой в то далёкое время было двадцать лет. И начинать с посёлка Лиман Змиевского района. Вот и всё.

Передача прошла с успехом и без осложнений. Грозная дама не подавала никаких признаков жизни, Владлена цвела как майская роза – и ей, и мне слушатели просто обрывали телефон. Последний звонок прозвучал вечером, с вокзала...

Звонила столичная журналистка. Имя ее было мне знакомо – назовём её Ирина: она училась в нашей школе, несколькими классами старше меня, а после школы как-то быстро продвинулась куда-то наверх по комсомольской линии

– Это твой рассказ передавали по радио?

Я подтвердила: мой.

– Целый день не могла к тебе пробиться. Успех! А ты ее разыскивать не собираешься, эту женщину?

Ну как это не собираюсь! Я чётко – и, честно говоря, не без тайной гордости – изложила свой план, на что она не менее чётко отреагировала:

– У меня через двадцать минут поезд. Ты без меня ничего не предпринимай. Я через неделю приеду, и мы ее найдём.

Признаться, меня несколько озадачили командные нотки в ее голосе – руководящий работник, понятное дело! – я хотела было сказать, что и сама справлюсь, всё продумано – но в трубке зазвучали гудки. Ну конечно: ей же на поезд!

Через неделю она приехала. План мой сработал: мы без особого труда нашли учительницу младших классов Евдокию Скубинь, а с ней и всю семью. Матери, к сожалению, уже не было в живых, но пропавшего было без вести сына она еще успела дождаться и даже успела понянчить внука. Дуся по-прежнему работала в школе. Ни она, ни младшие брат и сестра не слыхали нашей передачи, но без труда вспомнили тот далёкий зимний вечер, когда к ним в окно постучались трое – три обмороженных, оголодавших чужака в зелёных шинелях, и как мать, взглянув на младшего, всплеснула руками – ой, лышечко! – и заплакала, и кинулась в чулан за картошкой, а потом, глядя, как они, стыдясь, торопливо и жадно ели, всё вздыхала и вытирала глаза краешком платка.

Дуся дала нам две фотографии – довоенную всей семьи и послевоенную, матери с внуком на руках – и мы послали их в Милан, благо я заблаговременно списала адрес, когда читала письма. Собственно, «мы послали» звучит не совсем точно – столичная журналистка сразу

провозгласила словами Великого Комбинатора: «Командовать парадом буду я!» Ещё бы: как журналисту упустить такой сюжет! Я всё понимала и, честно говоря, испытывала некоторую ревность к ходу событий: ведь это с моей подачи, по моему плану они развивались, – но, в конце концов, какая разница, кто стоит во главе угла? Главное, что план оказался успешным – мы ее нашли! Письмо полетело в Милан, и вскоре пришёл взволнованный ответ: Луиджи, он же Виктор, он же Марио узнал на фотографиях Дусю и её мать, и непременно приедет! И не случайно – нет-нет, не случайно его спасительницу зовут так же, как его мать и как Матерь Божию – Мария! И сам он, как многие итальянцы, тоже носит это имя – это тоже не случайно! Он приедет, он должен приехать и возложить цветы на её могилу, и сказать ей все слова, которые столько лет носит в своей душе!

В большой столичной газете вышла большая волнительная статья под названием «Серебряная роза». Справедливости ради должна сказать, что в ней упоминались и я, и моя новелла, с которой всё начиналось, но, правда, только так – в качестве элементов композиции.

Прошло ещё некоторое время – и в моей квартире настоятельно зазвучал звонок междугородки. Это была Ирина, та самая журналистка: «Такого-то числа мы приезжаем. Будь готова.» Кто – мы? «Ну, как кто – я и Луиджи!». Двое других, старших, приехать уже не смогли

Ну вот – конечно, всё правильно! Разве я сумела бы так быстро добыть переводчика, вытребовать у городских властей две машины, чтобы повезти Луиджи в Лиман и организовать ему торжественную встречу в школе, где работала Дуся? И всё-таки немножко обидно, что мне было сказано: «А ты садись во вторую машину» – так, что до самого Лимана я не успела даже парой слов обменяться с гостем Он ехал в первой машине с Ириной, переводчиком и каким-то не то районным, не то городским начальством. Во второй – я, завуч лиманской школы и кто-то ещё. По дороге завуч рассказала, что незадолго до нашего приезда Дуся скоропостижно умерла, и похоронены они с матерью на разных кладбищах. Вот почему за задним стеклом идущей впереди машины маячат два огромных букета желтых роз: прежде чем заехать в посёлок, Луиджи хотел поклониться обеим могилам.

На первом кладбище, где была похоронена Мария, к могиле мы подошли все вместе, нас провела завуч, но в первые же минуты мной овладело мучительное чувство неловкости: наше присутствие здесь, при встрече этих двоих, было не просто неуместно – оно было почти кощунственно. Я невольно попятилась – вместе со мной без слов отошли и другие. Мы стояли в стороне и молча смотрели, как взволнованно и нежно немолодой, невысокий, седой человек гладил выцветшую фотографию на памятнике, как оправлял цветы на могиле и бормотал на голубином своём языке им одним понятные тихие слова. Наговорившись с Марией, он обратился к Богу. Он говорил с Ним так страстно и убедительно, прижимая руки к лацканам серого пиджака, что было ясно: Тот должен услышать его молитву!

Потихоньку, стараясь не хрустеть гравием, мы отошли к машинам, чтобы не мешать. Минут через пятнадцать Луиджи присоединился к нам. Размягчённое, помолодевшее от волнения лицо его горело пятнами румянца.

Еще одно кладбище, ещё одна могила. Ещё один букет желтых роз и долгая молитва. На этот раз мы благоразумно остались у машин: пусть поговорят наедине – им есть, что сказать друг другу. А нам было о чём подумать. Да, нам было о чём подумать и что и с чем сравнить...

Прямо с кладбища нас повезли в школу. На пороге нас встретила кучка нарядных женщин – директриса, завуч младших классов и несколько учительниц разного возраста, но удивительно похожих друг на друга праздничным – нет, парадным выражением лица. Одна из них, явно волнуясь, выступила вперёд: это была Дусина сестра Рая, самая младшая в семье, теперь уже тоже учительница. Вы бы видели Луиджи в эту минуту! Растерянно всплеснув руками, он отступил было на шаг – и бросился обнимать её, что-то восклицая и оглядываясь на нас, словно призывая нас быть свидетелями чему-то невероятному.

– Он говорит, – подсказал нам переводчик, – он говорит, что когда впервые её увидел, ей было шесть лет. Измученные, замёрзшие, они, уже без надежды, постучались в окно, где, как им показалось, в щёлочке мелькнул слабый свет. На стук чья-то маленькая рука отогнула уголок одеяла, которым было занавешено окно, и они увидели детскую головку в светлых кудряшках. Луиджи говорит, он подумал, что, наверное, уже умер и видит ангела на пороге рая.

Кто-то засмеялся, но мне почему-то не было смешно.

Нас повели в Дусин класс – так попросил Луиджи. После Дусиной смерти класс приняла Рая.

Дети во все глаза смотрели на первого в их жизни настоящего иностранца, слушали его быст-

рую, взволнованную речь, которую через пень-колоду торопливо передавал им переводчик. По команде учительницы несколько записных отличников очень громко и очень старательно продекламировали какие-то стихи, из которых гость, конечно, ничего не понял; потом ему поднесли альбом, в котором он как почётный гость должен был что-то написать им на память. Тут он совсем разволновался – он так ответственно отнёсся к этой обязанности! Весь класс, затаив дыхание, следил, как он, прикусив губу и поминутно о чем-то советуясь с переводчиком, царапал страницу непослушным пером. А потом, совсем неожиданно – для меня, во всяком случае – произошло нечто, наверное, не предусмотренное сценарием: гость водрузил на стол большую сумку, которую всё время таскал за ним переводчик – класс немедленно насторожился! – и стал раздавать детворе подарки в память о Дусе – о первой учительнице, ушедшей от них навсегда. Класс зашевелился и зажужжал, как потревоженный улей. Ещё бы – вдруг какие-то подарки, да еще заграничные! И притом разные – кому что достанется? Хотя подарок – любой – вот так, ни за что – всё равно приятно! Хотя непонятно – ну, пустили его когда-то погреться, ну, накормили картошкой – и что? Чтобы вот так, через столько лет ехать куда-то за тридевять земель, тратить кучу денег на подарки каким-то чужим детям? Зачем?

Однако постепенно на некоторых мордашках радостное оживление стало сменяться напряжённой работой мысли: почему у этого странного гостя срывается голос и дрожат губы, когда он гладит их стриженые головёнки?

У меня тоже сдавило горло и предательски защекотало в носу, и я поняла: нет, недаром этот человек – этот Человек сюда приехал! И может быть, недаром не только для себя – для нас, и для этих детей…

А потом мы сидели за столом, в той самой хате – добротно её выстроил хозяин перед тем, как ушёл на войну! – и Луиджи снова, волнуясь, вспоминал над тарелкой со стынущим винно-золотым борщом, как они шли в трескучий голубой мороз по мёртво молчащей стылой деревне. Ни голоса, ни лая собак – только хруст снега под ногами да натруженное дыхание из простуженной груди. И вдруг – щёлочка живого света в окне, как последний луч надежды… Вот в этом? Нет, в этом, наверное…

И Рая, удивляясь, подтверждает: да, в этом… Кажется, в этом.

Наш переводчик с трудом продирается сквозь путаницу их воспоминаний. Да он, оказывается, и не переводчик вовсе, а так – мелкий бизнесмен, как это модно сейчас называть. Просто отец у него был итальянец: они с матерью познакомились в Германии, куда она была угнана на работу. Отсюда имя – Марио, да кой-какое знание итальянского языка. Откуда Ирина его выудила, не знаю – всё-таки она молодец! Куда там мне до её оперативности!

На столе появляются вареники – и тут вдруг все почему-то оборачиваются ко мне. А-а, это Луиджи спросил, с чего всё началось – откуда узнали о том, что они втроём приезжали в Харьков, о шали, о серебряной розе, и как удалось разыскать Марию и Дусю.

И я рассказываю, как родилась моя невыдуманная новелла: как в далёкую, суровую, голодную зиму сорок третьего довелось мне заночевать у своей подружки. С наступлением комендантского часа, то есть после четырёх, ходить по городу не разрешалось. У подружки топилась «буржуйка», и воду они брали не из проруби – сравнительно недалеко была колонка, так что меня даже напоили чаем из вишнёвых веточек с парёнками вместо сахара. Знаете, что такое парёнки? Это харьковское изобретение. Зиму сорок первого-сорок второго фронт стоял под Роганью, в каких-то двадцати километрах, из города никого не выпускали, и свёкла в прифронтовых полях так и осталась неубранной. Потом фронт откатился, и люди, кто посмелее, стали выкапывать эту перезимовавшую свёклу. Ну, какая погнила, а какая всё-таки уцелела – так вот эту, перемёрзшую, нарезали соломкой, как для борща, и пекли, а потом с кипятком – вместо сахара…

Одним словом, почаевали мы, угрелись и собрались было уже и спать ложиться, чтобы коптилку зря не жечь – как вдруг стук в дверь. Спрашивается, кто это может быть – в такое время? А стук всё настойчивей. Немцы, что ли? Или полицаи? Этим не откроешь – сломают двери! А зима ведь – как проживёшь без дверей? Бедная тётя Шура, сама не своя от страха, открыла – а там итальянцы. Двое! Тряпками какими-то обмотаны, грязные – но карабины при них. А как увидели, что «буржуйка» топится – у них аж слёзы на глаза навернулись! Ну что с ними делать? Впустить – так за это ж расстрел. Нет – так у них же карабины! Не знаю, что уж там взяло верх – страх или жалость, только оставила их тётя Шура, и кипятку дала с парёнками – больше–то и не было ничего, и даже воды дала умыться. А потом они расстелили на полу у печки свои шинелишки и улеглись спать,

счастливые. А рано утром, ещё затемно, ушли, чтобы не накликать на нас беды. Уходя один из них поцеловал тёте Шуре руку и, сняв с себя распятие, надел тёте Шуре на шею.

Вот, собственно, и вся история. Не знаю, насколько полно Марио её перевёл, но у Луиджи навернулись слёзы. Он что-то заговорил – быстро-быстро, взволнованно, оборачиваясь то ко мне, то к переводчику, прижимая руки к груди: оказывается, он просит – он очень хочет повезти этот рассказ в Италию! Неважно, что он не может читать по-русски: там найдутся люди, знающие язык. Его обязательно переведут: это очень важно для Alpini, для тех, кто ещё жив! Его товарищи – те, что приезжали с ним, – они уже не в состоянии приехать, у самого старшего был инсульт, второй тоже болеет – но как они будут рады! Как это важно, чтобы мы – здесь – поняли их! Ведь мы наверное не знаем – а ветераны Alpini, те, что ещё живы, обратились к правительству Италии с тем, чтобы их не хоронили на общих воинских кладбищах – они не хотят лежать рядом с фашистами!

Господи, как хорошо, что я случайно прихватила с собой свою книжку! Да нет, не случайно – я её для Ирины захватила, но обойдётся Ирина, как-нибудь в другой раз подарю! Я передаю её со своего дальнего конца стола, небольшую, неказистую – и если бы вы видели, как вспыхивает, как освещается радостью его лицо! Как ребёнок, он гладит мягкую серую обложку, поднимает на меня глаза – и на секунду возникает ощущение, что мы с ним одни здесь из того страшного, того священного времени, непостижимо породнившего нас. Он что-то произносит – беззвучно, но я читаю по губам: grazia! Спасибо! И меня обдает горячей волной, как глоток церковного вина – святое причастие! Короткая пауза – словно полёт в машине времени – и вдруг Луиджи стремительно срывается с места, бежит куда-то к двери – нет, к своей сумке, приютившейся в уголке, – что-то достаёт, и оборачивается к нам, нестерпимо сияя мохнатыми глазами. В руках у него тощенькая тетрадочка – что это? Прижимая тетрадочку к груди, он обрушивает на переводчика поток счастливо взволнованных слов.

Марио-переводчик беспомощно барахтается в этой лавине, но главное мы понимаем: эта тетрадочка – ксерокопия дневника, который восемнадцатилетний солдат пытался вести в то грозное время. Тут даже есть фотография: такими она пришли домой! Он думал подарить эту тетрадочку Дусе, но теперь он дарит её мне, чтобы я донесла до людей всю правду о том, как это было.

Я смотрю на эту фотографию: три темных фигуры на тусклом сером фоне – то ли ксерокс никчемный, то ли фотография плохая; лиц не различить, но мне кажется, что это скульптурная группа – монумент под названием «Возвращение с войны»!

Ирина непроизвольно передёргивает плечами – видимо, её задело, что она вдруг оказалась не в фокусе. Голос её звучит резковато и громче, чем нужно, когда она хвалит вкусный обед и благодарит хозяйку; к ней присоединяются остальные, а я смотрю на Раечку – и мне видится детская головка в освещённом окне, какой её увидел Луиджи сорок с лишним лет назад.

Марио предлагает: он попросит мать перевести эти записи – она лучше его владеет итальянским – и тогда уже я смогу привести их в порядок. Луиджи благодарно трясёт его руку и оборачивает ко мне растроганное лицо. Я киваю: да-да, конечно, я постараюсь! Я обещаю, я сделаю всё, что смогу!

Всё, что говорится потом, как-то стирается в сознании – не то чтобы оно было незначительно, а просто оно служит фоном основному. Потом Ирина поднимается: пора возвращаться. Серебряная роза наконец обретает положенное место: Раечка любовно кладёт её на полочку перед портретом матери.

Мы выходим на темнеющую улицу, рассаживаемся по машинам, но на этот раз Луиджи просит, чтобы я ехала с ними. По дороге он рассказывает мне о своих внуках, показывает их фотографии – удивительные детские лица с прекрасными, горячими глазами – словно с картин старых итальянских мастеров. Вот этот, старший, уже хорошо играет на скрипке. Дед, оказывается, сам скрипач – вот откуда пронзительная тональность его писем!

Мы обмениваемся адресами – но я ведь не знаю итальянского!

– Ничего, – говорит Луиджи, – я выучу английский.

Марио, наш переводчик, смеётся.

Всю дорогу Ирина молча слушает наш разговор. Я рассказываю Луиджи о городе и немного – совсем немножко – о себе. На углу Совнаркомовской Ирина останавливает водителя и говорит мне:

– Выходи. Тебе ведь отсюда недалеко? Мы поедем дальше. Водителю пора возвращаться.

Я несвязно, торопливо прощаюсь и вылезаю из машины, машина трогается – но дёрнувшись останавливается снова. С коротким восклицанием Луиджи выскакивает из машины, хватает меня

за руку и двумя руками зажимает в моей ладони какой-то мягкий комок. Я не успеваю ни понять, ни сказать ничего. Ещё секунда – и, махнув мне рукой, он захлопывает за собой дверцу «Жигулей». Ариведерчи!

Я растерянно раскрываю ладонь. На ладони, в слабо пахнущем незнакомыми духами скомканном носовом платке – распятие. Строгое распятие на цепочке белого металла, ещё сохраняющее тепло другой, не моей, груди.

## СЕРЁЖА ПЕТУХОВ И МЕДАЛЬ

Нет, дневника Луиджи я так и не получила. Марио, наш волонтёр-переводчик, сказал, что мама его обещала перевести дневник недельки за две. Ну, если человек оказывает тебе любезность, неудобно наступать ему на пятки. Я позвонила в конце третьей недели. Мне ответил милый, несколько удивлённый голос:

– Как, разве Ирина вам не передала? Она всё забрала – и перевод, и сам дневник. Сказала, что вам передаст.

Ну да: «Казав пан «Кожух дам!» – та слово його тепле!»

Видно, слишком велико было искушение – ну как журналисту упустить такой сюжет!

Написать об этом Джулио у меня не хватило духу – но история на этом не кончается.

Прошло некоторое время – немалое время – и вдруг звонок из редакции местной газеты: тут, говорят, нам из гостиницы «Харьков» звонили. Приехали из Москвы какие-то итальянцы, разыскивают писательницу, которая об итальянцах писала, – вас, наверное?

Ну, говорю, может, и меня – а может, еще кто-нибудь писал, я же не знаю.

Оказывается, тележурналисты, аккредитованные в Москве, готовят материал об Альпини. Труба зовёт!

Приехала в гостиницу. Там уже полно и газетчиков, и телевизионщиков – суета! Вроде бы телемост предполагается. Не люблю я эту режиссуру: вы сядьте сюда, а вы сюда, вы спросите это, а вы скажете это – и так далее, и тому подобное. Это не по мне, мне тут делать нечего – и я потихоньку слиняла.

Но где-то недельки через две или три – звонок из «Интуриста». Это уже адресно – мне. Молодой жизнерадостный баритон отрекомендовался референтом римского журналиста Пино Скачча, аккредитованного в Москве, который в настоящее время пишет книгу об Альпини. Пино убеждён, что мы можем быть полезны друг другу – ведь я тоже о них писала. Когда мы можем встретиться?

Это уже было по-настоящему интересно! Встретились. Их оказалось трое: звонивший мне референт-москвич с бессмертным именем Борис Корнилов, сам Пино Скачча и какая-то странная фигура – русский, но из Италии, видимо, потомок белоэмигрантов, вроде бы тележурналист. Пино, в отличие от приезжавших до него телевизионщиков, скользивших по верхам, был, как говорится, «в теме». Он рассказал, что работает над книгой уже несколько лет. По числу погибших от голода и холода по дороге домой, в ту морозную зиму в снегах Украины навечно осталась целая дивизия. Отсюда и название книги. Борис затрудняется точно перевести эпитет, но не всё ли равно – «утраченная», «потерянная» или «исчезнувшая дивизия»?

Эти люди никогда не вернутся домой,– их так много, что ими можно было бы населить целый город, пусть небольшой, но ГОРОД, – а сколько людей их не дождалось? Матери, жёны, невесты, дети – это сколько же ещё городов? Я не поняла, как Пино вышел на меня – единственное, что было ясно, это то, что к нему как-то попала моя книга – та, которую я подарила Луиджи? Наверное.

Три дня мы делились друг с другом всем, что знали. Русский итальянец больше молчал и слушал, по временам украдкой вытирая глаза. Мы его понимали: у него болели две страны, две Родины! Борис, молодой парень, не знавший войны, тоже заразился нашим волнением – он с каждым днём открывал для себя что-то новое о стране, в которой родился, о людях, среди которых жил. Расставались мы трудно – как люди, случайно, при встрече, обнаружившие своё родство. На прощанье я подарила Пино свою книжку. Название – «Когда не было лета» – ему не надо было объяснять. Он дал слово, что, как только выйдет его книга, он непременно мне её пришлет – просто передаст через Бориса.

Кто же знал, что пройдёт не так много времени – и между мной и Борисом ляжет государственная граница!

Покатились обыкновенные дни, несчитанные, хлопотливые – и вдруг однажды меня оторвал от вечерней работы требовательный междугородний звонок. Звонила Москва: Борис сообщил, что Пино вернулся в Рим, что книгу свою он закончил и буквально на днях она должна выйти большим тиражом. А ещё – что моя тоже переведена на итальянский и вышла в печати,

только я не поняла, вся – или только то, что касается Альпини? Слышимость была плохая: последнее, что Борис прокричал сквозь треск и шипение, было что он снова позвонит в ближайшее время.

Оно наступило довольно скоро, это время, но ещё раньше произошло непредвиденное: в рубленой баньке, после ладного сугрева, тремя распаренными богатырями было принято судьбоносное решение, и могучая держава, за которую было пролито столько крови, в одночасье перестала существовать.

Всё смешалось, всё перепуталось: время (московское, киевское?), деньги (рубли, купоны?), почтовые марки и тарифы… Борис ещё раз прорвался по телефону: книга вышла, он успел её получить для меня – но неизвестно, как её переслать. Так и оборвалась эта ниточка. Ни адреса, ни телефона Бориса я не знала.

Общаться с Ириной я не могла – что-то внутри меня категорически этому противилось. Она, по вполне понятным причинам, мне тоже не звонила. Всё как будто замерло без движения – только совесть, как настырная, злая свекровь, всё пилила и пилила меня: ты же обещала человеку написать о нём, он ждёт – что он о тебе подумает? А я малодушно и, что греха таить, неискренне, пыталась её успокоить: а может, Ирина усовестится и пришлёт мне дневник? Или признается Луиджи, что дневник у нее и что я так его и не получила?

Так оно и тянулось – стыдно сказать, как долго.

Но однажды… Вы заметили, как оно всё у меня случается – вдруг, однажды? Так вот, однажды – как всегда, вдруг – зазвонил телефон: на этот раз Совет ветеранов. Серьёзно настроенный женский голос уточнил, что я это я, и с немотивированным вздохом облегчения сообщил, что вообще желательно, чтобы я явилась к ним, в Совет ветеранов, который находится по такому-то адресу. Зачем? Небывалая вещь: через Харьков в Россошь следует из Италии автопоезд ветеранов войны. Остановка будет в кемпинге, и Совет ветеранов Альпини просил обеспечить им встречу с вами (со мной, то есть!)

Ничего себе! Ну, ладно телевизионщики, Пино Скаччо, наконец, – но целый автопоезд? Что от меня нужно автопоезду?

Усталая немолодая женщина в Совете ветеранов коротко объясняет ситуацию: Альпини едут в Россошь, чтобы там торжественно отметить пятидесятилетний юбилей принятия решения о выходе из войны. Харьков принимает их в кемпинге. Группа наших ветеранов встречает их хлебом-солью на окружной дороге, остальные ожидают в кемпинге. Автопоезд прибывает в пять. Мне предлагается ждать в Совете – за мной пришлют машину.

Ждём. Очень долго ждём. Смеркается. До кемпинга неблизкий путь, а до пяти уже всего ничего! Наконец отчаянный звонок: сейчас за мной придёт машина! Наши старики с хлебом-солью уже который час мёрзнут на окружной! Какое-то столичное начальство задерживает автопоезд в Чутово.

Едем в кемпинг. Во дворе кемпинга, в густеющих сумерках топчется беспокойная толпа: ждут! Меня приглашают в какое-то служебное помещение. На массивном письменном столе – красивый, вкусно пахнущий большой каравай с блестящей корочкой и кокетливая, затейливой ручной резьбы, деревянная солоночка. Очень хочется есть!

Сижу, никого не знающая, не понимающая – зачем я тут? Наконец в коридоре торопливые шаги, кто-то заглядывает в комнату: едут! И тут – опять же вдруг! – по всему кемпингу гаснет свет! Ничего себе – Deus ex machina! И уже почти в темноте на территорию вползает целый поезд невиданных двухэтажных автобусов. Из автобусов высыпают говорливые, взволнованные люди. Переводчик! Где переводчик? Переводчика нет. Кто-то, пробегая мимо, сердито бросает: «Киевская переводчица где-то спряталась!» А у нас что – не нашлось?

Какое-то шевеление в толпе ветеранов. Оказывается, есть у нас один – он в своё время бежал из немецкого плена и сражался в итальянском Сопротивлении. Его извлекают из толпы, но он конфузливо кается, что то немногое, чему научился в Сопротивлении, он уже подзабыл. И тут меня запоздало осеняет: английский! Кто знает английский? Ко мне проталкивается высокий – для итальянца даже очень высокий – наверное, северянин – в тирольской шапочке с пером, и раздельно произносит: «Я – Серёжа Петухов».

Наверное, у меня вид клинического идиота, потому что он смеется и милосердно поясняет, уже по-английски: «My name is Sergio Gallo». Я знаю, что gallus – по латыни «петух», но это не слишком проясняет дело. Тогда Серджио берет меня за руки, как будто собирается проговорить детскую считалочку «энеки-бенеки ели вареники», и терпеливо внушает: он русский итальянец, или итальянский русский – об этом подробно потом – но по-русски ему трудно, а по-английски – пожалуйста. Поэтому общение можно наладить. Правда, цепочка получается сложная, но мы справимся. Он будет переводить с итальянского на английский и обратно,

а я, соответственно, с английского на русский и наоборот. Интересное кино, правда? Тем не менее всё как-то наладилось – процесс пошёл!

Вокруг нас сбилось столько народу, что я начала путаться, кому на какой язык переводить. Группка взволнованных пожилых итальянцев атаковала Серджио – что такое? Оказывается, им надо проехать в город, им очень надо проехать в город! Ведь они были здесь в то далёкое, то грозное время! Им непременно надо – но как? Действительно, как? Троллейбусы не ходят – тока нет! Кто знает, надолго ли его вырубили! Такси? Но у них нет наших денег. Скажите им, пусть утром съездят. Какое там – утром! Они в шесть утра уезжают!

Ну что с ними делать?

Седой ветеран, тяжело опираясь на палку, сердито говорит:

– Да всё это по команде из Киева: и свет вырубили, и в Чутово их задержали, Харьков им как кость в горле – мы же, видите ли, «схидняки»! А переводчица?

Видно, это один из тех, что мёрзли на окружной: ещё не оттаял!

Я не успеваю ответить: в толпе какое-то шевеление. Возникает кто-то с фонарём, кто-то окликает: «Сеньора экривана! Сеньора экривана!»

Сеньора экривана – это я. Вслед за фонарём подходит высокий, худощавый военный. Он чётко берёт под козырёк и так же чётко говорит по-английски, без тени акцента:

– Разрешите представиться: генерал Чезаре де Гато. Я – ещё молодой генерал, и не принимал участия в той войне, но мне доверили честь командовать этим автопоездом. И ещё: от Ассоциации Альпини я уполномочен поблагодарить вас и вручить вам эту медаль – юбилейную медаль Альпини – медаль, которую я сам с гордостью ношу.

Слова застревают у меня в горле, я лопочу что-то несусветное, а он протягивает мне маленький синий футлярчик и снова берёт под козырёк. Минутку мы молча смотрим друг на друга, потом он широко, совсем не официально, улыбается, говорит «Grazia!» – и наклонясь целует мне руку.

Кругом приветственно-восторженный шум, а у меня одна забота – не зареветь! Здесь, дома, меня никто из своих официально не погладил по головке – кто я? Даже не член Спилки, а тут вот – Италия, чужая страна! – и вдруг медаль! И эти, усталые после дальней дороги, чужие, для меня безъязыкие, люди улыбаются мне, гладят по рукаву, и говорят непонятные, но добрые, благодарные слова!

Я не помню, что еще говорит де Гато – я даже не знаю, как правильно пишется его имя: может быть, Дегато? Не знаю, что должна делать и говорить – я просто открываю футлярчик и почтительно целую тёмную бронзовую медаль. Толпа одобрительно шумит, и я понимаю, что сделала то, что должна была сделать, и эти люди больше мне не чужие, и никогда не будут чужими. Генерала зачем-то отзывают; жёсткая, должностного вида дама берёт меня за локоть и шершавым голосом зачем-то мне говорит: «Адреса своего никому не давайте. Если захотят написать, пусть пишут на Совет ветеранов». Я не успеваю спросить, почему.

Вот теперь Серджио объясняет мне, почему он Сережа Петухов. Очень давно, двести лет назад, из России в Италию приехала большая группа людей. Осев на чужой земле, они сохранили родные названия тех мест, из которых приехали. Деревня, из которой родом он сам, называется как-то похоже на Чарники – «Чёрненькая», что ли? За двести лет многое подверглось изменениям, но сознание того, что они должны воевать против своей бывшей родины – Drang nach Osten! – было для них трагедией и для многих одним из мотивов выхода из войны. Он, Серджио, учит русский, он может читать – правда, не очень хорошо; он и детей своих учит. Сам он не Альпини, но попросился в автопоезд водителем, чтобы побывать на этой земле, и у них – у русских! – к нам большая просьба: они пришлют нам названия своих деревень, чтобы мы определили, где это, откуда они родом! Он мечтает привезти своих детей на родину своих предков.

Я пытаюсь втолковать ему, что это почти нереально, потому что то, что было большой Россией двести лет назад, распалось на куски, и что названия сто раз менялись, – а он твердит: но ведь не все же? А вдруг какие-то сохранились!

Он так горячо меня убеждает, что мне уже самой хочется верить – а вдруг?!

Света по-прежнему нет. В темноте приезжих зовут куда-то ужинать, откуда-то снова возникает должностная дама и сердито сообщает, что меня давно уже ждёт машина и, если я не потороплюсь, мне придётся пешком добираться до центра, а люди (приезжие) из-за меня могут остаться без ужина.

Серджио отмахивается – Бог с ним, с ужином! – но дама неумолима. Он только успевает крикнуть нам вдогонку: «А куда же писать?» И я обречённо роняю: «В Совет ветеранов! Они меня найдут». Дама, толкая меня в спину,

удовлетворённо заключает: «Ну, правильно».

Уже в машине она возмущённо сообщает кому-то из сидящих: «Представляешь, трое все-таки рванули в город. Поймали какую-то машину, водителю один вместо денег часы свои отдал. А вот как они возвращаться будут?»

Вот уж, действительно, – кто это сказал – Баратынский, кажется? «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной»…

Где-то через полгода кто-то между делом мне сообщил:

– Знаешь, там в Совет ветеранов какое-то странное письмо пришло – список каких-то деревень, муть какая-то!..

– Господи, а где оно, письмо это?

– А кто ж его знает! Это давно уже было…

Так я и его не получила. Прости нас, Серёжа Петухов!

Проходит еще много времени, нескладного, тревожного, бестолкового времени – и вот, в июне – почти ко дню рождения (совпало?) – я получаю небольшой пакетик: «Просили передать». Я не стала разворачивать – не до того было! – поблагодарила, да так и принесла домой. Дома развернула – и сначала ничего не поняла: серая коробочка с надписью на четырёх языках:

AURORA

L'intramontabile mito della scrittura. The legendary tradition in writing.

Le mythe eternal de l'ecriture. El mito eterno de la escritura.

«Легендарная традиция письма». Да ещё eterno – «вечная»?

А в коробке – чёрный футляр со строгой, изящной авторучкой и самое главное – трогательный конвертик с коротеньким письмом на немыслимо корявом английском языке. Вот это письмо – я храню его с нежностью:

june 1994

Dear Inna

I remember us meet in Charkov and Liman. Again thank you for all/ Please, accept this small present, with best wishes, for to write beautiful story, for to increase love, peace, and comprehension, too among different people and nation.

Sincerely you
Mario Vigano

Не знаю, почему он подписался здесь своим третьим именем, не знаю, как передать в переводе его ошибки, но в общем на русском это выглядело бы примерно так:

июнь 1994

Дорогая Инна,

Я помню нашу встречу в Харькове и в Лимане. И снова – спасибо Вам за всё. Пожалуйста, примите этот маленький подарок с моими наилучшими пожеланиями, чтобы писать прекрасные рассказы, чтобы увеличивать (это его слово!!) любовь, мир, а также понимание между разными людьми и народами.

Искренне Ваш

Марио Вигано.

И нет обратного адреса – а Ирина говорила, что он переехал из Милана. Куда? И подписался почему-то своим третьим именем…

И как мне теперь жить и маяться, что я в долгу перед ним, перед Альпини, перед Серёжей Петуховым, и всеми сегодняшними итальянцами, чьи предки двести с лишним лет назад привезли в Италию названия родных деревень и мешочки с родной землёй? Как мне быть, скажите!

Прости меня, нет – прости н а с, Италия! Прости – и прими этот сбивчивый рассказ!

Инна Мельницкая

## СУМЕРКИ

Сумерки сгущались. Он шел по пустынной, темнеющей улице, маленький солдат могучей армии, брошенной на восток завоёвывать эту огромную, непонятную страну, с её морозами, её скверными дорогами и хмурыми, плохо одетыми людьми, которые непостижимым образом умудрились как-то затормозить блестяще начатый, победоносный блицкриг.

Как тут рано темнеет! Оказывается, можно приказным порядком установить в завоёванном крае берлинское время, но нельзя заставить солнце садиться на два часа позже, чем оно тут привыкло. Подкованные каблуки армейских сапог гулко и одиноко цокают по асфальту. Человеку, привыкшему ходить в строю, как-то неуютно шагать одному в густеющей темноте. Не то чтобы страшно, но как-то не по себе. Слева высятся безмолвные тёмные дома; справа, поодаль, бесформенно громоздятся строения безлюдной базарной площади. Эти люди – до чего неэкономно они обращаются с пространством!

Странно – кажется, чёткий звук его шагов стал как-то двоиться. Эхо, что ли? Нет, не похоже. Он что – не один в этой темноте?

И словно ответом на его мысли прозвучало:

– Verzeihen Sie, bitte, – wie spät ist es?

Вроде бы ничего необычного, ничего удивительного – он слышал от бывалых солдат, что так окликают военных женщины, предлагая себя, своё жалкое тело за буханку хлеба или пакетик маргарина ради голодного ребенка. Но голос был тревожный, отчаянный, и сам вопрос, в его прямом, дословном смысле, был как нельзя более уместен: не который час, а поздно или ещё не поздно, спрашивал этот голос. Комендантский час! После его наступления любой патруль мог без предупреждения пристрелить эту девчушку. Луч фонарика высветил огромные, испуганные глаза на бледном, худеньком лице – и он ответил: поздно! Слишком поздно, zu spät! Das ist gefährlich![1]

Ресницы беспомощно дрогнули. Ну что с ней делать, с этой дурёхой?

– Wo wohnen Sie?

Хотя какой смысл спрашивать, где она живет, если всё равно не знаешь названий этих улиц? И как её угораздило оказаться тут в такое время?

Голова, повязанная тёмным платком, поникла на тонком стебельке шеи. Ну как ему объяснишь, этому солдату, что сегодня их долго обыскивали на проходной – что-то, наверное, там случилось, – а успеешь ты дойти до дома или нет, какая им разница?

– Ладно, я провожу вас, если это не далеко – иначе вас могут пристрелить, а девушку, идущую с немецким солдатом, патруль не тронет.

Это ты – «девушка, идущая с немецким солдатом»? А что делать – ведь и правда могут пристрелить…

– Keine Angst!

«Не бойся!»... Погоди, это что же получается – вроде он тебя защищает? Он, немец? Он же враг!

– Sie haben ja eine echte Deutsche Aussprache. Wie kennen Sie Deutsch?[2]

–Это Юлия Николаевна, учительница школьная. Она в нашем доме живет.

Зачем я ему это говорю? Но ведь молча идти ещё хуже!

– Wie heißen Sie?[3]

– Лана.

– Ein schöner Name... Ist es Slavisch?[4]

– Ясное дело, славянское. Только Лана – это Kurzwort, сокращённое, а полное – Светлана. От слова «свет».

– Svjet? Was soll es bedeuten?[5]

– Свет? Ну, Licht по-вашему. Lichtlana получается. Смешно?

Скорее бы дойти! Как-то странно: разговариваешь, как с соседом по парте – а он твой враг! Похоже, он даже рад, что ты ему попалась – одному, наверное, страшнее... А может, это даже не страх, а тоскливый неуют – один, а всё кругом чужое, и он тут н е  п о  п р а в у. Да причём тут право! Они тут убивают, грабят – даже землю нашу, говорят, вывозят платформами. Может, и этот такой же – з а в о е в а т е л ь! Неужели и этот тоже? Совсем мальчишка…

Ну вот, наконец-то! Слава Богу, дома!

– Ah, so bald? Nun gut. Gute Nacht; Lana![6]

– Gute Nacht, – и, немного помедлив, – danke schön.[7]

Вот так. Как там говорила бабушка – неисповедимы пути Господни? По асфальту торопливо удаляются чёткие шаги...

И был другой день – ещё один угасающий день унылого, холодного предзимья, и так же слышались торопливые шаги: звонкие – кованых

[1] Слишком поздно. Это опасно *(нем.)*

[2] У вас прекрасное произношение. Откуда вы знаете немецкий?

[3] Как вас зовут?

[4] Красивое имя. Славянское?

[5] А что это значит?

[6] Уже – так скоро? Ну, что ж, спокойной ночи, Лана!

[7] Спокойной ночи. Большое спасибо.

каблуков и шаркающие – стёганых бурок из бурого шинельного сукна. Редкие прохожие спешили добраться домой, пока не настиг их беспощадный комендантский час.

– Fräulein! Fräulein Lana! Heute sind Sie nicht so spät – aber vielleicht brauchen Sie doch einen Begleiter?[1]

Подковки цокают уже вровень с тобой – но не рядом, а на почтительном расстоянии. Голос знакомый – голос тот же, а лицо? Лицо тогда не запомнилось – или просто не решилась тогда разглядеть? И верно – совсем мальчишка, чуть постарше тебя. И держится, как вчерашний десятиклассник, попавший на выпускной вечер в не своей школе – немножко смущён, и потому старается казаться развязным. И всё, что он говорит, понятно – недаром тебя так хвалила Юлия Николаевна!

– Просто я подумал, что вы можете опять задержаться – и вам будет страшно одной. Вдруг патруль? Нам ведь всё равно по дороге…

Ну да, ну да – но мундир на нём чужой. Мундир врага…

– Ich bin kein Nazi, Lana. Glauben Sie mir, ich möchte nicht als Soldat hier kommen.[2] Отец у меня инвалид. Он был рабочим – ему оторвало руку станком. Мама была портнихой – сейчас её мобилизовали, она шьёт форму для армии. А ещё у меня есть сестричка Лизхен, она очень плакала, когда я уходил на фронт. Им теперь без меня трудно, но что поделаешь – тотальная мобилизация!

Наверное, в казарме ему не с кем поговорить о доме – или их тут по квартирам расселяют? Тоскует, видно, – а кто их сюда звал? Всех эта война сорвала с места, перемешала… А сколько людей не вернутся домой, а сколько вернутся калеками… Вот он сейчас с тобой разговаривает – а может он уже убил кого-то? Кого-то из твоих друзей, родных – ну просто кого-то из н а ш и х? Такая сейчас у него работа – убивать. А ты идёшь с ним по улице, как ни в чём не бывало – что же это такое? Как, он сказал, его зовут? Ах, да – Мартин…

– Отчего вы молчите, Лана? Оттого что я немец?

Надо что-то сказать – что?

Выручают губы – опережая мысль, они роняют:

– Auf Wiedersehen! Мы пришли. Вот мои ворота.

Бряцает засов калитки, хрупкая фигурка тонет в проёме, и он едва успевает ответно прошелестеть вдогонку: Auf Wiedersehen...

А потом третий, четвертый и пятый день – три дня без встреч, и слава Богу: сглаживается ощущение неловкости, уходит напряжение оттого, что не знаешь, как себя вести с этим непрошеным провожатым – но вместе с тем и ещё что-то уходит… Да-да, уходит ещё что-то, потому что каждый вечер, возвращаясь домой, ты невольно прислушиваешься – не звучат ли за тобой торопливые шаги. Нет, не звучат – и хорошо, и слава Богу: так гораздо спокойнее…

Но на шестой день, подходя к дому, ты видишь у ворот две тёмные фигуры: немец и какая-то женщина. Ближе… Не может быть – Мартин и Юлия Николаевна!

И шаг навстречу:

– Lana! Gott sei Dank![3] Я так боялся, что мы с вами разминёмся! Я был в другом конце города и решил бежать прямо сюда, чтобы встретить вас у ворот. И мне так повезло: я встретил фрау Юлию! Мы говорили о вас…

Этого ещё не хватало! Но, с другой стороны, если Юлия Николаевна, твоя учительница, стоит и разговаривает с ним – значит, в этом нет ничего плохого? Он же сказал: «Ich bin kein Nazi» – хотя сказать можно что угодно… Конечно, хорошо бы, если бы это была правда. Ведь не все немцы фашисты. Но всё равно…

– Ты замёрзла? – спрашивает Юлия Ивановна. – Он давно здесь топчется, я сама уже замёрзла. Если хочешь, пойдемте ко мне.

– Darf ich?[4]– не веря своему счастью, спрашивает нежданный гость.

– Да чего уж там, пойдёмте. У меня тепло. Я кухонный стол порубила, дров ещё на завтра хватит.

Как-то это не укладывается в голове. До сих пор всё было так просто, так чётко и ясно: это – белое, это – чёрное, этот – свой, а этот – враг. А сейчас такая привычная, совсем родная Юлия Николаевна, твоя учительница, сама открывает дверь солдату вражеской армии и мирно говорит ему: «Вытирайте ноги»…

В чистенькой комнате озябшее тело сразу блаженно окутывает ощущение живого тепла, хотя дыхание всё равно повисает в воздухе клубочками пара.

– Ich bitte um Verzeihung[5], – пододвигая стулья к остывающей «буржуйке», с довоенной жеманностью говорит Юлия Ивановна, – но больше угощать вас нечем.

Господи, какое там угощение! Посиневшие пальцы жадно льнут к чугунным бокам печурки,

---

1 Сегодня вы не так поздно – но может быть вам всё-таки нужен провожатый?

2 Я не нацист, Лана. Поверьте мне, я не хотел прийти сюда солдатом.

3 Слава Богу!

4 А мне можно?

5 Я прошу прощенья,

ещё излучающей слабое тепло. Сколько поколений осчастливило и сколько ещё осчастливит, а может, и спасёт этот чудо-уродец – неуклюжее творение безымянного человеческого гения? Лане хорошо вот так сидеть, и не хочется говорить. Пускай себе говорят, а она будет молча греться у этой доброй железяки и слушать, слушать – и молчать…

– Фрау Юлия, – оттаивая, восторженно говорит Мартин, – честное слово, я не могу поверить, что вы русская. Вот закрою глаза – и кажется: это мама со мной говорит. Meine Mutti…

– Sehen Sie, – поясняет ему хозяйка, заглядывая в поддувало, – у меня в детстве бонна была, фрау Минна. Мы с сестрой погодки, она с нами каждый день два часа гуляла. Нам было сказано, что фрау Минна по-русски ни слова не понимает, так что мы должны с ней изъясняться по-немецки. Мы были добрые девочки и очень старались: бедная фрау Минна – она же ничего не понимает!

– Arme, arme Frau Minna![1]

Потом выяснилось, что она, кроме немецкого, говорит ещё и по-французски, и было решено, что мы будем с ней общаться день по-немецки, день по-французски – вроде это такая игра. Прямо скажем, это было совсем не легко, но, как уже было сказано, мы были добрые девочки и очень жалели фрау Минну. Нам очень хотелось сделать ей приятное: ведь бедная старушка ничего не понимала по-русски – прямо как в лесу! Ну вот: в результате, как видите, теперь я учительница немецкого и французского.

– И очень хорошая учительница, судя по результатам.

Это что – о тебе? Наверное…

– Знаете, результат зависит не только от учителя.

Ну, спасибо. Это уж точно в твой адрес. О чём-то они ещё говорят; почему-то Юлия Николаевна вдруг вспоминает: «Ich weiß nicht was soll es bedeuten, Das ich so traurich bin...»[2]

Мартин мотает головой: нет, нет, Гейне они не проходили, Гейне вообще запрещён, его книги жгли... Похоже, что Юлия Николаевна хочет вступиться за Гейне, но Мартин встаёт и виновато бормочет: «Schade sehr, aber ich muß schon Abshied nehmen... Darf ich Sie noch mal besuchen?»[3]

И Юлия Николаевне отвечает светски-беспечным тоном:

– Warum denn nicht? Почему бы и нет?

Тщательно – чтобы не выпустить тепло – затворяя за собой дверь, Мартин уходит, и глядя ему вслед, учительница задумчиво говорит:

– Славный мальчик, – как будто это в её класс пришел новый ученик! И добавляет, совсем неожиданно: – Бедный мальчик, как ему должно быть нелегко!

Ещё бы! Пришёл с оружием в чужую страну – убивать пришёл? Весёлое занятие! Допустим, не по своей воле – но всё равно…

Назавтра Мартин догоняет Лану с большим, очень большим свёртком под мышкой. Поймав недоуменный взгляд, он поясняет: это для Юлии Николаевны. Ein Geschenk, подарок: дрова!

Ну что ты скажешь!

Естественно, у него есть теперь повод – и разрешение! – постучаться к фрау Юлии. И снова они сидят около краснеющей «буржуйки» и говорят, говорят – как пришельцы с разных пла-нет, с осторожным, но жадным любопытством ощупывая собеседника тоненькими щупальцами вопросов. И вдруг совершенно неожиданное:

–А вы, наверное, родились беленькой, Светлана?

– ?

– «Светлана» должна быть светлой блондинкой, eine helle Blonde.

– Und sie ist ein heller Kopf[4], – вмешивается Юлия Николаевна, – цвет волос тут абсолютно ни при чем.

Мартин смеётся: он доволен, как будто это его похвалили.

Надо идти домой, но так не хочется уходить из тепла. Словно услышав её мысли, Юлия Николаевна говорит:

– Холодно у тебя? Может, останешься у меня сегодня? Как-нибудь уместимся вдвоём: я стулья подставлю…

– Нет-нет, спасибо. Мне вставать очень рано – зачем же я будить вас буду. Пойду я…

Ведь не скажешь ей, что есть очень хочется – нельзя, она последнее отдаст. Да и не решит это проблемы: не сегодня, так завтра – всё равно мёрзнуть…

Мартин напряжённо вслушивается в их непонятную русскую речь, переводя глаза с одной на другую, и Юлия Николаевна, сжалившись, коротко объясняет ему: комната у Ланы большая, угловая, и без угля её буржуйкой не нагреть. Вот Лана и ютится в маленькой конурке – но там печки нет.

– А что же будет зимой? – пугается он.

Юлия Николаевна пожимает плечами. Действительно, что будет зимой?

---

1 Бедная, бедная фрау Минна!

2 Не знаю, что сталось со мною – душа моя грустью полна… (Г. Гейне, «Лорелея», перевод В. Левика)

3 Мне очень жаль, но я должен попрощаться. Можно мне еще как-нибудь Вас навестить?

4 А у нее светлая голова.

А до зимы надо ещё дожить…

На улице холодает, и кажется, именно поэтому дни съёживаются и становятся совсем куцыми – ведь общеизвестно, что только вода от холода расширяется и увеличивается в объёме.

Давно сгорели дрова, принесённые Мартином – на сколько может хватить одной охапки? От кухонного стола остались одни воспоминания – что поделаешь? Натянув на зябнущие руки старые перчатки, с обрезанными на манер старорежимных митенок пальцами, Юлия Николаевна грустно перебирает подшивки старых журналов – надо же чем-то топить!

Стук в дверь – наверное, Лана? Так нет – ещё рано. Других соседей почти не осталось – кто же ещё? Без дела нынче люди по городу не ходят, особенно в такое время. Мартин? Один? В чём дело?

– Entschuldigen Sie, bitte, – darf ich herein? Ich möchte Sie über etwas um Rat fragen?[1]

–Да пожалуйста! Но всё-таки – was ist denn los?[2]

– Она ведь там мёрзнет – я о Лане говорю… А мне тут случайно печурка попалась маленькая – как Вы думаете, может, её Лане поставить? Как-нибудь зимой затопит печку – и вспомнит: был такой чудак, и звали его Мартин… Да-да, я понимаю: о ней могут плохо подумать. Скажут, немец к ней ходит. Но ведь если мы с вами вдвоём к ней зайдём – вы не возражаете? – если мы с вами вдвоём, никто плохого не подумает?

Нет, он таки и вправду славный мальчик.

– Вы согласны? Ну, слава Богу, – тогда можно я у Вас её подожду? Я специально вырвался пораньше, чтобы с Вами посоветоваться. Только я, с Вашего разрешения, свои железки занесу – они у меня тут, за дверью.

Маленький, необычной формы чугунок – и где только он его выкопал? О Господи, ещё и труба, и лист железа, и инструменты… Как он всё это по городу тащил – и как только его патруль не задержал! И таких вот мальчиков посылают на убой и делают из них убийц! Даже не знаешь, что хуже… Кажется, хлопнула входная дверь. А ведь волнуется парень – прямо щёки пятнами пошли!

– Фрау Юлия, объясните ей, пожалуйста, – у Вас это лучше получится.

Ну что с тобой делать!

– Ланочка, зайди ко мне, пожалуйста. Тут тебя печник дожидается!

– Кто дожидается? Печник? Какой печник? Да тут один. Заходи.

Солдатик работает быстро и споро, по-немецки аккуратно. И где только он всему этому научился? Ах да, отец ведь без руки – видно, парнишке рано пришлось быть мужчиной в доме…

Светлана, всё еще оглушённая неожиданностью, тоже молча следит за его работой, и Мартин, чувствуя внимание обеих, счастливо меняется в лице: может, в эти минуты они забывают, какой на нём мундир?

Готово! Вытирая руки платком, мастер со скромной гордостью говорит: – Gemacht![3]

И тут же огорчённо добавляет:

–Только вот чем топить будешь?

И встревоженно вскидывает ресницы: заметили или не заметили? Как приняли нечаянно проскользнувшее «ты»? Не заметили – или он заслужил это право?

Проверим тягу? Лана приносит пачку старых газет – Господи, было же такое время, когда выходили газеты! – пламя, гудя, вспыхивает в топке. Порядок! Только подкладывать нечего. Пепел разочарованно съёживается и опадает, топка темнеет. Мартин вопросительно поднимает глаза и, не дождавшись ответа, прикрывает дверцу, задвигает вьюшку и, поднимаясь, отряхивает колени и мундир.

– Молодец! – говорит Юлия Николаевна, не замечая, что говорит по-русски, и – замечая – снова повторяет: – Молодец!

Наверное, Мартин всё-таки понимает, потому что облегчённо светлеет лицом и, аккуратно собрав обрезки жести и инструменты, выпрямляется, оправляет ремень и полувопросительно произносит:

– Also – auf Wiedersehen?

– Auf Wiedersehen, besten Dank[4],– искренне откликается Светлана – и снова удивляется себе и ему.

И еще сколько-то дней – вернее, вечеров – он встречает и провожает её, и по дороге они говорят и говорят; она рассказывает, что собирает в развалинах щепки, чтобы протопить его печурку, а он рассказывает, какая смешная у него сестрёнка Лизхен, и мало ли о чём ещё они говорят по дороге, эти дети, в самом начале жизни застигнутые войной. Мало ли о чём можно говорить, когда тебе ещё так мало лет и так хочется жить, а вокруг так жестоко и несправедливо рушится мир, и люди, плохие и – что самое главное! – даже хорошие, зачем-то убивают друг друга, в то время как где-то, может быть, цветут сады, или падают яблоки, или метёт чистый и нежный белый снег: ведь земля наша устроена ласково – пусть даже природа порою бывает с тобой строга…

Они прощаются на углу: он больше не про-

[1] Извините, пожалуйста, – можно войти? Я хотел бы с Вами посоветоваться.

[2] Что случилось?

[3] Готово! Сделано!

[4] До свиданья, большое спасибо!

вожает её до самого дома, чтобы никто, не дай Бог, не подумал о ней плохо. Его Lichtlana для всех должна быть СВЕТланой! Они прощаются на углу, но он не уходит – он стоит и смотрит ей вслед, пока тёмная фигурка не скроется в проёме ворот. Оглянется или нет? Уже почти совсем темно, и он скорее угадывает, чем видит: она оглянулась!

Ощущение зыбкого – пусть непрочного, недолгого – хотя бы только на этот вечер – счастья обдаёт его теплой волной: ОНА ОГЛЯНУЛАСЬ!

Но потом – однажды – Мартин прибегает запыхавшись и сообщает: их переводят! Обстановка на фронтах лихорадочная, но если он будет жив, он обязательно найдет её. А если нет…
А если нет, вспоминай обо мне, когда будешь растапливать печку…

И трудно, преодолевая внутреннее сопротивление, выговаривает:

–Это плохая война. Мы не должны победить – это было бы несправедливо, и наверное этого не случится. Но как бы там ни было, если я буду жив, я буду тебя искать.

Лана молча кивает. Или нет – это ему показалось: она просто качает головой.

Ну да, искать – где-то, в просторах Вселенной?..

И совсем неожиданно, нелепо-отчаянный вопрос:

–Ты веришь в Бога?

И девочка, застигнутая врасплох, растерянно роняет:

–Не знаю…

И, запрокинув голову, вдруг ощущает на щеках что-то прохладное и влажное. Снежинки? Ах, да: зима… Это пришла зима.

Накатывает зима – грозная, снежная, вихревая зима сорок третьего. Анонс фильма «Падение Сталинграда», потом портреты Паулюса в траурной рамке, потом радостный, безудержно счастливый февральский рассвет и красные звёзды на ушанках солдат, три недели головокружительной голодной эйфории – и чёрное небо восьмого марта, тучи бомбардировщиков с чёрными крестами, жирная копоть пожаров – и снова виселицы… И однажды в дверь одинокой, нахолодавшей, но по-прежнему чистенькой комнатки раздается нервный, торопливый стук:

– Фрау Юлия! Da bin ich, Martin! Wo ist Lana?[1] Она жива?

Усталая, поседевшая женщина медленно отворяет дверь: ну да, это Мартин… Дождётся ли она когда-нибудь, чтобы в дверь постучался Серёжа – сын, от которого с сорок первого нет вестей?

– Лана?.. Ланы нет, – и тут же, увидев, как смертно бледнеет лицо солдата, учительница поспешно добавляет, – она ушла с медсанбатом.

С горьким облегчением вытолкнув судорожно задержанный вдох, нежданный гость обречённо говорит:

– Я знал. Я знал – она не могла иначе…

И, помолчав, твёрдо произносит:

– Das ist Schluß.[2] Мы больше не увидимся, фрау Юлия. Так оно и должно было случиться. У вас ничего не осталось, что я мог бы взять на память? Фотографии её? Писем? Тетрадки – она ведь у вас училась?

– Нет, только патефон с её любимыми пластинками. Уходя, занесла и сказала: будете слушать и вспоминать меня. Но куда же тебе пластинку? Ведь разобьётся…

– Разобьётся, – эхом повторил он – и тут только она отметила, какие горькие складки уже прорезались на обветренном мальчишеском лице.

А Серёжа? Каким он вернётся – если только вернётся?..

– Если она вернётся, скажите ей, что родители её правильно назвали: она настоящая Светлана, Lichtlana, meine helle Lana, и передайте ей – запишите, запомните: Martin Wehner, Leipzig, Keiserwilhelm Straße, sieben-und-dreißig. Martin Wehner. И ещё – могу я попросить вас? – поцелуйте её за меня. Я так и не посмел… Не говорю вам «Auf Wiedersehen!» – это нереально. Leben Sie wohl![3]

Обнял, прижался жёсткой щекой к щеке, горький, пахнущий чужими, недобрыми запахами войны. Слова, беспомощные и ненужные, застревают в горле – кто перед тобой? Враг – или неожиданно ставший почти родным человек, навсегда уходящий из твоей жизни? Сын?

Минута молчания – и солдат, отстранившись, делает шаг к двери, но на пороге оборачивается и, вздёрнув в грустной усмешке мальчишеский подбородок (а ямочка-то – как у Серёжи!), отвечая её мыслям, вскидывает сжатый кулак:

– Rot Front, Mutti! Hitler Kaput! Leben Sie wohl!

И уходит, дробно цокая каблуками по молчаливому коридору.

А седая женщина, глядя ему вслед, неожиданно для себя осеняет крестом мальчишечью спину в серо-зелёном мундире.

Ох, дети, дети! Что их ждёт впереди?

---

1 Это я, Мартин! Где Лана?

2 Это конец.

3 Прощайте, будьте здоровы!

Рита Александрович

# МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО НЕ СО МНОЙ

***

Моим родным из Староконстантинова,
Чья память возрастом ещё не запорошена,
Кто ясно помнит платьице в горошину,
Пальто тяжёлое с подкладкою ватиновой,
«Рашель» с пуховкой, «Шипра» терпкий запах,
На полочке – коробочку «Кармен»,
И «Три медведя» на массивных лапах,
Да «Незнакомку» – украшенье стен;
А на дворе – варенье в мисках медных,
Хозяйки хвалят каждая своё,
И наверху полощется под ветром
Крахмальное постельное бельё.
Моим родным, кто в век их беспокойный
Сполна узнали, что такое страх,
Прошли через репрессии и войны,
Сидели в гетто и концлагерях,
А возвратясь домой на пепелище,
Вновь раздували стылые углú
И как-то жили, весело и нище,
И выживали тоже, как могли.
И до тех пор, покуда это помню,
Неважно нам, в какой сейчас стране,
Моих евреев местечковых корни
Живут во мне.

***

Моей жизни запутанных ниток клубок... Я смотрю не вперёд, не назад и не вбок: жалко выбросить – глупо хранить. Но стираю я морось с увядшей щеки, и вяжу на прогнивших местах узелки, и тяну пожелтевшую нить...

## ШВЕЯ

Глаза от старости опухли,
Им нет покоя.
Латаю жизнь свою на кухне
Иглой тупою.
Латаю жизнь свою ночами,
А оглянуться –
Опять прореху замечаю,
И нитки рвутся.
Давно пошла бы спать, отчаясь,
Швея херова,
Но от бессилия качаясь,
Латаю снова.

***

Маршрут несложен: понедельник – пятница; трамвай, работа, магазин и дом. И прошлое назад тихонько пятится, и помнится вчерашнее с трудом. Нет ничего грустней и бесполезней недоуменья на чужом лице, когда стихи – история болезни с расплывчатым диагнозом в конце.

***

*Бене*

Стирая грань
Между реальностью и снами,
Я слышу голос мужа: «Не гневи:
Всё будет хорошо,
Только не с нами.
Прими это как данность –
И живи».

Когда покой
Сметается смятеньем,
И трудно удержаться на плаву,
Я слышу рядом
Мудрый голос Бени:
«Прими это как данность».
И – живу.

***

Утро выглядит так,
Словно ночь простояло на улице;
Не дождавшись рассвета,
Заглянуло угрюмо в мой дом:
Чёрно-белый пейзаж
За немытыми окнами хмурится,
Где горой унитаз
С изваяньем печальным на нём.

***

Тогда был март, на этот март похожий. Густел туман, и полночь тихо мокла. В неё скользнул задумчивый прохожий и заглянул в разбуженные окна.
Тогда был март. Нагих ветвей рисунок под блеклым фонарём встречал рассвет – мне было хорошо, и я вписалась в сумрак, и много лет смотрела марту вслед.

## ВЕСЕННЯЯ ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ

Весна грядёт! Уйду бродить по крышам я,
Покрытым инеем ночной росы,
И голос совести,
Практически неслышимый,
Я заглушу шагами ног босых.
А поутру,
Когда весь мир непрочен,
Слезу утру
Под звонкий звук пощёчин.

***

Жизнь коротка, и буду я кратка: живи, пока тепла твоя рука, а после просто перейди в века, душой легка... Жизнь коротка – пройди не торопясь через потери, слёзы, смех и грязь, держа со мной невидимую связь издалека.

***

В этот осенний вечер месяц ползёт, увечен, словно стыдясь, что замечен, прячется между туч... Тени прохожих хмурых, листьев остатки бурых и на скамейке мокрой кем-то забытый ключ. В этот холодный вечер, в этом бледном тумане только лишь я и ветер – кажется, мир ничей. А я в нём стою посредине и сжимаю в кармане тёплой пока рукою кольцо без своих ключей...

***

Рассказ, из книги Чехова сошедший:
«Палата номер шесть» – в моём дому,
В котором всякий, раз в него вошедший,
Одновременно врач и сумасшедший...
Воистину, по Чехову живу.

***

Часы показывали пять.
В сознании моём
Стояло время, словно блядь
Под красным фонарём.
Стояло время, и рассвет
Вползал украдкой в дом,
И на подушке мятый след
Мне виделся с трудом.

Часы показывали пять
В тенях лучей косых,
А я лежала и опять
Смотрела на часы...

***

И повторялось всё, как встарь:
Я не смотрела в календарь,
Переходили ночи в дни,
А месяцы – в года.
Однажды вышла налегке
С гадальной картою в руке
И просто села в самолёт,
летящий в никуда.

Я просто сяду в самолёт,
И будет долог мой полёт:
Сквозь облака – через века
И звёздный путь...
Однажды выйду налегке
С гадальной картою в руке
И просто сяду в самолёт –
когда-нибудь.

***

Мне кажется, что это не со мной.
В бессмысленных делах и суете
Другая девочка, прожив мой путь земной,
К заветной подошла черте.

Другая женщина (а может быть, и я)
Стоит в окне, бездумна и печальна,
И где-то выпала страничка изначально
Из древней её книги бытия.

***

Становишься с годами ниже –
К земле поближе,
И чувствуешь, как старость лижет
Твои ступни;
А вот эмоции всё те же,
Хотя и реже,
И крепкий сон забвеньем смежен –
Длиннее дни.
А жизнь уходит, между прочим,
И круг порочен;

И мы давно сошли с обочин –
Мелка река,
И смотрит Бог, как строгий отчим –
Союз непрочен.
А жизнь становится короче –
Длинней строка...

## ОДА МАРАЗМУ

Как приятно качаться
Бездумно и плавно
На маразма просторах,
Ночью с мужем общаться
Активно, на равных,
Но не помнить, с которым.

Выходить по утрам,
Забывая одеться,
С безмятежной улыбкой,
Но событья мельчайшие
Раннего детства
Помнить памятью зыбкой.

И, встречая на кухне
Кота Филимона,
Улыбаться спокойно
И протягивать мясо
Ему церемонно,
Позабыв, что – покойный.

Как приятно качаться
Без мысли и воли,
Без проблем и отметин,
И качаясь, кончаться,
Чтобы не было боли,
И уйти, не заметив...

***

Дети Авеля, дети Каина! Что вы бродите неприкаянно? Что вы бродите, что вы ищете, плотью слабые, духом нищие? И творите таких же лишних – слабых духом и плотью нищих, оставляя им, вместе с отчеством, как пророчество – одиночество... Они тоже, проклятьем Боговым, повторяют судьбу убогую – неприкаянны, непокаянны, дети Авеля, дети Каина...

***

Шаббат шалом! Горит свеча,
Прошла соседка в юбке длинной,
Запел протяжно кот в гостиной
И закачался сгоряча.
Подумал грустно: почему,
Блюдя заветы и идеи,
Идут молиться иудеи,
А я, изгой, сижу в дому?!

***

Стена,
тупик,
следы и сигарета –
Как краток
мой бесхитростный сюжет!
Он мог бы поместиться
на манжетах,
Но на ночной рубашке
нет манжет.

***

Предо мною плывут чёрно-белые титры немого кино моей прожитой жизни, пустой и нехитрой, что случилась давно...

***

Давай играть, что нам с тобою восемь, и наши сны невинны и легки, а всё, что было, в сторону отбросим движением морщинистой руки. Давай-ка снова сядем мы в кружок, и чей-то голос, детски-хрипловат, мне скажет: «Рассчитаемся, дружок, а кто остался – я не виноват». Осталась я, но я не помню правил. Глаза в другую сторону косят, и кто-то подло стрелки переставил в другое время, где нам шестьдесят.

***

*Л. К.*

За зыбкой гранью бытия сидим мы рядом, ты и я, и смотрим в прошлое, как будто бы с экрана, и говорю тебе я: «Милая, как странно переплелись две жизни: здесь – моя, что воротник с давно облезшим мехом, а ты в ней – моль, прогрызшая прореху... За зыбкой гранью бытия шепчу себе две строчки из Корана, а ты – из Библии. И милая, как странно, что смысл их общий... Мы с тобой не ропщем – сидим вдвоём, дыханье затая, и смотрим в прошлое, где рядом ты да я...

## СНЫ

1

Вечер добрый, гадалка Елена!
Разгадай мои странные сны:
Запах камфары, праха и тлена
Вместо запаха пряной сосны.
И на кухне, привычно прокуренной,
Столбик пыли от сигарет;
Кто-то чёрный сидит и нахмуренный,
Завернувшись в мохеровый плед.
Смотрит пристально взглядом незрячим –
Персонаж из забытых мной снов,
А в углу кто-то серый плачет
И записку под плинтус прячет,
Хоть я знаю: записка без слов.

2

Моим фантазиям покорный, моим желанием маним, опять вернулся гость мой Чёрный, и Серый Плачущий просторный нёс плед мохеровый за ним. И было ясно изначально в пространстве замкнутой ночи, что он явился не случайно; а Серый, плачущий печально, на плинтус ставил две свечи... Проснулась: не были иль были? В углу небрежно брошен плед. На плинтусе от свечки след. Пустая кухня; столбик пыли. Так были или нет?

***

*Совместное с Е. К.*

Послушай: родственность души –
Довольно выспренняя фраза,
Но вот прилипла, как зараза,
И ты смеяться не спеши.
А суть игры давно не нова:
Используя собачий нюх,
Ты вдруг подхватываешь слово,
Не сказанное мною вслух.
Валяем стих в корявых лапах,
И жаркой капаем слюной,
Но вот поманит новый запах,
И ты помчишься вслед за мной!

***

Живу я в собственном мирке, но он так мал и неухожен, что помещается в строке, в конце которой конь стреножен, со звучным именем Пегас, не поднимает лживых глаз.

***

После многочисленных попыток
Бог создал меня себе в убыток;
Результат был тягостен и скуден...
«Ни себе, – подумал, – и ни людям».

*Л. К.*

Непредсказуемо наивны
Судьбы интриги:
Меня вела из Украины,
Тебя – из Риги.
Я шла покорно за судьбою,
Со смыслом тайным:
Чтобы мы встретились с тобою
В кафе Бруклайна.
В тебе признала бы Гомера
Я с первой встречи,
Когда б не рижская манера
И краткость речи;
А ты, не приложив усилий,
Спросила просто:
«Ну, как тебе, мой друг Вергилий,
По нраву ль Бостон?»

***

Всё чаще прячу в Стену Плача души моей прощальные записки – друзьям ушедшим, недругам и близким... Казалось, вроде виделись намедни, и даже помню, кто и что сказал – и вот уж, провожая в путь последний, иду за ними, опустив глаза.

Всё чаще прячусь в Стену Плача, где много дат и мало вех, где слышен звонкий лай собачий и беззаботный детский смех и где пишу себе записку, в которой, опустив глаза, вслед за собой – к ушедшим близким – иду назад.

Елена Катишонок

# КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ

Инна Сергеевна Усачёва любила читать вслух так же страстно, как и в школьные годы, когда она занималась художественной декламацией. Дома в письменном столе хранилась почётная грамота, вручённая ей за победу в общегородском конкурсе. Не зря учительница посоветовала читать «Песню о буревестнике», это вам не вялый Тургенев со своими стихотворениями в прозе. «Пусть сильнее грянет буря!» – звонко пожелала со сцены Инночка, и грянула буря аплодисментов.

Теперь она сама стала учительницей, преподавала русский язык и литературу и мечтала организовать кружок выразительного чтения; да хоть со своих пятиклассников и начать. Классное руководство Инночке дали полгода назад, и она исписала половину толстой тетради планами мероприятий для внеклассной работы.

– А истории чего, не будет? – послышался голос от окна.

– Не «чего», а «что», – поправила Инна Сергеевна. – Нет, истории не будет: Константин Михайлович заболел.

Шлёпнулся на пол чей-то портфель, одновременно заговорили несколько человек, послышался смех, захлопали парты, но в этот момент распахнулась дверь и вошла завуч. Она решительно протопала к задней парте, бросив на ходу: «Садитесь, ребята, садитесь», – хотя никто не успел встать.

– Истории не будет, – повторила Инночка, – и у нас есть возможность заняться внеклассным чтением. Я уверена, что эта книга вас заинтересует. Она подняла и повернула к пятиклассникам невзрачную серую обложку, на которой было написано: «Рассказы зарубежных писателей». Завуч опустила очки и прищурилась на книгу.

– А про чего рассказы?

Несколько голов повернулись к окну, кто-то хихикнул.

– Не «про чего», а «про что», Терехов, – терпеливо повторила Инна Сергеевна. – Вот я сейчас вам прочитаю, и если ты всё ещё не поймёшь, то задашь вопрос.

– И приготовь дневник, Терехов,– многообещающе добавила завуч.

Тебя не спросили, раздражённо подумала Инночка. Как-нибудь я найду со своим классом общий язык. Господи, ну разве можно так одеваться? Хуже дворничихи. Коричневая юбка, синий жакет и причёска, как у Крупской; убиться веником. Зачем она вообще припёрлась. Приветливо улыбнувшись, Инночка продолжала:

– Ребята! Вам будет интересно узнать, как живут ваши ровесники в других странах – там, где люди делятся на богатых и бедных, на белых и чёрных; где одни купаются в роскоши, а другие голодают.

Она сделала паузу. Завуч одобрительно кивнула. Девочки на передних партах внимательно рассматривали ясное Инночкино лицо, блестящую тёмную чёлку и свежий кремовый воротничок блузки. Из тех, кто сидел подальше, самые предприимчивые незаметно делали домашнее задание, время от времени посматривая на учительницу, другие тихонько перешёптывались, третьи играли в морской бой – этих можно было узнать по сосредоточенным, отчуждённым лицам.

Терехов сидел за партой один и смотрел в окно. За оградой школьного двора была столовая лётного училища. Дверь беспрерывно открывалась и закрывалась, впуская и выпуская студентов в синей форме. Здесь, в классе, ничего не было слышно снаружи, и казалось, что на улице просто выключили звук. Из задней двери столовой повалил пар и вышла толстая тётка в белом халате. Как в бане, подумал Валерка. Тётка легко выволокла огромный цинковый бидон и остановилась, скрестив руки под грудью и щурясь на солнышко. Было видно, что возвращаться на кухню ей не хочется.

– Тебе, Терехов, тоже полезно послушать, –

Инна Сергеевна положила руку Валерке на макушку и легонько повернула его голову, – а то будешь потом спрашивать, про что я читаю.

Мальчик вздрогнул от неожиданности. Сзади раздались смешки. Инна Сергеевна давно вернулась к столу, а он всё ещё чувствовал на волосах лёгкую ладонь, будто училка отвалила, а рука её осталась.

– Рассказ, который я вам прочту, называется «Красные башмачки».

Завуч кивнула. Что ж, хоть и молодая, а класс держать умеет, если этого архаровца приструнила. Одеваться могла бы поскромнее, конечно: это не дом моделей, а школа. Куда ж это годится – каблуки да костюм по фигуре, да брошка, точно на именины вырядилась! Она приспустила очки и прищурилась: нет, не брошка – ромбик университетский. Ладно; посмотрим, что там за рассказ.

...Девочка Нэнси мечтала, что мама когда-нибудь купит ей красные башмачки, которые они увидели в витрине магазина. Мать очень хотела порадовать дочку и регулярно откладывала деньги. Томительно тянулись дни ожидания, и вот наконец они робко вошли в сияющий огнями магазин. Увидев посетительниц, к ним подошёл продавец, и вскоре Нэнси уже сидела на бархатном диванчике, а продавец, встав на одно колено, надевал ей туфельки. Однако радость девочки была недолгой – башмачки оказались тесны. Продавец улыбнулся и принёс другую пару, на размер больше. Нэнси захлопала в ладоши от радости, а продавец повернулся к матери: «Вы понимаете, мэм, что вам придётся заплатить за обе пары: никто не купит туфли, которые примеряла чернокожая девочка».

В этом месте Инночка сделала паузу – так советовала преподавательница выразительного чтения. Кульминационный момент, говорила она, требует осмысления; а ты спокойно переведи дыхание и после глубокого вдоха продолжай.

Продолжение оказалось концом рассказа. Нэнси уже не радуется, и они с матерью понуро возвращаются домой с двумя нарядно упакованными коробками.

...Тётка в халате сволокла бидон по ступенькам и, схватив за одну ручку, потащила к помойке. Не дойдя до распахнутого бака, перевернула бидон и вытряхнула объедки. Потом опять взяла за одну ручку и поволокла за собой, как наказанного ребёнка. Валерка представил – как услышал – громкое и гулкое бренчание бидона по асфальту и чуть не засмеялся.

Очень выразительно читает, отметила завуч. Все как один слушали, даже Терехов. И рассказ такой подходящий выбрала; молодец.

– Теперь вы видите, ребята, – Инна Сергеевна притушила декламаторские нотки и говорила обыкновенным учительским голосом, – теперь вы видите, как жестоки нравы американского общества. У нас, в советской стране, такое невозможно даже представить. А теперь, – продолжала она, – если у вас есть вопросы – это относится и к тебе, Терехов, – давайте устроим дискуссию. Ну, кто первый?

Какие уж тут вопросы, решила Инночка. Пожалуй, ещё один рассказ успею прочесть. Посмотрев на завучиху, встретила благосклонный взгляд.

Рыженькая коротышка с первой парты прыгала от нетерпения.

– Послушаем Стеценко, – кивнула Инночка.

– А я удивляюсь, – затарахтела маленькая Стеценко, – это что же, туфли всё время стояли в витрине, пока Нэнсина мама деньги копила? Как же их не расхватали... если там все размеры были?

– Садись, Стеценко, – улыбнулась Инна Сергеевна. – В обществе потребления, ребята, магазины ломятся от товаров, да только их нелегко купить тем, кто живёт честным трудом, как мать вашей ровесницы Нэнси.

Рыжая девочка сконфузилась и покраснела. В среднем ряду поднялась рука. Это новенький, откуда-то с Кавказа, умница и круглый отличник.

– Слушаем тебя, Чануров.

– У меня вопрос, – негромко заговорил мальчик, но учительница его перебила:

– Громче, Чануров, чтобы весь класс слышал!

– У меня вопрос, – повторил смуглый паренёк, – вот там сказано, что она... мать, то есть, откладывала деньги, чтобы... ну, на туфли.

Инночка согласно кивнула.

– Так вот, – громко и чётко продолжал мальчик, – она ведь копила деньги на одну пару, а купила... то есть должна была купить, две. Получается, что она или знала, что так выйдет, или у неё было в два раза больше денег, верно?

– Ай да чучмек!.. – восхищённо протянул кто-то, но Инна Сергеевна лихорадочно ломала голову над ответом. Как же так, она ведь два раза прочитала – и не заметила подвоха? Что там, в самом деле, с деньгами? А если б и вторая пара не подошла?..

Её осенило:

– Итак, ребята, считаю дискуссию откры-

той. Все слышали Чанурова. Какие будут ответы?

Загадочный и простой вопрос Чанурова, а также слово «дискуссия» вызвали в классе оживление. Пятиклассники задвигались, и сразу несколько рук потянулись вверх.

– Говори, Никифорова!

Высокая девочка с ямочками на круглом лице заговорила, в отличие от Чанурова, быстро и сбивчиво:

– Когда в магазин зачем идёшь, то нужно побольше денег с собой, а то как же? Мало ли что выбросят – никогда не знаешь. Так и Нэнсина мама – Чанчик прав – тоже имела про запас.

Завуч насупила брови. Инна Сергеевна жестом усадила девочку.

– Кто следующий?

Желающих было так много, что все заговорили одновременно:

– И что, никакой очереди не было?..

– Как это не было? Просто очень дорого...

– Вот мы однажды в магазине зимнее пальто видели, а пока за деньгами бегали...

– …стоял на коленях, будто она сама примерить не могла...

– А другим как будто не надо?

– Ну как это без очереди?

– Продавец, наверно, тоже негр был.

– Она, может, договорилась, чтоб до получки подождали...

– Или другой цвет разобрали?

– Если б негр был, мог бы предупредить.

– Тогда зачем в витрине оставили?

– А почему она размер не спросила?

– Мне мать лыжные ботинки купила, так они вообще разных размеров: правый тридцать седьмой, а ле...

– В Америке лыжные ботинки на фиг не нужны!

– Я для примера говорю...

Странная дискуссия получалась: не друг с другом, а с автором рассказа, чтоб ему пусто было. Главное – дотянуть до звонка. Инночка скосила глаза на часы: оставалось пятнадцать минут. Надо было подлинней рассказ выбирать. «Каштанку» какую-нибудь. Никаких тебе негритянок, никаких красных башмачков.

Валерка смотрел в окно. Собака подбежала к груде столовских объедков и теперь, трясясь от жадности, хватала кусок за куском. Со стороны осторожно подошёл голубь и начал клевать крошки. Откуда-то налетели другие голуби, но псина даже головы не подняла.

С задней парты мешковато поднялась завуч, протопала по проходу и встала рядом с Инной Сергеевной.

– Я не понимаю, – сдавленным от бешенства голосом начала она, – что здесь происходит, цирковое представление или свободный урок? Вам рассказали о человеческом горе, а вы как отреагировали? С какими обывательскими, мещанскими мерками вы к нему подходите? Отличники считают деньги в чужом кармане, заработанные тяжким трудом!

Гневный взгляд остановился на Чанурове. Завуч сняла очки и продолжала:

– Через двадцать лет вы будете жить при коммунизме. Перед вами открыты все дороги – страна не жалеет для вас ничего. Природа щедро вас наградила, а вы?

Теперь она смотрела прямо на Любу Евсюкову.

Природа щедро наградила Евсюкову жидкими прямыми волосами и обильным стадом веснушек, которые весной плодились и разливались по худому треугольному личику, грозя его затопить. Это была тихая двоечница, которую из тактических соображений посадили за одну парту с Чануровым.

При чём тут природа, похолодела Инночка; она что, с неграми сравнивает?..

– Может быть, ты тоже выскажешься?

Завучиха смотрела прямо на Евсюкову. Девочка цепко держалась за край парты.

– Ну, Люба? – мягко спросила Инна Сергеевна и улыбнулась: четыре минуты до звонка.

Евсюкова с благодарностью посмотрела на учительницу:

– Мне их жалко ужасно, Нэнси и маму ейную. Потому что у нас вот тоже, когда батя купил мне сандали в том году, так не тот размер, а обратно не взяли, хоть ни разу не надёванные...

– Разве папа не знает твой размер обуви? – спросила Инна Сергеевна.

– Не-а! Он просто мимо шёл, а там сандали выбросили, и очереди почти никакой.

Терехову было видно в окно, как голуби полностью завладели объедками. Собака куда-то убежала. Студенты торопливо выскакивали из столовой и спешили через дорогу на свои лекции – сейчас должны начаться. Точно: вот и звонок.

Елена Катишонок

# УРОК МУЗЫКИ

Звонок уже был, а второй «А» всё ещё строился, чтобы идти на физкультуру. Учитель, молодцеватый парень в шерстяном тренировочном костюме, уже несколько раз подносил к губам свисток, но лениво отпускал его болтаться на шее. Он скучал. Раздражала мелюзга, бестолково дёргающая тяжелую дверь актового зала, он же спортивный. Раздражал предстоящий урок с этими недоростками, которые при команде «равняйсь!» испуганно таращились на него, вместо того чтобы повернуть головы. Он свистнул, наконец, и сам легко дёрнул дверь. Второклассники торопливо вбежали в зал и начали выстраиваться в ряд, делая «восьмёрки» и мешая друг другу. Он уже собрался захлопнуть дверь, как увидел в конце коридора неловкую, оплывшую фигуру завучихи, похожую на редьку. Чуть позади, то и дело замедляя шаг, чтоб не врезаться в спутницу, шёл высокий худощавый незнакомец в белом халате. Ага. Сейчас этот Айболит заведёт: «Скажи «а-а-а», а чтоб меня предупредить заранее?! Завучиха суетливо махала какой-то бумагой и кричала: «Ива-анкирилч! А-адну минуту!..» Физкультурник не торопился; пусть пробежится. Озабоченно поправил свисток и позволил себе слегка нахмуриться: у меня класс ждёт, что такое?

Стоявшая третьей от конца, Нелька увидела, что лицо у Кирилы стало очень гордым и слегка обиженным. За ним в зал вошли завучиха и незнакомый седоватый дядька в белом халате. Доктор? Завучиха начала говорить с Кирилой – как обычно, громко, с надрывом, двигая руками и нагибаясь вперёд – словно гребла.

Эти русские, думал врач, кивнув физкультурнику и быстро оглядев неровный ряд детишек. Нет, это в самом деле вопрос культуры. Культуры и организованности, поправил он себя. Какой идиот в их идиотском РОНО решил, что я в состоянии за один урок проверить на сколиоз сорок два ребенка?! Преподавателя, естественно, не предупредили. Печалиться он не будет, но на их идиотском педсовете скажет тронную речь – вот так, с полицейским свистком на груди, в тренировочном костюме и явится. Взглянув на непрерывно говорившую завучиху, врач увидел аляповато накрашенный рот с пузырьками слюны в уголках. Вырез шерстяного жакета слева был испачкан мелом. Это она бретельку бюстгальтера поправляет, догадался врач. Искривление позвоночника. Пора эту курицу выставить.

– Извините, – сказал он негромким баритоном, – но мне нет много времени.

Завуч перестала грести и засуетилась к выходу, обернувшись и бросив свирепый взгляд на детей. Врач говорил с акцентом, был непривычно вежлив и потому непонятен. В дверях она столкнулась с физкультурником, который быстро прошёл вперёд.

Завуч семенила на толстых каблуках по коридору, натёртому оранжевой мастикой. Упруго и бесшумно отталкиваясь резиновыми тапками от опасного пола, физкультурник стремительно удалялся. Стиляга несчастный; вот завтра и будешь вывешивать над входом праздничный транспарант. Она рванулась было вперёд, чтобы окликнуть «стилягу», но он был уже недосягаем. Ладно. Взгляд упал на школьную стенгазету: «95-я годовщина...» Молодцы, успели к 22-му апреля. А это что такое?! Подойдя вплотную, уставилась в рисунок, привычно поправив сползающую под жакетом лямку. Бессмертный профиль был старательно исполнен черной тушью. Изображать вождя, без диплома?! Художники... от слова «худо». Кто газету выпускал, шестой «б»? Она заторопилась к учительской. Нет, у них в Курске было проще. Но здесь, слава богу, тоже советская власть, нравится это каким-то латышам или не нравится. Доктор... фашист недобитый.

В актовом зале у рояля тихонько переговаривались девочки – из тех, которые время от времени приносили с собой в школу большие чёрные папки на блестящих витых шнурах. В них носили ноты. На обложках было неразборчивое, но очень красивое тиснение, словно кто-то размашисто и с нажимом расписался. Папки были одинаковые. Когда их владелицы начинали говорить между собой о музыке, их лица становились озабоченными и высокомерными. Всё это таинство называлось «ходить на музыку». Нелька на музыку никогда не ходила. Загадочную чёрную папку она увидела раскрытой только однажды, когда одна из посвящённых жаловалась другой: «У меня вот это место не получается». Для Нельки «это место» выглядело как черника, нанизанная на соломинки. Летом она сама так насаживала, только гораздо ровней.

Откуда здесь это диво, потрясённо подумал врач, увидев рояль. Могу себе представить, в каком он состоянии. У них же тут и физкультура, и пение, и танцы под луной. Варварство.

– Начнём, пожалуйста, с девочек, – произнес он негромко, вызвав легкое веселье непонятной своей вежливостью и лёгким акцентом. Он привычно построил детей спинами к себе и опытным взглядом окинул шеренгу голубых маечек и черных сатиновых трусов. Снять бы майки, так ведь замёрзнут, в зале холодно. Посмотрю по лопаткам. Быстро записал несколько фамилий и перешел к мальчикам, которые от скуки уже начали наскакивать друг на друга. Проведя всю привычную рутину поверхностного осмотра и взглянув на часы, доктор с досадой обнаружил, что осталось почти полчаса. У рояля

толпились девочки. Он подошёл и поднял крышку. Крепкая блондинка с открытым и улыбчивым лицом стояла впереди, глядя ему прямо в лицо.

– Ты умеешь играть? – спросил врач.

Дети закричали наперебой: «Да, да! Она умеет! Ещё как!» Совсем рядом с ним маленькая цыгановатая девочка (спина хорошая, сколиоза нет) произнесла тихо и восхищённо: «Таня ходит на музыку». Доктора передёрнуло: «ходит на музыку», Боженька мой. Даже своему языку научить не могут. Он придвинул круглый табурет и кивнул уверенной Тане:

– Прошу. Что ты хочешь исполнять?

Девочка, повернувшись лицом к ребятам, звонко объявила:

– «Полонессагинскава», – и тут же бойко застучала по клавишам.

Рояль был в очень хорошем состоянии, явно недавно настроен. Когда таинственное произведение отзвучало, доктор повернулся к детям и спросил:

– Кто-то хочет ещё сыграть?

С физкультурой повезло. Кирила не возвращался, завучиха тоже. Доктор был нестрашный, прививки делать не будет. Когда он открыл рояль, Нелька незаметно дотронулась до клавиши, но никакого звука не получилось. Наверно, Полонесса – дочка этого Гинского. А может, у него две дочки – Полонесса и Инесса, как та с косами из 7-го «Б»... Сначала поиграли те, кто ходит на музыку, а потом доктор ловко подкрутил стул и сам уселся за рояль: – Я вам сыграю вальс. Он называется «Сломанные сосны».

В последний раз этот вальс исполнял его крёстный на таком же рояле, у себя на даче. Крёстный не был музыкантом, но он благодарно любил и прекрасно знал музыку, великолепно исполнял и сам импровизировал. Послушав эти беспомощные экзерсисы – «Казачок», «Ригодон» какой-то и – уж извольте радоваться! – «Полонез» Огинского, доктор ощутил такую боль за прекрасный инструмент, за крёстного, за необходимость говорить на чужом языке, что не задумываясь сел играть любимый вальс. Пусть эти неразвитые одноязычные дети послушают Музыку.

Они слушали. Неразвитые одноязычные дети, со сколиозом и без, голоногие, озябшие в своих куцых майках, обступили рояль и слушали. Краем глаза врач увидел смуглый курносый профиль, плотно сжатые губы и тонкую шею, напряженно вытянутую в его сторону. Грузинка? Армянка? Кого только теперь не встретишь в этом благословенном городе... Девочка стояла в стороне, как будто боялась дотронуться до инструмента. Последний аккорд.

Неужели музыка совсем кончилась? Теперь, когда Нелька поняла, как надо играть?! Не как Таня играла и не как Нинка, хоть они и на музыку ходят. Играть надо так, как доктор: надо нажимать сразу на много клавиш, и тогда получится музыка, а не... «Полонесса» какого-то Гинского. Ведь ясно, что это «Сломанные сосны», даже если б он не сказал!

Десять минут как-то нужно убить, хоть на самодеятельность. Иначе эти маленькие дикари будут терзать инструмент. Они уже галдят и толкаются. Чёрненькая так и не двинулась. Странный ребёнок. Доктор увидел, что маленькие смуглые пальцы теребят вырез майки.

– Ты, может быть, тоже играешь на фортепьяно? – спросил он с иронической полуулыбкой. Девочка подняла глаза и тихо ответила:

–Да.

Он проделал всё то же самое: раскрутил стул, придвинул его ближе, чуть поклонился и даже шаркнул ногой, хоть никто не засмеялся. Все молчали. Доктор помог ей усесться. После этого Нелька начала играть – так же, как он: громко, не пропуская ни одной клавиши, которая казалась нужной в этот момент, торопливо хватаясь за другие и стараясь не пропустить эти черненькие. Иногда она озабоченно качала головой, иногда чуть прикрывала глаза. Очень хотелось откинуться скорбно назад, как доктор, но боялась сползти со стула. Если они засмеются, я совсем закрою глаза. Касаться пальцами клавиш было очень радостно.

Что она делает, Господи, недоумевал врач. Острые лопатки под голубой майкой ходили ходуном, тёмные локти взлетали над клавиатурой. Он чуть передвинулся. Стали видны маленькие неумелые пальцы, с отчаянием топтавшиеся по клавиатуре. Какофония была неописуемой, однако дети молчали. Доктор незаметно следил за девочкой. Полуприкрытые глаза и совершенно счастливое лицо. Такое лицо было у крёстного, когда он импровизировал. После звонка её заклюют.

После звонка он всем расскажет, что я не хожу на музыку. Он уже понял и пока что меня не выдаёт.

Звонок прозвучал так же, как последний аккорд «Сломанных сосен». Нелька взмахнула обеими руками и величаво обрушила их на клавиши, закрыв глаза. Бережно закрывая инструмент, доктор спросил:

– Что ты играла?

Голубые майки стремительно смыкались вок-руг рояля. Сползая с табурета, цыганка ответила:

–Это Пуччини, – и повернулась к нему спиной. Дети возмущенно кричали:

«Нелли! Ты не говорила, что ходишь на музыку, это нечестно! Мы не знали, что ты тоже играешь!»

Врач оцепенел. Смуглая девочка вполоборота насторожённо посмотрела на него, кивнула и первая побежала из зала.

Она была уверена, что именно так звучит пучина.

Елена Катишонок

# ЯЗВА

На двери квартиры «7А» была маленькая латунная табличка с каллиграфической гравировкой: «Г. М. Ивановъ» и затейливыми виньетками по углам, как на визитной карточке. Жена Максимыча носила гордое римское имя Матрона, слегка скомпрометированное отчеством Ивановна, и недовольно опускала уголки губ, если ее называли Матрёной. С ними жила их старшая дочь Ирина, которая потеряла мужа на войне, но спустя три года неожиданно обрела внучку. Мать внучки, Иринина дочь, на яростные вопросы родных отвечать не стала, как не стала и кормить младенца, и ушла то ли постоянно ночевать, то ли временно жить к подруге. Все упреки матери-староверки, таким образом, достались Ирине. К счастью, ни отвечать, ни оправдываться было некогда. Нужно было покупать молоко на базаре, покупать любой ценой, то есть за любую цену, а для этого нужно было сидеть за швейной машинкой, чтобы на том же базаре продать пару наволочек, что-то из дамского белья или детские чепчики.

Девочка росла здоровым, спокойным и румяным ребенком. Матрона была с правнучкой очень строгой, и часто гневно выговаривала дочери, видя её нежную привязанность к «отродью». Когда Ирина пошла работать на швейную фабрику, в доме стало тише. Ребенок рос, скандал потерял остроту, да и чего уж. Иногда в гости приходила беспутная мать и приносила гостинчик: фигурку из марципана, похожую на серый обмылок, или ромовую бабу, ничего общего ни с ромом, ни с бабой не имеющую.

Шкодой девочку первым начал называть Максимыч, любимый и единственный её дед, хоть и прадед. Старуха – величественная, как и полагается Матроне – так часто одергивала правнучку: «Не тронь, шкоду сделаешь!» или: «Ты опять шкоду сделала?!», что Максимыч как-то, морщась и ловя жесткими пальцами пуговицу на косоворотке, подытожил: «Шкода и есть». Сколько помнила Шкода – а помнила она больше двух лет из своих скромных четырёх – Максимыч всегда носил эти уютные, простиранные до замшевой мягкости, сатиновые косоворотки, которые аккуратно заправлял в брюки. У него были густые брови, небольшая седая бородка и упругие усы, которые Шкода старательно причёсывала, а старик сидел послушно, как в парикмахерской. Время от времени он ловко хватал зубами маленькие пальцы, быстро поворачиваясь и лукаво глядя на неё черными, очень живыми глазами: страшно?

С Максимычем никогда не было страшно. Кроме того, у него были вещи, которых не было ни у кого больше, даже у бабушки Иры: *подсигар*, часы на цепочке и язва.

Самой вожделенной из них, понятно, был подсигар – плоская серебряная коробочка, такая гладкая, что казалась оплавленной. Если надавить выступающий зубчик, крышка отпрыгивала. Внутри ровненько лежали папироски, прижатые резинкой. Узнав, что ни для чего, кроме папирос, подсигар Максимычу не нужен, Шкода долго пыталась выманить ценную коробочку, но дед упрямо отказывался. А жаль: подсигар уютно проскальзывал и укладывался в карман её пальтишка, что было не раз проверено. Внутрь же можно было упихать множество беспризорных сокровищ: пробку от духов, трамвайные билетики, несколько бусин, двуносый красно-синий карандаш «Победа», обе игральных карты – одну с нарисованным сердцем и другую, с которой улыбался яркий симпатяга в колпаке с бубенчиками, да мало ли!.. Дед разрешал играть с подсигаром, только не открывать. Тогда Шкода предложила называть недоступный предмет не «подсигар», а «подпапирос», чтобы избавиться от наваждения и не думать, под что еще его можно с умом использовать. Максимыч смеялся долго, вытирая лицо и лысину сложенным носовым платком. Баба Матрёна тоже смеялась, колыхаясь всем большим телом под просторным платьем и ловя слезы концом головного платка.

Второе чудо – цепочку с часами – тоже хотелось заполучить, но именно в таком порядке, потому что узнавать время по часам она еще не умела.

Самым же загадочным была язва. Шкода представляла себе язву змеёй, притаившейся где-то глубоко внутри Максимыча, и спросила как-то, живая ли она, на что тот бодро ответил: «А как же. Я живой, ну и она живая». Временами змея-язва мучила Максимыча так, что они не только не ходили в парк, а и сам он не вставал с дивана. В эти дни папироски он не курил, пил соду, а когда баба Матрёна уходила к плите, лечился. Делалось это так. Дождавшись, пока хлопнет кухонная дверь, он открывал тумбочку, доставал бутылку с бело-зелёной этикеткой, наливал себе полную рюмку лекарства и быстро проглатывал. Бутылка отличалась от других отсутствием длинного бумажного шлейфа и белой панамки на пробке. Рюмку и бутылку Шкода быстро задвигала в глубину тумбочки, а Максимыч облегчённо вытягивался на диване. «Помогло?» – уважительным шепотом спрашивала девочка. «Зараз, зараз», – шептал он в ответ: баба Матрёна почему-то не любила это полезное лекарство, и знать о нём ей было нельзя.

Сейчас язва затихла, свернулась неподвиж-

ным клубком и мучить Максимыча перестала. Мутный стакан с кристалликами засохшей соды, похожей на свежую порошу, уже не маячил перед глазами. «Одевайся, Шкода! Гулять пойдём».

Когда баба Матрёна застёгивает ей платье на спине, пуговица всегда цепляет за волосы. «Цыганское отродье, – ворчит она, – С такими кудлами от людей стыдно!» Она со всеми строгая. Максимыч к ней подлизывается, потому что это его мама. Вот и сейчас: «Да мы, мамынька, только в парк на часок. Иди, Шкода, галоши одевать». Баба Матрёна сердится ещё больше: «Одевай не одевай, галоши рваные! Хоть в ботинках ребёнка пускай в такую мокроту». Максимыч быстро надел плащ, даже тросточку брать не стал: «Я сейчас, мамынька», и нету его. А я?! «Осподи! – сердится баба Матрена, – опять курить...»

Максимыч вернулся скоро, и его борода пахнет улицей и папиросами. Макинтош немножко шершавый, об него приятно тереться носом. «Давай скоренько, – бормочет Максимыч, – примерь-ка» – и достаёт из-за пазухи что-то в газете, и разворачивает, а Шкода уже торопливо стаскивает старые галоши. «Максимыч! Ты где их взял?!» – «Нашёл» – «Где??» – «Да я пошел покурить, смотрю – лежат на крылечке... Ты ногу давай. Да не ту, это ж левая!.. вот так, молодца! Не жмёт?»

Девочка крепко прижалась лбом к плащу старика, пока он осторожно натягивал блестящую резину на маленький ботинок. Непривычная к ботинку, новая галоша налезала туговато. Вторая тоже. Максимыч уже который раз находит что-то хорошее. Было жалко, что яркой алой серединки не будет видно, но зато галоша блестела, как ёлочная игрушка. «Максимыч! А это волшебник оставил? Ну, на крылечке?» – «А може... може, и волшебник. Или девочка какая потеряла. Ну, идём?»

Он торопливо заворачивал старые галоши в ту же газету, когда вошла Матрона, в чёрном шерстяном платке и с сумкой. Новая резина пахла пронзительно-остро. Девочка радостно задрала ногу: «Смотри, бабушка Матрёна, что Максимыч на крылечке нашел!» Старуха гневно сдвинула брови: «Опять? Зачем ублюдка балуешь? Это ж на какие такие...», но Максимыч виновато перебил: «Мамынька, так ведь сирота; а ну заболеет?» Однако Матрона только разгонялась: «Батьки нету, матке она не нада, даже боты не может ребёнку купить!.. На кой балуешь?! Спасибо тебе кто скажет?..»

В пальто было очень тепло. Баба Матрёна ругала Максимыча, а у него вываливались из газеты старые галошки. Ей было скучно слушать про какую-то сироту. Вот бабушка Ира стихотворение знает: «Шел по городу малютка, Посинел и весь дрожал»... Без галош шел, вот и дрожал. Хотелось скорее расспросить Максимыча, как это он нашёл. Слово «ублюдок» было новым и непонятным. Присев на корточки, она рассматривала свое отражение в галошах. Помпон на капоре в галоше был крохотным, а нос и рот – огромными, словно надутыми. Она несколько раз тихо произнесла новое слово: оно выскальзывало очень плавно и легко, как леденец. Только бы Максимыч не рассердился. У него есть страшное ругательство, которое он выкрикивал каждый раз, когда они с бабой Матрёной долго спорят: «маччесная». На «ма» он сильно топал ногой, а дальше было похоже на чихание, но очень строго.

Протянув руку, она крепко уцепилась за карман дедова макинтоша и протянула ему бамбуковую тросточку. На лестничной площадке Максимыч застегнул плащ и натянул картуз. Девочка осторожно спускалась, держась обеими руками за перила и с нетерпением поглядывая на него. Они вышли из парадного; рядом почти синхронно громко хлопнула дверь обувного магазина.

Хорошо, что к парку надо было идти в противоположную сторону: обувного Максимыч старался избегать. В то время, когда он был еще «Г.М. Ивановъ», там располагалась его мебельная мастерская, и вместо унылой продавщицы и нагромождения столь же унылых коробок стояли верстаки, суетились рабочие во главе с ним самим, а ноги утопали в солнечных кудряшках стружек, всегда пахнущих весной.

Пахло весной. Звуки, краски и запахи улицы приобрели особую отчетливость, как бывает, когда смотришь сквозь только что вымытое окно. «Не скачи, коза, нос разобьёшь», – тихонько ворчал старик, когда они шли по жёлтому, истёртому подошвами и каблуками, кирпичному тротуару, тоже ставшему более жёлтым и чётким, и оба знали, что пока он держит её ладошку, нос разбить невозможно. Звонко прокатился трамвай, почти пустой, и в окна можно было увидеть болтающиеся на штангах кожаные петли, за которые никто не держался. Параллельно тротуару шла лошадь, осторожно перебирая копытами по булыжнику. На телеге стояла огромная бочка, а возница держал вожжи с таким безразличным видом, словно они и вовсе не были нужны. Многие встречные уважительно с ним здоровались, и он узнавающе, но без улыбки кивал в ответ. «Кто это?» – спросила Шкода, быстро повернувшись к деду, отчего помпон на капоре метнулся, словно заячий хвост. «Золотарь», – усмехнулся старик. «Почему, Максимыч?» – «Золото везёт». Шкода не отставала: – Где золото? – «В бочке, где ж ещё».

Это было так же непонятно, как «ублюдок». Если он везёт в бочке золото, чего ж не оделся

понаряднее? И где он столько золота – полную бочку – взял? Может, лебедь белая наколдовала? Нет, никак этот вонючий дядька не был похож на князя Гвидона. Максимыч не обманывает, он шутит. Как он шутил тогда, после обеда: «Шкода, наелась? Вкусно было? А ну, дай пузо полизать?» Все смеялись, даже бабушка Ира, и говорили, что это шутка. Наверно, он и сейчас шутит. А про золото у бабушки Иры спрошу.

Снег уже сошел, дорожки в парке были тёмные и упругие. Скамейки подсохли, и Максимыч, прислонив тросточку, сел выкурить на солнышке папироску. Шкода села рядом и, держась обеими руками за скамейку, вертела по очереди то одной, то другой ногой в рейтузах, восхищенно любуясь галошами. Потом осторожно сползла, держась за его плащ, и спросила: «Максимыч, можно к девочкам?» У соседней скамейки, метрах в тридцати, играли две девочки постарше, катая игрушечную коляску. Их матери сидели на скамейке вполоборота друг к другу и увлечённо беседовали. «Только котика, – говорила одна, для понятности припечатывая ботиком гравий, – я моему так и сказала: только котика. Каракуль уже никто не носит». Вторая с вежливой ненавистью смотрела на топающий бот. Удовлетворённо отметив, что размер бота намного больше ее собственного, с достоинством застегнула каракулевый воротник. Обе равнодушно посмотрели на приблизившуюся Шкоду. Девочки вдвоём вцепились в ручку коляски и начали катать её взад и вперед. Шкода улыбнулась коляске и подняла глаза на счастливиц. Лица у них стали одинаковыми и взрослыми, а коляска заерзала по гравию ещё усердней. «Как тебя звать?» – обратилась Шкода к ближней девочке. Девочка не ответила и подтолкнула на подружку, которая остановила коляску. Та протараторила, глядя на Шкоду в упор: «Звать – разорвать, фамилия – лопнуть», потом повернулась ко второй, и обе засмеялись. Ее подруга добавила: «Мы с цыганками не водимся», – и обе засмеялись опять.

Женщины продолжали: «...первую петлю просто снимаешь, не провязывая» – «Вообще?» – «Ну, да. Иначе край ровный не получится».

Максимыч расстегнул верхнюю пуговицу плаща, снял картуз, разгладил ладонью седой газончик волос вокруг лысины и опять надел. Хорошо они вместе играют, вон как хохочут, а то что ж она всё одна да одна. С детями тоже надо. На дворе одну не оставишь, а сюда можно хоть каждый день приводить. Пусть и свою куклу какую захватит. Разнообразие, а то все дома. Вот поиграют еще малость, и пора домой, обедать.

Девочки смеялись и по очереди показывали на Шкоду пальцами: «Цыганка! Цыганка!!», зажимая ладошками рты, словно пытались удержать смех, но не по-настоящему, а чтоб вышло обидней. Кукольная коляска неуверенно проехала пару шагов и уперлась в пустой край скамейки. Одна из сидящих женщин крикнула: «Лора! Прощайся, нам пора домой, обедать»,– потом снова повернулась к собеседнице.

Ноги в новых галошах вдруг начали подворачиваться. Больше всего она боялась, что коляска толкнёт её в спину, и она упадет. Скамейка с Максимычем была очень далеко, и надо было пройти весь путь так, словно она сама передумала и решила вернуться. Вскочив со скамейки, Максимыч успел подхватить падающую девочку: «Куда ж ты так, я за тобой не поспею!..» Он хотел усадить Шкоду рядом с собой, но она не отпускала его шею и так и осталась сидеть на коленках, плотно вцепившись ему в лацканы и спрятав лицо. Помпон чуть вздрагивал. Старик обхватил капор и повернул к себе мокрое лицо. «Ты что? Обидели?.. Кто тебя?» – тревожно выспрашивал он. Повернул голову к соседней скамейке, но там никого не было. В нескольких шагах валялась яркая детская вязаная перчатка. Пальцы были растопырены, словно отталкивались от влажной дорожки. «Что ты плачешь?» – «Я цыганка! Максимыч, я цыганка?.. – бормотала, горестно глядя на него. – Они со мной не играют, – кивнула помпоном в сторону, – и баба Матрёна ругается...»

Старик коротко вздохнул. «Не сердись на бабу, она ж не тебя – она меня ругает: я и есть цыган». – «Ты?!..» – «Я. У меня мамка-то цыганка была, мой папаша привез её с Польши». – «Баба Матрёна?» – «Да не!! Моя мамаша. Она уж покойница, Царствие ей Небесное», – Максимыч снял картуз и перекрестился. «А баба Матрёна тебе не мама?» Старик засмеялся: «Нет. Она ж твоей бабы Иры мамка!» – «А почему ты её мамынькой зовешь?» – «Да привык. У нас пятеро ребят было, и все: мамынька да мамынька, ну, так уж и пошло». Слёз больше не было, и Максимыч был рад без памяти, что девочка забыла о своем горе. Он осторожно ссадил её с колен и встал со скамейки, разминая ноги. Шагнув вперед, бережно подобрал лежащую перчатку и аккуратно пристроил между брусьев скамейки, чтоб видно было. Придёт ребёнок домой, там хватятся... а так завтра найдут.

Оказаться в компании с Максимычем было не только не страшно, но даже весело, хоть и необычно. Цыган Шкода встречала часто – они жили на соседней улице, рядом с парикмахерской, куда они с Максимычем ходили стричься. Его все знали, уважительно здоровались, останавливались поговорить о непонятном, причем Максимыч неизменно вытаскивал свой подсигар. Мужчины прикуривали, сверкая золотыми зубами в ярко-чёрной бороде, а она скучала, рассматривая «цыганский дом». Все три этажа жёлтого каменного здания заселяли несколько семей, но ей всегда

казалось, что это одна огромная семья. Мужчины носили сапоги (она понятливо покосилась на ноги деда), и у каждого был самое малое один золотой зуб во рту, что делало улыбки зловещими, а смеялись они часто, перекрикиваясь на непонятном языке. Женщины были одеты в длинные, яркие юбки, а вместо кофт носили платки с кисточками, как на бабушкиной скатерти, и тоже улыбались золотом. Дети никогда не ходили, а только бегали, кроме завязанных в платки, которых держали на руках. Время от времени из дома выходили цыганки с клубящимися вокруг детьми, мужчины выносили какие-то узлы и запрягали лошадей, все усаживались в телеги и куда-то уезжали, громко и сердито крича. Бабушка Ира говорила, что в деревню; баба Матрёна как-то загадочно: «на гастроли».

«А ты умеешь говорить по-цыгански?» – с любопытством спросила Шкода. – «Да откуда? Мамаша моя с Польши, по-польски и говорила. Ну, и по-русски тоже умела, а как же! Отец-то у меня русский был». Он усмехнулся. Родители говорили по-русски, все двенадцать детей и записаны были по отцу, и сами считали себя русскими. Однако польский язык оказался цепким, словно столетник на подоконнике: и не поливает вроде никто, а он нет-нет да и выпустит свежий, яркий побег. Вот и Матрёна: уж на что покойницу-свекровь не любила и высмеивала, а словечки польские приняла легко и охотно, да ещё, небось, разгневалась бы, знай, что польские.

Он вытащил из кармана тусклые старые часы на цепочке, взглянул, отодвинув руку вперёд, на циферблат, но понять, сколько времени, не сумел, остановленный новым вопросом: «Максимыч, а ты тоже ублюдок?» Медленно спрятал часы обратно и сказал: «Иди сюда, коленки почистить надо. Рейтузы не порвала? А галоши вон в луже обмоем». Шкода терпеливо перенесла весь обряд очищения, включая неизбежный носовой платок, который Максимыч слегка послюнил и затем осторожно стер с её щеки грязь. Платок пахнул табаком. Девочка взяла его за руку и пошла к луже, которая затаилась под скамейкой, как маленький пруд. Старик приподнял её под мышки и держал так, пока она медленно болтала галошами в воде. Выпрямившись, сама поправила капор, и повторила: «Скажи, Максимыч?..»

«Мать Честная, Пресвятая Богородица! – громко выкрикнул он, с яростью ткнув тросточкой в гравий. – Ты где такое паскудство слыхала?!» – «Баба Матрёна сказала. А это что, Максимыч?» – «Слово паскудное!! Вот я тебя заставлю рот с мылом мыть!» Девочка смотрела на тросточку, на крепкую руку, сжимавшую рукоятку, и дождавшись паузы, спросила: «Как «маччесная»?

Максимыч ошеломленно взял ее за руку и, сердито опираясь на тросточку, повёл по дорожке. Домой спешить не хотелось. Доктор предупреждал, что кушать надо всегда вовремя, да только мог бы и не трудиться: тянущая боль в желудке сама напоминала о времени обеда. А при скандале какой же обед. В том, что без скандала не обойдётся, Максимыч не сомневался. Что ж это они все, Мать Честная?!.. Он не удивлялся, когда жена попрекала его их стариковской нищетой, и дело было не в тех грошах, которые оба они получали «по старости»: старость и впрямь получалась дешёвой донельзя. Нет; Матрёна не могла простить их миллиона в банке, который лопнул. И не у них одних деньги пропали, но об этом и заикаться не стоило – тогда ему припоминалось всё: и нагло оттяпанная государством мастерская, и солидные заказчики, и – повтор с разгоном – миллион в банке, и – уж извольте радоваться! – матушка-цыганка, Царствие ей Небесное. Ничего не помогало: ни что матушка давно уж покойница, ни что крещена была перед тем, как венчаться... Максимыч привык быть виноватым перед женой за всё, на что она привыкла гневаться: за жидкое молоко в лавке и за то, что нигде, кроме как в этой лавке, его не купить; за внучкин грех; за безденежье и пропавшего без вести на войне сына, за неприличную цыганскую смуглость внучки, а теперь и правнучки; даже за его язву.

Словно подслушав воровато последнее слово, желудок отозвался резкой, сводящей болью. Мать Честная! И ничего не сделать: весна, как доктор и говорил: весной, мол, и осенью всегда будет хуже. Как будто ни зимы, ни лета в помине нет. Осторожно ступая, Максимыч медленно опустился на ближнюю скамейку. «Зараз, зараз, – бормотал, – на вот, поиграй пока», – и протянул девочке портсигар. Шкода бережно погладила теплое серебро. Как-то сама собой нажалась пружинка, и подсигар послушно открылся, как книжечка. Внутри щекотно и приятно пахло Максимычем – табаком. Девочка взглянула на деда, не видел ли он запретного действа: Максимыч сидел напряжённо, чуть согнувшись, а лицо у него было такое, словно ему давно надоело гулять.

Вот этот кусочек – четыре скамейки – до выхода и один квартал. И через дорогу. Потом только лестница – три этажа – и всё. Можно будет выпить стопку и лечь. Пара минут, и боль онемеет. Весна, говорил доктор.

Шкода осторожно сомкнула створки портсигара, и он закрылся тихим щелчком. «Сейчас придём домой, – лукаво улыбнулась она, – и ка-а-к крикнем бабушке Матрёне: цыгане пришли!! Да, Максимыч?»

Улыбнулся через силу, через сильную боль, но не улыбнуться не мог. «Шкода, Шкода, – медленно выговорил он, – давай сюда подсигар, это не игрушка».

Мария Перцова

# ВРЕМЕНИ ТЁМНЫЕ БЛИКИ

***

Жестковато засыпать
На продавленном диване,
Трудновато отыскать
В продырявленном кармане
Пуговицу или ключ
На серебряной цепочке,
Или треснувший сургуч,
Или нож кривой заточки.
У дивана – рвань обивка,
Но, старье и бахрома,
Как он пах… Микстурой липкой,
Душным "Шипром" и "Climat",
Арктикой "Двух капитанов",
И ореховой халвой!
А какие сны витали
Над пружинами его!
Как цепи не размыкая
Шел катренов караван...
Вот и жизнь моя такая,
Как продавленный диван.

***

Не зрелость, пожалуй, а спелость–
Обжился в холодной судьбе,
И что-то саднящее спелось,
И ты беспощадней к себе,
Но все ж до поры урожайной
Раскачивать веточку впрок,
Пока твой читатель случайный
Рассмотрит сквозь изгородь строк
Не рифму внутри и на стыке,
Не свергнутый класс запятых,
А времени темные блики,
Эпохи сквозные черты.

***

Прага, брага, пражский торт,
Взбитый камень,
Не руками перетерт
А веками..
Волн у моста перекат
Карамельный.
Шестьдесят восьмого яд –
Не смертельный.
Посторонним он горчит
Кардамоном,
В глазированный бисквит
Запеченным.
И гурманам – не гробы,
Но гоненья,
Несварение судьбы
В поколеньях.

***

А мама не хочет про сырость и гниль,
Про темень барака.
Она еще помнит тугие клешни
Всеядного страха,

Томительный голод во время войны,
Конверт похоронки,
Листок,оставлявший от жизни родных
Глухую воронку,

И зятя приезды. Глаза-полыньи

Угрюмого Мойше,
Остатка большой, работящей семьи,
Расстрелянной в Польше.

Учительство в богом забытом краю,
Замызганный город,
И очередь – гибкую эту змею,
Обвившую годы.
Из роскоши – старую тушь для ресниц,
И прямо со склада,
Румынский, на пуговицах
Синий джерси – один на декаду.

Она еще помнит вокзальных верзил,
Ночную таможню,
Когда из баула подушки тащил
Чиновник вельможный...

И мирно плеснув минералки в стакан,
Почти виновато,
Читает свою Франсуазу Саган
И Кристи, Агату.

ЧУЖИЕ ГОРОДА

Мне родственны чужие города,
Умело, словно опытный рассказчик,
Переворачивающие медаль
Навстречу преходящим.
Вываливающие мишуру
На площадей сырую мешковину,
Выпячивающие кожуру
И прячущие сердцевину.
Мне от роду близка их маета,
Их улиц перетянутые нитки,
Прохлада сероватого гранита
И вкрадчивость сентябрьского листа.

***

А бывают такие моменты –
Каравелла  садится на мель,
И охота ребристой монеткой
Закатиться тихонечко в щель.
Как из сумки, из времени выпав,
Отлежаться в пуховой глуши–
Ни шагов, ни биений, ни скрипов,
Ни звонка, ни руки, ни души.
Но потом, в полновесном июле,
Отыскаться почти невзначай–
Чтоб обдули, орлом повернули–
И бармену швырнули на чай.

СНИМОК.

Вам идет Париж в апреле,
И лохматый шарф – идет.
Галки черные слетели
На решетки переплет,
И поблескивают мокро
Кроны, форточки, фасад.
Ваш таинственный фотограф –
Выбрал ракурс наугад?
Или, что-то заприметив
В положении светил,
У того, кто был в ответе
Обьектив перехватил?
А иначе – стал бы сватать
Мне извечную игру,
Где сама я – шарф лохматый,
Шарф лохматый на ветру...

***

Не схоронено, не заброшено,
Не на исповедь, не к врачу –
За метафорой, как за кошкою,
Вниз по лестнице полечу.

Дверь подьездная всхлипнет тоненько,
Не откроется  –  вот он, ключ!
Ты, беглянка, сегодня поймана,
Дело сделано. Не мяучь.

Марина Саввиных

# УСКОЛЬЗНУВШАЯ ТОЧКА ОТСЧЁТА

## ФЕНИКС

Откуда эта пагубная страсть:
Ходить по искушениям и мукам,
Чтоб невзначай с Гармонией совпасть
И сделаться её бессмертным звуком?

Зачем, уже накликав столько бед,
К недостижимой истине стремиться?
Ведь всякий знает, что бессмертья нет,
Любовь – обман… покой нам только снится…

А всё равно – очнёшься в темноте –
Молекула платоновского шара –
И вот… среди вселенского пожара…
Тот звук… тот голос… очертанья те…

***

Последним числом високосного февраля
Отмечен конец не начавшегося романа.
Теперь отправляю превратности на поля,
Где ровный сюжет упирается в жесть бурьяна…
История старая. В сущности – ни о чём.
Зачем-то судьба по распутице вспять влекома.
А Белая Дама за левым твоим плечом,
Ты вряд ли поверишь, но мне хорошо знакома…

***

*...только ставка...*
*В. Брюсов.*

Жизнь – только ставка. Преферанс и покер.
Чем ближе к телу – тем заметней след.
Смотри! Мы обыграли Черный Джокер!
Разлуки – нет!

Жизнь – отторженье. Притяженье к свету...
Неумолим и беспощаден свет!
Разлуки нет. И встречи грешным нету.
Спасенья – нет.

***

Забудь его. Над морем мировым
Его судьба подвешена на нитке.
Нездешней жаждой дух его томим,
И лишь сыграют злую шутку с ним
Твои неосторожные попытки
Перехватить трепещущую нить
У чьей-то воли, злобно равнодушной, –
Ведь не дано тебе соединить
Ступени этой лестницы воздушной:
Твой голос – слаб, твой взгляд пристрастно слеп.
Любовь – не то, что светит обречённым.
Оставь ему его смертельный хлеб
И одинокий путь под солнцем чёрным.
Не тронь его ожогов, пожалей!
Не оставляй прорех на шатком крове!
И пусть не станет музыкой твоей
Тяжёлый шум его усталой крови
И пыточным свинцом его предел!
Не обессудь! Он был с тобою честен:
Не ждал тебя, не звал и не хотел.
Тебя здесь нет.
Твой выбор – неуместен.

***

Ускользнувшая точка отсчёта,
что едва не обрушила дом,
обрела себе место – всего-то
рядом с простеньким частным бытьём:
в полумраке, в прохладном пространстве,
между книжками – в пыльном ряду,
в смутном страхе и мелком тиранстве
у злорадствующих на виду...

Прикасаться не следует. Это
равносильно удару ножа.
В темноте изнывает кассета,
итальянскою страстью дрожа.
Но и музыке мы не подвластны –
Не любовники и не друзья…
Наш роман, a priori несчастный,
Ни придумать, ни вспомнить нельзя…

Что ж, давай... поиграем в вопросы.
Посмотри на меня и представь...
Отчего это жёлтые розы
в сновидениях странствуют вплавь?

Или – так: в раздвоенье недужном
как добро отличают от зла?
Или – вот: тебе кажется нужным,
чтобы я ещё в мире была?

Почему так темно и бессонно?
что за зверь под порогом зарыт?
... что теперь ни ответишь – резонно...
... что теперь ни отвечу – навзрыд...

***

В твоём окне – ни ветки, ни звезды.
Ты так смеёшься или так рыдаешь?
Как будто медью иноческой мзды
Меня к моей надежде пригвождаешь…

Надежда – ложь. Она ещё жива
Лишь выдумкой досужею и сплетней.
Что из того, что – праздные слова! –
Ей предстоит и умереть последней?

***

Нет сердца, в котором бы кровь подымалась
Навстречу бессмысленной муке моей…
Ты прав! Ни к чему состраданье и жалость
Бездомной душе до скончания дней.

Наверное, это и звали любовью
Познавшие суть избавленья от мук -
Когда отзываются плотью и кровью
На неощутимый заоблачный звук…

***

*Яну Бруштейну*

Всей этой тяжести – мутных пощёчин в небритый берег
Скудного, вымученного небосвода,
Бабьих ужимок, продуманных впрок истерик,
Несостоятельности всякого перевода…
Тяжести тела, которое образ боли,
Тяжести света, сверлящего мой хрусталик,
Тяжести мысли, свергающейся, как «боинг»,
Как Ришелье, поскользнувшийся на пьедестале…
Всей этой тяжести, рвущейся с плеч Атланта
И прижимающей к пляжам крымскую ночь,
Тяжести Грасса, Флоренции и Брабанта –
Поступь твою легчайшую –
Не превозмочь!

***

*В.А.*

Она играет Маргариту,
Бросаясь жёлтыми цветами,
И этот перл, и этот бисер,
и этот дымчатый топаз…
И не клыками – а устами…
И не когтями – а перстами…
И не вчера – а послезавтра…
На том же месте
В тот же час…

В шелках, змеящихся по шее,
В рубинах, облепивших выю, –
Она – цветок и можжевельник –
Жестоковыйна и тверда…

Ей невдомёк твои руины,
Твои разряды грозовые…
Дышать твоим ночным озоном
Ей не дано… и никогда

Не вникнет в эти клавесины
Твоя бунтующая кровь…
Глоток свинца… толчок осины…
Двор трав не хочет жарких дров…

Ей не поднять твоих даров.

Ян Бруштейн

# ПРОСТРАНСТВО МНОГОТОЧИЙ

## ЛАЗАРЮ

Я прочерк между прошлым и былым,
И проступают лица через дым,
Которые и вспомнить-то не просто –
Оплывшие, как свечи на ветру...
Я к ним приду, я ради них умру,
И в этот ряд я встану не по росту.
Но как же коротка моя черта,
И не успел я, в общем, ни черта,
Немного же пайка нам дали в руки!
Хотя пока не оборвался звук
И нас еще не взяли на испуг
Смешные погребальные старухи.
И сладок воздух, и вода вкусна,
И я еще так много не узнал,
И столько не расслышал между строчек.
Простите, что не рвется эта нить,
Но буду я судьбу благодарить
За долгое пространство многоточий...

* * *

Этот пёстрый свет в окне,
Этот гомон из-под спуда...
С нетерпением посуда
Век вызванивает мне.
Синтетическая ель
Трудно выпускает корни,
За стеною ветер горний
Бьёт в невидимую цель.
Полуспим в своём тепле,
И приходят ниоткуда
Новогодние причуды,
Джингл беллс и сладкий хлеб.
Не споткнись о свой порог,
Уходя в другое время.
Как бы ни был ты со всеми –
Остаёшься одинок.
Всё же, всё же, всё же, всё...
Нам даны судьба и утро,
Новый день, смешной и мудрый,
Непременно нас спасёт!

## КОГДА...

когда на исходе мира всё становится серым
сирым а точнее всего седым
и то что могу я вспомнить кажется сором
в городе который называет себя содом
никакие ангелы ни один ни двое не обманут время
и даже втроём не удержат качающуюся ось
они сидят вкруг чаши там на стене в раме
и видят нас отчаявшихся насквозь
а четырем ангелам уже дали команду по коням
и старший до блеска начистил свой геликон
однако же когда мы окончательно канем
кто защитит землю если придет великан
пожиратель камней истребитель вод
его звездолёт уже приготовил свои ножи
но мы встанем ряд за рядом во имя того
кто дал нам свободу воли и право на жизнь

## ЗАКАТ

Словно мясо с похмелья рубили тупым топором,
Невозможный закат: облака и кровавы, и рваны,
И гремит за рекой, за туманом, знакомо и странно –
То ли дышит война,
        то ли Боженька бродит с ведром.

* * *

Лошадка цвета мышки,
И мышка цвета сумерек
Живут себе в домишке
И ждут людей, что умерли.
Давно уже, до знака,
Когда поперли сволочи...
Была еще собака,
Да надорвалась воючи.
Судьба такая вышла –

Там, где пути заросшие,
Живут лошадка с мышкой,
Пропавшие, хорошие...

* * *

последний месяц лета
уже почти угас
и позднего рассвета
не наступает час
дыханья не хватает
среди летучих вод
и только птичьи стаи
пятнают небосвод
едва бегу со всеми
уже почти ничей
и отлетает время
секундами дождей
как будто снял Тарковский
водой оно стекло
совсем по-стариковски
стучит в моё стекло

## ВЕНЕЦ

*Кто мне откликнулся в чаще лесной...*
*Николай Заболоцкий*

Кто окликнул меня на дороге пустой?
Кто взметнул этот птичий содом?
Как узнаю, что пустит меня на постой
Тихим садом окутанный дом?

Там глухие заборы давно снесены,
Там искал я когда-то себя,
Там ломают комедию вместо стены
Стройотряды крылатых ребят.

А над крышей – березы зеленый венец...
Где тот век, что давно разменял?
И не будут уже восхищенно звенеть
Голоса позабывших меня.

Как всегда, он смеется сейчас надо мной –
Тот, который себе на уме.
Но несу я по этой дороге домой
Только радость в последней суме.

## ТРОЕ

Кроваво-красным подбоем выстланы облака.
Нас было когда-то трое, сделанных на века.
С этой высокой дружбой – времени поперек...
И всё-таки годы рушат то, чему вышел срок.
Резали по живому новые времена,
Погасшему, пожилому дружба едва ль нужна.
Плющило не по-детски, грызла вина виски,
И никуда не деться было нам от тоски.
А лучший из нас – нелепо бился, едва дыша.
Однажды он вышел в небо с десятого этажа.
Вдвоём нам нести такое – живы с тобой пока...
Кроваво-красным подбоем схвачены облака.

## СИНИЦА

Меня спасали кошки, птицы,
Собаки, лошади и лисы...
Мне разве снится, что синица
Меня искала по столице,
Когда, отчаяньем гонимый,
Я бился в каменные пасти –
Как бы случайно, как бы мимо,
Стараясь на глаза попасться,
Перечеркнула слабым телом
Всех вертикалей злую силу...
И эта тяжесть отлетела,
И эта горечь отпустила.
Её «зинь-зинь» мне стало знаком
Что гибель проскочила мимо.

А я ... я спас одну собаку...
Но это несоизмеримо.

## КАНАТ

На этой улице печальной
Мне бросили канат причальный:
Давай,  вставай-ка на прикол!
Здесь небо улеглось на крыши,
И третий день уже не дышат
Слепые окна над рекой.
На них – задернутые шторы,
За ними ходят командоры,
Верша последние суды.
В кроватках каменные дети,
А в кадках залежался ветер,
И нет ни воли, ни судьбы.
Здесь может быть, но быть – не может,
Здесь от дождя не стынет кожа
И всюду край, куда ни кинь…

На этой улице печальной
Мне бросили канат причальный,
Но я не протянул руки.

Владимир Алейников

# РОЖДЕНИЕ ГАРМОНИИ

* * *

Вот и умолкли сверчки –
Где они, добрые души?
Там, где слова нелегки,
Страсти надрывней и глуше.

С пальмовой веткою маг
И с гороскопом астролог
Вновь от меня ни на шаг –
Век их пространен и долог.

Их покровитель – Гермес,
Их благодетели – в тайнах
Ищут облатки чудес,
Тени видений хрустальных.

Ароматических смол
Им не достаточно в гроздьях –
Ищут жужжащий от пчёл
Запах медвяный и воздух.

В тиглях сжиганье веществ
И от костров отраженья –
В жизни разумных существ
Лишь оправданье движенья.

Вот и забыли, как встарь,
Что ожидание – мнимо, –
Гаснет волшебный фонарь
Вслед уходящему дыму.

Истины мал золотник,
Да обладателю дорог, –
Вот и блуждает двойник,
Друг он тебе или ворог.

Дай-ка взгляну на него –
Был ведь и в зеркале виден, –
Вот он – и нет никого –
Так вездесущ и обиден!

Так досаждает порой
Двойственность нашей природы –
Как ей глаза ни закрой,
Вычеркнет прежние годы.
Высохли перца стручки,
Горечь приблизилась к сердцу,
Горлица стонет с реки, –
Сколько хлопот страстотерпцу!

* * *

На лодочной станции сохнет весло
По влаге, зелёной и жгучей, –
Что было, то было – а значит, прошло,
Звездою разбилось падучей.

А лодки на суше беспомощны так
И так смущены ожиданьем,
Что кажется изредка: сделаешь знак –
И станет он их оправданьем.

Не выручить лодок из долгой беды,
Безлюдье – пример безразличья, –
Безвременье мучит меня у воды,
Где стая тревожится птичья.

Колонны белеют, подобны перстам,
Туда указующим ныне,
Где тучи за нами идут по пятам,
Вплотную – лавина к лавине.

Мне только и нужен лишь отзыв немой
Давно опустевшего парка –
Да взгляд исподлобья, да след за кормой,
Да клён, облетающий жарко.

Мне только и надо, что стронуть ладью,
Ладонь обжигая до боли
Веслом – и созвучным живому чутью
Началом осенней неволи.

* * *

Чем откровенней вечера
Нас приближают понемногу
Куда-то к пламени костра,
А может, к новому итогу –

Тем незаметнее барьер,
Неодолимая граница,

Где, дольним рекам не в пример,
Поит небесная криница.

Напейся влаги ледяной,
Уйди куда-то в степь далёко –
Туда, где путь лежит земной,
Куда глядит людское око, –
И различимую едва
Звезду заметишь над собою,
Твои живящую слова,
Себя зовущую судьбою.

Ты не надейся разгадать
Её волшебные тревоги,
Но всё ей ты сумей отдать
За то, что встречена в дороге, –
И если смотрит с высоты,
Непостижима и желанна,
Поверь мне – дорог ей и ты,
Как тополь, вставший из тумана.

## ВЕЧНОЕ ЧУДО ОТКРЫТЬЯ

Это как облако – прямо с вершин –
И по низинам, над самой рекою, –
Рокот утих, – что совершим?
Чье совершенство опять беспокою?

Чье низверженье – прямо с высот,
Сразу со звёзд – на осеннюю землю?
Ты подожди – это пройдёт,
Главное – то, что внемлю и приемлю

Всё без остатка – в сонме начал,
В лепете капель и брызг новоселье, –
Кто позабыл? – что повстречал?
Это терзало с утра, как похмелье, –

И прорвалось – и заполнило мир,
Сердце подъемля, как полную чару, –
В ропоте лир гулок и сыр,
Миг сотворенья подобен лишь дару!

Это утопия – кто повторит
Щебет пичуги раскатисто-звонкий?
Кто говорит? – сад говорит! –
Весь он дрожит под лазоревой плёнкой.

Это немыслимо – выдержит кто
Эту как с неба упавшую ласку
Счастья, которое пережито,
И для умов непосильную встряску?

И началось – и, примирён
С этой клокочущей гущей наитья,
Прямо с постели – сразу на склон:
Вот оно, вечное чудо открытья!

## ВЕЧЕРОМ У ОКНА

За снегом, чуемым, как шёпот за стеклом,
Есть что-то скрытое – идущее навстречу
И слуху тонкому, постигшему излом
Надмирной грани – тени за Числом,
Да и тому, что я один замечу.

Зачем-то чаемый проглянет огонёк
Ушка игольного доверчивым приветом,
Где нить догадливее зимних этих строк
И век протяжнее – затем и не поблёк,
Чтоб столь неизъяснимым быть при этом.

Не ты событию внушаешь, что оно
Уже осмыслено и тронуто рукою –
А всё оно, вместимое в окно.
И вздрогнуло, и так отдалено,
Что кажется живущим за рекою.

Затем и воздухом насыщенный простор
Подъемлет несговорчивое тело,
Чтоб лишь оно, земное до сих пор,
Услышало светил вечерний хор –
И видело, и плакало, и пело.

## К ЗИМЕ

Заручиться помощью твоею
Может каждый: долго ли спросить? –
Но тебя не просто разумею,
Если счастья выпало вкусить.

Как в закате щуриться прохожим,
Так и нам ресницы опускать –
Потому так пристально итожим
То, что нам не век еще искать.

Хвойный дух, по-зимнему домашний,
И тепло негаснущих свечей
Обернутся близостью незряшной
Небывалых странствий и речей.
Холод рук окажется горячим,
Позвоночник жаждой обожжёт
Приближенья зрения к незрячим
И уменья слышать наперёд.

И велик, подобно пробужденью
Огонька в пустыне за окном,
Каждый миг, несущий впечатленью
Продолженье в опыте земном.

Анна Кононова

# ДОРОГА НА ПАРАД ПОБЕДЫ

Дано: обычное дело, перемещение из точки А в точку Б. Но на него накладываются обстоятельства времени и места, и, конечно, личность героя. Дьявол, он же, гад, в деталях. И получается рассказ о том, как дядя Миша ехал с фронта на парад Победы.

В начале 45 года ясно уже было, что Гитлеру суждено познать кузькину мать. Дядя Миша, а тогда просто – Миша, вместе с родной танковой бригадой, вместе с Первым Прибалтийским фронтом освобождал Прибалтику, и, не переводя дыхания, на лихом бронеконе въехал в районе Кенигсберга на территорию противника. Кенигсберг был окружен, и тут уже фашисты дрались не за идею превосходства арийской расы, а спасали свои души, пробивая коридор на простор большого Земландского полуострова.

Тяжелые бои, каждодневная смерть товарищей, ежечасный легкий голод притупили Мишины чувства. Призванный на срочную еще в 40-м, он был воспитан войной, научился вырывать у нее награды и бежать от ее наказаний.

Читал фронтовые газеты.

Знал, что Минск разрушен.

И каждый день писал по письму на адрес родительского дома.

«Любому квартиросъемщику.

Товарищ, я до войны проживал в этой квартире. Прошу ответить два слова! Не приходил ли кто-нибудь из прежних жильцов? Не оставляли ли для меня записки?»

МАМА? ПАПА? КАДИК? САРКА? МАМА! МАМА!

А Сталин, хитроумный Сталин, готовя мат Гитлеру, уже думал и о мемориальной стороне дела. Будущую победу надо было так отпраздновать, чтобы и победа, и празднование навсегда остались в истории. "Кто матери-истории более ценен?" – тот, кто умеет срежиссировать запоминающийся триумф победителя.

И вот 23 февраля 45 года все воинские части получили приказ ставки Главнокомандующего: "...отобрать наиболее отличившихся участников боевых действий для проведения парада Победы". И Мишу, и друга его незабвенного, Кутузова Виктора Михайловича, с занесенными шашками вырвали из боя и притащили в Вильнюс, в штаб фронта.

## ВИЛЬНЮС

Когда комбриг Андрей Степанович вышел от командира фронта с предписаниями:"... следовать в Москву для получения дальнейших указаний по подготовке к параду Победы", – возликовали четверо из пятерых избранных бойцов (времена были крутые, и "пан" мог легко превратиться в "пропал"), и только Миша молчал, пытаясь проглотить неведомо как возникший комок в горле. В мозгу его валтазаровой надписью сверкал и гас зигзаг маршрута: Вильнюс – Минск – Москва.

Дорога на Москву была одна, и проходила она через родной город...

– Андрей Степанович, разрешите мне на денек в Минске задержаться, – голос отказал, и он закончил хриплым шепотом, – я должен узнать, что с моей семьей.

Комбрига Зайцева солдаты называли ласково Степаныч. Он был из редких тогда командиров среднего звена, всеми силами, ценой личной карьеры, а иногда и жизни избегавших лишних потерь. Большую часть подчиненных он знал в лицо, а о таких, как Миша и Виктор, – и

всю их подноготную.

– Как я тебя отпущу, когда сам не знаю места дислокации? Москва, братец, велика – где я тебя искать буду? А не явишься – сам знаешь – и тебе расстрел, и мне трибунал.

Отошел Мишка в сторону, унимая знакомую дрожь бешенства, решил про себя: "Расстрел, так расстрел!" – и чертил уже в воображении штриховую картинку, как самовольно спрыгнет с поезда в Минске, и побежит, побежит по Советской, через площадь, за Дом Правительства, к дедушкиному дому. И пусть стреляют!

– Миш, ты что? – Виктор тряс его за плечо.

– Расстреляйте меня! Уйду без документов, – смуглая рука до дрожи сжимала рукоять нагана.

– Стоять!!! Дурья башка, успеешь еще под расстрел. Я счас все улажу. Жди! – Обтянул гимнастерку, молодецки звякнул медалями, и пошел к Степанычу.

Виктор Кутузов, потомок самого Михаила Илларионовича Кутузова, из старинной московской военной фамилии, потерявшей в Великую Отечественную троих из пяти сыновей, был весельчаком, красавцем, любимцем женщин, по-московски щедрым, за что уважаем был всеми без исключения товарищами, и по-сатанински хитрым, быстрым и надежным в бою, что и роднило его с Мишкой.

От Калинина до Кенигсберга пропахали они борозду своим Т-34, Миша – механиком-водителем, Кутузов – командиром экипажа. И горели, и тонули вместе, и наступали, и чинились, и отступали.

Так вот, пошел Виктор к комбригу и говорит:

– Андрей Степанович, мы счас в Москву едем, а я москвич, вы же знаете, наша квартира на Полянке.

– Ну.

– Вот мы приедем в Москву, поселимся, вы же мне разрешите мать навестить, так?

– Разрешу.

– А я у матери наш адрес оставлю для Миши. Он и найдет нас. Андрей Степанович, отпустите его хоть на день, он ведь за всю войну письмишка от родных не имел!

Подумал командир, крякнул,.. и выписал командировочное на два дня. Вышел из комнаты, обнял Мишу, и сказал:

– Ну, не подведи, братец. Теперь я твой заложник. Не вернешься вовремя – под трибунал пойду.

## МИНСК

Маховик сердца застучал, убыстряя обороты. Миша не стал ждать, пока сформируют состав, побежал на вокзал. Видит – товарный на путях стоит, а при последнем вагоне солдатик с флажком скучает.

– Друг, какое направление?

– На Минск.

– Мне в Минск вот так надо!

– Залезай! – махнул тот рукой с флажком.

Покурили, поговорили, и состав тронулся.

На Минск, на Минск, на Минск...

Через четыре часа остановились. Минск – Товарная. Миша соскочил на затоптанную, в мазуте, землю. Огляделся. Светало. Все знакомо и незнакомо. Отсюда, с Товарной, он ребенком таскал дрова для бабушкиной печки. Но не было тогда дырявящих небо руин. Холодный ветер с запахом цементной пыли, вороний грай, обугленные деревья... Что его здесь ждет?...

Выкурил Миша трофейную сигарету, затоптал бычок, и пошел к бабушкиному дому. Советская, трамвайные пути, Дом правительства, красный католический собор – тут, во дворе был дом бабушки и дедушки, куда они с братом любили прибегать, потому что всегда получали от бабушки печенье, оладушку или блинчик. Даже в голодные годы, просто тогда оладушки пеклись из картофельных очисток, а печенье – со жмыхом и семечками, что не делало их хуже. Больше всего любили они с Кадиком залезать на русскую печку и рассказывать друг другу страшные сказки.

Да вот же она, печь.

Та самая печка.

А дома нет.

Тогда он пошел по Московской к Немиге. То была вотчина его родни. Там в деревянных одно– и двухэтажных домах жили с семьями женатые и замужние дядья и тетки, всех числом двенадцать, у всех были дети его возраста, он прибегал сюда с ними играть, каждый дом знаком, да и стоят они, дома...

"Здравствуйте, я разыскиваю довоенных жильцов." – "Нет никого." – "Не знаем таких." – "Нету ваших!"

"Здравствуйте..." – "Нет таких."

"Здра..." – Со свистом хлопает дверь.

Он остановился. Сердце колотилось, как бешеное. Силы вдруг оставили его. Отсюда до родительского дома – пятнадцать минут по Хлебному переулку, потом свернуть к обойной фабрике, потом на Шпалерную.

Утро.

Прохожие спешат на работу.

Военные патрули.

До сих пор он не встретил ни одного еврея…

“Зачем я иду? Нет там никого… Надо ехать в Москву...”

Постоял, выкурил еще одну.

Только пройти по Хлебному...

Пошел.

Спускаясь по Шпалерной, среди развалин, он еще издали увидел свой дом.

Целый!

На совесть слепленный отцовской артелью комтруда, стоял, как ни в чем не бывало. Еще пару шагов, и Миша поднялся на крыльцо.

Постучал в дверь своей квартиры.

– Хто там? – Сдобный женский голос.

– Откройте, что вы боитесь? Я интересуюсь бывшими жильцами.

– Я не открою. Нет тут никого.

– Откройте, я взорву дверь. – Он колотил наганом по звонкому дереву.

– Что вы шумите, говорю вам, нет тут никого, – Она сделала ошибку, приотворив на мгновение.

Показалось полное лицо в белесых завитушках.

Миша отодвинул женщину и вошел.

Топилась русская печка – и забытый запах мяса с картошкой щекотал ноздри. Стены, отделанные Рахмейлем под дуб, пережили войну и оккупацию и сохранились. Из мебели знакомой была только железная табуретка, когда-то построенная отцом в качестве учебного пособия для Аркадика.

Все еще сжимая наган, Миша сказал:

– Как вам не стыдно! Почему вы мне не отвечали? Трудно было черкнуть две строчки?

Я каждый день писал сюда с фронта!

И тут распахнулась дверь спальни, и, как был в теплых кальсонах, выкатился мордатый мужик, ростом со шкаф, зампред СовМина Белоруссии Шляхтунов, да, он сам и представился, бывший командир партизанского отряда (из тех партизанских отрядов, куда евреев не принимали, а бывало, и расстреливали, забрав все ценное).

– Что шумишь, солдат? Я вселился в квартиру по временному ордеру горсовета.

– Я не требую сейчас квартиру, – сказал Миша, поигрывая наганом, – я только хочу узнать о моей семье.

Шляхтунов, хорошо знавший о судьбе минских евреев, на голубом глазу (поглядывая на неслабую Мишину амуницию) клялся, что не в курсе, писем не получал, и, конечно, никто не приходил.

– А насчет квартиры вы, Михаил, не турбуйтеся, – Шляхтунов, когда хотел, умел быть авантажным, – Мне уже строят на улице Горького. – И вальяжным пузом теснил Мишку к выходу.

В доме артели коммунистического труда было четыре квартиры – в трех из них до войны жили евреи-строители, а в четвертой – русский печник с женой Маней и дочками.

Миша постучал в квартиру номер четыре.

– Кто это?

– Маня, это я...

– Миша! – Она его узнала по голосу. – Вернулся!

Дверь отворилась, постаревшая Маня обняла его и заплакала.

Одна Манина дочка справно начистила и поставила в печь чугунок с картошкой, другая была послана и быстро вернулась, неся бутылку водки.

Для тех новостей, что Мане предстояло поведать, нужна была анестезия.

– Маня, где моя мама?

– Выпей, Мишенька...

– Маня, ты знаешь, где дедушка с бабушкой?

– Выпей, Миша, и закуси...

– Может, сестра Сара жива?

– Еще по одной, Миша...

Он опьянел и заплакал, а Маня тихо и монотонно называла имена родных, знакомых, товарищей. Это был длинный мартиролог разделивших одну судьбу людей.

– Маня!!! Не могу поверить, что мой папа мог дать себя убить в гетто! – стукнул он кулаком по столу и расплескал драгоценный эликсир забвения.

– Что ты, что ты, разве ты не знаешь? – Маня всплеснула руками. – Они в армии, и Рахмейл, и брат твой Аркадик!

Аркадий (он же освобождал Минск!) приходил сюда, к вам домой!

***…Только что на краю шевелящейся могилы он утюжил танком фашистов... – и вдруг увидел Кадика на открытой платформе с орудиями, уносимого поездом в темный тоннель. Он изо всех сил побежал за ним, но поезд набирал обороты, выехал из тоннеля, и лишь светлая точка впереди звала и обещала.***

– Шляхтунов врал! Убить врага! – Он схватил пистолет, скатился по лестнице вниз, на долю секунды приостановился у своей квартиры, позволяя всей силе собраться для одного удара, ногой вышиб дверь, и кинулся пристрелить гада, и убил бы, если бы не Маня с дочками, повисшие на нем с двух сторон и со слезами умолявшие: " Миша, не связывайся! Миша, не надо!"

– Пойдем, я отведу тебя. – Маня набросила телогрейку и завязала платок.

– Куда?

– Есть одна девушка, она переписывается с твоим братом.

Арон Грингауз был грамотный человек, наборщик в типографии имени Сталина. На работе он читал по долгу службы, а дома – для удовольствия. Потому знал много историй, любил и умел их рассказывать. Его постоянной аудиторией были дети: сын Аба с закадычным дружком Аркашей, и дочка Леночка. Правда, Леночка, сначала по малолетству, а потом из девичьего стремления быть побольше с матерью, часто не дослушивала истории Жюль Верна и Джека Лондона до конца, но мальчишек было не оторвать. Так и росли вместе.

22 июня 41 года вся молодежь собралась на открытие Комсомольского озера, которое на субботниках выкопали комсомольцы города. День был чудесный, а дальные взрывы казались учениями. Поэтому, когда объявили, что началась война, никто особенно не взволновался.

23 июня 41 года немцы начали бомбить Минск. По радио раздавались призывы не паниковать и не покидать рабочие места.

А 25 июня прямой хищный нос Рахмейля унюхал, откуда и куда ветер дует, когда, сам будучи коммунистом, увидел, что все городское начальство удрало из Минска. В тот день, придя домой, он коротко приказал сыну:

– Собирайся, мы идем в военкомат.

А Асне скомандовал:

– Бакумен грийт, их махен ди машин.[1]

План его был такой: они с Аркадием мобилизуются, и он добывает в военной части машину для эвакуации семей артельщиков комтруда.

Аркаша сделал ноги по направлению к дому Грингаузов.

– Аба, пошли вместе в военкомат!

– Но наш возраст еще не призывной...

– Папа говорит, что нас возьмут! Скажи своему отцу. Думай быстрее, Аба!

Рахмейл с Аркадием попали в окружение при отступлении из Минска, необстрелянный мальчишка дал себя ранить, впал в шок, потерял ориентацию, побежал в горячке на немцев и был бы убит стопроцентно, если бы не Рахмейл, железной рукой схвативший и опрокинувший сына на землю, пощечиной прекративший истерику, и вынесший его, потерявшего силы, на закорках из боя.

С отцом и сыном Грингауз случилось то же самое. Только, в отличие от моего деда, Арон был человеком не меча, но книги…

И до последнего часа считал себя виноватым в гибели сына.

План деда дал осечку и сработал лишь наполовину – даже знаменитый нахрап не помог ему достать машину. Асна и старшая дочь так и остались сидеть на узлах, когда Рахмейл и Аркадий вместе с отступающими частями вышли из Минска.

Мой будущий отец вернулся в город, где он родился и где его когда-то все любили, 3 июля 44 года с 3-им Белорусским фронтом. Его часть стояла в Минске, он бродил по пустым улицам среди разрушенных домов, надеясь встретить кого-нибудь знакомого.

Между тем обьявили о подготовке партизанского парада 14 июля, и в Минск из окрестных лесов потянулись оборванные, заросшие, с самодельным оружием партизаны. Все они собирались в зеленом парке у излучины Свислочи, возле построенного незадолго до войны Оперного театра.

Там Аркадий увидел еврейские лица. Это были бойцы отряда Семена Зорина – бежавшие из гетто парни и девушки. И среди них – не может быть! (но может быть все!) худую, черную, с опухшими ногами, но живую, живую – Лену, сестру друга Абы!

Маня привела Мишу в полуразрушенный домик на Немиге. Там ютились полторы семьи.

Половиной семьи были безрукий инвалид Арон Грингауз с дочкой, когда-то учившейся у матери

[1] Бакумен грийт, их махен ди машин. – Собирайся, я организую машину (идиш).

готовить еврейские блюда, но после университетов гетто и партизанского отряда освоившей умение хоронить и науку убивать.

Девушка с глазами и волосами чайного цвета нашла в шкафчике, завешенном вместо дверцы куском ситца в мелкий цветочек, початую чекушку, поставила эмалированную миску квашеной капусты, положила на газетку пайковые галеты, села напротив Миши за кургузый столик и по-бабьи оперлась рукой о лицо.

Молчание затягивалось.

Она смотрела на него требовательно и насмешливо, будто говоря: "Герой... Фронтовик... Где ты был, когда я шла по мостовой по щиколотку в крови и знала, что это кровь моей мамы?.."

Потом вздохнула и медленно вытащила из потрепанной книги драгоценность – письмо Аркадия из-под Бобруйска с номером полевой почты. У Миши в висках застучало, он грубо выхватил письмо, не прощаясь, выскочил на дорогу – ловить попутку. Машин не было, он побежал вверх по Немиге, но выбившийся из ритма удар сердца заставил его оглянуться. Она стояла у крыльца, придерживая платок на груди, и смотрела ему вслед…

Когда приехали в Бобруйск, смеркалось. Миша подбежал к первому встречному солдатику, показал номер полевой почты:

– Твоя?

– Нет, но попробуй пойди туда. Там тоже стоит военная часть.

Миша все делал бегом, а уж для того, чтобы найти брата, готов был и на марафонскую дистанцию. Он пробегал всю ночь от одной полевой почты к другой, пока не услышал:

– Да, это наша полевая почта.

С замиранием сердца спросил Мишка:

– Голуба Аркадия знаешь?

– Голуб-то? Да это наш помкомвзвода. Там, за аллеей – землянки. Его – первая.

И снова побежал Миша, уже на последнюю, короткую дистанцию, влез в землянку. Аркадия не было.

– Ребята, где Аркадий? Я его брат.

– А-а-а! Он скоро вернется, пошел посты проверять.

– А вот его кровать, присаживайся, браток.

Миша присел на братову лежанку, и таким покоем повеяло, что он повалился на нее, растянув шинель, и уснул.

***...Состав набирал скорость, а Миша бежал рядом, держась за поручень, все не мог расстаться с тем, кто его провожал. Потом махом вскочил на ступеньку, и понял, что не знает, кто это был, кого мучительно не хотелось потерять. Оглянулся в толпу и, перебирая взглядом фигуру за фигурой, так и не найдя того, кого искал, вдруг понял, что это была девушка. "Миша, просыпайся", – попросила она каким-то очень грудным голосом.***

– Миша, вставай! – Он разлепил глаза и увидел стриженного налысо, но все равно рыжего, в шинели с пушечками на лацканах, скалящего зубы здоровенного бугая.

– Кадик?! !

Медленно, как пятно огня на сырых дровах, проступала на худом лице улыбка, трудно разгоралась, гасла, – и вдруг вспыхнула и загрохотала пламенем хохота. Смеялись оба до слез, до судорог в животе. Обнимались, хлопая друг друга по спине; отстранялись, тыкали кулаками в плечи и грудь; боролись, ощущая силу, свою и брата, и Аркадий победил.

Соседи по землянке спроворили солдатское угощение, нашлись и наркомовские 100 грамм в количестве несколько раз по 300. И загужевали братья! Аркадий отпросился в увольнительную. Поехали в Минск – и пили, пили, пили, пили…

Миша очнулся в поезде, направлявшемся в Москву, пьяный в дым, спросил у соседа по вагону, какое сегодня число, – и понял, что опоздал из отпуска на три дня.

Теперь он знал, что едет прямо под трибунал. Поплотнее окрутился шинелью и снова уснул.

## МОСКВА

В конце февраля 45 года победа, как снежная лавина, уже наращивала массу, энергию и скорость, чтобы накрыть собой Румынию, Балканы, Польшу и само родовое гнездо фашизма – Германию, забить глотку Гитлеру, Геббельсу, Гиммлеру, смять и истоптать в прах свастику, и заменить ее гордой пятиконечной красной звездой.

В Москве тех дней почти каждый вечер взрывались счастьем салюты в честь взятия неизвестных доселе городков с немецкими названиями.

Волны эйфории поднимали и несли прогуливавшихся у Москва-реки граждан, заставляли обниматься с незнакомыми, а уж фронтовиков, горделиво позвякивавших медалями, экзальтированные девушки зацеловывали до красных пятен.

Миша вышел на площадь трех вокзалов и услышал многократно усиленный репродукторами голос Левитана, читавший приказ Главнокомандующего о проведении в Москве салюта в ознаменование взятия нескольких немецких городов, увидел враз разгладившиеся лица прохожих, вдохнул сухой морозный воздух и расправил плечи.

Умирать что-то вовсе расхотелось.

Экипаж машины боевой

Он нашел нужный дом, поднялся на шестой этаж по широкой лестнице, позвонил. Открыла ему пожилая женщина учительской наружности, седая, в фартуке, всплеснула руками:

– Ой, что же вы делаете? Как же вы себе-то позволяете? Начальство беспокоются, переживают, а Витенька-то за вас поручившись! Мне строго-настрого велено, если вы появитесь, закрыть вас на замок и никуда не пускать, пока за вами не приедут. Витенька часто ночует дома, вот он придет, уж разберется.

Два дня проскучал Миша под домашним арестом, починил электропроводку, повесил чудом сохранившуюся на чердаке люстру, отремонтировал шатавшийся стол – и тут появился Витька собственной персоной. Будучи чистокровным русаком, этот мастер по улаживанию, как сегодня бы сказали, кризисных ситуаций, применил хорошо зарекомендовавшую себя еще со времен Ветхого завета тактику.

Не дослушав Мишу, он актерски замахал руками, сказал: "Ша!" – и исчез. Как выяснилось впоследствии, через пару минут он нарисовался у соседки Галочки, продавщицы "Военторга", только для того, чтобы отдать приказание – взять подружек, Мару и Нату, тоже продавщиц в магазинах стратегических запасов, принести ему на квартиру оных сколько можно, и срочно готовить генеральское угощение к грандиозной первостатейной беседе, куда и наших красавиц тоже просят пожаловать, завитыми, припомажеными и благоуханными.

После чего свистнул, гикнул, вскочил на Сивку-Бурку и исчез в морозной мгле в сторону химполигона Люблино. Ну, не на коня вскочил Кутузов, это я погорячилась, а остановил попутку, но результат тот же. А к ночи, когда починенный очень кстати Михаилом стол уже ломился от яств, появился Виктор в грому и дыму "козла" Газ-67 вместе с комбригом и начштабом.

Сели за стол. Чтобы сломать лед отчужденности, Виктор, не дав опомниться комсоставу, провозгласил тост:

– За Сталина!

Выпили стоя. Закусили. Девушки несмело защебетали. Наращивая темп, Витька возвестил:

– Наша Победа близка! За Победу!

Как не выпить, ведь они ею жили четыре года.

И понеслась душа в рай.

В третьем часу ночи, когда танцевавшие под звуки патефона пары как-то рассосались, Миша и комбриг Зайцев, оба пьяные в драбадан, сидели за опустевшим столом. Миша в который раз повторял историю гибели своей семьи в минском гетто, и связанный с ней недавний эпизод поисков брата, закончившийся встречей в военной части под Бобруйском.

А Андрей Степаныч осекающимся голосом излагал уравнение военного времени:

– Ты пойми, Голуб, если бы ты попался где-то в дороге на проверке документов, а я не заявил на тебя, – обоим трибунал и расстрел.

– Если ты нигде не попался, а просто исчез (ну, убили тебя, допустим) – мне трибунал и расстрел.

– Если бы я заявил на тебя – тебе трибунал и расстрел, за тобой бы не мы приехали, а черный воронок. Понимаешь, браток? – он вытирал набегавшую слезу.

Миша тогда не знал, как отблагодарить Степаныча. Чем можно отдарить за спасенную жизнь? Но, став взрослее, нашел способ. Вырастив детей и внуков, рассказывал раз за разом им, слушавшим с открытыми ртами, каноническую повесть о том, как командир танковой бригады, полковник Зайцев, рискуя жизнью, спас его от расстрела. И до того доповторялся, что имя *Зайцев Андрей Степанович* вошло в хроники семьи вместе с еврейскими именами дедушек и бабушек.

И начались для Миши будни подготовки к

параду Победы.

Жили в Люблино, на огромном закрытом химполигоне, где и тренировались. Никто из избранных бойцов не знал, что они ходят по могильнику сотен контейнеров иприта и мышьяка. Не тревожил этот факт и организаторов-распорядителей, а чтобы держать личный состав в состоянии бодрости духа, солдатикам дважды в день наливали наркомовские 100 грамм. И универсальное лекарство работало.

Прежде всего их пересадили со знакомых родных Т-34 на тяжелые 46-тонные танки ИС-2. Расшифровывалась аббревиатура: "Иосиф Сталин" – так или иначе имя вождя в те годы вылезало из всех наименований новой военной техники. Затем нужно было научиться синхронно действовать в колоннах по 4 неповоротливые машины. Это было непохоже на боевую обстановку.

Но Сталин, видимо, придавал большое значение демонстрации грозной и молчаливой до поры силы перед нынешними союзниками (они же враги в прошлом и потенциальные враги в будущем), такое большое, что поставил главными пастухами бронированного стада Командующего танковыми войсками генерала Федоренко и его заместителя Ротмистрова. В ночных тренировочных походах по Москве генералы стояли регулировщиками движения.

Да, натворили тогда бед на московских улицах тяжелые мастодонты! Где старинную брусчатку в крошку размолотили, где, не вписавшись в поворот, углы зданий скруглили, где фонарные столбы снесли и сплющили.

За каждую такую промашку виновного вызывали на генеральский ковер, где он удостаивался высокой чести быть обматеренным с ног до головы самим Командующим танковыми войсками Красной армии.

В редкие вечера, когда не было прогонов, Кутузов тащил Мишку к себе на квартиру, и там радостная Москва в лице Мары и Наты ласкала победителей.

В то время как Сталин, Рузвельт и Черчилль заботились о том, как будет выглядеть Европа "в шесть часов вечера после войны", каждый выживший и сохранивший душу винтик многотонного армейского механизма тоже мечтал и строил планы на сладкую, частную, мирную жизнь.

Когда Мара засыпала, Мишка закрывал глаза, и под веками, после фиолетовых кругов и розовых пятен проступали контуры родительс-кого дома на Шпалерной, русской печки, облицованной голубым кафелем, и женской фигурки, ставящей в печь чугунок с кисло-сладким мясом. Он окликал ее каким-то нежным словом, не называя по имени, потому что имя ее было тайным и священным, как имя б-га, и он боялся грешными губами осквернить его. Женщина оборачивалась и смотрела на него требовательно и печально, долго-долго, пока ее грусть не сменялась робкой улыбкой, и тогда сердце падало куда-то вниз.

Однажды вечером Кутузов не дозвался дружка.

– Мне надо написать письмо домой, – сказал Миша.

Повод был – известить, что нашел Аркадия. Поблагодарить за помощь, и может быть, дубина ты этакая, извиниться за то, что так быстро уехал... Но как начать?

"Уважаемая…!" – но она же не старуха какая-нибудь.

"Дорогая …!" – а кто тебе дал право так ее называть?

Он вывел: "Лена!" – и остановился. Этим было сказано все.

Сам парад Победы не оставил следа в Мишиной памяти. Просто он слился с огромной машиной, его глаза стали ее глазами, его мозг – ее мозгом, размеренные удары его сердца – ее таймером. И проехал под летним ливнем, сантиметр в сантиметр соблюдая расстояние до впередиидущего ИС-2.

Сталин остался доволен.

Танки ИС-2 в Москве на улице Горького (сейчас Тверская перед вступлением на Красную Площадь во время парада в честь Победы 24 июня 1945 года. (Взято с www.waralbum.ru).

Анна Кононова

# МАДАМ МУРКИЦ-ДЖУНИОР

Мы, семейство двуногих в составе трех человек, много лет уже находимся в состоянии симбиоза с благородной кошачьей фамилией из рода Гималайских[1]. Ячейка усато-хвостатого общества до недавнего времени состояла из их сиятельства, морды белогвардейской, Вильяма Муркица и его верной, нежной любящей супруги Бьюти-Не-Разбей-Моё-Сердце. Как у многих пар со стажем, случались в их жизни разные истории, некоторые из которых запомнились, а иные даже и записаны домашним летописцем из племени Полезных Великанов, то бишь, вашей покорным слугой.

Живо вспоминается эпизод, когда господин Муркиц, призванный к обыденному геракловому подвигу, уединился с очаровательной голубокремовой экзоточкой за железной дверью комнаты безопасности.

Бьюти, его старая жена, его верная боевая подруга, распростерлась у железной двери подобно Ниобее, оплакивающей в данном случае незачатых детей, и выла мучительным трагическим мявом все три дня, которые ее повелитель потратил на соперницу. Зато, когда в приподнятом настроении и с чувством исполненного долга Вильям вышел из заточения, он был жестоко зашикан и смазан нежной лапкой верной подруги по усам! Так и так! И по сусалам! Чтоб знал!

Он извинялся, музыкально плача и поджимая роскошный хвост два дня, пока она не сменила гнев на милость.

Но потом! О, сладость примирения! Как она его облизывала! Как он ее облизывал! Как она обходила его кругом, на мгновение прижимаясь боком, ступала ровно на шаг вперед, чтобы дать ему возможность обнюхать её такой родной рыжий хвост, и когда он, ответив на призыв, делал рывок, чтобы схватить ее за загривок, она утробно-ласково говорила ему: "Нет, не сейчас..." – и оба замирали в одинаковых позах, обнявшись хвостами и касаясь друг друга. Не раз и не два приносила мудрая Бьюти таких же умных, как она сама, котят: кошечек, похожих на Вильяма, и котиков, повторяющих материнский окрас. Так что явление это давно перестало быть для нее чудом, она умело их умывала, причесывала и массировала, кормила и учила кодексу поведения благородных Гималайских котов.

Но... Как известно, лучшее – враг хорошего. Полезные Великаны, возомнившие себя Хозяевами, решили, что имеют право "расширить питомник".

На ловца и зверь бежит, а также клеются приключения на... Опа! Знакомая заводчица, уловив мое неясно выраженное желание, как бы между прочим, посетовала на перенаселенность дома Гималайцами и предложила забрать у нее молодую, но уже титулованную красотку по имени Оди. Оди была (да и есть) настоящая красавица, глаза – блюдца, хвост – страусиное опахало; изящная, утонченная, с движениями своенравными и неожиданными. Такую кошку – и даром! Я пыжилась, считая это признанием каких-то неведомых миру заслуг. Мы с мужем радостно перестраивали дом, чтобы сделать его удобным для увеличившейся семейки Шикарных Усов.

Первые три недели Оди играла роль Виртуальной кошки. Ее не было. Изредка, отодвинув диван, можно было заметить метнувшийся кончик хвоста. Лишь ночью, когда благородное семейство спало, раскинувшись в прихотливых позах, возле кормушки сверкали ее круглые глаза. Потом, освоившись, она стала все чаще выходить на сцену домашнего театра, и тут выяснилось одно обстоятельство, о котором мы, жалкие идеалисты, даже не подумали: наша зрелая, мудрая, добрая, интеллигентная Бьюти – такое же животное, как и все. Она невзлюбила молодуху и гоняла ее, как Кантемиров гоняет лошадь по арене цирка. Вильям, как и многие его "братья по полу", в щекотливой ситуации выбрал нейтралитет и с видом скучающего интеллигента возвышался над схваткой.

Хитер Муркиц! Знал, унюхал ведь, какой подарок судьбы получил!

В Лос Анжелесе, в районе Родео-Драйв, стоит скульптура, которую местные остряки назвали: "Мечта мужчины". Не хочется философствовать на эту тему, но, похоже, что голова тут и не нужна. Ну, положа руку на сердце, мужчины, ответьте: кто бы отказался от молодой прелестницы, горящей желанием, и при этом наивной до очаровательной глупости? Вильям не отказался.

У прекрасной, выставочной Оди выявились два дефекта: она была непроходимо глупа и при этом практически беспрерывно испускала

[1] Гималайская порода кошек – длинношерстые персидские с окрасом сиамских.

флюиды готовности к сношениям. "Фи, какое слово!" – скажут мои читатели, привыкшие к эвфемизмам.

Увы! Из песни слов не выкинешь. И для того, что началось в моем доме, когда пара сумела обмануть бдительность старой женки и, наконец, уединиться – это слово было самым травоядным. Картинки грубого секса с дикими криками Оди и победным рычанием Вильяма встречали меня, усталую, с работы и провожали ко сну. Парочка удобно устраивалась на нашем супружеском ложе – и только пух летел. Приходилось мириться с этим б...ббезобразием. Я успокаивала себя тем, что представляла, каких красивых котят нам принесет наша младшая жена. А муж, похоже, совсем не страдал и даже подбадривал Вильяма:

– Давай-давай-давай-давай!

– Шайбу! Шайбу!

– Го-о-о-ол!!!

– Молодца!

Так проходили дни и недели. Потом счет пошел на месяцы. Котят и в помине не было."Средь шумного бала, случайно" Вильям изменил новой любви со старой и уделил-таки верной Бьюти ее законных три дня – а той больше и не надо было. Вот кто действительно умеет делать котят! Животик уютной Бьюти стал округляться не по дням, а по часам. Она все больше спала и на брызги шампанского молодой парочки смотрела уже философски. Однажды Леша, вернувшись с работы, был встречен непривычно ластившейся Оди, которая, похоже, не понимала, что с ней происходит. Она кружилась вокруг Лешиных ног, прижимаясь к ним боками и урча от истекающей изнутри нежности. Он с трудом сделал несколько шагов вглубь квартиры – и вдруг услышал еле различимый писк. Кинулся искать, шел на прерывающийся звук, заглядывал во все потаенные щели – и начал находить их. Разбросанные по углам, не облизанные матерью и потому не начавшие дышать, котята нашей мечты были мокрыми и холодными. Путавшаяся в ногах Оди вместе с Лешей подходила к каждому, опасливо нюхала и вопросительно смотрела мужу в глаза. Единственный живой, зарытый горемамашей в песок, котенок уже не пищал, а хрипел, когда Леша схватил его и начал реанимировать. Он делал то, что нерадивая мамаша должна была сделать сама: искупал малыша, потом долго сушил и грел его. Котенок ожил и запищал активнее.

Когда пришла я, диспозиция была такова: котенок находился в картонной коробке с вырезанной и подвешенной с помощью клейкой ленты дверью, колыхавшейся под теплым ветерком конвектора, перевозбужденные муж и дочь переругивались на тему: как и чем кормить дитя, само дитя слабо верещало, Оди бегала вокруг ящика, изредка останавливаясь, принюхиваясь и тревожно заглядывая в отверстие, Вильям бросками описывал широкий круг вокруг Оди, время от времени спрашивая: "Что происходит? Я спрашиваю, что происходит?" И только толстая Бьюти совершенно точно знала, что здесь происходит. Она улучила момент, когда неудавшаяся мамаша отбежала по делам, заглянула в коробку, залезла туда и стала облизывать и греть малыша, который немедленно успокоился.

Мы с Лешей перевели дух. Для малыша забрезжила надежда на спасение. И тут – "аллегро фуриозо" – налетела Оди, зарычала у коробки, метя хвостом в бешенстве, отогнала благообразную, многоопытную нянюшку и сама вошла к котенку. Мы переглянулись с надеждой: "Может, будет кормить?" Через минуту она вышла из коробки, грациозно ступая, и направилась к кошачьему домику с песком. В зубах ее извивался котенок. Два дня просидела она с котенком в песке, нежно урчала ему и, кажется, даже облизывала. Но не кормила. Потом и вовсе молоко перегорело, и котенок умер. Глупым Хозяевам “расширенного питомника” осталось надеяться только на будущий помет никогда не подводившей первой мадам Муркиц. Между тем Оди вышла из кошачьего домика непреклонной мстительницей. С этого момента не стало в квартире места, где бы Бьюти могла чувствовать себя спокойно. Увидев ее, молодая кошка, полная злобной силы, легко догоняла "даму средних лет", выпускала из заветных кармашков свои пять танто[1]) – и просто резала убегающую противницу . В доме белым облаком стелился пух и стояли маленькие лужицы крови.

Я стала запирать соперниц в разные комнаты, что не очень помогало – стоило на мгновение открыть дверь, как заключенные бежали, чтобы под столом сойтись в новой схватке. Ища убежища, Бьюти прибегала в мою спальню, молча зализывала раны, и располагалась рядом с моей подушкой.

Бедная, бедная порядочная Бьюти! Она так хорошо всегда знала, как надо, как лучше, как правильно! И тут приходит сумасшедшая нимфоманка, плюющая на все традиционные ценности Гималайского рода, и когтями и зубами отстаивает право на своего котенка, которого и накормить-то не умеет, и даже уморила его, а все равно, живой или мертвый – он ее. Кончилась история печально. Мадам Муркиц-джуниор в ненависти оказалась неутомимой и последовательной, как Терминатор. Она успокоилась только тогда, когда Бьюти выкинула троих недоношенных котят.

Успокоилась, почистила свою роскошную шубку, и занялась сексом с покорным Вильямом.

[1] Танто – японский короткий плоский кинжал.

*Лев Бертин*

# ЦИКЛИЧНОСТЬ

ОТЦУ

Товарищ гвардии старший сержант,
докладываю обстановку:
все ваши награды в коробке лежат,
я их берегу, как обновку.

Товарищ  сержант, здесь мы все собрались
в преддверии Нового года.
Последний случайный декабрьский лист,
озябший, замечен у входа.

Накрыли поляну:  капустка, грибы,
колбаска нарезана, сохнет.
Сержант, вам сегодня исполнилось бы
не больше не меньше как сотня.

Сто лет! Юбилей! не бывает круглей.
Ну, разве что тыща... Пузырь на столе…
Но, прежде, чем выпьем, без всяких причин,
давайте чуток помолчим.

_____

... На улице холод, а мы здесь в тепле.
Невеселы гости, хоть навеселе.
А кто за столом? Почему не поем?
...С тобой мы, отец... Вдвоем...

* * *

Найти бы побратима,
кто б повторил за мной :
" Да здравствует рутина,
что держит шар земной !"

Нам данная привычка
уходов и рождений—
простая перекличка
размеренных движений.

Такая вот картина,
уж вы не обессудьте...
Рутина — паутина
по духу и по сути.

Нам в ней совсем неплохо,
хотя б из чувства стадности...
О том спросите лоха,
дожившего до старости....

* * *

Во мне, как у путаны
иль, скажем, травести,
живут такие тайны, что —
господи, прости.
Кругами всё кружили
и я впустил их , что ж...
Свои или чужие
теперь не разберешь.

Дрейфует лет флотилия,
всё становясь длинней.
Душа моя, Бастилия,
со мною, а при ней:
и Маска есть Железная,
и вольнодум Вольтер,
и песенка скабрезная,
и давний адюльтер...

Давайте верить в лучшее!
Сегодня, господа, —

амнистия по случаю
неСтрашного Суда.
Но...
Кому вручить мне розу?
Кому налить вина?
Спасибочки склерозу,
не вспомню ни хрена...

* * *

Женщины рифмуются с... женьшенем.
Лечат нас любовью и прощеньем.
Как женьшень, нам продлевают дни.
Любим их и их же укоряем,
хоть порою лишь благодаря им
живы... Интереснее они,
нежели их спутники, мужчины,
рифмою к которым лишь... морщины...

* * *

Имениннице семьдесят семь.
Именинница неизлечима.
Вот такая простая причина,
почему невеселый совсем
день рожденья.

Гулять, так гулять!..
Именинница больше молчала,
будто вслушиваясь, отвечала
на вопросы пришедших узнать
о здоровьи.

Как-будто ждала
чей-то голос, что шепота тише,
чтоб потом, не простив, не простившись,
тихо выскользнуть из-за стола...

## ЮЛИКУ

*Ю. Рашковскому*

В июне дело было иль в июле.
Реднеки[1] мирно спали по домам.
Мне вслух "читал" ночное небо Юлий,
как некий фантастический роман.

Среди созвездий, как в знакомом доме,
гуляя, окликал их находу.
Он, как птенца, держал в своей ладони
намокшую озябшую звезду...

Ах, Юлик, Юлик, сфер ночных знаток!
Давай-ка с неба спустимся, браток.
Уж лучше здесь задержимся чуток,
покуда чист и светел звезд чертог.

...Молчала вечность. Тикали часы.
Без надобности, прямь над головою,
застыли в равновесии ВЕСЫ...
Не взвесить ничего, не взять с собою...

* * *

*В каком веке взад пятками ходили греки?*
*/Детская загадка /*

Я видел : в 21ом веке
взад пятками ходили греки.
Еще другие человеки
по пляжу —дамы, господа —
американцы, мексиканцы...
порядочные и... засранцы...
вдоль кромки берега волнистой
туда ходили и сюда.

Поговорим за жизнь, ребятки.
В песке оставленные пятки,
как наших судеб отпечатки,
волною смоет, не беда.
А кто сидел на пятой точке,
простату грел себе и почки,
пил пиво, кутался в шезлонге...
Тот не оставит и следа.

* * *

По оперенью — жар-птица,
маленький красный коралл,
возле рук, но не синица,
с неба, но и не журавль

(в гости — к соседу? к соседке?),
круг очертив надо мной,

[1] Реднек (red – красный, neck – шея ) – житель американского Юга

тихо уселась на ветке
рядышком с желтой луной...

* * *

Если возраст — высота, то с высоты,
вспоминая те ступени, этажи,
так нетрудно, от подъема поостыв,
год за годом объяснить всю свою жизнь.

А потом необъяснимое собрать,
лоб наморщить и в затылке поскрести,
не найдя ответов, плечиком пожать
и руками — широко так — развести...

* * *

Отбросив околичность,
замечу насторожено:
Я думаю, цикличность,
как мина, в нас заложена.

И потому расстроенным
небритым обывателем
хожу, хожу — со встроенным
давным-давно взрывателем...

## МНЕ ПОДАРИЛИ ШЛЯПУ

Надевать подарок погожу,
хоть по сути и не возражаю:
по примете, шляпа та — к дождю.
Ну а дождь, конечно,— к урожаю...

## FITNESS

Языками здесь не принято молоть.
Здесь часами изнуряют свою плоть.
Для интриги тут вериги у стены —
вовсе не смешны.

Добры молодцы — румянец в пол-лица.
Красны девицы выделываются.
И не грех берут здесь на душу, а вес —
в поясе и без.
Ах ты, эдакий-разэдакий мужик.
Ты расслабился от света и музык.
От подружек, вес сгоняющих, вокруг,
от внимательнейших взглядов тех подруг.
И никто тебя за майку не держал.
На дорожке ты три мили пробежал.
На другой дорожке столько же проплыл,
пресс качал и руки из последних сил.
Легким паром после в баньке полирнул,
сам из зеркала себе же подмигнул.
Без калорий лишних, похудев вдвойне,
похилял к жене...

* * *

*"...и мясо белых братьев жарить..."*
*/ А. Блок /*

Не волнуйтесь, дамочка, и не будите крошку.
Для волнений ваших абсолютно нет причин.
Океан не сердится, всё это понарошку,
живы и здоровы все, кого он замочил.

В воду – не советую, тут вот какая лажа :
**Посейдон** шалит и не уймется **по сей день.**
Если волны полируют сковородку пляжа,
что искать мне, что ловить вам – в мутной той
воде ?

Завтра все мы встретимся всё там же, посередке
вымытой до блеска раскаленной сковородки.
Снова выйдет солнышко и примется
(не жаль ведь)
мясо на песке цветных и белых братьев
жарить....

Николай Сундеев

# СТИХОТВОРЕНИЯ

## ГНЕЗДО

Рассыплется, и не спасет ничто
от гибели – так стало мне казаться
в разгар зимы...
И все-таки гнездо
смогло каким-то чудом удержаться.

С него стекает талая вода.
Глядит гнездо, качаясь легкой лодкой,
на мир земной –
подобие гнезда
на ветке ломкой...

## СТРУЧКИ АКАЦИЙ

*Слышу их. Слышу их. Приближаются.*
*Шуршат...*
*Дж. Менюк, «Гадюки»*

Их ветер гнал.
И, легки,
по сумеречной аллее
извилистые стручки
акаций – ползли, как змеи.

Был слабо их слышен шип,
но ветер
рванулся круче
и, парк переполошив,
шипеньем его озвучил.

И были –
вблизи, вдали –
страшны стручки кочевые,
как будто бы яд несли,
а не семена живые.

* * *

О чем ты плачешь, птица,
вечернею порой?
О том, что не продлиться
беспечности былой?

О том, что все на свете
идет и вкривь, и вкось?
О том ли, что столетье
со взрывов началось?

На пасмурной аллее
дышу тоской твоей.
А в небе все темнее,
и на земле темней...

## СЕМЬЯ

Иногда
раздвигаются времена,
эта плотная тёмная пелена,
и тогда
та изба мне видна,
где сидит за столом большая семья:
Пётр, Мария, шестеро их детей –
сын (в сорок первом погибнет)
и пятеро дочерей
(там и девочка Таня,

мама моя, –
что пока для неё тайна...)

Семья, восемь судеб,
слившиеся в одну
(недолго так оно будет:
вини войну...),
семья, средоточье тепла...

Дед мой Пётр – во главе стола.

Казак уральский,
лесник, воин,
как он торжественно,
неколебимо спокоен!
Ест не спеша. Тишина.
Ужин похож на обряд.
И дети, покуда едят,
ни слова не говорят.

Мирные скоро кончатся времена,
сгубит деда
третья его война,
почему же спокоен он так?
Потому что – хозяин
в людном своём дому,
а этого не дано отнять никому;
потому что верит в бессмертье
большой семьи,
самой надёжной опоры на свете.
(И впрямь ведь – выживут
пятеро из восьми:
девочки его, дети...)

...И смыкается вдруг
времён пелена,
и от этой избы отсекает меня.
Дед мой, прощай!
Ты далеко-далече,
но оттого, что спокоен ты,
жить мне легче...

* * *

Ростки пробились из-под спуда
земли
на вольный свет весны,
не знавшей зелени покуда,
и светом тем ослеплены.

Земная ширь на них дохнула
нерезким ветром низовым,
и от движения и гула
дневного
чуть тревожно им.

Но все же — хорошо...
Над степью,
где неба зыбкая река,
плывут в лепном великолепье
медлительные облака...

Про войны, засухи, невзгоды
все явственнее, все слышней
нашептывает память рода,
струящаяся из корней,—

но впитывают каждой порой
ростки, что выбрались на свет,
земную эту жизнь,
которой,
как жажде жить, предела нет.

## ВОПРОСЫ ЖЕНЩИНЫ

«Любил ли ты меня в те времена,
когда ночною веткой я была
у твоего окна?

Любил ли ты меня в те времена,
когда я тенью ласточки была
над головой твоей?

А в те – еще древнее – времена,
когда лучом веселым я была
в твоей слепой и тесной колыбели,
любил ли ты меня?»

* * *

...И вся преображаешься ты вдруг,
лишь в свет, в окно струящийся, одета,
и нет преград
для губ твоих и рук,
для смелости твоей запретов нету.

Ты вся сейчас —
смятенье и порыв,
а вовсе не овечка для закланья;

ты — ветром раздуваемое пламя,
весенних вод стремительный разлив.

## НЕТ СВЕТА В ДОМЕ

Нам хорошо вдвоем,
и мы с судьбой не спорим,
хоть чай,
что молча пьем,
при свете свечки черен.

Но длится темный час,
и мнится отчего-то,
что этот мрак у нас
задержится на годы.

Останется в судьбе,
как тягостный осадок,
чтобы во мне, в тебе
оставить отпечаток.

Скорей бы вспыхнул свет,
неся конец печалям…
Да только –
света нет.
Сидим за черным чаем.

* * *

Да, эти улицы красивы
и многолюдны, но просила
иного зрелища душа, –
и, неудачами исхлестан,
он брел окраиною пестрой,
шепча (и этим боль глуша):

«Они мои: столбы, подводы
и клячи – скорбные уроды,
состарившиеся в тоске,
а в винных лавочках лядащих
пьет мой товарищ – неудачник
и строит замки на песке.

Они мои – дворы глухие,
домишки, тополя кривые
от улиц главных в стороне.
Завязшим в копоти и пыли
несбыточных, пустых усилий,
не повезло им, как и мне.

Окраин выцветшие крыши...
Я их люблю и ненавижу,
почти как самого себя.
Вдали, как призраки удачи,
дома высотные маячат.
Нет, не дойти мне... Не судьба».

* * *

Вечер тихий,
речная вода,
перекличка далеких свечений,
и прохлада, и череда
ускользающих ощущений…

Как непросто отсюда уйти…
Можно вкрадчивою порою
навсегда здесь остаться, врасти
в кромку глинистую
над водою,–

чтоб, с природой великою слит,
с этой волей и мощью единой,
был я всем и ничем,
перевит
неразрывной ее пуповиной.

Нет, свободой своей дорожа
и своей сокровенною речью,
не позволит расстаться душа
безвозвратно
с судьбой человечьей.

Вечер тихий,
речная вода,
перекличка свечений, прохладца...
Отрываюсь – но не навсегда,
ухожу, чтобы вновь возвращаться...

* * *

Круг несостоявшихся героев
и пророков
мне знаком давно.
Жаждой славы
выжжено нутро их,
пьяною бравадой сожжено.

И, хотя они покуда живы
и о чем-то спорят, петушась, –

преданы высокие порывы,
втоптаны бесповоротно в грязь.

Боже,
подходил и я к той грани,
как к последней грани бытия.
Средь хмельных и горьких восклицаний
в эту бездну
заглянул и я, –
но спасла меня рука Твоя...

* * *

Душа порою жаждала вина –
чтоб напряженье снять, забыть заботы,
но чаще упивался допьяна
я не вином –
предчувствием свободы.

Свобода – это право на строку,
уменье мощь свою направить в русло,
чтобы, на диво другу и врагу,
возникло настоящее искусство.

Я близко подошел к свободе той,
и жил я на пороге откровенья,
и бытия водоворот крутой
был для меня едва ль страшнее тени.

Лишь творчество,
лишь труд и красоту
впустил в свое пространство навсегда я.
И я ее обрел,
свободу ту,
и я доныне ею обладаю.

Но жизнь менялась.
Стали дни страшны,
в привычном мире обнажились бездны.
Кому на свете вы теперь нужны,
плоды моей свободы бесполезной?

Кого влекут стихи?
Не до того...
Но не могу поверить отчего-то,
что только для меня для одного
сокровище она,
моя свобода.

## РЕКА

Сырую обнажая глину,
сползала с берегов вода.
И стала уже вполовину
река, что заждалась дождя.

Она безудержно мелела,
но, споря с едкою жарой,
её сжимавшееся тело
дышало свежестью живой.

Она слабела – но рекою
была как прежде, как всегда,
и к ней
исконною тропою
спешили люди и стада.

И в том, что суть её и свойства
не изменялись с ходом дней,
устойчивость мироустройства
как будто открывалась ей.

А зной давил неудержимо...

Сжимаясь, верила река,
что разожмётся,
как пружина,
в свой час, неведомый пока.

## ПОСЛЕ ВЫХОДА КНИГИ

Книга обживается, как дом.
Сам себе и верю, и не верю,
что возвел я дом
своим трудом,
испытав и счастье, и потери.

Обживаю новое жилье,
самое желанное на свете.
Зыбкое пристанище мое…
Вовсе не из камня
стены эти.

Но землетрясенья и огня
не боится этот дом, по сути.
Никакие нелюди и люди
из него не выселят меня.

Татьяна Апраксина

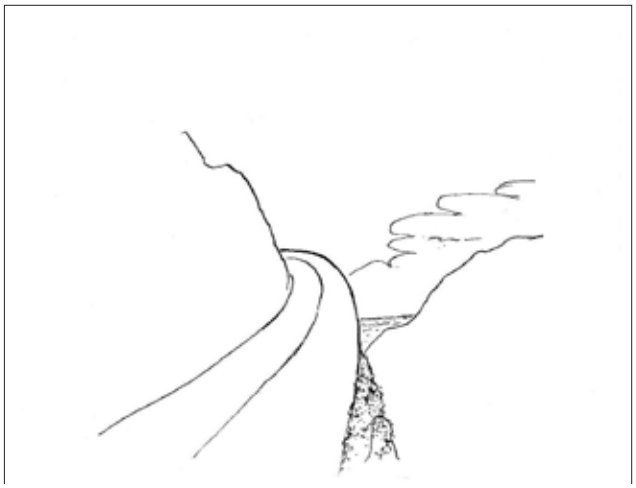
# СМОТРЮ НА ФУДЗИЯМУ

Стихи и рисунки

Куда б дорога наша ни бежала,
Смотрю на Фудзияму каждый день,
Живу на Фудзияме, не слезая.

Стол почернел от дождя.
Пусто в саду.
Ветку качнула
Взлетевшая мокрая птица

14 января



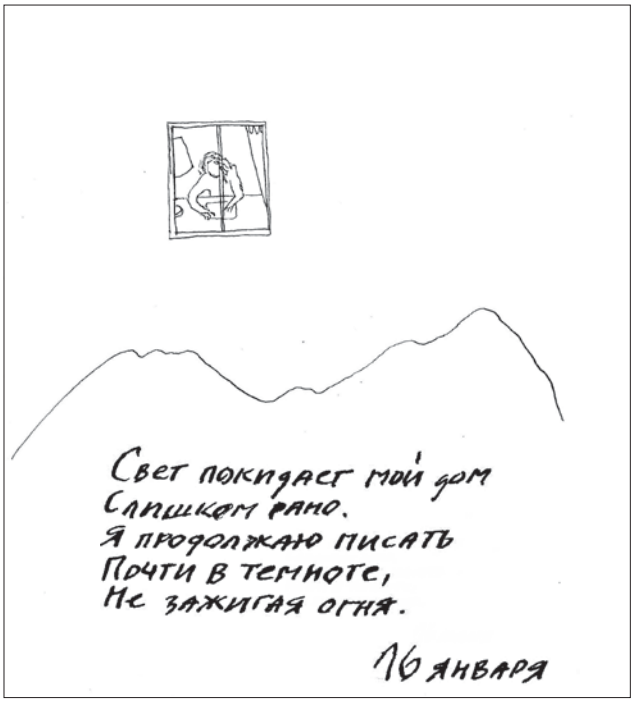
14 января

Здесь останавливать движенье
Запрещено в любое время суток.
Так говорит табличка,
На которой отдыхает ястреб,
Нам траекторию пути
Разрезав по косой
Своим стремительным падением с неба.

Запрет предназначается тому,
Кто двигается по земле горизонтально
И может стать помехой для орлов,
Что отрохнуть желают от небес.

Стая лесных голубей
Поднялась от подножия гор,
Чтобы круг описать в вышине,
Убедиться, что небо на месте,
И спуститься опять
В зелень тёмных дубовых кустов.

15 января


Свет покидает мой дом
Слишком рано.
Я продолжаю писать
Почти в темноте,
Не зажигая огня.
16 января

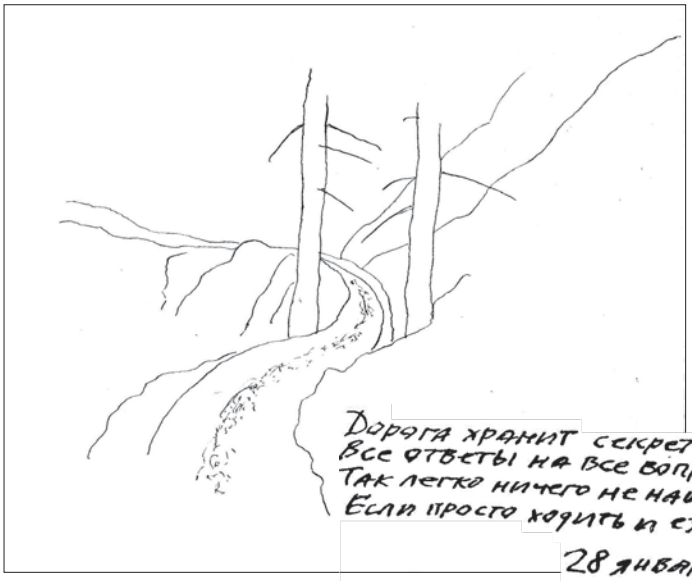
Речка опять поднялась.
Я не видела этого
С прошлой зимы.
18 января

Безбровое лицо
Туман прижал к стеклу.
Мой дом окружён —
За каждым окном
Я вижу глаза тумана.
17 января

Мучительно тоскую по любви народной...
Зачем?..
Чтоб было слаще отвернуться!
18 января

Внизу под северным окном
Бурлит и скачет радостно
Ожившая вода
18 января

Здравствуй, подруга!
Знакомая ветка
Мне машет в окно
Всё так же приветливо,
Хоть и похожа сегодня
На лапу
Промокшего пса.
19 января



Дорога хранит секрет.
Все ответы на все вопросы.
Так легко ничего не найти,
Если просто ходить и ездить.

28 января

Лечь на землю.
Прижаться к земле.
Иногда это нужно.
Для того, чтоб уверенней встать.

30 января

Куда, зачем
Плывут по небу облака?
Они не объясняют.
А всё-таки на всё влияют.

28 января

Воды дождавшись от небес,
Река несётся и гудит, как поезд.
Спасибо, что сказал об этом:
Мне так хотелось точных слов.

1 февраля

Если душа горы
Захочет быть нежной,
Мы станем друг друга любить
Без конца.

28 января

Очарованье пустоты —
Единственный хозяин,
Которому согласна
Покориться.

3 февраля

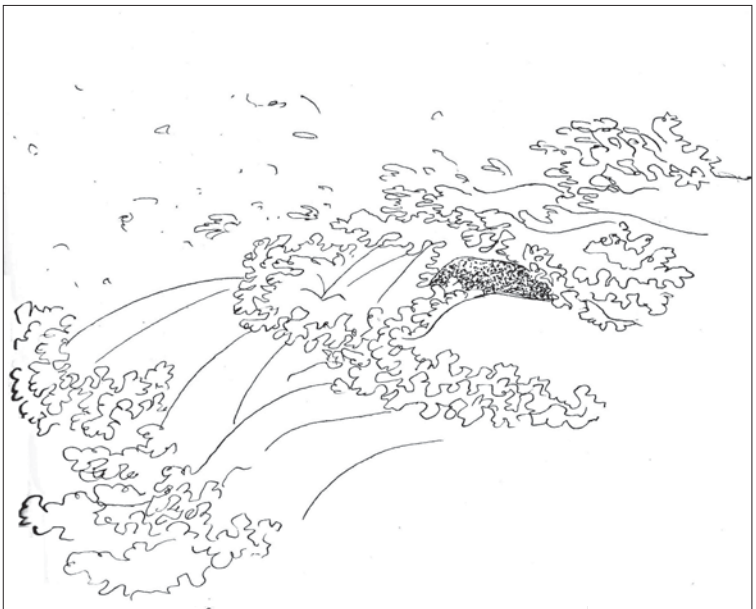
Едва успевая
Соскучиться по океану,
Он сам ко мне пришёл,
Туманом бархатным упав
В объятия каньона.

7 февраля

Люблю таинственную силу
Словесных знаков на бумаге.
А как узнать, какие буквы
Дождём оставлены на камне?

Этот дождь без конца!
Я в каюте своей —
Как Иона
В животе у морского кита.

12 февраля

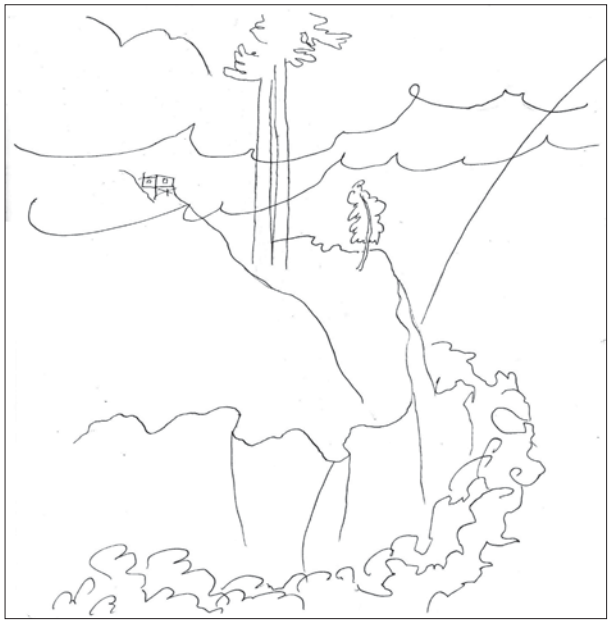


Дождями накачавшись,
Ревёшь, как страшный зверь...
Река!
Теперь я точно знаю, что одна
У вас стихия
С беспощадным океаном!

13 февраля

Вибрации реки
Приобретают интонацию угрозы,
Толчками тонн воды
Мешая засыпать
Дракон растёт,
Распознавая вкус свободы.
Мой дом колеблется,
Речной стихии
Чуя власть

13 февраля



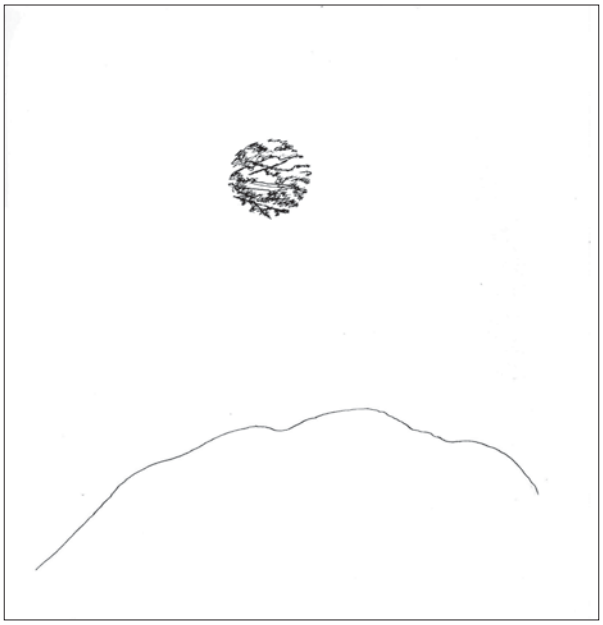
Тональность бешеного голоса реки
Меняется рывками, намекая
На ненасытный аппетит:
Намеренья растут с увеличеньем силы.

Стихии говорят мне каждый раз:
Единственное благо — гармоничность,
Закон добра — согласие: огня и вод,
Деревьев и земли,
И слов, и дел, и мыслей.

13 февраля

Поднимись ко мне на вершину,
Посмотри, как ручей под луной
Белым светом ущелье своё озаряет,
Как святое дитя — колыбель.

18 февраля



Луны тяжёлый шар
Перебирает грозья
Чёрных веток

18 февраля

Игорь Ильин

**ИСТОРИИ С ЮГА АФРИКИ**

Денис Чернов

**ИЛЛЮСТРАЦИИ**

## ЛЕГЕНДА О БАМБУКЕ

...Быстро растёт бамбук. Приложишь ладонь к земле, где затаилось семя, – и вскоре услышишь, как острым клювиком тычется в ладонь росток. Забудешь у реки калебас, вернёшься – и вдруг видишь, как калебасом, словно головой, насмешливо кивает тебе уже рослый бамбук. Войдут в реку девушки, разложив на песке онгуо, выйдут – глядь, а их онгуо дразнятся с высоких стеблей – дотянись, попробуй! Вот как быстро растёт бамбук.

И спешит он, и тянется вверх, дотянуться зелёным листом до неба. И не страшны ему ни самый сильный ветер, ни самое большое наводнение и не сломить его никому.

А видел ли ты, как цветёт бамбук? – Те, кто видели, уже никогда не забудут, но это редкие люди. Жизнь у бамбука долгая, как у человека, и цветёт он лишь раз в своей долгой, как у человека, жизни. Лишь однажды цветёт бамбук.

Лишь однажды цветёт бамбук, и после – погибает.

...Хочешь, я сделаю тебе из его стебля омутили, свирель? – Удивительно поёт эта свирель.

* * *

Когда-то, в те далёкие времена, когда деревья были куда выше, чем сейчас, когда все говорили на одном языке и понимали друг друга, и когда ещё бог Калунга ходил по земле и можно было встретить его, жил человек по имени Омбунгу. Весёлый был человек. И пусть не было у него ни коров, ни овец, зато от никогда не унывал. И никто не помнил слёз в его глазах, а все помнили солнечную его улыбку.

Рассказывают, что однажды он попался крокодилу – но улыбка и тогда светилась на его лице! От удивления крокодил даже разинул пасть и хотел спросить, почему улыбается этот человек. Но не успел. Потому что Омбунгу был уже далеко, и только весёлая песня долетела издали.

Глупый крокодил так и не понял, что этот человек просто не умел плакать. Уж такой он был человек. Омбунгу-который-улыбается!

...И всё-таки, наверное, о нём забыли бы, и не было бы этой сказки, но однажды он встретил у реки девушку.

И хотел улыбнуться ей – не сумел. И хотел сказать шутку – не смог. Он как будто утонул в песке, задохнулся от быстрого бега.

А девушка рассмеялась:

– Не тебя ли зовут Омбунгу? Уж не ты ли самый весёлый человек в этих местах? И не твоё ли имя услышав, начинают смеяться даже крокодилы?

Но Омбунгу ничего не мог ответить: он как будто забыл все слова, а не то что проделки и шутки. И не мог он понять, что с ним произошло.

...И поднялось на другой день солнце. Такое же. И не такое.

И осветило лес и озёра. Как всегда. И как никогда.

И запели деревья, и зазвенели птицы и цикады. И Омбунгу понял, что всё это оттого, что встретил он у реки девушку, которой не смог сказать ни слова.

И тогда он срезал стебелёк травы и пошёл искать деревню, где жила девушка, и повязал стебелёк ей на запястье.

А девушка вновь рассмеялась.

– Не хочешь ли ты назвать меня женой? Не хочешь ли ты сказать, что всё готов делать для меня? – А где же твои стада, Омбунгу? Как же ты будешь кормить меня, Омбунгу? Видишь: Олений глаз уже в небе и следит за нами – приведи за меня хотя бы того оленя! Омуени Омбунгу!

...Ничего не ответил Омбунгу. Бросился прочь. И словно роса мешала ему смотреть.

* * *

Сколько бежал он и сколько шёл – кто знает? – лишь голос омутили задрожит, как роса, и, как тропа, оборвётся её песня. И вот что я скажу тебе.

Давно уже умерли мастера, что умели делать настоящие омутили, такие омутили, которые могли говорить, как я и ты. Нет уже тех музыкантов, у которых были говорящие омутили. Мало осталось и тех, кто умел слушать и понимать свирель. И если когда-нибудь ты услышишь эту историю по-другому, что ж – не удивляйся. Правду тебе скажет только сама свирель.

* * *

Была ещё ночь, когда тропинка оборвалась у маленького лесного озера. Олений глаз заглядывал в озеро и отражался в нём. Теперь, куда бы ты ни отошёл, за тобой неотступно следили два глаза: один сверху, с неба, другой – снизу, из озера. И странный этот взгляд не давал ни укрыться, ни уйти.

Светло и гулко было вокруг – как бывает только ночью – и казалось, что всё замерло здесь, перед этим взглядом. Но не спит, а затаилось или ждёт чего-то. И в этой затаившейся тишине вдруг послышался глухой топот, поднялась пыль, и по колено в пыли появились быки, идущие прямо к воде.

Что это были за быки! Огромные – как королевская хижина олупала! Их рога уходили вверх, и не было видно, где они кончались. Их ноздри трепетали, как листья пальм на ветру, и над ложбиной стали подниматься клубы тёплого белого пара и уплывать в лес.

Омбунгу застыл в изумлении. Но тут пар расступился, и он вздрогнул: как будто гора выплыла из тумана и заслонила свет. Но то не гора была – перед ним стоял Пастух невиданного стада.

Имя его было Калунга каНангобе.

* * *

– Я знаю, зачем ты пришёл сюда, – заговорил Пастух. – Но тот, кто вышел на охоту, помнит, что за ним вышел на охоту лев: добиваясь одного, можно потерять другое. Люди всегда что-то теряют, но люди понимают, что можно терять, а что нет. Горе тому, кто забывает это: он – как трава, Омбунгу! Она ведь тоже тянется к небу. И даже быстрей человека! Но у травы нет ног, чтобы идти туда, где не так жжёт солнце. Нет языка, чтобы спросить у другой травы, где искать воду. Нет рук, чтобы зачерпнуть воды из ручья. И нечего терять – траве. Ты напрасно пришёл сюда, Омбунгу!

– Я напрасно пришёл сюда, тате, – ответил Омбунгу, – ты не сможешь меня понять. И я ничего не смогу тебе объяснить. Видно, я уже становлюсь травой. Ничего мне не надо, кроме одного. Но мне никогда не взять того оленя, и Олений глаз надо мной смеётся с неба! Я напрасно пришёл сюда, тате.

Так сказал Омбунгу. И повернулся уходить. А когда оглянулся, то ничего не увидел больше, только туман, а тропинка обрывалась у самых его ног.

* * *

...Омбунгу сидел у реки, где встретил девушку, и глядел на высокие деревья, тонущие в чёрном небе. Остывшее дыхание быков уже ползло по реке от далёкого озера и окутывало деревья, берега и тропинки. Омбунгу поднял голову и встретился с настороженным взглядом Оленя.

И почудилось ему, будто услышал он тихий смех и голос: «Приведи за меня хотя бы того Оленя!» И будто бы ещё один голос услышал Омбунгу. Но то был слишком далёкий и неясный голос. Омбунгу встал и вытянул руку в чёрное небо. И рука потянулась всё выше и выше, и становилась всё тоньше и тоньше, превращаясь в зелёный и острый луч травы...

* * *

...Быстро растёт Омбунгу, бамбук. Прямой, как ассегай, летит он вверх – дотянуться зелёным листом до неба. А небо? – То ниже кажется оно, то выше, но это – небо.

И вот не стало в деревне тех, кто помнил, как появился у реки странный росток. Не стало многих, кто ещё мог увидеть высокую его вершину. И родились те, кто уже не мог увидеть вершину стебля, так высоко она поднялась. И тогда наступил день, когда облака в вышине – там, где должна была быть вершина стебля, вдруг озарились необъяснимым зелёным светом. Бамбук зацвёл.

...То было грустное цветение, высоко-высоко у самого неба, и жители деревни запомнили этот день. То был день, когда в деревне умерла одна древняя-древняя старуха.

* * *

...Угаснет костёр. Отчётливей вспыхнут звёзды. Вплотную приблизятся холод и ночь.

Закурю тихонько. И невольно вдруг подумаю о том, что сказка остаётся сказкой. Так спокойней и правильней.

Но у реки послышится шорох, вздохнув, пересыплется земля, и прямо на глазах тёмная стрела бамбука пронижет лунный свет.

Быстро растёт омбунгу, бамбук...

## ЛЕГЕНДА О ПЛАЧУЩЕМ ДЕРЕВЕ
## CRYING AND CRYING IS ONKWO, THE TREE[1]

Когда перестали идти дожди,
И когда солнце выпило последнюю росу,
Когда листья деревьев, обессилев от жажды, больше не могли
держаться за ветви – и земля стала
покрываться шорохом листьев,
Когда из глиняной чаши под козьей шкурой
ушла вода, и я заметил
трещинку на дне чаши,
Когда я поднял последний калебас, а внутри
лишь затарахтело –
видно, какой-то жук заполз ночью да так и остался там,
Когда на рассвете уже было нечем дышать, а днём от моей экатаны
повеяло таким жаром, что казалось: лёгкое дуновение – и она
тут же вспыхнет, как голодная головешка,
затаившаяся под пеплом костра,
Когда я молча сидел, привалившись к столбу у входа, и безразлично
ждал вечера, а вечера всё не было и не было,
У самых моих ног
Вдруг незаметно
Дрогнула тень,
И, очнувшись
Я поднял глаза
И будто впервые
Увидел:
Какое зелёное
Дерево Онкво.

* * *

Омудалифи[2] нашла росток ранним петушиным утром в тот день, когда взяла меня на руки впервые в жизни и передала отцу, и отец назвал меня человеком и своим сыном. Я плакал – все плачут, когда их отрывают от матери – я плакал, а отец вынес меня из тёплой темноты хижины на красный холод рассвета и в гулкой, внезапно оглохшей тишине, когда вдруг разом смолк дрожащий нетерпеливый зов барабанов, я кожей затылка ощутил дыхание и услышал голос: отец открыл мне моё имя.

Отец назвал меня Онкво, потому что «Онкво» звали росток, и он был первым живым существом, что встретилось мне на моём пути. Возле самой хижины поднялся этот росток и теперь он стал деревом, зелёным и сильным Деревом Онкво.

Цепляясь за сухой частокол стены, я осторожно подтянул экатану и встал на ноги. Нас разделяло несколько шагов.

Лишь несколько шагов разделяло нас... Но как мне было их пройти, когда с каждым шагом моя экатана становилась всё тяжелее и тяжелее, и мне почему-то вспомнилось, что вот так – тяжелее и тяжелее – с каждым годом становился для матери камень ошини, в котором она толкла зерно, пока однажды, не сумев поднять его, мать не замерла рядом, собираясь тоже превратиться в камень. И уже не она, а другие женщины спугнули с каменной ступки большую серую ящерицу, что выползла погреться после холодной ночи. А ещё ночь спустя женщины перенесли камень на могилу, и ошини стала запретом.

Я долго шел эти несколько шагов. Но я боялся положить экатану на плечо или заткнуть за пояс – я не смог бы вынести ее жара. И я держал ее на весу дальше от бедра.

Я очень долго шёл – как будто всю свою жизнь прожил ещё раз. Я очень долго шёл, а дерево онкво глядело и глядело на меня и, казалось, понимало, зачем я иду.

Тогда, давно, моя мать согласилась с отцом и еще сказала, что теперь я не умру от жажды, потому что мы одного корня с деревом онкво, а его корень всегда найдёт воду, даже там, где, казалось бы, воды нет и быть не может.

Никто и никогда не видел его корней, так глубоко они уходили в землю. В самую страшную бурю, когда рушилась моя хижина и я ставил её заново из веток и стволов упавших деревьев, дерево онкво одно стояло и смотрело, как я обрубаю ветви этих деревьев и укладываю их под крышу, как я снимаю кору этих деревьев и

---

1 *"Плачет и плачет дерево Онкво"* (англ.). Из ненаписанной песни Хилундвы Шафеванге.

2 Omudalifi – повивальная бабка, старшая, самая опытная и уважаемая женщина в роду.

связываю ею стволы, как отложив экатану, жадно пью из калебаса воду.

Вода... Тате, если мы одного корня, тогда почему я умираю от жажды? Почему всё сгорело вокруг, и лишь одно дерево онкво всё так же зеленеет и зеленеет, даже в дни засухи! Ведь ты же обещал мне, Тате!

* * *

Лишь несколько шагов разделяло нас.
Я поднял голову.
И я повернулся, чтобы уйти.
И я опустил руки.
Я опустил руки –
экатана обожгла меня!
Страшен был этот ожог –
будто ночь упала –
и я ослеп.

Тате, я забыл уже лицо моей матери, и я забыл уже лицо моей жены, и я не помню уже лиц моих сыновей и внуков и сыновей моих внуков. Я даже не помню, когда это было – так давно это было.

Но и сейчас я помню этот ожог.
И белый порез на черной коре.
И я помню, как заплакало дерево,
И как потекли из пореза его прозрачные
холодные слёзы,
И как потемнела вокруг земля.
И как, припав к его коре, я сделал первый глоток.

* * *

Тате! Взгляни, какая высокая здесь трава, какие красивые белые птицы ходят по траве, какие прямые и высокие деревья растут вокруг. Под ними много камней. Там лежат мои внуки и правнуки, которые стали землёй и собой вскормили семена этих деревьев.

Но я не могу умереть и стать землёй и вскормить семя любого из них. У моей хижины плачет и плачет одно из этих деревьев. Онкво зовут его. Как и меня.

## ОНГВЕДИВА

Omusamane ihafunju aanona.
Отцы не лгут сыновьям.

Avantu ovakulupe ova mwena ndele
oshe shi nee kavanasha shokutonga ndele
vo ovena shihupu shokutonga.
Старики молчат не тогда, когда им нечего сказать,
а тогда, когда им надо сказать очень многое.

Пословицы племени кваньяма.

Омукулуну уже знал, что не увидит рассвета.

Он решил так ещё днем.

Он решил так, когда солнце стояло ещё высоко и тень была в четыре раза короче человека.

Он решил так, когда среди дневной жары ему в спину дохнул ветер и быки разом подняли головы. Омукулуну обернулся. И увидел, как вдали над бушами поднимается маленькое облачко.

И тогда он подумал о том, что ЭТО все равно случится. И будет лучше, если день для этого выберет он сам.

Это должен быть день, когда у него будут силы и когда он будет спокоен за тех, кого оставляет.

Сегодня у него есть силы. И сегодня он спокоен. И значит, это будет сегодня.

Омукулуну ещё раз посмотрел на облако и махнул сыну рукой, показывая, что пора собирать стадо.

Облако приближалось…

Их ошигуда была недалеко, на другом конце долины, и ещё вчера они бы подождали, пока облако доберется до ближайших холмов. Но сейчас старику хотелось управиться поскорее. Нужно было спешить, чтобы вечером спокойно посидеть у огня и, не торопясь, вспомнить, всё ли он сделал, не забыл ли о чём-нибудь.

Про себя он заметил, что сын ни о чём его не спросил и не удивился тому, что они возвращаются так рано. Это был хороший признак. Мальчик вел себя как мужчина. Омукулуну правильно выбрал день.

И неожиданно старик почувствовал, что улыбается.

Он поднёс к лицу ладонь, будто вытирая пот, но было поздно – сын заметил его улыбку, но опять ничего не спросил, а повернулся и пошел в хижину – взрослые не задают вопросов тем, кто старше их.

…А старик улыбался и не мог отогнать улыбку, улыбался – и ничего не мог с собой поделать.

Он улыбался тому, что всё решил сам.

* * *

Его давно уже называли «омукулуну», «старик», хотя это было неверно: его нельзя было считать старым по возрасту, он ещё не был главой рода, и у него могли бы быть ещё жены и дети.

Но уже давно у него было больше морщин, чем у многих старейшин, и волосы у него были белые, как перья птицы. И у него была только одна жена и только один сын. И вовсе не оттого, что он не смог бы прокормить других, нет, – у него было большое стадо. Но даже и для этой, одной, жены он давно уже был стариком. И повинен в этом был тот, с кем он решил встретиться сегодня ещё до рассвета. Старик пошевелил губами и нечаянно произнёс имя. И тут же огляделся. Но никого и ничего не увидел…

* * *

Он стоял у ограды, пока день совсем не ушел за тучу. Туча набухла, налилась и нависла над самой хижиной; вздохнула и замерла трава, и между травой и тучей заметалась маленькая птичка кандингилили. Старик ясно слышал, как бьются в тягучей тишине её крылья – и не мог вдохнуть полной грудью. Он поспешил в хижину, и тотчас на тропу упали тяжёлые первые капли. Будто пальцы ударили по коже там-тама. И дождь, будто бы с неохотой, как хороший танцор, начал свой танец. Быстрее. Быстрее.

Омукулуну чувствовал и любил танец воды. Он и сам был очень хорошим танцором когда-то. Он был очень хорошим танцором и воином, и многие женщины смотрели на него. И смотрела на него самая красивая из них – Нангула. Родившаяся-на-Рассвете.

…Мальчик переворачивал на огне мясо. Пламя трепетало под его руками, и его лицо то появлялось, то исчезало в темноте – у мальчика были Ее глаза… Старик вздохнул и отвернулся к дождю. Плотный поток уже завесил буши, загон, выбитую копытами дорогу и, наконец, обожжённые ветки, уложенные вокруг хижины, чтобы не подпустить змей. Еще на мгновение все осветилось и – совсем пропало во мгле. Недалеко за хижиной зарокотал большой онгома, и тоненькие струйки побежали сквозь крышу.

Пошарив за травяной подстилкой, старик нащупал калебасы с просяным пивом, немного выпил сам и протянул мальчику – ему хотелось, чтобы сын поскорее уснул и не заметил, как он уйдет. Внутри омукулуну понимал, что сыну хочется посидеть у дождя вместе с ним, но молчать было трудно, говорить – тоже, а главное – нельзя было, чтобы за ним пришли сюда. Поэтому он показал мальчику, чтобы тот ложился, и остался слушать дождь один.

* * *

После нескольких глотков омалоду в жилах бежало тепло, словно молодые силы ненадолго вернулись в дряхлое тело, чтобы помочь старику, и ему подумалось даже, что у него хватило бы сил прийти этой ночью в деревню к Нангуле. Но идти нужно было в другую сторону. И силы были нужны для другого…

Сколько сил было когда-то у омукулуну – Нангула не напрасно выбрала именно его! Дальше всех летела стрела, пущенная его рукой! Любого быка в своем стаде он мог свалить на землю, ухватив за рога! И на целый день пути не было вокруг ни одного бойца, которого не одолел бы он в поединке! Но силы омукулуну ушли, ушли на того, кого он даже не видел.

…Ошитоку и нельзя было увидеть. Ошитока не был ни человеком, ни деревом, ни камнем, ни быком, ни даже облаком. Но он мог быть и человеком, и деревом, и даже камнем, и быком, и даже облаком – у него не было своего тела. Ему не нужно было есть, спать, ходить на охоту, собирать мёд, растить детей – ему был нужен только омукулуну. Он и жил лишь постольку, поскольку был жив старик. Они были связаны: старик и ошитока – и должны были исчезнуть вместе. Омукулуну и бездомный дух убитого Онгве.

Вот уже много лет омукулуну жил – и ждал встречи, которая будет последней. Вот уже много лет ошитока ходил за ним, подстерегал его и тоже ждал, ждал своего дня. Вот уже три по четыре года ошитока ходил за ним, пока молодой и сильный мужчина не превратился в дряхлого и бессильного «омукулуну», который своими костями чувствует дождь.

…Старик заметил, что разволновался. И заметил это потому, что дождь начал уставать, и теперь только редкие капли по одной падали вокруг огня, и только изредка сердито шипели угли. Мальчик уже спал, завернувшись в козью шкуру, и старик невольно залюбовался им. Он наклонился укрыть сына потеплее, но спиной вдруг почувствовал холод, и между лопатками пробежала дрожь. Будто кто-то ладонь приложил. Медленно-медленно омукулуну обернулся. В хижине никого не было, а снаружи была темень, и всё еще шумела вода, и ничего нельзя было разобрать. Но омукулуну догадался, что, наверное, это ошитока следит за ним, а, может быть, – уже и зовёт его…

Он вышел, не взяв с собой ни лука, ни экатаны. Он шел не сражаться, а возвращать долг.

* * *

…Привыкнув к холоду и темноте, за ошигудой старик набрёл на журчащий овраг, за которым нашел забытую тропку – он рассудил, что, скорее всего, ошитока хочет встретиться с ним не здесь, а у большого раскидистого дерева – там, где когда-то они столкнулись с живой и голодной плотью ошитоки, Онгве, леопардом. Старик плохо помнил эти места – с тех пор он никогда здесь не бывал, но он был уверен, что не заблудится, и что ошитока выведет его всё равно.

Идти пришлось долго. Иногда старик сбивался с тропы, – и тогда он останавливался и поджидал вспышку молнии, и снова выходил на тропу. Но он шёл правильно и даже узнавал большие кусты и муравьиные хижины, которые в темноте казались ему ещё больше.

…То дерево выросло перед ним неожиданно, хотя он и думал о нем уже много шагов. Чёрной шевелящейся тучей оно нависло над тропой – будто ползло навстречу старику. Омукулуну остановился и подождал молнию. Вспышка ослепила его, но он успел увидеть то, что хотел. Несколько мгновений он продержал в памяти то, что увидел, и, наконец, понял, почему промахнулся Онгве.

У самого ствола тропинка сбегала вниз, а внизу мокрой спиной блестел зарывшийся в землю камень. На этом камне и поскользнулся тогда еще молодой омукунулу, и камень спас его от главного оружия Онгве – внезапности.

…Новая вспышка осветила дерево и наклонённую ветку, с которой Онгве прыгнул в ту ночь. Сейчас на ветке никого не было, и старик решился подойти поближе. Он понимал, что на дереве никого и не могло быть – Онгве был мертв, и все же… И все же он опасался подходить к дереву слишком близко – годы научили его осторожности: ошитока никогда не появлялся в своей настоящей, пятнистой, шкуре.

Когда-то он вселился в собаку, и та вдруг бросилась на омукулуну, брызгая слюной. В другой раз он превратился в белую змею, что заползла в забытый калебас из-под пива. А однажды за омукулуну погнался разъяренный бык, самый тихий в стаде, и омукулуну, отсиживаясь на дереве, запомнил вблизи багровые, как закат, глаза быка и надувшиеся жилы, в которых как будто бы колотилось имя: о-ши-то-ка. Омукулуну уже давно бы не было б в живых, если бы он хоть когда-нибудь забыл об ошитока. Но он помнил, помнил всегда, с той самой ночи, когда ошитока появился впервые. Старик ясно помнил ту ночь, две полных луны от смерти Онгве: он был с Нангулой и так же, как сегодня, почувствовал вдруг, что на него кто-то смотрит, кто-то близко, совсем рядом. Он выбежал из хижины и успел заметить, как в темноте сверкнули два зеленых глаза и над ним пронесся шорох. Больше ничего не случилось. Но он все понял – и… вернуться к Нангуле уже не смог.

– ...Онгве, я знаю, что виноват перед тобой. Но ведь не я, а ты напал на меня! И не я, а ты хотел отнять чужую добычу! Онгве! Мне она досталась нелегко и была нужнее, чем тебе!..

* * *

Злая, злая засуха была в тот год; долго, очень долго не было воды. Чёрная худая свинья, которую держал старый нганга, даже не захотела выходить из тени у его хижины, чтобы искать воду. Так у хижины колдуна она и околела. И потом не помогли уже ни заклинания, ни убитая черная корова, у которой ещё было молоко. И посыльные, с которыми ходили старейшины, вернулись от священных источников ни с чем. Везде было сухо. И всё-таки старый нганга вспомнил, как его отец говорил, что в старину убивали чалую антилопу – и тогда туча приносила дождь.

…Три по четыре года назад омукулуну был хорошим охотником – Нангула не напрасно выбрала его: он первый увидел, что старый нганга

не ошибся. Это произошло перед закатом в тот день охоты, когда много дней уже стали одним долгим днем. Омукулуну сидел на дне сухого оврага, не в силах пошевелить словно чужой, ногой, рядом с ним лежала убитая антилопа, а вверху собиралась тяжелая темная туча. С первыми каплями, цепляясь за кусты, он выполз из оврага и поднялся.

Прячась в траве, за оврагом уходила к восходу тоненькая, видно, заброшенная, тропинка. И омукулуну пошёл по ней, уговаривая ногу не болеть и не споткнуться, потому что вставать было бы тяжело.

Он шел всю ночь, на плече неся шкуру убитой антилопы, и всю ночь по его спине стекали струйки крови вперемешку с дождем. И только перед рассветом дождь затих.

…Перед рассветом дождь утих. Омкулуну уже в тишине проходил мимо большого раскидистого дерева, как вдруг разбитой ногой услышал громкую боль. И тут же, зацепив когтями шкуру убитой антилопы, рядом с ним упал Онгве.

* * *

– Ты, наверное, думал, что легко одолеешь меня? Что добыча принадлежит тебе как сильнейшему? Или ты думал, что я так ослаб, что всё равно не дойду, и меня съедят гиены, если ты опоздаешь?.. Но ведь ты не гиена, Онгве! Я понимаю, что тогда, после засухи, ты был голоден, и твоя жена, и твои дети, и надо было кормить их. Но ты должен был оставаться мужчиной, а ты – ты поступил, как трус! Видишь – против тебя был даже камень! Камень у твоего собственного дерева! И не я, а ты – не увидел утра!

* * *

…Его подобрали днём далеко от этого дерева и вечером, когда спала жара, перенесли в селение. То самое, где жила Нангула. Впереди оставалось еще три дня, чтобы смыть кровь убитого Онгве и так избежать мести.

Но на Четвертый, последний, день, точнее, на Четвертую ночь, когда был пойман жертвенный петух, Родившаяся-на-Рассвете сама пришла к нему. В эту ночь она стала его женой. В эту ночь мёртвый Онгве стал ошитокой. А связанный петух первым прокукарекал восход.

Две полных луны он был с Нангулой, и две полных луны Нангула была с ним, и две полных луны ошитока искал его следы. А когда через две полных луны он пришел к Нангуле, то впервые почувствовал на себе чей-то взгляд. А утром нашел в лесу петушиные перья и клюв.

* * *

Прошли годы. Он всё еще был жив и сегодня был готов предстать перед духами предков. Его сын вырос и вёл себя, как мужчина, – омукулуну не могло быть стыдно перед своим отцом за того, кто продолжит их род. И не было стыдно ему перед сыном: уходя, он оставлял ему большое стадо, одно из самых больших в племени… И перед племенем не было стыдно омукулуну – в самую злую засуху он принес людям дождь.

…Старик ходил вокруг дерева: то ли для того, чтобы согреться, то ли оттого, что ему надоело ждать. Дождь уже вылился, и в небе появились серые пятна, и стало тихо, будто вымерли птицы, сверчки и даже муравьи. Омукулуну ходил вокруг дерева.

Из-за того, что так тихо, ему казалось, что он ходит не один, а словно за ним идет его Нангула, и он слышит эхо земли под её ногами. И, как тогда, в Четвертую ночь, он не может сказать ей, чтобы она ушла, что на нём кровь, которая может коснуться и её, если он назовет её женой, и ничто не спасет их от мести – только перед одним человеком в племени было стыдно омукулуну. И только одно он мог сделать для этого человека.

…Вот почему в то долгое мгновение, когда, холодея внутри, он узнавал перья пропавшего петуха, он молча сказал себе, что Её хижина и даже имя – для него табу. И все эти годы было так.

Старик ходил вокруг дерева и слышал эхо земли под ногами… Почему же Она не ушла от него? Когда он превратился в омукулуну, а у неё все еще был один сын, когда многие мужчины смотрели на неё, потому что она – Нангула, самая красивая из всех женщин, и у нее должно было быть много детей, и никто из старейшин не осудил бы её, и он тоже не подумал бы плохо? – Почему? – И вдруг омукулуну понял, почему.

Он приучил себя не думать о ней, чтобы даже случайно не выдать её имени, и только сейчас, в последнюю ночь, подумал – и понял. Он вспомнил вдруг два зеленых глаза над хижиной Нангулы и подумал, что собака с языком до земли могла броситься и на неё. И калебас, в котором затаилась белая змея, могла поднять она. И не успеть бросить… Могло случиться или даже случалось слишком многое, о чем он даже и не подозревал. И понял омукулуну, что это не она не догадывалась, почему он не улыбается, а он – не догадывался ни

о чем, потому что она улыбалась. А когда понял, то ясным стало и другое: напрасно от считал, что столько лет обманывал ошитоку – ошитока обманул его! Дух трусливого Онгве УЖЕ отомстил ему: это он превратил мужчину в старика и привязал его к себе. Омукулуну даже и не заметил, как быстро прошли эти три по четыре года – почти вся его жизнь! – и прошли они так, как хотелось ошитока. Дух не спешил убивать его, нет – он оказался куда более умным и жестоким – он просто напоминал о себе, а старик верил и думал, что каждый раз выходит победителем. И вот теперь получилось, что он прожил не свою жизнь, а какую-то другую, чужую и ненужную.

…Омукулуну никогда и ничего не боялся. Он был осторожен как охотник и как воин, но никогда и ничего не боялся. И вот сейчас он понял, что такое страх.

Он стоял на тропинке. Перед ним стояло дерево. С дерева на тропу отбрасывала тень тяжелая ветка. Он посмотрел на ветку. И на ветку посмотрела луна. На ветке было пусто…

…Он успел сделать лишь несколько шагов. Он хотел вернуться туда, откуда начал уходить трижды по четыре года назад. Туда, где он должен был быть, вместо того, чтобы стоять здесь.

Он успел сделать лишь несколько шагов и не понял, как случилось, что земля уползла из-под его ног, и камень – будто подпрыгнул, чтобы ударить его…

* * *

Цепляясь за мокрую траву, старик приподнялся. Уже всё небо было серым. Прямо над головой вовсю щебетало, тарахтело и свистело дерево.

Старик закрыл глаза. И снова открыл – и увидел в сером небе ещё холодный, но уже пылающий отсвет солнца. Ему захотелось увидеть все солнце, но для этого надо было повернуться на бок, а сил не хватало.

Старик закрыл глаза. И снова открыл. И замер – уже давно было светло, и прямо перед его деревом висел красный, огненный, жёлтый, зёленый и синий лук дождя. Старик перекатил голову повыше, прислонив ее к липкому, как мед, камню. И тут он даже не услышал, а скорее почувствовал по земле, по птицам и даже по камню, что сюда кто-то бежит. Odiva-diva, «быстро-быстро». Старик напрягся, и его дух подождал уходить из него, чтобы он успел узнать, кто это... Только нужно было ещё раз собрать силы.

Когда омукулуну снова приподнял веки, над ним была тень – чье-то лицо. Глаза омукулуну уже не могли различить черты, но омукулуну понял, что это важно, и не только для него, но и для того, кто стоит над ним.

Лицо приблизилось, и чья-то рука коснулась руки омукулуну. И вдруг старик почувствовал себя очень легко: он узнал эту маленькую руку, детскую руку сына. И теперь ничто больше не удерживало его дух в старом и дряхлом теле. Его губы зашевелились, грудь напряглась, и с последним дыханием вырвалось: nda pandula, «спасибо». Рот омукулуну открылся, и дух покинул тело.

В то же мгновение мальчик услышал рык и, обернувшись, увидел в стороне, среди серых камней, леопарда. Они едва встретились взглядом, и онгве, блеснув красными на солнце глазами, тут же пропал. Дива-дива.

* * *

… Мальчик смотрел на необычное, посеревшее вдруг лицо омукулуну и одновременно видел как бы двоих: старика и онгве. Онгве тоже был необычным. Только он не сразу понял это. Онгве не был таким, как другие, желтым, словно сухая трава в чёрных, точно сажа, пятнах. Он был ослепительно серым, как те камни, среди которых только что был, и только тенью жидкой осенней листвы на нём угадывались пятна.

– …Тате… – прошептал мальчик.

Отец молчал…

* * *

Кто знает, сколько лет прошло с тех пор. На месте этих камней, тропинок и деревьев выросло большое селение. Называется оно Онгведива.

## ТОТ, КТО ПРИШЁЛ С ДОЖДЁМ

*Fie ohatukongo odula osilonga sakuku.*
*Ptuh! Tupa odula ovakuamunghu nje.*
*«Мы жаждем дождя, вокруг всё сухо.*
*Так принесите же (нам) дождь, о духи»*
Заклинание на дождь, обращенное
духам предков вождя. Кваньяма.*Ekishi,*
*inda, ekishi, inda, ekishi, dia po.*
*«Ступай, ekishi, ступай, ekishi, ступай себе, ekishi,*
*прочь»*
Редкий заговор, бытующий среди кваньяма.
Детская считалка.

Он заметил огонь по случайности. То ли ветер дохнул сквозь тростниковую крышу, бросив отсвет на выход, то ли огонь сам полыхнул, преодолевая струйки воды; то ли кто-то прошел рядом с костром, и вслед за ним метнулось пламя – сейчас не вспомнить. Очень может быть, он и нарочно всматривался в дождь, подыскивая укрытие, и вовремя заметил пар среди ветвей. Так или иначе, в сумерках дождя меж ближайших стволов вдруг возникло очертание человека, а затем послышался его голос. Именно – «послышался». И вовсе не потому, что в местных диалектах овамбо и португальского так много шипящих, что они просто сливаются с потоками падающей воды, а потому что, как мне показалось, не успел он пошевелить губами, как наш проводник и толмач уже вскочил, протягивая ему руку.

Он протянул правую руку, левой придерживая ее за локоть – так, как в наших краях иногда просят подаяние, а в племенах овамбо принимают дары или здороваются с теми, чье присутствие уже дар. Судя по бормотанию толмача, который мало того, что поздоровался первым, но и сам же ответил на приветствие, причем несколько раз, словно боялся, будто ответ будет иным – вовсе не мы давали приют прохожему, а это нас почтили своим присутствием.

Сейчас я, конечно, понимаю, что «прохожий» – не самое удачное определение для человека, нашедшего приют в тепле среди посторонних; просто оно первым пришло на ум; ибо что есть «прохожий», как не тот, кто, мелькнув пред очи и, едва коснувшись других своим явлением, спешит растаять в пелене былого, без сожалений расставаясь с теми, кто на задворках подсознания обрисовал его «прохожим», навсегда. Рискну предположить, что как явление «прохожий» есть продукт урбанизации и спешки, сопряженной с ней.

Он никуда не спешил. И, похоже, не удивился странному строению среди бушей и тени темно-зеленых машин под навесом. Не испугали его и вооруженные люди у костра – скорее всего, он вообще ничего не боялся. И ничему не удивлялся. Он, как бы это сказать, существовал «помимо» примет цивилизации и пограничных чувств.

– *Oundjene* («тепло»), – сказал он, радостно улыбаясь головешкам и ни к кому, собственно, не обращаясь. Уже по одному этому слову можно было понять, что он-таки из овамбо, так же, как и наш проводник; а точнее – из кваньяма, поскольку только они различают тепло солнца, тепло воды, тепло ночной земли, тепло общения и тепло огня, называя всё разными именами. В «лингва франка», который здесь строился на основе ндонга с привлечением корней африкаанс, английского и португальского, такой расточительности не наблюдалось.

– *Shili oundjene*, – подтвердил толмач, подстилая упрямо носимую им всегда с собою овечью шкуру поближе к огню, – *shili oundjene*. *Kaleke tandavela*.

(Для «садитесь» он тоже избрал неизвестное мне выражение, о котором впоследствии пришлось сделать специальную пометку. Как выяснилось, он тоже был из кваньяма, наш толмач, с легкостью спрингбока перескакивающий с одного языка на другой, словно по кочкам, никогда не проваливаясь в болото подсмыслов, аллюзий и метафор – вполне законный способ выживания средь устных толмачей, в силу способностей и волею провидения занесенных на круги сильных, хищных и опасных мира сего).

–… А в общем-то, – признал он как-то после на досуге, раскрывая тайны глагола «сидеть», – всё вроде и понятно, хотя бывает иногда смешно: когда, к примеру, говорят «*kale omutumba»* (что-то вроде английского «do sit down»), нужно заранее знать или указать, куда садиться, иначе это всё равно, как курице не дать насеста и не насыпать зерен, а вместо этого пытаться заставлять её пылиться на дороге почем зря; «*hanjela»* – это греться на солнышке, как ящерица, собирающая мысли; «*amenda»* – прислониться к дереву или ограде; «*utumanena*» – это когда птица прячется в гнезде, охраняя своих птенцов; «*okulitonya olukata»* – «сидеть на узком месте, вроде циновки, и ноги под себя поджать»; а «*tandavela*» – это самое оно и есть: «устроиться, вытянув ноги», – хорошо! («Вот уж поистине, пока одни изыскивают средства для означения столь маловажных оттенков действия, другим довольно и того, чтобы долить в меха старинных слов вино из нынешнего урожая», – отчего-

то с грустью припомнил я русский глагол «сидеть»).

– …*Odula tai shela* («дождь светится») – подметил, выждав этикетную паузу, явный факт из жизни окружающего мира наш толмач.

– …*Tai duduma («гремит»)*, – раздумчиво констатировал он спустя пару-тройку секунд.

Гроза приближалась. Череда зарниц, что полыхали на окоёме темных скал в пятнадцати милях отсюда, переползла в долину, отчего всё, что было в ней, за какие-то мгновения оказалось внутри клокочущего котла, наполненного мутным жёлто-зелёным светом, над которым непрерывно рокотали тяжелые барабаны. В такие минуты сдаётся, что барабаны то ли возвещают, то ль сами вызывают приход, если не сказать пришествие, чего-то невыразимого, чему пока что в языке не подыскали подходящих слов.

Но не происходило ничего. Кроме того, что у отверстого проема в устроенном на европейский лад прямоугольном шалаше с покатой крышей и свёрнутой на сторону грубой мешковиной, что закрывала вход (ибо глупо сидеть подле дождя, сквозь темень пялясь друг на друга), сплошным потоком выливалась река, в малахитовых пучинах которой, всякий раз заставляя вздрогнуть, то тут, то там вспыхивал ослепительно-белый отблеск, что, не медля и мига ресниц, с оглушительным треском и грохотом пропадал в чёрном чреве земли.

…Или всё-таки происходило? Вначале в шуме водопада утонули все лишние звуки и сторонние голоса, кроме голоса самого дождя, затем зашипел костер, залитый ручьем, перехлестнувшим через водоотводный ров, и все, естественно, вскочили на ноги, ну а затем... затем исчезло время. То есть, оно, конечно, было – в виде фосфоресцирующих стрелок на командирских часах, но, как бы это выразиться, потеряло смысл. Надо признать, что когда на часах ещё нет и пяти, а перед глазами – всё одно, что ночь, и только слуху чудится, как будто там, в ночи, взбивая грязь копытами, проносится невидимое стадо обезумевших от страха зебр, то больше доверяешь чувствам, а не циферблату со стрелками, ибо, опять же, глупо протягивать часы к ночному небу, стуча по циферблату пальцем.

– И когда оно кончится?! – риторически простонал кто-то во тьме.

– *Mafiku*, – отозвался голос из дождя.

– *Koilya? Koilya! Koilya!* – вдруг заволновался наш толмач, пытаясь перекричать шум падающей воды. – *Onde estao as nossas latas de concerva?*

Не ожидая ответа, он нырнул в угол, где на возвышении лежали запасы провизии – так, на всякий случай, – выудил только-только заброшенную в здешние дебри *ring-pull can* (о, сколько сил, а также и смекалки потребовалось, чтобы вскрыть такую в первый раз!) и подал гостю.

– *Koilya-koilya, nda pandula unene,* («кушать, кушать, спасибо большое») – вот что он сказал.

Внезапно дождь прервался, вернее, не то чтобы совсем, а попросту уполз куда-то дальше, вглубь континента, оставив за собою хвост из редких капель.

– И что он там лепечет? – лениво поинтересовался всё тот же голос, бурча скорее по привычке про себя, чем и вправду заботясь ответом.

– Он сказал «скоро» – сказал переводчик, и неловко (хотя, быть может, и наоборот, довольно ловко) опрокинул рюкзак с продуктами едва ли не в самую лужу.

– *Pobre diabo, eu tenho as maos de monteiga* («Черт, что-то всё из рук валится»), – пожаловался он. – *Sinto-me como o tempo* («чувствую себя по погоде»), *completamente sem jeito; possivelmente, por causa da chuva* («вообще «никакой», похоже, из-за дождя»),.. – продолжал сокрушаться он, хлюпая грязью и едва ль не нарочито стуча рассыпанными жестянками. (Похоже, по какой-то причине он не желал нашего дальнейшего общения с пришельцем, мирно ковырявшим ветчину пальцами в отсутствие других приспособлений) – *…probably because of rain, man*, – добавил он зачем-то по-английски.

…Сейчас, когда я уже знаю прошедшее будущее, мне кажется, что *так* он подавал нам знак, умышленно соединив два слова: «дождь» и «человек» – в одно. Возможно, он хотел предупредить нас на незнакомом для незнакомца языке, но вот о чем?

Так ли это было, расспросить уже не удастся. Во всяком случае, на тайные послания, если таковые были, никто внимания не обратил.

– Он что, у вас из тех, что вызывают дождь? – всё так же, более из лени, нежели в попытке постичь истину, полюбопытствовал кто-то для поддержания беседы, выказывая определенное знакомство с местными обычаями и колдовством.

– Нет-нет, что вы – как раз наоборот, совсем наоборот! – заверил толмач.

– Выходит, если верить твоим словам, то это дождь вызывает его? – пошутил кто-то из дальних глубин шалаша.

– Именно это я и сказал, – пожал плечами толмач.

* * *

Говорят, что давным-давно, настолько давно, что этого никто уж и не помнит, и лишь Сидящие-в-ночи повторяют как заклинание, Калунга решил сделать так, чтобы каждому в этом мире нашлось место, а чтобы не было споров и распрей, дать каждому по чуть-чуть, чего тот сам пожелает, стараясь не обидеть и не обделить ни малых, ни больших.

Ещё затемно пришли к нему рыбы. Рыбы захотели плавать, потому что воды было много, и Калунга дал им плавники, и дал хвосты, и гладкую, как лодка, чешую, но вот чего не дал им – ни рук, ни ног, ни речи, как ни просили они его.

А рано поутру все разом всполошились птицы. Птицы захотели неба, потому что неба было много, и Калунга дал им и лёгкость лета, и силу крыльев, и даже перья, чтобы те из них, кому по нраву, могли не бегать по земле, а выучиться летать. А когда захотели летать ещё и разные другие: и пчелы, и цикады, и мухи, то оставались у Калунги только крылышки, но крылышки без перьев, на которых высоко в поднебесье не взлетишь, зато жужжать, порхать и стрекотать можно и среди деревьев, и среди цветов, и у самой земли.

И так все приходили, и приходили, и приходили к нему, а он всё раздавал и раздавал, стараясь не обидеть никого, и дать им самое-пресамое, конечно, из того, что у него осталось.

Когда пришли люди, то ни плавников, ни крыльев давно уж не было, как не было ни быстрых ног, ни острых, как бамбук, клыков, ни могучих и страшных когтей, и даже длинный, как змея, язык успел забрать себе *опуатапуата, муравьед.* Ещё оставалась земля, и никто не успел разобрать все звуки речи.

Но и среди людей единства не было: кто-то присмотрел себе место получше; кто-то взял тайну железных мотыг, наконечников стрел и ножей; кому-то приглянулось умение плести корзины; а кто-то захотел себе знания ядов, способных обездвижить рыбу и враз остановить стремительного зверя.

…Остался лишь один, забытый человек. Не мог он вовремя прийти к Калунге, потому что солнце сжигало его белую кожу, и он скрывался в тени деревьев, ожидая вечера, когда он сможет выйти. Но к вечеру почти ничего не оставалось у Калунги, потому что побывали у него уже и те, кто выбрал себе ночь и только попросил глаза, что зрячим взглядом пронизывают тьму. Не осталось даже лоскутка надёжной тёмной кожи, чтобы без опаски можно было выйти днем.

– Неужели я должен буду всю свою жизнь просидеть под сенью деревьев, не смея выйти на палящий свет, чтобы меня не сожгло, и остерегаясь бродить ночами, потому что ночь ты уже раздал тем, кто видит ночью? – пожаловался этот человек.

Калунга задумался, что бы предложить человеку взамен. – Ты сможешь идти с дождём, – подумав, нашёлся он, – с дождём тебя не сожжёт солнце и не съедят ночные звери.

– Неужто больше ничего мне не осталось? – снова пожаловался белый человек. Он выглядел словно проросший в темноте под скииром нечаянный росток, и так же, как росток, был маленьким и жалким, и не было вокруг такого же, как он. И ощущал себя он обделённым, поскольку дождь – такая малость среди просторов и земли и неба, и дня и ночи, и зноя солнца и настороженных теней луны.

Огляделся Калунга. В реках плавали рыбы, на отмелях затаились крокодилы, в песке зарылись черепахи; в небе парили птицы, среди деревьев замерли стрекозы, среди лугов порхали бабочки, среди цветов жужжали пчелы; по земле ходили люди, устраивая жилища; в земле копошились слепыши и черви; сквозь влагу опавшей листвы прорастал термитник, а у термитника, вытянув длинный язык, уже притаился *опуатапуата*. А в ожидании ночной добычи хвостом бил лев, и протирали глаза филины и совы – ничего, ничего не осталось вокруг, что бы не испросили себе другие.

Так и сказал Калунга белому, как воздух, человеку.

– Тогда зачем же мне ходить с дождём? – спросил белый, как воздух, человек. – Дождь несет воду и вспаивает семена, и дарит моим соплеменникам радость, а я… зачем мне ходить вместе с ним?

Поглядел Калунга вокруг – ничего не осталось у него, ничего, что бы не запросили другие. И он совсем уж было развел руками, когда заметил (ведь на то он и Калунга) белую, как воздух, правду, которую, то ли никто, кроме него, не видел, то ль не понадобилась она никому.

– …Что ж, – сказал он, – ничего у меня не осталось, кроме белой, как воздух, правды.

Сказал он и повел рукою, как будто приглашая поглядеть.

– И я тоже буду нести соплеменникам радость? – обрадовался белый, как воздух, человек, уже собираясь в путь.

– Нет, – вздохнул Калунга, – радость уже разобрали другие.

– Тогда зачем мне приходить к сородичам моим? – спросил навеки обречённый ходить с дождём несчастный белый человек. – Они прогонят меня и не захотят слушать.

– Хотя бы за тем, – рассердился на это Калунга, – что если ты перестанешь приходить к людям, тебе нечего будет есть. А нечего тебе будет есть, потому что ты не сможешь выйти из тени – или тебя сожжёт солнце, и ты не сможешь ходить в ночи, потому что тебя первого увидят те, кто выбрал себе ночь. И только дождь выпадает тебе, чтобы добыть еды – в обмен на правду.

– Но если они не захотят меня слушать?! – испугавшись голода, спросил белый, как воздух, человек, что собирался уходить с дождём, поскольку собирался дождь.

– Что ж, тогда они будут кормить тебя для того, чтобы ты молчал, – сказал Калунга.

– Но они будут гнать меня прочь! – уже в отчаянии закричал Тот-кто-ходит-с-дождём.

– Нет, – спокойно ответил на это Калунга, – этого они делать не станут. Потому что именно люди взяли у меня любопытство.

* * *

Когда пора дождей идет на убыль, тучи пролетают быстро. Как оказалось, не прошло и часу. На востоке всё ещё клубилась густая, как чернила, ночь, зато на западе уже опять зазеленела омытая дождём лесная зелень, отбрасывая предвечерний отсвет в воду, и, более того, средь запоздалых клочьев уходящей тучи высоко меж горами пробился ясный луч.

– Тьфу ты, – сплюнул, нарушая тишину, один из нас, а именно – шофер, с капота смахивая сбитую листву, с тоскою озирая лужи и озера, оставшиеся в память о колдобинах, ухабах, рытвинах и ямах, что в избытке ознаменовали наш путь сюда.

– М-м-да-а… тут хорошо бы к завтраку поспеть, – вздохнул голодный кто-то. (О том, что речь пока идет об ужине, никто не вспомнил и не заикнулся даже.)

Возможно, один из «side-effects» («побочных», так сказать, «эффектов») пребыванья в том, что называют «time-warp» («дыра» или «провал» во времени) в том и состоит, что люди забывают о часах. Однако же существенней другой. В «провале» вдруг покажется, что время движется по кругу, совершая некий *времеворот*, определённый скоростью движения, глубиной «провала» и центробежной силой находящегося в нем предмета. И, если допустить, что это так, то есть, что время движется едва ли не по кругу, то настигает мысль (она-то движется быстрее), что всё, что происходит с тобою ныне, уже когда-то было: пусть даже под другими именами, в других местах, в других одеждах и других дождях, но было, было, и ты уже стоял здесь, наблюдая за чем-то схожим. А посему – коль приглядеться пристальней, ты сможешь разглядеть и вспомнить, когда и как всё это было прежде, что равносильно знанию того, что будет впредь.

…На ужин мы, конечно, не успеем. Как, впрочем, и на завтрак. С ругательствами нас перехватят по пути, но всё на сей раз обойдется. А до того в прощальном свете фар мелькнёт нелепая согбенная фигурка смешного, жалкого, и белого, как воздух, человечка, в джутовом мешке, а верно – что и в двух, с прорехами для рук и головы. Одной рукой он оперся на посох, что вверху раздвоен, как подпорка у обессиленной плодами ветви старой груши – по-видимому, так удобней держать под мышкой, и можно защититься от змеи, если успеть прижать ей голову к земле. Другой рукой с неправдоподобно белою ладошкой он недолго помашет нам вослед, затем приложит ладонь к глазам, щурясь на закат, и улыбнется, как бы извиняясь за свой приход. Затем вернётся в хижину, где по настоянью толмача ему оставили запасы хлеба и банку ветчины. И пропадёт из виду… Больше я его не встречу никогда. И что случится с ним, я тоже не узнаю.

* * *

Не думаю, что довелось и вам узнать бы обо всём об этом (ведь случай, как ни погляди, ничтожный), когда бы не стечение событий.

Есть у толмачей одна черта – та, что роднит их вопреки границам семьи, и частной собственности, и государства со всеми атрибутами их власти. Отзывчивость ли это, или что другое, а впрочем, как ни назови, но люди переводческого склада всегда протянут руку помощи тому, кто так же, как они, сподвигся сделать шаг навстречу, хотя бы – через границу языков.

– Когда мы с ним прощались, ты сказал «*ekishi*», – потеребил я толмача наутро, когда он попривык к погодным катаклизмам (коль давеча хитрец не обманул). Вокруг, как и вчера, ни зги было не видно, но невидаль скрывалась на сей раз не в

тьме кромешной, а в белом, точно молоко, тумане, где «призрачность», суть не метафора, но способ проявления и восприятия вещей.

– …ты сказал «*ekishi*». Но имени его ты не спросил. Вы не были знакомы, а значит: «*ekishi*» – не имя собственное, но обращение. Выходит, ты меня не научил даже такому важному простому делу, как обращаться к людям? – попенял я толмачу наутро.

– «*Ekishi*»?! – удивился наш толмач. – «*Ekishi*» – и не человек совсем. То есть он как бы человек, но… человеком-то его не назовёшь. Человек, он кто – тот, у кого есть дети, есть коровы, есть ведомые всей округе предки, и есть лицо, и данное родителями имя. А у *ekishi* – ни своего лица, ни имени, ни стада, и кто детей захочет от него? Да и зачем к нему, к *ekishi,* обращаться? Наговорит такого, что и жить расхочешь! Нет-нет, спасибо, кого-кого, а уж меня увольте! Даже если мне сдохнуть прямо завтра, я не хочу об этом знать!

– Ты… шутишь? – удивился я, поддавшись безотчётным чувствам, пока что до конца не сознавая, чему же, собственно, я удивлен: то ль сверхъестественной способности увидеть будущее, то ли решимости не знать о нем. А впрочем, какая разница? О «сверхъестественном» в контексте бытия в местах, где оно столь *естественно* и вещно, что сами люди могут показаться лишь временным телесным воплощеньем потусторонних сил, особо не поспоришь. А рассуждать о личных предпочтениях, выказывая небрежение другим, не очень-то умно.

– А мне-то показалось, что ты его встречал как важного и дорогого гостя, – с подвохом сделал я попытку уличить толмача в лукавстве.

– Ещё бы! – двуличья за собою толмач не замечал. – Во-первых, он с дороги, а кто прошел дорогу – тот много повидал. Кто много повидал, тот знает о дороге много, и выслушать его совсем не грех. А во-вторых, не знаю, как оно у всяких белых, зато у нас – тот, кто зашёл к тебе с дороги, тем самым прерывая путь, – всегда желанный гость. Или почти всегда. Хозяин угостит едою, гость – рассказом.

– Вот верные слова, но мне сдалось, однако, что ты ему и слова вымолвить не дал…

– Вот и неправда, – возразил толмач. – Я дал ему поесть, чтоб он успел подумать. Пока он ел – он думал.

– О чем?

– …Что говорить, что – нет.

– То-то я гляжу, что на прощанье он толковал всё больше про еду («*eendya*» – легко запоминаемое, но – что ещё важнее – полезное в разумных дозах слово, такое же, как «*food*», «*comida»* или «*foedsel»,* способное творить буквально чудеса, когда от сотрясенья воздуха простым набором звуков внезапно исполняются желанья, пусть даже лишь одно)

– Зачем же – «про еду», когда и бабуину ясно: поесть мы и без лишних слов дадим.

– Но как же – «olu eendya» – что-то вроде «долгой» или «обильной» пищи?

– Послышалось. Он говорил про *oluidi*, болезнь такая, что иногда приходит по следам дождей. Воды, сказал он, слишком много – «*omeva shi fike opo*»,– и, думаю – он прав…

Эх, мне бы расспросить побольше о болезни, однако же, призрев несчастный вид бледного, в бисере тумана, невыспавшегося толмача, я по *недоразуменью* рассудил, что *oluidi* – скорей всего, какой-то местный редкостный недуг, знакомый только тем, кто знает само слово, и… прекратил дальнейшие расспросы.

– А как же он? Не страшно ль одному? – только и спросил я, мотнув головою назад над левым (поскольку я скрытый левша) плечом, что должно было означать «там и вчера».

– А что ему? – махнул рукой толмач. – Чего ему бояться? Зайдёт повыше в горы, где гуляет холодный ветер, или наоборот – подастся ниже, где камни и пески Намиб и Мосамедеш. Люди его не тронут – люди поесть дадут. А что ещё? Львов на краю пустыни он обойдет. На мину не нарвётся, поскольку ходит мимо накатанных дорог. Так… разве что змею дурную не заметит, и то ещё нескоро – по старости усталых глаз. *Ekishi, oku neendunge*. *Ote muene li-lungamene. (*«*Экиши* – умный, сам побережет себя».)

* * *

Эх, мне бы расспросить побольше о неведомом недуге, но, понадеявшись на то, что, буде в том потреба, всё как-то образуется само, я записал в блокноте: *«oluidi»* с пометкой «*местная болезнь*», поставил знак вопроса (?) и более не вспоминал о том… Что было дальше? Дальше – один из нас, тех, кто воочию видал *экиши* в тот самый дождь, уехал в отпуск. Из отпуска он не вернулся. «*Omeva shi fike opo*» – вода, когда она «большая», захлёстывая поймы рек и заливая рытвины, ухабы и взбитую колёсами лесную колею, за считанные дни уже «цветёт», и в затхлом воздухе стоит неистребимый запах гнили. Бывает это очень редко – раз или два за много-много лет. «Цветущая» вода есть верный признак болотной лихорадки. В

горячечном бреду он вовремя не вспомнил, а, может, и не догадался, что за напасть его свалила с ног (в России на ту пору был февраль), когда в глубоком захолустье, где угораздило его когда-то появиться на божий свет, врачи беспомощно лишь развели руками.

* * *

– А всё же… кто он такой, экиши? – спросил я толмача наутро. Наутро, неполных три полных луны погодя.

– Примета, – ответил он, не удивившись. – Примета, больше ничего.

Как я успел заметить, по обыкновенью, наш толмач не слишком-то вдавался в тонкости значений, не ведая особой в том нужды. И как меня ни раздирало любопытство, внезапно я ощутил предел тому, что можно знать. Что ж, все мы слегка трусливы, сталкиваясь с неизвестным. Особенно, когда оно грозит коснуться нас самих. Поэтому все главные вопросы я счёл за лучшее оставить при себе.

В дальнейшем я предпринял несколько попыток разговорить *других людей*, расспрашивая, как бы ненароком, о том, кто приходил с дождём.

– Экиши – не бывает, – мне отвечали люди, – хотя бы потому, что не бывает человека без имени, ведь даже у коров и у собак есть имена, чтобы позвать их, и они придут. А как ты позовёшь экиши, когда не знаешь имени? Да и зачем?

– Экиши – не бывает, – мне отвечали люди, – он белый, точно воздух, а разве есть у воздуха лицо?

– Нет-нет, экиши – это бабушкины сказки; такая сказка на ночь – угомонить некстати расшалившихся детей: пусть лучше слушаются взрослых, а то придет экиши – заберёт. Поэтому нет-нет, да и услышишь, как дети, вызывая дождь, при первых капельках стремглав бегут домой, поближе к взрослым, в испуге повторяя: «*Ekishi, inda, ekishi, inda, ekishi, dia po!*»

Со временем меня почти что убедили. И лишь однажды, в дождь, привиделся мне сон. Приснилось мне, что я и есть экиши. Скрываюсь от жары. Иду с дождём. Высматриваю огонек, где мне дадут поесть.

Прозрачный, точно воздух, я невидим, и только дождь мне дарит очертания. Нет у меня лица. А свое имя знаю я один. Поэтому, как ни пытайся, меня не дозовёшься. «Ступай, экиши, прочь!» – кричат мне дети в страхе, что я их заберу. И прячутся за спины взрослых, ища защиты. Но взрослые меня не тронут, не обидят, хотя, бывает, удивятся, что я есть. Накормят и дадут подумать. А то, что расскажу, то можно и не слушать. Кому какое дело до меня?

## НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ НАШЕГО КОЛДУНА, ЕГО ЖЁН И ДЕТЕЙ, РОДИЧЕЙ И СОПЛЕМЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ И НЕДРУГОВ

### ИСТОРИЯ I
(Очень короткая)

Наш колдун был очень застенчивым человеком, и, когда решил жениться, то долго ходил вокруг да около, не решаясь подойти к будущей жене. И ходил бы он так очень долго, если бы вдруг не заметил, что она стала поглядывать на сына одного старейшины, который, кстати, вернее, некстати, был очень и очень сильным и храбрым и к тому же заглядывался на неё. Заглядывался ещё тогда, когда она и смотреть на него не желала, поскольку была такая красавица, ну такая красавица, что все вокруг только о ней и говорили: вот, дескать, какая она удалась вся из себя красавица.

А произошло вот что. Поскольку сын старейшины был, как вы уже заметили, очень сильным и очень храбрым, то по совету отца он пошёл в лес и – как он сам потом рассказывал – голыми руками удавил удава. И тут все сразу забыли про то, какая она красавица, и заговорили только о нём; в какую деревню ни приди, к какому костру ни подсядь, только и слышно было: «Вот сын старейшины, сын старейшины!»

Но наш колдун уже тогда слыл мудрым, не хуже всяких старейшин, и сразу понял, что делать. И хотя он был очень застенчивым, но тоже сильным и храбрым. Он пошёл в лес и убил льва. То-то разговоров было! Не взошла и полная луна, как он взял в жёны ту, о которой мечтал. На свадьбе было много гостей, а на видном месте, на дереве, под которым собирались гости, молодая жена повесила ш к у р у…

Тут бы и закончить эту историю... Но это, увы, ещё не сама история, а только, если хотите, предыстория к истории. А сама история действительно очень короткая. Вот она.

* * *

Колдун выпил пива и вдруг опечалился, и тихо так пробормотал, что, дескать, шкура льва даёт больше тени, чем кожа удава. А когда кто-то из гостей поинтересовался, о чём это он, колдун объяснил, что шкура крокодила даст, пожалуй, ещё больше тени... Об этих словах колдуна вспомнили спустя год или два, когда его жена ушла к великому воину и замечательному охотнику, который прославился тем, что один на один победил крокодила... Вот так-то. Но наш колдун-то каков! И как он догадался?

## ИСТОРИЯ II
## (Возмутительно-превратительная)

Трудно жить с колдунами. Вот и нашего оставила жена. Или он её выгнал? Дело не в этом. В общем, то ли восемь, то ли больше лет тому назад наш колдун остался один. Нет, не так. Колдун и его сын остались одни. И вот однажды утром (и это уже начало нашей истории), когда колдун потянулся за молоком, он по ошибке (а может быть, и не по ошибке) взял калебас с каким-то зельем. И выпил. И хорошо, что случайно (а точнее, не случайно) это было не какое-то там волшебное, превратительное зелье, а обычное, приворотное. И вот он выпил это зелье и поглядел вокруг. И оказалось, что солнце стоит уже высоко, настолько высоко, что было уже не совсем утро, вернее, совсем не утро, а еще вернее, и вовсе даже наоборот – ближе к вечеру; колдовские коровы мычали оттого, что были недоены, колдовской пёс скулил от голода, а сын мужественно молчал (зато его живот скулил, как собака).

Колдун поразмыслил, что мог бы превратиться в женщину и накормить всех и себя, но вовремя вспомнил, что выпил не переворотного, а только приворотного зелья. Поэтому он вздохнул, взял лук, тупую стрелу, пошёл в ближайшую деревню и вернулся домой уже не сам.

Те, кто слышали от тех, что видели, рассказывали, что он взобрался на пригорок и запустил стрелу просто так, наугад, не глядя, а уж стрела долго и высоко кружила над деревней, а потом камнем кинулась вниз и попала в ногу женщине, которая случайно не оказалась чьей-то женой и при этом давно говорила подругам, что хочет выйти замуж, причём только за колдуна, причём именно за нашего колдуна. Ходили ещё слухи, что в своё время эти же самые близкие подруги и присоветовали женщине взять у колдуна приворотного зелья получше и употребить его в дело. Мало того, они же и подсказали ей, что если зелье сразу не поможет, то надо прямо пойти к колдуну и честно с него спросить. Если оно всё-таки помогло, то пусть берёт её в жёны. А если нет, то, значит, он не колдун, а обманщик. Колдун был честным человеком и взял женщину к себе.

* * *

Вообще-то по поводу женитьбы колдуна ходило много слухов и, между прочим, всякие разные злые языки болтали, что в женитьбе колдуна не было ничего необыкновенного. Мол, эта женщина и он вначале украдкой бросали друг на друга взгляды, потом встречались у ручья в манговой роще, потом – ну, всё как обычно. Но я скажу на это: не верьте злым языкам. Жители нашей деревни нарочно приходили к колдуну и, взяв с него честное слово, стали расспрашивать, как же так, что его, мудрейшего из людей нашего племени околдовала вдруг какая-то простая женщина, и колдун, немного подумав, честно ответил: «Произошло чудо».

## ИСТОРИЯ III
## (Поучительно-приручительная)

Как ни удивительно, но эта женщина, которая только с помощью колдовства сумела приворожить одного из мудрейших мужчин племени, оказалась хорошей хозяйкой. Наутро коровы замычали от облегчения, пёс скулил от обиды, что не может съесть все положенные ему кости, а колдун, проснувшись и вытянув руку, чутьём уже знал, что в калебасе именно то, что нужно, а не что-нибудь другое. И это обрадовало колдуна.

* * *

А не обрадовало его вот что. Его мужественный сын сказал, что не возьмёт ничего, приготовленного женщиной, в том смысле, что она околдовала его мудрого отца, а он не хочет, чтобы и с ним приключилось несчастье. Об этом ненароком поведала колдуну сама женщина, попросив ещё зелья.

Колдун вначале нахмурился, потом нахмурился ещё больше и, наконец, спросил – зачем?

Потом задумался. И думал целую ночь на самом думательном месте в своей хижине, а жена думала у входа.

Утром он вышел и сказал: «Я думал целую ночь и, наконец, придумал, что для изготовления зелья для терпеливого приручения гордых, своенравных сыновей не хватает двух живых волосков из гривы льва. Лев живёт под старой акацией у серой скалы – вон там. Туда как раз ведёт тропинка – вот эта, на которой я сейчас стою, и никакая другая туда не ведёт. Не ходи в гости с пустыми руками. Я бы помог тебе колдовством, но вот беда: отвар для терпеливого приручения гордого, своенравного льва готовится из двух живых волосков уже прирученного сына. Так что ты подумай, кого приручить быстрее». Женщина подумала и пошла искать льва.

Женщина пошла искать льва, и можно было бы рассказать жуткую и странную историю о том, как лев поначалу рычал и не допускал женщину, а она всё приходила и терпеливо ставила на пригорке большую глиняную миску с молоком, и ставила её всё ближе, и всё ближе лев встречал женщину, пока не стал класть ей голову на колени, и наконец... Но наша история не о терпении женщины, а о мудрости колдуна. И вот на какой-то восьмой день она принесла колдуну два живых волоска из львиной гривы и сказала: «Вот!» Колдун подержал их в кулаке и... вернул. «Теперь ты и сама знаешь, как готовить зелье для приручения». Женщина засмеялась. И согласилась с ним.

## ИСТОРИЯ IV (Продолжение предыдущей)

Тут бы можно было и закончить эту историю, но обо всём узнал отец колдовской жены, и когда узнал – тут же взял с собой большой охотничий лук, а заодно и стрелы, и пошёл в гости, чтобы вовремя забрать свою дочь, если еще не поздно.

По счастью, колдун успел пригласить дорогого гостя в свою хижину и усадить на думательное место. И пока жена ощипывала петуха, он подал гостю пиво и сказал:

– У тебя хорошая дочь, тате. И вот ты сидишь в моей хижине на почётном месте, где так хорошо думается... На чём ты сидишь?

Из вежливости гость огляделся. И подпрыгнул.

– Очень правильно, – сказал колдун, – это шкура льва, которого я убил ещё в глупой молодости, когда хотел, чтобы моя первая жена посмотрела на меня и вышла за меня замуж. Но сейчас эта шкура помогла мне превратиться во льва, когда я посылал твою дочь к серому камню.

Гость пошевелил морщинами и положил лук и стрелы.

– Это мой подарок тебе, о мудрейший колдун, муж моей дочери.

Колдун пожал плечами и убрал подарок.

– ...И сидел я у серого камня все дважды по четыре дня, но видел твою дочь только в первый, да и то издали.

– Но что это значит?

– Это значит, что у твоей дочери зоркие глаза, тате. Она сказала, что лев, на которого я указал ей, был слишком старый и у него выпала вся грива... И ведь правда – сколько уже лет этой шкуре...

* * *

Вечером все сидели у костра, пили пиво и толковали о всяческих и всевозможных волшебствах и чудесах, которые, хоть и редко, но иногда бывают в жизни. Мальчик уже спал, положив голову на колени женщины, поскольку разговор казался ему поздним и не очень интересным: зачем тратить слова на то, что и так ясно? И действительно: когда поднялась луна, или как здесь говорят, «выглянул Глаз Оленя», колдовской пёс вдруг жалобно заскулил – он первый учуял, как за оградой вежливо скрёбся и пофыркивал лев, которому женщина из-за гостя не успела принести вечернюю миску молока. Женщина встала и тихо, чтобы не мешать беседе мужчин, пошла доить корову.

Елена Аксельрод

# НОВЫЕ ОСТРОВА

## СОНЕТ О ГЕОГРАФИИ

От Черной речки в двух шагах Машук.
Елабуга видна с его высот.
Размашистую сеть свою плетет
Российской географии паук.

Повсюду щупальца царевых слуг –
От хищной Персии до Камских вод.
Арбе, что Грибоедова везет,
Сопутствует теплушек скрытный стук.

Палач закатывает рукава.
Ты дома. Это значит – ты в петле.
Впадает в Каму вольная Нева.

Каким же чудом в непроглядной мгле,
Захлебываясь в пыточной смоле,
Все новые всплывают острова?

1984

## СТАРЫЙ ПОЭТ

Арсению Тарковскому

Приученный к долгим цезурам,
Он взглядом погасшим и хмурым
Собратьев своих провожал.
А впрочем, он слыл балагуром
И давним, незлым каламбуром
Охотно юнцов потешал.

О нет, не ходил он в смутьянах,
Речей не твердил покаянных,
И профиль был ясен и строг.
И так же, как в строчках чеканных,
Как в бледных предзимних полянах,
В нем вечности был холодок.

Известности поздней прохлада.
Что делать? И это награда.
Пускай прожитое горчит,
Острит он, и публика рада,
И привкус безвредного яда
Ее торжества не мрачит.

1978

## НА РЫНКЕ

Ей в спину кричали: «БабУшка, бабУшка!
Картошку бери! Один шекель – картошка!»
Старушка, прикрытая шляпкой макушка,
Зачерпнута жгучей, как день, поварёшкой –
С картошкою вместе и перцем пунцовым,
С коврами, ворами, изюмом, клубникой.
Торговцы, торговки плутуют над пловом
На кухне базара разноязыкой.
Увяла, свернулась, как в супе петрушка,
БабУшка пугливая, интеллигентка –
Старушка-вострушка, шутиха, Петрушка –
Соломка свалялась, отклеилась лента.

1995

## МОИ УЧЕНИКИ

Строчки неряшливы, как халат
У продавца в овощном магазине –
Черная свекла, желтый салат

И помидор со щекою синей.
Нет же, такого не сыщешь теперь,
Только вот строчки не изменились,
В стихотворенье заляпана дверь,
Ученики мне под утро  снились:
Щеголеватые старики –
По двое входят хореи и ямбы,
Доковыляли до третьей строки,
И провалились в лощины и ямы,
За руки я их тяну, а сама
Что-то бессмысленное мурлычу…
Где же тетрадка? За окнами тьма,
Карандашом я вслепую тычу...

Не научиться грядки полоть,
Если уже не сгибаются спины,
Не научить изможденную плоть
Рифмы низать в жаровне пустынной.
Мои песнопевцы уходят во мрак,
В свои безнадзорные одиночки,
Гляну вослед – так неровен  шаг,
Как  неуклюжие, смутные строчки.

* * *

Листвы вечерней дребедень
дорогу обрядила.
Моя заботливая тень
меня опередила.
Я шла доверчиво за ней.
Сжимала ночь объятья,
и по заборам меж камней
метались наши платья.
Ночной листвы сплошная вязь
как будто тьму копила.
От няньки я оторвалась,
ей место уступила.

2011

* * *

Зажмурилось сознание.
Глаза тут ни при чем.
Достроила бы здание –
проблемы с кирпичом,
ни одного макета,
ни одного наброска,
и лето не пропето,
и тучи шутят плоско.
Ни краски, ни замазки,
ни запаха, ни звука.
Никто стучится в двери,
и я не слышу стука.

2012

ЛИФТЕР

Ушанка, беретка,
Жилец за жильцом.
Возносится клетка –
И вниз, и в проем.
Глядит безразлично
Очкарик-лифтер,
Кивает привычно,
И вновь его взор
Уходит куда-то
От шахты, от нас –
В провал – без возврата,
В недвижность, в Отказ…
Кабина повисла
В пространстве глухом,
И нет больше смысла
Вздыхать о былом.
Оборвана фраза,
Защелкнута дверь.
Какого отказа
Бояться теперь?
Державная милость
Теперь не нужна.
Судьба надломилась,
В душе тишина,
Как в доме усталом,
Где ночью лифтер
С бездонным провалом
Ведет разговор,
Где, Храма не зная,
Он Бога зовет,
Где клетка сквозная
Плывет в небосвод.
Веками отлитый,
Взмывает псалом.
И в ритме молитвы
Качается дом.

1984

Сергей Сапожников

# СТИХОТВОРЕНИЯ

## ПОЛНОЧЬ НА СМОЛЕНСКОМ ВОКЗАЛЕ

Доколе нам скитаться?
На станции темно,
И кладовщик с квитанцией,
Как смерть, глядит в окно.

Как будто дела нет ему,
В какие тупики
По расписанью летнему
Летят товарняки.

В них соль, и с ними тайна,
И жизнь недорога,
И мы, как от хозяина,
Ударились в бега.

В двоящие, горчащие
От времени и копоти,
Я канул в них, как в чаще,
И утонул, как в омуте.

А что потом – ни ты, ни я
Ни полсловца о том,
И в зале ожидания,
От пыли золотом,

Еще не то случается,
И скоро сорок лет
Буфетчица-печальница
Не гасит черный свет.

## О ВЕЩАХ НЕПРОЧНЫХ

**- 2 -**

Твой свидетель не в себе, и судья
Переводит эту дрянь на латынь,
Он в рубахе ледяного шитья,
Это новая статья забытья,
И под ней скрипичный ключ, как аминь.

Он не путает, а так – норовит
Переставить то падеж, то предлог,
Ему клятвы нипочем на крови,
Ему сладки не загадки твои,
Он и сам был скрипачем, но продрог –

Потому что он читает сердца,
Кому сети, кому плети, кому медь,
Потому что у чтеца пол лица,
И не слышно ведь его, стервеца,
Ему лекарь прописал онеметь.

Эта лесенка зачем на чердак?
Здесь ни двери, никого, ни чернил,
За спиною тенорок, как сквозняк,
На котором ты себя сочинил,

Небеса с пяти сторон, как стена,
Был строитель тароват, вороват,
Видно, жизнь ему была не страшна,
Что в окошке прокурор, как луна,
И не смотрит, а стоит, как квадрат.

Ты бы выпил эту чашу из двух,
Обмахнулся в темноте рукавом,
Потому что на дворе ходит слух,
Что на фоне тех небес, милый друг,
Не останется к утру никого.

**- 3 –**

Будто в воздухе разлита вода,
И ни берега не видно, ни дна,
И на сердце от нее, неживой,
Пробегает как порез ножевой.

И из этого туманцу, из воды ль
Подымается аршинный горбыль
И шумит, как будто лес строевой,
Опоясанный, как есть, бечевой.

Не русалка там сидит на суку,
Говорил соловый конь седоку,
Потому что все умрут однова,
Она пишется жар-птицева вдова.

На щеке ее не божья роса,
И за поясом не нож, а коса,
То рыдает, то зовет, то кричит,
Только плачь ее чего-т нарочит,

Он уносится, как дым, к облакам,
Двое в белом, тоже в дым, по бокам,
А плакуша, аки всяческая ферзь,
Где ни попадя гуляет и невесть.

Всей родни у ней – сама да сума,
Всей печали – не сойти да с ума –
Не под этой же водой, голося,
От которой захлебнуться нельзя.

А коса у ней густа, но не густей,
Чем предписано в грустях от властей,
И людишки из окрестных областей,
Заходящие с немыслимых мастей,

Зря хлопочут, топчут-квохчут, гоношат,
Из ковша переливают в ушат,
Смотрят, воры, не во взоры – поперек,
Каждой чучеле берут под козырек.

Им без надобности царево перо,
Они сам-себя щекочут в-под ребро,
Или, скушавши казенного вина,
Ищут хана воевати в пол-пьяна.

Не ходи ты с ними, подлыми, в Крым,
Не вернешься ты назад молодым,
Так соловушка учил дурака,
А дурак уже почил на века.

Жар-не-птица ему снится, чуть дыша,
А водица и в ней вѐрша-вершà,
В ней бы выдали плотвицу за ерша,
Только сваха у него нехороша,
То ей место, то невеста не та.
Всюду сети, говорю, невода.

**- 4 –**

Так шептал монах для уснувших птах:
Вот горит листва на моих лесах,
А один листочек упал в источник –
Еже аз писах во пустых местах
О вещах непрочных и часах полночных.

Там о леву руку дитя с мячом,
А за ним, как ангел, судья с врачом,
А по праву руку – пойдешь по кругу
И войдешь, раздвинув стрелки плечом,
Как прибрежный кустарник, в реку разлуку.

Мы по ней течем, аки гимн речем,
Поводырь утек, не скажу на чем,
Не спалось ему, а спалось – не снилось,
Будто утица тронула за плечо,
И они вознеслися на птичий крылос.

Он теперь весь в перышках наверху,
Там бумаги нету и табаку –
Он и здесь чертил при потухшей свечке
Невозможную всякую чепуху,
Они стали угли – его словечки.

Например вот так: я сбежал в овраг,
Как сбежал с ума, поперек – мосток,
По ту сторону – на сто верст большак,
Там запел рожок, а потом умолк.

Я по нем прошел три раза насквозь,
Потерял себя, как собака кость,
И тогда завыл, а по чем – забыл.
Это млечный путь, я в нем млечный гость.

Я смотрю во тьму, в ней горят огни,
Если я умру, я умру от них,
Как сверчок к утру, и на этот счет
Их, как черт в печи, звездочет печет.

Александр Немировский

# ТРЕТИЙ ХРАМ ПОСТОЯНСТВА

* * *

*Маме*

Я никак не пойму – это время бежит или встало?
Это я тебя помню, иль я в твоей памяти жив?
Или времени нет?
То есть нет ни конца, ни начала.
Просто солнечный свет
Над твоею щекою дрожит.

Что лежит
Впереди –
Видно чётко на будущем плане.
Что уже обожгло – навсегда отложилось в груди.
Если времени нет,
То ненужно молиться.
А в Храме
Можно просто любить
И испытывать радость любви.

Не бродить
От решенья к решенью
И дальше, к ошибке.
Не бывает ошибок, когда сочетается дух.
Я никак не пойму – это я умоляю прощения,
Иль мне все простилось?
А я, остающийя, глух?

О, родная моя, наше золото блещет,
Как прежде.
И смеются глаза,
А в ушах не умолкнут слова.
Они плещут
Во мне. Набегая, катясь и трепеща.
Ты на все времена
На меня заявляешь права.

* * *

И когда я буду потом
Судим своими детьми.
За эгоизма грех.
Что с того, что написан том
И посажено дерево на виду у всех?
Что с того, что людьми
Позже буду я вдруг прощён?

Я не буду оправдан там,
Где ведут мой закрытый счёт.
Где заказан мне доступ в храм,
Где душа прогорит, как воск.
Пусть я всё, что украл – отдам.
Пусть охрипнет мой голос
От покаяния и вины.
Мне останутся наши дни.
Мне останутся мои сны.

Бестелесная память пусть
Пронизает вселенной свет.
Я опять с тобой повторюсь
Через тысячу что ли лет.
И на землю придет опять
Возродиться одна душа.
Чтобы в двух телах побывать.
И свести в одно, жизнь кроша.

## РЕЙС № 93

Ты еще будешь видеть сны
Когда мой самолет уйдет в облака.
Прости
Нам не свидеться больше.
И моя рука
Не обнимет тебя с утра.
Тоньше
Ты станешь от этих вестей–
Не смог я беду отвлечь.

Разбросали тело на сто частей.
Те ублюдки,  которых речь,
Нам с тобой никак не понять.
Порешили что хватит
Нам наших встреч.
Хватит
Мне тебя обнимать.

Даже если мы всех сомнем
Нам не встать на земле живым.
А ты еще будешь видеть сон.
Последний,
Посланный нам двоим.
Двоим.
Ты улыбаешься.
Я тут стою –
Дотронуться лишь никак.
Люблю.

Я тебя навсегда люблю.
Нечестно, что все вот так.

Я смотрю
На тебя в восхода лучах –
Разметавши бельё, ты спишь.
И поправки к календарю
Еще нет.
И как хорошо
Что со мною ты не летишь.

* * *

Судьба нас исполняет словно ноты.
Одновременна боль – в одном аккорде.
Под пальцами создателя. Ну что ты
Сегодня грустная?
Мы дань одной природе.
Концовка пьесы с точки зренья нот – загадка.
Нас вместе нажимают. Так раскладка
Записана на партитуре судеб.
Ты – гордый звук.
Я – дребезжу посудой
Запачканной. Бутылками пивными.
Пусть рассудит,
Кто слух
Имеет, есть ли здесь мотив?
Звучит аккорд из нас. Над ним речитатив
Из слов обиды, слов непониманья.
Какая глупость! Видишь обнимаю
Тебя. Гармонии сливаются в одну.
Чуть-чуть вселенной добавляя глубину.

* * *

Кажется жизнь пошла по второму кругу.
Впадает в любовь, переживает разлуку,
Потом разлом.
Так и кажется, что душа набивает руку
Чтобы потом
Напрямки и напролом
Выйти к финишу,
Продираясь скорее по звуку,
Чем на ощупь.
Несбывшуюся надежду,
Используя для криков о помощи,
А их уже как прямую цель.
Но сколько можно ещё
Выдержать таких циклов прежде
Чем налетишь на мель?

Я наверное оставил долги на первом круге.
Или что-то важное не сдал в срок.
Жизнь так устроена. Она повторяет муки,
Каждый раз усиливая урок.
Пока он не выучен и не понят.
Или пока он не поднят
На новый уровень.
Откуда видно, что я всё тот же увалень.
Что всё смотрю в зеркало времени,
Кривизну его пытаясь понять.
Вспениваю
Ручейки памяти, пока не придет ощущение
Свежести старых ошибок.
И опять
Надеюсь их больше не повторять.

* * *

Это только время сумеет поставить точку.
Я же натыкаюсь на вопросительный знак.
А точнее знаки, намекающие на всякие прочие
Варианты, уже на случившиеся никак.
Клочьями
Разорвано одеяло памяти.
И давно не греет и пропускает холод.
На нём можно версии, как заплаты ставить.
Столько слов пропадает,
Что ломит голову.

Иногда так бывает –
Труднее убить любовь,
Чем пережить смерть.
Так что, любой
Думающий иначе – пусть не зарекается впредь.

Я пробовал. Проходил через мысли гроздьями.
Высеивал рациональные зерна. Ждал ростков.
Не получилось. Дожив до проседи,
Так и не смог вырваться из твоих оков.

Но я принимаю, что мы давно прожили
Через бурную эпоху друг-друга.
Что взамен снятой,
Теперь медленно растим новую кожу.
Что это, как попытка решить квадратуру круга –
Некуда и незачем идти на попятный.

Я охотно делюсь пирожным
С моей постоянной любимой.
Зарастает всё, хотя и с натугой,
Когда целое перестает замечать, что оно – половина.

## МИТТЕЛЬШПИЛЬ

Калифорния. Вечер.
Огоньки самолетов, запряжённые цугом,
Медленно пашут ночное небо.
Кречет
Встает на крыло над лугом.
Закат поджигает запад
И горит над горами гребень.
Память мне кружит голову
Твоим голосом.
Запахи наступающей ночи назначают свидание.
Но полис
Выбран. Полностью и не поровну
И долги опять перевешивают желание.
Так, что ещё один день застревает в патоке.
Вычитая тебя из моего времени.
Обрезая его и делая совсем кратким.
Как остатки в банке из под варенья..
А помнишь, я построил город с домами и парками?
И обнёс его прочной стеною от глупых недругов?
И поселил тебя во дворце? Как ярко
Светило солнце, и пели птицы в кроне кедров!

Я построил город с магазинами и бульварами.
Там было много уютных кафе на кривых улочках.
Куда мы заходили и пили чай из самовара
А иногда кофе, как водиться, с булочкой.
И лучше
Не было тогда места на целом свете.
Осталась это почтовой карточкой в моём виске.
Я построил город. И верил, что мы в него переедем.
Когда вдруг оказалось, что он стоит на песке.
Когда вдруг оказалась, что посреди повседневности,
Мы почти потерялись и теперь, реви – не реви.
Ты выкармливаешь тело своей ревности
И оно шарахается от тени моей любви.

А жизнь расчерчена на перекрёстки
Между твоей работой и моим бытом.
И я старым шутом на подмостках
Пытаюсь тебя рассмешить избитым,
Заезженным поперек и вдоль сюжетом
Про счастье. Но лишь вызываю недоумение.
Как будто грязь на моих манжетах
Ставит слова и роль под твое сомнение.

Прости за эти угловатые, длинные строчки.
А хочешь если, то и бумагу порви.
Я построил город для нашего одиночества
На простом песчанике твоей любви.

## МОИСЕЙ

Если мерить любовь,
Если как-то придумать устройство
Со шкалою свиданий и счастья,
хотя бы из разных частей.
То тогда единице такого всемирного свойства,
Назначается имя –
Размерность один Моисей.

Это право же просто,
Чтоб со всех континентов событья и люди,
Сплеталися в тесный клубок.
Это очень не взросло,
И кто-то наверно осудит.
И даже попробует времени выставить срок.
Подчиняясь минутам, увы,
Мы беспомощны в этом пространстве,
Ленинградский трамвай исчезает.
Он вне скоростей.
Только город из камня.
И в нем Третий Храм постоянства.
Весь в убранстве Любви.
И приведший к нему Моисей.

Римма Катаева

# СТИХОТВОРЕНИЯ

## ХАРЬКОВ, 22 ИЮНЯ...

Наш старый дом по улице Свердлова –
Высокий дом, изогнутый дугой...
Он только что, как все, услышал слово,
Произнесённое по радио Москвой.
А мне годов – ещё беспечно мало,
По лестницам пружиню без конца.
Но почему так плачет, плачет мама,
Захлёбываясь именем отца?
Я знаю: папа где-то на границе,
И повидаться нам никак нельзя...
А в скверике у всех такие лица!
Такие непонятные глаза...
Уже на окнах – странные полоски,
Как крестики в ребяческой игре,
И мальчик, что всегда ходил в матроске,
Прощается с друзьями во дворе.
В квартире лампы светят вполнакала,
Уходит мама в ночь, как ночь – черна...
...А я тогда всерьёз не понимала,
Что это
начитается
война.

## ВЫБОР

Естественный выбор – я здесь навсегда.
А если случится большая беда?
В глаза – даже смерти! – достойно смотреть,
Но только б на этой земле умереть,
Чтоб здесь над могилой ромашки цвели,
И пели над нею мои соловьи,
Чтоб прах мой навечно укором дышал
Тому, кто по-чёрному судьбы решал.

***

Оптимизм,
Ну, откуда ты взялся
На моём неспокойном пути?
Не на шутку ко мне привязался
И стараешься рядом идти.
Ты считаешь, с тобою легко мне –
Без унынья, без жалоб, без слёз?
А присядь-ка на миг и припомни,
Сколько нам надрываться пришлось.
Перепрыгивать через провалы,
Пересмеивать выходки зла.
Пусть бы плакала я, ревновала –
Лучше б женщиной больше была!
Но – не дашь мне понежиться слабой.
Но – хандре не уступишь и дня.
Надоел. Со двора прогнала бы!
Не могу – ты сильнее меня.

***

Спасибо тебе за свободу
Моих незаплаканных лет,
За эти нежданные всходы,
За то, что останется след
От жизни, когда-то незрячей –

Прозревшею на бегу,
За то, что сегодня удачу
С тобой разделить не могу!..

## ЗА ОКЕАНОМ

Стопка свежих фотографий...
Новый дом. И новый двор.
Дочь доверчивою графикой
Водит мой усталый взор.
Дом большой, пустой, открытый...
Мебели – и вовсе нет.
В каждой комнате зарыты
Свой секрет и свой сюжет.
Между зелени газонов
Разгадать его – невмочь.
Утопает – весь в озонах –
Дом, зовущий день и ночь.
Все живое дышит домом,
Изгоняя ветхость прочь.
Шёлк азалии знакомой...
Ландыши – и те точь-в-точь –
Как у нас на Украине.
Дома: внучка, дочка, зять...
…Я в дому, где свет мой ныне,
Не успею побывать.

## ЕЖЕВИКА

*Дочери*

Ежевика, ежевика –
Сочный почерк, бодрый стиль...
Удивительные блики
Так и брызжут из горсти!..
И прокладывает мостик –
Так неклёванно смугла –
Через море, через вёрсты
Ежевичная смола.

## ХАРЬКОВУ

Город мой, до чего ж ты мне нужен сейчас!..
Город мой, я кровинка твоя от рождения.
Насовсем уезжая, к тебе возвращалась не раз
И не раз возвращалась к тебе за спасением.
Это ты в сорок первом отправил меня,
Может, в самом последнем твоём эшелоне –
Далеко-далеко, чтоб тяжёлая ярость огня
Захлебнулась в своёй сумасшедшей погоне.
Ты мне нежность дарил, ты давал мне совет,
И увидев, как солнце моё раскололось,
Ты осколки собрал и такой закатил мне рассвет,
Что услышала в нём я свой собственный голос.
Но какой-то навязчивый, слякотный дух
Нестерпимо хрипит у меня за спиною...
Не хочу, не умею на чьём-то дышать поводу
И – какая ни есть – я хочу быть собою.
Город мой, сколько выпало разных тревог
У тебя, у меня... Сколько вместе всего пережито!
И опять приникаю к тебе я, любимый порог,
Ты – опора и право моё на защиту.

Валерий Дашевский

# СОСТАВИТЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЙ

1.

Вы и не посмотрели б в его сторону дважды — да кто посмотрел бы, хотела бы я знать. Разве что эта бестолковщина — его жена, то есть бывшая жена и бывшая студентка, потому как только студентки и способны на такое: пялиться на его очки и мечтать принести себя в жертву науке, молодому доценту или не пойми чему. А ведь еще надо жить жизнь, между прочим. Эта-то, господи спаси, она-то что могла знать о жизни и чему путёвому её могли научить отец с матерью в этой, прости господи, Костроме, или откуда там она была родом. Одно слово, приезжая. Тонкая такая, тощая. И тоже не от мира сего — так, по крайней мере, казалось, когда она прижимала руки к груди — или к тому месту, где обыкновенно у женщин грудь, и объясняла всем и каждому, кто готов был слушать — а слушали её не то чтоб с удовольствием, скорей с этаким хмурым интересом, с каким у нас, в Матвеевке, слушают пришлых, иногородних, — какой он, её Сережа, умный, прекрасный, образованный и утончённый. И всё это было ни к чему — я про её объяснения. Она словно бы извинялась перед нами за то, что он такой — непьющий, некурящий, нелюдимый, знает какие-то там мёртвые языки, латынь — да что латынь — древнееврейский, древнегреческий, и это нам было уж точно без толку. Нам-то на них не говорить. Пусть он и был учёности немерянной — нам-то от этого что? Спрашивается: ну что нам было до его учёности, да до чьей угодно учености, — когда всё это без толку, и никакого отношения не имеет к нашей повседневной жизни, когда прорастает картошка, ничего не достать, на базаре — один Кавказ, и все сидят по своим углам, и о том только и думают, чтобы не было хуже. Вот и она точно извинялась — и за него, и за себя — чуяла, должно быть, что нам он ни к селу, и её, с её слабыми руками и вечной тревогой в глазах, тоже, поди, не хватит надолго. Ну, присылали им припасы из Костромы или из Вологды, откуда к нам её занесла нелегкая, но ведь они, поди, были бедны, как церковные мыши — Серёженьке её надо было покупать какие-то книги, которыми их комнатушки, а были у них две, были заставлены до потолка, сесть-то там толком было негде. Она всё зазывала нас к себе — беременная, а потом — с грудным младенцем на руках, конечно, когда мужа не было. Но только ведь это было одно: есть он, нет — оттого, что вид у него был, как у хворого. Не как у помешанного, нет, но полностью отсутствующий, будто он общается с тенями или призраками на этих, мёртвых-то языках. И всё-то мне хотелось спросить: нашим-то, человеческим он пользоваться, часом, не разучился? Верите, она ему писала бумажки, когда посылала в магазин —и мне, вот крест, по сию пору странно, не то, что он их мог прочесть, а то, что не забывал их вовсе, стоя в очереди, в своей лыжной шапочке: в лице ни кровинки, всё бессонница, всё еженощные бдения за книжками, одет, конечно, так, что без слёз не взглянешь, а ведь молодой-то мужчина. Если б он не то, что бумажку — голову дома забыл, я бы не удивилась. Там, в его книжках, поди, было не написано, что у него — жена и сын. И — то ли он не прочёл этого, то ли ему не сказали — но, похоже, он так и не узнал этого толком. Есть же такие — не от мира сего. Соберите его с книгами и лампой, перенесите за тысячу верст, и, клянусь, он не заметит, если, конечно, не крикнуть ему прямо в уши! Жаль мне было эту

бедную Лизу, да как тут поможешь и чем? Это же с самого начала было ясно, что долго-то она не выдержит. И работа у него была странная: составитель примечаний. А звали его — Сергей Павлович. То есть, как я поняла, он в точности знал, что и когда сказал какой-нибудь там Плавт или Сенека — это я наслушалась от неё — ну, и когда печатали какую-нибудь книжку или полное собрание сочинений, до которых нам было дела ровно что до прошлогоднего снега, он писал к ней примечания да послесловия, так, кажется: и она нам показывала эти книжки — гордилась своим Серёжей, значит; а по мне, лучше бы попридержала у себя, чем злить людей его учёностью да начитанностью. Он-то с нами не говорил, Что ему, спрашивается, было разговоры разговаривать с нашим окраинным дурачьём, то ли дело плавты и сенеки. Не скажу, чтобы его ненавидели, вреда от него не было, как и проку — если он не отсутствовал в институте в своём свитере-самовязе, со своим ободранным портфелем, значит, квасился в четырёх стенах, в своем закуте под лампой, всё молчком, обрастая пылью, или они выходили втроем — это, я вам скажу, было зрелище. Точно у этой Лизы было двое детей — один нормальный, живой малыш, а другой — великовозрастный переросток, как бы немой от рождения, щурился всё на фонари, точно вышел не из дому, а из лесу. А после — вскоре после того, как мы с ними разделили лицевые счета, больно много электричества жёг её составитель — она взяла мальчика и уехала. Мы думали — к родителям, в Кострому-Вологду или откуда она там взялась.

Это-то и было скверно. Всем нам, бабам, хочется путного мужика, чтоб жить за ним без головной боли, но была она чистый человек, просто молодая и слабая — сразу было видать по её джинсам, ветровке, по глазам. И ушла она не вдруг. Терпела, значит, сколько могла, может, из уважения к его большой учёности — или боялась, что без нее он пропадет: кто ж ему будет писать записки, поди, небось, удивлялся всякий раз, что хлеб продаётся в гастрономе.

Но только он не пропал.

2.

Нет, он не пропал и никуда не делся.

Больше скажу: года за два до ихнего развода у него обнаружился голос — низкий, негромкий, густой, как у нашего отца Никодима. Сынишка его был ещё совсем сопливый, но Сергей Павлович порешил, что тот достаточно взрослый, чтоб ему давать первые уроки. Двери-то в нашей квартире — одно название. И вот, что ни вечер, нам было слыхать, как он ему зачитывал вслух про разных там героев древности, про полководцев и царей, а то часами говорил с ним на своей тарабарщине, поди, на древнееврейском, не иначе. И говорил с ним, как со взрослым (мальчик-то, понятно, молчал, только таращился на него через стол). А Сергей Павлович всё-то ему рассказывал, или зачитывал книжку вслух, и было в этом нечто неотмирное — ведь все эти цари да воители тысячи лет как истлели в прах; а раз из кухни мне было слыхать, как он сынишке перечитывает речь какого-то Ганнибала, сперва по-русски, а потом то ли на латыни, то ли на каком еще языке. Я тогда поманила Лизу на кухню и говорю:

— Что ж это твой творит, Лизонька? Он что, не видит, что мальчонка ещё совсем шлепогубое дитя, чтобы не то, что понимать — сидеть и слушать такое?

И тут увидела — Сергей Павлович в дверях.

— Вы вот что, — говорит, — знайте свои кастрюли.

Тут он был прав. Каждому своё, это верно. Самое-то странное было в том, что говорил он про это прошлое так, точно оно и было-то вчера вечером, будто б не мог примириться, что оно кануло без следа и никакого отношения не имеет к нынешнему нашему житью-бытью — к электричке и свалке за осыпью, где в небе кружили вороны. Это я потом поняла, что он живет в нем, будто оно никуда не делось: прошлым и в прошлом, раз навсегда, как если б его приговорили к чему-то — великому и ненужному — к какому-то подвигу, что ли, о котором позабыли и люди и мир, а он знай себе нёс эту память с гордостью, со смирением, зная, что она нам не нужна, но веруя, что понадобится, а если нет — нам же хуже.

Много, доложу вам, лет прошло, пока я это поняла ясно. Да что говорить! Сочувствовала ему, есть ведь на свете одинокие души — и причина в том, что они одиноки, есть при них женщина или нет. И уж если он служил своему великому прошлому — книжкам да пустоте — верой и правдой, не падая духом, не ропща, молчком, говорю я вам, в своем непреклонном одиночестве. Первое время она к нему наезжала — приготовить, постирать. И приводила с собой мальчика. Вышла-то она второй раз тоже в Москве. Нашла она свое счастье, нет ли, не имею понятия. Только уважала она его не меньше, а больше прежнего. Раз, когда он отсутствовал, она меня зазвала к нему показать, сколько книжек напечатано при его участии: литературные памятники, Тацит какой-то, Плутарх — он мне потом сам показывал, лет через десять. И тоже, как если бы они вышли вчера! Я к тому времени овдоветь успела, выдала дочь за хорошего человека из Митино. Они-то — Лиза с мальчиком — давно уже не навещали его; только я иногда помогала ему по-соседски. Так и время прошло, и прошла жизнь. Только он не изменился — или почти не изменился. Все такой же был: высокий, сухопарый, с блаженным взором и лицом не от мира сего, точно заворожённый зрелищем того, как какая-нибудь армянская конница в блеске да великолепии спускается на заре на равнину, где выстроились легионы Рима.

Как-то разговорились мы с ним на кухне, и я говорю:

— Сергей Павлович, не в обиду, оно ведь не нужно никому, кроме вас, да хранителей музеев, да вашим студенткам — до поры, до времени, пока не поумнеют и всё не перезабудут.

А он мне говорит:

— Вы полагаете? Вы в церковь ходите, Любовь Николаевна?

Говорю:

— Сравнил! Так ведь то церковь.

А он и говорит:

— Ходите, стало быть. Стало быть, верите, Христос был распят, и мученики претерпели за веру, и вам особой разницы ведь нет, вчера это было или тысячу лет назад, или в начале веков. То есть, иными словами, все эти деяния для вас были, есть и продолжаются во времени, так?

Говорю:

— Ну.

А он и говорит:

— А почему вы не думаете, что человеческая доблесть и добродетель так же живы, как само слово или мысль — и Аристотель у себя в саду изо дня в день проповедует свое учение, потому что оно принадлежит вечности — не времени? Понимаете теперь?

И я говорю:

— Вечности. Надо же. Но ведь не может же все принадлежать вечности, а только самое важное, нужное, наверное?

— Значит, понимаете, — говорит.

Чуть не забыла. Когда Лиза перестала его навещать, мальчик-то приезжал к нему. Одно время. Так — на час-два, больше-то он не мог засиживаться, путь, видать, был не близкий. Потом перестал. Может, самому надоело, а может быть, запретили — отчим там или мать.

3.

И, значится, двадцать лет, как копеечка, прошло, прежде, чем он навестил отца-то.

Хорошо хоть я была в доме. И, клянусь, на месте его сына — Бореньки — до конца дней обходила бы наш дом десятой дорожкой. Дело не в том, что отец не знал сына, в том, что сынок не знал отца. А знать бы его не повредило.

Я, как-то случаем, кое-что разузнала о нём, хотя верила, что вся его подноготная у меня как на ладони. Чайник на кухне, все словари, все книги штабелями, да еще эта его лыжная шапочка, которой, как казалось, не было и не будет сносу — ну, и, конечно, лампа по ночам, полоска света из-под двери. Дочь Веры Валентиновны — она жила через дом — бухгалтером служила в его институте. Заговорили как-то о нем — и такие она ему запела дифирамбы — заслушаешься! Я у них тем вечером сидела допоздна. Говорит, дескать, если есть на свете подвижник да бессребреник, так это он — Сергей Павлович, значит. Скромный, честный — при его авторитете в институте другой бы уже докторскую защитил, кафедру получил, а он — настоящий учёный, которому

все эти распри и склоки учёного мира — всё одно что собачий лай. И что студенты на него не намолятся. И что в этом своем академическом мире он чуть ли не мерило, эталон. Хоть и считают его человеком с причудами.

— Это что значит? — говорю.

— Значит, что он — светлая личность, — дочь Веры Валентиновны говорит чуть ли не с раздражением и плохо скрытой досадой. — Обидно за таких. При его знаниях и научных трудах он живет с вами в коммуналке. Вам это о чём-нибудь говорит?

— Что ж, может, ему со мной не плохо.

— Разве что, — говорит. — А вы, например, знаете, что он из дворян?

— Надо же, — говорю. — И что ж теперь?

— Да ничего, — говорит. — Ведь вы присматриваете за ним. Вам зачтется.

— Будем надеяться, — говорю.

Это как раз незадолго перед тем было, когда Боренька решил его проведать в кои веки.

Меня дома не было, когда он явился. А пришла: гляжу из кухни — на столе стоит бутылка непочатая, а оба они, как двадцать лет назад, сидят за столом — друг против друга. И Боря говорит, говорит. Я не хотела, но слышала: рассказывал про свое житьё-бытьё. Все как у всех, ничего необычного. Женился. Развёлся. На работе склоки какие-то — было б из-за чего — где-то он там инженерил на заводе или в институте научно-исследовательском, а может, в СМУ или ЧМО. То ли его обошли, то ли в ложке воды утопить хотели. Из-за каких-то пятнадцати рублей. Как-то вполголоса говорил, я толком-то не разобрала. Наш Сергей Павлович молчал, разглядывая его близоруко и пристально, как нечто бесконечно удалённое, словно бы между ними не стол был, а, как говорят, полоса отчуждения — с километр длиной, какая-то, прости господи, пропасть. Тот всё бутылку подвигал, очень хотелось выпить с папкой. А Сергей Павлович всё смотрел — и почему-то я побоялась зайти поздороваться — а, как-никак, помнила его годовалым мальчонкой. И вот ещё что: побожиться могла, что не выйдет из их разговора хорошего. И точно: слышу, Сергей Павлович вдруг как-то негромко, но отчётливо и как-то жутко спокойно говорит сыну:

— Вон.

Бедный, тот тоже решил, что ослышался.

— Что? — спрашивает, — что ты сказал?

А Сергей Павлович:

— Вон, — говорит.

— Так ты что ж, меня даже не выслушаешь? — Боренька спрашивает. — Ну, не хочешь выпить, ладно, не пей, дело твое. Но выслушать можешь, по крайней мере?

— Вон, — говорит Сергей Павлович. — Вон! Никогда не переступай порог этого дома.

— Да ради бога, сдался ты мне, — это Боренька говорит.

И поднялся.

И тут Сергей Павлович как завопит:

— Пошел прочь немедленно, слышишь!

Господи, я думала, с ним будет инфаркт! Боренька выбежал на лестницу, как оглашенный, даже бутылку не прихватил, и бросился бегом по лестнице — Сергей Павлович — за ним, этаж за этажом, и кричал так, что у меня заходилось сердце:

— Мерзавец! Ничтожество! Кретин! В твои годы Пушкин писал Онегина! В твои годы Наполеон дрался под Арколе и Риволи!

Насилу я его заворотила. В дом повела — и говорю:

— Тише, ну тише же вы! Соседи ведь слышат! Весь дом слышит!

А он, задыхаясь, говорит:

— Да-да. Конечно. Разумеется. — И вдруг засмеялся, негромко, невесело, опираясь на мое плечо. Так засмеялся, что мне не по себе сделалось:

— Соседи. Конечно же! Соседи! Вы уж, пожалуйста, напоминайте мне о них...

Мартин Мелодьев

# АМЕРИКАНСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

## ВЫЗОВ

*В. Конторовичу*

Спасибо, друг!.. Хотя бы и за то,
что голос мой остался безмятежен.
Не так и важно, где мы веки смежим,
когда пойдет кружить гелиотроп
над нами, словно всадник над манежем.

И новых звезд разложится пасьянс
уже без нас над нашей головою,
разбойничий в ночи раздастся свист —
и паровоз рванет сквозь бологое,
глуша людскую молвь и конский топ.

Качнет плюмажем черный машинист,
ученый нью-ланкастерский славист
промолвит: «Он стоял за Ренессанс»,
читая то, что я тебе глаголю.

Спасибо, друг. Ты подарил мне шанс.

## ЭЛЕГИЯ

*П.А.Тайберу*

Ах, эти алые герани!
Когда над городом снега,
они цветут в оконной раме,
родные сестры очага.

А здесь, в сухой палитре Юга,
в полынном золоте огней —
они нам кажутся бледней,
как мы себе, на склоне дней,
в глазах насмешливого друга.

## СМЕХ СКВОЗЬ ПЯЛЬЦЫ

** К **

Хорошо, — говорю, — бы нам
хоть немного побыть вдвоём.
Два билета на Суринам
покупаем и… продаём.
Ты, нахмурясь, сидишь с утра
над букетом — и складка у рта.
Не грусти! — говорю. Готов
жить в Гренландии!
…пусть я враль.
Я устрою там Бой Китов
(поэтический фестиваль).
И дрожит, смеясь, на виске
жилка тонкая, словно нить.
И цветы твои на холсте
приказали их отложить.
Но опять над букетом роз
ты стоишь, как Суок, с утра.
Вот такая метаморфоз,
дорогая… Эцетера.

* * *

*Р. Гольдман*

Невада вся — поверите ли, Римма —
величественна и неповторима.
Рассвет. Палеолит лиловых гор.
Из флоры — чаппараль да виннемука.
Ни шороха. Ни запаха. Ни звука.
Но вот блеснет вода лесных озер:
мы снова в Калифорнии. Кармин
добротных крыш «предместий Сен-Жермен».
Лист эвкалипта: бритва и ремень.

Пройдут по сторонам Большой Межи
гольф-клубы, распродажи-гаражи,
и — Сан-Франциско, в поисках угла
встающий, словно скатерть со стола
с надорванною пачкой папирос...
Здесь, дверь открыв, на робкий наш вопрос:
«Могу я ви...?» — не скажут ничего.
Сто лет живи, двойной вдыхая О!
Глотай туман под легкий взмах руки
поэтов первой и второй волны реки.

* * *

*Леве. Залив, 1999*

Ночь в букеты свела деревья,
мир в соцветиях звёзд и дыр!
В очаге моего безверия
вьётся памяти светлый дым.
Светофоров семья стальная
в ночь зеленым глядит огнем.
Песня людям!.. Но я-то знаю:
одиночество — это дом.

Интермеццо слепого ветра,
серой чайки, седой волны...
штемпелёванного конверта —
песня неба, а в нем Луны.
Рассыпается птичья стая,
улетают мои друзья.
Но сверкнет закат, отступая,
по зеркальной воде скользя.

То ли тучи там, над заливом,
то ль за ним, вдалеке, холмы...
Кипарисом и розмарином
дышит вечер чужой страны.
Мне ж мерещится ночь морозная,
стылой набережной бетон...
Одиночество — вещь серьезная,
и спасибо ему на том.

* * *

*А.Виксне*

Цветочна жизнь, похожая на нашу
смешеньем жанров, стилей и эпох —
и лишь никак себе я не втемяшу:
ни одного, который был бы плох.

Там гиацинты скачут егерями
среди настурций золотой орды.
Зеленая керамика герани,
кувшин тюльпана, скатерть резеды.
И львиный зев, окунутый в елей,
и гладиолус, щучья барракуда.

Твоя коммунистическая клумба
на обожженной вечностью земле.

ВДНХ - 97

*А. Маллаеву*

Презентация шоу высокой моды!..
Шоумены, вперед! А какие морды:
Питер Брейгель и тот бы не знал, с какого
кисть конца взять…
Подумав, решил с тупого.

Эксклюзивы направо, народ налево!
Орлеанская гвардия… Вряд ли Дева
принесла бы себя на костёр державе,
где её бы, того и гляди, сожрали.

И не то, чтоб я против высокой моды:
вот, к примеру, и датская королева —
модельерша.
Но этот глоток свободы:
эксклюзивы… направо, народ налево.

Милицейские трели играют нервно,
и становится так хорошо и пусто
у ворот павильона, где две модели
демонстрируют небу сельхозискусство.

* * *

*Св.*

Наступает октябрь,
листья падают в осень.
Ветер треплет края,
вместо белки вертясь в колесе.
Над землею туман,
и трава вымерзающим ворсом
серебрится в тяжелой росе.

С точки зрения крон
с богом времени спорить напрасно.
Наступает октябрь,
твердый знак в череде бытия.
...Утро мая тая —
подрастает, и это прекрасно,
наша строгая дочь.
Не грусти, дорогая моя!

Осторожной рукой
отодвинуть осенние пряди
и брести не спеша
по зеленой дороге лесной
неизвестно куда, низачем,
на страницах тетради.
Дорогая моя! Время пахнет весной.

FINE de FLEUR[1]

*Л. Духовному*

Софиты гаснут, вечер начинается –
короткий переход из цирка в театр,
где песни, как ни странно, сочиняются,
а в небе гусли-лебеди летят.

Как хорошо, хмелея с рюмкой первою,
не спрашивать, кто против, а кто за?
Где барышни закусывают перлами,когда у них
откажут тормоза.

Нас не тревожит сумрачность кумранская,
поскольку за окном звезда горит.
А ночь темна... сержанты пьют шампанское,
а мы с тобою пьем цветочный спирт.

Поэт сказал, что тот, кто любит родину,
тот в ней живет. А мы с тобою где?
Цветочный спирт, как принадлежность
к ордену
всех эмигрантов – соло на трубе.

[1] Fine de fleur (фр.) — «сливки», «цвет общества»

М. Трамм

# ЗАПИСКИ БИЗНЕСМЕНА

Признаться, я завидую людям, живущим в своем прошлом как дома: они лучшие свои часы проводят там, вглядываясь в знакомые лица, вещи, и, даже, кажется, заново переживая эмоции. А мое – словно остывшая печь в изразцах: блестит, красиво, – но часто даже непонятно, о чем оно. Если выбрать картинку и долго вглядываться, на плоскости проступают детали рельефа: и чем мельче, тем, что самое возмутительное, рельефнее… Ну так вот.

Случилась это в Башкирии, которую в то время пересекал наш поезд «Москва – Хабровск». Я сидел в вагоне-ресторане совершенно один, если не считать стоявшего у тамбура охранника-башкира в грязном голубом берете и расстегнутой до пупа гимнастерке, под которой полосатилась тельняшка. Рэкет на железных дорогах в тот год расцвел, как чертополох на пустыре, и охрана придавалась каждому поезду наряду с шахматами, шашками и печеньем. Об этом и многом другом мне рассказал Валера Лаводарских, проводник нашего вагона, в котором я путешествовал из Москвы в город Н, где родился и жил тридцать пять лет, пока не уехал в Америку. А Валерия перестройка занесла из инженеров в проводники. В форменном кепи он был чрезвычайно похож на де Голля.

Познакомились мы в Гусь-Хрустальном, где на перрон потянулись женщины с вазами, бокалами и другим резным хрусталем нежных, в основном бледно-синих и зеленых тонов. Многие из работниц были той же цветовой гаммы, что и их товар, который они торопились хоть как-то продать — к станции уже подруливал жовто-блакитный милицейский патруль. А вещи были действительно очень красивые. Мы с Валерием купили одинаковые вазы — узкие, длинные, увитые резьбой, как лентой — только моя была с кобальтовой, а его с циркониевой добавкой. Тут состав как раз тронулся, и менты начали сбор дани. Стало противно, и мы, не сговариваясь, проорали им из тамбура разные обидные слова. Окончательно мы сдружились за тремя бутылками «КВ [1]», купленными мной в дорогу. Я ехал в Н-ск налаживать деловые связи с институтами научного центра, в которых некогда работал. Мне грезились перспективы…

Выслушав мои соображения, проводник мой дернул небритой щекой и сказал, утрируя:

– Ни хрэна не выйдет!

–?!

– А вот так.

–??

– У тебя даже выездной секретарши нет!

Взволнованный, я вышел из купе и оказался в вагоне-ресторане. «Курица не птица…» – фраза эта вертелось в голове, покуда не обзавелась хвостом. «…А секретарша не проблема». Заказав, что было, я уставился в окно и стал разглядывать придорожные пейзажи, не изменившиеся ни на йоту со времен моего отъезда. Разве что выложенные из ветхого кирпича лозунги теперь перемежались рекламными щитами, да вся картина по контрасту с автомобильной Америкой смотрелась как кошмарный сон передвижников… Бедные краски средней полосы, коричневые будки стрелочников, балки с ржаво-зеленой водой, уже начавшие облетать лесопосадочные полосы, березовые колки, – как-то сразу вспомнилось, что в России одиннадцать часовых поясов, то есть, если вдуматься, – дорога длиной почти в полмира. Несколько раз по откосу круто взбегали люди: то ли отставшие от поезда пассажиры, то ли нагоняющая его братва.

Между тем в ресторане появились

[1] Клим Ворошилов

посетители: бабуся в сером пуховом платке, крест-накрест перевязанном на груди, и анемичного вида очкастая девица, с ридикюлем, в измятом брючном костюме.

Они сели за столик через проход от меня, устроившись на лавках, как водоросли на пляже после шторма, и вполголоса заговорили, попеременно, то о нонешних, то о прошлых поганых временах.

– Так вот я и челночу, уже два года, – заключила девица очередное сказанье.

– Да уж, Надя, такая планида наша, – ласково вздохнула старушка.

– А все лучше, чем в конторе: ни уе[1] не платят, а командиров хуже, чем прежде.

Коньяк вскипел в моих жилах. «Я помогу себе и Наде, она будет моей секретаршей – по крайней мере те три дня, что мне предстоит провести в переговорах. Я найму ее!»

Включаясь в разговор, я по-доброму поинтересовался, куда нынче ездят российские «челночницы». У девушки Нади было о чем порассказать досужим собеседникам. Из ее сообщений, как живые, вставали зачуханные турецкие и китайские городишки, напоминающие Джаксон-в-Миссисипи, «город контрастов» американского Юга, где мы тогда жили. Пылью дорог, баулами и взятками пахло ее повествование: так, должно быть, торговые люди древности жалобили своими рассказами оседлых соплеменников. В свою очередь, я нарисовал картину тусклой жизни в дальнем зарубежье. «И потому мне позарезу нужна секретарша!» – кажется, я так и сказал. «Но! к сожалению, я смогу платить Вам только 10 долларов в час, из расчета три дня по десять часов. И никаких неслужебных отношений». Быстрый изумленный взгляд в сторону соседки… «А похоже, он парень-то, Наденька, хороший! Вы соглашайтесь, а потом дальше поедете, как отработаете», – сказала, назовем ее так, Анна Андреевна.

Вскоре мы с Надей уже сидели в моем купе, и я развивал перед ней планы освоения научных залежей Сибири. Оказалось, что и она ехала по делам: везла в Хабровск на продажу партию итальянских кожаных курток «очень хорошего качества!»

– Покажете? – Покажу. – Она шмыгнула рукой в серый баул и вытянула оттуда за шкирку блескучую куртку с лацканами, врезными карманами и тремя этикетками на итальянском языке.

– Нравится? – поинтересовалась моя без пяти минут сотрудница. – Конечно! Прямо как у Франко! – восхитился я.

Франко был повар в Риме, где я два месяца проработал посудомойкой в таверне «Пронто». Никаких таких курток он не носил, но зачем об этом знать россиянке, третий год мотающейся по трассе? Пусть и на нее ляжет отблеск солнечных дней, которые было так славно проводить в Италии, болтая с хозяином и поваром о причудах судьбы. …Синьор Пасквилино, владевший, кроме таверны, виллой и оливковой рощей километрах в шестидесяти от Рима, решительно осуждал мое намерение продвигаться в Новый Свет.

– Вот! – говорил он мне, укоризненно качая крупной седеющей головой, – Вот и ты уедешь в свою говенную Америку, а потом, лет через пять, придешь в мой ресторан и тоже будешь спагетти ножом резать, как все эти... И на кой тебе туда ехать? Хочешь, мой племянник в квестуре выправит вам вид на жительство?

Но я все же уехал, поклявшись не злоупотреблять ножом.

"И всего – оптовка – семьдесят долларов!" – доверительно сообщила Надя. Я понял, что мне предлагается скидка, и тут же примерил обновку. Поезд, грохоча, вкатился в первый из уральских туннелей, за окнами засвистал черный воздух. Время «Ч» еще не наступило: она начинала на меня работать завтра с восьми утра...

Через три дня бывшие одноклассники собрали мне денег на обратную дорогу и всунули меня в самолет до Москвы. В пути я читал пассажирам Баратынского, перемежая чтение филиппиками по адресу американской бюрократии. Поэтому на таможне в Атланте у меня отобрали кольцо сервелата. Вдобавок оказалось, что я потерял travel document, и они затеяли распрю. – You are weird! — твердили хмурые пограничники. – No, I am tired! – упирался я. После звонка жене меня кое-как впустили. Когда я возник из терминала, жена заплакала.

Куртка, оказавшаяся-таки дерматиновой, висит в стенном шкафу как сувенир, с погребенными в карманах железнодорожными расписаниями, шероховатой пачкой «Беломора» и научно-деловой игрой «Спекулянт -V».

---

[1] у.е.

Александр Зевелёв

# ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА

## БУДИЛЬНИК

В небе звездочка погасла.
Город спит последним сном.
Лишь подсолнечное масло
разгружают под окном.

Разгружают и роняют,
спотыкаясь о порог.
И волной летит, воняет
перегарный матерок.

То ли жральня, то ли спальня:
холостяцкое жилье.
Откровенно сексуально
пахнет свежее белье.

Недоеденное что-то...
Недопитое вино...
Снизу пьяная икота...
Может, встать? Закрыть окно?

Влезть под душ? Опохмелиться?
Кофейку? Прибрать кровать?
Застрелиться? Провалиться?
Ой, не хочется вставать!

Мне сейчас бы подзатыльник
и хорошего пинка!
На окне стоит будильник,
он молчит еще пока.

Ни движения, ни звука –
только мат в моем окне.
Просыпаюсь я. И скука
просыпается во мне.
Как из ямы из помойной,
лезут ненависть и лень.
Впереди очередной мой
бесполезный серый день.

От пролога – к эпилогу,
не с сумой и не в тюрьме,
и назад в свою берлогу,
снова по уши в дерьме.

Ой, звени, звени будильник!
Ой, буди, буди меня!
Мой спаситель, мой насильник
надрывается звеня.

Льются трели и аккорды.
Снова в люди, снова в “свет”,
снова видеть те же морды,
снова слышать тот же бред.

Вновь по замкнутому кругу...
Надоело – видит Бог!
Ой, подлюга-похмелюга!
Ой, будильник, что б ты сдох!

## ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА

На Петровке мостовая,
как военная тропа.
Равнодушно-деловая
по тропе течет толпа.
Чемоданы, сумки, кейсы –
вереницей без конца…
Кудри, лысины и пейсы,
Но – ни мысли, ни лица!

Выражение лица –
это божия отметка.
Это так бывает редко –
выражение лица.

Выхожу я, рот разинув,
на Бульварное Кольцо.
Здесь поменьше магазинов.
Может, здесь найду лицо?

Здесь – центральные конторы –
верный признак всех столиц.
Персональные моторы,
все в костюмах – но без лиц…

Выражение лица –
это божия отметка.
Это так бывает редко –
выражение лица.

Со стены глядит уныло
самый главный коммунар.
И профессор с красным рылом
начинает семинар.
Если мысль – то мысль чужая,
перемены – по свистку.
Если что и выражает –
лишь зеленую тоску…

Выражение лица –
это божия отметка.
Это так бывает редко –
выражение лица.

Пьяный лидер черной сотни
держит речь – и смех и грех!
Как кобель из подворотни,
он облаивает всех.
Он в масонов верит твердо,
призывает “не зевать!”.
А при всем при этом морда –
только гвозди забивать.

Выражение лица –
это божия отметка.
Это так бывает редко –
выражение лица.

Мы все время одобряем
и всегда возмущены.
То надежды мы теряем,
то – последние штаны.
Ни грустить, ни веселиться
не умеем мы, как все.
Поглядите в наши лица!
В них – мечты о колбасе…

Выражение лица –
это божия отметка.
Это так бывает редко –
выражение лица.

Ой ты, русская землица!
Или в нашей полосе
выразительные лица
эмигрировали все?
Может, их там уважают,
ублажают дурь и спесь,
и они там выражают,
что не выразили здесь?

Выражение лица –
это божия отметка.
Это так бывает редко –
выражение лица.

*Москва, 1989 г.*

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЦИФЕРБЛАТОВ

...И неизбежно настанет утро,
будильник новенький заблажит.
И бесполезная Камасутра
так нераскрытою и лежит.

Мы бреем щёки, мы бреем ноги
и – по Крещатику и Тверской –
летим по всякой большой дороге
сперматозоидами день-деньской.

Мы рвёмся грудью
на эскалатор,
бросаем шины
в потоки шин...
Цивилизация циферблатов!
Куда же, люди,
мы так спешим!?

Вот мы заварим – и не доварим.
Творим, не ведая, что творим…
И знаем точно: приедет барин
и всем устроит Четвёртый Рим.

А может Пятый – да кто считает?
Их столько было – не сосчитать!
Снежинка трогательно растает…
Этап в пургу побредёт опять.

Суровым взглядом,
могучим матом
пугнём и маленьких,
и больших...
Цивилизация циферблатов!

## *Выражение лица*

Куда же, люди,
мы так спешим!?

На вернисаже и на пленэре,
и после жизни – у райских врат
мы остаёмся верны манере –
гипнотизировать циферблат.

А тот, который за всё в ответе,
лишь ухмыльнётся сквозь облака:
мол, что с вас взять,
вы всего лишь дети
его, маньяка-часовщика…

Тут – мирный космос,
там – мирный атом,
а здесь – сатрапы
Сатрап-баши…
Цивилизация циферблатов!
Куда же, люди,
мы так спешим!?

Взойдёт светило. Чирикнут птички.
Присвистнет чайник.
Всхрапнёт жена.
Гудок нечаянной электрички –
и снова – полная тишина.

А я себе наливаю чаю
и пью, как-будто в последний раз…
Будильник новенький отключаю
и – по параболе – в унитаз…

Тут – патриоты,
там – демократы.
Петен скучает в своём Виши…
Цивилизация циферблатов!
Куда же, люди,
мы так спешим!?

*Сентябрь 2006 г.*

## БАРД

Живи, мой друг, живи –
под тенью ночи, под светом солнца,
с любовью, без любви –
живи, ей-богу, пока живётся!

На завтрак кофейку,
яичко всмятку – на пользу глотке,
на ужин – коньяку,
а может, пива, а может, водки.

И связывай в строку
венец лавровый, венец терновый...
А утром – кофейку,
яичко всмятку – и всё по новой.

Быка не трогай за рога,
не затыкай собою дыры,
не наживай себе врага,
не сотворяй себе кумира.

Плесни бальзам в аперитив,
и лучше за, чем супротив.
Закрой глаза, сложи мотив,
и лучше за, чем супротив.

Живи, мой друг, живи!
Живи, ей-богу, пока живётся!
И счастливо слыви
не иноверцем, но – иноходцем.

Чуть-чуть поверх голов –
не надо рысью – скачи аллюром!
Из музыки и слов
крои сонеты счастливым дурам.

И прямо на скаку,
снимая сливки, звени подковой.
А утром – кофейку,
яичко всмятку – и всё по-новой.

Не жги мостов: мосты нужны,
без них порой непроходим путь.
Не возжелай чужой жены
и не суди – да не судим будь!

Плесни бальзам в аперитив,
и лучше за, чем супротив.
Закрой глаза, сложи мотив,
и лучше за, чем супротив.

Рада Полищук

# ЗИГА И ЗИГФРИД

Из книги «Лапсердак из лоскутов»

Проза Рады Полищук – пристальная, въедливая и даже дотошная, с таким подробным описанием самых мелких, бытовых деталей, что кажется, будто автор чувственно проживает жизнь всех своих героев, вместе с ними переживая события их жизни, их надежды, радости, печали. В последней книге «Лапсердак из лоскутов»* это особенно ощутимо. Между автором и персонажами нет дистанции, более того автор, как бы играет роли этих героев и вживается в них настолько, что кажется, будто уже сам не отличает правды от вымысла, ощущая себя каждым из них, таких реальных и настоящих. В достоверность всех этих потрясающих характеров и подробностей веришь безоговорочно, но задаешься вопросом: откуда она это знает? И догадываешься, что в знании этом есть что-то мистическое. Это, если хотите, обостренная прапамять, которая возвращает нам мир идишского еврейства. Возвращает с тоской и любовью уникальный мир наших предков, уничтоженный войной не только физически, но и духовно. Чтобы оживить их, вернуть из небытия, надо вдохнуть в них свою душу. В этом секрет Рады Полищук. Что еще поражает в этой прозе: при всех подробностях бытописания, приземленного, обыденного, узнаваемого, предметы кажутся живыми и тоже являются персонажами повествования: зонт, макинтош, шляпка и, конечно виолончель, такая зримая и настоящая, что мы слышим, как она стонет и поет от легкого прикосновения пальцев. В иудаизме люди, животные, растения и даже предметы – единое целое. И у Рады они неразделимы, вместе переживают и проживают ниспосланные им обстоятельства. Проза Рады Полищук, при всем ее бытописании – проза притчевая, поэтичная. Притчевость сегодня в моде, но в прозе Рады это не дань моде, а органичные традиции хасидской притчевости, которая, в свою очередь, уходит в глубину еврейской религии и философии. Причем, речь идет и о произведениях, прямо не связанных с еврейской тематикой.

Светлана Аксенова-Штейнгруд, поэт, журналист (Израиль)

В большой прихожей на массивном железном костыле, кем-то, когда-то, в незапамятные времена вбитым в стену, косо висело старое овальное зеркало с попорченной амальгамой и треснутой рамой красного дерева.

Эля родилась, а зеркало уже висело, и первое своё отражение увидела она в зеркале, и лицо бабушки Фаи, которая держала ее на руках. Тыча пальцем то в зеркало, то в бабушку, она тогда засмеялась, бабушка потом всем рассказывала, но ей кажется, что и она это помнит. Правда, ей тогда все было смешно.

Справа от зеркала на стене всегда висел большой зонт-трость с рукоятью из карельской берёзы, которым никто никогда на ее памяти не пользовался по назначению, только для развлечения. Зонт выстреливал почти так же громко, как духовое ружье, висевшее с другой стороны, и раскрывался большим куполом цвета молочного предутреннего тумана. Под ним можно было спрятаться вместе с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, няней Маней, рыжей кошарой Басей, – зеленоглазой, с зёленым атласным бантом, большой, мягкой, пушистой, как пуховая подушка, на которую бабушка укладывала свои распухшие ноги, – и бабушкиной любимицей, белоснежной болонкой Марой, – старой, сварливой, подслеповатой, оглушительно тявкающей на всех домочадцев.

– У неё склероз, – винилась за Мару бабушка, – никого не узнаёт, даже меня.

В подтверждение этих слов Мара принималась облаивать бабушку, бегая вокруг неё кругами, подпрыгивая то на задних, то на передних лапах.

– Так-то она ещё не в плохой форме, – одобрительно покачивала головой бабушка Фая. – Вот только склероз.

Из дальнего угла прихожей наблюдала за всем происходящим виолончель темного матового дерева, почти чёрная; издали виолончель была похожа на бабушку – тонкой талией и широкими округлыми бедрами. На виолончели никто никогда не играл, только, по давним преданиям – какой-то дальний друг дома со стороны бабушки, что-то вроде несостоявшегося жениха её двоюродной сестры Брони, кажется.

Звали его Зигфрид, за что виолончель навсегда получила неблагозвучное имя Зига. Смычка не было, но влажное обтирание мягкой фланелевой тряпкой Зига имела ежедневно. Няня Маня выполняла этот ритуал с особым тщанием, выдавая тем самым и свое преклонение, и восхищение, и какое-то затаенное чувство к Зиге, ведь только под её рукой Зига оживала – то протяжно, то коротко вздыхала, будто очнувшись от сна, то заходилась вибрирующим низким плачем, вызывающим ответные беспричинные слезы, то с пронзительной радостью устремлялась ввысь, и душа рвалась следом, неслась без страха и надежды на спасение…

Потом всегда, заворожено слушая виолончель, Эля вспоминала няню Маню, с затаенным дыханием обтирающую пыль с инструмента, и те неземные звуки, рожденные неловкой рукой няни.

А Зигфрид играл виртуозно, это признавали все, кто слышал его игру, – наверное, он был гений и мог бы стать первой виолончелью земного шара, так высокопарно говорила о Зигфриде бабушка Фая, что, в общем-то, было не в её манере. Больше о Зигфриде никто не говорил, потому что из всех, кого Эля знала, никто его никогда не видел и тем более – не слышал, как он играет на виолончели. В том числе и бабушка Фая, между прочим.

Но Зига-то стояла в прихожей – это факт. И вздыхала, и плакала, и пела. Значит, Зигфрид был, и мог-таки стать первой виолончелью земного шара, бабушка Фая врать не будет.

Но человек предполагает, а бог располагает, говорит народная мудрость. То есть хочет человек, мечтает, стремится к чему-то, все силы кладёт и жизнь готов отдать за воплощение мечты, а всё же богово расположение главнее. Выходит так?

Иначе говоря, Зигфрид предполагал стать именитым виолончелистом, жениться на Броне, двоюродной по матери сестре бабушки Фаи, девице не столько красивой, сколько с хорошими манерами, окончившей женскую гимназию, владеющей двумя иностранными языками, из семьи добропорядочной и с неплохим достатком: дед Моисей, отец Брониного отца Эли, а в домашнем обиходе – Ильи, владел в далёкие дореволюционные времена мукомольным производством. Потом всё его богатство мукой же и развеялось яростными ветрами революции, унеслось позёмкой, заметающей все следы былой жизни.

Зигфрид тоже был хорошей партией для Брони: семья по всем показателям была под стать Брониной, плюс виолончель; внешность имел непримечательную, но приятную – добрая улыбка, открытый взгляд тёмно-карих, почти черных, матовых, в тон виолончели, глаз, длинные, тонкие, ломкие пальцы с припухлыми мягкими подушечками, уши великоваты и мочки длинные, но для мужчины это сущий пустяк, на который никто не обращает внимания. Кто-то, правда, обрисовал все эти подробности, иначе откуда бы они дошли до сегодняшнего дня, ведь фотографий Зигфрида ни у кого не было. И быть не могло.

Броня же замуж за него не вышла.

Зеркало в прихожей всегда висело косо. Это непреложный факт, возможно, не требующий никакой трактовки.

А вот то, что Зига замолчала после смерти няни Мани – перестала и плакать, и петь – заставляет как-то задуматься. Причем замолчала не сразу: первые несколько дней, – что примечательно, не семь и не девять, а восемь, – по ночам по дому разносились её стоны и всхлипы, протяжные, горестные. Это слышали все, не осмеливаясь произнести вслух, чтобы не давать повода для насмешек, при этом избегали смотреть друг на друга, что лишь подчеркивало уверенность в том, что Зига по ночам играла свою прощальную музыку.

В ночь на восьмой день Зига издала последний протяжный истошный всхлип. То есть струны иногда вздрагивали от неосторожного прикосновения, когда время от времени кому-

то приходило в голову смахнуть пыль и паутину, расползшуюся в том углу, к которому одиноко прижималась Зига. Но это было скорее похоже на скрип колёс несмазанной телеги. Музыка умерла.

Но всё же в трудные голодные военные годы держали в доме чужую виолончель в плотном коконе паутины, как в футляре, – виолончель, на которой никто не играл и не собирался. Даже шляпки и капоры с атласными лентами и цветочными виньетками, с вуальками и перьями, с большими изогнутыми полями и совсем без полей бабушка Фая носила на толкучку, и худо-бедно продавала, находились покупатели. Точнее сказать – менялы, готовые за мешочек муки, пшена или гороха, за несколько картофелин, луковиц или яиц, а то и настоящих яблок сорта белый налив приобрести головной убор, давным-давно вышедший из употребления, и уж во всяком случае, ни для чего не пригодный в конкретный текущий момент сурового военного времени.

Так постепенно и опустела прихожая – без зонта, без ружья, без сундука, его тоже забрали какие-то дядьки, только оставшиеся шляпки бабушка переложила в комод. А Зига затаилась в дальнем углу, ни звука не издавала, даже когда начались бомбежки, и всё вокруг вздрагивало и ходило ходуном. Она как будто чего-то ждала.

Странно было бы так говорить о неодушевлённом предмете, но Зига вряд ли строго подходила под такое определение – всё же она отзывалась благозвучием на заботу и ласку няни Мани, и, осиротев без неё, ещё восемь дней играла свою прощальную музыку.

Смешно сказать, но Зига дождалась своего часа.

Это очень странная история. Бабушка Фая однажды увидела на толкучке мужчину неопределённого возраста, от сорока пяти до семидесяти, предлагавшего в обмен на какую-нибудь еду шляпку точь-в-точь Брониного фасона. Бабушка примерно месяц назад выменяла эту шляпку как раз на яблоки белый налив, из которых умудрилась сварить тянучку, похожую то ли на мёд, то ли на засахаренное повидло, только несладкую, и выдавала по ложечке к вечернему кипятку, заменяющему традиционный чай. Бабушка точно помнит, что не этот мужчина взял у неё Бронину шляпку, это ведь у болонки Мары склероз, не у неё.

Она принялась пристально разглядывать его и вскоре поняла, что он навязчиво напоминает ей кого-то: внешность ничем не примечательная, но приятная – добрая, смущённая, будто виноватая улыбка, открытый взгляд темно-карих, почти черных, матовых, глаз, уши, пожалуй, немного великоваты для несоразмерно с туловищем маленькой головы, и мочки, тонкие и длинные, дрожат и колышутся, как осиновые листья на ветру. Он сидел на деревянной колоде, Бронину шляпку примостил на коленях, а руки как-то неестественно висели вдоль туловища.

Бабушка решительно поднялась со своего места и подошла почти вплотную к мужчине, на коленях которого лежала Бронина шляпка.

– Откуда у вас эта шляпка, сударь? – высокомерно и строго спросила она, демонстрируя своё чистейшее московское произношение.

– Азохен вэй, мадам, какое ваше дело? – устало и беззлобно ответил он. – Я вам чем-то обязан? Или, боже мой, у вас ко мне какие-то претензии?

Какой странный у него выговор, подумала бабушка Фая, абракадабра какая-то, смесь французского с нижегородским. И почему он заговорил с ней по-еврейски? Она уверена, что ничем не выдает свей принадлежности к евреям, тут на толкучке, принимая во внимание её товар, это было бы никак некстати. Что-то ещё мелькнуло у нее в голове, но тут она увидела его руки. Обрубки рук. На обеих не было кистей, на одной полностью, а на другой неловко болтались мизинец и безымянный, длинные, тонкие, ломкие два пальца.

– Зигфрид? – прошептала ошеломлённая догадкой бабушка Фая и, не дожидаясь ответа, закивала головой: – Ну, да, ну, да, конечно, Зигфрид. Ах, боже мой, ой, вэй из мир, – она вдруг тоже невпопад заговорила по-еврейски. – Откуда ты? Почему не женился на Броне? Где твои руки, ой, вэй из мир! А Зига, ты не поверишь, Зига жива и ждет тебя. Собирайся, пошли.

Мужчина затравленно смотрел на бабушку Фаю и не произнёс ни слова.

– Ну, что ты сидишь, что ты молчишь? Бери Бронину шляпку и иди за мной. Сама судьба повелела мне вынести её на толкучку. Иначе бы ты никогда не встретился с Зигой. Какое счастье! Нахес, просто нахес.

Мужчина молчал и не двигался с места.

Бабушка протянула руку за шляпкой, но

он ловко перехватил ее двумя пальцами левой руки и спрятал за спину.

– Зачем тебе Бронина шляпка? Ты скоро увидишь свою Зигу. Пошли.

Он продолжал стоять, бабушка теряла терпение, но всё-таки она оказалась сильнее. Ей удалось привести его в дом.

Зигфрид застыл на пороге прихожей, затравленно озираясь, попятился назад, прислонился спиной к двери и смотрел, смотрел во все глаза, сантиметр за сантиметром ощупывая взглядом стены, пол, потолок. Казалось, он силится что-то вспомнить.

Наконец, он уткнулся в тот угол, где притаилась Зига, и надолго замер, прищурившись и сильно наморщив лоб. Всё лицо стянулось к переносице и слегка перекосилось, как резиновая маска, надетая на руку. Эля хохотнула и зажала себе рот обеими ладошками – не поняла, а почувствовала, что её смех в эту минуту будет совершенно неуместным.

Зигфрид вдруг сделал несколько шагов, медленных, неуверенных, как сомнамбула, снова остановился, потом рывком, шаркая ногами по выщербленному паркету, засеменил к Зиге. Бронину шляпку при этом двумя пальцами прижимал к груди.

Эля не отнимала ладоней от рта, потому что смех душил её – так неестественно комичен был Зигфрид, как клоун, которого она видела один раз до войны в цирке. Даже ещё смешнее. А у бабушки Фаи по лицу текли слезы. Эля видела это второй раз в жизни. Она опустила руки, прижала их к бокам – почему-то это называлось «по швам», няня Маня научила. Смех тоненькой струйкой вылетел изо рта, как тёплый воздух на морозе, когда пол-лица закутывают теплым шарфом, чтобы не застудить горло.

Какое-то оцепенение овладело всеми домочадцами, будто этот Зигфрид – гипнотизер, колдун, волшебник.

Даже склеротичка Мара, распластавшись у ног бабушки Фаи, лежала, как неживая – не только не лаяла, но и не двигалась, что было совершенно не в её правилах.

Вечером Зигфрид в дедушкиных брюках и рубашке с опущенными манжетами сидел в столовой на диване, прижимал к себе коленями начищенную до ослепительной чистоты Зигу, и всё смотрел по сторонам, всё вертел головой, будто искал что-то или силился вспомнить.

– Ничего не помню, нет, простите, мадам, – смущенно и тихо повторял, натыкаясь на бабушкин вопрошающий взгляд. – Не помню. Контузия у меня сильная. Память не восстанавливается. Я и дом свой не нашёл, из эшелона на какой-то станции вышел, когда в тыл везли, и потерялся. Зачем выходил – не помню. И имя-фамилию свои не помню.

Бабушка Фая долго горестно молчала, потом спросила тихо:

– А Зигу вспомнил?

По лицу Зигфрида скользнула короткая улыбка, он засмущался ещё сильнее, осторожно, едва касаясь, погладил Зигу по талии и бедрам, прислонился лбом к деке. Что-то привычное угадывалось в этих движениях – Зига явно была не чужая ему. Только до струн не дотрагивался, избегал, провел мякишем верхней фаланги мизинца сверху до низу, едва не прикасаясь, не больше миллиметра зазор, но струны не задел.

А Эле показалось, что Зига тихонечко запела, отзываясь на его движения, давно никто не прикасался к ней, не обихаживал, слов ласковых не говорил, как няня Маня:

– Раскрасавица ты моя, – мурлыкала нежно и почтительно, – краше тебя никого не знаю, а музыку твою бог тебе посылает на крылах херувимов, ангельская музыка, небесная, Зига моя благолепная.

Няня Маня любила такие словечки. И Зигу любила, как живое существо, сильнее, чем кошару Басю и старую Мару, а иногда Эле казалось, что даже сильнее, чем её, Элю. Во всяком случае, на Зигу няня Маня никогда не сердилась, не выговаривала ей и никогда не ставила в наказание в угол. Зига просто стояла в углу, это было ее местожительство.

В общем, смешно это или не смешно, решайте сами, но Зигфрид и Зига без сомнения узнали друг друга.

Это было видно по всему. Бабушка Фая, разумеется, тоже это поняла. Поэтому уже настойчивее повторила свой вопрос:

– Узнал свою Зигу? Вижу, что узнал. Сыграй.

Тут она смущённо запнулась, посмотрела исподволь на обрубки его рук, и, чтобы как-то исправить неловкость, поспешно сказала:

– Ой, что это я, право, смычка-то, у нас нет. И никогда не было. Может, ты с собой увез,

когда поехал к родителям договариваться о свадьбе с Броней. – Тут она строго посмотрела на него в упор: – И куда ты подевался после этого?

Зигфрид ничего не ответил, приладил половчее Зигу, прошелся по струнам длинным ногтем левой двупалой руки – и полилась музыка несказанной красоты и силы. Со лба Зигфрида на лицо капали крупные капли пота, подбородок дрожал, мочки ушей вздрагивали, глаза были закрыты, а губы шевелились, будто молитву говорили. Смотреть на него было неприятно. Но Зига пела под его искромсанными руками музыку ангельскую, благолепную, – права была няня Маня, которая ни разу в жизни не слышала игру настоящего мастера на виолончели.

Зигфрид остался у них навсегда. Как иначе могла поступить бабушка Фая? Она его нашла на толкучке, буквально силком притащила в дом, толкнула Зигу в его объятья, а в изголовье диванчика, на котором он пристроился в прикухонной комнате покойной няни Мани, повесила на гвоздик Бронину шляпку, которую он не хотел выпустить из рук. Хотя никакой достоверной связи между Зигфридом, Броней и её шляпкой бабушке установить так и не удалось. Терпеливо, изо дня в день она показывала Зигфриду семейные альбомы с фотографиями всей семьи и отдельно Брони в юности и в те годы, когда произошел сговор о её свадьбе с Зигфридом, причем на одной фотографии, правда, не очень хорошего качества, Броня была как раз в этой шляпке.

– Узнаёшь? – въедливо спрашивала бабушка Фая, тыча пальцем прямо в Бронину переносицу. – Узнаёшь?

Зигфрид любил смотреть альбомы, подолгу разглядывал каждую фотокарточку и спрашивал – это кто? а это кто? Вскоре он всех запомнил и сам, без бабушкиного вмешательства, открывая ту или иную страницу альбома, безошибочно называл: Соня, Изя, Фаня, Броня, Моисей Залманович, Бронин дедушка, Эль Моисеевич, Бронин папа. При этом он радостно улыбался, и бабушка Фая думала, что в его памяти, наконец, наступило просветление.

– Ну, наконец-то! – восклицала она со вздохом облегчения.

А Зигфрид воздевал кверху свой единственный мизинец и с легким придыханием говорил бла-гоговейно:

– Эль – значит бог.

Нет, бабушке Фае так и не удалось ничего добиться от Зигфрида. И главной загадкой осталась Бронина шляпка – почему он вцепился в неё мёртвой хваткой, зачем выменял на толкучке, а примерно через месяц снова принес туда же, чтобы поменять в обратном направлении, что, может быть, ему и удалось бы, не появись там в тот же день бабушка Фая. Ах, как бы все сложилось иначе, страшно подумать. Что было бы с бедным Зигфридом? Что было бы с ними со всеми, если бы он не вернул в их дом музыку?

Неоспоримо было одно – в прежней, довоенной жизни Зигфрид был первоклассным виолончелистом; если бы не война, кто знает, может, он и стал бы первой виолончелью земного шара, как говаривала бабушка Фая. Но это уже из области несбыточных сослагательных форм – что об одном Зигфриде, что о другом, если предположить, что их было двое.

Бывают в жизни совпадения, даже такие странные.

## МОЙМОЙША

Востряковское еврейское кладбище. Мойша Фельдман провел здесь всю свою жизнь. Да, да, именно так, тут нет никакой оговорки – жизнь провел на кладбище.

Попал он сюда по случаю. Счастливому, нет ли – теперь рассуждать попусту. Дедушка Зейлик незадолго до смерти сказал Мойше:

– Уезжай из Одессы, внук, в Москву отправляйся к племяннику моему Йосе Фельдману, он на еврейском кладбище молитвы читает по усопшим. Святой человек, он тебе поможет. Как там что сложится, Бог ведает, но сделай, как я сказал, Мойшеле, и помянешь меня в молитвах своих.

Мойша покривил бы душой, сказав, что благословлял деда в молитвах всю жизнь. Но наказ дедов выполнил – приехал в Москву к святому человеку двоюродному дяде Йосе Фельдману. Погрешит против истины, если скажет, что родственник очень ему обрадовался, нисколько даже, скорей – совсем наоборот.

– Свалился на мою больную голову, – вскрикнул он, три раза обойдя вокруг Мойши, будто убедиться хотел, что тот и в самом деле явился, как говорится, не запылился. – Удостоверившись, произнес странным тоном, глядя в дальний темный угол комнаты: – Зай гезунд

досточтимому цадику Зейлику из Бердичева, – и обернувшись к Мойше, переминающемуся с ноги на ногу на пороге, вопросил: – Во здравии ли он?

– Из Одессы, – прежде чем ответить на воп-рос, уточнил Мойша и, как мог скорбно, сказал: – Должно, помер уже и пребывает в раю, под сенью крыл Божиих.

Йося тоже горестно склонил голову, неслышно побормотал что-то губами, потом вслух:

– Да упокоится его душа с миром до пришествия Мессии, амен. – И без всякого перехода: – Это помер он в Одессе, а миру сему явился в Бердичеве. – И снова повторил: – Да упокоится с миром его душа. – Он посмотрел на Мойшу глазами, полными слёз и сказал, по-прежнему не выявляя особого гостеприимства: – Ну, входи в дом, коль приехал, в ногах нет правды. А где она есть? – спросил строго и, не дожидаясь ответа, ушел за фанерную перегородку, делившую комнату на два узких пенала.

Мойша остался один в нежилом, как показалось, помещении. Так началась его московская жизнь, сначала нелегальная, под крылом у Йоси, потом уж самостоятельная, с пропиской, крохотной комнатёнкой в деревянном бараке с бездетной женой Анютой, здесь же на кладбище справляющей работу свою по уборке могил по просьбе родственников усопших. В брак Мойша вступил с благословения Йоси. После долгого размышления и углублённого чтения молитв Йося сказал:

– Женись, Мойша, на Анюте. Симпатия меж вами есть, вижу. Она женщина справная, видная, старше тебя, да и то во благо – как мать станет лелеять тебя, а что детей не будет у вас, тоже Господь ниспослал – еврейских детей еврейская мать родить должна. А так все хорошо у вас сладится, и в жировку тебя впишут, что немаловажно – станешь жить, как заправский москвич. Короче не скажешь – мазл тов, хоть свадьбу настоящую играть не будем. Мазл тов, – повторил еще раз, на том разговор закончился.

Женился Мойша на Анюте, в загсе расписались, как положено по закону, и все у них по-людски было, ладно да складно. Дома, в комнатенке барачной только ели и спали на одном жёстком кривоногом топчане – особо не разгуляешься, да, видно, и страсти такой, от которой знобит-лихорадит до обморока, промеж них не было. Спали в обнимку, Анюта его сзади руками и ногами обхватит – ему тепло, уютно, покойно, вроде и просыпаться не к чему. А приходилось все же.

Днем тоже рядышком время коротали в ожидании приработка, друг против дружки. Она с товарками по одну сторону аллеи на табуретках сидела, все с мётлами, ведрами, тряпками. Мойша с «певчими» размещался как раз напротив, по другую сторону, поближе к входу. Иерархия все же – в начале молитва Божия, потом уж – тряпки и мётлы в ход. «Певчие» старались перехватить клиентов. Обычно стояли, чтобы приметнее быть. Все как один в шляпах, многие в белых, не первой белизны шарфах. Единой формы одежды, конечно, не было. Одевались по сезону – кто в пальто, кто в плаще, кто в старом макинтоше, и шляпа – у кого соломенная, у кого парусиновая, у кого вельветовая, только у Йоси – черная велюровая, добротная, поля красиво отогнуты, форму изящно держит, да у Мойши такая же, правда, сразу видно – старая, ношеная, Йося подарил от щедрот.

В общем – все в разнобой. Да ведь и не бригада, не артель, индивидуальные предприниматели, как сейчас сказали бы. Конечно, договорённости какие-то промеж ними существовали, и конкуренция была налицо – а как же. Только факт остается фактом, причем неоспоримым – первым по всеобщему признанию был Йося. И свои за бригадира считали, и клиенты все хотели его. Ничего не скажешь наперекор – молитвы Йося пел как Бог. И ростом был выше всех, и лицо красивое, белое, без бороды, нежное и гладкое, как у юноши, волосы локонами струились по плечам, осанка гордая, и взгляд блуждал поверх голов, не смотрел заискивающе, как бы умоляя – возьми меня!

Он знал, что возьмут его, и позволял себе выбирать. Иногда головой покачает – нет, мол, нет, и подзовет пальцем кого-то из «певчих». Бесполезно выяснять, почему «нет» и почему того, а не другого позвал – тоже бесполезно. Разумеется, Йося зарабатывал больше всех и ни с кем никогда не делился. Это не входило в распорядок их отношений. Да и с какой бы стати?

А вот нищим подавал. Их в те времена от железнодорожной станции Востряково до кладбищенских ворот стояло несметное количество – старых, больных, юродивых, малых. Вот этим больше всего и подавал. И кормил, и азбуке учил, и еврейской, и русской. А они за ним хвостом ходили, в рот заглядывали, кто шляпу нёс, когда жара донимала Йосю, кто посох с острым

металлическим наконечником, о который он опирался, когда стоял на скользком краю могилы, кто Йосин сидур – это уж наивысшее счастье, мазл.

Все проходит, завершая свой круг на этой земле. Пришел и Йосин час сойти в могилу, преждевременно, глупо и грубо – кто-то ударил бутылкой по голове.

Ушел навсегда первый и всё пошло напереко-сяк, никакой слаженности, никакой очередности, не стояли теперь, а сидели на табуретах, как бабы с тряпками и ведрами, только что в шляпах и по-прежнему ближе к входу. На каждого посетителя налетали стайкой: «Молитва нужна?» – выкрикивали на разные голоса. Всё реже и реже соглашались клиенты, долго еще озирались, спрашивали – где Йося? Понятно, не все сразу о его смерти узнали – происшествие было местного масштаба.

Мойша переживал смерть Йоси, все же он был единственным кровным родственником в огромной чужой Москве, все же Йося принял его и на путь истинный наставил.

Мойша, да, переживал смерть Йоси, но если быть до конца честным, не ожидал никаких перемен в своей жизни, как-то связанных с его уходом. Среди «певчих» Мойша всегда был последним после последнего. Это было его постоянное место. Если бы у них было штатное расписание, его должность так бы и называлась – певчий, последний после последнего. И он с этим смирился, и Анюта тоже, она просто любила за то, что он был у неё, что ночью могла поджать его под себя, как дитя, согреть дыханием и согреться теплом живого тела. Среди покойников на этом чертовом кладбище – не так уж мало, а? А еще – не пил, не бил, не заглядывал под юбки чужим бабам, даже если юбки задраны выше некуда.

– Хороший мужик Моймойша, несмотря что еврей, – раздумчиво говорила она бабам, любила по-хвастаться своим Моймойшей, следом за ней его все так звать стали: Моймойша.

Добавить ей, правда, было нечего – просто «хороший мужик» Моймойша, некрасноречива была Анюта, только улыбалась так загадочно светло, что бабы изводились разгадкой – что в Моймойше такого особенного. Молитвы поет хуже всех, последний после последнего, причем последний меняется, а Моймойша всегда на своем месте остается. Кафтанчик кургузый носит, каких ни у кого нет, Анюта его латает, штопает, перелицовывает туда-сюда-обратно. Только этот кафтанчик Моймойша и надевает в любое время года и в праздничные дни тоже, с гордостью сообщая – дед Зейлик подарил, кантор, цадик, красавец и мудрец из Одессы.

Так гордился, как будто дед Зейлик был король великого королевства, а он – наследный принц. Всех смешила эта история, как хороший анекдот, но все же к кафтану Моймойшиному, который он называл «лапсердак», испытывали некоторое безотчетное уважение, как, может быть, ещё к Йосиной трости, которая, кстати, тоже по наследству Моймойше досталась.

Таким везунчиком оказался Моймойша: через дедов лапсердак и в особенности через Йосину трость ему удалось приблизиться к первому из первых – к Йосе.

Тем более – отряд «певчих» стал таять прямо на глазах, растворялся в тумане прошлого: умирали один за другим, будто по ошибке не в ту очередь встали, а отойти уже нельзя – задние поджимают. Маячили ещё кое-где по кладбищу одиночные шляпы и белые шарфы, стояли в ряд допотопные с облупившейся краской табуреты, на которых чаще всего никто не сидел. Только Моймойша.

Так день за днем сочилась жизнь, истекая секундами, как каплями слез. И ничто не предвещало кардинальных перемен. Да и откуда им взяться на кладбище? А все же случай перевернул Моймойшину жизнь. Только одной Йосиной смерти оказалось мало. Еще другая добавилась, через годы от первой.

Вот как все было.

Моймойша по обыкновению сидел на своем табурете, когда до него донеслась трагическая весть с сорок третьего участка у самого забора, возле кольцевой дороги, где раньше был вход на кладбище. При переноске тяжелой гранитной глыбы, красиво оформленной в виде шестиконечной звезды, придавило насмерть нового бригадира Алексея, молодого мужчину, крупного, рыжеволосого, белозубого и что примечательно – непьющего, во всяком случае, по здешним меркам.

Зато бригада была отчаянная, самая забулдыжная и бузотерная – так решил смотритель, чтобы проверить, таких ли уж крепких силенок, как выставляется, новый бригадир, свояк его, муж сестры Наталки. Попёрек горла у него

стоял этот герой, бывший афганец, бывший командир БТР, бывший строитель – уж больно положительный, с какой стороны ни зайди.

Только слегка свихнутый башкой после Афгана – всё про смерти да гробы, правда, цинковые, и по ночам кричит, Наталку беременную пугает, и в мирной жизни места себе не находит – всё здесь не так без гробов и покойников. Он и взял его на кладбище по Наталкиной просьбе, и парень сразу успокоился, как будто ни о чём другом никогда не мечтал. Трезвый, со всеми вежливый, на все руки мастер.

Ну прямо святой, хоть в оклад сразу обрамляй, да в красный угол вешай. «Тьфу ты, – сплюнул в сердцах смотритель, когда фотографию свояка в траурной рамке увидел. – И впрямь святой, ни дать, ни взять. Черт меня дернул…» – недодумал крамольную мысль.

И без того тошно.

Сеструха Наталка, молодая вдова бригадира – на сносях, едва стоит, ноги подкашиваются, всё падает и падает, живот руками поддерживает, а он такой огромный – необъятный. Слыхал как-то, бабы посмеивались: Наталка, гляди-ко, тройню родишь, не меньше. Теперь вся тройня осиротела, а рядом маленький херувим рыжеволосый таращит на него глазищи синие, точно спросить хочет: «Ты зачем нашего папку убил?»

Смотритель зашатался, едва не упал, перебрал перед захоронением для храбрости духа, как-то не по себе было. А тут еще последний «певчий» объявился в кургузом своем лапсердаке и черной шляпе. Этот-то при чем? Тут ихних кадишей не надо, тут поп всё споет и скажет, что положено, он с ним сам договорился и свои деньги заплатил. Потом почти сразу одумался – с какого такого ляду, да уж проехали, двери закрываются.

Наталка снова упала и вроде отключилась, не причитает, не дёргается, лежит, а живот огромной глыбой сверху давит, как камень тот шестиконечный на спине у бригадира. «Будь ты неладна», – снова сплюнул смотритель и грязно выругался, не пойми, на кого. Бабы засуетились над Наталкой, забегали, в нос флакон с нашатырем тычут, виски растирают, зачем-то живот поддерживают, будто и впрямь он её раздавить может.

Все, хватит, насмотрелся он этих спектаклей – и таких, и разэтаких. Смотритель круто развернулся, поскользнулся и упал лицом вниз, глаза, нос и рот залепило глиной, пока голову поднять сумел, чуть не задохнулся, и кольнуло, будто острый кинжал в затылок вонзили: а ему каково было? Ты ж сам сказал этим олухам – придавит в случае чего, сразу не вытаскивайте, повремените чуток, пусть обделается от страха. Так спесь с него и собьём.

Перестарались, козлы недоношенные, сбили спесь – навсегда. А может, никакой спеси не было, просто гордый мужик был и цену себе знал. Смотритель с трудом поднялся, допил до дна водку, что прятал во внутреннем кармане пиджака, надетого по случаю церемонии захоронения, доплёлся, не помнит, как, до конторы и свалился в глубокий затяжной запой. А потом и вовсе исчез, никто и никогда его больше не видел.

Вот какая картина сложилась, если вкратце обрисовать общие перемены, не вдаваясь в ненужные подробности. А так что – покойников надо было хоронить. Это отменить не мог никто.

У Моймойши, между тем, возникли свои новые обстоятельства. Даже больше, чем обстоятельства: у него объявился нежданный напарник – маленький рыжий херувим с синими глазами по имени Серафим, старший сын погибшего бригадира.

Сам себе старший, потому что младшие братья, все трое, уснули навечно в большом Наталкином животе, не пережили смерть отца, как и сама Наталка.

А Серафим пришел к Моймойше. Сам его выбрал, Бог привел – знать не дано. Пришел. Притулился возле правой ноги, рыжую голову под мышку Моймойше просунул, смотрит в упор своими синими глазищами и молчит, подперев кулачком щеку. И Моймойша молчит, не понимает своей функции, а подсказку спросить не у кого.

Анюта подсобить Моймойше решила, подошла поближе, спросила:

– Кушать будете?

– Еврейское? – неожиданно спросил ребёнок.

– Нет, – смешалась Анюта. – Картошка со шкварками.

– Шкварки – это еврейское.

– Не будешь, значит? – огорчённо переспросила Анюта.

– Буду, буду, я их люблю.

Он впервые улыбнулся, широко, радостно,

по-детски.

Ел с аппетитом, не жадно, как изголодавшийся бродяжка, а степенно, с удовольствием. Когда закончил, тарелка почти блестела, не спеша, облизал пальцы, ложку и снова улыбнулся:

– Вкусно! Во! – сжав кулачки, показал оба больших пальца.

Посмотрел сначала на Анюту, потом на Моймойшу, помолчал, будто прикидывал что-то в уме, и не попросил, а сказал убеждённо:

– Ты, тёть Анюта, будешь меня шкварками кормить, а ты, Моймойша, научишь еврейские песни петь.

– Молитвы, детка, – машинально поправил мальчика Моймойша, совершенно обескураженный внезапно возникшим положением.

– И шляпу черную хочу, как у тебя, и такой пиджак, – он всё теснее прижимался к Моймойше и в глаза глядел неотрывно.

– Зачем тебе это, детка?

– Когда ты умрешь, я буду евреям песни петь. Евреям без песни нельзя.

– Кто тебе сказал?

– Никто. Я сам чувствую. Вот здесь, – и поскрёб пальчиками грудь.

Моймойша расплакался, не глядя, что люди кругом, что стыдно плакать на кладбище не над покойником, не над скоротечностью бытия земного и таинством ухода.

– Ангел мой светлый, благодарение Богу. За что? – только и мог вымолвить Моймойша, прижимая к себе рыжую голову мальчика всё крепче и крепче.

– Не плачь, Моймойша, я научусь петь, как ты, буду очень стараться. Я толковый, вот увидишь, у меня получится.

– Я тоже старался, детка, разрази меня гром, очень старался, а вот видишь: всю жизнь – последний после последнего.

– Ты, Моймойша, поёшь лучше всех!

– Кто тебе сказал, малыш?

– Я сам. Когда папку моего хоронили, ты тихо сбоку что-то пел, я слышал, и папкину душу увидел в листья укутанную, и вороны над ней громко плакали, и тётки над мамкой орали, я чуть не оглох, а ты, Моймойша, пел так тихо, что я даже заснул, и не видел, как его в землю положили. И проснулся на могиле вечером один. Было тихо, красиво и совсем не страшно. И я тихонько спел твою песню, хорошо получилось, слова только не запомнил, всего несколько.

У Моймойши судорожно дёргался кадык, и слова в гортани слиплись в ком, перепутались, и пересохший язык мешал говорить.

– Молитвы, не песни…

– Ага, молитвы. А что это?

– Молитва – прошение, моление, благодарение за все милости Его. Плач и радость, обращенные к Богу.

– В песне тоже про это можно, – уверенно сказал Серафим.

Моймойша не стал возражать.

Знакомство состоялось. Вступительная часть закончилась. Надо было что-то делать, но сам по себе Моймойша никаких решений не принимал. Он с надеждой посмотрел на Анюту, женщины всегда мудрее.

Она кивнула, едва приметно, взяла их обоих за руки:

– Ну, пошли домой, кладбище закрывается.

Серафим спросил серьёзно, по-взрослому:

– Я буду у вас жить всегда? Вы не передумаете?

Вместо ответа зашагали бодро, стараясь в ногу, Серафим всё время путался и смеялся. Моймойша и Анюта тоже смеялись, будто жизнь с плеч скинули, и им ни с того ни с сего сделалось весело, как только в детстве и бывает. И в сказки верят только в детстве: кому судьба Снегурку послала, кому Золотое яичко, кому Колобка, а Моймойше и Анюте на старости лет – мальчонку рыжего, херувима Серафима. Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Стали они жить вместе и спать вместе в обнимку на жёстком кривоногом топчане, оба обнимали Серафима, каждый со своей стороны – и всем тепло, уютно, покойно, вроде и просыпаться не к чему. Вот что такое счастье.

Не мазл-размазл, а настоящее.

День шел за днём, Моймойша и Анюта, шаг за шагом стряхивая с себя неверие и сомнение, вживались в счастье полноценной семьи, вдыхали его полной грудью, навёрстывая потерянное время – всю свою одинокую бездетную жизнь. Два месяца было отпущено им, два долгих, долгих месяца, внутри которых дни, часы, минуты, мгновения звонко перекликались: се-ра-фим-се-ра-фим! Се-ра-фим-оч-ка!

Фимочка! Такое панибратство он по-

зволял только Анюте и целовал перед сном только её, а Моймойшу всю ночь держал за руку – за себя боялся или за него? Или так они вместе Анюту охраняли?

Два месяца было отпущено им. Всего два месяца.

Последним августовским утром, когда за оконцем едва брезжил рассвет, и они мирно спали, дверь чуть не разнесли в щепки ударами ног, кулаков и еще чего-то тяжёлого. Позже выяснилось – лома.

Больше не выяснилось ничего. При таком шуме и треске выламываемой двери не нашлось ни одного свидетеля происшествия. Да никто их и не искал. Только Анюта и Моймойша долго, беспокойно метались по комнате, по длинному барачному коридору, по кладбищенским закоулкам и смотрели друг на друга больными глазами. Но вслух не проговорились ни разу, вообще почти не разговаривали с того утра. Только с тоской и мольбой смотрели оба в одну сторону до рези в глазах, до темноты – ждали кого-то.

Время шло, наступила промозглая долгая осень, бесснежная морозная зима и дальше, дальше, дальше…

Моймойша, хоть и продолжал сидеть на своем табурете, молитву никому не предлагал, а вид у него был такой жалкий, что и к нему не обращались. Так не стало на кладбище последнего «певчего». Не умер, слава Богу, долго еще сидел в своем лапсердаке и шляпе на центральной аллее, ближе к входу, просто сидел, безучастный ко всему происходящему. Его и замечать перестали, и когда несколько дней на этом месте стоял пустой табурет, тоже не придали значения.

И похоронила его Анюта сама, с бригадой договорилась; за три бутылки водки по-свойски, по старой коллективной памяти всё сделали хорошо, как надо. Она перекрестила могилу, хоть и на еврейском участке, оглянулась по сторонам, словно прощения попросила, тихо сказала в пустоту:

– Вы уж приглядите здесь за ним, не дайте в обиду. Всё ж свои. Евреи. А я пойду отсюдова, куда глаза глядят. Нечего больше мне здесь делать без Моймойши, хороший был мужик, – последний раз похвасталась Анюта своим Моймойшей.

И ушла, не оглядываясь. С тех пор её никто не видел.

Постепенно забыли Моймойшу, Анюту, всех «певчих», даже Йосю с его тростью, даже Моймойшин лапсердак, доставшийся ему по наследству от деда Зейлика. А кому помнить-то? Всё. Другие времена настали. Другие деньги считают, другие песни поют.

Хотя про песни – как сказать.

Два раза в году в определенные дни, в начале июля и в последний день августа появляется на Востряковском кладбище молодой рыжеволосый мужчина в чёрном длинном сюртуке и чёрной шляпе. Идет по кладбищу уверенной походкой, ни к кому не подходит, никого ни о чем не спрашивает, церковь не посещает, в еврейский молельный дом не заходит. Идёт прямо к своим могилам, их три в разных концах кладбища, видно сразу – дорогу знает хорошо. Две могилы – на русской половине, одна – на еврейской. У каждой стоит подолгу, особенно – у еврейской.

И на чьи могилы ходит рыжий, знали, и какие слова говорит, слышали. И передавали, как любую молву, любое преданье из уста в уста, дополняя, привирая, приукрашивая.

На еврейской могиле на чёрном строгом гранитном надгробье выбито:

МОЙША РАФАИЛОВИЧ ФЕЛЬДМАН, а чуть ниже: Моймойше – лучшему из лучших.

Уходя, рыжеволосый всегда говорил одно и тоже:

– Помнишь, Моймойша, я сказал, что не только в молитве, но и в песне про это можно. Я сам сочиняю эти песни. Для тебя, Моймойша, разрази меня гром – сам. Еврею нельзя без песни, ведь так?

А песни пел всегда по-еврейски. Это точно, слышали. На кладбище тоже повсюду есть уши, несмотря, что царство мертвых.

Алла Ходос

# ЛЕТУЧИЙ САН-ФРАНЦИСКО

## ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

Гасят свет, померкли краски,
и уходит в темноту
жизнь, что предана огласке,
ярко вспыхнув налету.

Эта «Девушка с огарком»
и «Предчувствие войны».
Эта тучка в небе жарком.
Этот старец у стены.

Мрачен юноша с медалью.
Черен труженик с мешком...

Чья-то удаль стала далью.
Слава кончилась смешком.

Недовыплаканы слезы.
И еще манит игра.

Но смотрители нервозны,
суетливы. Им пора.

## ЛЕТУЧИЙ САН-ФРАНЦИСКО

* * *

Сентябрь на улице.
В каждой устрице
свежесть йода.
Побудь еще, погода!
И чистота.
Открытость лиц поражает,
не меньше, чем паранджа.
Полгода сидеть,
свесив ноги с моста.
После встать и размяться.
Красота!

* * *

То кашель, то пение слышится.
Кашне не забудь, застегнись...

Друг другом они не надышутся.
Душа, подыми меня ввысь!

* * *

Летят облака над строеньями,
а ветреный день так хорош
изменчивыми настроеньями:
то луч, то смятенье, то дрожь.

* * *

Тоска похожа на ужа.
Она ползет
по улице Дивизадеро.
Бездомный, голову прижав
к тележке, спит,
подругой пьяною избит.
Ни сострадание, ни вера, –
лишь жизни ржа
распоряжается судьбой бомжа.

* * *

Три мамы шли и девочек несли.
Безмужье не опасней, чем ненастье.
Взметнулись, оттолкнувшись от земли,

из мусора и листьев корабли.
Летать
прилаживалось счастье.

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

Я за веревочку тяну тебя к себе поближе.
Над головой моей ты так задумчиво плывешь.
Ах, дорогая, нет, я не унижен, не обижен.
И ты не думай, что на привязи живешь.

Но иногда и ты спускаешься на землю.
И в это время я взмываю к потолку.
Ты мне кричишь: – Посторожней там, –
но я не внемлю.
Теперь я чувствую, как сильно я тебя влеку.

Мы понимаем, что любовь – веревочка
простая.
Ужасно прочная, ужасно прочная, ужасно
проч...
Держись, бесстрашная. Но, кажется, светает.
Мы просто, за руки держась, летим сквозь
ночь.

* * *

Промозглое утро ложится на плечи прохожего.
С неясным сроднись и укутайся в стылый
туман.
В себя погрузись и иди себе завороженно...
Невидимый город для тайных свиданий
нам дан.

* * *

Счастье, рвущее нас на части,
Склеивает само.
Будешь, как новенький.
Ко всему готовенький.
За исключением одного.

* * *

Кареглазая осень-прелестница!
Наша радость остра,
как иголка в стоге забот.
Вьется дым от костра,
будто лестница,
к неизвестности переход.

УЛИЦА ЛОМБАРД

Улица вьется как прядь.
Пойдем же, за пядью пядь.
Если к миру имеешь претензии,
Взгляни, как цветут гортензии!
В прическу воткнув азалию,
Поддерживай жизнь за талию.
Машины плывут в цветах.
Скажи этой жизни: ах.
И пусть катафалк плывет,
ведь рядом душа живет.

## ВОПРЕКИ

*Елене Макаровой,*
*автору книг «Крепость над бездной»*
*(в соавторстве с Сергеем Макаровым)*
*и «Фридл», посвященным детям и*
*педагогам концлагеря Терезин.*[1]

***

Дождь усыпительный льет.
Мягок сумрак жилья.
Горе ль
горе мое?
Радость ли
радость моя?

А детям — в полет.

От первой любви
и первой строки
из чумной войны —
войне вопреки.
Пылинки всех стран!
Большой чемодан
с собой можно взять!
Вернуться — нельзя.

[1] «Загадка Терезина в четырёх рассказах» Елены Макаровой будет опубликована в следующем выпуске альманаха «Образы жизни».

На землю — нельзя.
Дождь знай себе льет.
Тих сумрак жилья.
Спи, горе моё.
Спи, радость моя.
***

*Сусанна Ружичкова из нашей комнаты была талатливой пианисткой. В Терезине ее мама волновалась: Сусанна испортит себе руки и после войны не сможет стать солисткой. Она велела Сусанне тренировать пальцы, и та после отбоя барабанила пальцами по деревяшке. Мы сходили с ума, невозможно было спать под эту дробь. В результате Сусанна стала солисткой и прославилась на всю Европу. Из интервью с Р. Мюнцер. Е. и С. Макаровы «Крепость над бездной».*

Деревянный тот звук—
так уроки долбят—
был одною из мук
и наградой наград.
Хоть и грешен, да свят.
Разве в лагере спят?
Сонм мыслей и блох...
Барабань, коль не сдох.
Ночи стынь, утра рань —
Барабань.
Ночи дробь, утра дрожь —
Не умрешь.

Под капричччио о былом
спят подруженьки
вечным сном.

ПЕРЕД ОТБОЕМ

*Детские дома захлестывали эпидемии... Сырость и холод плюс плохое питание приводили к туберкулезу. ... (Врачи из числа заключенных—А.Х.) успешно боролись с болезнью, даже при отсутствии антибиотиков. Детям давали калорийное питание, иногда вывозили дышать свежим воздухом. В мае 1944 перед визитом Красного Креста все пациенты туберкулезного отделения были депортированы в Освенцим.*
*Е. и С. Макаровы «Крепость над бездной»*

Сонечка, поезд стих.
Выжить поможет тиф.
Что, голова болит?
Лучше энцефалит.
Все лучше, чем газ.
Туберкулез бы спас.
Свежего воздуха пир!
(Воздух без пепла чист.)
Будет как чистый лист
после войны весь мир.
Выздоровеешь, дружок,
И в Освенцим, а там...
...Угадай по губам...
«По местам! По местам!»
«Транспорт уже отходит!»
....Боль быстро проходит.
Не будем скучать больше
по прошлому и Польше.

***

Дождь барабанит
или бомбят?
Рваные тучи — рубищем.
Фридл, я рисовала себя
в прошлом и будущем.
О том, что Хана уже не со мной,
я не могу забыть,
слушая всхлипы дождя за стеной
и продолжая быть.
Нас терзают холод и вша.
Но есть и шуршание карандаша.
Будто моя и твоя душа
шепчутся об одном
между небом и дном.

Алла Ходос

# ЛИПА

Когда ребенка принесли из роддома, папа рассказал маме известное стихотворение, доработанное им самим: «Жизнь не совсем обманула. Дочка на свет народилась. Дочка – не сын все равно. Все мы обмануты счастьем, что же так манит оно?» И предложил назвать дочку Липой. Мама сначала заплакала, но потом себя успокоила: во-первых, липовый цвет целебен, во-вторых, имя Липа ничем не хуже, чем Лилия или Роза; оно скромное, хоть и редкое, и надежное, потому что старинное.

Мама звала её Липочкой и, как могла, баловала. Отец баловства не одобрял. Жизнь балованных наказывает, говорил он, кушая суп. Потом отодвигал тарелку и некоторое время смотрел на обои, думая о своем, невеселом. «Насупился?» – спрашивала мама, улыбаясь, чтобы и ему внушить улыбчивое настроение. Ей это редко удавалось, поэтому со временем она стала улыбаться виновато.

После их смерти девушка то и дело терялась среди чужих. Чтобы не пропасть, она стала присматриваться к людям, провожая взглядом тех, кто находит себе заботы и занятия; а иногда она забывалась, сидя на скамейке с одинокими и пожилыми. На работе Липа печатала.

Однажды у скамейки остановился невысокий парень. Липа с надеждой посмотрела ему в лицо. Он встретился с ней несколько раз для порядка и взял в жёны. Липа ходила с ним пить пиво и на футбол. Он не возражал, но и не приветствовал. Быстро уставал от Липы. По выходным он сидел у телевизора и, нахмурившись, смотрел спортивные передачи. Липа сидела рядом. Он прозвал её Липучкой.

Подруга ругала Липу. «Одно из двух, – учила подруга, – или уходи от него, или не обращай вниманья». Липа благодарила за советы и, в свою очередь, старалась помочь, чем могла. Подруга часто приглашала гостей. Липа готовила, накрывала на стол и, наскоро перекусив со всеми, застывала. «Что сидишь, чего смотришь?» – спрашивала ее подруга. Липа машинально вставала. «Что стала столбом? Как деревянная...» «Отойди, не стеклянная», – подхватывал кто-нибудь из гостей. Иногда все они, к удивлению Липы, принимались спорить и кричать. Больше ничего нового в жизни Липы не случалось.

Но однажды она простыла. Муж сказал: «Не кашляй тут на меня!» – и отодвинулся. Когда Липа стала кашлять в ванной комнате, он, быстро одевшись, вышел в снегопад. Липа испугалась, что он, может быть, уже от нее заразился, а теперь еще и переохладится и устремилась следом. Но следов его она не нашла. Тогда она пошла в поликлинику. Может, и он там: занял очередь на прививку от гриппа? Но, пересилив себя, Липа решила эту очередь не искать. Чуть не уснув в ожидании, она подошла к регистратуре.

–Талонов нету, – сказала регистраторша, но почему-то уточнила: – С чем пришла?

– С простудой, – сказала Липа еле слышно.

– А ты что, не знаешь, как простуду лечить? – удивилась женщина.

– Знаю. Но муж не хотел, чтобы я кашляла. Просил себя поберечь... Полечить. Мы раньше с ним вместе в свободное время отдыхали, а теперь вот я простыла.

– Ишь, жале-ет! – сказала регистраторша.

– Да. Я вернусь домой потом. Когда поправлюсь.

– А теперь тебе что, карету скорой помощи вызвать?

– Не надо, – сказала Липа, вытирая нос и глаза.

– А работаешь кем? – усмехнувшись, спросила регистраторша.

– Перепечатываю указы и распоряжения, – прохрипела Липа.

– А звать?

– Липа.

– Что за имя такое дурацкое?

– Родители так назвали. В честь жизни.

– В честь кого-о?

Регистраторша посмотрела на Липу во все глаза, открыв рот, но тут же и прикрыла его ладошкой, словно зевнула. Наконец, вздохнув, она пригласила ее зайти за перегородку. Там в пыли, плотно прильнув друг к другу, стояли на полках истории людских болезней.

Хлюпнув носом, Липа присела на крашек стула, стараясь не дышать на добрую женщину, и улыбнулась так, как бывало, улыбалась ее мама: сначала заразительно, потом виновато. Регистраторша взмахнула в воздухе чем-то мягким, ворсистым и сказала: «А ну- ка примерь!» Только что связанный свитер сразу согрел Липу, и ей показалось, будто горло уже не болит. «Хорошо сидит», – сказала приемщица и стащила с Липы свитер. У внучки с тобой один размер. Все равно перед ноской стирать. Ну иди теперь. Мне не положено – с посторонними.

# ОБРЯД ПОСВЯЩЕНИЯ

*Тихону Енькину,*
*подарившему так много.*

Старик собирает и сдает посуду, всю выручку отдавая дочке. Дочка не всегда может кормить семью. Бывает, посреди рабочего процесса она застынет, как зачарованная. Ее и уволят. На новой работе покажет хорошие результаты, а потом опять застынет.

Витя после школы гоняет в футбол. Поле начинается сразу за их двором. «А если мама застынет и не очнется?» — думает он, подфутболивая мяч. Мяч куда-то улетает.

В кустах возле мусорки движение. Это дед. Ищет бутылки. Немного поодаль Леокадия разрывает целлофановые мешки с рыбными потрохами. Аккуратно поев, она не уходит. Сидит в кустах и смотрит на деда во все глаза. От этого взгляда старика начинает бить лихорадка. «Чтоб ты подавилась, нечистая сила», — бормочет дед, бросая Леокадии рыбий хребет. Но она сыта. Фыркнув, Леокадия скрывается в вечерней мгле.

Они живут в деревянном доме под снос. В доме чисто и голо. Снос все затягивается. По углам двора стоят мешки с винной и молочной посудой, а посередине растет вишня и лежат доски. Вокруг пышно цветут сонные травы.

По вечерам мама, дед и мальчик едят за столом, стоящим у окна, и смотрят во двор.

— Пойду коровку проведаю, — говорит Витя.

— Иди, — отвечает мама, — только галоши надень, а то роса и крапива.

— Я знаю, — говорит Витя.

Коровка показывается не всегда. Иногда появляется ярко-красная, иногда желая, а бывает, что и черная. «Божия коровка, улети на небко, там твои детки кушают котлетки», — говорит Витя. И, послушная его желанью, коровка улетает.

Но мальчик не спешит в дом. Присев на доску, он ждет. Из темноты выходит Леокадия. Наставив уши и подняв треугольную головку, она смотрит ему в лицо. Витя, в свою очередь, смотрит на нее. Леокадия начинает делать загребающие движения передней лапкой в воздухе, будто страницу переворачивает.

*Я пробовал: вслух читал перед сном.*
*Вот это:*

*Если жизнь тебя обманет,*
*Не печалься, не сердись!*
*В день уныния смирись:*
*День веселья, верь, настанет.*

*Сердце в будущем живет;*
*Настоящее уныло:*
*Все мгновенно, все пройдет;*
*Что пройдет, то будет мило.*

*А когда она встала посмотреть на звезды и луну, я под подушку книгу подсунул, раскрыв ее на девяносто шестой странице для верности. Перед тем, как снова лечь, она меня по голове погладила и говорит: «Прости меня, Витенька», будто в чем виновата. Я долго сидел на стуле, не засыпал, караулил ее самочувствие. Она, когда плачет, то глаза закрывает, чтобы я думал, будто это во сне. Конечно, неотдохнувшая идет на работу. Вот днем и задремлет. В автобусе задремлет. Или на собрании. Однажды даже в очереди. Сложно ей стоять. Нестойкая она.*

Леокадия, делает глотательное движение, морщится, а потом, глядя Вите в глаза не отрываясь, говорит: «Ма!»

*Ты же знаешь, лекарства и гипноз не помогают.*

От шороха в ветвях они оба вздрагивают. «Ты дрожишь от холода, — говорит Вите мама. Пойдем домой, сына». Леокадия вскакивает на доски. Вставая, Витя быстро гладит ей спинку.

После ужина мама достает большую кошелку с шишками, кусками коры, пучками бессмертника и расстилает на полу перед ковриком две газеты. Увядшее и засохшее волнует ее. Ей хочется все это сохранить, пока оно не рассыпалось. Но в дверь негромко стучат, и мама, начавшая было развязывать тесемки папки с сухими листьями, быстро задвигает природный материал под кровать. Это отец. Он приходит, когда может. А может он нечасто. Но это и хорошо, считает он. Надо, чтобы сами справлялись. Он свои способности всегда пускает в дело, приращивает, развивает: сначала массовик-затейник в клубе, затем топ-менеджер на фабрике талантов. Теперь он может себе

многое позволить.

— Вот, например, — и он вынимает из кейса копченую рыбу, салями и баночку икру.

— А хлеб у вас хоть есть, праздношатающиеся? — спрашивает папа.

— Не обзывайся! — говорит Витя строго и достает хлеб. — Думаешь, ты самый крутой?

— Самый святой, — бормочет дед. —

— Папаша, у вас пахнет бедностью, — говорит «святой».

— Блаженны нищие. Духом, — отвечает дед.

Он ест, сопя; отец, — ухмыляясь, мама — тихонько вздыхая. Витя налегает на хлеб. Поев и пожелав всем ума и успехов, отец уходит.

Утром мама, едва раскрыв поблекшие и подпухшие зеленые глаза, опускает ноги в тапочки и моет пол, стараясь не задеть предметы обстановки. Осторжно водит тряпкой вокруг кошелки под кроватью. Закончив, садится на коврик и поскорее снова закрывает глаза. Она чувствует, что дышит, что жива. Страх и тоска, сцепившись, живут в центре ее существа. Живут себе, поживают. Занимают определенное место. И она тоже может дышать и жить вместе с ними. На пустой стене перед нею появляется большая картина. На картине изображена липа с тройным стволом и раскидистыми ветками. Совсем не заметно, что стволы не нарисованы, а сделаны из кусочков коры. Дерево засохло, но перед этим оно так разрослось, что переросло картину и длинными ветками уткнулось в соседнюю стену. На одной из веток сидит толстенький воробей и, не отрываясь, смотрит вниз. Острый глаз его сделан из камешка, а сам он из перьев, добытых из старой подушки. Что-то под деревом его чрезвычайно занимает. От земли поднимается туман. Он уже почти покрыл пепельные кустики, дрожащие у основанья ствола. Но сквозь туман просвечивает короткошерстная гибкая спинка и аккуратная треугольная головка с желтыми глазами, поблескивающими усами и наставленными, будто рожки, ушами. Вокруг головы животного туман разрежен.

В это время дверь распахивается и влетает сын. «Две пятерки и одна четверка!», — сообщает он. — «Молодец, Витя, — отвечает мама, загадочно улыбаясь, и ставит на стол большую тарелку с едой. «Эта твоя картошка под кефирным соусом — просто объеденье, — говорит Витя, тоже радостно улыбаясь. — Какие новости, ма?»

«Витенька, я увидела картину, — застенчиво говорит мама. — Я тебе перед сном расскажу». «Расскажешь. Пойду коровку проведаю», — бросает Витя, надевая кроссовки. Он находит её в середине цветка. «А, вот ты где. Сегодня — желтенькая. Как и цветок. Маскируешься, на всякий случай? Не бойся, я тебя не обижу. Ну, лети на небко, давай!»

Среди шишечек хмеля он уже видит аккуратную головку Леокадии. Рот ее изогнут в загадочной улыбке.

*А-а, я знаю эту картину. Называется «Джоконда». Точно такая улыбка. Мама говорит, что картину увидела. Наверное, журнал листала. Все знают эту картину, но мама почему-то обрадовалась.*

Леокадия кивает головкой.

*Конечно, хорошо. Вообще, прекрасно, что она улыбалась, как Джоконда.*

Поздно вечером Витя возвращается. И хоть на улице уже темно, в комнате будто белая ночь. На стене висит огромная картина. На картине идет снег. Он запорошил пространство, и мальчику кажется, что снег не только осветил стол и разбросанные вокруг него шишки, но и кого-то спрятал. Когда Витя подходит ближе, из картины вдруг высовывается лапка и манит его к себе. Леокадию ведут на поводке. Её ведет молодая женщина; сквозь снежную пелену посверкивают ее зелёные глаза; лицо и высокая фигура едва проступают на полотне. Витя слышит её голос: «Иди сюда, сына, иди!» Он понимает, что за лапку можно ухватиться и тогда... Быстро пожав её, мальчик останавливается у входа.

## БАЙКА ПРО БАБКУ

Бабка начинает сходить с ума. Она твёрдо знает, что с каждым днём всё ближе подходит к черте, которую так легко перейти. Как зовут бабку — неважно, ведь ей самой всё уже неважно, кроме одного. Желательно знать, сколько ей лет? Это она может сказать. Ей шестьдесят. Голос звучит гулко, словно доносится из бочки, на дне которой ещё плещется молодое вино. А выглядит так: ширококостная, смуглолицая, с кирпичным румянцем, но седая. Крепкая ещё бабка, хотя всё у неё болит. Если б она не так увлекалась, оставалась бы ещё цветущей, на радость себе и людям, женщиной. Конечно, вам нужна краткая биография. Бабка согласна удовлетворить вашу любознательность. Страна проживания, национальность, семейное положение, профессия,— всё это у неё слабо обозначено: на карте, которую она носит в ридикюле вместо документов, одна большая клякса; люди на пожелтевших фотографиях сняты со спины, уходящими в густеющий туман; произведения прикладного искусства, изготовленные бабкой, распадаются сами собою и растворяются в воздухе. Здесь бабка просит довести до сведения читателей, что одно время она изготавливала бойко распродаваемые шкатулки для хранения старых писем, пуговиц, обгорелых спичек и кусков тонкой резины с многозначными номерами, — такие браслеты одевают людям на запястья при входе и при выходе. Потом она вышивала шёлком, и её работы даже попадали на выставки, но бесследно исчезали. Каждому увлечению бабка посвящала всё своё свободное время, от этого её время становилось заполненным, оставаясь свободным. Внушительная и надёжная внешность бабки вводила в заблуждение многих; бабкина душа оставалась расплывчатой, душной и липучей. Однако она пожелала, чтобы её бесформенный характер был обрисован крупно, вот мы и стараемся. Она мне деньги за это заплатила. Пришла и говорит: «Иван Нежеланный, пиши меня! Я хочу излиться на бумагу вся!» И театрально прикоснувшись рукою к мутноватым глазам, добавила: «Спаси меня, Ванечка, я заплачу тебе тысячу гульденов или иен, кому какое дело, но изобрази похоже, а когда я исчезну во мгле, людям будет пример и назидание...» Хлюпнув носом, она добавила: «А если я полюблю тебя, Ванечка, как брата, после окончания работы, примешь ли ты мою любовь?» Я ей ответил:

— Уважаемая бабушка, вы сначала излейтесь, а там посмотрим!

— Ну пиши, Иван, вот тебе моя краткая биография.

В молодости мне приснился сон. Мне принесли животных, кошку с собакой. Собака понимала и говорила по-человечески. Чуткая кошка читала мои мысли, — они мгновенно отражались на её лице,— но молчала. Мой муж сказал: «Животные будут жить во дворе как пристало тварям. И чтобы тут не валялись куски шерсти и то, что источает вонь!» Так и пиши, Ваня. Я ж тебе не современная писательница, чтобы всё называть своими именами... Хорошая у тебя ручка, Ванечка: в ней много пасты. Ты успеваешь? Съешь пирожок с курагой, я тебе пяток принесла.

Про назидание — это я так, для отвода глаз. Я хочу излечится, Ваня, но не до конца. Поэтому я к тебе и пришла... Когда муж вытолкал собаку, кошку и меня, я пошла бродить по свету и родила много детей: беззаконных я любила сильнее. Часто я их теряла: шахтёры проваливались в шахты, балерины подпрыгивали и улетали, а учителя забивали себя насмерть указками.

Сейчас я перейду к главному. Как это тяжело. А Вы хороший писатель, Иван Нежеланный?

Иван только поджал губы.

— Записывайте, не слишком исправляйте, не причёсывайте меня, ведь я не к парикмахеру пришла...

Всё новые домашние рвались меня обогреть, думали, что я добрая; иногда я служила им верой и правдой, а иногда как рабыня. Я недолго задерживалась дома; притянув их за кофту, жарко просила прощения и сразу уходила к случайным прохожим, которых я встречала на дорогах нашей неразборчивой родины. Я долго надеялась встретить своих кровных родственников, ведь я детдомовка и долгожительница, но они ушли давно и номерков не оставили. Не знаю, хватит ли у меня времени рассказать о своих поисках, у меня ведь всё

болит; это — расплата за беспорядочные связи. (Не пиши эту пошлость, Ванечка, редактируй, ты же писатель.)

А теперь дай мне руку, левую, с пирожком, а правой пиши. Психиатру я б столько же заплатила, сколько и тебе, но в тебя я верю. Пирожок в рот (не бойся, это курага, не урюк), а руку дай. Я бы могла быть хорошей хозяйкой... А как я вышивала бисером и шёлком! И на шкатулках барельефы делала. Перед тем как умер японский император шкатулка с его изображением треснула и рассыпалась в прах. А когда скончался датский принц, из его остроносого лица на батистовом платочке одной горожанки все нитки повылезли и расползлись. Дети стали меня бояться, говорили: колдунья...

— Бабушка, ложитесь на кушетку и рассказывайте! Хватка у вас железная! Рука занемела.

— Спасибо. Лучше посижу на краешке: так я себя уверенней чувствую... Приготовься, Ваня! Я словно с горы лечу и могу сбить тебя с ног... Я нашла брата. Мне бы так хотелось описать его, Ваня, но нельзя. Ни лепить, ни вышивать, ни описывать самое дорогое нельзя! Это вы, писатели, поднимаете пыль столбом, чтобы невозможно было разглядеть родное лицо. И собирательные образы мастерите из всякого хлама. А я так не могу. И, главное, боюсь очень, Ванечка.

— Не бойтесь, мамаша. Пирожки у вас очень вкусные. Ничего, вы ещё не совсем спятили. Сумбурно излагаете, но это от волнения. Вот вам яблоко. Погодите, я себе половину откушу... Ну что вы, носовой платок надо с собой носить. Вы ведь пожилая женщина. Ладно, я вам салфетку дам. Смелее. Нате и мою половину яблока. Я расхотел... Чего боитесь, говорите прямо!

— Иван! Я думаю о нём ежесекундно. Как Вы полагаете, если о человеке думать постоянно, не может ли это негативно сказаться на предмете неотступных мыслей?

— Слушай, бабушка, давай всё же к врачу! Я отдам задаток, отдам!

Ваня, мы должны справиться...

— Ну ладно, попробуем. Хорошо думаешь хоть?

— Я целую воздух, которым он дышит.

— Может, к сексопатологу талончик возьмёшь? Не могу я такое записывать! Неприлично, неприятно... Бери свой задаток... Ты что, померла?

— А?

— Скорую вызвать?

— Я просто уснула, Ваня. Я сплю пять минут в час, днём и ночью.

— А остальное время что делаешь?

— Я пишу к нему письма. А потом иду в лес и жгу их на костре. Иногда поднимается ветер и взметает пепел, это мои слова превращаются в маленьких пыльных птиц. — Бабка встряхнула седыми жёсткими волосами, и пепел посыпался на пол.

— Не сорите, бабуля. Опишите мне его, я-то не сожгу свой труд, будьте спокойны!

— Я сказала, не буду описывать его как личность. Скажу только, другого такого нет. Его душу нельзя сравнить ни с чем. И не пытайся. Просто скажи: лучше всех на свете. Как дети говорят.

— Видишь ли, читатель...

— Мне не надо, чтобы твоему читателю нравилось! Ещё 500 гульденов, Иван, и продолжим.

— Ухх... Он, что, тоже пенсионер?

— Нет, он младше меня на двадцать пять лет. Женат. А мне он — младший брат. (В рифму не пиши, это случайно получилось.)

— А ты с ним персонально когда-нибудь беседовала?

— Ну конечно, Ваня. Когда я возвращаюсь из лесу, мы говорим часами, ведь у меня богатый жизненный опыт. И он меня жалеет... А потом я беседую с ним мысленно.

— Он что, тоже того?

— Не смей, Иван Непотребный!

— Сейчас я скажу тебе всё, что думаю, Безымянная!

Ты приворожила женатого молодого человека, и вот уж ради тебя он готов забыть о долге перед отечеством и семьёй!

— Я его не заставляю со мной разговаривать, Невостребованный!

— Может быть, он тоже писатель?— ревниво уточнил Иван.

— Он — родственная душа. Ну погоди, Ванечка! Колпачок от ручки потерял, теперь она засохнет, как и твоё жестокое сердце! Придётся не переставая писать... Ой, какая клякса! Не плачь,

Небезнадёжный! Мою речь не пятнай, а на свои реплики можешь сморкаться и плакать!

— Да не хватай ты меня за руку, железная баба! Сама держись! Нечего руки людям ломать! И чужую жизнь калечить! И пиши сама, тоже мне! Неграмотная, что ли? Как рассказываешь, так и пиши.

— Ваня! Сама я только письма могу. А произведение... Дети прочтут и засмеют меня. А ты профессионал, с тебя взятки гладки. Мы скоро закончим, и я больше не приду. Это будет вставная новелла в один из твоих романов. Я умру, Ваня. Такая, как есть, я не могу оставаться. Даже ты чувствуешь давление.

— Я тиски чувствую, уважаемая! Мёртвую хватку.

— Не говори так, Ванечка!.. Потом я рожусь вновь. Может быть, буду твоей мамой. Займусь твоим воспитанием. Или старшей сестрой... Ты с чем пирожки больше любишь? С клубничным вареньем? С морковкой полезнее. Я обжарю на растительном масле... Не обижай старуху, Ваня! Съешь пока что ещё один, с курагой, пожалуйста.

— Ладно, давай. Вкусные. Видишь, ты кое-что умеешь. Пирожки. Шкатулки. Вышивка... Тебе надо почаще переключаться, и ты сможешь приносить пользу людям... Опять уснула, что ли? Старуха! Проснись!

— А?.. Мне приснилось, Ваня, как мы идём с ним по лесу и смеёмся. Походка у брата стремительная, но я за ним поспеваю.

Тропинка, по которой мы идём, сразу зарастает зелёной травой. Рядом журчит полноводный ручей. Маленькие серые птички, возможно, соловьи, поют, перелетая с ветки на ветку. Только что прошла гроза и солнце сияет. В воздухе пахнет свежим яблоком... (Спасибо, я съела обе половинки). Там как раз росла дикая яблонька... Мы сели под яблоньку. Да, на мокрую траву! Это же сон, Ваня! Ты очень внимателен к деталям. Хороший ты, должно быть, писатель, Ваня, не зря я к тебе пришла!..

Брат посмотрел на меня, словно впервые увидел, и спрашивает:

— Кто ты, сестрица?—Почему я вижу солнце на небе, а в твоих глазах отражаются тучи? Почему твои щёки такого же цвета, как стены роддома? Почему ты рассеянно мнёшь цветы, которые я для тебя срываю? Почему мы с тобой сразу после дождя на траве сидим, ведь это не принято.

— Да Жизнь я, — отвечаю. *Сестра твоя — Жизнь.* Теперь ступай, братик! Я буду о тебе всегда думать. Если вдруг тень пробежит по небу и со дна ручья проступят чьи-то сморщенные лица, не пугайся. Это просто ветер немного исказил наши отраженья. Мы с тобой одновременно вздремнули и увидели один и тот же сон... Это как бы сон во сне, Ваня, знаешь, так бывает.

— А теперь ты не спишь?— спросил Иван. Разве ты не во сне разговаривала? Это ты в моём сне разговаривала, Жизнь!.. Не нужны мне твои гульдены и иены. Я молод и смогу сам заработать. Твой брат — он что, тоже твои речи записывает? Тебе нравится, как он пишет?

—Что ты, Ваня! Я не знаю!

—А моё прочтёшь? Я хочу, чтобы вышло похоже! Как уловить мне тебя, подскажи!

—Мне некогда. Я не читаю, Ваня.

—Так ты не можешь мне помочь, жалкая Жизнь! Только мучишь и манишь!

— Погоди. Ты унижал меня и гнал от себя, Иван. Но ты выслушал безумную старуху и немного пожалел. За минуты вниманья и мгновенья сочувствия награжу тебя. Иногда под утро, когда бросив написанное в корзину для бумаг, ты достанешь чистый лист и уснёшь за столом, я позвоню тебе и что-нибудь продиктую.

***

Под утро молодой литератор Иван Нежеланный, засыпая на рабочем месте, положил перед собою мобильный телефон. И не напрасно.Только он смежил веки, раздался звонок и гулкий влажный голос, проговорил:

Ну тихо! Упади на руки Жизни.
Не стыдно это. Недоколыхала
большая, терпеливая тебя.
На руки Жизни тихо упади.
Запомни, как был сладок миг паденья,
когда нечаянно взлетел немного над
и даже много выше, чем казалось.
Закрой глаза. Отбрось свой парашютик.
Уткнись в цветной застиранный подол.

Вячеслав Тюрин

# ГРАЖДАНСКИЙ ДНЕВНИК

Костлявые кисти рук, покрытых татуировкой,
наподобье черновика, принадлежащего робкой
твари со слишком узкими для мужского
пола запястьями: как говорится, школа
жизни с отметками бреда по самый локоть.
Если чужая беда перестала трогать,
то своя – как рубаха смертника – липнет к телу,
сухожильями страха подшитому к беспределу.
К звездоочитому хламу скорей, чем к храму.
К месту, куда бессмысленно телеграмму
с уведомленьем о скором туда возврате
пальцами барабанить на аппарате.

Ежели Богу слышно биенье сердца,
не сомневайся: встретишь единоверца,
мысли читать умеющего любые,–
будь то родная речь или голубые
грёзы в предместье с эхом из подворотен;
беглый отчет об отрезке пути, что пройден
и позабыт, как вырванная страница,
будучи вынужден как бы посторониться
перед наплывом новорожденной яви.
Большего требовать мы от судьбы не вправе.

На исходе бессонницы трезвый султан в гареме
засыпает, устав от любви как занятья. Время
продолжает вести себя так, что сыпется штукатурка
с потолка, словно снег на голову демиурга,
затерявшегося в толпе, нахлобучив шапку-
невидимку по самые брови. Точней, ушанку.
Потому что снаружи холодно и, к тому же,
серебрятся, как зеркала, под ногами лужи.
Разверзаются хляби, захлопываются двери
перед носом ненастья. Вязы в безлюдном сквере
гнутся, теряя последние листья. Лишь изваянья
выслушать ихнюю жалобу в состоянье.

В такую погоду в зеркало глянешь, а там –
Сванидзе
с предложением обязательно созвониться.
Черновики накапливаются разве
только затем, чтобы пишущие погрязли
в них окончательно, переставая помнить
обстановку чужих квартир, имена любовниц
и любовников, усыпленных одною песней,
исполняя которую, станешь еще любезней.

Иногда надоест доверчиво ждать автобус,
и дворовая слякоть опять искажает образ
и подобие неизвестно кого до встречи
со второй половиною этой бессвязной речи.

Мир меняется на глазах, ибо тяга к тайне
бытия возрастает, нам оставляя крайне
мало шансов узнать о том, что стоит в начале
всего сущего; кто качает твою колыбель ночами.

От обилия разветвляющегося бреда
голова забывает о хлебе насущном, недо-
понимая, что время тикает очень часто.
И когда-нибудь оно скажет: довольно. Баста.

Сущие в склепах многоэтажной глыбы,
жители – как аквариумные рыбы –
тычутся взглядами в окна спален.
И квартирант опечален
тем, что хозяин выключит его скоро
вместе с потусторонностью коридора,
где он гудел, бывало, подобно трутню,
терзая лютню.

Ветер от нечего делать изучает текст объявлений
на телеграфных столбах, как будто непризнанный
гений,
мечется в переулках, где прожиты лучшие годы,
пляшет на перекрестках во имя своей свободы.

Дайте знать о себе скорее, пока не поздно!

Пусть мерцает асфальт под ногами, покуда звездно
городу, затонувшему в сумерках за дневные
грехи горожан, отошедших уже в иные
миры, повключавших ящики для просмотра
сериала, где все реально: крутые бедра,
широченные плечи, выстрелы, мозги всмятку
и тесак в одно место по самую рукоятку.
Что поделаешь, если это законы жанра:
чтобы зрителю было жутко, дышалось жадно.
Речь обрывистие, сердцебиенье чаще.
Положенье вещей кричаще.

В зеркалах отражается все, что угодно, кроме
вопиющей из-под земли, стынущей в жилах крови.

По закону симметрии каждого человека
ждет расплата за все, как вещая песнь – Олега.

Настоящая жизнь это песня подвыпившего цыгана,
цокот копыт о булыжники, скрип рессорного шарабана
мимо толпы тополей, между мраморными дворцами
шумящих листвой, обитаемой уличными скворцами.
А я, мой далекий друг, обитаю в тесной квартире.
Недавно меня в Красноярске порядком поколотили
ногами по голове. После такого футбола
мне стало без разницы, кто я, какого я возраста, пола.
До утра я был никакой и валялся на грязном матрасе,
пугаясь в осколке зеркала новой своей ипостаси.
Потом меня крикнул Андрюха, вернувшись с блядок,
и пара бутылок пива привела мои мысли в порядок.

Взгляд теряется в перспективе, поскольку брошен
на произвол вещей, существующих только в прошлом
времени, как товар – в антикварной лавке
с разговорчивым греком, охотно дающим справки.
Можно взять, повертеть в руках и вернуть на место
бюст мыслителя с мозгом, вылепленным из теста.
(Может быть, даже виновным в этих речах отчасти.)
Лишнее зачеркните, краденное закрасьте
без сожаления, как и велит рассудок.
О, без сомнения, странное время суток –
как отзыв о чем-то близком, знакомом с детства,
как то, на что невозможно не заглядеться –
шатается в анфиладах пригородных электричек,
узнавая себя во взглядах просивших спичек,
отвечавших, который час, исчезавших прежде,
чем успеешь окликнуть эхо в пустой надежде
поделиться тоской, оставить координаты,
когда подняты воротники, подозренья сняты
и сентябрьский вечер, как траурный флаг, приспущен
над антеннами шиферных кровель, во сне
грядущем.
Успокаивай нервы, сплетая свои двустишья.
Да поможет тебе в этом деле сноровка птичья.

Если мысли гнездо в голове человека свили,
можно только довольно смутно судить о силе
Существа, наступающего простаку на пятки,
мудрецу задающего каверзные загадки,
а пространству повелевающего такое,
отчего все тела давно лишены покоя.

Сотворите себе кумира, потом разбейте
ненароком, тогда узнаете, что за эти
вещи спрашивается чуть строже, чем вы читали
в одной книге, да не заметили, как устали.
Как заклинило на повторе дурацким дублем.
А с утра на востоке то ли рисунок углем,
то ли дело рук населения – в силу света –
обнаруживает достоинство силуэта
перед той же окраиной с трубами кочегарок,–
как трибунами для закручиванья цигарок.
И понятливые сограждане полукругом
обступают тебя, своим называя другом.

Ты бы мог здесь обосноваться, найти работу,
на которую поднимался бы сквозь зевоту,
под истерику пучеглазого циферблата.
И росла бы, как на дрожжах, у тебя зарплата.
Но, ладонью впотьмах глуша дурака на ощупь,
ты скорее всего погружал бы свою жилплощадь
в состояние сна, где слон – повелитель моськи.
И никто бы уже не капал тебе на мозги,
но текло бы, переходя на другие рельсы,
столько времени, что горбатые погорельцы,
долгожителями слывущие на погостах,
«караул» бы кричали, в трепет от девяностых
приходя на глазах у всяческих там «гринписов»,
озадаченных, как Арал это взял и высох.

Инна Мельницкая

# СТИХОТВОРЕНИЯ

## ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ

Пустынною улицей пара лошадок
Бредёт, нарушая привычный порядок;
Их пара девчонок ведёт в поводу –
Я следом за ними неспешно иду...
Над улицей небо висит невысокое,
Лошадки плетутся, подковками цокая,
Кивают усталыми головами –
Как будто обмениваются словами;
Ненужно болтаются их стремена,
А в небе над ними тоскует луна
И цедит сквозь тучи рассеянный свет.
Других фонарей здесь поблизости нет,
И кажется мне, что лошадкам на плечи
Ложится невидимо грусть человечья...

***

Воробушки чирикают в метро –
Наивное, доверчивое счастье!
Там, наверху, слезливое ненастье,
А здесь пичуги шустро и хитро
Шныряют под ногами у людей,
Клюют свои невидимые крохи –
И отступает всё: борьба идей
И клокотанье бешеной эпохи...
Всем бедам и невзгодам вопреки
Отчаянно взъерошенные птахи
Кричат «жив-жив!» – им, дерзким, далеки
Глухие человеческие страхи!
Здесь, в грохоте, они ещё поют
И вдруг, вспорхнув под каменные своды,
Нам, скованным, оттуда щедро льют
Шальное ощущение свободы.
Встряхнёшься – и, перчатки теребя,
Шагнёшь упрямо к «Выходу» и «Входу»:
И весело – и стыдно за себя,
И всё равно, какая там погода!

***

*Памяти Оттона Викторовича Оскнера*

Кто вступится за авторское право,
Кто вызовет к барьеру сгоряча?
Украденная лучшим другом слава
Твою могилу не придёт венчать.
Ведь время шло, и ложь укоренилась:
Венчает вора бронзовый венец.
Хоть слабенькая правда и пробилась
Сквозь хоры славословий, наконец,
Да кто её, убогую, услышит,
Кто ей поверит после стольких лет,
О ней расскажет, и о ней напишет,
И воскресит потерянный твой след?
Кто автора на сцену позовёт?
Но нет тебя –
        а музыка живёт!

## РОЖДЕНИЕ КНИГИ

Книга –
        слышите –
                книга вышла!
Первая –
        Или последняя –
                вышла!
Как умирала,
        боролась,
                выжила –
Красная заполочь
        крови вышила.
Редактировали –
        мордовали:
Подстригали
        и прихорашивали,
Словно от раны бинты отрывали,
Яростной,
        чёрной
                болью окрашенные.
Терпишь, терпишь –
        и вскрикнешь невольно
(Сердца сосулька мукой обсосана):
Не редактируйте!
        Это больно!
Отпустите –
        пусть живёт непричёсанной!
Загнанный автор
        Хрипит в мыле,
Пульсы
        взрываются
                рваными тактами...
Вышла, голубушка!
        Отпустили!
*Выпустили* –
        так говорят редакторы.

Римма Катаева

# ПЕРЕВОДЫ ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

*Из Дмытра Павлычка*

***

И шалаши, и замки, и палаты
Пересмотрел на всей большой земле,
Но краше я нигде не видел хаты,
Чем та, отцовская, в моём селе.
Она стоит и видит без антенны
На куполах небесных витражи.
Не для меня творили эти стены –
Для вечно зрячей, для моей души.

*Из Лины Костенко*

***

Лес изменился. Может, постарел.
То ль трасса порасшатывала сосны,
То ль старый пень на старости сдурел
И осень добрую схватил за косы.
То ль навезли тут шлаков и стекла?
Змеиный царь сгубил свою корону?
То ль морось радиации ожгла,
И дождь кислотный выжелтил все кроны?
То ль поздней ночью прорывался снег?
То ль Месяц отравился злой травою?
Печальный ёж обиделся на всех –
Залёг, листвой укрывшись с головою.

ЦАРИЦА САВСКАЯ

Царица Савская так плакала в ночи...
А утром встала в блеске гордой славы,
вся в бриллиантах, в золоте парчи.
К ней все цари гонцов охотно слали.
Её красой был каждый царь пленён.
Никто при ней разумным не казался.
И даже сам премудрый Соломон
во все века царице удивлялся.
Красавица, и сказка, и газель.
В садах любови – царственная роза.
Вино очей и колдовство князей,
Молчание старинной книжной прозы.
Сумбурный сон и шаткий Ориент.
Такой уж имидж у царицы стался.
И драгоценный камень всех легенд –
сверкает на персте царицы Савской.
Вся в бриллиантах, в золоте парчи.
При ней охрана – пеших ряд и конных.
Царица Савская так плакала в ночи...
Но вот про это нет у Соломона.

*Из Виктора Тимченко*

*памяти Шуры*

* * *

Не обойдёт Господний перст
надежд прозревшего калеки –
моя любовь – святой мой крест –
с твоею встретится навеки.

*Из Леонида Талалая (1941-2012)*

ИЗ ОКНА ПОСЛЕДНЕГО ТРАМВАЯ
*(Фрагмент)*

И поплыло окно вагона,
а из него платочком руки
отмахивались от разлуки,
и вихрь пронёсся вдоль перрона,
как пассажир под звуки стали,
в надежде надогнать состав,
роняя всё, что подгребал
на суматошливом вокзале.

Том Лерер[1]

# ПОЙДЕМТЕ ТРАВИТЬ ГОЛУБЕЙ!

Перевод с английского Аллы Ходос
при содействии и противодействии
Марины Золотаревской

Вновь весна тут как тут.
Цветы удовольствия всюду цветут.
Я думаю, лучшей поры не найти,
Чем весна.
Вам приятна она?
Как всегда?
О да! О да!

Но весеннее пробуждение
Лишь тогда для меня наслаждение,
Когда в выходной
Я с любимой женой
Отправляюсь травить голубей.
Каждый раз в выходной
С молодою женой
Мы выходим травить голубей!

Когда мы приближаемся,
Птички прячутся с перепуганным видом.
Но потом возвращаются,
Чтоб орешков поесть с цианидом.
Ах, голубка воркует, –
Вся природа ликует.
Значит, будем травить голубей!

Люди рады весне.
Все в порядке вполне.
В парк культуры – травить голубей!
В воскресенье травить голубей!

И теперь в этой местности
Мы достигли известности.
Слышим только нелестности
От защитников птиц.
Нас зовут атеистами
И к тому же садистами,
И ругают неистово
Нас без всяких границ.
Но ведь мы не рассердим Всевышнего,
Мир избавив от голубя лишнего.

Вот настал выходной!
Так пойдемте со мной,
Будем вместе травить голубей!
Вот и белка, друзья,
Отказать ей нельзя!
Как отрадно травить голубей!

Все умрут ради смеха
Без шума и ропота.
Ну разве что пару
Прихватим для опытов.
Есть сухарная крошка
И стрихнина немножко.
Лишь капельку надо,
А сердцу награда!
Так пойдемте ж травить голубей!

---

[1] Том Лерер (англ. Thomas Andrew Lehrer) — американский композитор и певец, поэт и математик. Известен своими сатирическими и юмористическими песнями, которые были записаны в 1950-е и 1960-е годы.

Сол Арис

# «ИГРОКИ НУЛЬ-А»

**Перевод с английского Лины Марковой**

В середине XX-го столетия появилась совершенно новая философская теория, оказавшая в наши дни большое влияние на понимание системы мышления. Её точная и назидательная аргументация была доступна немногим. Поэтому она долго не выходила за рамки академических кругов. Философские авторитеты раскритиковали её как узкую и далекую от жизни, хотя и вынуждены были признать, что она представляет собой новое направление в истории философской мысли.

Итак, влияние этой теории было весьма ограничено. Тем не менее её сторонники широко ею пользовались для лечения контуженных солдат и подавления или предотвращения студенческих волнений. Она также дала начало нескольким культовым доктринам, одной из которых была дианетика.

Пожалуй, самое неожиданное, что многие принципы этой теории были приняты на веру в эпоху New Age (1960-80 г.г.), хотя и в совершенно другом свете, чем представлял себе её создатель.

Речь идёт о теории общей семантики, сформулированной в 1933 году графом Альфредом Коржибским в книге «Наука и здравомыслие: вступление к неаристотелевой системе общей семантики».

Главная мысль Коржибского зиждется на идеях его предшественников о не-аристотелевском подходе к логике. Он следовал нескольким более ранним философским системам XIX-го и начала XX -го столетий, которые стремились усовершенствовать упрощённые определения аристотелевой или традиционной логики.

Традиционная или аристотелева логика опирается на метод простых силлогизмов, который можно проиллюстрировать на следующем общеизвестном примере: «Все люди смертны. Сократ — человек; следовательно, Сократ смертен». Этот метод считался несовершенным, поскольку он был основан на ограничении количественных аспектов таких понятий как «каждый» или «многие». Для операций с этими понятиями были предложены новые понятия логики, одним из которых является «множественная общность». Это понятие предполагает рассмотрение нескольких конфликтных постулатов, а также разноообразных значений одного и того же термина.

В недавнее время также возникла одна из наиболее важных альтернативных логических систем — предикатная логика. Достаточно полное определение предикатной логики можно найти в статье Википедии, которая подчёркивает огромную сложность этой системы и её терминологии, доступной только специалисту, серьёзно изучающему теорию логики. Предмет оказался слишком трудным для обучения, и логика как таковая была удалена из школьных программ, тогда как в течение столетий элементарную логику изучали наряду с арифметикой. Некоторые школы стремятся восстановить изучение традиционной логики, чтобы помочь молодым людям при решении простых проблем.

Суммируя положения предикатной логики, можно сделать вывод, что для любого суждения необходимо принимать во внимание огромное количесво факторов. Общая семантика дополняет это требование тем, что для полного понимания чего бы то ни было необходимо осознавать и огромное множество символов, которые лежат в основе нашего восприятия окружающей нас реальности. Для того, чтобы научиться принимать решения, считал Коржибский, каждый индивидуум должен уметь обрабатывать огромное множество символов на строго рефлексивном уровне.

Вот один из первых и наиболее известных примеров положений общей семантики: «Карта не есть территория». Имеется в виду, что в нашем уме всё вопринимается через символы, которые представляют собой «принятые нами определения» объектов в поле нашего восприятия. Но эти определения — не сами вещи, они всего лишь то, как мы эти вещи называем или трактуем. В действительности же эти же вещи могут быть чем-то иным.

Эта идея во многом перекликается с философией Людвига Витгенштейна, чья теория языковой картины мира революционизировала наше представление о том, как наш ум трактует символы. Её наиболее тонкие выводы лежат далеко за

пределами этой статьи; здесь мы лишь отметим, что она привела к нашему сегодняшнему пониманию законов усвоения языка.

Необходимо учитывать, что сегодня мы научились рассматривать деятельность разума как духовный поиск. Новейшие исследования в совершенно, казалось бы, далёких друг от друга областях — как, например, шаманизм и квантовая механика — показали, что именно выстроенные нашим разумом конструкции позволяют нам обрести опыт в области таких феноменов как «альтернативные реальности» или «богоявления / эпифании». Эти явления признавались исключительно в мире метафизики и мистики, однако сегодня о них говорят физики и ученые-неврологи.

Такого не было и в помине в начале XX-го века, когда пост-кантовские идеи дали толчок «чисто материалистической» философии — логическому позитивизму, главным принципом которого было полное отрицание всего метафизического как «когнитивно бессмысленного». Этот общепринятый подход утвердился как реакция на вековое подавление рационализма со времен средневековья и превратился в краеугольный камень нашей науки — полное отрицание любых метафизических соображений в пользу рационального и измеряемого.

В контексте такой «гуманистической» и атеистической философии своего времени общая семантика стремилась предложить систему, в которой рациональный ум контролирует более «животные», инстинктивные реакции нашего мышления. Главный способ такого контроля заключался в распознавании множества возможностей, которые могут быть представлены нашими условными символами. Сторонники этой идеи считают её весьма полезным защитным механизмом «против манипулятивных семантических искажений, постоянно навязываемых рекламой, политикой и религией». В этом механизме и заключается метод рационального разума.

Теория общей семантики расправила крылышки благодаря многим авторам. Вряд ли те, кто не принадлежит к узкой академической среде, могли что-либо узнать об этой теории, если бы с самого начала её не стали популяризировать умнейшие люди. Среди них наиболее известным является писатель-фантаст Альфред Элтон Ван Вогт. В 1945 году Ван Вогт написал роман «Мир нуль-А», а в 1948 году — его продолжение «Игроки нуль-А»; оба романа провидчески основаны на постулатах общей семантики. Первый стал самым популярным бестселлером в жанре научной фантастики во Франции. (Много лет спустя, в 1984 году, Ван Вогт опубликовал заключительную часть трилогии, книгу очень слабую и, согласно мнению большинства критиков, совершенно ненужную.)

«Нуль-А» — «не-аристотелева» логическая система, на которой Коржибский основывает свою теорию. Для Ван Вогта это означает правило разумного подхода, т. е. практической разумной обоснованности суждений и действий в противоположность действиям, совершаемым под влиянием первичных побуждений или импульсов. Его романы обращены в то будущее, где уже в течение нескольких столетий ведущим принципом устройства жизни на Земле является общая семантика и где люди, обладающие более развитыми навыками в этой области, управляют остальными.

Сюжеты книг Ван Вогта были широко раскритикованы за несвязность и такое перескакивание с одного эпизода на другой, что у самого горячего его поклонника может голова закружиться. (Отличное изложение содержания и критику книг Ван Вогта можно найти на странице “The Null-A series by A. E. Van Vogt”.) Но для данной статьи сюжеты книг Ван Вогта особого значения не имеют.

Сюжет «Нуль-А» в основном вращается вокруг героя Гилберта Госсейна, который в самом начале повествования узнаёт, что он несколько не такой, каким кажется другим, что он несколько «больше», чем думают о нём другие, да и он сам — о себе. Затем он использует когнитивные приемы «мышления нуль-А», чтобы полностью овладеть таким мышлением и определить его роль в своей жизни. Достигнув этого, он становится во многих отношениях «сверхчеловеком» — тема, к которой Ван Вогт обращается во многих своих произведениях.

Для Госсейна «нуль-А» означало ясное мышление, основанное на доводах разума, а не на инстинктивных импульсах тела. Как указывали многие критики, Ван Вогт не даёт чётких объяснений, почему эта система такая уж анти-аристотелева, и фактически в этом ошибается. Но он описывает её как регулирование эмоций с помощью сознания, тогда как его современники полагали, что эмоции регулируются частью мозга, называемой таламусом, а логико-рациональные процессы — корой головного мозга (*Cerebral Cortex*).

В теории говорится, что между каждым полученным мозгом стимулом и реакцией на него должна существовать пауза, — Ван Вогт называет её «кортико-таламической» — во время которой мы комбинируем сигналы, полученные как от эмоциональной, так и от рациональной систем.

Хорошо тренированные по этой системе люди реагируют на каждый стимул автоматически и таким образом получают наибольшую отдачу от своего интеллекта. Книга описывает группу людей, которым удалось в совершенстве усвоить метод мышления «нуль-А» и интегрировать его в свою повседневную жизнь. Они построили на Венере просвещенное утопическое общество без лидеров, с общественным владением ресурсами.

Согласно этому методу, процесс интегрированного мышления требует перед принятием

решения учитывать широчайший спектр факторов — в противоположность действию по импульсу или, как говорится, «без долгих размышлений». (Это вроде бы само собой разумеется, но стоит взглянуть на происходящие в мире события, а также на результаты психологических исследований, и мы увидим, что рациональное обоснование в большинстве человеческих поступков, увы, отсутствует.)

Многие учёные рассматривали «кортико-таламическую» паузу, описанную Ван Вогтом, как ключ к улучшению интеллектуальных способностей человека, и во многих университетских курсах, имеющих отношение к науке о мышлении, признавали вклад как Ван Вогта, так и Коржибского в развитие этой науки. В интервью 1980 года Ван Вогт говорил, что целью его историй о «нуль-А» было показать, что человек может усовершенствоваться с помощью умственных тренировок. И Ван Вогту, и Коржибскому многим обязаны и другие области современного знания.

Большим пропагандистом теории Коржибского стал известный американский психиатр Дуглас М. Келли. По его инициативе во время Второй мировой войны врачи применили общую семантику для лечения 7000 больных, страдающих различными неврозами, полученными в боях на территории Европы. В дальнейшем Келли разработал также программу преподавания криминологии на основе принципов общей семантики в Калифорнийском университете Лос Анджелеса (см. стр. 17 «Бюллетеня Общей Семантики» за 1955 год. Этот выпуск «Бюллетеня» свидетельствует о том, каким значительным было влияние данных теорий.)

Другим известным сторонником идей Коржибского был знаменитый американский эксперт по общей семантике д-р Сэмюэл Хаякава. В 1943 году Хаякава основал Международное содружество общей семантики, которое в 2003 году объединилось с Институтом общей семантики — организацией, основанной самим Коржибским, и стало распорядителем творческого наследия Ван Вогта на мировом рынке.

В 1968 году Хаякава оказался в центре внимания всей Америки, став деканом Сан-Францисского колледжа, «осажденного» протестующими студентами, вместо предыдущего декана, подавшего в отставку. Ван Вогт в своем предисловии-апологии к новому изданию «Мира нуль-А» 1970 года подчеркнул факт использования Хаякавой общей семантики для успешного подавления студенческих волнений. «Хаякава, — писал Ван Вогт, — ответил искренним сочувствием и пониманием насущных проблем студентов».

Фактически же Хаякава усмирил студенческий мятеж, вызвав большое число полицейских. Пресса того времени сообщала, что за беспардонное использование Хаякавой полиции студенты справедливо назвали его прислужником истэблишмента. Его бескомпромиссная позиция по отношению к протестующим позволила ему получить место в сенате от Республиканской партии во время администрации президента Картера. Он также был близким другом Рейгана. Деятельность Хаякавы говорит о том, что общая семантика допускает самые разнообразные этические нормы: известно, что сам Хаякава исходил из принципов этой же системы, полагая, что у студентов были «искаженные психологические рефлексы» и неправильное или ограниченное распознавание символов.

Важным ответвлением теории общей семантики стало «нейро-лингвистическое программирование» — НЛП. Во второй половине XX-го столетия НЛП стало крупным бизнесом, породив бесчисленные курсы самообучения, подготовленные организацией «Всестроннее НЛП». Однако опыт показал, что эта область не сулит лёгкого обогащения из-за явной сложности предмета. Впрочем, и сегодня весьма упрощённые курсы НЛП привлекают некоторое число желающих.

Главной идеей НЛП является виртуальное «репрограммирование» разума с целью сделать его способным воспринимать широкий спектр определений любого символа или предмета. Простой пример: человек, который привык всегда замечать только плохое, учится оценивать те же негативные явления с позитивной точки зрения. Этот подход, разумеется, используется всеми видами «самообучения».

В начале 1950-х годов Ван Вогт стал ярым сторонником дианетики — психологической системы «самоанализа», созданной коллегой-писателем, автором научной фантастики Роном Хаббардом. Ван Вогт считал, что его жена излечилась от рака с помощью этой системы и поэтому высоко ценил последнюю, хотя решительно не принимал её культового «отпрыска» — саентологию. Он открыл один из первых центров аудитирования в Лос Анджелесе и долгие годы был президентом Калифорнийской ассоциации аудиторов дианетики. Хаббард же совершенно не признавал влияния Коржибского на свои идеи, хотя важная роль теории общей семантики в становлении саентологии общепризнана.

Итак, является ли «нуль-А» действительно полезным инструментом познания и деятельности человека в окружающем нас мире?

Известный учёный-математик Мартин Гарднер в своей работе «Во имя науки» (Нью-Йорк, 1952 г.) писал, что Коржибский и его последователи — писатели-фантасты — постоянно атаковали аристотелево мышление, имея весьма слабое представление о нём.

Одни находят это наблюдение вполне обоснованным, считая, что во многих случаях ранние приверженцы общей семантики исходили из

ложных позиций. Другие же считают, что Гарднер не совсем верно понял Коржибского (см. “Dare To Inquire: Demarginalizing General Semantics,” http://www.newciv.org/nl/newslog.php/_v256/__show_article/_a000256-000003.htm).

Ван Вогт, например, воспринимал аристотелево мышление как основанное на примитивно-инстинктивном или «эмоциональном» отношении к ситуации и считал, что при принятии решений следует интегрировать это отношение с разумными функциями коры головного мозга, в чем он и видел суть мышления «нуль-А».

Никто не спорит, что не стоит импульсивно реагировать на ситуацию без тщательного обдумывания. Однако сегодня, спустя десятилетия после синкретических открытий новейшего времени, большинство исследователей эзотерики пришли к заключению, что более верным является как раз противоположное: наше мышление слишком долго и сильно зависело от рационального подхода и недостаточно руководствовалось интуитивно-эмоциональными способностями.

Общее понимание «мышления по Аристотелю», вопреки Коржибскому и Ван Вогту, является персонификацией логики и рассудка. Аристотелевский тип логического мышления рассматривался как главное свойство «мужского начала», полное доминирование которого в мире в последние тысячелетия привело к плачевному состоянию окружающей среды на нашей планете. Поэтому многие мыслители последнего времени призывают к интегрированию этого подхода с «женским началом» или принципом интуиции. Такое интегрирование помогло бы замедлить неуклонное истощение природных ресурсов и сгладить наши конфликтные наклонности.

Интегрированное мышление «нуль-А», учитывающее множество факторов, влияющих на любое единичное явление, в действительности очень похоже на холистический (целительный) подход, при котором якобы не связанные друг с другом противоположные дисциплины, например, такие как Ведическая йога и квантовая механика, синкретируются в одно целое, гораздо более объемное, чем сумма его составных частей.

Холизм стремится объединять и комбинировать все типы мышления. При этом подходе настоящие «чудеса», такие как сверхчеловеческие способности Гильберта Госсейна, становятся возможными. Этот подход требует применять «дисассоциативный принцип» общей семантики, чтобы исключить старые смыслы, привычно придаваемые нами определенным символам, и таким образом переконструировать все наше мировоззрение, состоящее из этих символов. На практическом уровне это сводится к «самовнушению»; например, нечто, казавшееся невозможным, может быть переосмыслено как возможное. Этому же учит и НЛП.

Утопическое общество на Венере, о котором поведал Ван Вогт, состояло только из людей, полностью интегрировавших способ мышления «нуль-А» в свою жизнь. В их мире не существовало лидерства и частной собственности на жизненно важные ресурсы, и люди выполняли свои функции, руководствуясь внутренней потребностью, а не в силу обстоятельств и не по чьей-то воле. Такова реализация «универсального здравомыслия» по Ван Вогту.

В своем очерке «А. Э. Ван Вогт и его анархическое здравомыслие» Джон Эндрюс упоминает, что взгляды Ван Вогта фактически делают его анархистом. Сам Ван Вогт был бы весьма удивлен этим выводом, поскольку в общем-то он придерживался консервативных для нашего времени взглядов на жизнь, — ведь он родился в 1912 году! Поэтому в упомянутом очерке он назван «неосознанным анархистом».

Но он и не представлял себе, сколь далеко идущими окажутся последствия его предвидений. Метод интегрального холистического мышления, учитывающий все превходящие факторы, сколь бы отдаленными друг от друга они ни казались, действительно способен создать мир, в котором каждый человек может мыслить совершенно самостоятельно и поэтому никакие руководители общества не нужны.

В соответствии с этим методом мы находим поддержку теории Ван Вогта в такой совершенно неожиданной для этого дискурса области как боевые искусства.

В работе «Изучение Тай Чи Чуань», которая рассматривает роль Тай Чи в контроле над стрессами и личным благосостоянием, (http://www.krapu4.com/taichi/research/SandlundandNorlander2000.htm) один из исследователей утверждает, что система упражнений Тай Чи вызывает *«ответную интегрированную гипоталамическую реакцию, т.е. кортико-таламическую паузу, которая ведет к ослаблению деятельности симпатической нервной системы и релаксирует скелетные мышцы, уменьшает кровяное давление и сужение зрачка и замедляет дыхание».* (Курсив автора статьи.)

Вероятно, люди, преуспевшие в Тай Чи, достигают того же психологического состояния, которое Ван Вогт считает необходимым для развития умственной деятельности. Эти люди приближаются к тем «сверхчеловеческим» способностям, которыми он наделяет своего героя Госсейна. Если мы желаем двигаться в том же направлении, тогда «нуль-А» может стать путём к достижению цели.

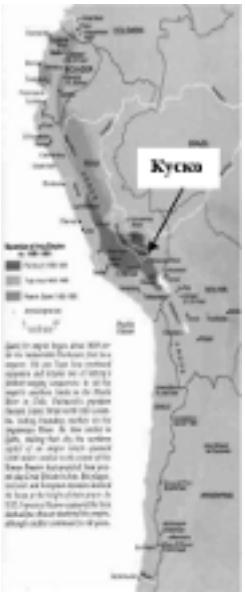
Ноябрь 2005 г.

Александр Трегуб

# ПО СЛЕДАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИНКОВ: ПЕРУАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Увлечение загадочной цивилизацией инков охватило мир в конце 19-начале 20 века, (начиная с экспедиции знаменитого естествоиспытателя Гумбольдта), в особенности, после "открытия" йельским профессором Хирамом Бингхамом знаменитого затерянного поселения инков Мачу Пичу. Сама история этого открытия читается как хороший детектив: Бингхам искал легендарный город Вилькабамба – последнюю столицу империи инков и последний оплот сопротивления испанским захватчикам, а в итоге нашел удивительный храмовый комплекс, ставший самой знаменитой эмблемой и наиболее узнаваемым местом Южной Америки и принесший Бингхаму прижизненную славу. Как сказал поэт по поводу другого незапланированого открытия: "По наитию/ дуешь к берегу, / ищешь Индию – /найдешь Америку". При этом до конца своих дней Бингхам ошибочно считал комплекс под вершиной Мачу Пичу последней столицей империи инков.

История возникновения и заката цивилизации инков полна загадок и неразрешенных вопросов. Инки были одним из незначительных многочисленных племен на территории современного Перу, обитавших в плодоносной области в районе города Куско. Приблизительно в 1438 году мощная цивилизация Чавин решила расширить свои владения и захватить землю инков. Племя инков было обречено, но, непонятно как, малочисленные инки во главе с императором Пачакутеком победили интервентов и, воодушевленные успехом, сами стали захватывать своих соседей на севере и юге вдоль гряды Андов и даже в непроходимых джунглях Амазонки. За каких-то 90 лет империя настолько расширилась, что ее территория простёрлась от современного Эквадора на севере до современной Чили на юге, 2500 миль в длину вдоль океана, и превратилась в могущественную и самую большую доколумбовскую империю в Южной Америке.




Карта Империи инков

В 1532 году 162 испанских конкистадора во главе с честолюбивым Франсиско Писарро прибыли в империю инков. Испанцы надеялись отыскать золото на обширной территории, заселённой дикими индейскими племенами, но совершенно неожиданно открыли высокоразвитую 10-миллионную империю инков с хорошо организованной 200-тысячной армией. Даже огромная армия инков не смутила авантюристов: близкая возможность невероятного обогащения оказалась сильнее страха. Конкистадорам удалось захватить в плен императора инков Атахуальпу, и они стали де-факто правителями империи. Через год Атахуальпа был казнен, и конкистадоры посадили на трон юного императора-марионетку Манко Инка. Повзрослев, Манко Инка понял, что единственная цель его испанских "благодетелей"– это грабеж сокровищ империи, и поднял восстание против захватчиков. Манко Инка удалось собрать огромную армию: 100 или 200 тысяч воинов инка осадили столицу Куско,– но, несмотря на огромное преимущество в численности, так и не сумели одолеть приблизительно 200 испанцев, их индейских союзников и африканских рабов.

До сих пор остается загадкой, как несколько сотен "самодеятельных" бандитов, без всякой финансовой или военной поддержки Испанской империи, сумели покорить многомиллионую цивилизацию в отдаленной Южной Америке – цивилизацию, оставившую после себя замечательные памятники архитектуры, сложные астрономические обсерватории и знаменитую систему разветвленных дорог-хайвеев.

Обычно приводятся следующие объяснения:

1. **Везение**. В 1532 году империя инков была значительно ослаблена гражданской войной за власть между двумя сыновьями умершего императора Хуяна Капака и эпидемией оспы, которую занесли

члены первой экспедиции Колумба.

2. **Опыт.** Писарро использовал успешную тактику захвата правителей империи, примененную несколькими годами ранее его земляком и дальним родственником Кортесом против империи ацтеков.

3. **Преимущество в военной технологии**. Несмотря на успехи в строительстве и знания астрономии, инки находились в своем развитии между каменным и бронзовым веками. Их каменные пращи и деревянные дубинки не могли противостоять стальным мечам, пикам и мушкетам испанцев. Испанская кавалерия для инков, никогда прежде не видевших лошадей, была самым страшным оружием, сравнимым со слонами Ганнибала в сражении против римлян, или с танками против пехоты в Первой мировой войне. Несколько испанских конников могли разгромить многосотенные или даже тысячные отряды инков.

4. **Передача информации**. У инков не было письменности; для ограниченной записи информации использовалась сложная система узелков на веревках. Это существенно ограничивало эффективную передачу военных приказов в армии инков. Испанцы же могли пользоваться современной письменностью, хотя многие конкистадоры и были безграмотны.

5. **Отношение к инкам местных племен**. Для местных племен инки были такими же завоевателями, как для инков – испанцы. Местное население часто переходило на сторону испанцев, надеясь на избавление от ига инков (историческая ошибка, поскольку правление испанских колонизаторов оказалось гораздо более жестоким, чем власть империи инков).

Для настоящего исследователя – а, тем более, исследователя знаменитой цивилизации инков – научный поиск никогда не заканчивается; ведь многие загадки инков и предшествующих им цивилизаций все еще не расшифрованы, не все руины городов и крепостей еще найдены. Поэтому от каждого путешествия по стране инков можно ожидать чего-то нового.

Мы представляем уважаемым читателям наш научный вклад в доказательство двух важных теорий: местонахождения легендарной последней столицы инков Вилькабамба и предназначения знаменитого поселения Мачу Пичу.

Разумеется, наш научный вклад в историю Перу этим не ограничивается: например, мы провели детальное исследование, подкрепленное многочисленными экспериментальными фактами, знаменитой перуанской кухни, в ходе которого нам удалось завладеть тщательно охраняемым секретом приготовления коктейля "писко сауэр" и даже вывезти для детального исследования в лабораторных условиях лучшие образцы вино-водочного искусства местных племен: напиток "чича" и вино "Пикасса".

Другое важное исследование позволило экспериментально установить точную связь между количеством листьев коки, временем их жевания и сопротивляемостью горной болезни в горах Перу. Исследование показало, что кока от горнячки помогает, но не сильно, а для хорошего кайфа ее нужно гораздо больше, чем использованное в эксперименте количество.

**Загадка номер 1. Существовала ли легендарная Вилькабамба, последняя столица империи инков? Могли ли инки выжить в джунглях?**

Мы начали свое путешествие с Амазонских джунглей. Почему с джунглей? Согласно испанским хроникам, легендарная Вилькабамба находилась в непроходимых джунглях, приблизительно в ста милях от знаменитой столицы Куско. Именно там скрывались и руководили партизанской войной против испанцев восставший император Манко Инка и, впоследствии, его сыновья – Титу Куси и Тупак Амару – последний император инков. Но могли ли инки, привыкшие к лучшим условиям жизни у себя в Андах, акклиматизироваться в джунглях? Ведь только местные индейские племена Антис были приспособлены к обитанию в джунглях. Жизнь в джунглях была непроста: по слухам, неосторожного путника подстерегали огромные ядовитые змеи, хищные ягуары, агрессивные кайманы и неприятные рыбки пираньи – если очень уж захочется искупаться в Амазонке. К этому можно добавить всякую мелочь, как, например, ядовитых пауков, тарантулов, москитов и прочую мошкару, залезающую внутрь и питающуюся человеческим мясом.

Наше путешествие в джунгли должно было доказать – или опровергнуть – возможность выживания в них неприспособленного человека. Мы сделали все известные современной медицине прививки против москитов и заразы, запаслись перочинными ножами на случай нападения ягуаров (к сожалению, конфискованными во время осмотра на посадку в самолет), фонарем для обнаружения в кромешной тьме джунглей агрессивных пауков и отложили в запасной багаж купальные костюмы, во избежание искушения искупаться в местном озере или Амазонке. К сожалению, мы ничего не знали о жутких криках и стонах черных обезьян-“пауков”, в свое время очень напугавших конкистадоров, посланных в джунгли для уничтожения восставших инков, и не захватили с собой затычки для ушей.

Путешествие в глубину джунглей началось с часовой поездки в моторной лодке по желтой,

**Кайман: скрывается в водах озера Тамболата**

цвета глиняных отложений, Амазонке, вдоль зарослей джунглей, мимо длинного красного моста, соединяющего Перу и Бразилию. Высадившись из моторки, мы углубились в джунгли, по когда-то бойкой, а ныне заброшенной дороге. Минут через 45 мы достигли озера Тамболата, на противоположном берегу которого находилось бунгало. Именно это, удаленное от цивилизации место, было выбрано для нашего научного эксперимента. Внимательное изучение озера и окрестных зарослей выявило большую популяцию москитов, кайманов и пираньи, разнообразных птиц, а также пары очень красивых попугаев, одного паука, одного настоящего паука

**Маленькая рыбка пиранья**

**Стая пираньей накидывается на неосторожных пловцов, откусывая по маленькому кусочку от жертвы.**
**Но люди в долгу не остаются: рыбаки в Амазонских джунглях ловят пиранью – она хороша в вяленом или засушенном виде.**
**Интересный вопрос: откусила ли эта рыбка когда-то кусочек пловца перед тем, как ее поймали?**

бобрового семейства, одной дружелюбной обезьяны-устрашающего вида, а также редкого и ценного муравьеда; в свое время, индейцы, покоренные инками, преподнесли муравьеда в подарок императору Пачакутеку, для налаживания дипломатических контактов.

Наше 2-дневное пребывание в джунглях неоспоримо доказало, что человек, особенно в хороших условиях бунгало и при усиленном питании продуктами знаменитой перуанской кухни действительно может выжить в самой глубине непроходимых джунглей. Таким образом, горножители инки могли, подобно нам, приспособиться к непростой жизни в джунглях, и последние сомнения в том, что Вилькабамба действительно являлась той самой затерянной столицей инков, были рассеяны.

**Загадка номер 2. Мачу Пичу: крепость, храм, обсерватория?**

Мачу Пичу была "открыта" в Андских горах в 1921 году молодым Йельским профессором Хирамом Бингхамом. “Открыта” в кавычках, потому что загадочные руины были известны местным жителям задолго то того, как там побывал Бингхам. Рядом с руинами проживала индейская семья фермеров, а сами руины посещались путешественниками задолго до экспедиции Бингхама. Но семье фермеров, как и перуанским властям в начале 20 века, было не до инкских развалин, так что официальные экспедиции по изучению Мачу Пичу никто в Перу не организовывал. Местный губернатор выделил в помощь американской экспедиции жандарма и

**Эти симпатичные цаплеобразные охотятся на детенышей кайманов в прибрежных водах.**
**А взрослые кайманы охотятся на них, как только видят их в прибрежных водах.**
**Хороший пример диалектики жизни.**

проводника, и вклад властей в изучении истории

инков этим ограничился. Интересно, что Бингхам впервые услышал о загадочных руинах от другого американского профессора, преподававшего историю в Университете города Куско. Последний вполне мог бы организовать собственную экспедицию и прославиться как "первооткрыватель" Мачу Пичу, но он был слишком занят "более" серьезной насущной работой, чтобы терять время на сомнительные походы по горам. (Это немедленно напоминает нам о знаменитой мантре Стива Джобса – умению сфокусироваться на главном). К счастью, Бингхам сфокусировался на правильной цели, и после нескольких дней не слишком уж сложного перехода местный проводник привел экспедицию к дому фермеров в горах, а мальчик, сын фермера, показал Бингхаму дорогу к руинам.

**На языке кечуа, Мачу Пичу означает "Старая Гора". Так называется пик перед поселением (не показан на снимке). Пик на заднем плане называется Вайна Пичу – Молодая Гора. Вайна Пичу представлена на всех знаменитых видах Мачу Пичу.**

Глазам Бингхама предстали прекрасно сохранившиеся каменные стены жилых домов, крепостей и храмов. Это выглядело необычно, поскольку испанцы беспощадно разрушали все строения инков, в особенности, их храмы – чтобы истребить у покоренного населения память о еретическом идолопоклонстве и привить народу правильную католическую религию.

Целью экспедиции Бингхама был поиск загадочной последней столицы инков в изгнании – Вилькабамба, по всем данным, расположенную где-то в джунглях. Хотя Мачу Пичу находилась не в джунглях, а совсем наоборот, – в горах, на высоте 2450 метров, в совершенно уединенном и труднодоступном месте, напористый ученый сумел убедить себя, а заодно и все научные авторитеты, что Мачу Пичу и есть та самая потерянная Вилька-

**Каменные стены построек в Мачу Пичу сохранились, а крыши исчезли.**

бамба. Упорство Бингхама оказалось сильнее, чем его научные знания, а также чем его научная этика, поскольку для доказательства своей теории ученому пришлось пожертвовать парочкой упрямых фактов. Но зато эта напористость впоследствии очень помогла ему избраться американским сенатором. Только через много лет после смерти авторитета версия Бингхама стала подвергаться критике, и, в конце концов, была полностью опровергнута находкой настоящей Вилькабамбы в Амазонских джунглях. Но если Мачу Пичу не была столицей инков в изгнании, – чем же являлось для инков уединенное поселение в труднодоступных горах?

Для выяснения этой загадки мы и организовали свою собственную экспедицию по изучению Мачу Пичу. В целях экономии времени и необходимости сосредоточиться на главном было решено подниматься к развалинам не по традиционной тропе инков (4 дня пути), а избрать более экзотический путь: поездом до поселка Аква Калиенте, а оттуда автобусом до цели путешествия.

Уже в автобусе по дороге в Мачу Пичу мы расшифровали происхождение названия поселения. Руины расположены напротив горного пика "Старая гора", или Мачу Пичу, на языке инков-кечуа. К сожалению, оригинальное назание поселка не сохранилось.

Несколько минут пути пешком в гору от остановки автобуса, – и перед глазами путешественников открывается совершенно удивительное зрелище: превосходно сохранившиеся каменные стены строений инков в небольшой долине на высоте 2450 метров, окруженные по периметру величественными пиками, горные хребты на дальнем плане, ослепительно голубое небо высоко в центре, и быстрая река далеко внизу в долине Урубамба,–

**Камень в Мачу Пичу воспроизводит очертания гор.**

идеальное место для того, чтобы уединиться с природой и проникнуться величественным духом гор. А горы считались очень важным божеством в религии инков: не случайно огромный камень в Мачу Пичу в точности воспроизводит рельеф горы на заднем плане. В культуре инков и им предшествующих племен также считалось очень модным формировать черепа детей в форме величественных и особо уважаемых пиков. Например, если какое-либо племя жило напротив двуглавого вулкана, двугорбые черепа значительно повышали sex appeal местной индейской молодежи.

Поселок окружен знаменитыми террасами на склонах гор, которые традиционно использовались инками и им предшествующими цивилизациями для выращивания зерна и многочисленных сортов картофеля.

**Сельскохозяйственные террасы: Почва до сих пор плодоносит!**

Вход в поселок был защищен открывающимися воротами на квази-блоках, продолговатых камнях округлой формы; цивилизация инков еще не изобрела колеса или попросту не внедрила колеса в строительство, хотя и использовала их для детских игрушек. Здания были построены в знаменитом "императорском" стиле, внедренном императором Пачакутеком, основателем обширной империи инков. Каменные стены Мачу Пичу были сложены из огромных камней, настолько точно обтесанных, что соседние глыбы идеально "подгонялись" друг к другу, так что цемент для скрепления камней не требовался. Такая техника не только придавала строениям величественный вид, но и повышала устойчивость зданий к частым землетрясениям, благодаря небольшим зазорам между соседними камнями в постройках.

Мачу Пичу полна загадок, которые нам предстояло разрешить: почему каменные стены были сохранены в первозданном виде, в то время как строения инков по всей стране были разрушены испанцами; почему не сохранилась ни одна из крыш зданий (трудно представить, что инки жили в стенах под открытым небом, как эскимосы в юртах); как появилась плодоносная почва на сельскохозяйственных террасах в горах на высоте 2450 метров; какова была цель странного, отдельно стоящего камня Интичуатана с небольшим каменным столбиком на нем; каково было назначение построек разных типов в поселке; почему золото и другие сокровища никогда не были найдены в Мачу Пичу; и главное, кто жил в этом странном труднодоступном поселке высоко в горах, отделенном от всех остальных городов империи инков непроходимыми горными тропами, и зачем он был построен? Мачу Пичу не могла быть крепостью-форпостом для защиты новых владений инков от местных покоренных племен – никто не жил в этих отдаленных горах; она не могла также быть перевалочным пунтом для военных или промышленных экспедиций – ни одна дорога не проходила через Мачу Пичу.

Как всегда, наша экспедиция добилась полного успеха в разрешении всех задач, и мы представляем уважаемым читателям наши ответы, в порядке очередности. Итак,

1. Поселок был сохранен почти в первозданном виде, потому что испанцам не удалось добраться до Мачу Пичу – поселок был слишком удален от главного театра военных экспедиций испанцев, и о нем мало кто знал;

2. Инки строили дома из камня, но для крыш использовали деревья и растения, поэтому крыши построек не сохранились. Только позднее, уже под влиянием испанцев, в последней столице инков Вилькабамба инки внедрили черепицы для покрытия крыш;

3. Плодоносную (до сих пор!) почву, как и деревья для крыш, инки доставляли из долины

реки Урубамба на своих трудолюбивах ламах. Единственным утешением для бедных лам было ограничение веса поклажи 25-ю килограммами. Никто не знает, почему именно 25 кг считалось подходящим весом, но цифра оказалась настолько точной, что до сих пор используется ведущей Перуанской авиакомпанией LAN как лимит веса багажа на одного пассажира;

4. Камень Интичуатана был горной обсерваторией инков и использовался как точный индикатор даты двух равноденствий: в полдень 21 марта и 21 сентября солнце как бы "опирается" прямо на столбик, не отбрасывая тень – в это время инки проводили важные религиозные церемонии. Кроме того, камень Интичуатана определял время летнего солнцестоянием в южном полушарии. Астрономические знания инков были поистине удивительны для того времени; к сожалению, военная технология находилась на уровне каменного века, а передовые достижения в астрономии были не слишком большим подспорьем для противостояния испанской военной машине;

**Камень Интичуатана: обсерватория инков. Столбик-индикатор равноденствия: Тени нет – начинай религиозную церемонию.**

5. Никто в точности не знает предназначения построек разной архитектуры в небольшом городе, но, сравнивая их с постройками инков в других местах империи, можно определить, что среди них были дворцы для знати – скорее всего, для самого императора, религиозные храмы, обсерватории и жилые дома для простолюдинов и крестьян;

6. Золото никогда не было обнаружено в Мачу Пичу, потому что, скорее всего, жители покинули город, узнав о вторжении испанцев и унесли сокровища с собой.

Но кто же жил в Мачу Пичу, и для каких целей был построен этот город? Для тех из нас, кто был предыдущим или действующим Президентом США, и даже для тех из нас, кто никогда не был президентом, но у кого была в прошлой или настоящей жизни личная дача, ответ на этот вопрос удивительно прост. Мачу Пичу для инкских императоров была тем, чем для президентов Америки является Martha Vineyard – летней дачей, местом, куда можно удалиться на время, позабыть о насущных заботах, уединиться с величественной природой, предаться мыслям о возвышенном. Императоров сопровождали жены, высокопоставленные жрецы, элитные молодые девушки, избранные для служению богам инков, личная обслуга и другие лица, необходимые для полного и совершенного уединения. Крестьяне, по всей видимости, проживали и работали часть времени в своих деревнях, а остальную часть времени в Мачу Пичу, выплачивая свой налог государству. (В Империи инков налог выплачивался натуральной работой, что имело свои преимущества: во первых, инкам не надо было каждый год колдовать над сложной системой узелков на своих веревках, чтобы вовремя, не позднее Дня солнечного противостояния в южном полушарии, подготовить свою налоговую декларацию, а, во-вторых, в Империи не было национальных дискуссий о различных уровнях налогоообложения на доходы от выведения новых пород лам и на прибыль от производства знаменитых инкских вышивок). Мачу Пичу не было в полном смысле постоянным поселением – население привыкло к мобильности и, когда весть о незванных и опасных гостях пришла в Мачу Пичу, его временные жители покинули город, унеся с собой все ценности и тайну загадочного города в горах.

В целом, со своими задачами экспедиция справилась:

основные загадки истории империи инков были разгаданы;

перуанское золото было найдено – в женских отделах ювелирных магазинов – и тут же приобретено для легального вывоза за пределы Инкской империи;

отчет о нашем исследовании подготовлен и представлен на суд уважаемых читателей.

Инна Трегуб

# ПРОГУЛКА

Ну почему, отправляясь даже в небольшое путешествие по окрестностям, мы обязательно берем с собой походные палки? Печально смотрю, как муж засовывает в багажник четыре палки, с которыми мы ходим в горы. Наши палки – последнее слово инженерной мысли, прекрасны по форме и содержанию. Их можно сложить и спрятать в багажник. В нужный момент их можно выдвинуть и даже подогнать по росту. Две пониже будут для меня. Такие палки не позволят праздно читать книгу и дышать морским воздухом. С ними не станешь лениво прогуливаться по побережью вдоль Монтерея, куда мы отправляемся на июльские праздники. Палки требуют восхождения хоть на какой-нибудь склон. Сегодня мы хотим пройти по Sobratos trail (Garrapatas Canyon), расположенным чуть севернее Big Sur, и подняться на вершину горы. Эти места мы «открыли» три года назад, когда отмечали в Кармеле мой переход на новую работу.

При смене работ бывает короткий, но очень приятный промежуток времени, когда уже оговорены условия, подписан контракт, но сама служба, с разочарованиями и унижениями, еще не началась. Я утверждаю это с полным знанием дела. За семь лет жизни в Силиконовой долине я меняю работу уже в пятый раз и не всегда по собственной воле. Особенно жалко было, когда закрылась первая компания, OSRAM San Jose. Владела ею большая немецкая фирма, OSRAM – SYLVANIA, поэтому, учитывая немецкий стиль, можно было ожидать стабильности. Однако, ровно через год после начала моей работы там всех сотрудников позвали на экстренное собрание. Точнее, это были два собрания, которые проходили одновременно в двух комнатах. Нам сообщили, что компания закрывается (немецкому работодателю надоело вкладывать деньги в убыточный проект). Всем, находившимся в первой группе, и мне в том числе, надлежало покинть OSRAM до конца дня. Второй группе повезло больше. Входившие в нее люди могли быть трудоустроены еще три месяца, паковать оборудование для отсылки в Германию и Малайзию, получать зарплату и искать новое место. Но, в конце концов, работа должна была закончиться и для них. Спустя четыре месяца после увольнения меня наняли в первый из моих стартапов. Я была рада, так как в то время еще находила в стартапах определенную романтику. Правда, нанявшая меня компания не пользовалась хорошей репутацией в Силиконовой долине, так как не имела четкого плана и часто меняла тематику. Только за несколько месяцев моей работы проект там поменяли дважды, а потом компания и вовсе самоликвидировалась, чтобы вскоре воскреснуть под другим именем и с другой тематикой. А мне опять пришлось искать работу, и я получила ее удивительно быстро, за месяц, хотя удачей это ни в коей мере не являлось. Моим следующим стартапом владели тайванские фирмы, руководил ею тайванский китаец, работали в основном тоже китайцы. Только два человека (включая меня) не владели мандарин, поэтому к нам иногда обращались по-английски, чтобы поругать или потребовать. Справедливости ради надо сказать, что и китайским инженерам там приходилось несладко. Я продержалась у них около шести месяцев и впервые в жизни уволилась, не потрудившись даже поискать другую работу. Впрочем, она быстро нашлась, как по волшебству: меня наняли в мой третий по счету среднестатистический стартап (см. «Office space»), где я проработала два года. В конце 2009 в разгар рецессии молодому стартапу в Менло Парке отчаянно понадобился химик с моей квалификацией, и меня уговорили перейти туда. Работа казалась интересной, условия хорошими, а факт, что других химиков там еще не было, давал мне возможность организовать

проект так, как я считала правильным. В остальном следовало уповать на удачу.

Зная по опыту, что временем между работами надо насладиться сполна, я позволила себе пятидневный отпуск, и мы с мужем поехали в Кармель. Несмотря на середину января по календарю, стояла необыкновенно сухая, жаркая, не зимняя погода, а цены на гостиницы в Carmel-by-the-Sea были зимние и на удивление низкие – чувствовалась рецессия.

Наш «B&B» находился в пяти минутах от пляжа. Можно было бы днем бродить вдоль берега, любоваться красотами, а вечером, после вкусного обеда в хорошем ресторане, сидеть у камина с рюмкой портвейна, книгой или компьютером. Но палки требовали внимания. Поэтому уже на второй день нашего отдыха мы запарковали машину около небольшого проема между двумя скалами, извлекли палки и пошли на разведку. Мы оказались в красивейшем заповеднике: ручей, равнина, роща, и, конечно, гора, на которую можно и нужно подняться. Карта-схема предлагала кольцевой маршрут. Лучше было идти против часовой стрелки: пересечь рощу, затем по не очень крутой тропе подняться на одну из вершин, потом по гребню обогнуть гору и начать довольно крутой спуск. При спуске почти сразу открывался вид на океан. По ошибке или недопониманию мы прошли кольцо по часовой стрелке: крутой подъем спиной к океану, гребень, пологий спуск и тропинка через лес вдоль ручья. Было умеренно жарко, подъем занял около двух-трех часов и был вполне по силам.

Теперь, через два с половиной года, мы вернулись в каньон и намерены повторить восхождение, только теперь уже, как положено, против часовой стрелки: роща, не очень крутой подъем на гребень, спуск с видом на море. Однако из-за дождей лесная часть тропы закрыта, и нам предстоят крутой подъем и крутой спуск. Место действия – Sobratos Trail, время – начало июля 2011 года, канун дня Независимости. Наше преимущество, по сравнению с прошлым «восхождением» в том, что место уже знакомо. К минусам можно отнести жаркий июль вместо жаркого января, а также оставленные позади два с половиной года, срок совершенно незначительный для гор и океанского побережья, но очень существенный для человеческой жизни, здоровья и выносливости. Да и заботы, и тревоги наши были тогда другими.

Два с половиной года назад я все еще была полна мыслями о своей бывшей работе. Испытывала некоторое чувство вины по отношению к двум женщинам, с которыми работала в одной упряжке – «модуле», беспокоилась, как они справятся без меня. (Справились, незаменимых людей нет, но, правда, довольно долго жаловались). Спрашивала себя, не меняю ли я шило на швайку, одну сомнительную работу на другую.

Однако интуиция меня не подвела, мне подошла новая компания, а я – ей. Мне не трепали нервы и оставляли время на другие жизненные аспекты. Правда за прошедшее время новая компания успела вырасти из интересного веселого молодого коллектива, где я была десятым сотрудником, в неповоротливую, с непропорционально сильной бюрократией компанию средней величины, но обстановка пока еще терпимая.

И, главное, два года назад еще жива была мама, и ничто не предвещало ее страшной болезни. У нее был очень незаурядный и нетронутый старостью ум, неплохое здоровье, и не так давно появившееся желание получать удовольствие от жизни. Могла еще жить и жить: ее поколение держится дольше.

Примерно такие мысли приходят в голову, пока мы медленно приближаемся к площадке, с которой начинается подъем. Хотя еще только десять утра, над головой палящее солнце, в небе ни облачка, полное безветрие. С горы уже спускаются длинноногие спортивные женщины и поджарые мужчины, разумно начавшие восхождение задолго до восхода солнца. Муж риторически спрашивает, почему мы всегда выходим так поздно, и, не дожидаясь ответа, включает MP3 player и надевает наушники. Я все же некоторое время раздумываю над его вопросом. Ведь знали, что будет жарко, и даже собирались встать пораньше, но «получилось, как всегда». В принципе, десять утра не так уже поздно, но не для жаркого калифорнийского июля. Наверное, я невольно оттягивала, как могла, момент, когда надо взять в руки палки и начинать подъем, невольно надеялась на какой-нибудь гром с ясного неба. (Американцы называют такое поведение «passive-aggressive»). Я решаю поберечь силы и не тратить их на объяснения. Да и муж уже давно погрузился то ли в «Кумранские рукописи» из “Teaching company”, то ли в новую главу из «Экономиста». Он худой, подтянутый и очень спортивный. Бегает марафоны, каждый

день упражняется на тренажерах, поднимался на Шасту. Наше восхождение для него не представляет никакого труда. Если бы я его не задерживала, он был бы уже далеко впереди. А я пыхчу рядом и испытываю чувство вины за каждую приобретенную калорию, за свою любовь к еде и нелюбовь к занятиям спортом.

Спускающаяся навстречу стройная и атлетическая женщина, Miss Addidas – шорты, майка, кепка, горные ботинки, кошелек-пояс, фляга с водой, длинные ноги, – скептически осматривает мою неспортивную фигуру и неправильную одежду – старую блузку и брюки-хакки. Вообще я люблю покупать новую одежду, но не для занятий спортом, – как говорила бабушка: «Не в коня корм». Спецодежде из REI не изменить мое неспортивное существо. Miss Addidas настолько любезна, что останавливается только для того, чтобы посоветовать мне найти какой-нибудь более легкий маршрут, например, погулять в роще. «Вы отдаете себе отчет, куда лезете?» Я лопочу, что поднималась туда несколько лет назад, но сама понимаю, как неубедительно это звучит. Она скептически качает головой, пожимает плечами, презрительно цедит: «Good luck», – и продолжает спуск. А я, морально уничтоженная, подъем.

Невзирая на этот огорчительный эпизод, мне нравится останавливаться и беседовать с людьми, спускающимися навстречу. Обычно разговор сводится к вопросу, дошли ли они до вершины, и как далеко она от места, где мы сейчас находимся. Они с удовольствием описывают свое восхождение, а потом в поддержку говорят, что вот уже недолго осталось до скамейки, расположенной на первой площадке, от которой начинается сужение тропы и переход на следующий гребень.

Муж ехидно замечает, что я задаю этот вопрос с частотой примерно каждые 5 минут, и было бы лучше, если бы я просто двигалась вперед. Легко ему говорить. Но как невероятно тяжело дается каждый шаг! Наверное, я изначально взяла неправильный, слишком быстрый, темп. А ведь ползу «черепашьим шагом, медленней улитки…».

Трудно поверить, но когда-то, давным-давно, я любила горный туризм. Летом 1979 после окончания университета я даже участвовала в двухнедельном походе по Алтаю. Поход был некатегорийный, но все-таки технически намного сложнее того, что я делаю сейчас. К тому же надо было нести тяжелый рюкзак; так как у нас не было базового лагеря, мы шли из пункта «А» в пункт «В» и все пожитки, еду, палатки тащили на себе. Несмотря на это и подъемы, и длинные переходы были вполне по силам.

Через год было еще одно «походное» лето, уже на Кавказе, – наше свадебное путешествие в турлагерь Киевского политехнического института (КПИ) «Глобус». Путевки туда раздобыл мой свекор, работавший в то время в Министерстве Высшего Образования. У «Глобуса» была хорошая репутация среди горных туристов, пребывание там приравнивалось к походу второй категории. Муж был полон энтузиазма. Два месяца назад он провел свой последний «холостой» отпуск в альплагере, и ему не терпелось применить приобретенные там знания. Я же, напротив, очень нервничала, ведь единственный в моей жизни алтайский поход не был категорийным. (Учитывая все перевалы, переправы и переходы, которые мы преодолели за три недели, я думаю, что его до нас никто не проходил или не потрудился категоризовать.)

Но все получилось очень удачно. В «Глобусе» нам предложили присоединиться к группе преподавателей и сотрудников, приехавших незадолго до нас. К моей несказанной радости среди них были родители моей давней подруги, Лены Фиалковой, которых я знала всю жизнь и очень любила. Оба были химики и учились с моей мамой на одном курсе. Светлана Георгиевна работала на кафедре аналитической химии у нас на химфаке и ко мне относилась по-матерински. Юрий Яковлевич, отец Лены, талантливый, блестящий, остроумный, во время описываемых событий заведовал кафедрой физической химии в КПИ. Сын академика, профессор, доктор наук, будущий член-корр. Украинской Академии Наук, он был необыкновенно разносторонним человеком. Писал книги для детей, популяризировал химию, любил и знал музыку, собрал богатую коллекцию пластинок музыкальной классики, дружил с интересными людьми. Горы были одним из его увлечений.

Конечно, мы немедленно присоединились к группе преподавателей. Кроме семьи Фиалковых туда входила немолодая, но очень спортивная супружеская пара партийных функционеров -электрохимиков с той же кафедры физхимии КПИ и две не имеющие отношения к КПИ дамы, сотрудницы Института общей и неорганической химии (ИОНХа). По странному совпадению под началом одной из дам работал мой однокурсник,

муж моей хорошей подруги. Если Киев – большая деревня, что можно сказать о Киеве химическом? Наверное, это большая семья, где все состоят в каком-то родстве…

Для меня это так и в переносном, и в прямом смысле. Я выросла в семье химиков, вернее химичек, где профессия передавалась по женской линии в трех поколениях, начиная от бабушки. Она училась в Днепропетровске в послереволюционные годы, привлекшие в науку бывших красногвардейцев и местечковых евреев, компенсирующих недостаточное школьное образование жаждой знаний и стремлением выйти в люди. С первого же курса бабушка участвовала в научном кружке Писсаржевского, выдающегося украинского ученого и педагога, пользовавшегося особой любовью студентов. Он был для них не просто преподавателем; в те голодные и неспокойные годы он был для них ментором, воспитателем, а для некоторых и отцом. Когда Писсаржевскому поручили сформировать и возглавить первый на Украине институт физической химии, его ученики, абсолютно ему преданные, пошли за ним. От бабушки я слышала много рассказов о том, как создавался Институт, где она проработала с первого дня и до самой пенсии. Когда-то давно она была самой молодой его сотрудницей, потом, уже на моей памяти, старейшей и всегда очень любимой. Я выросла на ее историях о выдающихся открытиях и необыкновенных талантливых людях, стоявших за ними. В бабушкиных рассказах наука и романтика были нераздельны, и я и по сей день ценю талант в науке выше всех других талантов. После войны Институт перевели в Киев, где мама доучивалась в школе, а потом, по следам бабушки, поступила на химфак университета. На ее молодость выпало дело еврейских врачей и годы разнузданного антисемитизма. На смену романтикам пришли конъюнктурщики, потянувшиеся в науку за хорошей зарплатой и спокойной жизнью. Партийный билет и правильное происхождение ценились выше, чем «искра божия». Наверное, поэтому трудовая жизнь моей очень талантливой, но недостаточно гибкой матери проходила, в основном, в борьбе за выживание. (Так мне, во всяком случае, казалось.) А жаль, ведь среди наших женщин-химиков она была самая способная.

Мы с сестрой тоже заканчивали химфак КГУ, об этом позаботился Институт. Мои однокурсники, как и все наше поколение, были циничны, ни во что не верили, и над всем смеялись. В наши дни карьера кандидата наук не сулила ни денег, ни места под солнцем, и мы надеялись «урвать» что и где удастся, не заботясь о высоких материях. Но выросшая на бабушкиных рассказах, я в глубине души не представляла себе другой жизни, чем трудиться для науки и гореть на ее огне.

Спасибо химфаку КГУ. Мы с сестрой и в Америке продолжаем работать в химии, которая нас по-прежнему кормит и поит, – не понадобилось ни доучиваться, ни менять профессию. К сожалению, на нас химическая линия прервалась, дети предпочли другие профессии. То ли учили их в Америке по-другому, то ли зажечь химическую искру было некому.

Но вернемся в «Глобус». К нашей химической группе вскоре присоединился мастер спорта по альпинизму, приехавший то ли скоротать время между двумя сложными восхождениями, то ли по личным соображениям. Он не был ни химиком, ни сотрудником КПИ, но, как оказалось, коротко знал одну из ионховских дам. Чтобы как-то выделиться и выразить свое пренебрежение к нашей горной возне, он хоть и ходил с нами на восхождения, но принципиально только… в шлепанцах.

Две недели в составе химической группы, усиленной мастером спорта по альпинизму, пролетели незаметно. Мы отправлялись в радиальные однодневные или двухдневные походы к красивым озерам и водопадам. Не помню, чтобы я испытывала какие-то затруднения или замедляла общий темп. Молодость и выносливость компенсировали недостаток специальной тренировки.

Как-то наша группа дежурила по столовой. Нам выдали тощих и синих мороженых кур. Светлана Георгиевна сказала, что, как молодой хозяйке, мне обязательно надо уметь разделывать кур, и она лично собирается обучить меня этому мастерству. Под ее руководством я овладела искусством разделывания кур, как говорят американцы, «from scratch» (выдрать перья, отрезать головы и лапы, присмолить над огнем, вынуть и вымыть потроха, и, наконец, разделить на части – на котлеты, жаркое и бульон). Впоследствии эти знания мне очень пригодились, и я с большой теплотой вспоминала Светлану Георгиевну, расчленяя очередную «синюю птицу». К сожалению или к счастью, мне уже некому передать это искусство. Оно уйдет в прошлое с моим поколением.

Даже после долгой варки мясо старых кур было жестким и невкусным. Юрий Яковлевич пошутил, что, по-видимому, эти куры были членами куриного политбюро, а Светлана Георгиевна громко прошептала ему, что в нашем коллективе находится парторг кафедры. Но парторг смеялся со всеми – было лето 1980 года. Так, синими курами-членами политбюро и шлепанцами альпиниста запомнился мне «Глобус».

Когда подошло время покидать «Глобус», мы решили идти в Сухуми через перевал. Дорога туда была исхоженная, несложная и проторенная многими поколениями туристов, ее можно было пройти за несколько часов, но мы с нее почему-то сбились и сделали то, о чем нас предостерегали – пошли в направлении ложного перевала. Медовый месяц мог закончиться очень печально. Этот эпизод меня очень напугал и послужил предлогом больше не ходить в серьезные походы и не полагаться на мужа в выборе тропы. Я и теперь волнуюсь, если иду с с ним по незнакомому маршруту и не вижу поблизости других туристов. Да и желание потеть под рюкзаком и ночевать в палатке с годами полностью пропало.

А вот у моей сестры все произошло наоборот. Она, быстрая, худая, длинноногая, «заболела» горами уже в Америке, когда выросли дети, сдохла собака и появилось свободное время. В Южной Калифорнии нет ни одной серьезной горы, куда бы она не взобралась. Я очень люблю свою сестру, но только не во время подъема на гору, темп сестры я не выдерживаю. Устав от моего отставания и просьб идти немного помедленнее, она обычно убегает вперед, сказав, что будет ждать меня не вершине. Если мы идем группой, за ней немедленно убегают мужчины, в которых просыпается самолюбие, а неспортивные жены медленно бредут, как умеют. Я избегаю ходить с ней даже на небольшие холмы. Мне кажется, она берет неосознанный реванш за наши не всегда безоблачные отношения в далеком детстве.

Все-таки жаль, что не встала раньше и не сократила время завтрака. К полудню, когда солнце в зените, мы едва прошли половину пути. Вина моя – я медленно иду и часто останавливаюсь. Мне так тяжело и плохо, что я серьезно раздумываю, не развернуться ли и пойти обратно. К моему удивлению, муж не говорит мне привычного: «Осталось уже немного» и «Ты совсем вышла из формы». Вместо этого, он равнодушно замечает, что если мне так трудно, мы можем возвращаться. Его ответ меня по-настоящему огорчает, наверное, муж уже настолько во мне разуверился, что перестал меня поддерживать. Справедливости ради, при всей моей неспортивности и других недостатках, я редко возвращаюсь с полдороги, хоть и медленно и мучительно, но достигаю цели. Я понимаю, что, если я сейчас допущу слабость и вернусь, это будет поражением, отступлением перед возрастом и признанием того, что я потеряла форму. Некоторая доля самоуважения будет утрачена. И я заставляю себе идти вперед.

Помогает мысленно разбить маршрут на маленькие кусочки и ставить маленькие цели. Дойти вот до того камня, потом до куста, ветки, высохшей травки. Полезно думать о чем-нибудь мотивирующем. В старших классах мой сын занимался бегом на длинные дистанции и croscountry. Он входил в сборную и учавствовал во всех серьезных соревнованиях за свою школу. Командой по бегу гордился весь наш небольшой спальный городок в Южной Калифорнии с поэтическим названием Oak Park. Сын бегал за сборную три года и постепенно переместился из запасного участника в лидеры. За эти годы его команда занимала последовательно третье и второе места на чемпионате Калифорнии, а потом даже выиграла чемпионат. Сын не был самым талантливым из семи мальчиков, завоевавших титул чемпионов Калифорнии, там были более способные бегуны, показывавшие в удачные дни лучшие результаты. Сын был самым надежным. На него, казалось, не действовали ни погода, ни недосып, ни состояние здоровья. Он выводил команду вперед и, если у официального первого номера выдавался «плохой день», он, случалось, и финишировал первым в своей команде. Я не удивляюсь тому, что, когда сын окончил школу, их команда ни разу больше не выигрывала титул, хотя хорошие бегуны по-прежнему были. Не было только человека, способного забыть себя, собственную боль, неудобство для общего дела.

Окончив школу, сын перестал бегать. Сначала не хотел, потом команда университета Беркли уже была укомплектована. На тренера не произвел большого впечатления официальный результат, достигнутый сыном, а о его главном таланте, «вытягивать», не сдаваться, он не подозревал. Без обязательных тренировок и соревнований бег для сына быстро закончился, а освободившаяся энергия была направлена на занятия политикой. Думаю, и сын, и тренер

оказались в проигрыше.

Спортивные успехи сына изумляли и восхищали меня гораздо больше, чем академические. Когда-то я тоже отлично училась, единственная в своем классе получила золотую медаль, что в моей школе было совсем не просто. Вполне закономерно, что и мой сын был отличником. Но к спорту у меня никогда не было способностей, уроки физкультуры я ненавидела. Способности к бегу сын, по-видимому, унаследовал от мужа, чему я очень рада.

В группе родителей, ездивших по всей Калифорнии «болеть» за своих бегунов, я выделялась неспортивностью. Большинство родителей тоже занимались бегом. Некоторые начали бегать под влиянием детей. «Если сын может, значит и я должна», – сказала одна из матерей, и принялась готовиться к марафону. Примерно в это же время начал бегать марафоны и мой муж. Я не переставала восхищаться хорошей формой знакомых американских родителей, не меняя собственного образа жизни. Да и должен же кто-то заниматься домом и хозяйством, пока сын и муж тренируются.

Люди смотрят на меня с жалостью, но мне уже не до них. Мне надо залезть на гору. Пыхтя и отдуваясь, я ругаю себе за все неиспользованные возможности для занятий спортом. Если бы я не бросила ходить в спортклуб и хоть медленно, но бегать на тренажере, я бы не выглядела сейчас так плохо, шла бы, как все. А я стону, кашляю и останавливаюсь через каждые пять минут.

Наверное, есть причина тому, что я так вышла из формы. Только месяц назад мы похоронили маму. Этому предшествовали страшные шесть месяцев ее умирания. Еще в январе она с папой ездила в какой-то круиз. В феврале она начала сокращать наши телефонные разговоры, путать слова. Я не придала этому значения, обязательные ежедневные звонки маме после изнурительного трудового дня были для меня психологической нагрузкой.

Накануне Дня президента я, помнится, обедала со своей приятельницей Лиз, бывшей сотрудницей из OSRAM, с которой встречалась регулярно раз в год обменяться новостями и сплетнями. Лиз хорошо относится ко мне, но мои успехи воспринимает немного болезненно. Сама она больше жалуется, хотя особых причин для этого у нее нет: Лиз устроена намного лучше, чем я. Может быть, чтобы подразнить Лиз, а, возможно, потому что я, действительно, так чувствовала, на ее традиционный вопрос, как дела, я ответила, что дела мои просто лучше не бывает. И на работе ценят, и социальная жизнь бьет ключом, и сын, наконец, работает. Лиз заметно погрустнела. Не хочу обвинять ничего дурного мне не желавшую Лиз, но моему счастью оставалось длиться еще два дня. В Лос Анджелесе сестра навестила родителей и, обеспокоенная маминым состоянием, подозревая инсульт, повезла ее в госпиталь. Увы, диагноз оказался намного страшнее – опухоль мозга, убивающая человека за несколько месяцев. Врач-онколог настаивал на лечении – радиации, предполагая продлить ее жизнь на несколько месяцев, возможно на год. Он убедил и нас, и ее. Вспоминаю, что в Союзе онкологическим больным диагноз говорить не было принято, чтобы не отравлять им последние месяцы жизни. Здесь сразу режут правду-матку. Ведь больному надо хорошо использовать оставленное ему время: привести в порядок дела, бумаги, проверить завещание. В каждом подходе есть свои плюсы и минусы. К сожалению, уговаривая хоть и очень умную и способную, но все-таки достаточно старую (79 лет) женщину делать радиацию, доктор почему-то умолчал, что эти вожделенные месяцы не будут обычными месяцами здорового или слегка нездорового человека. Согласившись на лечение, мама обрекла себя на дни такого кошмара, что едва ли стоили они борьбы. Радиация быстро разрушала ее организм, приковала к постели, разбалансировала все важные жизненные функции, и никому из врачей, получавших деньги за ее лечение, не было до этого дела. К ним нельзя было ни достучаться, ни дозвониться.

Каждую неделю на выходные ездила я в Лос-Анджелес, и каждую неделю наблюдала, как болезнь и лечение взимали свою страшную дань. Мама тяжело отступала перед болезнью, боролась за независимость, отказывалась от посторонней помощи, не щадила ни своих, ни чужих. Потом и это кончилось.

Мама оставила в идеальном порядке вещи и бумаги. Выплаченное место на кладбище, инструкции по поводу похорон. Она категорически не хотела раввина или религиозной церемонии. Мы с сестрой организовали гражданскую панихиду, провели ее сами. Надеюсь, мама осталась нами довольна.

После маминой кончины очень сильно

ухудшилось состояние нашего отца, уже давно страдавшего прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Неужели этот неадекватный старик – мой мягкий, уступчивый, красивый папа?

Спасибо Америке, не бросающей на произвол судьбы стариков, даже если они ни одного дня не работали на ее благо. Отец продолжает жить в той же квартире, при нем неотлучно находится женщина, денег по уходу почти хватает на ее оплату. Приходить туда мне безумно тяжело. Нажимая кнопку лифта, я все еще невольно жду, что сейчас меня встретят раскрытая дверь, чай на столе, улыбающийся, радующийся отец и мама, которой не терпится рассказать новости из политической или театральной жизни или поговорить о прочитанных книгах. (Последняя книга, которую она читала, но не успела закончить – это «Происхождение вселенной» Стивена Хокинса.)

Интересно, видит ли она меня в эту минуту, как я из последних сил карабкаюсь на склон? Если да, то, наверное, не одобряет. Полная и малоподвижная, мама не любила физические нагрузки, насилие над собой и очень волновалась за сестру, пристрастившуюся к горам. Но, как никто другой, она могла заставить себя, «наступить себе на горло», если считала это необходимым.

В возрасте шестидесяти трёх лет мама впервые села за руль, в шестьдесят пять – вышла на фривей. Боялась страшно, замучила всю родню, но переборола страх и начала ездить по фривею. Машина и хорошее знание английского подарили ей независимость. Она самостоятельно ездила за покупками, в музеи, на концерты. Она приезжала ко мне в Сан-Диего, а позже в Оак-Парк. Старалась садиться за руль каждый день, объясняя это тем, что, если дать себе слабинку и сделать перерыв, отступить, потом будет очень трудно вернуться на прежние рубежи.

Разве это не относится и ко мне? Последние годы я все глубже и глубже погружаюсь в комфортную зону: сократила физические нагрузки, меньше занимаюсь хозяйством, реже принимаю у себя друзей. И что я получаю взамен? – Пустоту. На ерунду потраченное время. Зато, если все-таки вытащить себя из комфортной зоны и сделать то, что трудно и не хочется (семинар или встреча салона приравниваются к крутому подъему), потом можно лечь спать с чувством морального удовлетворения. И поэтому я собираюсь сегодня дойти до вершины, чего бы мне это не стоило. Если я могла сделать это два года назад, значит, нет причины уступить сейчас. И я продолжаю подъем.

Постепенно тропа становиться более пологой, появляются участки тени, и на высоте жара не так чувствуется. Еще несколько поворотов и, подняв голову, можно увидеть вершину. «Ты уже почти дошла» – говорят мне спускающиеся навстречу. Я готова их расцеловать. И вот, наконец, последний крутой подъем, и мы на вершине горы. Людей там немного. Некоторые любуются видом на океан, некоторые продолжают путь по гребню, игнорируя предостережение, что дорога закрыта. Кое-кто фотографирует красоты. Что касается меня, я прислоняюсь к большому камню; у меня нет ни сил, ни желания даже пошевелить пальцем. Но тяжелая часть программы уже выполнена. Еще остался спуск с горы, хоть и крутой и неприятный, но всего лишь спуск. Дальше меня ждет приятный ужин в Кармеле с сыном и его подругой, а завтра мы поедем в долину пробовать вино. И все время я буду испытывать чувство выполненного долга, ведь я дошла до вершины.

Во время спуска я охотно останавливаюсь и вступаю в разговор с тяжело бредущими вверх людьми. Я говорю им, что до вершины совсем близко, потом, что не очень далеко, потом, что они вот-вот дойдут до площадки примерно на середине пути, где есть скамейка. Я желаю им удачи и заверяю, что дойти можно, и что они обязательно дойдут. “You will make it!” – обнадеживаю я их, и бодро двигаюсь вниз, сжимая в руках походные палки.

Через полтора года, 4 ноября 2012, мы с мужет опять прошли Sobratos Trail, в этот раз, начиная с рощи, и без труда поднялись на вершину. То ли альтернативный путь был легче, то ли погода холоднее, а, может быть, это произошло потому, что нам удалось выйти на тропу на целый час раньше обычного!

Лика Галкина

# Генералы, трусцой![1]

**1.** «Ну что, девчонки, говорят, нам предстоит двухдневная учебная экскурсия? Поедем в Эйлат и будем изучать природу пустыни и Красного моря. А ночью... Вы представляете себе, какие бесконечные возможности откроются нам ночью, под бархатным низким небом? (Мечтательный вздох и томный взгляд). В Эйлате, когда вся наша группа уляжется спать, мы сможем наконец-то как следует обсудить все наши нерешённые вопросы: сомнительность рождения Мухаммада, таинственность книги Каббала и, конечно же, незаконнорожденность Иисуса. Боже, какие наболевшие вопросы! Как давно нам нужно было выехать с ночёвкой подальше от дома. А то вблизи семейного очага просто невозможно абстрагироваться и полностью отдаться философским мыслям. Правда же? Но все это после дискотеки, разумеется. Танцевать-то пойдем?..» – говорил сзади, опершись на спинки передних кресел и всунув лучезарную улыбку между мной и моей подругой, один из самых популярных русскоговорящих гидов Израиля, уже довольно маститый на тот момент, Игорь Стояновский.

Работающий с туристами самого прибыльного качества, давно и досконально знающий не только историю и религии, но и психологию клиента, Игорь с минимальным знанием иврита достиг максимального уважения в туристической среде. Его имя передавалось, что называется, из уст в уста, и самые жирные «сливки» попадали именно в его объятия. А уж сделать экскурсию настоящим представлением, незабываемым праздником, фонтаном бесконечно положительной энергии, запомниться туристам, да ещё при всем при том заработать столько, чтобы «не было мучительно больно» за бессмысленно проведённый день, было поистине «делом чести» нашего маститого экскурсовода. Почти легенда, что и говорить. Гидом работал еще в Питере, в белые ночи выходил на маршрут с затрёпанным сборником Ахматовой, а теперь по Иерусалиму – с Новым заветом. Умнейший мужик, светлая голова, к тому же с прекрасным чувством юмора. Актер, психолог, учитель.

И вот в данный момент жизни, под напором участившихся проверок лицензий у выходящих на маршруты гидов, под давлением местных муниципалитетов и министерства туризма, Игорь оказался в одной учебной группе с нами, на первом израильском курсе для экскурсоводов, говорящих по-русски. «Вы говорите по-русски?» – вежливо обращался на улице к кому-то из новых репатриантов русский турист. «Только по-русски и говорю», – расплывались в улыбке мы, так как действительно многим понадобятся годы, чтобы хоть как-то говорить на совершенно незнакомом и непривычном языке, а некоторые так и не выучат его никогда. Правда, нужно добавить, что пройдет всего лишь какой-то десяток лет, и в Израиле уже мало кому вообще понадобится иврит, что всё станет доступно и на русском, но это уже другая история, и я потом как-нибудь расскажу о том, что далеко не всем нравилось превращение Израиля в шестнадцатую республику развалившегося Советского Союза, а кое-кому было бесконечно жаль, что Израиль вытесняется российской глубинкой... Но это потом, как-нибудь в другой раз.

Нас было всего лишь шестеро, русскоговорящих учащихся, приехавших из стран СНГ. Как обычный студент, сидел Игорь за соседней партой на лекциях и просил списать домашнюю работу. В наших однодневных учебных экскурсиях рассказывал массу интересных и полезных вещей и был просто бесценной находкой для новичков, осваивавших незнакомое поле деятельности. Игорь был нашим сокурсником, беспрецедентным и неоспоримым авторитетом, учителем, Гуру, если хотите. Правды ради нужно заметить, что пройдёт пара лет, и плечом к плечу с Игорем встанут выпускники нашего курса. И моя лучшая подруга Наташка, с равным энтузиазмом внимавшая первым лекциям и учителей, и нашего маститого сокурсника, станет вровень с Игорем: они разделят первенство на «лучшего гида», и самый прихотливый турист будет выбирать между этими двумя. Моя Наташка влюбится в эту профессию, в эту страну и станет профессионалом. На всё это

[1] Глава из книги «Жизнь со стороны, или Не путай туризм с эмиграцией», – М: Вестконсалтинг, 2012 г.

понадобится время, а тогда, в тот первый (точнее сказать, единственный) раз, мы ехали все вместе на запланированную учебную поездку в Эйлат и откровенно кайфовали от возможности хоть на некоторое время оставить дома проблемы и заботы и почувствовать себя, если не в пионерском лагере, то как минимум в студенческом десанте «на картошку». Эйфория, проснувшаяся в тех, кому давно «за тридцать».

– Ой, Игорек, ну что ты, в самом деле, – хихикали мы, передавая по кругу термос с горячим кофе, – тебе нужно быть поосторожнее, чай, не мальчик уже, – Наташка вызывающе подмигивает ему, – Оставь это дело молодым. Вон у нас в группе какая молодежь подрастает, – она показывает рукой на здоровых молодых израильтян, парней и девушек, прошедших армию и пришедших на этот курс за освоением профессии.

– Ну, добрая ты моя, – нисколько не сконфузившись, с хохотком отвечает Игорь, – Молодежь – это что?.. Старый конь, как говорится, борозды не испортит, – залихватски подмигивает, а потом сам же, но уже вполголоса, добавляет, – ... хотя и глубоко не вспашет. Это правда...

Игорь относился к той категории мужчин, которым чувство юмора с лихвой заменяет высокий рост, интеллигентность и безграничные знания – накачанные бицепсы, а тончайший и нескончаемый шарм – наличие толстого кошелька. Когда Игорь открывал рот и начинал «вещать», то в мгновение ока из маленького и невзрачного мужичка, скорее, «кавказской национальности», он преображался в гиганта – богатыря, с благородной статью, широкими плечами и неоспоримым авторитетом (в особенности у женщин). Этакий образ «по Довлатову», и совершенно же по Довлатову, независимо от того, о чём шла речь, каждая из нас превращалась в зачарованного спаниэля, развешивала уши и преданно смотрела ему в глаза, согласно кивая головой. Пусть даже никто ни о чем и не спрашивал. Ну, разве что: «Согласны, девчонки? Возражений нет?» Какие уж тут, боже мой, возражения. Конечно, согласны. Спаниэль и печенье, да и только. Но, кроме всех своих многочисленных достоинств, Игорь был давно и прочно женат. И влюблён в жену, как мальчишка. Поэтому каждая из нас с пониманием вздыхала, радовалась тому, что мужская верность всё же имеет место быть и в наши дни, но радость эта отдавала лёгкой грустью. Сочетание таких совершенно не сочетающихся достоинств интриговала, настораживала, вводила в сомнения. Хотелось проверить, убедиться и... успокоиться. Синдром женственной бабочки перед настоящим мужиком: слушать и млеть, млеть и слушать.

А бесконечные истории про туристов?.. Мы смеялись так, что болели скулы, и сводило животы. «Вот выйду на пенсию – буду писать мемуары. Ей богу, стану этим на хлеб зарабатывать. Ну, вы представьте, везу как-то «крутых» на минибусе по пустыне иудейской. Их четверо, две пары. Одна пара попроще, а вторая покруче: разница между дамой и «молодым человеком» лет в тридцать; у него брюшко впереди бородки в такт машине покачивается, на пальце огромный перстень, на лбу надпись: я крут, Дольче Габана. Она – лет двадцати, вся в пене от обожания и преданности, глаза снизу вверх как закатились однажды, так уже вряд ли на место когда-нибудь встанут. Заглядывает ему в рот, за руку его держит и к бочку его прижимается. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных». Игорек похохатывает и в лицах, как в венецианском карнавале, изображает гротескную пару. «Ты ж понимаешь, я, когда к ним на экскурсию пришел, они из отеля выходят, ну, думаю, отец и дочь. А он ей бах руку по-хозяйски ниже пояса, ну думаю... не-а, не дочь... внучка... А она ему: «Что же мы из всего шопинга только одну пару джинсов мне купили? – а он ей: «Не будь такой меркантильной, выше нужно быть, выше». Я еще хотел добавить, чтобы она спинку выпрямила, чтобы грудь вперед, а зад – назад, ну да вовремя рот прикрыл. Вы же знаете, гид должен и помолчать уметь иногда, не только болтать, как радио. Так вот, едут они у меня в машине, я что-то им увлеченно вещаю, рассказываю, увлекся так, что на своем месте возле водителя, к ним спиной, усидеть не могу. На сидение вскочил, на коленки встал, перед ними выступаю, руками размахиваю: «... и бежал Лот со своими женой и двумя дочерьми из проклятых богом городов Содома и Гоморры, и обернулась жена его, не послушавшись запрета божьего, оглянулась на дождь огненный, смолой и пеплом заливающий города проклятые, и окаменела в одночасье...» В образе я весь, в общем. А это юное создание только на него смотрит, как на вождя и кумира, и в рот ему заглядывает, хотя выступаю я, заметьте, а не он. И вдруг, прервав меня, практически на полуслове, она дергает его за рукав и пищит: «Ой, Юрочка, а почему здесь на проводах такие шары натянуты. Видишь, вот везде. Вроде бы электрические провода, а на них шары. Зачем это?»

Я тут же хотел отреагировать, как пограничник на посту, отрапортовать ответом на вопрос, хотя и прервали меня в пылу библейского повествования, но опять же таки вовремя прикусил язык. Понимал, что не от меня она ответа ждет. Что сейчас Юрочкин черед блеснуть умом и знаниями перед юной красавицей. И он это тоже уловил. Насколько он умом отличался, это вы сейчас сами поймете, но момент ловил четко. В машине тишина образовалась, и все на него смотрят, ответа ожидают. И вот он приподнял многозначительно очки, посмотрел в окно машины, подумал с минуту, а потом глубокомысленно так

заявил: «Ну, это элементарно. Просто, когда здесь идут сильные дожди, то скапливается огромное количество воды. Уровень воды поднимается настолько, что доходит до электрических проводов. Вот, чтобы они не затонули, на них и вешают эти шары. Шары их поддерживают на поверхности воды. Так, Игорек?» Он перевел взгляд на меня, и в его взгляде не было призыва поддержать или не выдать его некомпетентность. Он просто приглашал меня подтвердить его теорию, в которой никаких сомнений ни у его девушки, ни у второй пары, ни тем более у него не было. Прошло какое-то время, прежде чем я почувствовал, что моя челюсть явно не на месте, что мой рот не совсем закрыт и что я слишком долго смотрю на них, как соляной памятник жене Лота. Я чувствовал себя статуей и понимал, что нужно как-то реагировать, что-то отвечать, но степень моего изумления была сродни оцепенению. Чуть ли не вручную я захлопнул себе рот, поставил на место челюсть и промычал что-то вроде: «Ну, в общем, и так тоже можно трактовать...» После чего я отвернулся от них, уселся лицом вперёд, уставился в окно и подумал: «Вот это да, вот это уверенность в себе! И ведь ничто его не смутило: ни то, что мы в пустыне, где нет дождей, ни то, что вода не может достать до электрических проводов, ни даже то, что шары не спасут электрические провода, даже если те будут тонуть в воде. Ничто не смутило и не ввело в замешательство».

– Вот так, девчонки, – закончил Игорь со своим привычным смешком, – А вы же глупенькие, всему верите. А еще машины хотите водить...

Этот пример женской эмансипации почему-то казался Игорю верхом несправедливости по отношению к мужчинам. И так уж всё отнимают, а тут ещё женщина за рулем...

Мы сгибались пополам от смеха, а он брал термос с кофе, отпивал из стаканчика и довольно подмигивал нам. Всегда в центре внимания, всегда готов к новой байке.

– Ой, а сам я однажды в какую переделку попал, – мы еще не пришли в себя от хохота, а он уже в образе нового повествования, – я сам когда-то попал в такой просак, что, думал, конец мне настал, хотя и не бывает безвыходных ситуаций. Но, опять же, вопрос, что считать «выходом» и как к этому относиться. Так вот, в другой раз, никак не связанный с предыдущим, я везу на Голаны небольшую группу рекламного тура. Знаете, да? Рекламный тур, это когда собираются туристические агенты, а с ними их друзья, родственники и приятели, и под предлогом знакомства с местностью и отелями (всё это исключительно для работы, разумеется), путешествуют по стране практически бесплатно. Это такой непреложный факт, с которым поделать нечего, но если бы они хоть иногда делали вид, что все эти осмотры отелей их интересуют! Увы и ах! Уже после посещения второго или третьего отеля можно было услышать, что их уже все достало, и единственное их желание – окунуться в море. То есть на второй день пребывания они напрочь забывали, с какой целью практически даром (позволю себе повториться) приехали в эту страну и высказывали неудовольствие по поводу нарушения собственного отдыха. Ну да ладно, с этим вы и сами еще столкнётесь, я вообще-то не об этом хотел говорить. Так вот, в тот раз у меня была маленькая группка, состоявшая из семи очаровательных девушек, действительно турагентов из разных российских городов: увлеченные, доверчивые, готовые внимать и принимать все новое. Моей задачей было показать им север страны и, безусловно, произвести на них незабываемое впечатление, чтобы своих туристов на все последующие годы они бросали именно в мои объятия. Я чувствовал себя совершенно в своей тарелке и был на боевом коне: вдвоем с водителем в этом молодом зеленеющем огороде (Игорь хихикает, подмигивает нам и разводит руками, демонстрируя, что нельзя было объять необъятное). Мы с водителем Фимой были в прекрасном расположении духа, открывали девчонкам дверцы машины, шутили, заигрывали. Девчонки дарили нам многообещающие улыбки и откровенно с нами флиртовали. Только вы не подумайте, что я отлынивал от своей прямой обязанности. Ни боже ж мой. В своем песнопении о севере Израиля я парил над ними, как горный орел. Стоя коленками на переднем сидении минибуса (вы уже заметили, что это моя любимая поза), лицом к прекрасным слушательницам, размахивая руками, я рассказывал им об Израельской долине библейских времен и о зачаровывающей горе Тавор: о том, как призвала пророчица Дебора на борьбу с царем Хацором, как помчались по этой долине колесницы и побежали пешие, как сошел Барак и войска его с горы Тавор и как привел Господь в замешательство войска врага... А потом я раскрыл Библейскую книгу судеб и зачитал: «А после битвы воспела доблесть победителей Дебора: «Израиль отмщён, народ показал рвение; прославьте Господа!.. Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей!» «Воистину «Песнь Деборы» — один из самых величественных и волнующих гимнов Библии», – закончил я свою песнь мужеству и закрыл Ветхий завет. Девчонки мои сидели, открыв рты, в полном, не прерываемом даже дыханием, молчании.

– Остановочка, – как будто из другого измерения раздался голос нашего водителя, – Перекур и перерыв на туалет. Нужно размяться немножко.

Водитель очаровательно улыбнулся салону автобуса и выпрыгнул, чтобы открыть девчонкам дверцу и помочь выйти. Я тоже соскочил с подножки и закурил сигарету. «Игорь Леонидович,–неожиданно

по имени-отчеству обратилась ко мне одна из моих экскурсанток, – Игорь Леонидович, откуда Вы все это знаете... аж мороз по коже».

Мало того, что меня уже лет десять никто не называл по имени-отчеству, так как в Израиле в принципе нет отчеств, и здесь все друг дружку называют по имени и на «ты», даже если это восьмилетний ученик обращается к учителю, так еще и сам голос, преисполненный уважения и, я бы даже сказал, некоего благоговения.... Фантастическое чувство гордости и удовлетворённости самим собой переполняло меня и лилось у меня из ушей, я чувствовал себя великим, лучшим из лучших. Я даже забыл поинтересоваться, откуда она знает моё отчество. Я вообще просто ушел в нирвану и все... Хотя, девчонки (Игорь глотнул кофе из термоса и передал его нам), сейчас вы поймете, что из нирваны меня вышибло очень быстро, буквально в течение следующих пяти минут. Умеет так вот просто и легко Господь Бог показать человеку его место, осадить, привести в чувства. Красиво так и ненавязчиво я оказался ровно там, где, вполне возможно, мне и надлежало быть. «Ну что, дамы, кому нужно в туалет – прошу, это вон там. Кофе можно попить в этом баре. Встречаемся ровно через 5 минут. Прошу не задерживаться и не опаздывать». Я в очередной раз подарил им улыбку мэтра и удалился к кабинкам туалета. Ну а потом, в одно мгновение, все соскочило с рельсов и понеслось с бешеной скоростью. Я закрыл дверцу в туалете, сделал всё, зачем туда зашел, и... понял, что замок в двери заело, и я не могу выйти.... Я подёргал дверцу пару раз, не впадая в панику и прекрасно понимая, что сейчас она откроется, я толкнул ее плечом… но ничего не помогало. Замок прокручивался в пазике, и дверь, соответственно, не открывалась. Меня пробил холодный пот: вся группа, конечно, уже собралась у машины, а многоуважаемый учитель и корифей пропал… застрял в туалете. Эта картина встала у меня перед глазами и привела в ужас. Я начал биться в дверь – безрезультатно. Заорать и позвать на помощь мне не позволяла гордость: представить себе, что мне нужно будет показаться потом на глаза моим дамам и еще неделю с ними работать? О, ужас! Что бы я потом им не вещал и каким умным не пытался себя изобразить, и здесь, и дома они будут рассказывать эту историю своим друзьям и коллегам, придумывая все новые и новые подробности… И вот уже скоро я стану посмешищем, анекдотом, гидом, которого нужно было вытаскивать из туалета... Прощайте, слава, карьера, уважение. Теперь при взгляде на меня единственное, что будет приходить всем в голову – это позорное заточение в туалете.... Игорь Стояновский? Этот тот, который застрял в сортире?.. Я смешон, и это уже навсегда...

Я был в полном отчаянии. Я залез на унитаз, подтянулся к щели над дверью и увидел свою группу, которая уже была в полном сборе у автобуса и заливалась хохотом от рассказов водителя. Позвать его на помощь не было никакой возможности. Пот стекал по моему лбу, я проклял все на свете, я молил бога и пророчицу Дебору. Я всем обещал, что никогда больше не буду зазнаваться, что буду скромный, богобоязненный, сдержанный. Господи, да выпусти же меня отсюда, – молил я, не забывая при этом толкать плечом дверь и накручивать сломавшийся замок. И вдруг я услышал голоса за дверью, говорившие на иврите. «Извините, помогите, спасите, – очень громко зашептал я, – позовите кого-нибудь, я не могу выйти. Прошу вас».

Люди позвали уборщиков, и те открыли отвёрткой дверь. На все это у меня ушло минут пятнадцать. Думаю, что пару килограмм веса я потерял точно. Я перенервничал и переволновался так, как на трамплине в олимпийском бассейне, когда ты не только не умеешь плавать, но еще и отчаянно боишься высоты.

К группе своей я подходил быстрым шагом, пытаясь поправить потерянное выражение лица и прилипшие ко лбу волосы: «Игорек, все в порядке?» – это счастье, что все они стояли спиной к туалетам и, прикуривая одна за другой, млели от шуток импозантного Фимы. «Да-да, все отлично: сделал пару шагов вокруг бара и освежил лицо, т.к. теперь у нас будет новый кусок дороги и новый период повествования. Хотел сменить роль и выйти из образа». Девчонки восхищенно посмотрели на меня, а я чуть расправил плечи (не сильно так) и сел на переднее сидение, на законное место гида. Больше в тот день я не подпрыгивал на коленках и не махал руками. Мое дальнейшее повествование было сдержанным и учтивым. Больше всего этот новый стиль был адресован тому, кто позволил мне, не осрамившись, выйти из абсурдной, но, к сожалению, очень житейской, ситуации. Слава тебе, Господи!»

У нас сводило скулы, и болели животы, мы умоляли Игоря прекратить, мы не слышали нашего израильского гида и учителя, мы валялись по креслам автобуса и умирали от хохота. Наши израильские сокурсники явно нам завидовали. Но это была только наша привилегия – мы не знали хорошо иврит, но зато на своем языке, по-русски, мы слушали нашего бесподобного Игоря с его безграничным чувством юмора…

**2.** Да, то были многообещающие времена. Ощущение того, что перспективы, открывающиеся перед тобой, безграничны, и достаточно только захотеть, как за спиной прорежутся крылья, не покидало большую часть дня. Крылья... Главное, иметь крылья... А лететь на них ты уже сможешь, куда захочешь, в бескрайнем израильском небе, где

нет ни облачка, ни дождинки, и где каждый обретает свою высоту, ровно в соответствии с задуманным. Хочешь – Понтий Пилат, а хочешь – Мухаммад, хочешь – израильский солдат, а хочешь – отшельник в пустыне. Великая земля, всепоглощающие масштабы. Быть гидом по ней, проводником – казалось делом трепетным и благословенным.

Наш однокурсник, опытный экскурсовод Игорь Стояновский был правдив и ничего не приукрашивал, рассказывая о курьезных случаях из своей практики. У каждого из наших туристов знакомство с этой землей происходило по-своему, каждый воспринимал эту действительность очень индивидуально. Особенно те, кто приезжал сюда в первый раз. Конечно, уже потом, возвращаясь сюда снова и снова, наши туристы чувствовали себя в Израиле, как дома, где все (ну если, к счастью, не все, то очень многие) говорят по-русски, где удобно и просто, где тепло и комфортно. А поначалу – священный трепет, открытие бесконечных чужих миров. Конечно, бывали конфузы; конечно, попадали впросак. Но именно для этого и служили мы нашим туристам верой и правдой, дабы вовремя оказаться начеку, помочь, подсказать, а другой раз и защитить.

На одной из заказанных у меня индивидуальных экскурсий «Иерусалим трех религий» в моей небольшой группе оказалось четверо генералов. Самых настоящих военных генералов, сдержанных, с безукоризненной выправкой, с необходимой благородной сединой и специфическим взглядом на мир. В их поведении и реакциях чувствовался армейский опыт и воинский уклад. Тот самый «стиль», как бы мы сказали сегодня, который не скрыть штатской одеждой и расстёгнутой пуговичкой на вороте рубашки. Вообще «генерал» – это не только и не столько воинское звание. «Генерал» – образ жизни, взгляд на вещи, мнение о мире и о себе в нем. «Генерал», например, может никогда и не служить в армии, а проработать всю жизнь директором завода, министром или государственным работником на высоком посту. И если эту должность он занимает много лет, то модель готова, и вот он перед тобой: статный, солидный, немногословный; около пятидесяти, не допускающий даже мимолетной улыбки во взгляде, строго и с достоинством взирающий на тебя и на мир вокруг. Одним словом – «Генерал». Как говорится, у такого не забалуешь. Стоишь ты перед ним и чувствуешь себя «битлом патлатым», хотя вроде и причесался с утра. И главное, не расслабленно так битлом себя чувствуешь, а напряженно, как будто нашкодивший подросток. Еще не знаешь, что именно, но точно знаешь, что в тебе что-то не так.

Вот именно такие «генералы» пришли ко мне в этот день на экскурсию. Заинтересовать их, донести до них, сдержанных и чуть надменных, историю святой земли, свод Законов библейских времен; зажечь, тронуть, заставить растрогаться – все это было моей основной задачей, и без лишней гордости могу сказать, что мне это вполне удалось. Им, слышавшим о религии только из фильмов про попов, я рассказывала о зарождении монотеизма, о его отличии от язычества, о трех основных религиях единобожия и о Великом Начале. Несмотря на палящий зной, они слушали, затаив дыхание, и не перебивали.

Экскурсия наша началась с христианских мест, и мы довольно подробно обсудили тему распятия Христа, прошлись по Виа Де Ла Роза, посетили Голгофу. Вся атрибутика этого дня, с освещением приобретенных заранее реликвий и причащением у священных мест, была нами реализована сполна. «Генералы» с чувством прикладывали и освящали крестики на Камне Помазания и осеняли себя крестными знамениями в священной пещере, где покоилось обернутое в саван тело Иисуса. Христианская часть экскурсии была закончена и, с чувством чистоты и одухотворенности, мы проследовали к еврейскому кварталу Старого города: впереди нас ждало прикосновение к Великим Истокам, встреча с тем, что более двух тысяч лет назад было свято даже для Иисуса.

Чтобы попасть к Стене Плача, нам нужно было пересечь арабский квартал, и пока мы медленно продвигались по его узким улочкам, я рассказывала об иудаизме, существовавшем задолго до зарождения Христианства. Мы шли в еврейский квартал, где нас ждала Стена Плача: святыня и начало.

В этот жаркий час на Израильской земле стояла суббота, как зовут этот день в Израиле, шаббат. День священный для этой страны, особенно трепетно почитаемый в Иерусалиме, особенно в Старом городе и о-с-о-б-е-н-н-о у Стены Плача. Поэтому я с самого начала подготовила своих туристов к тому, что уже на площади перед Стеной Плача нельзя фотографировать, что говорить нужно негромко, что говорить по мобильному телефону запрещено, а главное, что отходить от Стены Плача нужно обязательно не спеша, лицом к ней и ни в коем случае не поворачиваться к ней спиной. У обеих половин Стены Плача, у мужской и у женской, стояли молящиеся: женщины в париках, в одежде с длинными рукавами и в колготках, плотно закрывающих тело, несмотря на страшную жару; на мужской части молились ортодоксальные евреи, с длинными черными бородами, в кипах и полосатых талитах (накидка, накрывшись которой молящийся создает замкнутое пространство между собой и богом). В воздухе слышалось только бормотание молящихся, и зримо ощущались их короткие и неглубокие поклоны, обращенные к Стене Плача. Мой подробный предварительный экскурс в историю религий был закончен, и мне оставалось только отпустить моих гостей – самостоятельно подойти к святыне и

прикоснуться к ней. Остановившись на площади, я еще раз повторила туристам, что место у Стены разделено на две половины, на мужскую и женскую, и, к сожалению, я не смогу проводить их до конца и постоять вместе с ними. Я подала им бумажные кипы (имитация того, что религиозные евреи, прикрывая голову, носят в священном месте) и отошла подальше, к парапету, где в такой редкой и тем более ценной тени, можно было выпить воды и перекинуться парой слов с водителем, с которым мы работали в паре в этот день.

Мы мирно беседовали, когда мне послышались шумные возгласы и крики, идущие из глубины площади, от Стены Плача. Зная, что нарушить покой шаббатней молитвы может только что-то экстраординарное, первым делом я подумала о периодически возникающих конфликтах с арабской стороной. Мне пришло в голову, что, может быть, с той стороны стены кто-то начал кидать камни, что, может быть, есть какая-то опасность. «Что это там происходит? – обратилась я к водителю, – Шум какой-то. Может, пойдешь, посмотришь, что случилось? Вдруг проблемы какие-то? Или с нашими что-нибудь не так?»

Водитель обеспокоенным не выглядел, но все же не спеша направился вглубь площади. Я тоже максимально, насколько это было допустимо, приблизилась к мужской части у Стены Плача и увидела, что камнями никто не бросает, но молящиеся явно чем-то возмущены и, громко разговаривая, движутся в нашем направлении. А затем я увидела и группку моих «генералов», «задом – задом» к нам и лицом к Стене Плача, со скоростью, которую только позволяли бег «спиной вперед» и мои напутствия не делать резких движений у святыни, они трусили к нам. Трусцой, с явно озабоченными лицами, но пытаясь сохранить чувство собственного достоинства и хорошую мину при плохой игре. Они делали вид, что не замечают почти окруживших и преследующих их религиозных евреев, которые бежали рядом, размахивали руками, что-то шумно кричали и казались настроенными очень воинственно и решительно. Некоторые из них размахивали непонятно откуда взявшимися у них палками. «О господи, что это?» – завопила я, когда «мои» практически добежали до меня и как-то совершенно по-детски (четверо здоровых и крепких мужиков) спрятались за мою спину. Поскольку религиозные евреи не разговаривают с чужими и тем более с нерелигиозными женщинами, группка агрессоров покружила вокруг меня и рассеялась. Тут же подбежал наш водитель. «Полный прикол», – негромко и сдерживая улыбку объявил он. «Что это было? Чего это они? Взбесились, что ли?» Мои генералы явно искали у меня защиты и объяснений. Я вскинула вопросительный взгляд на водителя. «Ну... – замявшись, сказал он, – ты понимаешь, они, наши, то есть, там, у Стены плача, увидели, что все молятся, ну и тоже решили помолиться: кресты нательные вытащили и начали креститься и поклоны отбивать. Молились так, в общем... У Стены Плача, в шаббат.... Сама понимаешь, что, увидев это, религиозные евреи не обрадовались. Религиозные различия у нас же, сама понимаешь, еще никто не отменял». Я обратила совершенно обалдевший взгляд на явно растерянных, но пытающихся сохранить апломб генералов.

– Что же вы, господа, как же так? Это же совсем другое…

– Ну...– протянул старший из моей группы, – мы подумали, что святыня – она для всех святыня, а чтобы выразить ей свое, так сказать, почтение и помолиться, конечно, начали креститься.

– А что же это за молитва без того, чтобы крест на себя наложить, – добавил тот, что был помоложе и казался более «продвинутым».

– Ну да, ну оно, конечно... – растерянно бормотала я, понимая, что мы только что избежали серьезной потасовки и крупных проблем, о которых, к великому моему облегчению, мои туристы даже не догадывались. Ведь не все можно рассказать и донести за одну экскурсию, даже если она и длится целый день.

Вот так, день за днем, шаг за шагом, работая с людьми, ты нанизываешь свой бесценный материал, как крупные жемчужины на тонкую леску. Ты будешь составлять ожерелье, ты запомнишь и сохранишь каждый миг дорогого опыта.

Уже давно разошлись наши пути с Игорем Стояновским, и уже давно его истории ушли в область преданий: вряд ли кто-то, кроме меня, так отчетливо помнит наш тогдашний «студенческий» период. На смену его байкам у каждого из нас сложился свой неприкосновенный фонд курьезов и «случаев». Достаточно, чтобы все это помнил кто-то один. Ей богу, достаточно, чтобы сохранить былое на долгие-долгие времена. Сохранить, сберечь, записать. И пусть уже давно у всех нас все изменилось, но даже сегодня, здесь, в Италии, я рассказываю своим туристам, как когда-то в Иерусалиме у Стены Плача «генералы», пытаясь сохранить «лицо» и не уронить достоинство, убегали трусцой от религиозных евреев. Не потому, что боялись или не могли за себя постоять, а потому, что благоговейный трепет и незнание чужой действительности взывали к осторожности и предусмотрительности, а собственное невежество постигалось исключительно на своих же ошибках. Главное – из всего вынести необходимый урок. Запомнить материал, сделать выводы. Главное, чтобы опыт служил ступенькой к новым знаниям и свободе мысли. Доверьтесь, говорю я генералам всех мастей. Даже тот, кто в ваших глазах выглядит патлатым хиппи, может оказаться хорошим гидом.

Лина Маркова

# МОЯ ПОДРУГА — ПОЭТ МАРЛЕНА РАХЛИНА

Закон я знаю радостный и древний,
что сад не погибает на ветру,
что зацветут опять мои деревья
еще не раз, покуда я умру.
Вновь грянет боль, и снова сила стерпит,
И солнце ветви тихо отеплит,
И сок плодов, неподслащенный, терпкий
Живую чью-то душу утолит.

*Марлена Рахлина*

Эти строчки часто и — так целебно — звучат во мне! Я познакомилась с Марленой зимой 1960 года. К Марлене привела цепь Эренбург — Слуцкий — Чичибабин. В один из своих приездов в московскую аспирантуру мой муж Александр Волков понес мои «японские» стишки Эренбургу, Эренбург посоветовал поговорить со Слуцким, зная о его харьковских литературных связях, Слуцкий «отправил» нас к харьковскому поэту Борису Чичибабину. Мои стихи, вовсе не заслуживавшие внимания настоящих поэтов, привели к прекрасным дружбам с поэтами Борисом Чичибабиным и Марленой Рахлиной.

Чичибабин, узнав, что я работаю на заводе ХЭМЗ, сказал, что там же в заводской библиотеке работает его подруга, поэт Марлена Рахлина.

Прихожу в библиотеку, спрашиваю, можно ли увидеть Марлену Рахлину, и её позвали. Марлена работала на выдаче книг. Когда я увидела её, мне в голову пришла блоковская строчка «..там жду я прекрасной дамы».

Марлена была высокая, у нее была ярко-белая кожа и тёмно-рыжие волосы. Её голубые глаза светились. Она улыбалась. Она улыбалась почти всегда. От этого, вероятно, и родилось стихотворение «Радость», которое я вскоре узнала:

Я иду по траве, и роса мои ноги омыла,
Я плыву и качаюсь на тихой волне,
Я живу и дышу, и какая-то светлая сила,
И какая-то светлая радость сияет во мне.

Эта строфа — визитная карточка поэта и человека Марлены Рахлиной. Вот такие волны шли от неё и притягивали к ней. Кто знал её, тем посчастливилось: близ неё они ощущали радость, поддержку и чувство, «что жить на свете стоит».

Мы познакомились и договорились о встрече для более подробного разговора. А после встречи подружились семьями очень крепко. У нас был сын, а у Марлены и ее мужа Фимы Захарова были сын и дочь, постарше нашего сына, но дети подружились тоже.

Сначала обе семьи жили в центре нашего родного города Харькова, а через несколько лет одновременно купили кооперативные квартиры в районе Новые дома, очень близко друг от друга. Вскоре по соседству с нами поселился на Новых домах и Борис Алексеевич Чичибабин. То были времена, неповторимые по счастью, которое дарила дружба. Хочется верить, что мы ценили это счастье и тогда, когда жили в нём, а не только по воспоминаниям. То было счастье полного доверия, любви друг к другу, взаимопонимания, поддержки, защиты и помощи. Об этом же говорил

Пушкин посвящая Н. Н. Раевскому поэму “Кавказский пленник”:

Я близ тебя еще спокойство находил.
Я сердцем отдыхал – друг друга мы любили...

Так и мы сердцем отдыхали друг близ друга. Это была романтическая сторона материально трудной и политически небезопасной жизни. Хотя в то время уже не расстреливали, но мы знали, что нас подслушивают, за нами следят, потому что наши более храбрые единомышленники отсидели свои сроки в тюрьмах, и отзвук и отсвет тех страшных лет постоянно присутствовал в наших буднях и праздниках. Но тем крепче и нежнее были наши связи и дружбы.

Мы часто собирались вместе, почти всегда спонтанно, а на дни рождения приходили друг к другу без приглашения. Всегда читали стихи, пели песни бардов, спорили, обменивались мыслями о прочитанном. Вот как писала об этом Марлена:

Ведь это *мы*, а не *они*
Даем народу хлеб и воду
любви, искусства и свободы,
ведь это *мы*, а не *они*
решаем, вёдро или слякоть,
смеяться людям или плакать.
Ведь это *мы*, из *наших комнат*!
Ведь это *нас* с любовью вспомнит
народ в пребудущие дни!
Мы победим, а не *они*!

Как точно сказала она: «Ведь это *мы*, из *наших комнат*!», и как это всегда отдавалось в душе: мы это знали, чувствовали, и этим жили в своем отчуждении от советской системы, в своем внутреннем заграждении от внешней жизни, в которой нужно было лгать и лицемерить, лишь только мы выходили из «*наших комнат*».

Какие истории были за плечами наших близких друзей? Родители Марлены — комсомольцы 20-х годов, искренние и горячие строители социализма — долгие годы сидели в лагерях, освободились после смерти Сталина, и отец Марлены вскоре умер, так как вернулся тяжело больным.

Сидел в тюрьме за стихи «Мать моя посадница» и освободился после смерти Сталина Борис Чичибабин. А в 1965 году был посажен и давний друг Марлены и Бориса, а наш в то время недавний друг Юлий Даниэль. Вот такие у нас были связи. Конечно, мы знали, что мы тоже «на крючке» у КГБ.

Марлена училась на филологическом факультете Харьковского университета. Это было дикое время борьбы с «ахматовщиной», и на факультете устроили собрание, на котором каждому пишущему стихи (руководству факультета было, разумеется, известно кто и что пишет) следовало отчитаться и покаяться в проявлении «ахматовщины». Вот что пишет Марлена в своей книге воспоминаний «Что было — видали...»: «Один за другим наши пииты выходят и «каются» в имеющей у них место «ахматовщине». Все (ВСЕ!) дают обещание исправиться. Доходит очередь до меня, но мне, по моим понятиям, каяться не в чем. Я (как мне говорили после), бела, как снег, речь моя бессвязна, голос тих. Но я пытаюсь объяснить, что глупо и противоестественно сравнивать абсолютно состоявшуюся Ахматову с начинающейся мною. Я не замечаю у себя никаких пессимистических или непатриотических мотивов. «Я только начинаю ходить, а вы бьёте меня по ногам» — заканчиваю я. Разумеется, поднимается буря, доходит даже до фразы «Прекратить *рахлинизм* на факультете!» Но по какой-то невероятной случайности или прихоти парторг постановил «оставить девчонку в покое».

Её оставили «в покое» надолго — почти двадцать лет её не печатали. Но стихи шли к ней потоком, и мы приходили их слушать. А харьковский бард и актер Алексей Пугачев пел их в «наших комнатах», и одно — «Дорога» — со сцены филармонии, когда всего один раз ему эту сцену предоставили для исполнения переложенных им на музыку стихов своих друзей — Бориса Чичибабина и Марлены Рахлиной; он вдохновенно и ярко их исполнял, аккомпанируя себе на гитаре.

Марлена и сама сочиняла музыку ко многим своим стихам, и мы тут же их подхватывали. «Улыбка»: «Спасибо всем людям, которые мне улыбаются...» — «очень Марленина» песня, «Маятник», философски-оптимистичная, «Песня о чужом окне», и еще многие, положенные на музыку певицей Инной Шмеркиной и другими, среди которых и Елена

Камбурова.

Сейчас, вспоминая «Песню о чужом окне», я произношу про себя строчки из Верлена: Je me souviens /Des jours anciens /Et je pleure. (*Я вспоминаю /былые дни /и плачу.)* Это слезы «и божества, и вдохновенья, и жизни, и любви».

Я уже говорила, что переселившись в район Новые дома, мы жили близко друг от друга. Короткой дорогой (в прошлом — «огородами», а в «наше» время — через пустырь) можно было добраться до Марлены всего за несколько минут. В то время мы обе преподавали и раз-два в неделю были свободны по утрам. И тогда я приходила к Марлене завтракать. Мы были одни: мужья на работе, дети в школе. Как любили мы эти утренние встречи! Бывало, Марлена звонила: «Приходи, есть новый стишок».

Она жила на первом этаже. Мы сидели за кухонным столом у окна. За окном было молодое деревцо, а под ним — подтаявший снежок и лужица. Мы высыпáли в форточку крошки хлеба, и с нами завтракали воробьи, запивая водой из лужицы. Однажды утром в окне дома напротив горел электрический свет: кто-то забыл выключить, уходя затемно на работу. Мы обе заметили этот свет, и Марлена мне подмигнула, что означало какую-то задумку.

Когда я пришла к Марлене в следующий раз на «воробьиный» завтрак, она спела «Песню о чужом окне»:

В окне напротив зажглись все лампы,
Зажглись все лампы давным-давно,
Ах, если б нам бы, ах, если б нам бы
Войти незримыми в то окно.
.....
Чужое горе, чужое счастье,
Чужие тайны, чужой причал.
Позволь зайти мне, принять участье...

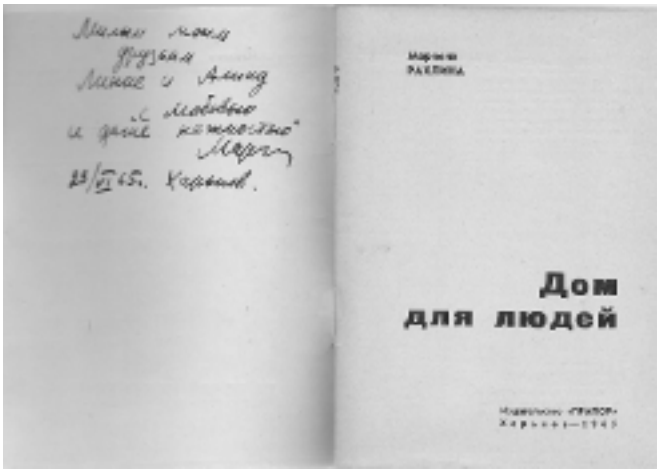
Крошки для воробьев отзовутся много позже, в период подведения итогов, в стихотворении «Что останется?...»:

Что останется? Душа!
Как пушинка, как пылинка...
Птицам крошечки кроша,
Хорошея и дыша
Духом земляным, полынным.
И останется трава,
И останутся Слова!

Я эмигрировала в 1971 году, одиннадцать лет спустя после нашей первой встречи, но сейчас мне кажется, что эти годы не пролетели, как обычно говорят о жизни, а что это и была сама большая жизнь. Может быть, потому, что после расставанья мы продолжали присутствовать в жизни друг друга. А ещё и потому, что 60-е годы в каждом столетии столь историчны своим «поворотным» характером.

Пожизненный друг Марлены, поэт Борис Чичибабин так характеризовал её стихи, которые создавались в эти годы: «таинственно-прекрасные и в то же время простые и насущные, как хлеб и вода, как земля и воздух, великолепные и незаменимые стихотворения».

Зимний полдень, вечер летний
И весенний птичий гам —
Каждый день, как день последний
Подношу к своим губам.




В 1965 году в Харьковском издательстве «Прапор» («Знамя») вышло две книжки её стихов: одна — очень маленькая — в кассете первых книжек молодых поэтов, хотя Марлена была уже поэтом вполне зрелым. Но книжка была первая. Эту кассету вошедшие в неё авторы называли «братской могилой».

Вторая книжка, «Маятник», была уже более серьезным сборником стихотворений. Марлена написала на книжке «Сбылась мечта идиота», потому что цензура не пропустила многие её стихи; эта надпись подразумевает компромиссы, на которые Марлена вынуждена была пойти, ибо

говорить с широкой аудиторией, особенно после столь долгого вынужденного молчания, поэту так же необходимо, как дышать...

В «Маятник» вошли стихотворения «Песня об одиноких музыкантах», посвященное Алику Волкову, и «Музыка», посвященное мне. К первому Марлена напела мелодию. Оно было навеяно серией дневных концертов-лекций в филармонии, в которых Александр участвовал как пианист. Марлена чувствовала**:** далеко не все слышат то, что хочет выразить музыкант. Возможно, она говорила здесь и об одиноких, в сущности, поэтах, говорила о мировом одиночестве творческого человека:

Ваш язык, как птицы крик,
как снега таянье,
Позабытый, неразгаданный, нечаянный...
Над Америкой, Японией, Италией
Человеческое вещее отчаянье...

Стихотворение «Музыка» появилось как её «окончательный» ответ на наш разговор о «силе страсти» и «холоде ума» («...сила страсти /ничто пред холодом ума» — А. Блок «Как день светла, но непонятна...») Первоначально стихотворение Марлены имело подзаголовок «Спор о Чайковском». Но спора фактически не было, и в дальнейших изданиях Марлена этот подзаголовок убрала. Мы говорили о симфонической поэме Чайковского «Франческа да Римини», и Марлене показалось, что в моих сентенциях нечто было против моих собственных чувств:

Когда жестокой мысли бег
прервать захочет твой восторг,
когда сквозь тихий этот снег
прорвется разума росток,
ты растопчи его ногой,
не дай ему ни пить, ни есть,
он здесь чужой, он здесь другой,
он лишний, он не нужен здесь.

В том же 1965 году, когда увидели свет первые сборники стихов Марлены Рахлиной, был арестован ближайший её друг Юлий Даниэль.

Марлена училась на филфаке Харьковского университета вместе с Борисом Чичибабиным, Юлием Даниэлем и его будущей женой Ларисой Богораз. В своё время Юлий и Лариса переехали из Харькова в Москву.

Как известно, Юлий Даниэль и его друг Андрей Синявский вошли в историю антисоветского диссидентского движения как его основоположники. Во время суда над ними прокурор не преминул заметить, что их, вот, не убили, а должны были бы.

Незадолго до ареста, 29 августа 1965 года Юлик приехал к Марлене на день рождения. Он остановился в Харькове по дороге в Новосибирск, где в это время находилась Лара. Алик и я тоже были на этом вечере, а вместе с нами — и мой младший брат с женой.

Юлик шутил и пел песни Высоцкого «На нейтральной полосе цветы» и «Нинку». Так мы впервые узнали о Высоцком и услышали его песни. Юлик был на высоте своего обаяния. Мой брат и его жена в то время ждали ребенка. Они решили, что назовут ребенка Юлием или Юлией (оказалась Юлия).

Я договорилась с Юликом, что в сентябре (когда ему предстояло вернуться из Новосибирска) встречусь с ним, если вдруг на работе мне дадут командировку в Москву.

Это было несбыточное пожелание «под рюмку», хотя мои сотрудники в Москву ездили, так как там был главный ТЭП (Теплоэлектропроект), т.е. начальство Харьковского ТЭПа, где я тогда работала. Но — о чудо! — командировку я получила.

Оказалось, за Юликом была уже слежка, все разговоры прослушивались, и моей командировкой распорядился КГБ: вероятно, думали допросить еще одного человека по его делу. Но когда я после работы направилась к метро, чтобы ехать к Юлику, меня остановил один харьковский знакомый, Гена Г., специалист по украинской литературе, и сказал: «Нэ ходы до Юлика, вин заарештованый». Я не успела даже как следует удивиться: — как этот харьковчанин оказался во дворе Московского ТЭПа, откуда он знал, куда я иду? — но он тут же исчез. Так же

исчез, как и появился, очень профессионально. Как видно, КГБ решил не допрашивать меня.

Тогда я не знала, за что Юлика арестовали. Я позвонила домой – сказала об аресте Юлика мужу, и он тут же сообщил Марлене. Её вскоре стали вызывать на допросы, которые длились по многу часов без еды и питья. Но никто в Харькове, даже Марлена, не знал о публикациях Юлика за границей.

Юлик освободился в декабре 1970 года, но в то время я уже была слишком занята отъездом в Израиль, и увидеться с ним не успела.

В 1971 году он снова приехал в Харьков на день рождения Марлены 29 августа. Это фото Марлена прислала мне уже в Израиль.

После ареста Даниэля и Синявского оттепель сменилась сильными заморозками. Марлену и Бориса Чичибабина снова перестали печатать — на четверть века, «на целую жизнь», как говорил Чичибабин в своей статье о Марлене. В той же статье Борис рассуждает о Марлене, идет ли речь «о ярко выраженном гражданском поэте». Борис не любит этот термин, да и к какому многогранному поэту можно его применить? И можно ли было обойти эту тему, когда от этого «неумолимого гражданства» некуда было укрыться, разве что в наши прекрасные дружбы. Но ведь надо было еще и жить вне этого, деньги зарабатывать, учиться, лечиться и все прочее. И сами дружбы были под неусыпным оком «министерства любви».

Арест Юлика поставил перед Марленой наитруднейший вопрос: а где же я в этом процессе, где я в этом протесте против лжи и угнетения? Стихи отражают её тяжкие переживания, разговор с совестью, стремление понять главное в себе, свою сущность и миссию.

...и чтоб себя не числить подлецом,
Душе своей своей душою платишь.
А, может, сами пишем мы её,
Всю нашу жизнь, отделывая строчку
За строчкою, и каждому — своё,
И медлим ли, спешим ли ставить точку,
Но водит Бог старательным пером,
И тем, кого он в самом деле любит,
Лишь в нужный час, сверкая топором,
Неумолимо голову отрубит.

В этих раздумьях Марлена часто обращается к Юлию Даниэлю:

Плыви по морю боли, милый друг.
Позволь, усну. Позволь, глаза закрою,
Позволь, умру. Позволь, в песок зарою
Я голову, и пусть оглохнет слух.
.....
Не чаю я, как душу мне спасти.
Отчаянье отваге не помощник.
Прости меня, что в этот час полнощный
Я шлю тебе последнее прости.
Плыви — а я опять вернусь на круг.
Плыви — не мне учить тебя неволе,
Так срамно мне, но я не в силах боле.
Плыви по морю боли, милый друг!

Двум своим пожизненным друзьям, которые оба могут быть причислены к рангу «один за всех — на государство» (Б. Чичибабин «Солженицыну») — Марлена посвящает и гражданские, и лирические стихи, поскольку и дружба, и любовь, и гражданственность — все сплелось в одну судьбу.

Твоя казна — особенного рода:
За непорядок твой, за неуют,
За твой глоток шального кислорода —
В стране моей свободу отдают.
(«Борису Чичибабину»)

Добрая, любимая «Марлеша», как ее называли близкие люди, готовая слушать, прощать и утешать других, в трудном борении с самой собой в конце концов принимает себя такой, какая она есть — «а мне — любить»:

... Кому что надо и кому что мило:
Вам — драться, им — ломать,
а мне — любить.
А мне — во имя Сына и Отца,
Во имя красоты, во имя лада...

Что в мире лучше любящего взгляда?
И только так, до самого конца!

«Не верь, не бойся, не проси!» (Название стихотворения — слова В. Шаламова):

А я и не мучила даже
Себя — а жила да была...
Моя золоченая пряжа
Прялась, и вилась, и плыла,
*Любя только светлое Слово* (*курсив мой* — Л.М.) И только сердечную связь,
Боясь лишь подобья чужого,
Державного мира боясь...
В ряды, охранители, стройся,
Сминая меня, как траву...
«Не верь, не проси и не бойся!» —
И так я поныне живу.

*Светлое Слово* — главный смысл и содержание жизни и поэзии Марлены Рахлиной. Ведь в конечном счете «...что останется? Душа!... И останутся Слова!» В Марлене одновременно в гармонии и борении живут Мария и Марфа. Марлена вырастила двух детей — прекрасных людей, никогда не пренебрегала бытовыми обязанностями своей семьи.

Быт — вот это мой убийца.
Все ему, как во хмелю,
Соком бы моим упиться,
Ну, а я его люблю.
.....
Всю дорогу снится мне,
Что я в рай однажды въеду
На том чертовом коне,
Том, который руган, бит,
Чье дурное имя — Быт.

О конфликте двух сторон жизни — быта и творчества страстно говорит стихотворение «Не я», посвященное *Ю. Д.*

Не я, не я — из года в год, —
С другим лицом, с другой судьбою —
Женою, матерью, сестрою
Перебывала в свой черед.

Об этом же и в стихотворении «Слова» с подзаголовком «Марфа и Мария»:

Я, Марфа, не верю словам,
Я бедность в словах не скрываю.
Я стану трудиться: водицы налью,
Я дров наколю, потеплей натоплю,
Я солью насущной — твой хлеб посолю:
Все это тебе, вместо слова «люблю».

И шепот ползет, словно ветер с лаванд:
«Мария, Мария, скажи мне слова!»

Потому что самое главное — слова:

А вся надежда — «царственное Слово».
Нам сказано — «Вначале было Слово».
И я молюсь — в конце услышать Слово,
И силою владеет — только Слово,
И чудеса свершает — только Слово
На нашем бедном жизненном кругу.
(«Слова»)

Творчество и быт; с одной стороны — ответственность за благополучие семьи, а с другой — моральный императив совершать гражданские поступки. Эти разрывающие душу силы вызвали то колоссальное напряжение, в котором мы находились в мой последний год перед эмиграцией, когда семьи Марленина и моя географически обитали так близко друг от друга, как будто жили вместе.

Моё объявление о том, что мы с мужем подали документы на выезд в Израиль, оглушило и её, и Бориса Чичибабина. Оба не могли понять, как я со своей любовью к России, к русской поэзии, наконец, могу покинуть любимое. Так уж вышло, что это случалось со мной не раз...

Но снова безжалостно что-то зовет
И неотступно вторгается снова —

так писала я сама о вторжении этого зова в свою жизнь. Все друзья считали, что это я затеяла выезд, но тихим инициатором явился как раз мой муж Александр. Израиль вошел в нашу жизнь, начиная с шестидневной войны 1967 года. То была «наша победа». Разумеется, мы делились этим с Марленой и её семьей, находя в них сочувствие и интерес, но для нас это стало бóльшим — жизнью.

В Израиле жила с 1920-х годов родная тетя моего мужа. Мы подали документы на

выезд в июле 1970 года. В ноябре послали в Верховный Совет заявление об отказе от советского гражданства, текст которого писал правозащитник Борис Исаакович Цукерман. Мы подписывали письма протеста против невыполнения советским правительством Женевских соглашений. У нас дома учили иврит, слушали новости из Израиля и разучивали израильские песни. Марлена и её семья были близкими свидетелями всего этого.

За это время наша семья познала все сценические жанры: трагедию — безвременную смерть моей матери; драмы — Александра уволили из консерватории; меня вызывали на «разговоры» в разные заведения, включая Харьковский военный округ; мать Александра, заслуженную учительницу, с позором выгнали из школы, вместо готовившегося чествования и проводов на пенсию; и комедию — человек, который пришел ремонтировать наш телефон, в простоте (а может, и не в простоте) сказал, что предыдущий телефонщик перепутал монтаж подслушивающего устройства: поставил в наш телефон то, что должен был поставить соседям. Комедий и драм было много...

5 марта 1971 года мы получили разрешение на выезд. У нас было 10 дней на подготовку к отъезду: продать квартиру, собрать все необходимые документы, проститься с родными и друзьями.

Наш отъезд стал эпицентром дружб с моими самыми близкими друзьями, потому что стали выезжать через несколько лет и их дети. Марлена просила рассказывать ей абсолютно всё, что с нами происходит. Марлена и её семья были с нами постоянно, ни на мгновение не побоявшись стать нашей опорой, помогать нам, даже кормить моих, когда я уезжала в Москву или другие города что-то подписывать или в чем-то участвовать.

Итак, наступил день проводов, 14 марта 1971 года. Набилось огромное количество народу — знакомых и незнакомых, которые не побоялись прийти. Пришедшие незнакомые люди главным образом просили записать в израильском музее «Яд ва-Шем» имена их близких, погибших во время Холокоста.

На этой фотографии видно, как много народу было в маленькой, уже пустой хрущёвской квартире. Люди стояли и перемещались прижавшись друг к другу.

В тот год советская власть ещё не была сильно расшатана, люди прощались навсегда, и трагедии случались часто.
На проводах было много слез.

С моими подругами Лялей Осадчей и Марленой Рахлиной.

Вдруг посреди этого коловращения пришли Борис и Лиля Чичибабины. Борис принёс стихи «Дай вам, Бог, с корней до крон», которые тут же и прочёл вслух.

Люди были потрясены, особенно строчками:

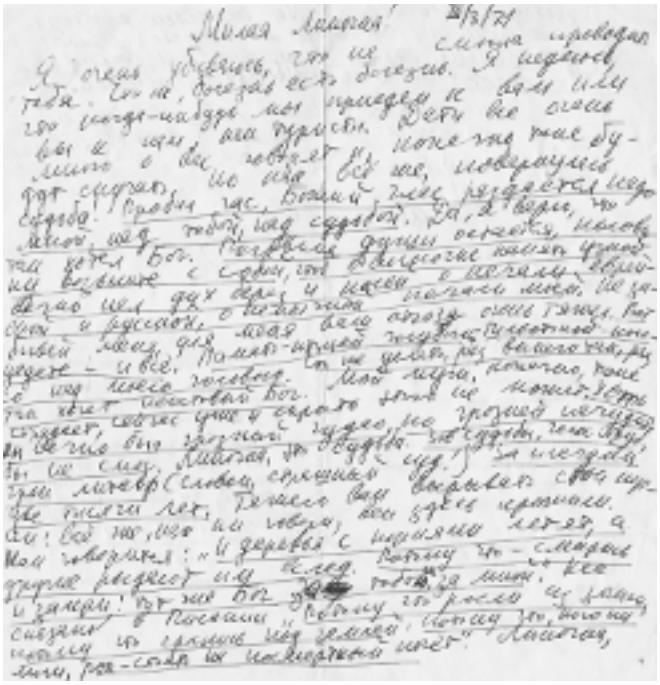
*Но в конце пути сияй,*
*по завету Саваофа,*
*уходящему – Синай,*
*остающимся – Голгофа!*

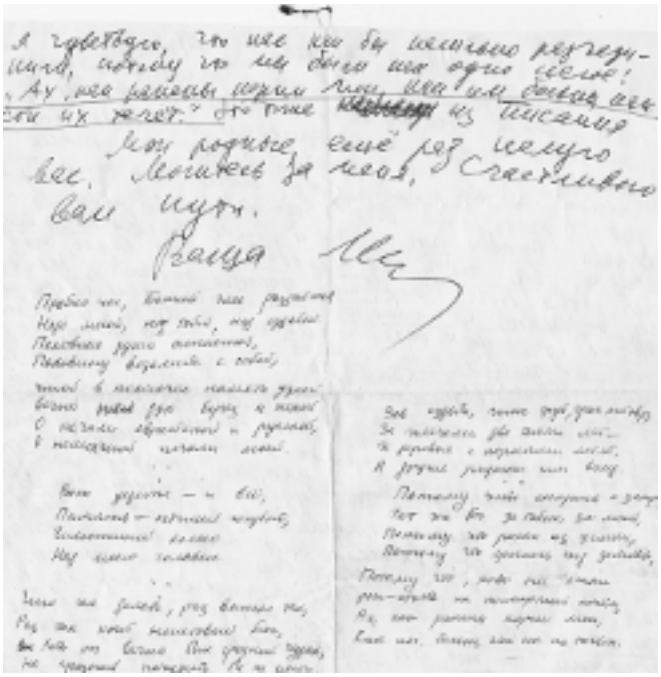
На проводах: фотография двух семей из книги воспоминаний Марлены Рахлиной. Хомушка – муж Марлены Фима Захаров, их дети Саша и Женя.

После нашего отъезда стихи быстро стали известны и были положены на музыку. Борис адресовал их также и на отъезд-ссылку Галича, с которым был дружен.

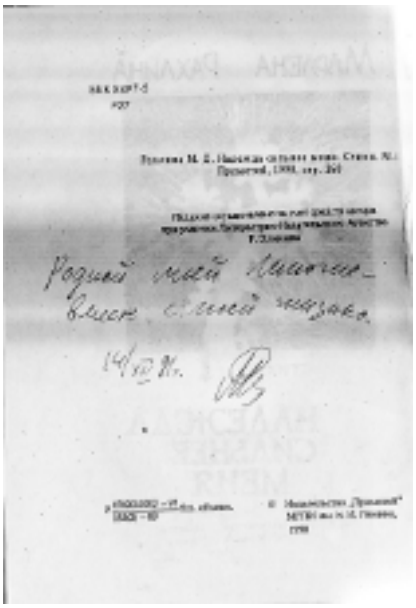
Ничто и никогда не обходилось без пения и гитары Инны Шмеркиной. На фото: Марлена, Алик Волков, Шмера, Лина и дети: Саша Захарова и Сева Волков. На прощание Шмера пела много песен на стихи Марлены.

На следующий день, утром 15 марта, в наш последний день, пришла Марлена и принесла исписанный листок. Оказывается она тоже написала стихотворение на наш отъезд и вписала его между строчек письма, боясь, что власти, если найдут стихи, могут наказать за это или нас, или ее, или нас всех. Я сложила письмо и положила в записную книжку. Как видите, оно сохранилось.



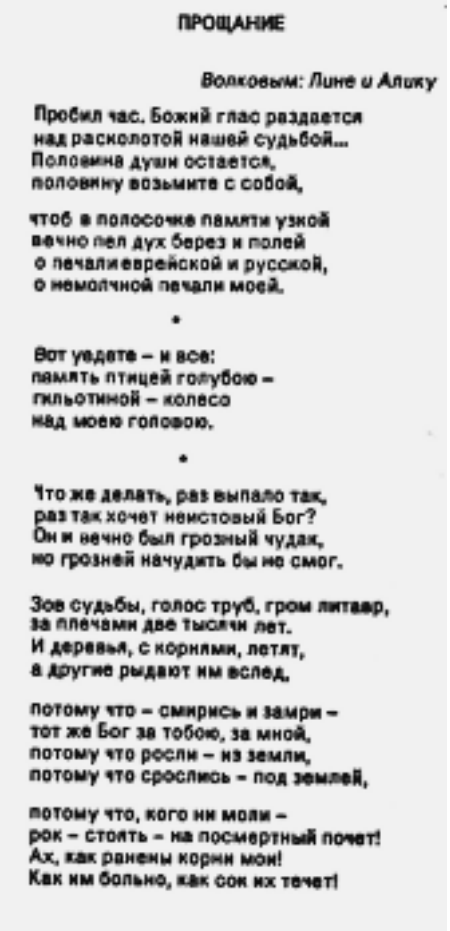


Строчки стиха я подчеркнула красным уже за чертой СССР, а после переписала их отдельно. Это стихотворение было опубликовано в 1994 году в сборнике стихов Марлены Рахлиной «Надежда сильнее меня».



После Марлены пришёл Борис Чичибабин и принес машинописную копию всех своих стихов, написанных к тому времени. Он хотел переправить стихи за рубеж не для публикации, а для хранения — на случай, если власти их у него конфискуют. Опубликовать он разрешил только то стихотворение, которое написал на наш отъезд. В свой последний день в Москве и стране я оставила его стихи Владимиру Буковскому, который передал их на хранение в «Посев».

О Марлене и Борисе харьковский диссидент, физик Генрих Алтунян, сам дважды отсидевший срок в тюрьме, пишет: «Борис Алексеевич Чичибабин и Марлена Давидовна Рахлина не просто выдающиеся поэты нашего времени, они великие Граждане нашей Земли».



**ПРОЩАНИЕ**

*Волковым: Лине и Алику*

Пробил час. Божий глас раздается
над расколотой нашей судьбой...
Половина души остается,
половину возьмите с собой,

чтоб в полосочке памяти узкой
вечно пел дух берез и полей
о печали еврейской и русской,
о немолчной печали моей.

•

Вот уедете – и все:
память птицей голубою –
гильотиной – колесо
над моею головою.

•

Что же делать, раз выпало так,
раз так хочет неистовый Бог?
Он и вечно был грозный чудак,
но грозней начудить бы не смог.

Зов судьбы, голос труб, гром литавр,
за плечами две тысячи лет.
И деревья, с корнями, летят,
а другие рыдают им вслед.

потому что – смирись и замри –
тот же Бог за тобою, за мной,
потому что росли – из земли,
потому что срослись – под землей,

потому что, кого ни моли –
рок – стоять – на посмертный почет!
Ах, как ранены корни мои!
Как им больно, как сок их течет!

За нашим отъездом последовали отъезды других близких друзей и знакомых Марлены. А почти через двадцать лет после нашего расставанья Марлена приехала к дочери в Нью-Йорк и затем ко мне в Калифорнию. Она выступала со стихами в Сан Франциско — в Джуйке и у меня дома. Разумеется, ей тоже «голос был» от детей и от друзей: «Оставь Россию навсегда». Но она не могла оставить страну своей музы и своего языка:

Я вернулась. Воротилась.
Было ясно: ворочусь,
Разве б солнце закатилось —
За него не поручусь.

А близкие друзья и родственники, среди которых был и родной брат, между тем уезжали, и прощанья были трудны и печальны.

Голоса улетающих птиц

умолкают средь чуждой природы.
Вслед за ними все новые, новые,
новые стаи летят.
Птицы певчей породы,
родной, драгоценной, нездешней породы
тут, на стуже, меня покидают,
со мной зимовать не хотят.
Но прекрасно и здесь, но отлично и здесь,
на родимом болоте:
крылья в тине увязли, привычно, устойчиво наше
быльё...
Вспоминают ли птицы в своем сумасшедшем
и буйном полетё,
Вспоминают ли дом, и любовь, и друзей,
и родное болото своё?

И теперь печаль эта была навеяна не только политикой, но и самой жизнью. Время шло, «улетающие птицы» и поэтесса становились старше, встречаться им было всё труднее. В 2010 году, в 85 лет, Марлена ушла из жизни. Задолго до её последних лет мотивы осмысления смерти часто появлялись в её стихах.

Искренность и доверие к стиху и читателю были всегда свойственны Марлене Рахлиной как поэту, и в стихах о смерти Марлена остается верна себе. Тема эта у нее озвучена в разных ключах: от глубоко раздумчивого и философского —

И я, склонясь к холодному костру,
Людских костров прежарче и превыше,
Впервые не жалею, что умру,
Что жизнь моя — лишь сладкая привычка...

С прозрачностью небес — земная твердь
Там, вдалеке, сливается прилежно.
Все на местах, любовь моя! И смерть
Прекрасна, потому что неизбежна.

...до ироничного, как например, в стихотворении «Все будет завтра», которое стало песней в исполнениях Шмеркиной и Камбуровой.

И завтра труд мой многопудный
Окончен будет сам собой,
И завтра друг мой многотрудный
Придет здоровый и живой...
И неужели хватит духу
У злой судьбы, у бытия
Убить счастливую старуху,
которой завтра стану я?

Марлена неоднократно прощается в стихах со своими любимыми — родными и друзьями, ещё и ещё раз заверяя их в своей любви, на которую была так щедра.

Жизнь уходит — и это серьезно.
Об одном на прощанье молю:
Вы узнайте, покуда не поздно,
что я есть и что я вас люблю.

Верная самоопределению «а мне — любить», Марлена такой и остаётся в памяти всех, кто знал её лично, кому её творчество дорого, кто убежден, что её обет: « ...пожалуй, уйду /Туда, куда гонишь, и буду в аду /Гореть, не сгорая, готовясь к труду /*Любви, воскресенья и света!*» — чистая правда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Инна Мельницкая
**МАРЛЕНЕ РАХЛИНОЙ**

Оплывая в осенней лени,
Сердце строчки неспешно нижет:
Я пишу неблизкой Марлене —
Может, чуточку станем ближе?
Мы по разным тропам кружили,
Ошибались и ушибались...
Как мы трудно, Марлена, жили,
Как отчаянно улыбались!
Сатанинское или Божье —
Мы взаймы ничего не брали:
Не марали бумаги ложью,
Рук и совести не марали.
Не достигнув высокой цели,
Чудакам, что придут за нами,
Мы оставим всё, что успели —
То ли исповедь, то ли знамя.
И когда добредём до точки,
До межи, где ни шагу дальше,
Мы оставим честные строчки —
Пусть негромкие, но без фальши.

Галина Курляндчик

# МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

(Записки для своих)

*Если все, с чем нельзя смириться,*
*Сделать песней или рассказом, —*
*Перелитая в строгую форму*
*Боль от сердца отхлынет сразу...*

*Маргарита Алигер*

Перед вами первый рассказ об увиденном и пережитом в Москве во время моих обычных ежегодных поездок. Именно этот опыт помог мне найти спасение от боли, с которой я всегда возвращаюсь в Калифорнию.

## ПОД КОНТРАСТНЫМ ДУШЕМ
(ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОРЫ)
Москва, июль-сентябрь 2008 года

***Преамбула.*** Я была в Москве в этом году с середины июля до конца сентября исключительно по семейным, личным делам. Во-первых, 1 августа мы отпраздновали Бриллиантовую (60 лет!) свадьбу моих родителей, что очень радостно, ну а во-вторых, возраст мамы и папы берет свое, поэтому надо было заняться их здоровьем, да и просто помочь. Немало приятных часов я провела также с семьей дочери, гуляя и занимаясь с внучками, а несколько встреч со старыми друзьями добавили разнообразия в мой московский визит.

Но не эти личные дела послужили поводом сесть и записать свои московские впечатления, а, я бы сказала, «человеческий и эстетический факторы». Я позаимствовала эту фразу у своего бывшего шефа, академика А.П.Ершова. Только он-то говорил об этих факторах в программировании (*Ершов А.П. О человеческом и эстетическом факторах в программировании. – "Кибернетика", 1972, № 5*), а я их вспоминала на каждом шагу своего общения с современной Москвой и москвичами (хотя сколько там было настоящих москвичей – сказать трудно), поэтому мой субъективный взгляд относится к городу Москве и ее нынешним жителям.

На мою жизнь оказывали влияние политические, социальные и экономические события, которых за эти несколько недель было немало. Погода тоже была существенным фоном моего пребывания в столице России. Пожалуй, с ***погоды*** я и начну рассказывать о своем визите. Именно московская погода подсказала мне название моих заметок. «Контрастный душ» я ощущала просто физически, так как относительно комфортных летних или осенних дней почти не случилось. Зато было либо очень жарко, как в парной, либо очень холодно, и я мерзла, потому что отопительный сезон еще не начался. Конечно, у некоторых москвичей дома установлены кондиционеры на случай жары и масляные электрические обогреватели (батареи) на случай холода, но то у некоторых, а не у пенсионеров, которым эти вещи не по средствам, а наше стремление облегчить жизнь им просто непонятно. Мне еще в этом году повезло, так как ежегодное отключение горячей воды на несколько летних недель прошло до моего приезда. В предыдущие свои приезды в Москву я оказывалась именно в такие недели. Так что в этот раз настоящий душ был спасением и от жары, и от холода. Душ и стал отправной точкой в моих человеческо-эстетических эмоциях.

О ***политике*** комментариев давать не буду. Основные события – это Кавказ, войска в Осетии, Абхазии. Грузины против русских? Или русские против грузин? Или вообще это все происки США? Говорят все и сразу. Кто – чей? И кто – за кого? Где наши? Где не наши?

Слушаем «Эхо Москвы», но ясности нет. Постоянные голосования: Кто «за?» Кто «против»? Мнения разделились и у экспертов, и у слушателей. Только бросает в жар от мысли: «Неужели опять война? Неужели Афганистана и Чечни было мало?» Холодный душ воспоминаний, когда объявили войну в Чечне, потому что перед глазами сын и его друзья, в то время только что отслужившие в армии студенты, чудом избежавшие Афганистана, а тут Чечня… Все. Не могу больше. Не до эстетики, когда речь идет о жизни и смерти людей.

***Главная общественная новость*** – смерть Александра Исаевича Солженицына.

Два коротких воспоминания, связанных с именем писателя. Первое. Я закончила Рязанский государственный педагогический институт и во время практики на 4-м курсе в 1970 году работала во 2-й школе города Рязани, где в свое время преподавал Александр Исаевич. Кое-кто из старых учителей о нем рассказывал. В прошлом году я ездила в Рязань, на здании школы появилась мемориальная доска со словами: «*В этом здании с 1957 по 1962 г. преподавал русский писатель, лауреат Нобелевской премии, Александр Исаевич Солженицын*». Теперь мы знаем, что именно в это время был задуман «Архипелаг ГУЛАГ». А мой дед погиб в ГУЛАГе… Вот такое пересечение моей биографии с именем великого писателя. По-человечески пасмурно.

И еще одно воспоминание: более свежее, более «эстетическое», не менее эмоциональное, но уже теплое и светлое.

Три года назад, прилетев с семилетней внучкой Анютой в Шереметьево, мы стояли в огромной очереди на паспортный контроль. Прямо за нами встал широкоплечий светловолосый юноша с открытым и поразительно знакомым лицом. Не может быть! Я поняла, что если не спрошу, то так и не буду знать, он это или не он. И я решилась: «Простите, пожалуйста. Ваше имя Игнат?» Он опешил и несколько смущенно ответил: «Игнат». Было видно, что он не привык к тому, что его узнают в толпе, то есть он явно не купается в славе и популярности. Я поняла, что передо мной Игнат Солженицын, пианист и сын знаменитого писателя. Я узнала Игната потому, что мне посчастливилось побывать на его концерте за несколько лет до этой встречи. И он меня потряс своей музыкой. Мне доводилось слушать разных пианистов, но такой силы звука, такой исполнительской мощи и такой русской души в музыке, я до него не слышала. Примерно так я ему и сказала при нашей неожиданной встрече. Конечно, он был рад моим словам. Говорить с ним было очень легко: никакого снобизма, никакого жеманства. Передо мной был интеллигент, профессионал, приятный молодой человек. Поскольку стояли мы в очереди довольно долго, то, естественно, поговорили и о его отце. Не называя вслух ни фамилии, ни имени отчества, я поинтересовалась здоровьем Александра Исаевича, рассказала о рязанской школе, попросила передать благодарность за книги и т.д. И, само собой, пожелала Игнату успехов в его творчестве. Мне показалось, что не только мне, но и ему наша встреча была приятна.

Следующий новостной фон, с которым пришлось жить в это время в Москве, – это ***экономика***, вернее, экономический кризис, который все нарастал и нарастал, и никто из экспертов толком не мог ни понять, ни тем более объяснить, что происходит, а главное – что же будет. Было ощущение карточного домика, который рушится на твоих глазах, а ты беспомощно разводишь руками. У кого не так? И основная дрожь – за мужа, за детей. Только бы не потеряли работу, остальное – переживем. Доллар падал – переживала за доллар, доллар рос – переживала за рубли.

Пришла в Сбербанк за своей пенсией, а он закрыт «по техническим причинам»! Дочь вечером объясняет, что «технические причины» – это остановка торгов на ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже). На следующей неделе иду опять в банк. Очередь с улицы, разговоры, что дают не больше 15 тысяч рублей в руки (если, конечно, на твоем счету они есть!). Отстояв всего 45 минут (уже счастье!) снимаю без проблем все оставшиеся на счету рубли (отдельное спасибо!). Словом, знобило…

Но и кроме кризиса, экономическое состояние в Москве своими контрастами в человеческо-эстетических реалиях повергало меня то в жар, то в холод. Например, бабушка в аптеке возвращает провизору 5 рублей, которые осталась ему должна со вчерашнего дня. Лекарство стоило 65 рублей, а у нее оставалось в кошельке до пенсии только 60! Провизор – молодой парень, по-видимому, уже привык к таким реалиям в своей работе. А как бы вы поступили на его месте? Тоже внесли бы свои деньги, когда сдавали кассу? И сколько таких бабушек бывает у него за смену?

А вот пример из другой жизни. Одноклассница моей внучки пригласила ее на день рождения в детский клуб, который находится в ТРЦ (торгово-развлекательном центре) «Европейский», рядом с Киевским вокзалом. День рождения у девочки случился среди рабочей недели, поэтому занятые родители не могли ее туда сопровождать, отправилась я. Выйдя из метро на «Киевской», сразу увидели огромное современное здание с такими магазинами и бутиками, ресторанами и интерьерами, что Родео Драйв в Беверли Хиллс может только позавидовать! Пока моя Анюта проводила время в развлекательном центре «Игромакс», я немного прошлась по нескольким этажам. Конечно, в некоторых атриумах (частях) «Европейского», видимо, там, где цены совершенно заоблачны, покупателей было немного, но на главных торговых этажах жизнь била ключом не меньше, чем в Лас-Вегасе. Естественно, это были люди совсем с другими кошельками, чем у бабушки из аптеки.

Но это все было фоном. Я бы и не подумала все это рассказывать, если бы…

Наконец, я подобралась к тому, что, собственно, и послужило мне вызовом (не путать с «поводом») «взяться за перо», то есть сесть за компьютер. Это – ***медицина***. Я не буду описывать всё, с чем мне пришлось столкнуться, а опять же приведу только несколько примеров.

Моя мама уже пять лет лечит глаза в НИИ ГБ (глазных болезней) РАМН (Российская академия медицинских наук). У мамы очень сложный диагноз, с которым вообще нигде не берутся лечить, а в этом институте пытаются. Там специалисты-ученые, разработки новых методов, оборудование из Японии и т.д. Казалось бы, замечательно, что такое место есть, но пока больной доберется до специалиста-консультанта и получит помощь, за которой обратился, он должен пройти «девять кругов ада» и подорвать свое здоровье так, что то, с чем он пришел, уже отодвинется на задний план.

Не хочу быть голословной. Маме, чтобы пройти каждые полгода двухнедельный курс лечения в одном из отделений Института, надо сначала обследоваться в поликлинике НИИ ГБ и затем, уже для самой госпитализации, получить там перечень требуемых анализов и обследований, которые надо делать в районной или платной поликлинике. Сама она ходить и ездить туда не может, так как практически ничего не видит. Разумеется, надо сопровождать.

Начинаю со звонка в регистратуру поликлиники НИИ ГБ. Телефон занят все рабочее время. Второй линии, конечно, нет, справочного телефона тоже нет. После нескольких дней многоразовых бесполезных попыток трубку снимают, но разговаривать явно не хотят, а торопятся «отделаться». Удается только узнать, что предварительной записи на прием к окулисту нет, поэтому надо приезжать к открытию регистратуры, чтобы хватило талончика к врачу.

Регистратура открывается в восемь часов утра, надо быть на месте хотя бы в семь тридцать, потому что больные собираются со всей Москвы и Подмосковья. Вызывать такси мама отказывается наотрез, так как однажды имела печальный опыт поездки на такси в этот Институт. Шофер заказанной машины, повозив их с папой по Москве в утренние часы пик, так и не сумел довезти их по адресу в центре столицы и в результате привез назад домой, потому что время приема уже истекло и продолжать поездку смысла не имело. Деньги, конечно, взял за полную поездку, хотя заказ выполнен не был.

Ставим будильник на пять утра. Завтракать в это время, естественно, не хочется. Пятнадцать минут пешком до метро, около шести уже в метро, где маме, конечно, становится плохо от духоты, но ей хоть уступают место. От метро четыре остановки на троллейбусе, который ходит нечасто. Но в семь тридцать мы на месте, занимаем очередь в вестибюле Института, время-то еще нерабочее. Ровно в восемь утра охранники начинают пускать больных и сопровождающих. Это же Институт глазных болезней, многие пациенты с поводырями. Поднимаемся на лифте на третий этаж, в регистратуре нас всех встречают как врагов, но талончик в конце концов маме дают.

Следующий этап – обследование на приборе перед приемом у врача. Все больные уже с талончиками в вестибюле перед этим промежуточным кабинетом, но там работать начинают с девяти часов. Ждем. Начинают принимать, но вызывают по какому-то своему усмотрению. Нашла два женский туалета на этаже, но в обоих ремонт!

Врач-окулист по расписанию должен начать прием в девять тридцать. К ней у мамы очередь № 3. Но появилась врач значительно позже. «Задержалась», так как была на работе, но занималась не больными, а другими делами. Если думаете, что были извинения за задержку, то вы ошибаетесь. Сидим еще не меньше часа, больных вызывают опять же по непонятному списку, а не по очереди. Отойти на другой этаж в буфет или туалет невозможно, а вдруг именно сейчас врач и вызовет к себе. Наконец, мама зашла, ей закапали глаза, чтобы расширить зрачки, опять ждем в коридоре и отойти не можем. Посылают еще на одно обследование, опять ожидание. Возвращаемся к кабинету врача, ждем дальше. Наконец, около часу дня все предписания получены и можно увидеть врача-консультанта.

Поднимаемся на четвёртый этаж, но врач-консультант окликает маму в коридоре (мама же ее не видит, а я еще не знаю). Говорит, что занята, просит подождать у кабинета. Так проходит еще часа полтора. Она время от времени проходит мимо и говорит: «Сейчас, сейчас…» Посмотрела, повела еще к другому специалисту, чтобы обговорить уже предстоящее лечение. Опять закапали глаза, опять ожидание…

Наконец, мы свободны, спускаемся на первый этаж, где есть туалет! Уже почти три тридцать дня, в буфет уже не хотим. Хотим только домой, куда попадаем в шестом часу.

Основное чувство, испытанное в этот день, – это унижение. Физическое унижение от невозможности попасть в туалет, хотя бы выпить воды (большие бутыли с водой были в вестибюлях, а вот стаканчиков к ним не было!), голода и усталости от бесконечного совершенно неоправданного ожидания.

Моральное унижение еще тяжелее. Не за себя (я-то пока в таком лечении не нуждаюсь), а за своих родителей, за всех этих больных людей, пришедших за помощью, а получивших стресс и новые болезни. Больные боятся врачей, так как целиком и полностью зависят от их не столько профессионализма, сколько просто человеческих качеств. Такое ощущение, что попала в 18-19 век, а больные – это крепостные крестьяне (тупые, никчемные – к ним изначально такое отношение), которые боятся сделать что-то не так, а все сотрудники – это господа, которым вольно «казнить или миловать». Похоже, больные приходят сюда скорее на «казнь», чем за «помилованием».

Почти двенадцать часов уходит на этот визит к в Институт, а это только начало. Дальше походы в местную поликлинику за направлениями на анализы, на сами анализы, за выписками и т.д. Две недели ушло. Хорошо еще, что анализы на сифилис, СПИД и гепатит сдали в платной поликлинике недалеко от дома. Это – Диагностический центр имени Пирогова. Там можно записаться на прием к разным специалистам по телефону, сделать любые обследования практически без очередей, но, естественно, за деньги. Родители ходят в этот Центр к кардиологу, а вот таких окулистов, которые нужны маме, у них, к сожалению, нет. В НИИ ГБ тоже ведь берут немалые деньги, так как их обследования не покрывает ни одна страховка. Вот только к больным отношение иное.

Когда все бумаги готовы, опять едем утром в Институт к врачу. Сначала принимает терапевт, потом опять окулист, который находит, что анализ мочи не очень хороший и говорит маме, что анализ надо повторить. Я захожу в кабинет и спрашиваю, могу ли я сама, без мамы, привезти результат этого анализа. Могу! На следующее утро с отцом несем мамину мочу в районную поликлинику и умоляем сделать анализ срочно. Делают! Нормальные люди, все понимают.

Везу результат анализа в Институт, но врач-окулист говорит мне, что без справки от нефролога она мамину карточку на госпитализацию не отдаст. Никаких направлений к нефрологу не дает. В районной поликлинике нефролога нет, в Центре Пирогова тоже нет. Что делать? Мама в отчаянии звонит по мобильному телефону своему врачу-консультанту из Института. Та говорит, что рядом с НИИ глазных болезней расположен НИИ нефрологии и профзаболеваний, куда она может дать направление.

На следующее утро едем в НИИ ГБ. Берем направление и переходим в соседнее здание. Там идет ремонт, но прием тоже идет! Кабинеты уже отремонтированы, а в коридоре рабочие штукатурят и красят стены, дышать нечем, сидеть негде, туалеты, разумеется, закрыты. И это Институт нефрологии и профзаболеваний! Больные – со всего СНГ. Это люди с больными почками, астматики и др. Как они могут дышать здесь?! Как они могут вообще здесь находиться?! И при всем этом на входе всех заставляют покупать и надевать бахилы! Верх гигиены и санитарии! Ну, очень «красиво»!

Регистратура у них в отдельном кабинете, куда пускают по одному. Не дай бог сунуться, когда там кто-то из пациентов – сразу грозный окрик! Наконец, показываю мамины документы. С меня требуют копию страхового свидетельства. Оригинал, который я протягиваю, их не устраивает. Говорят, или принесите копию или идите платно. Искать, где в этом районе можно сделать копию (в регистратуре никаких адресов не дают), значит потратить еще часа два, а мама уже еле стоит на ногах.

Идем к заведующей терапевтическим отделением. Худенькая седая женщина молниеносно понимает ситуацию, удивляясь немало тому, зачем маму к ним направили, так как у пожилых людей такой анализ может быть нормой, но она срочно направляет на повторный анализ уже у себя (мочу опять же предусмотрительно мы привезли с собой), а я жду старшую медсестру, чтобы оформить наш визит финансово. Оказывается, касса в другом здании, и что интересно, в кассе объявление, что принимается любая валюта и висят курсы валют. После оплаты возвращаюсь к старшей сестре, у которой в кабинете стоит ксерокс, но сделать на нем копию нельзя даже за деньги! Кстати, визит к врачу в этом институте в два раза дороже, чем в Центре Пирогова.

Тем временем удалось найти маме стул, так что она хоть не стояла беспомощно посреди коридора, пока я бегала по кабинетам, разумеется, ждала по полчаса, так как, похоже, находиться в своем кабинете в рабочее время в этом учреждении не принято. Потом маме еще сделали УЗИ. С почками все было в порядке. А за эту процедуру я уже заплатила на месте, чтобы больше не бегать в соседнее здание.

Врач-терапевт на следующий день, когда мы опять с утра были у нее (уже имея копию страхового свидетельства!), быстро оформила нам справку у нефролога, потому что не видела смысла повторять все те обследования еще у одного врача. Поражает, что в этом всем еще выживают просто нормальные люди!

Зажав эту бумажку (извините, справку) в руке, веду маму опять в Институт ГБ. Там просто повезло! В регистратуре мамину карточку для госпитализации дают прямо в руки (посочувствовали-таки!), и мы идем к заведующей приемным отделением на прием, где я объясняю

ситуацию, что мне надо пролечить маму, пока я не улетела, так как дома отец после операции, которого тоже оставить не на кого. Вдвоем мои родители как-то управляются, полагаясь на некоторую помощь со стороны, а поодиночке просто не могут. Заведующая вошла в положение, тут же при нас договорилась с заведующей отделением, где маму должны лечить. И они дали маме место на следующий день. Заведующей отделением оказалась кандидат медицинских наук Юлия Владимировна Мазурова. Мама меня уверяла (видимо, со слов своих бывших однопалатниц), что она дочь того самого Мазурова, который когда-то заседал в Политбюро. Проверила в Интернете. «Того самого» звали Кирилл, значит, что-то напутали. Я потом встречалась с Юлией Владимировной, когда подписывала пропуск на посещения мамы. Красивая женщина и, видимо, волевая. На таком месте, не имея характера, не удержаться.

Рассказывать, что было дальше, уже в отделении, я не хочу. Слишком больно. Это было маме не по силам, общее состояние ее здоровья было существенно подорвано.

Только маленькое добавление. Мама не может пользоваться мобильным телефоном, в нем ведь очень маленькие кнопки, которые она не видит, а в телефоне-автомате – большие, так что там она на ощупь как-то еще способна набирать домашний номер. В стационаре есть телефоны-автоматы, но они не бесплатные, как были когда-то в больницах, а звонить можно по карточке с предварительной оплатой. Но купить такую карточку оказалось делом непростым. В НИИ ГБ карточки купить негде. Их не продают ни на почте, ни в банках, ни в киосках или кассах метро и другого городского транспорта, ни на вокзалах, ни в сети специальных магазинов с обманчивым названием «Связной». А автоматы-то стоят! Удалось найти автомат по продаже таких карточек в больнице № 15, где в это время лежал папа. Городская больница подумала о своих пациентах. Спасибо!

Вот такой человеческий фактор в медицине. А что касается эстетического, то добавлю, что все эти поездки в НИИ глазных болезней в течение пяти недель, учитывая там и мамино пребывание, скрашивались частью маршрута, по которому я ездила. Я доезжала до станции метро «Кропоткинская», которая рядом с Храмом Христа Спасителя. Пусть этот Храм не вызывает трепета у истинно верующих как «новодел», но ведь здание-то красивейшее, а уж если попадаешь утром к звону колоколов, то тут и слова трудно подобрать, чтобы описать те звуки, которые обволакивают тебя возвышенным пением, гулом. Потом на троллейбусе или автобусе остановки: «Дом Ученых», «Академия Художеств», «Зубовская площадь» и «Улица Льва Толстого». НИИ ГБ совсем недалеко от усадьбы Л.Н.Толстого в Хамовниках. А пока едешь по Пречистенке, то везде старые красивые старинные дворцы и усадьбы, памятник В.И.Сурикову, памятник Л.Н.Толстому. А вот вижу большую рекламу «Сдается особняк»(!). О крепостных в этих усадьбах не вспоминаешь. Только о господах почему-то. Прошлых и настоящих, так как тут же на Волхонке рядом с Храмом Христа Спасителя в чудесном дворце Музей Ильи Глазунова (прямо напротив Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина – ну ни больше, ни меньше!), а на Пречистинке в бывших палатах князей Долгоруковых Галерея искусств Зураба Церетели.

Вот так я и «спасалась» от человеческого фактора Москвы настоящей эстетическим фактором Москвы как прошлой, так и настоящей, радовалась, что все это есть, что я это вижу, слышу, я этим живу.

В те же дни моя дочь, которая работает в хорошей фирме рядом с Садовым кольцом, рассказывала о своем визите к врачу. У нее страховка в медицинской компании «Будь здоров!», неподалеку от их служебного офиса. Дочь записалась на прием по телефону на удобное для нее время после работы. Ждать нигде не пришлось ни секунды. Врачу передали прямо со входа, что пациентка на месте, так что ее немедленно пригласили в кабинет. Оказывается, в Москве и так бывает.

Ну как тут не подумать о контрастах!

После такого рассказа, хочется устроить перерывчик и немного подкрепиться…, то есть поговорить о ***еде,*** или «хлебе насущном». С этим в Москве замечательно: супермаркеты и ларечки, рынки и огромные оптовые магазины, рестораны, кафе, закусочные, кофейни и т.д. на любой кошелек и любой вкус. Белый батон в обычном продовольственном магазине стоит 14 рублей, буханка черного хлеба – 18 рублей, а вот пирожок в закусочной с названием «Хлеб насущный» стоит между 100 и 150 рублями, в зависимости от начинки. Хочешь съесть красивый и вкусный пирожок, – плати, и приятного аппетита! Так что эстетический фактор в сфере питания явно стоит дороже человеческого.

Хорошо подкрепились? Надо бы куда-нибудь проехаться, или воспользоваться общественным ***транспортом*** столицы. Привычный наземный транспорт (троллейбус, автобус, трамвай) ходит, в основном, очень нерегулярно, медленно, зависит от транспортных пробок в часы «пик», когда можно часа два простоять перед каким-нибудь

перекрестком. Пользуются им пенсионеры (они ездят бесплатно), школьники и студенты (у них льготные проездные билеты), приезжие (они либо еще не сориентировались в Москве, либо у них объемный багаж, с которым в маршрутку не сядешь). А вот маршрутки – это для работающих москвичей. Они ходят по тем же маршрутам, что и автобусы, троллейбусы или трамваи, но маршруток больше, они компактней и им легче лавировать на загруженных транспортом улицах. Цена проезда в маршрутке равна цене разового проезда в общественном транспорте. В начале моего пребывания это были 20 рублей, а в конце – 25. Доллар-то вырос, в рубль упал. Выбрали? Поехали!

Что же касается метро, то это самый быстрый способ передвижения по городу. «Скоростной» – так его называют в Москве. Станции – все такие же чистые и красивые, как раньше, поезда удобные, много новых составов. С эстетикой в метро все в порядке. Вот только с человеческим фактором произошли заметные изменения за последние годы. Не уступают места. Редкий случай, если уступят совсем старому человеку. Так и не привыкла к чувству стыда и недоумения, стоя перед сидящим молодым человеком, читающим, к примеру, Марселя Пруста (ну как же: мы же самая читающая нация!) или перед крепкими ребятами с широко расставленными коленками, сидящими вчетвером на скамейке, предназначенной для шестерых… Плакать хочется от такого воспитания.

И еще пару особенностей нынешнего метро: это коммивояжеры, которые ходят из вагона в вагон и рекламируют свой товар, а также попрошайки, которых, правда, стало меньше в этом году. Говорят, милиция за них взялась. Но в переходе к выходу из станции метро «Кропоткинская» на одном и том же месте стояли каждый день разные молодые женщины с опущенными глазами, а вот самодельный плакатик у них был один и тот же: «Помогите! Умирает ребенок!» Место ведь – по дороге к Храму, так что сердобольные люди находились. Человеческий фактор берет свое.

Словом, есть деньги – езжайте лучше на такси или выберите частника, который занимается «извозом». Просто протяните руку в сторону движущихся машин, и кто-нибудь непременно остановится. Только цену надо обговорить сразу и иметь договоренную сумму в наличии, так как «сдачи» у них, как правило, не бывает. Но случается всякое…

Два примерчика. Однажды вечером нас с дочкой и моим мужем подвез такой «извозчик» от дома моих родителей до дома дочери (это недалеко, но у нас были тяжелые вещи с собой), а вот денег взял меньше «таксы», объяснив, что дочь нашу уже подвозил раньше, то есть «дал нам скидку».

В другой раз, побывав в НИИ ГУ, где я навещала маму, и направляясь на другой конец Москвы в 15-ю горбольницу, где после операции лежал папа, забежала на «Вернисаж» в Измайлово. Надо было купить русских кукол для коллеги-коллекционера, которая собирает кукол разных народов. Выйдя из ворот Вернисажа, услышала слова: «Устала? Подвезти?» Спрашивал немолодой мужчина «кавказской национальности». И спрашивал у меня! «Да»!

Подвел к неказистому жигуленку, но когда поехали, то я сразу поняла, что машина у него в хорошем состоянии и шофер он опытный. Мой спаситель отвез меня с покупками домой и подождал во дворе, даже не взяв денег. Я поела, собрала очередную передачу, быстро (без ожиданий автобуса и троллейбуса на пересадке!) доехала (сидя!) до больницы. Там «извозчик» тоже ждал, пока я проведала папу, и уже около дома взял деньги за все поездки, но вполне разумную сумму. Попросил бы в два раза больше – отдала бы, так как уже ориентировалась в ценах на такие услуги. Во всех этих поездках по городу мы, естественно, не молчали, даже познакомились. Зовут его – Абдулла (потом посмотрела в словаре значение этого имени. Это «Раб Аллаха», или «Раб Божий»). Он – азербайджанец из какого-то аула. Дома жена, пятеро детей и маленькая внучка. Жена – учительница, он был бухгалтером в колхозе, потом совхозе, которых уже нет и в помине. Вот зарабатывает деньги «извозом» в Москве, и каждые три месяца ездит домой проведать семью и отвезти деньги. Такая судьба.

Записала его телефон, он потом меня выручил, когда папу уже надо было забирать из больницы. Но главное, он по-человечески понял мое состояние и все время повторял: «Да ты не волнуйся! Не торопись. Я подожду». Спасибо тебе, Абдулла. Всё кажется красивым, когда встречаешь такого человека.

Все мы знаем, что в Москву хлынуло огромное количество людей со всех бывших республик Союза и не только Союза. ***Население*** столицы России очень изменилось. В подъезде, где живут мои родители, снимают квартиру китайцы. В метро кореянка на ломаном русском обратилась ко мне за помощью разобраться с указателями. На детской площадке, гуляя с младшей внучкой, встречала мамаш в среднеазиатских одеждах, которые со своими малышами говорили, естественно, на своем родном языке, а по-русски даже не знали и двух слов. На другой прогулке с внучками около спортивной площадки целая

стайка подростков говорили тоже на своем родном (скорее, таджикском или узбекском) языке. А они ведь учатся в школе с русскими детьми. Ох, нелегко этим ребятам в русской школе!

Известно, что дворники в Москве сейчас – это таджики (стало значительно чище и во дворах, и на улицах), а торгуют, как правило, азербайджанцы. Покупала папе рубашки, так продавщица «кавказской национальности» распаковала нам рубашек 10, предлагая новые и новые. На кассах в супермаркетах работают девушки и женщины, говорящие по-русски с большим акцентом. Все очень вежливые. Явной вражды, как было еще лет 8-10 назад между москвичами и приезжими, не заметила. И москвичи привыкли, да и приезжие осваивают «правила поведения» на новом месте. Человеческий фактор приспосабливается к эстетическому. Нет, скорее, понимание красоты влияет на человека.

Хотелось бы добавить про ***услуги***. Например, появились люди, которые убирают квартиры. Это теперь вполне узаконенный бизнес. Приезжают по вызову на автомобилях. Работа хорошо оплачивается. Я своими глазами видела результат их труда и радовалась.

Вызывала электрика из ЖЭКа. Приехал тоже на автомобиле приятный молодой человек, осмотрел фронт работ, съездил, купил все, что необходимо, привезя мне чеки. Сделал все быстро, убрал за собой, за работу взял по прейскуранту.

Часто слышу разговоры по поводу, как все стало плохо в России, что и ***образование*** уже не то, что раньше. Да, не то.

В конце августа дочь попросила меня сходить на классное родительское собрание в школу, куда в 5-й класс пошла моя 10-летняя внучка Анюта. Какое же удовольствие я получила, побывав в общеобразовательной московской школе! Вернее, это Образовательный центр «Измайлово» № 1811 при Правительстве г. Москвы. Это не частная школа, не специализированная, а общеобразовательная, в которой предусмотрено разделение на уровни. Моя внучка, чтобы поступить в 1-й (гимназический класс с повышенной нагрузкой) проходила четыре собеседования. В них участвовали, кроме учителей, психолог и логопед. Для поступления в обычные классы экзамены не нужны.

Вернусь на собрание. Во-первых, родители. Кое-кого я раньше знала, но тут увидела их всех вместе (отсутствовало из 32-х по списку всего четверо). Эти молодые, умные, красивые женщины и мужчины поведением и интересом к образованию своих детей вселили в меня надежду, что и детей они вырастят такими же умными и красивыми, как они сами.

Второе – учителя. Их было двое. Учительница истории и москвоведения (это специальный предмет только для московских школ, а по России дети изучают краеведение), она же классный руководитель, и хрупкая женщина постарше – учительница по театру (потом узнала, что она по образованию психолог). Стремление этих двух прекрасных женщин воспитать прекрасных людей было настолько явным, что им обеим можно было бы поклониться в знак благодарности.

Предметы в школе вызывают желание самой сесть за парту. Например, русская словесность. Или второй иностранный язык – французский (английский учат с первого класса). Или библиотека, театр, искусство, музыка, бальные танцы, не говоря, естественно, о базовых предметах: математике, природоведении, информатике, и т.д..

Выдали учебники, но не по одному тяжелому учебнику по предмету на весь учебный год, а по четыре тонких книжки по каждому предмету (математика, русский язык и др.), чтобы детям легче было их носить.

В школе множество клубов, секций, кружков. Учительница музыки, она же ведет школьный хор, – кандидат педагогических наук. Я с ней встречалась раньше. Молодая, жизнерадостная. У нее кто угодно запоет! Анюта занимается еще, кроме хора, танцами (степом). Занятия ведут преподаватели, окончившие ГИТИС, так что могу догадываться, что всё, чему можно научиться в школе № 1811, делается на высоком уровне. Со своей танцевальной группой дети участвуют в международных конкурсах по танцам и занимают там первые места.

У учеников этой школы, конечно, нагрузка большая. По 7-9 уроков каждый день, но при этом час прогулки входит в расписание. Горячий завтрак и обед тоже по расписанию на больших переменах. До обеда – основные общеобразовательные предметы, после обеда – дополнительные, за них не ставят оценок.

Система оценок десятибалльная. В начальной школе была еще пятибалльная. Придется привыкать к новым оценкам и учителям, и ученикам, и родителям. По многим предметам класс делят на две группы – сильную и слабую, куда ребята попадают по результатам тестов.

Два раза в месяц экскурсии по Москве и Подмосковью, посещение театров. На собрании учителя приглашали взрослых участвовать в этих походах и поездках вместе с детьми. Мне один раз удалось поехать с Анютиным классом.

Это была экскурсия в Музей-усадьбу Василия

Дмитриевича Поленова, знаменитого русского живописца. Музей-заповедник Поленово находится в Тульской области, в 2,5-3-х часах езды от Москвы. Поездка была замечательная. Комфортабельный автобус от школы, по дороге игры, соревнования (сидя), которые готовили детей к восприятию того, что они увидят и узнают на экскурсии. Сама усадьба на берегу Оки, виды русской природы, да и рассказ о человеке, который сумел воплотить в жизнь свои мечты, о семье, которая до сих пор продолжает дело его жизни – все это не только в эстетическом плане, но и в человеческом, было большим уроком и для детей, и для взрослых.

Так что используя новую систему оценок, принятую в школе №1811, ставлю им пока 10 баллов!

Посещение книжных магазинов, таких, как «Дом книги», «Мир школьника» порадовали необычайно. Сколько интересных изданий, серий для школьников появилось! Давайте не будем ругать российское образование!

Пожалуй, еще немного контрастов. Ведем с мужем внучку Анюту на Красную площадь. День дождливый. Хотелось бы зайти в Исторический музей. Ребенку интересно, нам тоже. Закрыт. Выходной. Два выходных в неделю! Вдоль кремлевской стены тянется очередь в Мавзолей. Спрашиваем у ребенка, не хочет ли в Мавзолей. Нет, не хочет наша внучка смотреть на мумию «вождя мирового пролетариата». В Александровском саду она остается с дедом смотреть на смену караула у Вечного огня, а я иду за билетами в Музей Кремля. В Оружейной палате 4 сеанса в день, но билеты продают только за полчаса до очередного сеанса. Берем пока билеты в Кремль, гуляем там, заходим в соборы, смотрим выставки.

Проходим мимо Алмазного фонда, который находится в здании Оружейной палаты. В него за территорией Кремля билеты не продают, а только тут, уже на входе в фонд. Радостно заходим. Обеденный перерыв!

Торопимся за билетами на сеанс в Оружейную палату. Вышли из Кремля, нашли кассу. Очередь из таких же любителей старины и искусства большая. За полчаса до сеанса начинают продавать билеты, которые заканчиваются через десять минут, и нам, (увы!), не достаются. Не вышло у нас продемонстрировать внучке сокровища Кремля и насладиться ими! Эстетика явно в противоречии с человеческим фактором: мы побегали за красотой, но ушли почти ни с чем. У меня невольные ассоциации с руководством России, которое вот тут, в нескольких метрах от нас (!), и со всей страной, которая точно так же, как и мы, мечется и пытается что-то понять и «вписаться» в организованный им, этим руководством, «порядок». Мы «не вписываемся»!

Чтобы как-то компенсировать ребенку, да и себе тоже, разочарование от «неувиденного», направляемся пешком к Музею изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Он (ура!) открыт. Здесь Анюта с интересом смотрит на мумии фараонов, на выставку футуризма из Русского Музея. Обида на «кремлевское руководство» сглаживается созерцанием шедевров мирового искусства.

А вот и последнее в моем рассказе впечатление из области ***культуры*** – наша поездка с Анютой и ее подружкой Женей в Царицыно.

Я была там просто поражена и эстетически, и человечески. Такой красоты, ухоженности на огромной парковой территории с прудами, фонтанами, усадьбой, гротами, мостиками и т.д. я в России еще не встречала. А девочки заворожено застывали при виде исторических садов, старинного фундамента кавалерийского корпуса, церквей, арок и оград, не могли оторвать взгляда от убранства залов и разнообразия экспонатов на выставках в Большом Дворце, где все великолепие, задуманное когда-то еще Екатериной II и начатое архитектором Баженовым, было закончено всего-то пару лет назад командой историков, археологов, архитекторов, реставраторов, художников, садоводов и т.д.

Когда мы дошли до усадьбы, я сначала растерялась, не найдя на виду, как это принято в других местах, открытых или закрытых кафе. Где же я покормлю детей? Но люди, создававшие этот музей, отнеслись гуманно к старинным ландшафту и строениям. Они убрали кассы, входы в музеи, кафе, туалеты и магазины с сувенирами внутрь холма (под землю), чтобы не портить современными постройками впечатление от красивейшей усадьбы 18 века. На всей территории огромнейшего парка инородными кое-где выглядели только будочки биотуалетов. Так что человеческий фактор пытался найти гармонию с эстетическим, но, я думаю, экономический (уж очень дорого убирать все туалеты под землю!) им немного повредил.

Одного дня обойти все уголки парка и побывать на всех выставках нам явно не хватило. Обязательно поедем еще.

Пожалуй, я закончу на этом. Надеюсь, что неприятные моменты, связанные с моим пребыванием в Москве, забудутся, сгладятся со временем, а вот эмоции, вызванные красотой людей и их творений, останутся со мной надолго. До свидания, Москва!

Мартин Мелодьев

## СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

### РАЗБОРКА

Сказала мама: «Мы пошли гулять!»,
Вы с братом дома будете весь вечер.
Что б времени впустую не терять –
Займитесь делом: разберите вещи.

Мы очень удивились, но потом
За это дело принялись вдвоем.

Сперва мы разобрали пылесос
По винтику, от ручки до колес –
В нем оказалось сорок семь деталей.

Мы разобрали папины часы,
Стиральную машину и весы.
Мы даже телевизор разобрали.

Когда уж не осталось ничего,
Брат разобрал меня, а я его.
С прогулки мама первая вернулась –
И поднялась такая суета:

Она нас собирала до утра,
Собрала наконец – и ужаснулась.
Но папа объяснил усталой маме,
Что нас она собрала вверх ногами.

Зато теперь мы с братом будем знать:
У взрослых тоже много есть загадок.
Мы так старались вещи разбирать,
А нас просили навести порядок!

### СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Однажды ночью снов был полон дом:
Приснилась сыну чашка с молоком,
Коту приснилась рыбка золотая,
Собаке – бутерброд и кость мясная.
А папа видел лучший в мире сон.

Вот день пришел... Кот рыбою объелся,
Собачья кость зарыта под ковром,
И молоко сыскалось для младенца –
А папа жил весь день вчерашним сном.

Когда же вновь легла на землю тень,
Все видели во сне счастливый день.

Алексей Реуцкий

**РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ**

*Рассказы Алексея Реуцкого отличает прежде всего умная доброта ко всякой – от мала до велика – живности в окружающем нас мире. В них светится поэтическое виденье, ненавязчивое, но чёткое знание того, о чём он пишет. Мягкое чувство юмора и, главное, чувство собственной причастности и ответственности за «малых сих» – ибо, как сказал Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручаем.*

*Недаром, закончив биофак Харьковского университета, он посвятил себя нелёгкой, а иногда даже опасной работе в зоопарке.*

*Эта небольшая книжечка кажется мне очень важной особенно для детей потому, что человека в значительной степени характеризует его отношение к животным, и наши питомцы воспитывают нас не в меньшей, а может и в большей мере, чем мы их.*
*Утверждаю это на собственном опыте.*

***Инна Мельницкая,***
***член Национального союза писателей Украины и Союза писателей России.***

## НЕДЕЛЯ ОТ РОДУ

Неделю назад он появился на свет, маленький мокрый живой комочек – новорожденный гривистый барашек. Скорее, пожалуй, козлик, если верить науке, но малышу, равно как и его счастливой мамаше, не до систематического положения их рода-племени: их заботы куда важнее. Матери сперва наперва нужно тщательно вылизать своего отпрыска, а малышу поскорее найти вымя и первый раз в жизни пообедать. Первые десять дней ягненку, кроме молока, не нужно ничего, и лишь по прошествии этого срока он потихоньку начинает пощипывать травку.

С первых минут от роду малыш пытался подняться на ноги, но несуразные, долговязые задние «ходули» поначалу никак не хотели слушаться его и то и дело разъезжались в разные стороны. К вечеру барашек понемногу освоился со своими конечностями, и даже принялся неуверенно карабкаться на каменную горку. Ночь сна нисколько не убавила навыка, наоборот – все его движения стали заметно ловчее.

И вот теперь малышу целая неделя! Денёк выдался на славу, ярко светит солнце, бодрость и здоровье бьют в малыше ключом, и он, впервые в жизни оставив мать, носится по загону. Носится туда-сюда, ловко подпрыгивает, а то вскочит на пенек, осмотрится по сторонам, скок вниз – и все сначала.

Вдруг в загон опустилась утка, возможно, самая предприимчивая зоопарковская кряква, которая уже несколько лет подряд выводит утят на ручье баранятника. Птица важно прошествовала к водоему, но тут её заметил ягненок и играючи бросился к пернатой госте. Кряква взлетела, но, вероятно, поняв, что «нападение» юного травоядного не более, чем игра, опустилась в нескольких метрах от проказника. Юный сорванец снова бросился за птицей, но тут баранам прибыло долгожданное угощение – целый ворох липовых веток с молодыми листочками. Забыв все на свете, звери устремились к ним и принялись жадно поглощать сочную зеленую благодать. Мать детеныша ела больше всех, ведь не иначе как от зелени и воды рождается живительное молоко, столь нужное малышам. Оставив утку в покое, ягненок бросился к матери, с аппетитом

уплетающей душистую весеннюю зелень. Ох, как интересно узнать, что это она жует! Конечно же, надо попробовать. Барашек осторожно обнюхал зеленый липовый листок, чуть не коснувшись его мягкими губами, вдохнул терпкий аромат, но тут же отошел в сторону. Нет, не для него это угощение, – ведь малышу всего-навсего неделя от роду!

Ничего, подождём. Будет и на нашей улице праздник.

## СВОЕНРАВНЫЙ, КРУТОРОГИЙ…

Начало осени заявило о себе почти тропическими ливнями. Еще вчера стояла блистающая солнечная погода. Но вечером с юга набежала свинцовая грозовая туча, украшенная бесчисленными молниями. Грянул гром… Обычно летняя гроза длится недолго. Но тут атмосферные силы повели себя вопреки всем законам природы. Дожди хлестали по целым дням, тучи стремительно неслись по ветру. И проблески солнечной погоды длились всего один-два часа.

Циклон не мог не сказаться на жизни природы. Как по взмаху волшебной палочки, повылезали среди травы дождевики, шампиньоны и тщедушные луговые опята. Канюкам и прочим птицам-парителям пришлось повременить с осенним отлетом из-за «нелетной» погоды. А в зоопарке серьёзно заболел гривистый баран.

Но об этом чуть позже. А сейчас несколько слов о гривистых баранах вообще. Известное изречение гласит: если на клетке с ослом написано «лев», не следует верить своим глазам. В данном случае, этикетка с надписью «гривистый **БАРАН**», висит на загоне с поджарыми, рогатыми тварями, похожими на рыжеватого цвета **КОЗЛОВ.** И это немало удивляет посетителей. В общем-то, они правы, так как, вопреки научному названию, обладатель крутых рогов и большой, пышной, похожей на бороду, гривы и впрямь относится к козлиному племени. «Песчаный козел» — так переводится с греческого научное название гривистого барана.

Родина круторогого зверя – пустынные нагорья Северной Африки. Климат там не то чтобы очень влажный – скорее наоборот. А потому нет ничего удивительного в том, что после пары недель почти непрерывного дождя один козлобаран почувствовал себя неважно.

Этот баран, несмотря на внушительную наружность, и прежде не отличался крепким здоровьем, а сейчас он расхворался не на шутку. Зверина громко, выразительно кашляла, а из ноздрей текли отвратительные жёлто-зеленые сопли. Надо было срочно спасать редкое животное. Поэтому ветврач Андрей Константинов, недавно ставший нашим заведующим, прописал антибиотик – горьковатую белую жидкость со специфическим запахом. Но прописать легко, а попробуй заставь четвероногого пациента принять лекарство. Это ведь не человек, которого можно уговорить, и даже не птица, которой можно насильно раскрыть клюв и осторожно протолкнуть в глотку смоченный лекарством кусочек корма. Здесь нужна была хитрость. Поэтому зоотехничка Оля для начала намалевала зеленкой над хвостом больного барана отметину, чтобы случайно не спутать его с другими взрослыми самцами, и приступила к делу. Достала пачку сухарей, измельчила их, а один, самый аппетитный на вид кусочек, смочила в антибиотике. Бараны очень неравнодушны к сухарям. И поэтому, как только зоотехничка вошла в загон, «черти рогатые» окружили её со всех сторон. Кусочек за кусочком получали они свое любимое лакомство, пока, наконец, не дошла очередь до нашего пациента. Баран будто бы заподозрил подвох, – он как-то нехотя взял губами сухарик, вывозил его в земле, но всё же сжевал.

Когда вечером, во время следующего кормле-ния, Оля решила повторить сеанс лечения, баран при виде таких лакомых прежде сухариков опрометью бросился на каменную горку. Тогда Оля мелко нарезала тыкву и смочила один кусочек в антибиотике. Бараны, все до единого, сбежались к ней, и опыт возымел успех. Но только до следующего дня, когда все стадо, во главе с сопливым, при виде зоотехнички разом убежало на каменную горку. Лишь во второй половине дня, во время кормления, Оле с превеликим трудом удалось запихнуть сухарик со снадобьем барану прямо в рот. На третий день она смогла «уговорить» барана лишь вместе с другой зоотехничкой – Валей.

А дальше лечить его пришлось мне. Что и говорить, никакого опыта лечения животных у меня не было. Но интуиция подсказывала – надо срочно менять приманку.

Как раз в тот день кормокухня привезла яблоки и арбузы. Потому было решено пропитать целительным зельем сочную мякоть спелого арбуза. Сказано – сделано.

Как только я вошел в загон, рогатое стадо в испуге вознеслось на горку. Но, поскольку приближалось время обеда, чувство голода взяло верх. И бараны повернули ко мне. Звери то и дело выхватывали лакомые кусочки из моих рук. Все, кроме того, сопливого. Тогда, отогнав пациента, я досыта накормил остальных подопечных, подождал, пока они удалятся, и только после этого бросил кусочек арбуза под нос «сопливника».

Ура, победа! Баран слегка вывозил мякоть в грязи. После чего сжевал, с выражением явного отвращения на козлиной морде. Вечером опыт повторился, но уже с яблоком.

Возможно, аромат фруктов в какой-то мере отбивает запах лекарства. Потому что и на следующий день рогатый, после некоторых колебаний, согласился принять лекарство вместе с яблоком и арбузом.

Еще через день, в перерыве между дождями, выдалось несколько теплых солнечных часов. Бараны, как всегда в такую погоду, задумали искупаться. Несколько рогатых блаженно развалилось в лужице, принялись бултыхаться в ней и мутить воду своими крепкими копытцами. Они предаются любимому занятию до того самозабвенно, что нисколько не обращают внимания на обслуживающий персонал. И даже когда я въехал в загон с полной тачкой корма, купальщики не повели рогатыми мордами.

Пациент в это время мирно дремал в тени акации. Но как только я приблизился к нему с кусочками яблока, баран в два прыжка достиг лужи, легкими толчками своих могучих рогов разогнал купальщиков, и… бултыхнулся в воду. Он бил копытами, валялся в грязи и встряхивался, будто хотел сказать: «Отстань от меня со своим лекарством. Что, не видишь, я уже совсем здоров». С превеликим трудом удалось в то утро скормить ему кусочек яблока, а вечером – ломтик арбуза с кислым соком облепихи. Все это, естественно, было перемешано со снадобьем.

Прошло еще два дня. Баночка с дурно пахнущим белым лекарством опустела. Но в нем больше и не было нужды, так как погода неожиданно наладилась, и на смену «сезону дождей» пришла великая сентябрьская сушь. Небо стало бездонно-голубым. То ли от действия лекарства, то ли от тёплого сухого воздуха баран неожиданно поправился. Желто-коричневые сопли смыло, как потоком ливня.

Был час после полудня – время бараньего обеда. Рогатый пациент, как-то морщась, доел последний сочный ломоть арбуза со снадобьем, потом разбежался и вскочил на самый верх каменной горки. Ярко светило солнце, и края ослепительного голубого неба сливались с горизонтом в белёсой дымке. А баран, бородатый, круторогий, все стоял на узкой крутой вершинке и глядел вдаль своими загадочными золотыми глазами. Быть может, туда, где за степями и морями простиралась далекая родина его вольных предков.

## ЗИМНЯЯ СКАЗКА

«А у нас в отделе скворец завёлся! – с нескрываемой радостью на лице воскликнул, вернувшись в морозный зимний день со своего участка, Пашка, наш самый младший сотрудник. – Поет во всё горло, как весной!»

Я, конечно же, не поверил его словам, и лишь удивился, как плохо даже сельские жители (а Паша живет в деревне за Змиевом) знают самых обыкновенных птиц. Ведь если бы в Антилопник и впрямь залетел скворец, появление этой довольно крупной и шумной птахи стало бы явным для всех с самого начала. Там был, конечно же, кто-то другой, я даже был почти уверен, кто именно, но для полной уверенности поспешил к вольере с крупными южноамериканскими грызунами агути. Да, так и есть: на маленьком декоративном пеньке, лихо задрав хвост, восседал крапивник, маленькая лесная пташка, вторая по своей малости из наших птиц после королька.

Многих имен удостоилась эта голосистая кроха. Например, в Украине её, не очень-то понятно почему, прозвали воловьим оком; в Англии величают королём заборов, так как любимых крапивниками дремучих лесов там давным-давно нет, и птички приноровились устраиваться в живых изгородях и палисадниках; и, возможно, за обитание в захламленных лесных дебрях пичуга удостоилась научного названия «троглодит», что означает «дикарь». Самое же меткое название – «орешек» – дали крапивнику птицеловы: ведь эта скромная пичуга и впрямь напоминает оживший лесной орех с хвостиком. А ловили крапивников в старину – а порой ловят и сейчас– из-за их звонкой серебристой песенки, которую они поют даже в разгар зимы, хотя сохранить лесной орешек в клетке живым куда труднее, чем щегла, снегиря, зарянку и даже соловья.

Но нашего крапивника никто не ловил,

просто с наступлением осени он направился из северных лесов в наши края, волею случая оказался на ручье зоопарка, а как ударили морозы, через крошечную щель, доступную лишь ему, мыши да землеройке, забрался в здание Антилопника. Там было тепло, уютно, а корма в виде личинок мух и прочих насекомых хоть отбавляй. Крапивники плохо переносят неволю, но по нашей пичуге этого не было видно, тем более, что жизнь в каменных стенах она выбрала сама.

Пришла в зоопарк дивная лесная сказка. Каждое утро, едва забрезжит рассвет, скромная сероватая пташка вспархивала на пенёк и заливалась трелью, необычно громкой, но в то же время нежной, как весенний ручеек. И пускай за окном воет метель да трещит лютый мороз – не добраться им до крошечного живого комочка!

Единственным, что угрожало маленькому лесному гостю, были кошки. Пушистые, мяукающие слуги человека, призванные охранять хозяйское добро от грызунов, частенько ловят птиц. Но пернатые страдают от их острых когтей и зубов в разной мере. Сильные, хитрые и осторожные сороки и вороны почти вовсе не попадают на кошачий стол, в противоположность ленивым и бестолковым сизарям. Хотя домовым и полевым воробьям, особенно молодым, неопытным, немало достается от мурлыкающего племени, все же в целом воробьи и скворцы издавна живут бок о бок с людьми, а, следовательно, и с кошками, а, значит, далеко не так беззащитны перед домашними хищниками, как синицы, а тем более залетающие в город или деревню дрозды, славки, свиристели… или крапивники.

Действительно, появление пернатого певца сразу привлекло внимание двух наших кошек – мамы Муси и ее дочки Тигры. Несмотря на то, что сотрудники отдела всеми силами старались не пускать их к вольеру агути, домашние хищницы постоянно проникали туда и по очереди дежурили на ограде, не сводя зорких глаз с птицы. Но и певец был настороже: как только кошка приближалась на расстояние прыжка, он опрометью срывался и прятался под пень. Хищница оставалась ни с чем.

И вдруг крапивник исчез неведомо куда. Неужто угодил в кошачьи когти, неужели зоопарк, призванный сохранять редкие виды животных, не смог сберечь крошечное лесное чудо, доверившееся людям, и хрупкая зимняя сказка, увы, кончилась печально!? К счастью, нет – просто наступила оттепель, и пернатый гость выбрался наружу. Чего сидеть в каменных стенах, если можно поживиться какими-то букашками и на ручейке? А когда вновь ударили морозы, крапивник тут как тут – сидит на любимом пеньке, подергивает время от времени хвостиком, да выводит чудную лесную песенку.

Так продолжалось до весны, а в марте певец снова исчез и больше не возвращался – потянуло его на родину, в глухие северные леса. Счастливого пути, маленький крылатый гость, желаем тебе благополучно добраться домой и воспитать птенцов. А осенью, если пожелаешь, можешь вернуться к нам, и мы снова будем рады слышать твою звонкую песню!

## «ИНОПЛАНЕТЯНЕ»

В последние годы, благодаря научно-популярным книгам, телевидению и Интернету, люди стали больше узнавать о животном мире. Казалось бы, мы должны стать более грамотными, более осведомленными о жизни наших соседей. Но, к сожалению, книги и передачи в основном рассказывают об обитателях далеких стран – акулах, крокодилах, пингвинах, касатках, львах, слонах, муравьедах... Я знаю немало людей, которые неплохо осведомлены об этих заморских диковинках. И даже могут, например, назвать длину, массу и окраску некоторых китов и акул. Но в то же время... грача зовут вороном, ондатру – выдрой, вьюна или даже пиявку – угрем! Ужей и ящериц считают ядовитыми. И полагают, что индоутк а– и впрямь помесь утки с индюком, а пиленгас – гибрид черноморской кефали и белого амура!

Но то, что довелось услышать ранним мартовским вечером, превзошло все ожидания. Сначала мое внимание привлек привычный свист сотенной стаи свиристелей, что кормилась ягодами вечнозеленых шаров омелы. Потом с удивлением заметил, что за птицами наблюдает еще один человек – довольно пожилой мужчина.

– Парень, а не подскажешь ли ты, что это за птицы?

– Свиристели, – ответил я. – Это зимние гости из северных лесов. Прилетают к нам, когда поспеют ягоды рябины и омелы.

– Теперь я тоже вижу, что это птицы, – сказал мужчина. – А то утром сегодня жена проснулась от этого свиста. Бежит ко мне и кричит, что это,

наверное, инопланетяне на летающей тарелке явились. Я к окну. Но, сколько ни вглядываюсь, ничего не вижу. Только все тот же странный дребезжащий свист. Сейчас пойду домой, супругу успокою. Скажу, что это всего-навсего птицы.

Разговор окончился. Мужчина пошел своей дорогой, я своей. А хохлатые птицы с веселым свистом продолжали срывать сочные ягоды омелы. И подумалось мне, что для человека, оторванного от природы, свиристели и впрямь, инопланетяне – жители иного, непохожего на наш, мира. Да разве только свиристели?! Обидно и грустно, что мохнатые и пернатые, ползающие и плавающие соседи подчас становятся для современного человека менее реальными, чем даже жители далеких планет. В существование, которых, я, признаюсь, не очень-то верил и верю.

## АЙ ДА ГУСЬ!

Грачи с оглушительным гамом снялись с крон вековых тополей и плотной, сбитой стаей унеслись прочь. Птицы даже не кружились в небе, как обычно при тревоге. Значит, произошло что-то действительно серьёзное. Но что же? – Ничего особенного. Просто для дипломной работы я решил пересчитать их гнезда у входа в центральный городской парк. Умные птицы тут же смекнули, что за ними наблюдают, и поспешили скрыться с человеческих глаз.

Точно также повели себя кряквы на Салтовском яру. В зимнюю непогоду утки безбоязненно берут хлеб чуть ли не из рук. Но при первых же попытках их пересчитать они с тревожным кряканьем и свистом крыльев взмыли в воздух и перелетели на другой водоем.

Вот так-то! Дикие птицы могут довериться людям и мало обращать на них внимание. Но только до той поры, пока бескрылые двуногие не начнут пристально наблюдать за ними.

Эта повадка порой сохраняется даже у тех пернатых, что многие годы живут на иждивении у человека. В этом я убедился, когда на исходе февраля устроился на работу в Харьковский зоопарк. Свободное место было как раз в отделе птиц на прудах. Помню, ещё в детстве, в ранние школьные годы, мечтал я ухаживать за гордыми белоснежными лебедями и миниатюрными, разрисованными, как на картинках, уточками – мандаринками и каролинками. Мечта сбылась через много лет. Но работа заключалась не только и не столько в созерцании чудесных созданий. Нужно их чистить, кормить, и, что не менее важно, считать. Считать как минимум два раза на день, утром и вечером. И это не простая зарядка для ума. Ажурные бордюры не представляют собой ровным счетом никакой защиты от воришек. О Красной книге, куда занесено большинство зоопарковских обитателей, большинство людей тоже не подозревает. И главной преградой здесь может быть лишь совесть посетителей. Да только где же она! Гуси с подрезанными крыльями – лёгкая и беззащитная добыча. Утянуть зоопарковскую дичину проще простого. И таких случаев в памяти Марины Николаевны, заведующей отделом пернатых, немало.

Первые полнедели подсчет не в меру подвижных крылатых субъектов давался с немалым трудом. Но очень скоро я довёл его до автоматизма. И хоть разбудите меня среди ночи, я тут же, как таблицу умножения, отвечу, что на пруду обитают 5 лебедей-шипунов, 9 канадских казарок, 18 гусей-сухоносов, 19 горных гусей, 5 гусей серых, 17 огарей, 11 индоуток, один престарелый хромой гуменник, да один... нильский гусь. Этот южанин предпочел зимовать вне стен птичника. И преспокойно пережил изрядные морозы. Ай да гусь!

Но наш рассказ не об экстравагантном африканце, а о простом сером гусе. Дело в том, что во время одного вечернего учёта он исчез! В этот день народу в зоопарке было порядочно, особенно для будней. Вдобавок по территории бродила большая группа на редкость невоспитанных посетителей. Судя по репликам, это были жители какого-нибудь райцентра или пригорода. Подвыпившие мужики и девицы дразнили орлов, кормили страусов кукурузными палочками, рискуя оставить пальцы в клювах огромных бескрылых птиц. Но больше всего их околачивалось вокруг прудов. «Парень, гуску почем продаешь?!» – кричали они, когда я подносил к кормушке очередную выварку зерна и комбикорма…

И тут во время короткой моей отлучки пропал один гусь! Конечно же, его поймал, запихал в мешок и унёс кто-то из посетителей. О таких случаях рассказывают заведующей. А она уже звонит в милицию. Да только Марина Николаевна перед выходными уже собралась домой. Остались лишь дежурные – я с напарником Андреем, зоотехничка Татьяна, да еще двое

работниц. Бегу к зоотехничке и рассказываю о пропаже. «Гусь мог спрятаться в каком-нибудь домике, поищи внимательно, – ответила Татьяна. – Я собираюсь домой. А у тебя с Андреем еще целый час времени. Вы дежурные».

Я осмотрел все домики на пруду. Но пятого, пропавшего, серого не было нигде. Снова считаю птиц: 5 лебедей, 9 казарок, 11 индоуток… Все на месте. Только серых как не крути, не верти, ЧЕТЫРЕ, а не ПЯТЬ, как должно быть... Февральские сумерки сгущались. Длинношеие силуэты птиц становились всё более расплывчатыми. И уже всё труднее и труднее стало различать, кто есть кто: ведь ночью все гуси серые. Пора было идти домой. А наутро готовиться к пренеприятному разговору с Мариной Николаевной. Но вдруг… из тесного гурта горных гусей вытянулась светлая без всяких полос шея с длинным розовым клювом, и перед моим взором предстал пропавший серый гусак. Никуда он, оказывается, не делся. Просто устал от непрерывных моих учетов. А поскольку подрезанное крыло не позволяло ему улететь, он скрылся от человеческих глаз среди толпы горных родственников.

«Ай да гусь! Чуть весь отдел на ноги не поднял! Чуть милицию из-за него вызывать не пришлось!», – подумал я и поспешил домой. Тем более что рабочий день давно подошел к концу.
А сам виновник переполоха потянулся на розовых ногах, браво похлопал крыльями, и важно, с глухим гоготом, направился к кормушке, чтобы как следует подкрепиться перед долгой, холодной зимней ночью.

## ГАЛКИ ДА ВОРОНЫ.

Обычно эти птицы, как и воробьи, служат пернатыми символами чего-то будничного, неинтересного, недостойного серьёзного внимания. «Самые заурядные птицы. Каркают, мол, только, непогоду кличут, грусть навевают, да временами на головы да одежду почтенным гражданам гадят. Оперение у них ох какое неказистое, черное. То ли дело нарядная сойка, расписной дятел, желтогрудая синичка или гордая белокрылая чайка». Примерно таким будет ответ неискушенного в естественной истории человека на вопросы «Кто же такие вороны и галки?» и «Нравятся ли они вам?»

Вопрос «Чем же отличается ворона от галки?» будет намного труднее, и большинство на него или вообще не ответит, или ответит неверно, хотя отличить этих птиц совсем не трудно. Разница между этими птицами есть, и немалая.

Во первых, размер. Галка вдвое меньше вороны и ростом примерно с горлицу, хотя заметно выше на ногах. Во-вторых, окраска. Галка намного темнее, более блестящая, издали кажется вовсе черной, хотя вблизи хорошо заметна серебристая «косыночка» и выразительные голубые глаза. У вороны черные только голова, горло, клюв, лапы, крылья и хвост, а туловище светло-серое. И надо признать, что обе птицы выглядят весьма стильно, если к ним хорошенько приглядеться. Галочья фигурка более аккуратная, контуры тела более округлы, а клюв намного меньше, даже в относительной пропорции, чем у вороны.

Призывный вороний крик – это известное всем надсадное карканье. И хотя галки тоже умеют каркать, чаще всего они звонко выкрикивают свое имя «Гал-ка! Гал-ка!»

Вороны устраивают свои похожие на шапки гнёзда на деревьях и всегда поодиночке, причем стайные в другое время птицы в пору гнездования защищают гнёзда от своих же собратьев. А галки норовят поселиться одна возле другой, причем никогда не вьют открытых гнёзд. Они обустраиваются в пустотах старых зданий или в дуплах деревьев. Впрочем, порой галочья семейка может занять пустое гнездо вороны или грача.

Ворона может, конечно, свить гнездо в парке или на городском бульваре, но в большинстве своем эти птицы обустраиваются в городе с осени до весны, предпочитая в пору гнездования более или менее дикую природу. В то же время почти все галки круглый год соседствуют с человеком, но, тем не менее, гораздо больше ворон любят путешествовать, обычно в сообществе грачей.

Галки гораздо доверчивее осторожных – по крайней мере, у нас – ворон, и могут безбоязненно разгуливать чуть ли не под ногами у пешеходов. Они намного общительней, и гораздо чаще ворон примыкают к стаям грачей и даже к скворцам.

Вороны на тех же скворцов, как и на прочую мелкую живность, будь то мыши, птенцы, рыба или лягушки, смотрят лишь как на поживу и могут при случае похитить из гнезда маленького галчонка, хотя осенью и зимой охотно собираются в общие с галками стаи. Галки не крадут воронят, и вообще далеко не столь плотоядны, как вороны. Они редко разоряют гнёзда, недолюбливают мясо и рыбу, и их

излюбленное меню составляют зёрнышки, червячки да букашки.

Но все эти различия не мешают воронам и галкам быть птицами-сестрами из одной чёрной семьи. Они обычны, живут бок о бок с нами, но вовсе не так будничны, как это нередко считают. У них есть немало интересных черт.

Во-первых, голос! Карканье ворон и галдёж галок – это не грубые примитивные крики вроде кваканья лягушек, а сложный язык общения, один из самых сложных в животном мире. Оттенки их голоса богаты, многообразны и несут разную информацию. Воронья гортань по устройству напоминает «музыкальный инструмент» соловья, а то, что большинство звуков, издаваемых этими птицами, неблагозвучны для нашего уха – далеко не их проблемы.

А во вторых, мозги. Еще не так давно о степени ума того или иного животного судили по его предполагаемой близости к человеку. Мол, чем больше оно походит на нас с вами, тем оно умнее. Поэтому непреложной истиной считалось то, что любой примат сообразительнее любого млекопитающего-непримата, любое млекопитающее превосходит по своему умственному развитию любое немлекопитающее позвоночное, то есть птицу, рыбу, змею, черепаху, которые, в свою очередь, на голову выше всех беспозвоночных.

В действительности же слоны оказались смышленее макак и капуцинов, бесхребетный осьминог – просто гений в сравнении с лягушками и рыбами, а вороны и галки стали вровень со многими обезьянами.

Вороны и галки доказали свой ум в лабораториях тем, например, что умеют считать по крайней мере до семи и прекрасно понимают, что большой кусок мяса или сыра невозможно спрятать в слишком маленькую ёмкость, а тем более в плоский предмет (что в силах осмыслить далеко не каждая собака, которая тщетно пытается зарыть кость в половик.) А когда движущееся в определённом направление по игрушечным рельсам лакомство исчезает за ширмой, галка или ворона отлично понимает, что еда никуда не делась, и без колебаний направляется к противоположному концу завесы, где вот-вот должно вынырнуть угощение. Петух, голубь или перепел в такой ситуации оставляет всякие поиски, считая корм исчезнувшим.

Ещё больше умные птицы реализуют свой потенциал в природе. Взять хотя бы добычу корма. Осенью в садах поспевают грецкие орехи, которые вороны любят, пожалуй, не меньше, чем мясо; но, как ни крепок вороний клюв, не просто разбить им прочную скорлупу. Да только разве это проблема для столь смышленых пернатых! Сорвав с ветки орех, ворона взмывает с ним в вышину и бросает всегда на асфальт, на крыши домов, или трамвайные рельсы, или любую другую твердую поверхность. Есть у птиц даже любимые приметные здания, крыши которых они используют как площадки для разбивания орехов. Не всегда с первого раза, но настойчивость вознаграждается, и птице достаются вкусные ядрышки. А бывает и так: ворона целенаправленно бросает орех на проезжую часть, или подкладывает его на трамвайные рельсы. Прогремит трамвай – закуска готова!

Сомневаюсь, чтобы галка отказалась бы от вкусного орехового ядрышка. Но младшие сестрицы ворон подобным вроде не занимаются – пожалуй, не из-за меньшего ума, а из-за меньшего клюва, которым не так-то просто сорвать и удержать довольно-таки большой предмет.

А теперь сравним ворон с другими птицами, например, с дятлами. Конечно, дятел, тоже большой любитель орехов, не стал бы – и не нужно объяснять, почему**,** – бросать плод в твердой кожуре с высоты или подкладывать его под трамвай; но в других ситуациях, где тоже не мешало бы отличать твердое от мягкого, «лесной доктор» ведёт себя крайне недальновидно. Например, зимней порой главная пища самого обычного в наших лесах большого пестрого дятла – сосновые, а в более северных, чем Харьковщина, краях, – еловые семена. И те и другие, как известно, прячутся в шишках и очень лакомы для птиц. Но как их достать? Например, снегири, а порой и полевые воробьи, подбирают то, что осыпалось на снег, чижи и щеглы умело вытягивают семена своими длинными тонкими клювиками, ловко выдалбливают их прямо на ветвях синицы-московки, а гурманы-клесты мастерски потрошат шишки своими загнутыми крест-накрест носами. Герои нашего повествования – серые вороны (но, опять же, почему-то не галки) расклёвывают шишки самым что ни на есть обыкновенным и топорным методом. Иначе ведёт себя дятел. Сорвав шишку, он несёт её к расщелине дерева и там раздалбывает клювом-долотом. В выборе места он очень постоянен, и под такой вот «дятловой кузницей» можно найти целый ворох вылущенных шишек. Шишка – твёрдый предмет

и требует именно такого способа приготовления. А как быть с продуктами помягче?

Те дятлы, что променяли лес на дачные поселки, скоро познакомились с новым для себя растением, приносящим вкусные и сочные плоды, похожие на землянику, но гораздо большего размера – клубникой. Сладок ароматный плод начала лета, но сразу его не проглотишь, а потому дятлы поступают с ягодами точь-в-точь как с шишками – заклинивают в расщелины и бьют клювом-долотом… Брызжет во все стороны душистый сок, клочьями разлетается мякоть, и в птичий желудок попадают лишь жалкие крохи. Невдомёк дятлу, что он мог бы просто-напросто не спеша отщипывать кусочки спелой мякоти, прижав ягоду лапкой, как это сделала бы на его месте ворона, которая ни за что не бросит грецкий орех в песочницу.

Вороний ум проявляется во всем, даже в искусстве полета, хотя здесь, на первый взгляд они не выделяются ничем особенным в пернатом царстве. Однако же…

## ДАВАЙ, ДАВАЙ

Есть в наших краях две «вещие птицы», два «лесных страха» — ворон и филин. На самом-то деле они – обычные пернатые создания со своими птичьими заботами, ничем не хуже и не лучше, скажем, журавля, чечётки или зимородка. Но народ из-за горловых, похожих на человеческий разговор, криков воронов и их пристрастия к падали, ровно как и таинственных ночных скитаний, бесшумного полёта, кошачьих глаз и леденящего душу уханья филинов, с незапамятных времен окружил этих птиц мистическим ореолом. Небылицы легче придумать о том, о ком знаешь мало. Действительно, хотя в прежние времена филины в голодную пору нередко подлетали к селениям в надежде поохотиться на крыс, стащить зазевавшуюся кошку или курицу, а вороны все чаще гнездятся даже в пригородах, человек нечасто сталкивается с этими осторожными птицами лицом к лицу.

Между собой лесные страхи не дружат. Ворон любит день и свет, филин – ночь и тьму. Если филин, облетая свои владения, приметит на ветке дерева сонного ворона, чёрный вещун превратится в обед для царя ночи. А если при свете дня банда воронов обнаружит филина, от бедняги полетят пух и перья…

Вот только в зоопарке ворон с филином не конфликтуют. Хотя бы потому, что их вольеры надежно разделены металлическими решетками и находятся в разных уголках зоопарка.

В неволе у птиц подчас проявляются свои таланты. Например, гуси заводят тесную дружбу с аистами и чайками, фазаны злобно атакуют работниц Птичника, синицы-лазоревки оказываются сущими каннибалками, грачи дразнят павлинов, а двое из четверых воронов научились неплохо разговаривать. Один из них под настроение самозабвенно повторяет свое имя Карлуша, второй – громко свистит и покрикивает «Давай. Давай».

Филины на 180 градусов изменили свой образ жизни. Стали из-за полуденного кормления чуть ли не дневными птицами. А, кроме того, принялись неплохо размножаться, и что ни год благополучно выращивают птенцов. Попробуй прокормить такую ораву. Поэтому молодых филинов, (а на волю отпускать их нельзя – охотиться не умеют), приходится продавать в другие зоопарки. И однажды, перед тем, как продать, двоих филинов-подростков отсадили в вольеру по соседству с обителью воронов. Так что птицам обоих видов пришлось, если не видеть, так уж слышать друг друга.

Вороны заметно оживились. Как-никак, новые соседи, товарищи по неволе. А ими грех перебирать. Так проходил месяц за месяцем.

Наконец, нашелся покупатель на филина – сотрудник одного из новых зоопарков Крыма. Молодой зоопарк активно приобретал птиц и зверей. И филины были как раз кстати.

Вооружившись сачком, заведующий отделом пернатых хищников Владимир Иванович вошел в вольеру филинов. Соседи-вороны встретили его громким криком тревоги. Точно так, как они делают это в лесу. Филины заметались по своему жилищу. Но куда улетишь, если со всех сторон железная решётка?

Резкий взмах сачка, и филин забился под сеткой. А ещё через пару минут царь ночи оказался в картонном ящике. «Кро. Кро. Кро. Давай. Давай. Давай», – надсадно кричали вороны. Но тщетно. Владимир Иванович передал коробку крымчанину. Последовал короткий разговор о том, что по осени можно будет снова приехать за молодыми филинами и орлами. Человек с картонным чемоданом, как ни в чем не бывало, скорым шагом уходил по аллее зоопарка. А ворон не унимался. Он глядел «похитителю» вслед и хриплым голосом кричал: «Давай. Давай. Давай. Давай назад моего друга филина».

Марина Золотаревская

# ЛИСЮСЯ

За нашей школой раньше был маленький парк. А ещё раньше и школы этой не было, я тогда ходил в другую, а парк был большой, как лес. Но потом деревья стали вырубать, чтобы было где строить школу, и парк сделался маленьким, как скверик. Там был дуб – здоровенный, я таких больше нигде не видел – с асфальтовой нашлёпкой, где дупло, и с приколоченной табличкой: «Памятник природы. Охраняется государством». Ну, и другие деревья, помельче.

И ещё те кусты.

Как начинались каникулы, так они как раз зацветали – цветки белые, собраны в кисточки, как у каштанов, только мелкие и очень пахучие. Капустницы от этого запах прямо с ума сходили, их столько летало вокруг кустов, что можно было наловить хоть сто штук подряд.

К осени из цветков получались чёрные ягоды. Может, и не ядовитые, но есть всё равно нельзя. Это не только я, даже Наташка знала. А ягоды красивые. Так она их собирала куклам на угощение. И называла «лисюси». И кусты у неё тоже были «лисюси». Говорила: «Пойдём к лисюсям».

– Почему «лисюси», – добивалась мама, – что ещё за «лисюси»? При чём тут лисы? Или это от слова лес?

А Наташка ей:

– Лисюси, и всё!

У моей сестры всегда так. Сначала придумает слово, а потом ищёт, к чему бы его прилепить.

Я маму спрашивал: «А как эти кусты на самом деле называются?» А она: «Мне что, больше думать не о чем? Будешь в школе учить ботанику, узнаешь!»

Но я узнал без всякой ботаники – от того дядьки.

Я его увидел в парке. Он подстригал кусты: сначала машинкой, а остальное счикивал ножницами. Выходило здорово, только я вдруг подумал – может, кустам больно? Они как раз цвели.

Я остановился и стал смотреть, но ничего не говорил. Дядька сам обернулся. У него был нос, как у орла, и густые усы. Похож на Георгия Саакадзе, только потолще.

Он поглядел на меня и вдруг сказал:

– Ты не думай. Она от этого даже лучше растёт.

Я спросил:

– Она – это кто?

Он ответил по слогам, как учитель:

– Би-рю-чи-на. Это растение называется бирючина.

Тут он ловко отчикнул одну ветку с цветами и дал мне.

– Тебя как зовут? Сергей? Возьми, Сергей, матери отнесешь.

...Пока я шел домой, меня, наверно, тысячу раз сердито спросили: «Кто тебе разрешил ломать ветки?» Я отвечал, что не ломал, мне подарили, – и быстро шёл дальше.

Но одна тётка с тёмной, скрученной на голове косой, похожей на кучку конских яблок, вцепилась в меня и схватила за рукава:

– Ах, он не ломал! Ему, видите ли, подарили! Ты ещё и лжешь, бессовестный!

Она трясла меня и сама тряслась, так что её коса стала разваливаться.

– Ты где учишься? В каком ты классе, я тебя спрашиваю?

– В десятом! – крикнул я, вырвался и убежал.

Дома мне открыла мама. Она тоже сразу рассердилась:

– Ты зачем ломал ветки?

Я стал рассказывать про дядьку из парка.

– Сколько раз тебе говорила: не смей разговаривать с чужими! – не дослушав, крикнула мама и ушла на кухню.

Тогда я позвал Наташку.

– Смотри, Наташа! Это растение называется би-рю-чи-на, а никакая не лисюся.

Наташка заткнула уши, завертелась вокруг себя и запела:

– Лисюся, лисюся, лисюся, лисюся!

...Ветка долго стояла на подоконнике в бутылке из-под молока. Потом цветы на ней стали засыхать и как будто поржавели.

– Выбрось! – велела мама.

Но я видел, что на ветке внизу появились тоненькие белые корешки. И поэтому взял её вместе с бутылкой и водой, прихватил тупой нож, которым чистят картошку, и пошёл в парк. Выбрал место, чтобы немножко на солнце, немножко в тени. Выковырял ножиком ямку и посадил ветку. Полил её водой из бутылки.

– Лисюся! – сказал я и сначала засмеялся, а потом посмотрел, не видит ли кто. Никого вокруг не было.

Потом я часто приходил к Лисюсе, приносил ей воду. Ветка прижилась. На ней самой стали появляться тоненькие веточки. Я представлял, как она разрастётся в целый куст и будет цвести. И дядька, похожий на Георгия Саакадзе, сначала очень удивится – откуда это взялся новый куст бирючины? – а потом его подстрижёт...

Но один раз прихожу, а парк огорожен лохматой верёвкой на железных прутьях. За верёвкой рычит трактор и ходят люди в жёлтых касках, а деревья лежат поваленные.

Я попытался пролезть под верёвку, но на меня заорали:

– Ты куда?! Тебе что, повылазило? Тут работы идут!

Парка за школой больше нет. Нет дуба с табличкой «Охраняется государством», и других деревьев тоже нет. И нет кустов бирючины.

Там теперь асфальтовое поле с футбольными воротами. Иногда нас туда водят на физкультуру. А иногда заставляют выщипывать травку, которая пролезает через асфальт. Это называется «трудовое воспитание».

Сам я никогда бы туда не пошёл.

Тихон Енькин

# СКОМОРОМНОЕ

На злобу дня ответствуйте любовью.

Реклама дезодоранта: «Бог велел нам
добывать хлеб свой в поте лица.
Но ничего не сказал о подмышках».

Плохо, когда тебе угрожает смерть. Но
немногим лучше, когда тебе угрожает жизнь.

Я – разнорабочий литературного цеха.

Праздношатающийся и
трудоприслонившийся.

Осторожно, идут работы над собой!

Таланта искру божью чёрт раздул.

Искусство есть искусственный способ
вызвать подлинные переживания.

Служба отлова бродячих сюжетов.

Дежурная фраза слушает!

Вам пришла ложная посылка.

Я цел лишь потому, что вечно рассыпался: то
в извинениях, то в благодарностях.

Сижу, мечтаю о лоботомии.

Жизнь вытянула из меня все золотые жилы.

Ты куда это ты собрался с мыслями на ночь
глядя?

С тобою я вдвойне один.

Каждый сверчок знай свой шесток и
используй его для прыжка.

Если слишком много людей растворятся в
толпе, она станет перенасыщенной и люди
выпадут в осадок.

Меж нами пролегла черта.
Мы перепрыгнем, ни черта!
Ты прыг сюда, а я туда –
И между нами вновь черта.
Если гора не идет к Магомету,
Как объясните вы эту примету?

Лавки, жара, галдёж, толкотня, пестрота –
Идут туристы крестным путём Христа.

*Любителям альтернативной истории:*
... и когда все ушли с Голгофы, там
появился дьявол. Выдернул гвозди, снял
Иисуса Христа, плюнул-дунул на его раны,
и они зажили.
Спасение человечества не состоялось.

Это не отклонение, это – колебание.

Кто только ни учил физику, химию, математику, но только гении чему-то их научили.

Оптимизм и пессимизм – две крайние степени реализма.

Снижается уровень чувства: высокое – низкое – плоское – глубокое.

Мысли, входите без стука в висках!

Хорошо, когда для плача есть высокая стена.

Чем меньше тираж, тем больше кураж.[1]

Обвиняемый был художественно оправдан.

Дружили не на равных, а на разных.

Глупость, в отличие от ума, способна ответить на любой вопрос.

Приход гостей. Хозяин тут священник. Я пью твоё здоровье. Ух, крепкое!

Улыбка играла на его губах похоронный марш Шопена.

Испытывал гордость, а она не выдержала: сломалась.

Можно ли предать родину... в руки правосудия?

Без спроса пользовался заслуженным успехом.

Соревнования по душевной борьбе.

Я атеист. Я не боюсь смерти. Первое – следствие второго, а не причина.

Не бойся смерти. Мириады прошли через это. И – ничего.

[1] Обращено к редакции альманаха «Образы жизни».

Юрий Золотаревский

## ОБРАЗЫ МИРА

**БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ. БЕРНСКИЙ СОБОР. ФРАГМЕНТ ФАСАДА**

**СТАТУЯ ХРИСТА-ИСКУПИТЕЛЯ НА ГОРЕ КОРКОВАДО В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО**

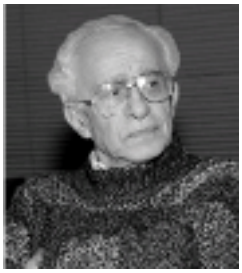
**ВОДОПАД ИГУАСУ НА ГРАНИЦЕ БРАЗИЛИИ И АРГЕНТИНЫ**

**САН-ФРАНЦИСКО. НАБЕРЕЖНАЯ ЭМБАРКАДЕРО, ПИРС №7**

**ПЕРВЫЙ УТРЕННИЙ РЕЙС К СКАЛЕ УЛУРУ. КРАСНЫЙ ЦЕНТР, СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ**

**ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В СИДНЕЕ**

Цветные фотографии
Юрия Золотаревского можно увидеть
на сайте www.obrazyzhizni.com



Борис Бернштейн

# ДРУГИЕ СМОТРЯЩИЕ[1]

## СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ?

Мы видели, что сама картина – ее пространственное построение, композиция, позиция главного персонажа – предусматривает определенный тип зрителя и способ зрительского поведения. Икона устроена так, а не иначе, поскольку она служит предметом поклонения и молитвенного общения. Когда же вы, посетив Третьяковскую галерею, рассматриваете иконы **рядом с** портретами Рокотова или Крамского, «Явлением Мессии» А.Иванова и «Черным квадратом» Малевича как культурные явления одного порядка, вы руководствуетесь понятиями и подходами, создателям и исконным потребителям икон совершенно чуждыми.

Тем не менее сказать, что европейское Средневековье было временем «правильных», адекватных зрителей-иконопоклонников, значило бы крайне упростить дело. Средние века – эпоха длинная, разноликая и насыщенная историческими сдвигами. Не было единого – или единообразного – средневекового зрителя, было множество разных.

Той обобщенной фигуры, которую я однажды условно назвал «средневековым протозрителем», вообще-то не существовало. Такое название ничего не говорит о **пестром, многоглазом, многоликом и многоумном** сообществе смотревших на храмы, замки, дворцы, рельефы, статуи, фрески, мозаики, иконы, иллюстрации и другие украшения в рукописных книгах, на богослужебную утварь в Средние века... Эти люди европейского средневековья входят в поле нашего интереса именно в момент смотрения – вместе с его прямыми и опосредованными эффектами. Но смотрение это разнообразно окрашено и мало чем напоминает зрителя в современном смысле. Смотрят они глазами, которые у всех людей, казалось бы, устроены одинаково? Да, верно. Но видят они по-разному. Культура, в которую они погружены, властно настраивает на свой лад их видение, равно как и понимание и переживание виденного. Вспомним две поучительные картины Марка Тэнси, приведенные в начале нашего разговора: в этом главное отличие индейца от коровы.

## ИКОНОБОРЦЫ И ИКОНОПОЧИТАТЕЛИ

Для начала я хочу припомнить событие, которое произошло в Константинополе – крупнейшем и богатейшем городе тогдашней Европы, столице могущественной Византийской империи – то ли в 726, то ли в в 730 году – источники называют две близкие даты. Там, в самом центре столицы, над главными воротами императорского дворца, находилось изображение Христа. Изображение это встречало всех, входивших во дворец, и видно было всем, проходившим мимо. Выражаясь языком позднейших времен, у этого образа было множество зрителей, иным приходилось видеть его часто.

Так вот, однажды из ворот вышел некий придворный. Или воин. Не знаю, можно ли назвать его зрителем. В руках – или на плече? – у него была лестница, которую он установил так, чтобы добраться до надвратного образа. Поднявшись наверх, он принялся рубить – то ли мечом, то ли топором – священное изображение!

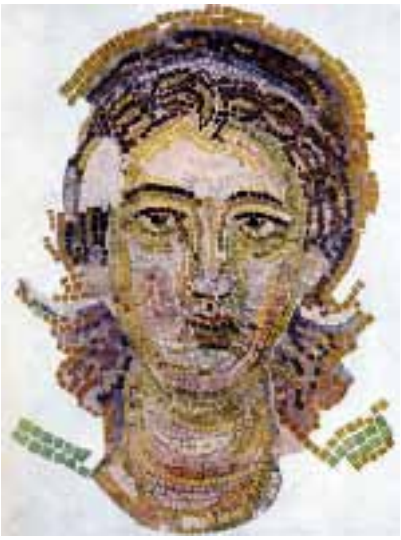
Святотатственное деяние было замечено и наказано немедленно: несколько проходивших мимо монахинь во главе с инокиней Феодосией, увидев, что происходит, стащили вандала с лестницы и растерзали тут же, не отходя от дворцовых ворот. Между тем акт разрушения иконы вовсе не был затеей убитого воина. Таково было распоряжение самого императора, Льва III Исавра. Немудрено, что Феодосия была схвачена, подвергнута пыткам и умерла мученической смертью.

Так, по преданию, выглядела практическая дискуссия зрителей по поводу изображения

[1] Продолжение. См. Б. Бернштейн. Разговоры о зрителе. ОЖ-2011.

Сына Божия в третьей декаде VIII века в самой культурной стране тогдашнего мира.

Современные исследователи склонны считать историю с образом у Медных ворот не более чем легендой в духе традиционной христианской житийной литературы: Феодосия была возведена в ранг христианских мучеников. Тем не менее это тот случай, когда сквозь ткань легенды просвечивает непреложная реальность истории: именно тогда император Лев III положил начало иконоборческому движению, которое сотрясало страну почти два столетия и бурно отозвалось на западе Европы. Спору об изображениях сопутствовало множество жестокостей и уничтожение несчетного множества икон, мозаик, фресок. Есть достаточные основания полагать, что среди них были творения выдающегося художественного качества. Об этом, в частности, свидетельствуют памятники, до которых иконоборцы просто не сумели добраться.[1]



Церковь Успения в Никее. Фрагмент мозаики VII в. (Погибла в 1920-х гг.)

Кажется очевидным, что проблема художественности иконоборцев никак не занимала. Застилавшая их взор ненависть к сакральным изображениям не имела ничего общего с собственно эстетическими суждениями или переживаниями. Главными и единственными стимулами иконоборческого вандализма были идеи теологического свойства: в поклонении иконам чудилось языческое идолопоклонство.

Эта идиосинкразия восходит к иудаизму, в недрах которого она сформировалась. Первым и величайшим иконоборцем был бог Авраама, Исаака, Иакова, – тот, который дал Моисею знаменитую заповедь, вторую из десяти: «*Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им...*» (Исх.20:4-6). Этот запрет определял судьбы изображений в культуре иудаизма, в культурах ислама. Он причинил множество хлопот становящемуся христианству. Ранние христианские писатели принимали ветхозаветный запрет безоговорочно. Первым был сам апостол Павел, обличавший язычников: *«...Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся [...] Они заменили истину ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки, аминь*» (Рим.:23, 25). Отцы и учители церкви на первых порах мыслили об изображениях столь же нетерпимо. Ветхозаветная аргументация запрета на изображения была для них основой, а знакомство с античной культурной традицией делало их критику более емкой. Против изображений высказывались едва ли не все раннехристианские мыслители – Климент Александрийский, Тертуллиан, Юстин Мученик, Татиан, Афинагор, Ориген, Арнобий, Афанасий...

Тем не менее сакральные изображения постепенно вошли в практику христианского культа и стали необходимой частью христианской культуры. Причины начальной победы иконопочитания интересны сами по себе – но это не наша тема. Достаточно будет предположить, что христиане первых веков желали видеть образы своего бога и его святых – и эта ж а ж д а в и д е т ь оказалась сильнее всех доводов Ветхого завета и всех суждений раннехристианских мудрецов: образы не замедлили появиться. Но сомнения в их правомерности остались и не раз взрывались иконоборческими бунтами. Византийский случай – лишь первый и, можно сказать, классический. Там иконоборческая смута, пусть с перерывом, длилась добрых полтора столетия.

Вот тут бы и расспросить византийского интеллектуала, а заодно и византийского обывателя (нас ведь занимает всякий зритель, не так ли?), как они смотрели на церковные образа, на иконы, фрески и мозаики? Что там видели? Какие чувства испытывали?

Сохранившиеся свидетельства дают вопрошающему смутные ответы – неполные, нередко отрывочные, невнятные, сбивчивые, неискренние, деформированные партийными страстями и вообще заимствованные, не свои. Тем не менее приходится

[1] Напрмер, такие уцелевшие памятники доиконоборческого периода, как мозаики Равенны, древнейшие мозаики церкви Успения в Никее, иконы из собрания монастыря Св. Екатерины на Синае и др.

ими обходиться, лучшего не дано.

Итак, византийское общество VIII – IX вв. было расколото на две враждующие половины – иконоборцев и иконопочитателей. Следует предположить, что иконоборцы смотрели на священные изображения – других, еще античных, светских или утративших ореол сакральности в византийской столице было немало, но не о них шел спор – с ненавистью и уничтожали их физически везде, где только возможно. Иконоборческое движение имело своих вождей, идеологов и теоретиков, которые отчеканивали комплекс иконоборческих идей в слове: писали, учили, фиксировали в делах и постановлениях иконоборческих соборов. Но вот незадача: в конечном счете победа досталась иконопочитателям. Победители, как водится в таких случаях, постарались уничтожить не только побежденных, но самое их семя – их идеи, их логику, их аргументы. Иконоборческого слова мы не слышим. Лишь изредка к нам доходят их голоса – когда враги, иконопочитатели, их цитируют или пересказывают в своей полемике, с тем, чтобы опровергнуть.

Тем не менее эти скудные отрывки сообщают кое-какие сведения о странном субъекте – эдаком парадоксальном эстетическом существе, которого мы вправе назвать иконоборческим зрителем. Ибо, как выясняется из документальных обмолвок, иконоборцы были не против искусства. Они различали сакральные образы, как предмет поклонения, и светские сюжеты, как предмет эстетического созерцания. Первое им было ненавистно, второе доставляло наслаждение. Вот как это выглядело на деле.

В одном житийном сочинении, написанном иконопочитателем, диаконом Стефаном, рассказывается – с отвращением, разумеется, – о деяниях императора-иконоборца Константина V, сына и последователя инициатора иконоборчества императора Льва Исавра. Константин, повествует диакон Стефан, велел ободрать со стен столичной церкви Влахернской Божией Матери картины на евангельские сюжеты; на их месте были выложены мозаики, изображавшие деревья, цветы, птиц и зверей, посреди побегов плюща копошились журавли, вороны и павлины... Тем самым, заключал диакон, храм был превращен «как бы в овощной склад и птичник»[1]. Замечательно, что, по мнению повествователя, диакона-иконопочитателя, растительный и анималистический декор сделал церковь «можно сказать, вовсе не украшенной»[2]. Зритель диакон Стефан словно бы и вовсе не видит украшения церкви, исполненного при императоре Константине, светские картины для него эквивалентны отсутствию декора. А для иконоборческого глаза церковь Влахернской Божией Матери была украшена и, скорей всего, украшена роскошно[3].

Мечеть Омейядов в Дамаске. VIII век.

Иными словами, иконоборцы не были врагами эстетического удовольствия от созерцания жизнеподобных изображений. Только в сакральных образах им виделась угроза языческого идолопоклонства. Тут религиозное чувство оказывалось сильнее эстетического переживания: красота мозаик и икон не остановила ни одного из разъяренных иконоборческих погромщиков.

Ну, а что защитники икон?

Иконопочитатели в глазах потомков оказались в куда более выигрышном положении: они победили. Писания иконоборцев, их аргументы, постановления иконоборческих соборов были уничтожены. Сочинения защитников иконопочитания – к нашим услугам. Эти одаренные люди, страстные полемисты, искусные диалектики создали тексты, составившие фундамент богословия иконы.

Но вот что примечательно: защитники икон, иконопочитатели, следует признать, были точно

[1] Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986, с.54.

[2] Mango C. The Art of the Byzantine Empire. 312-1453. Sources and Documents. Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 1972, p.153.

[3] После окончательной победы иконопочитателей мозаические «птичник и овощной склад» были уничтожены в свою очередь. Историки виантийского искусства предполагают, что представление о погибших росписях иконоборцев можно составить по мозаикам Большой мечети Омейядов в Дамаске. Они выполнены были в начале VIII века, незадолго до начала иконоборческой смуты в Византии, приглашенными в мусульманский Дамаск греческими мастерами.

так же нечувствительны к эстетическим качествам живописи. Мы можем сколько угодно штудировать писания Иоанна Дамаскина или Феодора Студита, но собственно эстетической аргументации мы там не найдем. Их занимали совсем другие вещи.

Они напоминали, что сам Христос, явленный во плоти, данный физическому зрению смертных, был образом – образом Отца. Они утверждали, что почитание икон не есть почитание материального объекта, доски и красок, поскольку главное в иконе – не вещественность, а сходство, подобие небесному оригиналу. Благодаря зрительному подобию поклонение, воздаваемое образу, передается первообразу. И еще – благодаря подобию иконный образ становится носителем благодати. Ну, а доминантное эстетическое качество – красота, зримая красота, или выразимся иначе – чувственная красота (ибо зрение – важнейшее из человеческих чувств), где она? О ней как раз речи нет.

Победа иконопочитателей имела решающее значение для дальнейших судеб изобразительной культуры не только в восточном христианстве, но в значительной мере и на западе Европы. Победи иконоборцы – и европейское христианское искусство уподобилось бы искусству ислама. Правда, иконоборческие идеи и настроения не были уничтожены полностью. Они тлели в низовых пластах христианского сознания и иногда вспыхивали ересями – у богомилов, катаров и других – а затем, в XVI веке, взорвались мощными иконоборческими эксцессами Реформации. Но пока что – изобразительная культура спасена, церкви снова украшают сакральными изображениями, иконописцы пишут иконы...

А там, где образы, там и зрители.

## ЗАЕМНОЕ СЛОВО

Согласимся, что молитвенное и ритуальное общение с сакральным образом есть общение «не зрительское». Более того, можно вспомнить, что образы священных персонажей на протяжении Средних веков выполняли и другие нехудожественные функции. Известно, что к иконам и статуям святых обращались, как к земным, тут и сейчас присутствующим заместителям священных персонажей. К ним нередко адресовали просьбы практического характера: о даровании дождя в засуху и о прекращении дождей, если непогода опасно затягивалась; их просили о защите от болезней, о помощи в ратном деле и об обильном урожае. И в случае, если святой не исполнял просьбы, его образ мог подвергнуться нешуточному поруганию. Случалось, что статую нерадивого небесного покровителя бросали в грязь и топтали ногами[1].

Оставим, однако, в стороне все способы «не зрительского», не эстетического восприятия и обращения с творениями человеческого гения и человеческих рук, которые мы сегодня называем искусством. Пусть в религиозных практиках средневековья именно эти способы безусловно преобладали, пусть. Это вовсе не значит, что люди той эпохи – а длилась она добрую тысячу лет – были лишены эстетического чувства и не знали эстетических переживаний. Средние века – время высокой и нередко утонченной культуры, и ее эстетическая грань была по-своему отшлифована. Важно увидеть ее своеобразие, преломленное в человеческом, «зрительском» переживании.

Лучше всего было бы расспросить об этом достойных, «представительных» людей средневековья. Такая возможность упущена. Остается заглянуть в сохранившиеся документы. Мы найдем там скупые, но не лишенные интереса свидетельства.

Ясно, что письменные сообщения оставили люди грамотные. Их образованность накладывала отпечаток на характер их писаний: они выражались так, как было принято в сочинениях, признанных в те времена образцовыми. К сожалению, нередко случалось и так, что образцы подавляли живое чувство и живое слово – и тогда за ученой речью, полной странствующих клише, собственно человеческие реакции уже не различить. Так у ученых визнтийских авторов похвалы церковным изображениям сводились к варьированию античного общего места «как живой» – и это вне зависимости от действительного жизнеподобия восхваляемого образа.

В IX веке, после окончательной победы над иконоборцами, в константинопольском соборе Св.Софии восстановили мозаику, изображающую Богородицу с младенцем. Высокообразованный патриарх Фотий в специальном послании, посвященном мозаике, говорил о мозаичной Богородице словами, напоминающими античные тексты.

*«...Можно подумать, что она способна говорить». «...Губы с помощью красок сделаны такими яркими, что они кажутся просто сжатыми и молчащими, как при таинствах, но их молчание ни в коем случае не бездейственно, точно так же красота ее форм не вторична, скорее это реальный*

[1] См.: А.Гуревич. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. Москва: Искусство, 1990, с. 287-288.

*архетип*».[1]

Современный исследователь показал, что ни автор послания, ни аудитория, к которой он обращался, хорошо разглядеть высоко вознесенную мозаику не могли. Патриарх, знаток античной литературы, прибег к безличному обороту – тем более, что такой оборот подходил к риторической задаче послания.[2]

Мозаика в абсиде собора Св. Софии в Константинополе. IX век.

Однако, варианты античного клише являлись в разных контекстах. Вот красноречивый пример.

На рубеже XIII и XIV вв. византийский автор восхвалял образ Христа в константинопольской церкви Святых Апостолов, работы мастера Евлалия, в таких словах:

«*То ли Христос сам спустился с небес и показал точные черты лица тому, чьи руки так способны к выражению, то ли славный Евлалий поднялся на самое небо, чтобы своими умелыми руками написать точную внешность Христа*».[3]

Этот риторический вариант традиционной похвалы «как живой» есть ни что иное, как перепев античной эпиграммы, посвященной статуе Зевса, работы Фидия, в храме Зевса в Олимпии:

«*Зевс ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ,*

*Или на небо ты сам, Бога чтоб видеть, взошел?*»[4]

За этими мигрирующими в веках блоками личная или групповая оценка произведения остается неразличимой, следы живого и непосредственного художественного переживания стерты, собственно зрителя – не разглядеть и не услышать.

Конечно, можно предположить и иное. Не исключено, что глаз каждого из высокообразованных авторов, воспитанный на многих и многих образцах византийской живописи, выдержанных в принятой там условной живописной системе, был натренирован на чуткое восприятие тонких стилистических различий, без труда регистриривал большую или меньшую близость образа к реальности в пределах этой самой системы. Стоило иконописцу или мозаичисту сделать шаг в сторону зрительного жизнеподобия, чтобы искушенный знаток заметил иное качество и оценил его по достоинству. Тут и приходился к месту хорошо известный и легко попадающий под руку античный оборот.[5]

## КРЕСТОНОСЕЦ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Вот почему особый интерес представляет наименее культивированный свидетель, излагающий свои впечатления не по правилам – у него можно обнаружить естественность и непосредственность суждений, недоступные ученым авторам. Таким писателем можно счесть бедного французского рыцаря Робера де Клари, участника Четвертого крестового похода, кульминационным событием которого была – как это ни странно – осада, штурм и разграбление Константинополя крестоносным войском в 1204 году. Вернувшись домой, де Клари описал историю похода и собственные впечатления в живом повествовании. Абсурдность кровавой войны христиан с христианами, не первой и не последней, равно как и военная сторона истории, нас не должны занимать. Но описание блистательного Константинополя, крупнейшего, богатейшего и прекраснейшего города тогдашней Европы, увиденного глазами впечатлительного рыцаря из серого французского захолустья, обладает ценностью редкого подлинного свидетельства. Мы слышим голос *оттуда*. Робер де Клари рассказы-

1 Цит. по: C.Mango. The Art of the Byzantine Empire. 312-1453. Sources and Documents, p 106.

2 См.: R.C.Nelson. To Say and To See.. Ekphrasis and Vision in Byzantium. // Visuality Before and Beyond Renaissance: Seeing as Others Saw. Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2000.

3 C.Mango, цит. соч., с. 231-232.

4 Античные поэты об искусстве. Ленинград: Гос. издательство изобразительного искусства, 1938, с. 31.

5 Так иеродиакон Зосима писал о статуе императора Константина в Царьграде, что она «аки муж живый», Стефан Новгородец – о статуе императора Юстиниана – «аки жив», другой автор — о росписи в Софийском соборе: «… написан Соломон мусиею, аки жив»; и т.д. (См. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли.Т. I. Москва: Изд. АХ СССР. 1962, сс. 426, 437, 438).

вал о том, что его поразило и врезалось в память, на языке среднего человека его времени. Вот как это выглядит.

Описание императорского дворца:

*«И дворец Львиная Пасть был так богат и построен так, как я вам сейчас расскажу. Внутри этого дворца [...] имелось с пять сотен покоев, которые все примыкали друг к другу и были все выложены золотой мозаикой; в нем имелось с добрых 30 церквей, как больших, так и малых; и была там в нем одна, которую называли Святой церковью и которая была столь богатой и благородной, что не было там ни одной дверной петли, ни одной задвижки, словом, никакой части, которые обычно делаются из железа и которые не были бы целиком из серебра, и там не было ни одного столпа, который не был бы либо из яшмы, либо из порфира, либо из других богатых драгоценных камней. А настил часовни был из белого мрамора, такого гладкого и прозрачного, что казалось, будто он из хрусталя; и была эта церковь столь богатой и столь благородной, что невозможно было бы вам и поведать о великой красоте и великолепии этой церкви».*

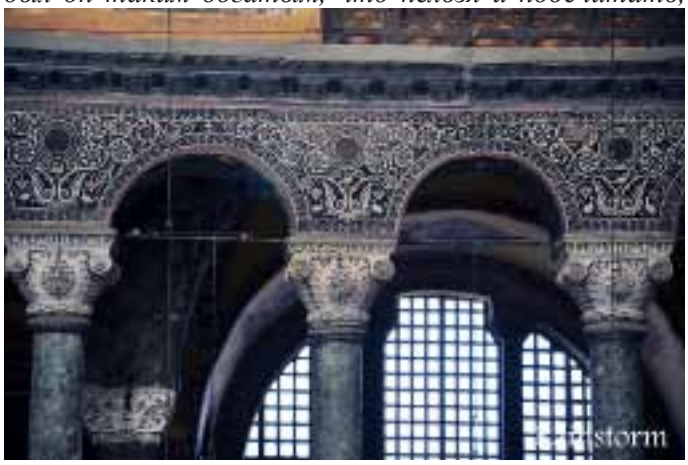
Другой дворец – Влахернский:

*«...там имелось с добрых 20 церквушек, и потом там было с добрых две или три сотни покоев, которые все примыкали один к другому и все были выложены золотой мозаикой».*

Описание собора Св. Софии:

*Монастырь св. Софии был совершенно круглым. Внутри монастыря были своды, которые тянулись вокруг и поддерживались толстыми и великолепными столпами, так что там не было ни одного столпа, который не был бы либо из яшмы, либо из порфира, либо из богатых драгоценных камней. И потом не было ни одного столпа, который не приносил бы исцеления: тот исцелял от боли в пояснице, когда об него терлись, тот исцелял от боли в боку, а другие помогали от других болезней; и не было в этом монастыре ни врат, ни засовов, ни задвижек, ни какой части, которые обычно являются железными и которые не были бы целиком из серебра.*

*Главный престол монастыря был столь богат, что нельзя было бы его и оценить, потому что доска, которая была на престоле, была из золота и драгоценных камней, расколотых и сплавленных вместе; так приказал сделать один богатый император; а доска эта была длиною в 14 стоп; вокруг престола были серебряные столпы, которые поддерживали терем над престолом, сделанный как колокольня и весь из литого серебра; и был он таким богатым, что нельзя и подсчитать,*



Собор Св. Софии. Фрагмент аркады Константинополь. VI в.

*сколько он стоил. Место, где читали евангелие, было столь богато и столь прекрасно, что мы не смогли бы и описать вам, как оно было сделано. Потом по всему монастырю сверху донизу спускалась добрая сотня люстр и не было ни одной, которая не висела бы на толстой серебряной цепи толщиной в человеческую руку; и в каждой было 25 или более лампад, и не было ни одной, которая не стоила бы добрых 200 марок серебра.*

Французского дворянина более всего поражали количества – множество зал, огромные размеры, большие массы. И затем, его восхищение вызывают блеск, яркость, фактура, а в особенности – роскошь, богатство, дороговизна материалов и качество их обработки. Но вот, во Влахернском дворце он видит анфилады комнат, украшенных золотыми мозаиками, – ну, и что? «Золотые мозаики» – это мозаические картины с золотым фоном. Постойте, постойте, рыцарь! Остановитесь на мину-

Собор Св. Софии. Константинополь.VI в.

ту и посмотрите, что же там изображено! И как? Об этом у Робера ни слова. То же – с мозаиками, украшающими интерьеры собора Св. Софии (а их было немало!) и едва ли не со всеми другими изображениями, которыми был переполнен имперский Константинополь. Кажется, он их вовсе не видит, а если где и замечает, то ничего не может сказать, кроме стандартных похвал:

*Вдоль этой площади была стена, которая имела с добрых 15 стоп в высоту и 10 — в ширину; и сверху на этой стене были фигуры и мужчин, и женщин, и коней, и быков, и верблюдов, и медведей, и львов, и множества других животных, отлитых из меди. И все они были так хорошо сделаны и так натурально изваяны, что ни в языческих странах, ни в христианском мире не сыскать столь искусного мастера, который смог бы так представить и так хорошо отлить фигуры, как были отлиты эти.*

Мало этого. Как заметили исследователи записок Робера, он нигде ничего не говорит о цвете. Его текст дальтоничен.

Почти каждый период своего описания Робер заключает некоторым клише относительно невозможности охватить все: о «*дворцах, о других чудесах, которые там есть, мы отказываемся вам говорить, ибо ни один человек на земле, сколько бы он ни пробыл в городе, не сумел бы вам ни назвать их, ни рассказать о них, ибо если бы кто-нибудь поведал хоть о сотой доле богатств, обо всей красоте и великолепии, имевшихся в монастырях, и в аббатствах, и во дворцах, и в городе, то его сочли бы лжецом и вы бы ему не поверили».*[1]

В этом гигантском остатке, громоздящемся за границами текста, возможно, остались сюжеты и образы икон, фресок и мозаик, а заодно и хроматические характеристики увиденного Робером. Но верней будет счесть, что риторический оборот скрывает и одновременно выдает бедность понятий, границы эстетической чувствительности, ориентацию глаза, кривизну поля видения и, разумеется, отсутствие соответствующего словаря. На то он и бесценный свидетель, чтобы бесхитростно представить нам зрительскую ситуацию подобных ему людей на рубеже XII и XIII веков. Таков бедный рыцарь из французской провинции в качестве зрителя.

В этом месте уместно задаться простым вопросом – были ли переживания и оценки Робера де Клари собственно эстетическими?

Вот как пишет о зрительских фрагментах «Хроники» де Клари современный исследователь.

*«Из хроники Робера де Клари явствует, что произведения искусства восторгали его не сами по себе — ему не дано было их понять, а лишь те аксессуары памятников архитектуры, скульптуры, прикладных искусств и т. д., которые более всего поразили провинциального французского рыцаря, простого и по-деревенски бедного.Он увидел в Константинополе прежде всего богатство — мрамор и порфир колонн, драгоценные камни, украшавшие оклады икон, и золото алтаря в храме св. Софии, сотню лампадных люстр на его своде. Взглядом грабителя Робер оценивает каждый светильник — в 200 марок серебра (гл. LXXXV) )».*[2]

Так как же – взглядом грабителя или взглядом зрителя оценивает Робер увиденное?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо прийти к согласию относительно того, что это такое – взгляд зрителя. К тому времени, когда крестоносный зритель разглядывал Константинополь, кое-что на эту тему было уже сказано. Еще древние задумывались над природой удовольствия, получаемого от образов искусства. «*Ведь и зрение, взирающее на произведения скульптуры, живописи, резьбы и прочие создания рук человеческих, испытывает чувство удовлетворения и больше уже ничего не ищет, если находит в этих произведениях приятность и красоту*»[3], – писал Дионисий Галикарнасский, историк и ритор I века до н.э., и он отнюдь не был первым, кто пришел к такому выводу. Греческие софисты делили человеческие умения на два рода: одни – для пользы, другие – для удовольствия, т.е. «не пользы». В веке, который открывали дела Четвертого крестового похода, великий богослов Фома Аквинский будет говорить о том же.

«*Прекрасное добавляет к добру некую соотносительность с познавательной способностью, и поэтому благом следует называть то, что просто удовлетворяет желание. Прекрасным же называется то, что доставляет радость самим своим восприятием*».[4]

Робер де Клари не читал греческих мудрецов и вряд ли узнал бы мнения Св. Фомы, ес-

[1] Все отрывки из сочинения Робера де Клари цитированы по: http://militera.lib.ru/h/declari/index.html

[2] М.А.Заборов. Робер де Клари и его хроника. // Робер де Клари. Завоевание Константинополя. М. Наука. 1986. Цит. по: http://militera.lib.ru/h/declari/index.html

[3] История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли.Т.I. Изд. Академии Художеств СССР. М. 1962, с. 181.

[4] Фома Аквинский. Сумма богословия. Цит. по: Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения. М.: Музыка, 1966, с. 304-305.

ли бы родился на полвека позже. Он не задумывался о том, каким взглядом надо смотреть на чудеса Царьграда, он смотрел как умел – вот и все. Классифицировал его смотрение позднейший историк, который заговорил о «взгляде грабителя». Образ яркий, но скорее упрощенный. Восхищение Робера, невзирая на его простодушие, куда сложнее. Неясно, насколько французский рыцарь участвовал в грабежах и много ли вывез в родную Пикардию. Возможно, что-нибудь он и прихватил – все брали. Но его восхищение количеством, дороговизной и качеством увиденного безусловно включает в себя бескорыстное любование. В его восторгах есть доля радости от самого восприятия, от переживания «приятности и красоты». В его описаниях, в самой ткани его повествования трудно вычленить «чистый» эстетический восторг, он неразделимо смешан с пресловутыми «грабительскими» двумястами марок серебра – но он там есть. Поэтому Робер де Клари – зритель, хотя и на свой манер.

## АББАТ СЕН-ДЕНИ

Рядом с ним можно допросить зрителя другого ранга – человека, принадлежавшего к самой отборной элите Франции, блестяще образованного и разносторонне одаренного. Он тоже оставил драгоценный текст. Читая его строки, временами нельзя не вспомнить рыцаря Робера. В некоторых местах захочется воскликнуть – «до чего разные!», в других – «до чего похожи!»

Сугерий (так на латинский манер, а по-французски – Сюжер), будущий аббат Сен-Дени, родился примерно за сто лет до Робера де Клари. Крестьянский сын, одаренный исключительными способностями, он воспитывался в аббатстве Сен-Дени, под Парижем, вместе с будущим королем Людовиком Толстым (Шестым) и впоследствии стал виднейшим деятелем королевства. Когда следующий король, Людовик VII, отправился в крестовый поход, он оставил Сугерия правителем королевства. Аббат великолепно справился с трудностями государственного управления, возможно – лучше самого короля.

Сугерий, став аббатом Сен Дени, затеял перестройку ветшавшего и тесного собора аббатства. Перестройка оказалась судьбоносной – новый храм положил начало готическому стилю, покорившему вскоре всю Европу. Сугерий составил примечательную записку о строительстве нового собора. В этом документе нынешнему читателю кое-чего не хватает; в частности, Сугерий не заметил, что в соборе, строительства которого он был инициатором и возведением которого он прямо, непосредственно, ежечасно руководил, заложена программа нового стиля, хотя новизну построенного им собора чувствовал отчетливо.[1] Впрочем, до понимания истории архитектуры как истории смены стилей было еще далеко – тут претензии к Сугерию лишены смысла.

Витражи собора Сен-Дени. XII век.

Сугерий – инициатор, идеолог и мотор этого судьбоносного строительства – был одновременно и созерцателем, и ценителем творимого на его глазах грандиозного произведения. В строках его записки выговаривает себя образованный и рафинированный зритель первой половины XII века – не чета простому рыцарю из пикардийского захолустья. Но их роднит нечто весьма существенное. Если неравнодушие Сугерия ко всяческим изображениям отличает его взгляд от взгляда Робера, то главное – его неутолимая страсть ко всему сияюще-прекрасному, к золоту и эмали, хрусталю и мозаике, жемчугам и драгоценным камням наиразнообразнейших видов, к сардониксу, к витражному стеклу, изображения из которого были созданы «тонкими руками многих мастеров из многих уголков страны»[2] – эта страсть питается из того же источника, что и эстетические восторги Робера де Клари. Аббат не устает восхищаться роскошью творимых под его руководством интерьеров, богатством, дороговизной, многоцветностью и блеском церковной утвари. Ему представляется, что его страсть находится в согласии с волей самих

[1] См. превосходный очерк о Сугерии «Аббат Сюжер из Сен-Дени» в книге: Эрвин Панофский. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. Я на него еще буду ссылаться.

[2] Там же, с. 157.

христианских мучеников, которым посвящена церковь, и он не раз указывает, что они незримо способствовали нахождению бесценных материалов и струению потока драгоценностей, стекавшихся со всех концов.

Новая церковь аббатства Сен-Дени становится главным творением, делом жизни Сугерия. Как пишет исследователь:

«*С первых же лет своего пребывания в сане аббата Сюжер начал собирать средства для того, чтобы перестроить и заново отделать базилику и после смерти оставил ее "обновленной от самого основания" и полной сокровищ, уступающих лишь сокровищам Айя-Софии (а быть может, и превосходящих их)*».[1] Тем самым сокровищам, которые полвека спустя будут изумлять Робера де Клари. Другое дело, что высокообразованный и утонченный аббат сумел и должен был придать своим восторгам сублимированные теологические обоснования, с которыми он справился не менее блистательно.

Поскольку Сугерий сам всячески способствовал сосредоточению богатства, явленного в зримой роскоши архитектуры храма и его внутреннего убранства, он не мог не задаваться вопросом о том, насколько такая чувственная роскошь угодна Небу. Задаться таким вопросом ему помогали. Во Франции в то время находились влиятельные священнослужители – сторонники строгой христианской аскезы, которые критиковали расточительную роскошь храмов, в том числе – и нового Сен-Дени. Тут было о чем подумать – и тут на помощь Сугерию, в который раз, явился небесный покровитель, которому посвящено аббатство и его собор.

Пора присмотреться к святому Дионисию, христианскому просветителю Франции и покровителю города Парижа. Кто такой этот Дионисий или, по-французски, Сен-Дени?

На этот вопрос трудно ответить кратко. Для Сугерия это был человек, чей образ должен был ему рисоваться примерно так, как это изложено в современном Православном календаре.

«*Священномученики Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, пресвитер Рустик и диакон Елевферий убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году (по другим данным – в 110 году), во время гонения при императоре Домициане (81 – 96). Святой Дионисий жил в городе Афины. Там же воспитывался и получил классическое эллинское образование. Затем отправился в Египет, где в городе Илиополе изучал астрономию. В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда). (...)*

*Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге (Деян. 17, 16 – 34), Дионисий принял это спасительное благовестие и стал христианином. В течение трех лет Дионисий был сподвижником святого апостола Павла в проповеди Слова Божия. Впоследствии апостол Павел поставил его епископом города Афин. (...)*

*После кончины апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании. В Галлии, во время преследования христиан языческими властями, все три исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. (...) Наутро мученики были обезглавлены. Святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катулла погребла останки мученика.*

*Большое начение для Православной Церкви имеют творения святого Дионисия Ареопагита. До нашего времени из них сохранились четыре книги: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "О Именах Божиих", "О мистическом богословии", а также десять посланий к разным лицам*».[2]

Добавлю к этому, что казнь происходила на возвышенности, получившей название Горы мучеников (Монмартр), а тело святого прошествовало с собственной головой в руках до того места, где и было учреждено аббатство Сен Дени.

Св. Дионисий с отрубленной головой в руках.
Собор Парижской Богоматери. Конец XII в.

[1] Там же, с.146.

[2] http://days.pravoslavie.ru/Life/life1657.htm

Так выглядит догматическое предание о святом Дионисии. Исторические исследования рисуют иную картину: там образ святого распадается и на его месте появляются три разных персонажа.

Миссия крещения Галлии и мученическая смерть Дионисия Парижского датируются ныне III веком[1]. Ясно, что член афинского ареопага и друг апостола Павла, погибшего где-то в середине шестидесятых годов I в., не мог жить так долго: привилегия сверхприродного долгожительства была дана только ветхозаветным патриархам, христианские святые проживали естественный человеческий век, если течение их жизни не прерывалось насильственно. Значит, Дионисий, крестивший галлов – святой, которому посвящено аббатство Сан-Дени, – был другой человек, нежели упомянутый в послании Павла афинский христианин и первый епископ Афин.

Что же касается сочинений, подписанных именем Дионисия Ареопагита, то подлинное авторство и время написания этих столь важных для христианской мысли текстов по сей день остаются предметом споров и сомнений. Одно ясно: Дионисий Ареопагит их не писал, человек, подписывавший свои сочинения этим именем, жил не ранее V в., поэтому его ныне называют условно «Псевдо-Дионисием Ареопагитом»[2].

Так вот, всего этого аббат Сугерий не знал. Для него ученик апостола Павла, святой мученик, крестивший галлов и автор «Ареопагитик» – одно и то же лицо. Когда он говорил о «святых отцах», он имел в виду именно этого святого и двух его спутников-христиан, казненных вместе с ним на Монмартре. Только их незримым участием и помощью Сугерий объяснял нежданную легкость, с какою находились нужные для строительства материалы, и чудесную прочность, какую недостроенные конструкции обнаруживали в случаях опасной непогоды. У него же – в его теологических сочинениях – Сугерий находил аргументы, оправдывавшие и возвышавшие страсть аббата к богатству, пышности и блеску. Ибо, по Псевдо-Дионисию, созерцание чувственного мира есть необходимое начальное условие духовного восхождения к миру сверхчувственному: *«... мир сей, получив бытие от Истинной Красоты, в устройстве всех своих частей отражает следы духовной красоты, которые могут возводить нас к невещественным первообразам»*.[3]

Именно полнота и богатство чувственной красоты позволяют душе подниматься к лицезрению красоты высшей, бестелесной, невидимой, сверхчувственной. Это духовное восхождение к умопостигаемым высотам составляет смысл и цель земных, эстетических созерцаний; Сугерий называет его «анагогическим» – т.е. ведущим вверх, возвышающим, таинственным.

Таким образом, изобилие чувственной приятности, роскоши и блеска получает теологическое обоснование и оправдание: глубинная сущность наслаждения выносится за пределы чувственного мира. Но в начале пути – сверкающее, ослепляющее богатством совершенство вещественного мира.

В этой точке между аббатом Сен-Дени Сугерием и бесхитростным рыцарем Робером де Клари существует согласие. Правда, Робер не осознает анагогической подкладки своих восторгов, тогда как Сугерий на ней особо настаивает. Тем не менее фундаментальное эстетическое, «зрительское» переживание красоты как богатства, яркости, сияния, блеска объединяет этих столь разных созерцателей эпохи зрелого Средневековья. Это, видимо, голос самого времени – так тогда видели, так ценили, так дивились, так наслаждались...

Продолжение следует.

---

[1] См., напр., L.Cohn-Sherbock. Who's Who in Christianity. London and New York: Routledge, 1998. P.70.

[2] В середине прошлого века грузинский ученый Ш.Нуцубидзе предложил гипотезу, по которой этим тайным автором был грузинский мыслитель Петр Ивер. Идея Нуцубидзе получила поддержку некоторых западных ученых, о ней благосклонно отзывался и А.Ф.Лосев.

[3] Псевдо-Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. § 4. http://royallib.ru/read/areopagit_dionisiy/o_nebesnoy_ierarhii.html#10240

Борис Бернштейн

# ДМИТРИЙ ЯНУШКЕВИЧ, ХУДОЖНИК

Романтический мотив: черным силуэтом – всадник на коне. (*См.стр.256;1–Ред.*)Силуэт крохотный по отношению к целому картины, но все важное хорошо различимо – конь несется стремительной рысью, всадник чуть привстал на стременах, длинный плащ развевается по ветру почти горизонтально, может показаться, что это архангельское крыло, да и пропорции коня, его удлиненная шея и маленькая голова напоминают об иконных конях, или об изысканных палехских, или о конях с картин Петрова-Водкина – впрочем, родом из той же иконной стилизации. Всадник – единственная отчетливо читаемая форма, все прочее хотелось бы назвать фоном, да нельзя, это бесформенный красный туман, пространство пребывания всадника, заполненное цветной субстанцией разной плотности. Художник назвал эту субстанцию пламенем.

Место, которое занимает всадник, имеет решающее значение, это малое пятно организует и определяет целое. Корпус лошади находится чуть выше центральной горизонтали картины, но до центра квадрата – на пересечении диагоналей – всадник не доскакал. Если бы он оказался в геометрическом центре картины, динамика его скачки была бы ослаблена. Увеличение пространства **перед** обеспечивает простор для полетного движения. Подобный сдвиг по отношению к середине не требует специальных расчетов, достаточно интуиции и тренированности глаза. Художник чувствует, что коню нужно дать куда скакать.

Тем не менее, стремительная скачка героя драматически затруднена, виною этому пламенный туман, так или иначе заполняющий картинный космос. Просветленный и прозрачный позади всадника, он грозно клубится, густеет, темнеет, тяжелеет под и перед ним. Бег коня упирается в плотную, горячую тьму, где ни дороги, ни пространства, ни дали уже не разобрать.

Тут реальный смысловой центр картины, фокус конфликта.

Фигура всадника находится на острие светлого клина. Позади нее остается, нет – проявляется свет, материя пронизывается сиянием, одухотворяется. Всадник вспарывает тьму, высвобождая сокрытую в ней светлую энергию. Она там есть, тьма нигде не сгущается до безнадежной черноты малевичева квадрата, свет просто надо выпустить на волю – и он заполнит мир. Это уже случилось за спиною всадника.

Всадника – вестника? Воина? Рыцаря? Или всадника – символического двойника самого художника? Не следует ли вообразить, что герой, расталкивающий, раздвигающий, прорывающий раскаленную тьму – сам Дмитрий Янушкевич?

Мне почему-то кажется, что картину он сочинил о себе самом. Возможно, это входило в его сознательные намерения, но вовсе не исключено, что образ спонтанно зародился где-то в подсознании. Впрочем возможно, что он не себя имел в виду, а нечто совсем другое. Я не стал его расспрашивать: в конце концов, существуют такие вещи, как свобода толкований и широкая вариативность возможных и оправданных интерпретаций. Тут зритель в своем праве. Помните, у Ромен Роллана в «Жан Кристофе» выведен персонаж, который при первых звуках Пятой симфонии Бетховена восклицал: «Не входите, я не один!». Такова была его интерпретация знаменитых четырех ударов, о которых принято говорить, что это судьба стучится в дверь...

Судьба заявилась к Диме Янушкевичу без стука. В двенадцать лет, в результате каскада осложнений после гриппа, он стал терять зрение. Московские врачи оказались бессильны. Семья перебралась в Калифорнию, но увы – и американская медицина не смогла справиться с проблемой. У Дмитрия Янушкевича осталось восемь сотых зрения в одном глазу, другой глаз едва отличает свет от тьмы. А он рисует, пишет картины – акварелью, акриловыми красками, создает картины на компьютере. Слепой художник, явление невозможного.

Разумеется, нельзя не задаться вопросом – как такое получается?

Уникальный случай не подводится под закон. К тому же художественный критик не располагает психологическими, психофизиологическими и им подобными отмычками. На нашу долю остаются более или менее правдоподобные гипотезы.

Напомню: дед Димы был живописцем. Отец, Александр Янушкевич – московский живописец, мастер высокого класса; известен он и

в здешних местах, последняя его персональная выставка прошла в Пало Алто, в галерее «Бонвиван» около двух лет назад. Мать, Алла Виксне, живописец, живет здесь, принадлежит к элите русского искусства зоны Залива. Иногда считается, что наследственность ничего не значит; да, отец Рафаэля был живописцем, но отец Рембрандта был мельником, ген играет, где хочет... Но все-таки, все-таки – при определенных врожденных наклонностях среда начинает помогать: картины, разговоры, что это там делают взрослые; бумага, карандаши, краски под рукой...

По свидетельству матери, Дима сызмальства постоянно рисовал – сидел под столом и рисовал, рисовал хорошо... Мне это кажется важным вот по какой причине. Если ты с детства много рисуешь или играешь на фортепиано, происходит вещь хорошо известная – нарабатывается техника, моторика приемов оседает в руке, откладывается в глубинной памяти, автоматизируется. Сложнейшая система «мозг-рука» научается действовать словно бы без сознательного контроля. Рука послушно и гибко, без рассуждений, исполняет команды памяти и воображения. Ни один музыкант из целого оркестра, начиная исполнять Пятую симфонию Бетховена, не задумывается над тем, как попасть с ноты соль на ми-бемоль. Все попадают.

Тут, мне кажется, если не вся разгадка, то часть разгадки.

Вот рисунок, который многие знают, Дима его уже выставлял. (*Стр.256 –2*)

Рисунок сохраняет живость, непосредственность и стремительность быстрого наброска с натуры. Очевидно, однако, что это не так. Хотя в том месте, где сделан рисунок, было множество лошадей, никакая лошадь художнику не позировала. Рисунок с начала до конца сделан по воображению. Рука с карандашом, под тем ограниченным контролем, которое позволяло разоренное до нищеты зрение, делала свое дело с поразительной уверенностью. Вот она проводит линию спины – небольшая в сущности кривая на белом фоне соединяет два пятна – и возникает уходящая в глубину форма, подкрепленная пятном тени в подбрюшье, линия становится границей округлости... Несколько быстрых штрихов над пятном гривы – и возникает энергично повернутая к нам морда коня. Особую прелесть рисунку придает диалог тонких, нервных линий и мягко растушеванных темных пятен, задающих главную ритмику листа. Это эффект, которого специально добиваются мастера эстампа в технике сухой иглы: когда художник наносит на медную доску углубленные канавки линий, выдавленная медная порода остается по краям углубления в виде заусенцев, которые при печатании задерживают часть краски – в результате на отпечатке возникают расплывчатые бархатные пятна, радиации линий и ореолы их пересечений. На рисунке Димы это всего лишь быстрая растушевка меняющейся густоты. Градации плотности не только занимательны сами по себе, они создают множество эффектов – от рыхлой массы хвоста и гривы лошади и до пространственного дыхания лаконично намеченного ландшафта.

Полагаю, что образ обернувшегося к зрителю коня на круглящейся земной поверхности Дима увидел не физическим зрением, а зрением внутренним, он это все вообразил – может быть, и не все сразу, что-то добавлялось, случалось и определялось уже в процессе рисования. Но две вещи без сомнения лежат в основе – он знает, чего хочет, исходя из богатого и точного внутреннего зрения, и он обладает поразительным умением воплощать воображенный образ.

Но это только половина дела. Другая половина – что происходит, когда идет работа с натуры.

Поговорим о его натюрмортах. Тут свои тонкости.

Пейзаж образуется сам; надо найти мотив, угол зрения. Вещи редко устанавливаются в нужные порядки сами. Почти никогда. Натюрморт «ставят»: художник сначала выступает как драматург и режиссер будущей картины, определяя в натуре перечень предметов-«персонажей» и сюжетную интригу, т.е. их пространственные, объемные и цветовые отношения. Я напоминаю об этих азбучных вещах, чтобы указать, что Дима прекрасно «ставит» натюрморты. Это еще один знак его дарования: точный вкус, глаз, чувство меры.

Ну, а затем, поставленную сцену надо еще написать.

Странное дело. Чем более я всматриваюсь в его натюрморты, тем более уверяюсь в предположении, что дефектность его зрения здесь не при чем. Мне кажется, что если бы он видел нормально, он создавал бы нечто похожее. Ибо концепция картины почти всегда ясна, выражена точно и цельно, все необходимое и достаточное для создания образа сказано – и сказано в нужном месте.

Вот ваза с букетом мимоз. *(Стр.256–3)*

Ваза, воссозданая несколькими точными мазками, прочно стоит на плоскости стола, ее внятно круглящаяся, вытянутая вверх масса обеспечивает архитектоническую устойчивость всей картины. Ее поблескивающая отражающая поверхность легко присваивает цветовое богатство окружающего мира – блики света, отражения и цветные рефлексы ближних предметов. Эхо этих отражений отзывается слева, у рамы, уже без определенной отражающей поверхности – просто для композиционного равновесия картины.

Над вазой вольным шатром раскинулся букет цветов. Конечно, возможно было тщательно выписать каждый лепесток, чего Дима не делает. Но это не вопрос зрения, это вопрос стиля, дело свободного личного выбора. Дима вылепил букет быстрыми, сочными мазками: не множество листиков, а густая, весомая, царственно вегетирующая масса, распростертая над столом. Под свисающей веткой, внизу, на столе оказывается яблоко – небольшое пятно и объем в одно и то же время; ему надлежит, перекликаясь с пятном букета, замкнуть композицию.

Вся эта живая конструкция сооружена легко, каждый мазок сохраняет непосредственность и свежесть, каждое касание кисти кажется импульсивным, спонтанным, быстрым и точным вместе.

Рядом с этими мимозами уместно поставить другой натюрморт. *(Стр.256–4)* Сопоставление подбросит нам еще одну загадку.

Два натюрморта отличаются друг от друга не только набором «поставленных» предметов, композиционным строем и колоритом. За этими различиями скрывается глубинное, коренное отличие живописного мышления, которое заставляет еще раз вспомнить о генезисе и природе дарования автора. Я начал с того, что Дима – сын двух живописцев, надо добавить – двух разных живописцев. Как обстоит дело с генами – сказать трудно. Но есть очевидные вещи – Дима, с его обостренной экстравизуальной (хочется сказать – экстрасенсорной) чувствительностью удивительным образом улавливает нечто, что можно было бы назвать «духом мастерской». Разумеется, я употребляю сейчас понятие «мастерской» для обозначения персонального художественного пространства, где пребывают готовые картины, начатые вещи, наброски, предметы, которые обычно служат натурой, любимые книги и альбомы, и еще многое другое – многократно и разнообразно отраженная в предметах личность хозяина. Постоянно Дима работает в мастерской матери, Аллы Виксне. Но он бывает в Москве и трудится в мастерской отца, Александра Янушкевича. И тогда след отцовской мастерской явственно отпечатывается в его картинах, пусть даже сделанных в Калифорнии. Речь не идет о подражании, родство обнаруживается в глубинных слоях живописного мышления.

Вот одна из таких вещей.

Бутылки напоминают об истоках творчества самого Александра Янушкевича: по его признанию, решающую роль в выборе профессии сыграл альбом репродукций итальянского мастера Джорджо Моранди, подаренный ему в день восемнадцатилетия. Сегодня нет нужды искать альбом, чтобы посмотреть картины Моранди – извлеките из недр Googl'а образы Giorgio Morandi, и вы увидите, что этот классик итальянской живописи XX века всю жизнь писал бутылки и другие сосуды. А у меня перед глазами сейчас репродукция картины Александра Янушкевича «Черные бутылки», написанной в 1970-м году, когда художнику было едва за двадцать – или вот еще картина, написанная чуть позже, «Пуризм №5» (1973), там, кстати, как у Димы, внутри прямугольного поля выделен овал с бутылками и иными сосудами... Тут дело не в бутылках, но в генетической программе. Не будет Александр Янушкевич, став искушенным мастером, писать бутылки всю свою дальнейшую творческую жизнь, но сохранит глубинные картинообразующие принципы, которые этими бутылками манифестированы. Не считая окрепшего, послушного и точного мастерства, это специфическая, взывающая к чистой визуальности интеллектуальная ясность, выверенность пластических порядков. Даже тогда, когда, устав от упорядоченностей, Александр Янушкевич разрешает себе выпустить на волю стихийные энергии своего живописного темперамента, мыслящий и рассудочный контролер не спит и тайно следит за логикой взрыва.

Ну, а Дмитрий Александрович?

Глядя на его бутылки, трудно не думать то ли о наследственности, то ли об атмосфере, которой дышит Дима, бывая в отцовской мастерской. Следует, однако, помнить, что большую часть времени он проводит в другой мастерской, мастерской Аллы Виксне, где куда чаще доминирует спонтанный эмоциональный порыв.

О заимствованиях речи нет. Дима в своем

творчестве сам себе хозяин. Скорее надо говорить о вольных ходах обмена. Вот и на этой акварели с бутылками сам овал скособочился, неравномерно раздавшись под действием гравитации. Силуэты выстроенных в ритмический ряд предметов вибрируют, манят своей двойственностью – то ли твердые вещи, то ли похожие на вещи цветные потоки; в глубине, за первым рядом, мерцают тени – то ли тени сосудов первого плана, то ли лишенные телесности тени-призраки – на грани бытия и небытия...

Кисть, напитанная красочной влагой, ложилась куда надо, но двигалась порывисто, легко и свободно, оставляя на бумаге образ организованный и в то же время открытый, соблазняющий своей амбивалентностью.

Натюрморт ставят: вещи сначала держат в руках, ощупывают, располагают в пространстве, взаимно соотносят по цвету, объему, материалу, фактуре – картина еще не начата, но ее сценарий составлен. Пейзажный мотив не ставят, его выбирают. Поле для осуществления авторской воли сокращено, художник не вмешивается в предстоящие его взору порядки вещей, а тактильный контакт с ними исключается вовсе. Только зрение.

Как Дима различал с изрядного расстояния мост Золотых ворот? *(Стр.256 –5)* Какой отпечаток или, вернее будет, след доставляли ему восемь процентов нормального зрения в одном глазу? Трудно поверить, что он писал этот вид просто, как все пишут – стоя на прибрежном склоне с городской стороны залива. Возможно, он дома, в мастерской, прежде чем погружать кончик кисти в акриловое месиво, терпеливо и с напряжением вглядывался в фотографии или открытки. Так или иначе, тем или иным способом, я полагаю, он получал важнейшие, опорные импульсы, возбуждавшие резонансный отклик в аппарате зрительного воображения. Именно там достраивался образ, которому будет следовать рука, направляющая кисть. Известно, что наш мозг в случае какой-либо аварии включает удивительные и не вполне понятные компенсаторные механизмы. Почему не предположить, что ограниченность внешних сигналов возбуждает дремавшие до того и неведомые нам способности внутреннего видения, резервы для заполнения утрат, пропусков и пустот поврежденного сообщения извне?

В конце концов, тут можно обрести некое преимущество: глаз видит только главное, наиболее существенное, шум мелких подробносей, настырная дробь деталей вообще пропадает втуне. При этом на поверхности картины нет скучных мест: широкие мазки, рельефно моделирующие массы облаков и поверхность воды, контрастируют с затейливыми сгущениями застывшей красочной материи, с драгоценными ювелирными вкраплениями мелких цветных пятен...

Главный организующий мотив картины – уходящий в глубину мост, главные действующие начала – свет и пространство, обуславливающие и обеспечивающие интенсивность пластической жизни всех элементов пейзажа.

Кто-то из немецких экспрессионистов любил говорить о «ярости бытия». Зачислять Диму в экспрессионисты нет оснований, он – сам по себе, и ни в какие стилистические или направленческие рубрики не вмещается. Но что существует переживание яростной полноты бытия – он хорошо знает.

В заключение – еще один пейзаж. *(Стр.256–6)* Другая техника – компьютерная графика, которая предоставляет художнику новые возможности. Такие вещи вряд ли делаются с натуры. Возможно, мотив воспроизведен по памяти, возможно – и вовсе выдуман. Тут слышатся дальние отзвуки классического мотива китайской живописи – бамбук на ветру. Судя по названию, которое дал автор, дело не в бамбуке. Картина называется по-английски «Day light scape». Как бы это перевести – «Свет дня»? Этот свет из глубины пробивается к нам сквозь туман, столь густой и вязкий, что сам источник дневного света, главное светило, превращается в расплывчатое, бесформенное пятно. Деревья и кусты – это среди бела дня! – становятся неверными, кое-где размытыми до исчезновения формы силуэтами. Немногие лучи, с трудом преодолевая инертное сопротивление среды, добираются до поверхности воды на переднем плане и легко бликуют. Свет борется с потенциальной тьмой, ветер гонит плотные, кроющие массы тумана, неизвестно, чья возьмет... Знакомый мотив, не так ли?

Диме знакома не только ярость, но и печаль бытия.

P.S. Сайт Димы, где можно посмотре его работы: Macrofunk http://www.macrofunk.com

Дмитрий Янушкевич

# ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

1. ПОЛЕТ СКВОЗЬ ПЛАМЯ. 2002. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА.

4. В ОВАЛЕ. АКВАРЕЛЬ, БУМАГА. 2010

2. ЛОШАДЬ. МЕЛ, БУМАГА. 2005

5. МОСТ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА. АКРИЛ, КАРТОН. 2005.

3. МИМОЗА. АКРИЛ, КАРТОН. 2009.

6. СВЕТ ДНЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. 1999

**DANCING. АКВАРЕЛЬ, БУМАГА. 2010.**

**СКРИПКА. АКРИЛ, КАРТОН. 2012.**

**СТЭНФОРД. АКРИЛ, КАРТОН. 2011.**

**БОЛЬШОЙ БУКЕТ СИРЕНИ. АКВАРЕЛЬ. 2007.**

**СТЭНФОРД. ЧЕРЕЗ АРКУ. АКРИЛ, КАРТОН. 2011.**

**RECONCILIATION. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. 2007.**

Борис Розенфельд

# «КАК ОН ДЫШИТ, ТАК И ПИШЕТ, НЕ СТАРАЯСЬ УГОДИТЬ»

Художница Алла Виксне родилась в Москве. В 1974 г. закончила московское художественное училище "Памяти 1905 года".Становление собственного почерка художницы совпало с первой половиной 80-х годов.

Судя по ее ранним работам, те стадии формирования, которые бывают весьма типичны для большинства живописцев, Алла Виксне прошла последовательно одну за другой. Имя ее стало заметным в художественной жизни Москвы с начала 1977 г. – после того, как ее работы появились на весенней художественной выставке.

Алла Виксне – участница многих художественных выставок в бывшем СССР и Соединенных Штатах. С 1992 г. проживает в Калифорнии. В детстве и отрочестве она еще могла видеть уголки старой Москвы. Эти старые дворы с голубятнями, эти причудливо изогнутые переулки, полуразрушенные купола церквей, старые купеческие особнячки, древнее Зарядье и Замоскоречье, переулки старой Таганки и остатки Преображенской слободы еще доживали свои последние дни.

Неудивительно, что в творчестве Виксне значительное место стал занимать городской пейзаж. Здесь нашла себя художница, здесь осуществлялись ее непосредственные, непритязательные зарисовки с натуры той городской среды, которая, в отличие от громоздких функциональных, мало связанных между собой зданий, несла в себе тонкий аромат Москвы Гиляровского и Бунина, Цветаевой и Окуджавы.

Уже в 70-80 годах Виксне добилась серьезных результатов в разработке русского импрессионистического пейзажа, создав целый ряд прекрасных работ. В своих полотнах автор не стремится к обобщению, но ее конкретные переживания и наблюдения перерастают в значительный образ, наполненный глубокой поэзией, а свет и цвет создают особый мир, воспроизводящий не только московские дворики, особняки, тихие улочки, но и эмоции, духовный мир человека, неотделимого от жизни города. Попытки понять те, утерянные ныне, закономерности, по которым возникла живая разнообразная среда, окружавшая наших предков, которую мы так бездумно и безжалостно разрушаем – основная ее цель. Ее пейзажи чаще всего безлюдны, но человек незримо присутствует в них как создатель прекрасного и творец истории. История же в работах художницы выступает как факт эмоциональной памяти, проявляется в особой поэтичности и одухотворенности. Выбирая неожиданные уголки и ракурсы при изображении бесконечно знаковых мест, Виксне как бы открывает их заново.

Уже в начальный период своего творчества она сумела соединить развитую дивизионистическую систему импрессионизма с традициями русской пейзажной живописи, тянущимися еще от передвижнических времен. Виксне тонко владеет искусством поэтического намека и условной недосказанности. В то же время ее композиции точно рассчитаны, имеют ясную конструктивную основу. Они соединяют в себе непосредственное переживание и философское обобщение, взволнованно и образно рассказывают о любимом городе.

Весьма характерным для раннего творчества художницы является написанный весной 1978 г. пейзаж "Руновский переулок.

Московский дворик". В нем, пожалуй, как ни в какой другой работе чувствуются повествовательные черты. Тут многое рассказано о дворике, посреди которого стоят два еще не распустившие своих листьев дерева. За ними – часть строения, почти фронтально расположенного к зрителю и переводящего взгляд его к углу другого здания. Слева – часть небольшого домика с приоткрытым окном и виднеющимся крыльцом. Яркий весенний, солнечный день и холодные тени, ложащиеся на еще несогретую почву. Этот рассказ намеренно прост – он о вещах, а не о событиях. В его односложности – основа цельности художественного произведения.

К 1975 г. относится другой московский пейзаж – "Бульварное кольцо". Эта небольшая по размерам картина, продуманно построенная несколько сверху, тонко разработанная в цвете и тоне. Композиция ее последовательно импрессионистична. Здесь главным для художницы оказывается пространство, которое она раскрывает в глубину. Контрасты света и тени позволяют сделать это пространство особенно ощутимым, как бы физически доступным зрителю. В этой работе автор стремится проследить, как свет изменяет цвет. Важную роль в создании впечатления жизненности изображаемых пейзажей играет ритм мазков. Он у художницы очень разнообразен: то мазки ложатся в диагональном направлении и этим ритмом оказываются охвачены все предметы первого плана; то мазки ложатся горизонтально (на втором и третьем плане), то вертикально. Иногда какая-то группа предметов трактуется Виксне короткими мазками, как бы красочными точками. Это разнообразие фактуры создает движение. Вместе с тем, дробные мазки объединяют холст, создают впечатление реальности изображения.

Весьма характерны выполненные в разное время пейзажи с церковью. Это "Улица Островского", (1980 г.), "Замоскворечье" (1982 г.), "Уголок Москвы" (1989 г.), "Переулок старой Москвы" (2001 г.). В этих холстах живописно-композиционная динамика обращена на выражение совсем иных чувств. Работа художницы подчеркнуто декоративна. Эти картины автор решает в разных цветовых гаммах. Столь явная подчиненность цветовой доминанте – весьма оригинальна, поэтому пейзажи кажутся несколько театрализованными (в хорошем смысле этого слова), волнуя нас как некое зрелище.

Значительное место Виксне уделяла зимним пейзажам, снежным, морозным, пушистым. Одна из ранних работ такого рода написана в Голицыне под Москвой в 1980 году. Художница не столько строит пейзаж, сколько кадрирует определенный кусок видимой ею природы. В этот кадр входят часть улицы, два заснеженных дачных домика, забор, тянущийся с обеих сторон видимой части улицы, группа деревьев. Здесь – тот уютный мир живой природы, увиденный как бы случайным взглядом. Такая импрессионистическая кадровость характерна и для других зимних пейзажей. Свидетельствуя об умении художницы непосредственно и непредвзято взглянуть на натуру, эти произведения все же больше привлекают своим колористическим строем. Каждый белый кусок "распадается" у Виксне на голубоватые, перламутровые, зеленые оттенки, которые вместе составляют общий тон и создают впечатление реального снега. Её зимние пейзажи как бы погружены в белую дымку, они очень созерцательны. В разные годы там, же, в Голицыно, создаются еще несколько работ подобного рода. Виксне вновь пишет виды с заборами, дачами, деревьями. Некоторые из них написаны почти пуантелью. Мазки ложатся по форме предметов и лепят ее. Ритм мазков выразителен, он создает своеобразную музыку которой исполнены эти зимние пейзажи.

Эти ее работы основаны на конкретных наблюдениях, на внимательном, иногда почти научном изучении природы.

Важнейшее место в творчестве Аллы Виксне занимает натюрморт. Что может быть полнее, многограннее его: здесь можно изобразить и пышность, и богатство, и тоску, и радость, и вообще всю палитру человеческих чувств. В натюрмортах с наибольшей силой проявились особенности творческого своеобразия

художницы. Краткий анализ произведений этого жанра представляет нам случай попытаться лучше понять психологический механизм этого направления ее творчества.

Думая о месте этих произведений в творческом багаже Аллы Виксне, понимаешь, что все в них закономерно – и выбор именно этого жанра, и изображаемые предметы, и характер их трактовки. Именно в этом жанре ее дар компоновать и строить нашел благоприятнейшую почву. Художница прекрасно овладела основой натюрморта – постановкой. Виксне обладает необходимым мастеру натюрморта чувством гармонии предметных сочетаний, ибо каждая ее постановка – совершенный организм. Исканиям вещественности соответствует жанр натюрморта. Здесь наиболее полно можно реализовать идею предмета в окружающем пространстве, идею его конструкции. Выбранные мотивы говорят о том, что художница отреклась от каких бы то ни было ассоциаций: эти предметы выражают только тот смысл, который был им присущ. Предметы выбирались самые простые – бутылки с вином и вазы, чашки и стаканы, фрукты и овощи, цветы и музыкальные инструменты. Как сам мир этих вещей, живописный слог ее работ – на редкость простой и ясный. Здесь господствует гармония красок и законченность техники, строгость и чистота композиций, – ставшие одним из постоянных принципов живописи Аллы Викнсе. В одной из ранних работ "Натюрморт с мандолиной" (1973 г.) предметы отъединены друг от друга. Тем самым они приобретают не только трехмерность, ярко выраженную объемность, с первого взгляда кажущуюся иллюзорной, но даже некую героичность, величавость. Впечатление это создается не потому, что за предметом стоят ассоциации, а в силу того, что он как бы тяготеет к своей же форме, к своему изначальному образу. В "Натюрморте с мандолиной" эта философия вещей проявляется определенно. Три предмета стоят на плоскости. Они отделены друг от друга почти равными промежутками. Каждый из них существует как бы сам по себе. Силуэты их найдены, необыкновенно точно очерчены. Объем ощущается так же остро, как и силуэт.

По сравнению с "Натюрмортом с мандолиной", весьма характерна более поздняя работа – "Натюрморт с яйцами" (1995 г.). Здесь Алла Виксне усложняет свою задачу. Предметно и пространственно этот натюрморт оказывается более содержательным и многоплановым. Объемы находятся в таком соотношении с предполагаемыми световыми источниками, что они бросают тени, несут на своей поверхности блики. Но и здесь предмет господствует – предмет в своем объеме, в подчеркнутом строении своей формы, в ее структуре. Объединяет не воздушная среда, которая не является для Виксне специально художественной задачей, а материальная однородность тел, требующих сложного живописного воплощения и своей поверхности, и своего объема. Тени, блики становятся средством той разработки живописной поверхности, которая, благодаря своей сложности, создает ощущение ничем не разрушаемой плотности материи, постоянства ее бытия. Сдвиги, которые появляются во многом благодаря теням и бликам, перестают быть свидетельством свободной, не подчиненной объективным законам игры. Они помогают лепить предмет, выявлять его трехмерную структуру.

Рядом с произведениями раннего периода "Натюрморт с вином и фруктами" (1999 г.), как и некоторые другие натюрморты последних лет, может показаться слишком скромным и сдержанным. Но зато при значительном усложнении цветовой и пластической системы по сравнению с предшествовавшими натюрмортами, он по-прежнему сохраняет суровую "вещность" и философию предмета, его самостоятельную значимость. Натюрморты Аллы Виксне – это действительно куски жизни, эти предметы самые узнаваемые и самые обычные, но поданные с самой лучшей их стороны, в самом радостном качестве, в каком мы воспринимаем их только в самые счастливые моменты нашей жизни.

В последние годы, наравне с пейзажем и натюрмортом Алла Виксне стала уделять больше внимания портрету. Само передвижение жанров в творчестве художницы – свидетельство поиска и обретения ею новых живописно-практичес-

Алла Виксне. Автопортрет

ких средств выражения, признаки новых устремлений и завоеваний. Пожалуй, самым типичным в этом смысле произведением является "Портрет натурщика". Образная концепция этого портрета сугубо созерцательная. Виксне увлекает трудная живописная задача. Художница передает мерцание света на лице, погруженном несколько в тень, влияние света на цвет.

В 1998 г. увлечение портретом нарастает. В этом году она создает несколько подобных работ. Тот процесс, который начался в портрете натурщика, продолжает развиваться. Обращение с цветом становится более смелым. Цвет все чаще ложится плоскостями на поверхность холста, утверждает эту поверхность. В портрете дочери, написанном с оттенком салонности, но крепко и мастеровито, художница не стремится особенно обострять цветовые отношения. Однако, сквозь видимую сглаженность красочных контрастов и здесь проступает новый живописный принцип. Художница пользуется "широкими" цветовыми отношениями – в основном серо-коричневого и красного; она покрывает одним цветом целые куски полотна. Та созерцательная философичность, которая имеет место у автора в пейзажных работах, теперь приобретает новое качество. В "Портрете художника Соломона Верховского" она выражается не только живописно, но и сюжетно. Герой этого портрета погружен в себя, внутренне сосредоточен и задумчив. Изображая человека, Виксне прежде всего старается найти его пластический рисунок. Она создает своеобразную формулу стариковской сосредоточенности. В этой работе объективная природа оказывается для художницы главным предметом художественного воплощения. Можно даже сказать, что эта объективность в какой-то мере сдерживает темперамент автора.

Очень интересен "Портрет женщины" (1999 г.), написанный в том же интерьере и при тех же приблизительно условиях освещения. Сходство этих трех работ явно свидетельствует о том что Виксне последовательно разрабатывает новые для себя задачи, ставя их перед собой как определенную программу. Что же касается внешней, материальной стороны живописи художницы, то она находится в полном соответствии с ее творческим темпераментом. Все ее работы выполнены энергично, приподнято, напряженно. Она, несомненно, прекрасно понимая свойства материальной реальности, ее значение и красоту, считает эту упоительную материю лишь неким выражением Идеи, – и эта Идея будучи неотъемлемым субстратом произведения, в то же время является его действенной и конечной причиной.

Особенность таланта Аллы Виксне – неповторимое своеобразие видения и воспроизведения ею действительности таковой, какая она есть. Мне вспоминаются слова Леонардо да Винчи, прозвучавшие в свое время смело, как вызов. "Я говорю живописцам, что никогда никто не должен подражать манере другого, потому что тогда он будет называться внуком, не сыном природы в отношении искусства. Ведь если природные вещи существуют в столь великом изобилии, то скорее хочется и следует прибегнуть к ней, чем к мастерам, которые научились у нее". Художница полностью отвечает этим критериям. Чувствуется, что Алла Виксне всегда тянется к природе, она действительно настоящая дочь природы, со своим творческим лицом, своим видением мира.

Несомненно, Алла Виксне – не только замечательная художница, захваченная искусством, его красочностью и правдой. Она еще и мечтатель, верующий фанатик, жадно впитывающий прекрасные утопии, человек живущий идеями и сновидениями.

Алла Виксне

# ЖИВОПИСЬ

**"ГОРА ПИЛАТУС." ЛЮЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ. ХОЛСТ, АКРИЛ. 2007**

**"ФРАНКФУРТСКИЙ СОБОР." ГЕРМАНИЯ. ХОЛСТ, АКРИЛ. 2007**

**"МАГНОЛИЯ." ХОЛСТ, МАСЛО. 2003**

**"СТАРАЯ МОСКВА." ХОЛСТ, МАСЛО. МАСЛО. 1976**

**"МОСТ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА." ХОЛСТ, МАСЛО. 2006**

**"ДИКИЕ РОМАШКИ."ХОЛСТ, МАСЛО. 2000**

**"УЛИЦА В ЛЮЦЕРНЕ". ШВЕЙЦАРИЯ ХОЛСТ, АКРИЛ. 2006**

**"ПОРТРЕТ МИШИ." ХОЛСТ, МАСЛО. 2010**

**"АННА." ХОЛСТ, МАСЛО. 2002**

**"БОРИС РОЗЕНФЕЛЬД." ХОЛСТ, МАСЛО. 2008**

**"БОРИС БЕРНШТЕЙН." ХОЛСТ, МАСЛО. 2011**

**"БАЛЕРИНА." ХОЛСТ, МАСЛО. 2009**

**"СЕМЁН ВЕРХОВСКИЙ." ХОЛСТ, МАСЛО. 2009**

Цветные репродукции картин Аллы Виксне на сайте**: www.obrazyzhizni.com**

Михаил Голубовский

# «А ПОВОРОТИСЬ-КА, СЫН!»

## или об изучении повести «Тарас Бульба» в средней школе

*«Люблю отчизну я, но странною любовью.*
*Не победит ее рассудок мой...»*
*«...Но я люблю, за что не знаю сам...»*
*М.Ю. Лермонтов. «Родина»*

На время летних каникул учитель литературы задал пятиклассникам прочесть ряд книг, среди которых была и повесть Гоголя «Тарас Бульба». Недавно[1] моя дочка, шестиклассница, писала сочинение на тему «Тарас Бульба – народный герой». Авторы учебника – хрестоматии для 6 класса – предлагали детям ответить на такие вопросы: «На кого из былинных богатырей похож Бульба? Чем он нам близок и дорог?». Сочинение моей дочки, да и других ребят заканчивалось словами: «Тарас Бульба воплотил в себе лучшие черты русского народа».

Перечитал «Тараса Бульбу» и я. У тех из нас, кто со школьных лет не перечитывал повесть, многое стёрлось в памяти. Помнился многопудовый запорожец с чубом, с казацкими усами, с шароварами шириной в Чёрное море, браво рубившийся с ляхами и восклицавший: «Есть ещё порох в пороховницах!», «Я тебя породил, я тебя и убью!» Помнилась трагическая гибель Бульбы и его сыновей – Остапа и Андрия, павшего от руки родного отца.

Внимательное сопоставление «Тараса Бульбы» с тем, как эту историческую повесть изучают в школе, поразило и привело меня к основному выводу: текст повести, вопреки его содержанию, поставлен на потребу ультрапатриотическому воспитанию. Гуманистическая сторона литературы отошла на второй план. Не «чувства добрые лирой пробуждаются», а прямо или косвенно возвеличиваются насилие, жестокость, сумасбродство, нетерпимость, – нравы, бытующие в любой разбойничьей шайке.

## ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ И КАЗАКИ: ВЗГЛЯД ИСТОРИКА

Чтобы правильно понять изображенные в повести события, заглянем в «Курс русской истории» В.О. Ключевского (т.III , Политиздат, Москва, 1957). Слово “казак” татарского происхождения. Оно относилось к людям Московской Руси и Малороссии (Украины), которые с оружием в руках уходили из города в степь “казаковать” – промышлять зверем, птицей и рыбой, делать ответные набеги на татарские и турецкие поселения. В конце XV и начале XVI столетий возникали военно-промышленные артели, объединения казаков, которые устраивали себе укрепления. Одним из них и была Запорожская Сечь. В то время земли по правому берегу Днепра были под эгидой Литвы и Польши. В 1569 г. Литва и Польша объединились в одно государство (Речь Посполитая) на основе решений Люблинской унии. После унии все южное Приднепровье отошло к Польше, и началась активная экспансия польской шляхты на восток. Попадавшее в зависимость от польских панов украинское крестьянское население пополняло ряды вольных казаков. Поселения казаков представляли собой для Польши как бы пограничный заслон от частых набегов татарской и турецкой конницы. Однако, с другой стороны, создавали много беспокойства для польских городов и местечек. Возникла идея «приручить» вольных казаков, зачислив их на службу с жалованием **(!)** и с единственной обязанностью – в случае войны выступить на стороне Польши. Был составлен список (или реестр) штатных казаков. В 1570 г. они составили отряд в 300 человек, затем при короле Стефане Батории (1533-1586 гг.) число их возросло до 500, а в 1625 г. «штат» реестровых казаков насчитывал до 6 тысяч человек. Эти казаки объединялись в несколько полков; Тарас Бульба и выведен Гоголем как один из таких полковников. Кроме реестровых казаков, было множество вольных ватаг, населявших пустые в то время степи.

Историк специально рассматривает нравственный характер казачества (т.III, стр, 110-112): «Международное положение Малороссии деморализовало эту сбродную и бродячую массу, мешало зародиться в ней гражданскому чувству», – пишет Ключевский. – «Что могло объединять этот сброд? На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля: бить и грабить пана и торговать саблей – в этих двух интересах замкнулось всё политическое

[1] Данная статья написана в 1975 году (См. Послесловие). – Прим. ред.

миросозерцание казака, вся социальная наука, какую преподала Сечь... Свои боевые заслуги казаки предлагали за надлежащее вознаграждение и императору германскому против турок, и своему польскому правительству против Москвы и Крыма, и Крыму против своего польского правительства». Так, в 1581 г. один польский авантюрист Зборовский был избран гетманом и без труда подбил казаков идти на Москву, потом решили идти на Персию, а заодно пограбить и окрестные города. На слова о преданности королю и отчизне казаки отвечали поговоркой «поки жыта, поты быта» – до той поры живется, пока есть чем кормиться. То же самое говорили бродяги-чернецы в пушкинском «Борисе Годунове»: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли; все нам равно, было бы вино».

Однако в конце XVI века в судьбе малороссийского казачества произошел неожиданный переворот. В 1572 г. умер последний польский король династии Ягеллонов Сигизмунд II Август (1506-1572 гг.). Это был «праздный и мягкий гуляка» и веротерпимый человек. Если до него сочинения Лютера были в Польше подпольной литературой, и за их чтение и распространение полагалась конфискация земель и даже смертная казнь, то Сигизмунд II сам выдавал для чтения протестантские книги из своей королевской библиотеки, разрешил проповеди в протестантском духе. Ничего не имел король и против православия; православным было разрешено занимать общественные и административные должности. В Польше возникла относительная веротерпимость, что и сделало возможным проведение в 1569 г. политической унии, а затем, в 1593 г., – и Брестской церковной унии, т.е. союза церквей. Согласно Брестской унии, которая просуществовала до 1946. г ( 350 лет!), православная церковь сохраняла свои обряды и русский язык в богослужении, но административно находилась под эгидой папы.

Русское православное духовенство разделилось на две части – на тех, кто вошел в унию, и тех, кто отверг её. Среди последних была киевская православная иерархия, которая стала искать опору в казачестве и призвала их выступить защитниками веры. Так случилось, пишет Ключевский, что «этой продажной сабле без бога и отечества обстоятельства навязали религиозно-национальное знамя, судили высокую роль стать оплотом западнорусского православия». И если раньше, до начала XVII в. на дне совести у казаков и шевелилось чувство, что «как-никак, а погром не есть доброе дело», то теперь их совесть облегчало убеждение, что они борются за веру, за русскую землю. Разбой и погром приобрели ореол святости и доброго дела.

## ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ В ПОВЕСТИ ГОГОЛЯ

В полном соответствии с этой исторической правдой дал Гоголь описание жизни и нравов Запорожской Сечи. Гоголь любил историю, тщательно изучал историю Малороссии по летописям. Он написал повесть ещё будучи молодым человеком, в 25 лет. Впервые она вышла в 1835 г. в сборнике «Миргород», а затем, в сильно переработанном виде – в 1842 г.

Белинский в известной статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1836 г.) дал такую оценку первому варианту повести:

«Он никогда не изменяет себе, даже в таком случае, когда увлекается поэзией описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством может служить «Тарас Бульба». Это дивная эпопея, написанная кистью смелой и широкой, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа». Смелость, в частности, состояла в том, что Гоголь, будучи украинцем и, естественно, сочувствуя запорожцам, не умолчал об их разбойничьих нравах и кровавых набегах. Однако потом Гоголю изменило беспристрастие и во второе издание повести он, под влиянием славянофильских идей, внёс множество вставок и дополнений, написанных в ультрапатриотическом духе и исказивших историческую правду. К сожалению, как раз эти славянофильские вставки стали ядром изучения «Тараса Бульбы в школе».

Прибегнем к школьному канону, пользуясь цитатным методом, и представим ответы на вопросы, которые хрестоматия ставит перед школьником: «Расскажите о нравах и обычаях Запорожской Сечи. Почему Гоголь восторженно относится к ней? Что объединяет запорожцев? В чем проявляется их героизм?»

1) праздность, пьянство, разгул:

«Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали, но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность»... «это было просто бешеное разгулье весёлости». Первым, кто встретился Бульбе с сыновьями при въезде в Сечь, был лежащий посреди дороги мертвецки пьяный запорожец в «шароварах алого дорогого сукна», запачканных дёгтем. Не сумев сходу взять город Дубно, казаки отошли и тут же так перепились, что часть их была перебита и захвачена в плен. Это вызвало гневную речь кошевого: «У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите»;

2) ссоры, драки:

«Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до

драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали и не брали верх, и тогда начиналась гульба». Сговорившись, одна группа казаков решила сменить атамана (кошевого), для храбрости напилась, некоторые из трезвых противились, тут же «курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки». «Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях», в страхе бежал и скрылся в толпе;

3) разбой, грабеж как побудительные мотивы деятельности:

После того, как все деньги были пропиты, наступала пора добывать новые. Вот казаки осадили город Дубно. Почему? Может быть, оттуда им угрожали? Нет, просто ходили слухи, что там «было много казны и богатых обывателей». Кошевой, зная наклонность запорожцев «чуть бог пошлет какую корысть» – хватать всё что попало, советует в первую очередь брать лишь драгоценное оружие да червонцы или серебро, потому что они ёмкого свойства и «пригодятся во всяком случае». Но, видно, напрасен был совет кошевого.

Потому и погиб уманский атаман Бородатый: в середине боя он «польстился корыстью» и стал обирать убитого шляхтича, не забыв снять с его груди «сумку с тонким бельём, дорогим серебром и девичьею кудрею, сохранно сберегавшейся на память»;

4) отношение к вере:

Перед тем, как пойти на погром города Дубно, казаки напились и по призыву Бульбы произнесли тост: «За веру – подхватили дальние; и всё что ни было, и старое и молодое, выпило за веру». Таким образом, погромы как бы оправдывались борьбой за веру, о чем писал Ключевский. Замечательно показано, что о вере запорожцы вспоминали лишь перед очередным погромом. Правда, в Сечи была деревянная церквушка, о которой кошевой с горечью говорил: «У нас храм божий – грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости божьей, стоит Сечь, а до сих пор не то уже снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства». Из слов кошевого выясняется, что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет». Если и были казаки, которые завещали что-либо церкви, то «даяние их было бедное, потому что все пропили ещё при жизни своей»;

5) дикая, необузданная жестокость:

Пришла в Сечь новая группа казаков – из тех «что пропили всё, что ни было на теле» – с потрясающими новостями: ксёндзы ездят по всей Украине в таратайках, запрягая вместо коней христиан, а «жиды держат на аренде христианские церкви» и что, «если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править». Запорожцы тут же поверили этой чуши и стали действовать: «Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе». (Действительно, смешно, пусть и дети наши посмеются, представляя эту юмористическую сценку). Именно данное известие прибывшей голытьбы побудило казаков выйти в поход:

«Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду понеслись слухи: «Запорожцы!... показались запорожцы!» Все, что могло спасаться, спасалось... Пожары охватывали деревни... Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу»...

Сравнивая это описание Запорожской Сечи с характеристикой казачества, данной историком, мы видим явное соответствие. Но вот перед нами книга: «Литература в VI классе». Методическое руководство к учебнику-хрестоматии «Родная литература для 6 класса» (далее будем называть эту книгу просто «Руководство») под редакцией М.А. Снежневской, являющейся также автором нынешнего школьного учебника. Книга рекомендована Министерством просвещения РСФСР (М.,1973). Читаем: «На протяжении всей повести Гоголь прославляет Запорожскую Сечь, её нравы, обычаи и политическое устройство. Это идеальная республика, о которой мечтал Гоголь» (стр.132).

От этих слов, рекомендованных учителю литературы, тоже волосы встают дыбом. Полное непонимание художественного стиля Гоголя. Посмотрим, как предстает в повести

## ОБРАЗ ТАРАСА БУЛЬБЫ

Но, может быть, Бульба отличается от разбойничьей братии запорожцев какими-то особыми привлекательными чертами, что делает его «лучшим представителем» народа и побуждает детей, в соответствии с вопросами, которые задаёт им хрестоматия, искать сходство между Бульбой и «былинными богатырями» и дать ответ на вопрос: «Чем дорог и близок нам Тарас Бульба?»

Начнем анализ, как это принято в советской школе, с социального происхождения.

1) Бульба – казацкий шляхтич

«Тарас был один из коренных старых полковников», – так сказано у Гоголя. Из истории мы узнаем, что реестровые казаки были разделены на территориальные отряды, или полки, в начале XVII

века при гетмане Сагайдачном. Ключевский дает этому гетману такую характеристику: «Сагайдачный хотел резко отделить реестровых казаков, как привилегированное сословие, от простых посполитых крестьян, перешедших в казаки, и на него жаловались, что при нем поспольству было тяжело. Шляхтич сам по происхождению, он и на казачество переносил свои шляхетские понятия... В реестровом казачестве готовилась будущая казацкая шляхта» (Т.Ш., стр. 114). Бульба и принадлежал к таким сановным, привилегированным казакам. Он владел многими хуторами, имел множество слуг, мог позволить себе отправить сыновей учиться в киевскую бурсу, а при выпуске из бурсы «он послал им из табуна своего пару молодых жеребцов». Одну только светлицу Тараса обслуживали две «девки-прислужницы в червоных монистах», которые испугались «приезда паничей, не любивших спускать никому». Светлица у Бульбы вымазана цветной глиной, на полках стоит награбленное добро – серебряные кубки, драгоценные стеклянные сосуды, в том числе венецианской работы. К этому сановному положению Бульбы стараются не привлекать внимание детей – ни в учебнике, ни в методическом руководстве. Потом нам станет ясно, почему. Зато обязательной для детей является фраза: «Тарас любил простую жизнь казаков». И создается у них впечатление, что и он был простой казак.

2) Презрение к мирному труду

Принадлежащий к военной привилегированной верхушке казачества, Бульба презрительно относился к тем мирным крестьянам, кто сеет хлеб, выращивает скот, занимается ремеслом. Вот он решает ехать в Сечь: «Какого дьявола мне здесь ждать! Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она: я казак, не хочу!» А любовь к простой жизни казаков у Тараса и проявлялась просто – бражничать и есть вдоволь популярные на Украине пампушки, медовики, маковники да другие *пундики*. Один из его сыновей – Остап – полностью пошел в отца: «он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки».

3) Страшное упрямство, сумасбродство

Эти две черты составляют основной контур натуры Бульбы: «Бульба был страшно упрям. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век (в школьном варианте повести эти слова опущены – не годится для положительного народного героя). Здесь и беспричинное битьё горшков и фляжек после каждой выпивки, на что печально глядела бедная старушка, «привыкшая уже к таким поступкам своего мужа». Здесь и безрассудное желание тотчас же по приезде сыновей ехать в Сечь, несмотря на мольбы матери.

4) Грубое отношение к жене

Бульба проявлял свою деспотическую натуру и по отношению к жене: «она терпела оскорбления, даже побои, она видела из милости только оказываемые ласки».

5) Хитрость, коварство

Тарас приезжает с сыновьями в Сечь с желанием поскорей повести их в очередной набег или погром. Но в Сечи – мир, кошевой не может нарушить данной клятвы сохранять мир с турками. Что делает Тарас? Он спаивает своих дружков-казаков горилкой из заранее привезенных в Сечь бочонков и подбивает их выступить против кошевого. И затея удается.

Кошевым избран старый приятель Бульбы Кирдяга. На радостях «толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горилка и пиво забиралось просто без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы».

6) Деспотизм, склонность к ссорам, нетерпимость к товарищам

У Бульбы своеобразное понимание товарищества, проистекающее из его деспотического характера: если соратники поддерживают его взгляды и наклонности – они товарищи, если нет – следует обвинение во всех грехах и ссоры. Так поступил Тарас с кошевым, не пожелавшим вопреки желанию Бульбы и в нарушение клятвы начать поход. И в другой раз, когда казаки по призыву духовенства пошли на мир с поляками с условием «оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду» – лишь один Бульба не согласился на мир. Тут же бросил он своих соратников, обвинив их в том, что они делают «бабье дело».

7) Самодовольство, пренебрежение и нетерпимость к другим народам

Деспотизм и жестокость Бульбы по отношению к своим сородичам сочетается у него с чувством превосходства своей веры и своих обычаев над верой и обычаями других. Перед штурмом предназначенного на разграбление Дубно, Бульба, выбранный атаманом, произносит свою речь: «Перед нами дела великого поту, великой казацкой доблести! (Это о погроме-то! – М.Г.). Итак, выпьем, товарищи, разом, выпьем поперёд всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была одна святая вера, и все, сколько ни есть басурманов, все сделались христианами!» При этом, в понимании Бульбы, поляки – тоже неполноценные, они «католические недоверки». Ну, а если, кто не хочет, чтобы везде была «одна святая вера» – для того есть тарасова казацкая сабля, того и пограбить и вздернуть

не грех.

К евреям Бульба относится так же, как остальные запорожцы. Еврея Янкеля, который бросился к нему с мольбой о пощаде, Бульба, со свойственной ему хитростью, решил спрятать под телегу – авось пригодится на всякий случай, ибо «жида будет время повесить, когда будет нужно». Бульба обращается к Янкелю не иначе как со словами: «собака, свиное ухо, чертов жид, чертов Иуда», ну и, конечно, со стандартным обвинением: «Ты и Христа распял, проклятый богом человек». Всё это не мешает Бульбе обратиться в трудною минуту за помощью к Янкелю, чтоб тот провез его в Варшаву: «меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уж и созданы».

8) Жестокость

Что сделал бы Тарас с красавицей полячкой, которую полюбил его сын Андрий, если бы казакам удалось взять Дубно? А вот что: «вытащил бы её за густую пышную косу, поволок бы её за собою по всему полю, между всех казаков. Избились бы о землю, окровавились её чудные груди и плечи... разнес бы по частям её пышное прекрасное тело». Даже привыкшим к жестокостям казакам «казались чрезмерной его беспощадная свирепость и жестокость». Тарас повел своих сыновей на «бранное дело», на грабеж Дубно. Защитники города умирали с голоду, все, включая женщин, мужественно оборонялись от казаков. В этом бою был схвачен и затем казнён по обычаям «тогдашнего грубого века» сын Бульбы Остап. Бульба начинает «отправлять поминки» по сыну: «Только огонь да виселицу определяла его седая голова. – Ничего не жалейте! – повторял только Тарас. Не уважили казаки чернобровых панянок, белогрудых и светлолицых девиц: у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками... Но не внимали ничему жестокие казаки и, поднимая копьями с улиц младенцев, их кидали к ним же в пламя».

Таков у Гоголя Тарас Бульба, которого детям предлагают сравнить с былинными богатырями, называют «народным героем» и который должен быть нам «близок и дорог». Однако оставим эмоции. Надо разобраться: 1) каким образом миллионам советских детей внушают в школе убеждение, что Тарас воплощает лучшие черты русского народа и 2) с какой целью это делается.

## КАК ПРЕПАРИРУЮТ ТЕКСТ ПОВЕСТИ

Когда у детей требуют ответа на вопрос: «Почему Гоголь восторженно относится к Запорожской Сечи», то подразумевают, что дети должны разделять восторг писателя. Да не о восторгах здесь надо говорить (хотя симпатия Гоголя к запорожцам несомненна), а об особенностях его стиля, где романтическое преувеличение сочетается с юмором и подшучиванием над героями, где нет прямых обличений, а самому читателю предстоит дать им нравственную оценку. В другой повести писатель ведь тоже «восторгается» своими героями: «Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него хороший дом в Миргороде!... Очень хороший человек также Иван Никифорович...» А разве сказано автором какое-либо плохое слово в адрес Плюшкина, Собакевича, Ноздрева? Тем не менее мы чувствуем их ничтожество, и вряд ли кто-то обрадуется, если его назовут Иваном Ивановичем Перепенко. Белинский в своей статье о повестях Гоголя заметил: «Факты говорят громче слов; верное изображение нравственного безобразия могущественнее всех выходок против него». Эту особенность оказывать моральное воздействие, описывая грязные, ничтожные стороны жизни, Белинский считал доступным только одному таланту. Талант Гоголя, несмотря на явное сочувствие к казацкой разбойничьей вольнице, не позволил ему сокрыть нравы «странной республики запорожцев». Если историк холодно пишет о запорожских казаках XVI-XVII веков как о сбродной бродячей массе, продажной сабле без бога и отечества, то мы воспринимаем это умом. Но благодаря Гоголю можем эмоционально пережить события «свирепого века».

Конечно, в беззаботном вольном товариществе гуляк и разбойников, в этом беспрерывном пиршестве, освобождении от семьи, дома, всех пут общества есть, как пишет Гоголь, что-то околдовывающее, жутко-обворожительное. Особенно по сравнению с тусклым бытием Акакия Акакиевича или ничтожной тяжбой Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Недаром до сих пор подростки так тянутся к дворовой вольнице, сбегают из дому и легко вовлекаются в разгульное товарищество улицы. И похождения казацкого атамана Тараса Бульбы читаются мальчишками как детектив с убийствами, стрельбой и прочими атрибутами.

Казалось, учителя литературы на то и призваны, чтобы объяснить детям: товарищества бывают самые разные. Хотя Тарас Бульба и призывал к верности товарищам, но этот призыв был направлен на то, чтобы быстрей взять и разграбить город Дубно и тем самым прославить казацкую саблю. И сам Гоголь в 1833 г. в статье «Взгляд на составление Малоросии» писал о запорожцах: «То же тесное братство, которое сохранялось в разбойничьих шайках, связывало их между собой». Поэтому вместо того, чтобы заставлять школьников, как это нередко делают, заучивать наизусть монолог

Тараса «... Нет уз святее товарищества!... Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было...», – вместо всего этого можно было бы привести ясное и доступное детям разъяснение Льва Толстого о соблазне товарищества: «Люди делают явно дурное дело, но это наши товарищи и потому надо скрыть, оправдать их дурное дело. То, что мне предлагают делать – дурно, бессмысленно, но все товарищи решили это, и мне нельзя отстать от них. Для посторонних это может быть страданием, несчастием, но для нас и нашего товарищества это будет приятно и потому надо поступать так... Особенность этого соблазна состоит в том, что во имя его совершаются самые дикие и бессмысленные поступки» (Л. Толстой, т.39, стр. 149).

Авторы школьной хрестоматии задались целью представить детям Тараса Бульбу как «положительного героя», борца за свободу и независимость родины, как некоего былинного богатыря. Для достижения этой цели используются два приема: сокрытие и приукрашивание.

## СОКРЫТИЕ

Сказано у Гоголя, что Бульба «был страшно упрям» и что характер его – «порождение тяжелого XV века» – эта фраза в хрестоматии опускается. Не стоит забивать детям головы и эпизодом коварного смещения Бульбой миролюбивого, верного слову кошевого. Сказано у Гоголя, что жестокости и свирепство Бульбы удивлялись даже казаки – и это убрать, как неприличное для положительного героя.

Но если нельзя сокрыть, то приходится приукрасить, оправдать мерзкие поступки высокими мотивами, навести хрестоматийный глянец. В «Методическом руководстве» для учителей литературы VI класса приводятся такие советы. Дети, мол, по своей неопытности и невинности, часто объясняют отношение Тараса к своей жене резкостью, суровостью. Надо поправить детей, советует «Руководство», «выделить слова» о том, что «судьба жены Бульбы типична для того времени» (стр.132). Будто бы все украинцы в то время избивали своих жен. Ведь даже по словам Бульбы были в то время злостные «домоводы», которые не избивали, а «бабились с женой». И будто сейчас не встречается тарасовский деспотизм и жестокость к женщинам, особенно после выпивки, «гульни»,как сказано у Гоголя.

Или, например, дети объясняют решение Бульбы немедленно ехать в Сечь его сумасбродностью, вздорностью, вспыльчивостью, ибо он, как пображничает, выпьет горилки, так начинает «колотить и швырять горшки и фляжки». Эх, милые непонятливые дети! Вас надо поправить, разъяснить, что дело не столько в упрямстве и сумасбродстве Бульбы, сколько в его «убежденности, что в Запорожской Сечи настоящая высшая школа» (стр.132). Как будто пьянство и сумасбродство могут быть оправданы идейной убежденностью и как будто они и сейчас не распространены.

У Гоголя Бульба – сановный казацкий шляхтич, у которого есть хутора, табуны лошадей, слуги, девки-прислужницы. Он признает только два занятия – саблю и бражничество – и презирает мирную жизнь. Караул! Положительный народный герой не должен делать этого. Как же это приукрасить? Руководство советует подчеркнуть, что «Тарас Бульба, как и его товарищи, смысл своей жизни видели в борьбе за независимость родины. Поэтому пренебрежительно относились к оседлой домашней жизни и ко всем занятиям, не имеющим отношения к военной службе» (стр.136). Вот это уже благородно, если ты борец, «патриот», тебе всё позволено.

## ТАРАС БУЛЬБА И ЕВРЕИ

Об отношении запорожцев и Тараса Бульбы к евреям говорилось выше. Здесь Гоголь не погрешил против исторической правды. То, что евреи у него именуются всюду «жиды», вполне понятно. Ведь Гоголь вырос в семье украинского помещика, а на Украине слово «жид» означало в те годы просто «еврей». В России слово «жид» приобрело ругательный или презрительный оттенок в середине XIX в. Презрительное, высокомерное отношение к евреям стало частью национальной традиции многих европейских народов и, конечно, на Украине, где прославили погромами казацкую саблю запорожцы и их потомки. Гоголь вполне разделял бытовавшие в среде украинских и польских шляхтичей стереотипные антисемитские взгляды. Сцена потопления запорожцами евреев написана в духе «юмора ситуации». Гоголевская фантазия расцвечена карнавальными деталями как «бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горилочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок, но казаки везде их находили».

Здесь «мелкий дух» сынов Израиля как бы противопоставляется силе «русского духа». Конечно, Гоголь прекрасно знал из Библии, что один из родоначальников еврейского народа, Иаков, вступил в борьбу с суровым и властным богом Иеговой. За это он был назван Израилем, т.е. «богоборцем» (на языке иврит). Для многих поколений и народов эта легенда явилась источником силы духа, мужества.

Но таково уж свойство людей, охваченных

патриотическим угаром: прославление своего народа незаметно оборачивается презрением к другим народам. Казаки, пропив всё, начинали вспоминать о деньгах, «владычестве жидовства на христианской земле» и устраивали погромы. Если бы евреев обвиняли только в том, что они «торгаши»!

Как же поступают в советской школе с «жидовской темой» в повести Гоголя «Тарас Бульба»? Может быть, поясняют, что запорожские казаки были тёмные, малограмотные люди, «младенческий народ», что они были склонны разделять дикие предрассудки, верили всяким нелепостям в отношении «басурман» т.е. других народов и иноверцев? Или разъясняют, что люди склонны искать «козла отпущения» и винить других в своих пороках и неудачах. Здесь уместно было бы привести многочисленные примеры. Вот один из них. В записках Вересаева «На японской войне» описан такой эпизод. Армейское начальство на маньчжурском фронте получает текст манифеста 1905 г. о «Незыблемых основах гражданской свободы». Солдатам манифест боялись читать, офицеры относились к нему враждебно и объясняли по-своему: «...Совершалось историческое событие, колебавшее самую глубокую подпочву страны, миллионы людей боролись и рвали на себе цепи. Здесь отношение было одно: – Всё жиды! Всё на жидовские деньги делается!» Как видим, убеждения запорожских казаков перешли, спустя столетия, и в нашу эпоху.

Но какие там разъяснения! Советские педагогические тети и дяди приняли позу страуса: в школьном варианте повести они просто-напросто вымарали поголовно, начисто все те места, где речь идет о евреях, где только употребляется слово «жид» или «жидовский». И таким образом, словно стыдливая гоголевская дама, «облегчили нос посредством платка». Как будто дети читают лишь кастрированный вариант повести, напечатанный в хрестоматии, а не полный текст, перепечатываемый почти ежегодно миллионными тиражами в серии «Школьная библиотека». В «Руководстве» для учителей литературы не нашлось ни одного слова о том, как быть с этой неприятной антисемитской темой. Просто из хрестоматийного текста убрали всякое упоминание о ней.

Начальная сцена повести. Бульба со своими сыновьями выезжает в пределы Запорожской Сечи. Ну-ка дети, навострите внимание, ведь вам нужно описать «быт и нравы» запорожцев: «Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку». В школьном варианте армянин и татарин есть, а жид убран, одно многоточие осталось. Или сказано у Гоголя, что поднялись казаки отомстить за «...оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле» – в школьном варианте всё оставлено, и вера, и святые обычаи, а про владычество убрано. Что это? Педагогическая беспомощность или продуманная политика – не говорить о болезни, будто её нет и не было, стремление загнать её пока вовнутрь, чтобы в подходящее время усилить её течение? В результате дети, не получившие разъяснений и воспитанные в убеждении, что Тарас Бульба и запорожцы воплотили лучшие черты русского народа, перенимают эту традицию юдофобства и все, что с нею связано. И если во времена Бульбы поводом к погрому и потоплению евреев была необыкновенная новость, что «рассобачие жиды» взяли на аренду христианские церкви, а «жидовки шьют юбки из поповских риз», то стоит ли удивляться истинно запорожским доводам героя песни Высоцкого «Антисемиты»:

Им кровушки надо, они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке,
Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года

И праправнук Бульбы переходит к действию:

На всё я готов, на разбой и насилье,
И бью я жидов и спасаю Россию.

Слышишь ли нас, Тарас Бульба? Есть еще порох в пороховницах! Крепка еще казацкая сила!

## ЛИТЕРАТУРА – СЛУЖАНКА КАЗЁННОГО ПАТРИОТИЗМА

В вышедшей недавно замечательной книге Олжаса Сулейменова: «Аз и Я» («Алма-Ата», 1975) есть очень верные слова: «С ростом национального самосознания наука нередко становится на службу казенному патриотизму, тогда историография начинает отходить от истории. Факты или неверно освещаются, или фальсифицируются в угоду возникающему на прошлое взгляду. Явление это универсальное». Историческая повесть «Тарас Бульба» и то, как её изучают в советской школе, хорошо подтверждает горький вывод Сулейменова. Гоголь, подготавливая второе издание, тенденциозно ретушировал повесть. Но и сквозь славянофильскую ретушь историческая правда в «Тарасе Бульбе» проступает вполне отчётливо. Из истории известно, что сбродный состав (выходцы из 74 городов Западной Руси и Литвы) мешал запорожскому казачеству видеть родину даже в Украине, не говоря уже о Московской Руси. «Во время войны они обращались с русскими и их храмами нисколько не лучше, чем

с татарами, и хуже, чем татары» (Ключевский, т.3 стр.111). Поэтому те места в повести, когда Гоголь, увлекаемый славянофильским порывом, вкладывает в уста казацких атаманов ультрапатриотические слова, звучат фальшиво. Вот бывший казацкий атаман Мосий Шило, который «пропил и прогулял всё, всем задолжал на Сечи, и прокрался как уличный вор», будучи смертельно раненным, восклицает: «Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь»! Вот другой такой же атаман Кукубенко обращается к свой братии: «Пусть же после нас живут ещё лучшие, чем мы, и красуются вечно любимая Христосом Русская земля!».

Заключительный аккорд повести патетичен: «Да разве найдутся на свете такие огни, мука и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!». Школьный учебник в разделе «Вопросы и задания» просит ответить детей: «Какие мысли и чувства Гоголя выражены в заключительных словах? Как связаны они с содержанием всей повести?» Да никак не связаны – был бы очевидный ответ составившим школьную хрестоматию «дамам, приятным во всех отношениях».

Напомним, что первое издание повести «Тарас Бульба» вышло в 1835 г.; второе, сильно переработанное и дополненное – в 1842 г. Оказывается, что почти всех этих ультра-национал-патриотических воззывов не было в первом издании. В полном, академическом собрании сочинений Гоголя, (1952 г.), помещен исходный вариант. В примечаниях читаем: «Подготавливая и обрабатывая вторую редакцию повести, Гоголь частично подпал под влияние славянофильских тенденций. В несомненной связи с этими новыми для него тенденциями он заново пишет вторую речь Тараса к запорожцам о товариществе: основной мотив этой речи – особое свойство “русской души”, “русского чувства”».

Вместо выспренних слов о русской силе, которую нельзя пересилить, в первом издании стояло простое и ясное: «Черт побери! Да есть ли что на свете, чего побоялся бы казак!» Во второй вариант Гоголь добавил всю сцену сожжения Бульбы. В первом издании эта сцена начисто отсутствует. Дополнена жуткими подробностями и сцена казни Остапа. Цель этих вставок ясна: проникнутый сочувствием к мученической смерти Бульбы, читатель – взрослый – как бы должен забыть, что этот герой убивал и вешал неповинных людей, поджигал у алтарей женщин и подбрасывал пикой в огонь младенцев, сдирал кожу с живых людей и т.д. А детям про то и знать не положено.

В первом варианте Тарас и Остап успевают похоронить убиенного Бульбой Андрия по христианскому обычаю. Во втором Андрий остается непохороненным (пусть знает «собачий сын», как изменять, даже своей смертью не заслужил он прощения жестокосердого отца). В первом издании Тарас ссорится с товарищами из-за неравного дележа добычи, во втором – из-за их “наклонности к варшавской стороне».

Таким образом, явное славянофильское подкрашивание не связано с содержанием повести и лишь ухудшает то, что первоначально создал талант Гоголя. Но именно ультрапатриотическая приправа и сделана сейчас ядром, центром изучения повести в школе. Литература стала служанкой казенного – или ультра – патриотизма. Патриотизм подлинный, любовь к родине возникают у человека сами собой, как любовь к матери. «Но я люблю, за что не знаю сам...»

Сталинская идеология оправдывала террор опричнины, жестокость и коварство Ивана Грозного. Эта традиция не исчезла.

Был ты видом довольно противен
Сердцем подл, – но не в этом суть.
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.
(Н. Коржавин)

Но если в истории необходима нравственная оценка исторической личности, то тем более она необходима в литературе. Особенно в той, на которой воспитываются дети. Литература – это тонкая ниточка от сердца к сердцу, она призвана пробуждать «чувства добрые». Для неё мерило прогресса – лучше или хуже становятся отношения человека к человеку. Можно ли назвать хоть одно доброе душевное движение Бульбы?

Детям приятно чувство законной гордости, а их приучают гордиться вместе с Бульбой, что «любить, как русская душа никто не умеет.» Да что там любить, просто быть товарищем. Но пусть учитель спросит детей, найдутся ли такие силы, которые пересилят силу ирландца, англичанина, вьетнамца, китайца, или гордых индейцев. Любой народ может сказать это о себе. И как в многонациональной стране звучат внесённые во второе издание слова, что «славянская порода – широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками»? Этноцентризм, убеждение в превосходстве своей нации, расы, веры (именно превосходство, а не гордость за настоящие достижения в области человеческой культуры) является основой расовых и национальных предрассудков. От него один шаг до того, чтобы грабить и убивать «католических недоверков» и топить евреев в Днепре. И скидка на тяжелые времена не поможет, ибо мы и в нашем веке видели, к чему привело «арийское» воспитание. Это дурман, настоящий «опиум для

народа». Пары этого опиума, губительные для детского восприятия, клубятся в повести и концентрируются в школьной хрестоматии.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Белинский в известном письме к Гоголю писал, что «нельзя перенести оскорблённого чувства истины, нельзя молчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель». Но книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», на которую был направлен гнев Белинского, вышла тиражом всего в несколько тысяч экземпляров. Это была книга для взрослых, её не изучали в школах. Повесть «Тарас Бульба» – тоже не для ребят, однако миллоны детей в обязательном порядке «проходят» её в школе. И «проходят» таким образом, что, перефразируя Белинского, под покровом патриотизма и борьбы за независимость родины проповедуют как добродетель насилие, жестокость, разбойничье братство.

Взрослый человек способен увидеть нравственное безобразие кровавых подвигов запорожцев, разобраться в сложном клубке истории и в тех географических, социальных и психологических мотивах, с которыми связано появление Запорожской Сечи. Страшнее, если насилие, кровь будут считаться украшением истории народа, а дети будут видеть национального героя, патриота в сумасбродном, жестоком и свирепом человека, который предавал огню женщин, матерей и подбрасывал пикой в огонь их младенцев.

## *ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ*

1. Ядром изучения повести Гоголя “Тарас Бульба” в советской школе сделаны не её художественные достоинства, а те национально-патриотические вставки, которые Гоголь, находясь под влиянием славянофильских идей, внес во второе издание («речь о товариществе», «русской силе», и т.д.).

2. Воссозданная талантом Гоголя картина жизни и Запорожской Сечи преподносится в школе в идеализированном виде; нравы разбойничьей шайки, жестокости запорожцев изображаются как добродетели.

3. В целях ложно понимаемого патриотического воспитания образ Тараса Бульбы, вылепленный Гоголем «как один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век» преподносится как воплощение лучших черт народа, а о множестве худших и отвратительных черт умалчивается или они оправдываются патриотическими мотивами.

4. Гоголь не стеснялся своих антисемитских убеждений и открыто выразил их в повести; современные составители школьной хрестоматии для VI класса и авторы «Методического руководства» для учителей полностью обходят эту сторону повести и тем самым загоняют вглубь застарелую болезнь, способствуют сохранению национальных предрассудков.

5. Изучение повести «Тарас Бульба» в том виде, как это делается сейчас в школе, несовместимо с нравственными гуманистическими задачами литературы.

6. Вообще, возникает сомнение в целесообразности изучения этой повести в школе. Русская литература слишком богата шедеврами, чтобы предпочесть им “Тараса Бульбу”.

Декабрь 1975 г.

## ТАРАС БУЛЬБА В XXI ВЕКЕ: ПОСЛЕСЛОВИЕ, 37 ЛЕТ СПУСТЯ

Текст «А поворотись-ка, сын» был написан в 1975 г. в Новосибирске (Академгородок) и намеренно стилизован в духе школьных сочинений тех лет на тему «Тарас Бульба – народный герой». О публикации тогда не могло быть и речи. Я показывал этот текст друзьям и пустил три экземпляра в самиздат без подписи. Прошло более трети века. Исчез Советский Союз. Многое переменилось в жизни, «... и сам, покорный общему закону...» Но «Тарас Бульба» остался в обязательной школьной программе по литературе в том же ультрапатриотическим ореоле. Стало быть, мои выводы и сомнения актуальны.

Готовя давний текст к публикации, я посмотрел, что на сей счет есть в Интернете. И вдруг с удивлением обнаружил – посеянное зерно сомнения проросло! В 2002 г. в ведущем образовательном сетевом журнале по литературе появилась статья Григория Яковлева: «Изучать ли в школе “Тараса Бульбу”?» (lit.1september.ru). Цитирую вывод автора:

*«Насилие, разжигание войн, непомерная жестокость, средневековый садизм, агрессивный национализм, ксенофобия, религиозный фанатизм, требующий истребления иноверцев, непробудное пьянство, возведённое в культ, неоправданная грубость даже в отношениях с близкими людьми — те ли это качества, без явного осуждения представленные в повести, которые помогут пробудить добрые чувства у детей и без того не слишком ласкового XXI века? Дайте срок — ребята подрастут и авось дозреют до собственного осмысления “Тараса Бульбы“. А пока следовало бы сказать школьнику (почти по Гоголю): “А поворотись-ка, сын... к другой книге”».*

Легко заметить сходство этого вывода с заключением моего текста 1975 г.

Оказывается, многие российские педагоги-словесники давно уже ратовали за перенос изучения «Тараса Бульбы» из шестого класса школы в девятый – и добились этого (см. статью В. Звиняцковского в журнале «Нева» №9, 2009 г.). Однако здесь необходима важная оговорка. Мне кажется некорректным адресованный Гоголю упрёк в том, что негативные качества казачества и главного героя представлены в повести «без явного осуждения». У автора была иная, **художественная** задача. Автор не публицист и не моралист.

Но оставим в стороне школьную тему. Интересно обсудить общий литературно-исторический контекст повести. Она, несомненно, уступает в литературном отношении главным шедеврам Гоголя – «Ревизору», «Мертвым душам», «Портрету», «Шинели». В блестящих и парадоксальных лекциях Набокова о литературе Гоголь назван самым необычным и странным поэтом и прозаиком, «каких когда-либо рождала Россия». А «Ревизор» – «самая великая пьеса, написанная в России... Персонажи «Ревизора реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. А Россия, страна прилежных учеников, стала сразу старательно подражать его вымыслам... В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветёт повсюду в Европе... Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло». Творения Гоголя, по определению Набокова, – это поэзия в действии, если понимать под поэзией « тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи... Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения».

Художественное достоинство всякого шедевра зависит не от того, что сказано, а от того, **как** это сказано, от блистательного сочетания малозаметных частностей. И уже не только как художник, но и как натуралист, Набоков проводит сравнение: красота крыльев бабочек зависит не столько от пигментации отдельных чешуек, сколько от искусного их расположения. Именно в этом смысле талант Гоголя уникален. При таком отношении к искусству становится понятным, почему Набоков, анализируя поэму «Мертвые души», называет Собакевича «самым поэтическим персонажем в книге». Гоголь ввел в литературу тонкие оттенки запаха, вкуса, цвета и красок. «Сомневаюсь, – пишет Набоков, – чтобы какой-нибудь писатель, тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор цвета и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, так же, как Мане – усатых мещан своей эпохи».

Набоков считает даром судьбы, что Гоголь не стал лишь автором украинских фольклорных повестей и красочных романтичных историй «о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Последнее относится, конечно, к «Тарасу Бульбе». А между тем повесть намного превосходит популярностью другие гоголевские шедевры. Согласно Википедии, существует девять экранизаций «Тараса Бульбы», включая зарубежные (в том числе лихую американскую версию 1962 г. с Юлом Бриннером в главной роли). По мотивам повести создано не менее десяти музыкальных произведений, среди которых – опера украинского композитора Н.Лысенко (1890 г.) и ряд других опер, оратория чешского композитора Леоша Яначека (1914 г.), и даже два балета: на музыку В. Соловьева-Седого и Р. Глиэра. Канал «Культура» в 2009 г показывал сериал в десяти частях: художественное чтение всего текста «Тараса Бульбы» в исполнении именитого артиста А. Петренко. Далее, 15 мая 2010 г. на острове Хортица на Днепре был открыт памятник Тарасу Бульбе. Подобные памятники ставили и другим литературным героям: Шерлоку Холмсу в Лондоне, Эдинбурге и в Москве**,** Остапу Бендеру в ряде городов. Есть даже мини-памятник Чижику-Пыжику у истока реки Фонтанки в Санкт-Петербурге («Чижик-Пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил /Выпил рюмку, выпил две /Закружилось в голове»).

## О народном герое.

Оставим в стороне школьный канон о народном герое как некоей концентрации позитива. Белинский вполне прав: Гоголь рисовал Тараса Бульбу смелой и широкой кистью. В 16-17 веках – в период зарождения поведенческих норм «младенчествующего народа» нравы повсеместно были жестокими. Напомню о трагическом эпизоде английской революции: массовом побоище в ирландском городе Дрогеда, которое учинили протестанские парламентские войска Оливера Кромвеля в 1649 г. После взятия города ими было убито более 3500 человек, включая женщин и детей. Среди них были жители, укрывавшиеся в церкви: её сожгли вместе с людьми. До сих пор в Ирландии имя Кромвеля ненавистно.

По сходным причинам в еврейском фольклоре и литературе с ненавистью поминается имя современника Кромвеля – гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого. В 1648 г., подняв восстание

против Речи Посполитой, в союзе с крымским ханом он учинил повсеместные погромы и резню евреев. В Речи Посполитой погибли многие десятки тысяч человек, то есть 20-25% всего еврейского населения в местах сосредоточия еврейской культуры того времени.

Тарас Бульба, при всей средневековой жестокости этого персонажа, – размашистая, как и его шаровары, натура с нелюбовью ко всяким утеснениям цивилизации, отважный эпикуреец, любитель горилки, ватрушек и пундиков, наделённый юмором и хитрецой. Нет народных героев «белых и пушистых. Трудно оценивать их поведение, пользуясь сегодняшними канонами. Одну такую интересную попытку сделал израильский писатель Меир Шалев в книге « Библия сегодня» ( М. Текст. 2002 г.). В предисловии он пишет, что вырос в семье, почитающей Библию, но хорошо помнит «страстные споры, которые мы вели о царе Сауле – любимом библейском персонаже моей матери, тогда как мой отец считал его жалкой личностью». Самый знаменитый библейский герой – первый царь Давид, спаситель народа, храбро одолевший Голиафа, – совершал и весьма неблаговидные поступки. Увидев со своего балкона купание красавицы Вирсавии, Давид пленился ею, возжелал сделать своей женой и вероломно отправил её мужа – воина Урию – на верную погибель. Сурово осудил поступок Давида библейский пророк Нафан. Первый рёбенок Вирсавии умер, и лишь потом родился будущий царь Соломон.

В Росии не стихают споры о личности и деяниях Петра I. Границы спорных противоположений задал близкий Гоголю писатель-славянофил Константин Сергеевич Аксаков: « Великий гений! Муж кровавый! / Вдали, на рубеже родном/ /Стоишь ты в блеске страшной славы / С окровавленным топором».

## Герой, рассказчик и автор.

В любом художественном тексте следует различать эту триаду. Нельзя отождествлять повествователя и героя, как бы красочно первый ни описывал и такие деяния второго, от которых «волосы дыбом встают». Некорректно отождествлять и взгляды рассказчика со взглядами автора, незримо скрытого за текстом и лишь иногда выходящего из-за кулис, как в пушкинском «Онегине». Приведу сравнение.

Во время театрального представления артист несколько раз перевоплощается в своего персонажа, будь то неисправимый злодей или бонвиван. Удаляясь по ходу пьесы со сцены за кулисы, артист становится самим собой . Подобным образом человек за одну беспокойную ночь может трансформироваться за пределы своего «я» в разных воплощениях. Многократно описано, как автор в ходе создания художественного текста невольно временно перевоплощается в своих героев. Поэтому их поступки и взгляды нельзя приписывать автору. Позиция рассказчика фиксирована во времени, а взгляды самого автора динамичны. Гоголь в 1835 году не тот же, что в 1842 году и тем более в 1848 году.

Вряд ли корректно приписывать и взгляды гоголевских запорожцев в отношении евреев самому писателю. Как бы не шокировали современного читателя описания зверств казаков и эпитеты, которыми Бульба то и дела награждает евреев (в том числе и помогающего ему Янкеля), следует помнить, что Гоголь живописал эти позорные сцены с позиции запорожцев. Еврейскую тему в «Тарасе Бульбе» подробно анализирует известный израильский историк С. Ю. Дудаков (М. Наука, 1993 г., стр 64-69). Он полагает, что Гоголь, выросший в Малороссии, впитав неприязненное отношение к «врагам Христовым» вместе «с молоком матери», представил образ еврея в границах сложившихся *евангельских мифологем*. В русской литературе XIX традиционный еврейский тип был скалькирован с европейских образцов. Такой же персонаж, как Янкель, вдобавок замешан на малороссийских баснях-приправах. Между тем, полагает историк, Гоголь-автор сознавал, что евреи на Украине оказались в ситуации между молотом и наковальней. Недаром Янкель говорит: «...Всё, что ни есть недоброго, всё валится на на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид».Здесь, по мнению Дудакова, « чувствуется подсознательно всплывшая в Гоголе общая неправота христианской ненависти» к евреям, хотя бы и высказанная Янкелем.

Впрочем, возможна и другая интерпретация. Русский историк, философ и религиозный мыслитель Георгий Петрович Федотов (1885 – 1951 гг.) в статье « К современной постановке еврейского вопроса» (1941 г.) с горечью отмечал: «*Гоголь дал в “Тарасе Бульбе”ликующее описание еврейского погрома. Это свидетельствует, конечно, об известных провалах его нравственного чувства, но также и о силе национальной или шовинистической традиции, которая за ним стояла*». Здесь видимо, Г.П. Федотов имеет ввиду погромы Богдана Хмельницкого в XVII веке, уманскую резню во время восстания гайдамаков в следующем веке и зверства во время хаоса гражданской войны на Украине в 1918 – 1919 гг.

Еще более резко высказался о сцене погрома в «Тарасе Бульбе» знаменитый публицист и деятель сионистского движения Владимир (Зеев) Жаботинский: «Ничего подобного по жестокости не знает ни одна из больших литератур. Это даже нельзя назвать ненавистью, или сочувствием

казацкой расправе над жидами: это хуже, это какое-то беззаботное, ясное веселье, не омраченное даже полумыслью о том, что смешные дрыгающие в воздухе ноги – ноги живых людей, какое-то изумительно цельное, неразложимое презрение к низшей расе, не снисходящее до вражды».

И вот совсем недавний отзыв (конец января 2013 года) чешского журналиста Иржи Юста о ксенофобии в России: «Сегодня меня на самом деле поражает, насколько российское общество пропитано шовинизмом. Несмотря на то, что Российская империя, а после нее Советский Союз, были многонациональными государствами, и именно советская армия освободила еврейских узников концентрационного лагеря Освенцим... Вместо попыток решить проблемы межнациональных отношений «народные избранники» эксплуатируют тему спасения русских от россиян. Если ничего другого в голову не приходит, то с помощью казачьих патрулей. Ведь лучше и веселее кого-то выгонять, чем заняться проблемой интеграции разных национальных слоёв российского общества» (Газета «Московский Комсомолец», 24 янв. 2013 г.).

## Причины популярности «Тараса Бульбы».

Г.П.Федотов в «Письмах о русской культуре» (Федотов, 1992 г.) попытался дать общую характеристику «русскости». Исторически и культурологически он выделил два основных противоположных пласта в «галереях русской души». Первый воплощает черты славянской вольницы, второй – созидателя, работника, как Петр I – «на троне вечный был работник». Первый тип – это искатель, энтузиаст, «отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров», враг неправды, всякого компромисса. В религиозном смысле, как изящно выразился Федотов, «*это эсхатологический тип христианства, не имеющий земного града, но взыскующий небесного*». Для него отвратительны умеренность и аккуратность, добродетель меры и рассудительность, «фарисейство самодовольной культуры». Метафорически особенности этого типа иногда называют «широтой русской натуры». Главное в нём – нелюбовь ко всякой законченности формы. Подобные черты стали складываться ещё при зарождении русского этноса. Москва, отмечает Федотов, не смогла до конца дисциплинировать славянскую вольницу. «Она вылилась в казачестве, в бунтах, в XIX веке она находит себе исход в кутежах и разгуле, в фантастическом прожигании жизни – безалаберности и артистизме русской натуры. В цыганской песне и пляске эта сторона русской души получает наиболее адекватное выражение».

Облик Тараса Бульбы, вылепленный Гоголем, несомненно относится к этому глубинному иррациональному пласту и потому вызывает невольное притяжение. Гоголь и его читатели находили и находят здесь нечто *жутко-обворожительное*. Интерес к теме свободных от цивилизации социальных групп – пиратов, флибустьеров, цыганских таборов – синхронно возник в начале XIX в творчестве авторов разных стран – В. Скотта, П.Мериме, Ф. Купера. «Цыгане» Пушкина – о том же. Алеко уходит в табор, «презрев оковы просвещения».

*Там люди в кучах, за оградой,*
*Не дышат утренней прохладой,*
*Ни вешним запахов лугов*
*... Торгуют волею своей,*
*Главы пред идолами клонят*
*И просят денег да цепей.*

Новелла Мериме «Матео Фальконе» (1829 г.) скупо и внешне бесстрастно описывает суровые нравы и неписанные законы корсиканцев. Маттео убивает своего десятилетнего сына Фортунато. Ребёнок сначала искусно спрятал разбойника от погони, но потом не выдержал дарственного соблазна и указал, где он скрывается. Маттео сам совершает правосудие и говорит матери мальчика: «Он умер христианином. Я закажу по нем панихиду». Гоголь восхищался творчеством Мериме. В сходной сцене гоголевской повести Бульба убивает сына Андрия за предательство, сам верша правосудие. В первой редакции повести, Бульба хоронит сына как христианина. Но во второй редакции 1842 г. Гоголь ужесточает тему патриотизма, и Бульба отказывает убиенному сыну в последнем святом обряде.

Пушкинская цыганка Земфира – это, по существу, старшая сестра цыганки Кармен в одноимённой новелле Мериме, причем в более одиозном и своевольно-злокозненном варианте. Кармен, не знающая ограничений ни в воровстве, ни в предательстве, ни в любви, остается наркотически завораживающей в одноименной опере уже почти полтора столетия. Мериме высоко ценил русскую литературу, он выучил русский, чтобы читать в подлиннике российских авторов, переводил на французский Пушкина, Гоголя, Тургенева. Любопытна его оценка героя гоголевской повести: «Тарас Бульба является одним из тех героев, с которым <…>лучше всего разговаривать, держа в руках заряженное ружье. Я лично причисляю себя к тем, кто питает пристрастие к подобным людям; не то чтобы я любил встречаться с ними по дороге, но энергия этих людей, вступающих в борьбу с целым обществом, невольно вызывает во мне

восхищение...». Тут важно слово «невольно». Мериме указывал на сходство запорожцев с флибустьерами XVIII в.: «...история тех и других хранит воспоминания и о чудесах храбрости, и об ужасной жестокости». Однако французскому писателю была чужда романтическая поэтика стиля Гоголя, идеализация дикой, необузданной силы казачества, «которая вместе с королями способна уничтожить цивилизацию».

Основательность опасений Мериме видна хотя бы ещё на одном примере – истории казацкого атамана эпохи Смутного времени по фамилии Баловень. Возглавляемые им казаки двинулись «на кормление» в незащищённые и не тронутые войной богатые православные северорусские земли окрест Вологды и Ярославля. Зимой 1614 – 1615 гг. они разорили Каргопольский уезд, убив свыше 2000 мирных жителей, опустошили Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде. Это казачье войско отличалось совершенно бессмысленной жестокостью: «сжигали села, оскверняли церкви, забивали скот, издевались над людьми (засыпали порох в рот и уши и поджигали)». Пятитысячный отряд Баловня предпринял даже неожиданный рейс на Москву. Столицу охватила паника, но – обошлось. Баловень был схвачен и повешен (см. статью в Википедии).

Морские разбойники-флибустьеры получили в начале XVI в. покровительство Франции и Англии, поскольку нападали на суда и поселения враждовавшей с обеими странами Испании. Однако впоследствии они превратились в угрозу для самих покровителей и в конце концов были ими разгромлены. Ирония истории: в 1937 г. в СССР флибустьеры и их кроваво-красный флаг с черепом над скрещёнными костями («Весёлый Роджер») были опоэтизированы в знаменитой песне «Бригантина» на слова молодого поэта Павла Когана, погибшего затем на войне. Это не так уж удивительно, ибо в песне, написанной в разгар сталинского террора, ощутим подсознательный выплеск желания свободы: «Пьем за яростных и непокорных, за презревших грошевой уют... Флибустьеры и авантюристы – братья по крови, горячей и густой».

Подобными же причинами вызвана и популярность песни о казацком атамане Степане Разине (данный сюжет есть ещё у Пушкина, но сама песня создана в 1883 г.). Острогрудые разбойничьи ладьи возвращаются из Персии с богатой добычей, а весёлый и хмельной атаман – ещё и в обнимку с красавицей-княжной. Среди братцев-разбойников Разин слышит ропот и насмешки: «...только ночь с ней провожался, сам наутро бабой стал...» – слова вполне в духе Тараса Бульбы. Надвигается конфликт и следует его жуткое разрешение: «Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт её бросает в набежавшую волну. Что ж вы, братцы, приуныли? Эй ты, Филька, черт, пляши». Среди исполнителей песни – и знаменитые маэстро, и хор донских казаков, и даже томно-зажигательный ансамбль Boney M. Вот что еще любопытно. Песню с упоением поют и женщины, видимо, инстинктивно пленяясь мужской решимостью, твёрдостью и взрывным, ужасающе-отчаянным поступком. Так неодолимо притягивает зрелище пожара. Человеческие общества нуждаются в социальных наркотиках. Сомнительные или негативные с точки зрения морали поступки фольклорных героев, воплощающих ценности группы, прощаются или игнорируются.

## Мистика рождения и родословная на перекрёстке трех народов.

В повести переплетаются судьбы трёх народов – Украины, Польши и России. Интересно, что в родословной самого Гоголя эти линии тоже пересеклись. Само рождение писателя окутано какой-то сновидческой религиозной мистикой. Его родители были мистически религиозными людьми, твёрдо веровавшими, что их судьбой руководит божественное предопределение.. Отец писателя Василий Иванович Яновский-Гоголь, будучи еще тринадцати лет от роду, «имел видение» – раскрылись врата церкви, вышла царица в порфире и указав на семимесячное дитя, сказала: «вот жена твоя». Оказавшись в доме Косяровских, Василий Иванович увидел, как кормилица вынесла младенца. С этого времени он стал следить за девочкой, приносил ей подарки и игрушки, играл с ней. Сон повторился, и Василий Иванович попросил родителей девочки отдать дочь за него. Те согласились, хотя девочке было всего четырнадцать лет, и она стала его женой. После двух мертворожденных детей, на шестнадцатом году жизни, она родила мальчика Николая. Гоголю передалось родительское мистическое отношение к жизни и вера, что все его поступки, любой каприз или случайное событие объясняются Божьим промыслом. Набоков полностью приводит письмо двадцатилетнего юноши-Гоголя к своей матушке, когда он после своей первой писательской неудачи (поэма «Ганс Кюхельгартен») в Петербурге, взял все высланные для уплаты в Опекунский совет деньги и внезапно уехал на пароходе в Германию. В длинном витиеватом письме к *маминьке* он сочиняет романтическую причину отъезда как бегства от встречи с неким недоступным Ангелом в женском воплощении. Не могу удержаться, чтобы не привести одну фразу, которая по стилю и духу пророчески обьясняет мироощущение Гоголя и многие его дальнейшие алогичные и иррациональные поступки: «*Я чувствую налегшую на меня справедливым*

*наказанием тяжкую десницу Всемогущего; но как ужасно это наказание! Безумный! Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, претворил меня в жажду ненасытимую бездейственною рассеяностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира*». (Август 1829 г.) Через два месяца юноша Гоголь так же внезапно вернулся в Петербург. С возрастом его вера в предопределение перешла в манию и сильно повлияла на его творчество (Мочульский, 1934 г.; Набоков, 1998 г.; Труайя, 2009 г.).

С отцовской стороны у Гоголя в ряду поколений идут польские предки. Его дед по отцу, Афанасий Яновский, выходец из польской шляхты, окончил Киевскую духовную академию, свободно владел пятью языками. В дворянской грамоте, полученной им в 1792 г., его фамилия впервые появляется с приставкой «Гоголь». Сам писатель хорошо знал польский и, общаясь в 1838 г в Риме с двумя ксендзами, «сделал им однажды признание», что польский язык кажется ему звучнее, чем русский (Смирнова, 2010 г.). Бабушка Гоголя со стороны отца, Татьяна Лизогуб, – потомок гетмана Дорошенко, а её отцом был Семён Лизогуб, внук гетмана Ивана Скоропадского. Мать Гоголя, Мария Ивановна Косяровская, происходила из богатого рода Косяровских-Щербак.

Далее генеалогические изыскания делают кульбит. Историк С.Ю. Дудаков приводит сведения о том, что гетман Скоропадский был женат на крещёной еврейке, красавице Настасье Маркович, дочери богатого купца-арендатора и торговца водкой Марка Авраамовича Марковича. Таким образом, в родословной Гоголя, отступя шесть поколений, обнарживается и еврейский след (Дудаков, Этюды любви и ненависти. М. 2003 г., стр 325). В генеалогии писателя можно увидеть весь этнический ландшафт «Тараса Бульбы».

Вторая дочь от этого смешанного брака, Ирина, вышла замуж за Степана Миклашевского, сына стародубского полковника, третья дочь, – за Андрея Кондзеревского. Породнились Марковичи и с семейством Толстых: сын Петра Андреевича Толстого женился на дочери Настасьи Скоропадской, т.е. внучке самого Марка Авраамовича!

Можно предполагать, пишет Дудаков, что писательский дар Гоголю достался от Марковичей. Родной племянник жены Скоропадского Яков Маркович (1696 – 1770 гг.) учился в духовной академии и был любимым учеником архиепископа Феофана Прокоповича. В течении 50 лет (1717 – 1767 гг.) Яков вел дневник, имеющий не только научные, но и литературные достоинства и ставший бесценным источником сведений по истории Малороссии той поры. Два внука Якова – Яков Михайлович и Александр Маркович – тоже занимались историей Украины, их имена наличествуют в любой солидной энциклопедии. В Харькове проживает писательница Инна Владимировна Мельницкая, потомок того же рода. В этом роду много славных имен, оставивших след в истории. Так, дед И.В. Мельницкой, Игнатий Маркевич, погиб при первом штурме Плевны и обьявлен национальным героем Болгарии и России.

История трёх народов полна извивов: союз-вражда-союз. То поляки брали Москву, то русские войска входили в Варшаву и Россия аннексировала часть Польши, подавляя восстания: в 1830 – 1831 и 1863 гг. Запорожские казаки искали своей выгоды, присоединяясь то к одной, то к другой стороне. Этот вековой антагонизм проявился и во время 200-летнего юбилея Гоголя. К 2009 г. Украина уже около 20 лет была самостоятельным государством со сложными отношениями с Россией. Этот факт, несомненно, оказался бы подлинным кошмаром для Гоголя с его личным и историческим мироощущением. Гоголь чувствовал себя причастным одновременно к двум культурам (или этносам). Он называл русский и украинский народы близнецами, которые с детства оказались в разных историко-географических условиях и, повзрослев, вновь вошли в одну семью.

Сходным образом Гоголь, вослед Пушкину, представлял и будущее Польши: она виделась ему автономной частью единой империи под эгидой российского самодержца. Польское восстание 1830 – 1831 гг., которое нашло сочувствие и поддержку в Европе, оказалось для России неожиданным и тяжким испытанием. В 1831 г Пушкин пишет «Клеветникам России» с известными строками:

*Кто устоит в неравном споре:*
*Кичливый лях иль верный росс?*
*Славянские ль ручьи сольются в русском море?*
*Оно ль иссякнет? вот вопрос.*

Однако славянского слияния в русском море в реальной истории не получилось. Польша, Украина и Белоруссия стали самостоятельными государствами. Более того, в современных школах Украины творчество Гоголя изучают, но... в разделе «зарубежные писатели». Как же быть теперь с великодержавными чаяними, которые писатель намеренно вложил в уста Бульбы во втором издании?

К 200-летнему юбилею Гоголя были запущены

в рамках госзаказов две конкурирующие киноверсии повести – российская (режиссер В. Бортко) и украинский сериал, взявший за основу исходную редакцию повести 1835 г. В ней везде речь идет об украинском народе, тогда как в авторской редакции 1842 г. само слово было везде заменено на русский.

Киноверсия «Тараса Бульбы» режиссера В. Бортко (многим памятна его отличная экранизация «Собачьего сердца» в 1988 г. с потрясающей игрой Евгения Евстигнеева в роли профессора Преображенского) полностью следует хрестоматийному изображению казацкого полковника как народного героя-богатыря. Более того, патриотический заряд в фильме искусственно амплифицирован.

Кинокритик Екатерина Барабаш откликнулась на выход фильма статьёй с жёстким названием и ещё более жёстким подзаголовком: «Гоголь и придворный кинематограф. “Тарас Бульба” Владимира Бортко: патриотическая идея, много крови и казаки-идиоты». (Независимая Газета. 26.03.2009 г.). Приведу несколько цитат: «… экранный Тарас не знает страха и упрека, этакий мудрый запорожский мачо в летах, положивший чубатую голову за отечество. А это уже к Гоголю имеет слабое отношение... Гоголь пишет: “Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки...” Но такой Тарас не укладывается в патриотическую идею, ради которой задуман этот дорогой – 25 млн долл. – блогбастер». Кинокритик отмечает, что в уста погибающих казаков вложены «громкие патриотические петарды… вроде: “Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля и будет ей вечная честь!” или “Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки русская земля!”». Е. Барабаш подчёркивает, что «…у Гоголя подобные фразы – часть изумительного, живого, плотного текста», из которого невозможно вырывать куски. Для оправдания жестокости казаков в сюжет введена гибель жены Тараса от рук поляков. Другая, мелодраматическая новация – рождение ребёнка от связи Андрия со знатной полячкой и её смерть от родов. Дед-поляк заносит над новорожденным саблю, но не решается его погубить (архетип библейского Авраама?). Этот эпизод с рождением новой жизни, возможно, замыслен, как символ примирения давней польско-запорожской вражды.

Вопрос в том, согласились ли бы поляки принять такой жест. Сама повесть «Тарас Бульба» с момента её выхода рассматривалась в Польше как откровенно антипольская, оскорбляющая историческую память народа. В течение 150 лет, до 2002 г., её не переводили на польский язык. В неприязни к «Тарасу Бульбе» сходились почти все польские историки, литераторы и публицисты.

Книгу «История Росов», которой пользовался Гоголь, польские историки относят скорее к собраниям мифов, легенд, вымыслов, нежели к серьезным источникам. «Там он отыскал эти россказни, от которых кровь в жилах стынет, – о медных быках, в которых шляхта живьем сжигала козаков, или о католических священниках, запрягавших в свои таратайки украинских женщин. И уж совершенно невероятная выдумка, повторявшаяся про крайней мере с середины XVIII века, – приводимое Гоголем известие о том, будто евреи получали от “польских панов” в аренду православные храмы, а за ключи от них требовали щедро платить». Так пишет в своей статье «“Тарас Бульба” – Наконец по-польски» Януш Тазбир (2002 г.), член редколлегии издающегося на русском языке журнала «Новая Польша» (2002 г.). Журнал ставит целью способствовать взаимопониманию и сотрудничеству Польши и России. Януш Тазбир советует польским читателям воспринимать повесть «как своего рода сказку, в которой злая фея одарила поляков ролью злодеев». Красивая метафора.

Цель данного послесловия – кратко осветить культурно-исторический ландшафт, связанный с повестью Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Выводы читатели вольны делать сами в соответствии со своим воображением и предпочтениями.

## Библиография

Дудаков С.Ю. История одного мифа. М. Наука.1993 г.

Набоков В. Лекции по русской дитературе. М.: «Независимая газета» 1998 г.

Федотов Г.П. Судьба и грехи России ( два тома) . СПб: «София». 1991 г.

Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя. Имка Пресс. 1934 г. ( lib.rus.ec)

Труайа Анри. Николай Гоголь. ЖЗЛ. М. 2009 г.

Смирнова Р. Польские корни Гоголя. Новая Польша №10, 2010 г.

Тазбир Я. «Тарас Бульба» – Наконец по-польски. Новая Польша. №5, 2002 г.

# СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Аксельрод Елена** жила и работала в Москве. Член Союза писателей СССР с 1968 г.

Автор книг лирики: «Окно на север», «Лодка на снегу», «Стихи», «В другом окне», «Лирика», «Стена в пустыне», «Избранное», «Общая тетрадь», «Меж двух пожаров», десяти стихотворных книг для детей, переводов поэзии и прозы, книги-альбома об отце «Меер Аксельрод», книги воспоминаний и писем «Двор на Баррикадной».

Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля. Член международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы. С 1991 г. живет в Израиле.

**Александрович Рита** – библиограф по образованию. Эмигрировала в США из Одессы в 1988 году. Стихи пишет с детства.

В 2003 году вышел сборник стихотворений «Поэт и прозак», спустя семь лет – вторая книга поэзии «След». Живёт и работает в Бостоне, Массачусетс.

**Алейников Владимир Дмитриевич,** Москва/Коктебель, 1946 года рождения. Поэт, писатель, переводчик, художник.

Родился в Перми, детство провел в городе Кривой Рог на Украине. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

**Апраксина Татьяна** творческую биографию начинала в среде неофициальной рок-культуры 70-х, занимаясь графикой и киноплакатом. Позже получила известность как художник, профессионально связанный со сферой классической музыки.

Многолетнее тесное взаимодействие с музыкальными коллективами и солистами Петербурга, Москвы, европейских стран и США нашло отражение в многочисленных выставках, публикациях и лекциях о живописи, музыке и философии творчества — дома и за рубежом. Первое турне по США с картинами и циклом лекций в 89-90 гг. финансировалось Фондом Сороса. Второе образование (синолога) получала в Восточном институте С.Петербурга.

Прозаические и поэтические произведения публиковались в оригинале и в переводах в России, Германии, Израиле, США.

С 1995 года главный редактор российско-американского междисциплинарного журнала «Апраксин блюз».

**Арис Сол** (Шауль Всеволод Волков), известный по публикациям в Интернете как «Сол», пользуется этим псевдонимом с 1990-х. Живет в городе Яффо, Израиль.

У Сола разнообразный жизненный опыт, который позволяет ему заниматься исследованиями в разных областях знаний. Он родился в Украине, вырос в США, закончил университет в Израиле и много лет работал адвокатом, а затем программистом. Одновременно, начиная с 1980-х, выступал как рок-гитарист и певец, а также участвовал в спектаклях и комедийных шоу; для некоторых из них придумал костюмы. В первые годы после университета участвовал в общественной жизни страны. Служил в армиях США и Израиля.

С 2005 года Сол посвящает себя исследовательской и писательской деятельности, главным образом в области альтернативной истории; он пишет на английском языке. Вначале в течение нескольких лет вел в Интернете две философские группы и

публиковал свои статьи на сетевых форумах. Затем его статьи стали публиковаться в американских журналах «Atlantis Rising» и «UFO Digest».

Сол Арис — автор книг *Holistic Detection in the Collective Subconscious (Essays on Alternative Thinking)* и *The Reston Caper*, изданных в Соединенных Штатах.

Публикуемый в этом выпуске очерк «Игроки Нуль-А» и в прошлом – «Кто такой Коровьев» вошли в сборник *Holistic Detection in the Collective Subconscious (Целительное расследование коллективного подсознания).*

**Бернштейн Борис Моисеевич** (р.1924) – доктор искусствоведения, профессор-эмеритус Академии Художеств Эстонии. Книги, статьи и альбомы по истории русского, эстонского искусства и по всеобщей истории искусства, а также по теории искусства и методологии искусствознания опубликованы на русском, эстонском, английском, немецком, польском, испанском, венгерском, словацком, латышском, литовском и др. языках.

**Бертин Лев** – инженер, поэт и журналист. Автор нескольких сборников стихотворений и многих публикаций в изданиях США, Израиля, Белоруссии, Канады, а также на литературных сайтах в Интернете. В настоящее время занимается книжным бизнесом. Живёт в Атланте, США.

**Бруштейн Ян** родился в Ленинграде в 1947 году. Юность прошла в Пятигорске. Живет в Иванове. Стихи печатались в журналах «Юность«, «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские Огни», в еженедельнике «ОБЗОР» издательства «Континент» (США), в сборниках и альманахах. Маленькие рассказы вышли в журналах «Зинзивер» и «Футурум Арт».

В конце 2006 года выпустил книгу-альбом компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест». В марте 2009 года в Москве вышла книга стихов «Красные деревья». Ровно через два года – книга новых стихов «Планета Снегирь» в поэтической серии Библиотека журнала «Дети Ра», и почти одновременно – книга избранных стихов «Тоскана на Нерли» (Издательство «Летний сад»). Член лито «Пиитер». Член Союза писателей XXI века. Жж: yanb.livejournal.com

**Виксне Алла** родилась в Москве. Закончила Московскую художественную академию в 1976 году. В этом же году ее работы стали экспонатами престижных выставок: на Манеже, на Кузнецком мосту, на Беговой, в Клубе ученых. В 1991 году ее искусство было представлено в одной из первых частных галерей в Москве. В 1993 году работы Аллы Виксне впервые демонстрировались в Сан-Хосе, Калифония. Вслед за этим ее картины выставлялись в известных галереях Сан-Франциско, Сан-Матео, Стэнфорда, Пало Алто, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Кармела, Москвы.

Работы Аллы Виксне входят в частные коллекции России, Израиля, Германии, Италии. В 2001 году одна из ее работ была продана на аукционе русско-американского общества. В 2006 году Алла Виксне стала членом Oil Painters of America Accosiation.

Алла Виксне успешно преподает в созданной ею художественной школе в Маунтен Вью.

**Галкина Лика (Галина Татарчук)**. Родилась в Запорожье в 1966 г. Выпускница Харьковского государственного университета (факультет филологии и журналистики). В 1994 году эмигрировала в Израиль. В 1996 году окончила первый организованный в Израиле курс для русскоговорящих экскурсоводов. С 2002-го года живёт в Италии. Рассказы печатались в журнале «День и ночь». В 2012 году в Москве вышла первая книга прозы.

**Голубовский Михаил Давидович** (р.1939) – генетик, историк науки, эссеист. Окончил кафедру генетики Ленинградского университета. С 1963 по 1988 работал в Новосибирском Академгородке в области генетики популяций, мутационного процесса и теории эволюции. Затем в Санкт-Петербурге в Институте истории естествознания и техники РАН. Доктор биологических наук, автор более двухсот работ, в их числе книга «Век генетики: эволюция идей и понятий» (2000). В 2002 награжден Дипломом журнала «Звезда» за статью «Библия и Ген». Работал во Франции, Австралии, различных университетах США; в последние годы аффилирован в университете Калифорнии, Беркли. Увлекается словесными играми. (Анаграммы, лимерики, палиндромы. Некоторые из палиндромов М. Голубовского вошли в российскую антологию палиндромов.) Публикации в журналах «Природа», «Звезда», «Нева» (С. Петербург), «Вестник» (Балтимор), альманахе «Средний Запад» (Ст. Луис), «Мосты» (Германия), «Образы жизни» (Сан-Франциско). Проживает в г. Беркли, Калифорния.

**Дашевский Валерий** в двадцать три года дебютировал в журнале «Юность» рассказом «Инцидент», затем издал первую

книгу в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 100 000 экз. За отказ сотрудничать с КГБ в Харькове не был принят в СП СССР.

Окончил Литературный институт (1986 г.). Повесть «Чистая вода» была переиздана в сборнике «Поколение. Повести и рассказы молодых русских советских писателей». Рассказы «Инцидент» и «Долгий год» экранизированы на Мосфильме. Фильм «Папа» вышел в прокат «первым» экраном. Создал информационное агентство, работавшее на шестнадцать посольств, руководил конверсионными проектами, сопровождал выборы президента Кравчука на Украине, преидента Ельцина в Москве, награжден его персональной благодарностью.

Специалист Минфина РФ Первой категории по ценным бумагам и фондовому рынку.

Занимается продюсерской деятельностью (шоу-бизнес, масс-медиа), готовит несколько арт-проектов, среди которых интернет-журналы стиля жизни – Art и Fashion.

**Зевелёв Александр** (р.1958). Родился и жил в Москве. С 1991 года живёт в Сан-Франциско.

В 1983 году окончил экономический факультет МГУ. Первая песня написана и исполнена в 16-летнем возрасте. Песни пишет на свои стихи, пробует себя в прозе, драматургии и публицистике. В мае 2000 года вышел компакт-диск «Пятнадцатый этаж». В мае 2005 года записан второй компакт-диск «Жизнь напролёт». В 2007 году – финалист конкурса радио «Шансон» (Москва). В 2005 – 2008 годах работал ведущим на радио «Русский Голос» (Сан-Франциско). В октябре 1995 года основал в Сан-Франциско русскоязычную творческую тусовку ХЛАМС (художники, литераторы, актеры музыканты сопутствующие), существующую и по сей день.

**Золотаревская Марина** пишет прозу и переводит с английского. Родилась в 1960 году. Окончила Харьковский политехнический институт. Автор книги «Кто её зовёт?..» (2008, Сан-Франциско, иллюстрации Владимира Витковского), включающей оригинальные сочинения и перевод поэмы Д.Г. Байрона «Лара». В 2011 году была издана книга «Переход», составленная из произведений Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Марина Золотаревская являлась постоянным автором, преводчиком и членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova», издававшегося в Калифорнии. *Безответственный* редактор литературного альманаха «Образы жизни» (Издается в Сан-Франциско). Публикации в журналах «День и ночь», «Радуга», «Новый берег», на литературном сайте «Интерлит». Живёт в Сан-Франциско.

**Ильин Игорь.** По окончании Харьковского госуниверситета три года служил военным переводчиком в Анголе. По возвращении работал замдекана подготовительного факультета для иностранных студентов ХГУ, затем преподавал на инязе, пока не был выслан в аспирантуру, которую так и не закончил по причине уличного грабежа и отсутствия финансов в лихие 90-е. С конца 90-х преподаёт в International House Kharkov. Печатался в следующих изданиях: «Азия и Африка сегодня»; «Новый день»; «Universitetas», «Протей» и др.

**Катишонок Елена** родилась и жила в Риге, Латвия. Закончила филологический факультет Латвийского Университета. Эмигрировала в 1991 году, живёт в Бостоне, США, преподаёт русский язык, занимается редакторской работой и переводами.

Елена Катишонок дебютировала сборником стихов «Блокнот» (*Hermitage Publishers,* 2005). Спустя три года в соавторстве с Евгением Палагашвили выходит «Охота на фазана» — поразительный сплав мастерских фотографий со стихами, им созвучными (*M•Graphics Publishing,* 2008*)*. Второй поэтический сборник – «Порядок слов» – появился через год.

Многие читатели знают также и прозу Е. Катишонок: романы «Жили-были старик со старухой», «Против часовой стрелки» (*M•Graphics Publishing,* 2009*)* и «Когда уходит человек» (*M•Graphics Publishing,* 2011*)*. Роману «Жили-были старик со старухой» присуждена в 2009 году Гоголевская премия. Почти одновременно имя автора оказалось в списке финалистов литературной премии «Русский букер». Теперь проза Е. Катишонок хорошо известна и российским читателям – все романы и сборник стихов «Порядок слов» изданы в Москве. В 2011 году за роман «Жили-были старик со старухой» Елене Катишонок присуждена премия «Ясная Поляна» им. Л.Н. Толстого.

**Кононова Анна** родилась в Минске. Ребёнком выступала на белорусском радио, в передаче «Піянерская зорка» и радиоспектаклях. После окончания Минского радиотехнического института работала внештатным корреспондентом журнала «Рабочая смена». Автор книги стихов «Пляска женская», опубликованной в Минске, и коротких рассказов. Участница литературного объединения «Восхождение», созданного поэтессой Валерией

Моргулис. Печаталась в журнале «Рабочая смена» и на русскоязычном международном литературном сайте «Интерлит», в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). Живёт в Израиле, работает программистом.

**Короткова Екатерина Васильевна** – прозаик и переводчик. Дочь писателя Василия Гроссмана. Родилась в Киеве, где прошло почти всё её довоенное детство. После войны жила во Львове, где окончила школу; училась на славянском отделении Львовского университета, затем в Институте иностранных языков. Работала учительницей английского языка в шахтёрском поселке (по семейной традиции выбрала Донбасс), позже – в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Печатается с 1958 года. Переводила английских классиков – Твена, Диккенса, Эллиота, Теккерея, Честертона, Киплинга и других, а также мастеров современной английской прозы. Ей принадлежит первый перевод Агаты Кристи на русский язык. Автор романов и повестей в жанре исторической прозы, рассказов, мемуаров (в том числе воспоминаний об отце). Произведения Е. В. Коротковой опубликованы в России, на Украине, в Англии и США.

**Курляндчик Галина** Родилась в 1949 году в Крыму, выросла в Приморье, окончила факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. Более двадцати лет проработала в научной библиотеке по программированию в новосибирском Академгородке. Живёт в городе Санта Клара, Калифорния, и Москве. Организовала и пополняет сайты: «Живопись иглой» (www.svetart.ru), «Чудеса рукотворные» (www.chudosite.ru) и «Летопись моей семьи» (www.mychronicle.ru). galina.kurlyandchik@gmail.com

**Макарова Елена** родилась в 1951 году в Баку в семье поэтов Григория Корина и Инны Лиснянской. Живет в Хайфе, Израиль. Член международного ПЕН-клуба, Союза писателей Израиля, Союза писателей России. Закончила Московский Литературный институт им. Горького и Московский Художественный институт им. В.И. Сурикова**.**

Елена Макарова — автор свыше сорока книг на двенадцати языках.

Елена Макарова изучает и знакомит читателей с художественным творчеством узников нацистских концлагерей. Вместе с соавторами ею были подготовлены четыре книги, объединённые серийным названием «Крепость над бездной». Книга «Фридл Дикер-Брандейс. Жизнь во имя искусства и преподавания» вышла сперва на немецком, затем на английском, чешском, французском и японском языках. Недавно издана на русском языке.

В период с 1988 по 2011 Елена Макарова курировала тридцать восемь выставок на тему «Культура под гнетом нацизма» — в России, Израиле, США, Чехии, Японии, Швеции, Франции, Австрии, Норвегии, Дании и Германии. Проводит мастер-классы по искусствотерапии.

С 2007 Е.Макарова ведет он-лайн-семинары (http://forum.mykanon.com/) по искусствотерапии для родителей и детей...

**Маркова Лина**. В Советском Союзе Лина Маркова была диссиденткой, активисткой движения за эмиграцию в Израиль. Она путешествовала по стране, собирая подписи под петициями, обращёнными к правительству СССР. Эти подписи, а также информацию об арестах единомышленников Лина Маркова передавала иностранным СМИ. Агенты КГБ, которые следовали за ней всюду, предупреждали Лину, что она может очутиться не на Ближнем Востоке, а на Дальнем (в Сибири). Она была одной из первых четырех советских граждан, которые подали заявление в Верховный Совет СССР об отказе от советского гражданства. В марте 1971 года Лина эмигрировала в Израиль, а с 1974 года живет в Америке. Л. Маркова участвовала в нескольких поездках к местам библейского и мифического прошлого Земли, возглавляемых ученым-библеистом Захарией Сичиным. Многие годы работала в Интеле, одной из ведущих компьютерных компаний Силиконовой Долины. Являлась членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova». Живёт в Маунтен Вью, Калифорния.

**Мельницкая Инна Владимировна** – поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парапете» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью ASS. NAZ. ALPINI, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в

многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной дилогии, – международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» – юбилейная премия журнала «Радуга».

**Мелодьев Мартин Михайлович.**

Родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 года живет в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор книг стихотворений: «Сочетания» (Новосибирск, 1991), «Шлюз» (изд-во Hermitage, Нью-Джерси,1998) и «Цветной проезд» (Новосибирск, 2000). Публикации в газетах и ежегодниках США: «Альманах Поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке», в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). В России публиковался в сборниках «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), «География слова» (Москва, 2000), «СП: Поэзия новой волны» (Новосибирск, 1993), «К востоку от Солнца» (Новосибирск, 1999-2007), «Петербургский литератор» (СПБ, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001). Страница в интернете www.mmelodyev.narod.ru

**Немировский Александр.** Пишет с четырнадцати лет. С 1980 до 1986 года выпустил семь сборников в тогдашнем самиздате. На основании этих сборников в Москве в 1996 вышла книга стихов – «Без Читателя». В 1989 одно стихотворение просочилось в еженедельник «Собеседник». Входил в литературный клуб «Постскриптум» (1989). С 1990 года живет в Калифорнии. В 2007 подборка стихов печатались в журнале Terra Nova (2007 Август).

Вторая книга «Уравнение Разлома» вышла в Сан-Франциско в 2009, третья книга вышла в 2012 году. Домашний сервер: http://www.nomer.us. Постоянно печатается в Альманахе «Под небом единым».

Специалит по базам данных в Силиконовой долине. Начинал программистом, а последние 18 лет ведет свой небольшой бизнес на основе им созданной и патентованной технологии.

**Перцова Мария** родилась и выросла в Баку. С 1990 года живет в США, в маленьком городке Кемпбелл, неподалеку от Сан Франциско. По образованию – физик, по наклонностям – …

Вместе с Жанной Шпиц (музыка и исполнение) стала автором песенного альбома «Понятные и странные». В 2008 году вышла книга стихов Марии Перцовой «По другую сторону обмана».

**Реуцкий Алексей Сергеевич.** Родился в 1976 году в Харькове. Окончил биофак ХНУ им. В.Н. Каразина. Работает в Харьковском зоопарке. Написал две книги о пернатых и городской фауне: "Принц и другие питомцы" (2011), "Пернатые в зоопарке и не только" (2012). Принимал участие в составлении иллюстрированной энциклопедии для детей "Чудеса живого мира" (2002). Живет в Харькове.

**Саввиных Марина** (Наумова Марина Олеговна) 1956 г.р. Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала в школе учительницей русского языка и литературы, преподавала гуманитарные дисциплины в техникуме железнодорожного транспорта и педагогическом колледже, в котором руководила кафедрой культуры. Автор проекта и директор Красноярского литературного лицея. Член Союза российских писателей с 1994 года. Первый лауреат Фонда В.П.Астафьева. Стихи, проза, публицистика печатались в журналах «Юность», «День и Ночь», «Уральский следопыт», «Сибирские Афины», «Москва», альманахе «Образы жизни» и др. Главный редактор журнала «День и Ночь». Живёт в Красноярске.

**Сундеев Николай.** Поэт, издатель, журналист. Родом из Молдавии. Работал в прессе, редактором в книжном издательстве. Был членом Союза писателей СССР.

Живет в Сан-Франциско. Главный редактор еженедельной газеты «Кстати» http://www.kstati.net/. Автор восьми поэтических книг и книги документальной прозы. Стихи печатались в периодике, коллективных сборниках и альманахах ряда стран.

**Полищук Рада** – российский писатель, журналист, член Русского ПЕН-центра, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза журналистов России. Издатель и главный редактор российско-израильского русскоязычного альманаха еврейской культуры «ДИАЛОГ» (издается в Москве).

Автор и руководитель проекта «Театр Рады Полищук» и других творческих и издательских проектов, которые стали популярными и значимыми в контексте современной культурной жизни России, Израиля и других стран.

Родилась и живет в Москве. Окончила Московский авиационный институт.

Первый рассказ написан в 1984 году, первая публикация – в 1985-ом, первая книга – в 1991-ом. Автор девяти книг прозы и двух сборников стихов (Библиотечка поэзии Союза писателей Москвы) и многочисленных публикаций прозы в различных журналах, альманахах, антологиях прозы XX века, сборниках в России и за рубежом (Франция, США, Израиль, Финляндия и др.), а также множества журналистских публикаций в центральных российских и иностранных изданиях: очерков, эссе, бесед с известными деятелями культуры, литературных портретов друзей – известных поэтов, писателей, артистов.

**Розенфельд Борис** (1932-2008) — известный библиофил, филокартист, публицист и литературовед. Еще мальчишкой в голодные послевоенные годы увлекся книгами, которые покупал на сэкономленные гроши, где только мог. Так начиналась его уникальная библиотека, о которой сегодня немало сказано и написано как им самим, так и другими литераторами. Он владел технической специальностью и был литературно одаренным человеком. О каждой книге, которая оказывалась на его полке, он мог рассказывать бесконечно. В 1992 году, эмигрировав в США, он не оставил своего увлечения. Продолжал собирательство, создал Клуб библиофилов при Центральной городской библиотеке Сан-Франциско, куда еженедельно съезжались увлеченные люди из города и окрестностей. Существовавший на чистом энтузиазме, Клуб библиофилов стал одной из достопримечательностей Сан-Франциско. Благодаря Клубу многие немолодые люди смогли перодолеть депрессию и одиночество. Сегодня Клуб библиофилов носит имя Б.Розенфельда.

Публикации Бориса Розенфельда украсили различные русскоязычные издания: это глубокие, зачастую неожиданные работы, за которыми еще будут охотиться историки и литераторы как за источниками редких, интереснейших фактов.

Но помимо всего – и это, наверное, самое главное – Борис Розенфельд был замечательным человеком; отзывчивым, сердечным и верным другом. Таким его и запомнили те, кому посчастливилось общаться с ним.

**Сапожников Сергей** родился в Москве. По словам автора: «Был обладателем двух трудовых книжек и автором одной нетрудовой. Непро-должительное время сторожил милицию, за каковое время охраняемый им объект был вчистую разворован милиционерами. Счастлив тем, что был современником В. Высоцкого и И. Бродского. (…) После некоторых скитаний, в ходе которых приобрел опыт нелегального перехода государственных границ значительной протяженности, осел на восточном побережье США. За вышеуказанный опыт автор был присужден к штрафу.

(...) Удачно уклонялся от службы в армиях по меньшей мере двух государств. Был заподозрен как еврей, но впоследствии разоблачен. Был гражданином Израиля, в этой связи был заподозрен в антисемитизме. Был непопулярен. Жил в шкафу и работал на чердаке. За время пребывания в Америке забыл значительную часть английского языка, которой хватило бы на население небольшого квартала в Бруклине, штат Нью-Йорк. Автор является автором ряда текстов, которые в разные годы были в грубой форме отвергнуты журналами «Знамя», «Новый мир», «Новый журнал», «Новый берег» и проч. Своим дебютом считает отказ из «Юности» в 1988 г.».

**Трегуб Александр.** Учился (инженер-электронщик) и защитился (кандидат химических наук) в Киеве; эмигрировал с семьей в Израиль, работал в Иерусалимском университете и на Гумбольдтовской стипендии в Германии, затем переехал в Америку, где работал в университете Теннесси, в Калифорнийском университете Сан-Диего и в Стэнфордском университете. Последние десять лет работает в компании «Интел» в Северной Калифорнии.

**Трегуб Инна** родилась в Киеве. Училась на химическом факультете Киевского Университета, защитила кандидатскую диссертацию. В 1990 году эмигрировала в Израиль, там поступила в пост-докторантуру в Институт Вейцмана. Впоследствии работала в университетах в Англии, Германии и США. С 2004 г. работает в Силиконовой Долине в High Tech индустрии. В 2007-2008 годах получила еще одно образование – Life Coach, и эта профессия стала важной частью ее жизни. В качестве хобби организует вечера-встречи бывших соотечественников – «Салон». Писать начала в 2007 для журнала «На здоровье» как Life Coach. («Русские дети», «Саботажница и будущая я» и др.).

**Ходос Алла** родилась в Минске в 1958 году. Окончила филфак Белгосуниверситета. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в Райсобесе, социологом на заводе, учителем в школе. Живёт в Америке с 1994 года. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» (Сан-Франциско) и в школе. Автор книг стихов и прозы: «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой».

В книге «Переход» собраны прозаические произведения Марины Золотревской и Аллы Ходос. Публиковалась в журналах и альманахах «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Terra Nova», «Зеркало», «Панорама», «Вестник», «Побережье»; на сайтах «Интерлит» и «Другие берега».

Ответственный редактор литературного альманаха «Образы жизни» (Издается в Сан-Франциско). Живёт в Сан-Леандро, Калифорния.

**Чернов Денис** родился в 1978 г. Живет и работает в Харькове. В 1998 г. окончил Харьковское художественное училище. В 2004 г. выпускник факультета «Изобразительное искусство» по специализации «Графика» Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Участник украинских и международных выставок (более пятидесяти). Работы находятся в частных собраниях Украины, России, Греции, Англии, Испании, Италии, Франции, США, Канады, Японии, успешно продаются на аукционе "Christie's". Работает в различных графических и живописных техниках, предпочтение отдает карандашному рисунку. Жанровый диапазон: пейзаж, портрет, ню, иллюстрация, фигурные композиции, литературные и исторические реминисценции.

В настоящий момент — преподаватель рисунка в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. С 2008 г. состоит в Союзе художников Украины.Награжден медалью «Талант и призвание» Международной ассоциацией «Миротворец». Победитель в номинации рисунок в ARC (Art Renewal Center) — рисунок "Лодка", 2001 г.

**Янушкевич Дмитрий** — художник, график и скульптор. Родился в Москве в 1976 году в семье художников. В 15 лет вместе с родителями эмигрировал в США. Закончил Университет в Дэвисе и Элкинс-колледж. Участвовал в художественных выставках, организованных Калифорний школой для слепых, в выставках имени Хелен Келлер в Вашингтоне и многих других экспозицях, проходивших в Сан-Франциско, Вашингтоне, Пало Алто, Сан-Карлосе, Маунтен Вью. Участник Русского фестиваля искусств в Сан-Франциско, 2005. Участник «Выставки двух художников» в Сан-Франциско, 2007.

Награжден специальным призом выставки имени Хеллен Келлер, многочисленными наградами Калифорнийской школы для слепых; был избран в жюри Pacific Rim Sculptors Group. Одна из работ Дмитрия Янушкевича, «Зима в Москве», написанная в Росии в 1989 году, была отмечена особым вниманием директора Департамента специального образования в Сакраменто Роном Кадишем.

.

* * *

Читатель может заметить, что мы не публикуем сведений о трёх авторах: **Енькин Тихон, Золотаревский Юрий**, **Трамм М**. Независимо друг от друга, они попросили редакцию никаких сведений о них не публиковать. В подобных случаях мы идём автору навстречу – при условии, что он сообщает эти сведения самой редакции.

* * *

Редакция, как правило, не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, однако иногда публикуются. В последнем случае редакция в переписку вступает.

* * *

Контакты: **E-mail**: obrazyzhizni@yahoo.com
**Вебсайт**: www. obrazyzhizni.com

* * *

Стоимость номера, включая пересылку, 25 долларов. Заказать альманах можно по электронной почте: obrazyzhizni@yahoo.com